

# Ю. В. Манн

Гоголь. Книга третья

Ю. В. Манн  
Гоголь. Книга третья

## Завершение пути

1845–1852



Российский государственный гуманитарный университет



Ю.В. Манн

Гоголь. Книга третья

# Завершение пути

1845–1852

Москва

2013

УДК 821.161.1  
ББК 83.3(2Рос=Рус)1  
М23



Художник *Михаил Гуров*

ISBN 978-5-7281-1450-5

© Манн Ю.В., 2013  
© Российский государственный  
гуманитарный университет, 2013

## Содержание

### Часть первая

Рим: зима и весна 1846 г. ....	9
«Новый Гоголь явился...» .....	20
«Бесперывная дорога» .....	23
Остенде – Франкфурт-на-Майне .....	29
«Исходы, средства и пути...» .....	34
«Гомеровский вопрос» .....	53
О тайне «Прощальной повести» .....	60
«Среди разъездов, среди хлопот и дел...» .....	74
Неаполь: конец 1846 – начало 1847 г. ....	78
«Выбранные места...»: «Мне теперь тяжело взглянуть на мою книгу...» .....	90
Чаадаев: «несчастный гениальный человек» .....	112
Последний вояж в Центральную Европу .....	122
На берегу Северного моря .....	129
Английские мотивы .....	136
«Душа моя изнемогла...»: Спор с Белинским .....	150
Защита Иванова .....	164
«Ближе к выгрузке на корабль» (Неаполь: ноябрь 1847 – декабрь 1848 г.) .....	171
Средиземное море .....	177
На Святой земле .....	180

### Часть вторая

Возвращение .....	191
Месяц в столицах .....	206
Московский житель .....	219
Экзамен для «Мертвых душ» .....	238
Встречи со знакомыми и незнакомыми .....	248
Продолжение экзамена .....	266
«...Бог недаром сталкивает так чудно людей...»: Гоголь и Анна Виельгорская .....	270
Путешествие на юг .....	278

Одесса: октябрь 1850 – март 1851 г. ....	287
Весенние переезды .....	300

### *Часть третья*

В Москве и Подмоскowie: июнь – сентябрь 1851 г. ....	305
Гоголь в стенах и у стен Оптиной пустыни .....	312
Три дня в Абрамцеве .....	334
«Я тружусь, работаю в тишине...» .....	339
Новые встречи: Г.П. Данилевский, И.С. Тургенев .....	341
Герценовский эпизод .....	351
Театральные встречи .....	356
Встречи в конце года .....	360
1852 год .....	363
Гоголь и Матвей Константиновский .....	368
6–21 февраля .....	376
«...Жить без Гоголя» .....	383
Почему же был сожжен второй том «Мертвых душ»? .....	391
Жизнь после смерти, или Парадокс о Гоголе .....	404

<i>Примечания</i> .....	433
-------------------------	-----

<i>Библиография</i> .....	447
---------------------------	-----

<i>Именной указатель</i> .....	472
--------------------------------	-----

*Часть первая*





---

Рим: зима и весна 1846 г.

В предыдущей книге мы оставили Н.В. Гоголя на рубеже 1845–1846 гг. во время очередного пребывания его в Риме.

Позади было посещение или (как говорил Гоголь) «чтение» многих городов и стран – и Италии, и Франции, и Германии...

Позади было несколько пережитых Гоголем кризисов, из которых последний – в конце лета 1845 г. едва не поставил его на грань жизни и смерти.

Позади были десятилетия вдохновенного и мучительного труда, создание почти всех произведений, которые составят творческое наследие Гоголя.

Уже были достигнуты не только слава на родине (Гоголь – «глава литературы, глава поэтов» – сказано еще в 1835 г.), но и общеевропейское признание.

Гоголь вполне отдавал себе отчет, что означают эти признание и слава, и он всеми силами стремился оправдать их, а это значит выполнить свое предназначение, раскрыть тайну своего существования.

Как? Каким путем? Прежде всего завершением «Мертвых душ» – главной книги своей жизни, а это было равнозначно череде напряженных поисков, беззаветному труду, невероятным душевным затратам энергии, нервным срывам и изнуряющим сомнениям и притом постоянной готовности начать все сначала.

Попробуем внимательно проследить этот процесс.

Первые месяцы нового 1846 г., вплоть до начала мая, Гоголь проводит в Риме, в обжитой уже квартире в палаццо Понятовского, иначе говоря, в доме № 81, что на Via de la Croce. До этого, в октябре предыдущего года, Гоголь прожил несколько дней в гостинице «Чезари» на Via di Pietra [Джулиани, 2009, с. 244].

Приступы болезни – необыкновенная зябкость, опухание ног, – начавшиеся еще в конце предыдущего года, повторялись; порою недомогание усиливалось до такой степени, что «повеситься или утопиться казалось как бы похожим на какое-то лекарство или облегчение» [XIII, 38]. А между тем творческие силы не покидали писателя, посреди тяжких физических мучений выдавались «небесные минуты», «перед которыми ничто всякое горе». «Мне даже удалось кое-что написать из «Мертвых» душ», которое все будет вам в скорости прочитано, потому что надеюсь с вами

увидеть<ся>» [XIII, 43], сообщает он 16 марта н. ст. Жуковскому. В планах Гоголя – уже традиционное для него летнее путешествие в центральную Европу, с посещением не только Франкфурта-на-Майне, где жил Жуковский, но и страны, в которой он еще не бывал, – Англии.

Параллельно со вторым томом «Мертвых душ» Гоголь продолжает вынашивать замысел новой, «дельной» своей книги, о которой сообщил еще в апреле предыдущего года Смирновой (см.: кн. 2, с. 442 и далее). Теперь в эти планы посвящается еще один близкий Гоголю человек – Н.М. Языков: «Письма мои к тебе, особенно последние, где какие-нибудь места, относящиеся к литературному делу, <сбереги>. Я не оставляю намер<ения> издать выбранные места из писем, а потому, может быть, буду сообщать к тебе отныне почаще те мысли, которые нужно будет пустить в общий обиход. Но это, говорю по-прежнему, между нами» [XIII, 62]. Так формулируется название будущей книги. Декларируется и установка гоголевских писем, формально адресованных отдельному лицу, а фактически публичных, годных на то, чтобы быть пущенными «в общий обиход». Подспудно такая установка существовала задолго до замысла книги, так что к ее написанию Гоголь был подведен органически, всем строем и стилем своего прежнего общения с корреспондентами.

Среди читателей «Выбранных мест...», а также, конечно, будущего второго тома поэмы одними из первых должны были оказаться цензоры. В это время Гоголь особенно напряженно думает о взаимоотношениях с цензурой, что вылилось в своеобразную апологию цензуры в статье «Карамзин» (вошла в «Выбранные места...», датирована 1846 г.): «Он [Карамзин] первый возвестил торжественно, что писателя не может стеснить цензура, и если уже он исполнился чистейшим желанием блага в такой мере, что желанье это, занявши всю его душу, стало его плотью и пищей, тогда никакая цензура для него не строга, и ему везде просторно. <...> Какой урок нашему брату писателю! И как смешны после этого из нас те, которые утверждают, что в России нельзя сказать полной правды...» [VIII, 266–267]. На этот «урок», уже не Карамзина, а самого Гоголя резко прореагировал Шевырев. Он напомнил, что сочинение того же Карамзина, записка «О древней и новой России», врученная в 1811 г. Александру I, еще не напечатана и когда он, Шевырев, «вздумал из нее немногое (не самое важное) привести на лекции, то получил за это выговор от попечителя». Словом, «мы еще не доросли до высокой правды...» [Переписка, т. 2, с. 345].



**Фонтан Треви в Риме**  
*Литография середины XIX в.*

Но у Гоголя была своя точка зрения относительно возможности высказывать «высокую правду». Обычно проблема принорования к цензуре означала умение ее обойти, протолкнуть сквозь строгие преграды свой «товар», – это была проблема искусной манеры выражения, получившей наименование эзопова языка. Для Гоголя это тоже искусство выражения, но не в смысле преодоления препон. В коллизии «цензор–автор», по Гоголю, виноват пострадавший, т. е. автор. «Сам же не сумеет сказать правды, – пишет Гоголь Языкову 5 мая н. ст. 1846 г. (это письмо предшествует упомянутой статье из «Выбранных мест...»), – выразится как-нибудь аляповато, дерзко, так что уколет не столько правдой, сколько теми словами, которыми выразит свою правду, словами, знаменующими внутреннюю неопрятность невоспитавшейся своей души, и сам же потом дивится, что от него не принимают правды» [VIII, 61]. Категории морального, нравственного плана здесь вполне на месте: проблема цензуры в конце концов переходит в проблему самовоспитания, потому что не кто другой, как сам художник, должен привести себя в такое состояние ума и сердца, так

осмыслить и выразить правду, чтобы ее могли воспринять все, «от царя до последнего подданного» [Там же, с. 62].

Всего через несколько месяцев, когда «Выбранные места...» будут проходить через цензуру, выяснится, что все это намного сложнее...

Встречавшиеся в это время с Гоголем отмечают в нем очевидные перемены. Один из них – Александр Скарлатович Стурдза (1791–1854), бывший чиновник Министерства иностранных дел, памятный по двум пушкинским эпиграммам: «Вкруг я Стурдзы хожу...» и «Холоп венчанного солдата...». С Гоголем он виделся еще осенью 1836 г. в Швейцарии около Берна в доме русского посланника Д.П. Северина, но тогда, по выражению Стурдзы, он довольствовался лишь ролью «немного свидетеля» встречи (см.: кн. 2, с. 122). Теперь в Риме, встретившись в русской посольской церкви во время великого пятка, Гоголь и Стурдза возобновили знакомство и закрепили его «взаимными посещениями и беседами лицом к лицу». Значит, произошло это 5 апреля (Пасха пришлось в тот год на 7 апреля).

«Тогда-то, к моему изумлению, – продолжает мемуарист, – я нашел в Гоголе не колкого сатирика, не изобретательного рассказчика и автора умных повестей, а человека, стоявшего выше собственных творений, искушенного огнем страданий душевных и телесных, стремившегося к Богу всеми способностями и силами ума и сердца» [М. 1852. Т. V. № 20. С. 224–225].

Стурдза добавляет, что все эти беседы «отразились потом, как в зеркале, в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Но, наверное, очередность событий не была только такой (от «бесед» к книге): Гоголь уже работал над книгой, он уже приготовил значительную ее часть и в беседах со Стурдзой повторял и развивал некоторые ее положения.

Перемены в Гоголе зафиксировал и Ф.П. Толстой, граф, вице-президент Академии художеств, встретивший его в Риме после большого перерыва. Гоголь виделся с ним в начале 1830-х годов, посещая занятия в Академии художеств (см.: кн. 1, с. 241); в конце же 1845 г. Толстой в Риме представлял русских художников Николаю I, но к Гоголю все это не относилось, и вообще, мы знаем, публичных встреч в это время он избегал. Поэтому увиделись они лишь спустя полтора месяца на обеде у С.П. Апраксиной, о чем свидетельствует запись Толстого, датированная 5/17 февраля 1846 г.: «Я сначала его не узнал, он мне показался моложе и

лучше оттого, что гораздо опрятнее, нежели прежде, как бывал у меня в Петербурге. Несмотря на то, что он болен, что утверждает и Розенберг, его лечащий, у него цвет лица очень хорош, свежий, здоровый...» Но внешность, продолжает Толстой, не соответствует самочувствию: «...у него странный припадок, он по временам холодеет весь, и этот холод сопровождается у него самым неприятным чувством, во всем его составе...», – обо всех этих симптомах известно и от самого Гоголя, не скрывавшего от собеседников и корреспондентов свои хворости.

Но главные перемены Толстой обнаружил в поведении писателя. «И это с Москвы, где Гогель [так!] изменил прежним своим правилам и образу мыслей, которые выражались во всех прежних сочинениях, и перешел в ханжи и познакомился и сдружился с сыном Софьи Петровны (очевидно, не с сыном, а с братом – А.П. Толстым. – Ю. М.), вполне ханжою». «Гогель здесь (в Риме. – Ю. М.) кинул всех своих знакомых художников и других, с которыми был короток до перемены образа мыслей и правил жизни... Теперь он играет роль в аристократических домах, которые он посещает, какого-то углубленного в думы человека и потому по большей части все молчит, как и сегодня – и за столом, и после стола, почти ничего не говорил. – Зато хозяйка с дочерьми с подобострастием слушают его *молчание*. Они слышали, что он замечательный русский писатель, и им как русским, хотя совсем почти не знающим русский язык, не оказывать уважение человеку, отличившемуся в русской литературе!» [ЛН. Т. 58. С. 698; курсив в оригинале].

Встреча Ф.П. Толстого с Гоголем осталась, по-видимому, единственной. «Он обещался непременно зайти ко мне, но мне сдается, что он у меня не будет» [Там же. С. 699].

Детали поведения Гоголя в доме Апраксиной передает и О.С. Аксакова, которая почерпнула эти сведения от брата Константина, а тот, свою очередь, от приехавшего из-за границы Н.П. Боткина. Мол, Гоголь «иначе не ходит, как потупя взор, и ему говорят тихо, с подобострастием: “Николай Васильевич, Николай Васильевич, хорошо ли это блюдо?” А он, кушая, отвечает: “Софья Петровна, думайте о душе Вашей”» [Там же. С. 698; курсив в оригинале].

Совет Гоголя, содержащий противопоставление души и материального предмета (здесь это еда, «блюдо»), находит выражение и в его забавном упреке А.П. Толстому, который, страдая от зубной боли, безуспешно лечился у разных докторов и даже поду-

мывал по этому поводу о поездке в Англию. «Оставьте в сторону дрянные ваши зубы, которые не стоят гроша даже и тогда, если бы были хороши. Душа лучше зубов...» [XIII, 368–369]. Может быть, и лучше, но «зубная боль» чувствительнее...

И все же приведенные свидетельства Стурдзы или Федора Толстого – это взгляд на Гоголя со стороны. Реальная картина его общения с соотечественниками была несколько иной.

«Русских наехала сюда куча, – сообщает он А.О. Смирновой 27 января н. ст., – но таких, с которыми я выдаюсь, немного. Чаще бываю у гр<афов> Чернышевых-Кругликовых, потому что они мои старые знакомые, потому что больные и потому что, сверх того, очень просты и добры. Часто бываю у Апраксиной, Соф<ьи> Петровны, потому что она также очень добра и притом сестра моего любезного Александра Петровича (гр<афа> Толст<ого>)...» [XIII, 34]. Далее Гоголь называет еще три имени, но это те, которых он видит реже, – поэтому вначале скажем о людях более ему близких.

Иван Петрович Чернышев-Кругликов (1787–1847) – участник Отечественной войны, вышедший в отставку полковником; впоследствии тайный советник. Первую часть своей фамилии, а заодно и графский титул, он получил, женившись в 1832 г. на графине Софье Петровне Чернышевой (1799–1847). Гоголь знал его с петербургских времен: 10 декабря 1834 г. вместе с Пушкиным, Мих. Виельгорским, В.Ф. Одоевским и А.И. Тургеневым он присутствовал на вечере у Жуковского [РЛ. 1964. № 1. С.133]. Гоголь довольно полно объясняет подоплеку своей симпатии к Чернышевым-Кругликовым как людям простым и добрым; участвовало в этом и чувство сострадания к больным людям: через каких-нибудь несколько месяцев супругам, одному за другим, предстояло уйти из жизни.

Софья Петровна Апраксина тоже привлекала Гоголя своей добротой, – об этом говорит и Смирнова: «...она сама по себе оч<ень> добра» [Смирнова, 1989, с. 40]. Со стороны Федору Толстому казалось, что Гоголь в доме Софье Петровны только капризничает и проповедует; на самом деле он еще искал у нее (и у Чернышевых-Кругликовых) внутренней поддержки и теплоты; ведь ему, не избалованному лаской и одинокому, как поняла Смирнова (эти слова нам уже знакомы – см.: кн. 2, с. 464), «всегда надобно пригреться где-нибудь, тогда он и здоровее и крепче духом...».

Теперь о других лицах из римского окружения Гоголя. Писатель называет трех женщин – Дурново, Нессельроде и Ро-

стопчину. Все они принадлежали к высшему свету, как говорил Стурдза, к «аристократическим домам».

Александра Петровна Дурново, урожденная княжна Волконская (1804–1859), была замужем за Павлом Дмитриевичем Дурново, камергером, впоследствии гофмейстером и тайным советником. Гоголь мог видаться с нею еще летом 1836 г., посетив Аахен, где проживала небольшая русская колония (см.: кн. 2, с. 86), но в Риме они познакомились ближе. «Дурнову я видел несколько раз, – сообщает он 27 января 1846 г. Смирновой. – Она неразговорчива, но в лице ее много доброты».

Скорее всего, впервые увидел Гоголь в Риме Марию Дмитриевну Нессельроде (1786–1849), урожденную графиню Гурьеву, дочь министра финансов при Александре I Д.А. Гурьева и жену государственного канцлера К.В. Нессельроде. В том же письме к Смирновой Гоголь говорит: «Графиня Нессельрод [так!] мне понравилась с первого раза именно лицом, в котором много душевного прекрасного выражения. Вы знаете, что я знаток, и если проступила уже хоть сколько-нибудь душа внаружу, она не скроется от меня, я вижу ее на лице прежде, чем откроются уста говорить» [XIII, 34]. Эти слова совпадает с отзывом Смирновой: «У графини Нессельроде был веселый, громкий, детский смех, а это лучший знак доброго сердца и высокой души». «Она была полна души и сердца» [Смирнова, 1989, с. 427, 426].

Вообще примечательно, что у всех упомянутых женщин (включая и Ростопчину) присутствует такое важное для Гоголя качество, как доброта, и тем не менее они остались ему далеки, в отличие от Апраксиной и Чернышевых-Кругликовых. Возможно, давала себя знать социальная дистанция, но главную причину указал сам Гоголь в своем более подробном отзыве о Ростопчиной.

Графиня Евдокия Петровна Ростопчина (другое название – Ростопчина; 1811–1856), урожденная Сушкова, была замужем за А.Ф. Ростопчиным, сыном знаменитого московского генерал-губернатора Федора Ростопчина. Весной 1845 г. Евдокия Петровна с семьей отправилась в заграничное путешествие, с посещением Италии и Рима; именно в это время (4 января 1846 г.) Смирнова в письме из Калуги советует ей внимать урокам Гоголя при восприятии художественных впечатлений – «он поразительно чувствует искусство» (см.: кн. 2, с. 353). Гоголь, видимо, не раз встречался с Ростопчиной в Риме, и у него сложилось о ней определенное мнение. «Она, при доброте и уме, пустовата. Это вовсе не книга, написанная о каком-нибудь одном и притом дельном



предмете, а сшитые лоскутки всего: *tutti frutti*. Она, разумеется, всякий день по балам то у Торлони, то у Дория, то у посланников, словом – повсюду, где скука» [XIII, 35; курсив в оригинале].

Ростопчина была признана как талантливый, самобытный поэт, ее талант высоко ценил Пушкин, что, возможно, было известно Гоголю. Во всяком случае, он не отрицает ее «ума». Но Гоголю неприемлемо направление этого «ума», или интересов, или поэтического творчества; тут он воспроизводит довольно устойчивую репутацию Ростопчиной, сложившуюся, надо сказать, не без ее подсказки: «Я только женщина... гордится тем готова... // Я бал люблю!.. отдайте балы мне!..». В связи с этим Белинский писал в рецензии на первую часть ее «Стихотворений» (1841): «Исключительное служение “богу салонов” не совсем выгодно и для музы графини Ростопчиной. Наши салоны – слишком сухая и бесплодная почва для поэзии» [Белинский, т. 5, с. 458]. В приверженности к свету упрекала Ростопчину в связи с ее стихотворением «Искушение» и такой близкий ее друг, как Смирнова: «...я не понимаю, как при твоём необыкновенном уме можно сожалеть о ничтожной и бессмысленной жизни нашей красивой столицы. Или ты намеренно была неясна, или же у тебя действительно в основе то неисчерпаемое легкомыслие, которого я не понимаю и не хочу предположить в лице избранного круга» [Колосова, с. 275]. «Неисчерпаемое легкомыслие» – это очень близко резкому эпитету, которым наградил Ростопчину Гоголь, – «пустовата».

И вот, так сказать, гоголевский суммарный приговор: «С этими тремя дама<ми> (т. е. с Дурново, Нессельроде и Ростопчиной. – Ю. М.) я вижу реже только единственно потому, что не вижу, каким образом и чем именно могу быть им в текущую минуту полезен. Мне трудно даже найти настоящий дельный и обоюдно-интересный разговор с теми людьми, которые еще не избрали поприще и находятся покамест на дороге и на станции, а не дома. Для них, равно как и для многих других людей, готовятся “Мертвые души”...» [XIII, 35].

Слово «поприще» в этом объяснении ключевое: справедливость и гармония человеческих отношений обуславливаются достойным и честным служением каждого на своем поприще, о чем в это время с публицистической прямоотой Гоголь пишет в «Выбранных местах...»: «Поверьте, что Бог не даром повелел каждому быть на том месте, на котором он теперь стоит». Есть свое поприще и у женщины, в том числе и светской, – этой проблеме Гоголь посвящает «письмо», которое так и называется «Женщина

в свете» (датировано 1846 г.): «Вы говорите, что всем другим женщинам предстоит поприща, а вам нет... Знайте же, что это общее ослепление всех. Всякому теперь кажется, что он мог бы наделать много добра на месте и в должности другого и только не может сделать это в своей должности».

Женщина «в светской должности» делает добро уже одним своим благородным настроением, своей молчаливой, ненавязчивой душевной активностью – своей женственностью. «Не убегайте же света, среди которого вам назначено быть...» «Влетайте в него смело, с той же сияющей вашей улыбкой...» «Не болтайте со светом о том, о чем он болтает; заставьте его говорить о том, о чем вы говорите...» [VIII, 227, 228] и т. д. С этими наставлениями по принципу контраста связан гоголевский упрек одной из «трех дам», Александре Дурново, – в «апатии и душевной недейтельности» [XIII, 34].

И еще одно ключевое слово в характеристике тех, кто находится на перепутье, – *скука* (Ростопчина «повсюду, где скука»), – мотив, намеченный еще в знаменитом финале «повести о ссоре»: «Скучно на этом свете, господа!»; характерно, что не «грустно», не «страшно», а именно «скучно». К середине 40-х годов этот мотив, или образ, становится для Гоголя одним из центральных. Это не только «тягостное чувство от косного, праздного состояния души, томление бездействия», как определяет скуку В. Даль. Это утрата связи с высшим началом, обесмысливание, опустошение, ощущение мертвенности. И ощущение не одного человека, но множества, всеобщее. «И непонятной тоской уже загорелась земля; черствей и черствей становится жизнь; все мельчает и мельчает, и возрастает только в виду всех исполинский образ *скуки*, достигая с каждым днем неизмеримейшего роста. Все глухо, могила повсюду. Боже! пусто и страшно становится в твоём мире!» [VIII, 416]. Прочитывая эти строки уже в новое время, исследователь заметил: «Демонические образы Достоевского, да и современный экзистенциализм обнаруживают тесное родство с подобными мыслительными ходами» [Сечкарев, с. 179].

В безудержном возрастании гоголевского «образа скуки» отразилась та особенность жизнестроения, что силы зла приняла в нем будничность, вседневный вид, что все человечество «погрязло в болоте и бездорожье» (тоже излюбленный образ Гоголя).

Противостоять этому состоянию Гоголь стремится и «Выбранными местами...», и особенно продолжением его главной книги. «Только тогда уяснятся глаза у многих, которым другим

путем нельзя сказать иных истин. И только по прочтении 2 тома “Мертвых > д<уш>” могу я заговорить со многими людьми серьезно» [XIII, 35].

К первой половине 1846 г., ко времени пребывания Гоголя в Риме, относится весьма любопытный эпизод.

Ростопчина привезла с собой в Рим стихотворение «Насильный брак», которое она написала, по ее словам, по дороге в Италию, «между Краковом и Веною». На первый взгляд могло показаться, что в стихотворении говорится о сложных отношениях Ростопчиной с ее мужем, однако напрашивалось и другое объяснение, особенно ввиду последних строк («...Послал он [муж] в ссылку, в заточенье / Всех верных лучших слуг моих; / Меня же предал притеснению / Рабов – лазутчиков своих...» и т. д.), а именно то объяснение, что подразумевались притеснения Польши со стороны Николая I и русского правительства. Такой пронизательный читатель, как Владислав Ходасевич, в своей работе о Ростопчиной писал, что в «Насильном браке» есть стихи, «трудно объяснимые ссылкой на биографию автора и весьма понятные, если под женой разуместь Польшу» [Ходасевич, с. 31]. Этот вывод находит подтверждение в записи самой Ростопчиной, сделанной во время путешествия в Италию, в Белгороде 18/30 сентября 1845 г.: «...я ...сожалею о Польше, униженной, порабощенной, уничтоженной... Печать глубокого уныния лежит на этом крае, на вид богатом, цветущем и хорошо обработанном. Но благоденствие не может заменить ему свободу... Эта страна мне напомнила женщину в богатом наряде, живущую среди роскоши. Находясь под властью грубого мужа, она тяготится своим рабством, втайне оплакивая свое богатство» [Ростопчина, с. 174].

И вот к судьбе этого стихотворения оказался причастен Гоголь. «Ему *первому* прочла она своего *Барона* [т. е. «Насильный брак»]. Гоголь выслушал очень внимательно и просил повторить. После того сказал: “Пошлите без имени в Петербург: не поймут и напечатают”. Мемуарист Н.В. Берг добавляет: «Я слышал это от самой графини» [Воспоминания, с. 503; курсив в оригинале].

Так оно и случилось: стихотворение вместе с четырьмя другими стихотворениями Ростопчиной было опубликовано без подписи в «Северной пчеле» от 17 декабря 1846 г.

Вначале на публикацию не обратили никакого внимания, но вскоре спохватились, разразился скандал, о подробностях которого мы узнаем из дневника А.В. Никитенко. «Январь 5.

Суматоха и толки в целом городе. <...> И цензура, и публика сначала поняли так, что графиня Ростопчина говорит о своих собственных отношениях к мужу... Но теперь оказывается, что барон – Россия, а насильно взятая жена – Польша. Стихи действительно подходят к отношениям той и другой, и как они очень хороши, то их все твердят наизусть». «[*Январь*] 11. Толки о стихотворении графини Ростопчиной не умолкают... Государь был очень не доволен и велел было запретить Булгарину издавать “Пчелу”, но его защитил граф (А.Ф. Орлов, шеф жандармов и начальник III Отделения. – Ю. М.), объяснив, что Булгарин не понял смысла стихов. Говорят, что на это замечание графа последовал ответ: “Если он [Булгарин] не виноват как поляк, то виноват как дурак!”» [Никитенко, т. 1, с. 299–301].

Все это происходило в отсутствие Гоголя, проживавшего за границей (с ноября 1846 г. по 11 мая 1847 г. в Неаполе), и о его реакции на вызванный публикацией скандал ничего не известно. Но каковы же обстоятельства, подсказавшие Гоголю довольно рискованный совет Ростопчиной? Едва ли он разделял ту суровую оценку императора («Старого барона»), которая содержалась в стихотворении, тем не менее он мог принять к сердцу некоторые его мотивы. Это прежде всего сочувственное и заинтересованное отношение к польской эмиграции, проявившееся у Гоголя несколькими годами ранее (см.: кн. 2, с. 183 и далее). Тем более что эпитафия к «Насильному браку» упоминал столь дорогое для Гоголя имя: «Посвящается мысленно Мицкевичу» [Поэты 1840–1850-х годов, с. 99]. Напечатать стихотворение с таким эпитафией было невозможно, но едва ли во время чтения Ростопчина не сказала Гоголю, кого она имела в виду «мысленно».

По возвращении Ростопчиной в Россию зимой 1846/47 г. сближения ее с Гоголем не произошло и встречи их, по-видимому, были редкими. В декабре 1849 г. (как мы еще будем говорить) оба присутствовали на чтении комедии Островского «Свои люди – сочтемся», но на устроенные Ростопчиной субботние литературные вечера Гоголь, по свидетельству Берга, «не заглянул... ни разу» [Воспоминания, с. 503]. Впрочем, это вовсе не свидетельствовало об ухудшении отношений. Гоголь, мы знаем, причислял Ростопчину к умным и добрым женщинам, но еще нуждающимся в истинном воспитании. И этому воспитанию должны были содействовать прежде всего не салонные разговоры, а готовящиеся «Мертвые души».

«Новый Гоголь явился...»

В начале 1846 г. в Рим Гоголю пришло известие о появлении нового писателя – Ф.М. Достоевского, только что опубликовавшего в изданном Н.А. Некрасовым «Петербургском сборнике» (СПб., 1846) роман «Бедные люди». Первым 18 февраля об этом написал Гоголю Языков: «В Питере, по мнению “Отечественных записок”, явился новый гений – какой-то Достоевский; повесть его найдешь ты в сборнике Некрасова. Прочти и скажи мне свое мнение...» Сам Языков не торопился прочитать, потому что его «здешние (т. е. московские. – Ю. М.) благоприятели, читавшие ее, не похваляют ее!» [Переписка, т. 2, с. 425]. Затем известие пришло и из Петербурга; 4/16 марта Плетнев писал Гоголю: «Здесь Белинский с Краевским беснуются за какого-то Достоевского» [Переписка, т. 1, с. 261]. Таким образом, первое, что мог узнать Гоголь о новом писателе, это то, что он очень нравится партии Белинского, Краевского и Некрасова и не нравится его друзьям. Правда, Плетнев в письме к Я.К. Гроту от 9 февраля того же года отозвался о романе более благосклонно [Там же, с. 261], но Гоголю свое новое мнение не сообщил.

В связи с «Бедными людьми» еще до выхода их в свет возникла и тема соперничества молодого писателя с Гоголем. Возникла буквально с первой фразы Некрасова, которую он произнес, передавая рукопись романа Белинскому: «Новый Гоголь явился». И потом эта фраза варьировалась и передавалась от одного к другому, в том числе и среди лиц, знакомых или близких Гоголю.

М. Карташевская – В.С. Аксаковой, из Петербурга, 31 октября 1845 г.: «Говорят, еще явился новый автор, вроде будто бы Гоголя, и его повесть, имеющая будто бы более достоинства гоголевских повестей, печатается в одном петербургском альманахе...» [ЛН. Т. 58. С. 675]. Та же Карташевская, уже по прочтении произведения, 28 января 1846 г. – тому же адресату: «...это далеко, далеко не Гоголь! <...> У Достоевского нет, кажется, большого таланта, но он, кажется, не лишен способностей, и, главное, он без штук, и видна любящая душа в его повести...» [Там же, с. 680]. В.С. Аксакова 25 февраля 1846 г. – М. Карташевской: «Мы также прочли Достоевского, и я согласна с тобой. Странная повесть с большим достоинством, хотя вовсе почти не дает тех освежительных высоких наслаждений художеством, которые мы находим во всяком слове Гоголя...» [Там же].

Несколько иную ноту в общий хор голосов внесла А.М. Виельгорская. «А rgoros, Николай Васильевич, – писала она 18–21 марта из Петербурга, – с первым фельдьегерем мы вам пошлем повесть Достоевского (молодого человека 22 лет) «Бедные люди», которая мне очень понравилась. Прочтите ее, пожалуйста, и скажите мне ваше мнение» [Переписка, т. 2, с. 219]. Отзыв Анны Михайловны предельно краткий, не содержит никаких подробностей или сопоставлений, но зато весьма определенный («очень понравилась»). Тут уместно напомнить, что Гоголь считался с ее умом и вкусом.

Вырванные из сборника страницы с произведением Достоевского Гоголь получил еще в Риме, но ответил Виельгорской уже с дороги, из Генуи, 14 мая н. ст.: «“Бедные люди” я только начал, прочел страницы три и заглянул в середину, чтобы видеть склад и замашку речи нового писателя... В авторе “Бедных людей” виден талант, выбор предметов говорит в пользу его качеств душевных, но видно также, что он еще молод. Много еще говорливости и мало сосредоточенности в себе: все бы оказалось гораздо живей и сильнее, если бы было более сжато. Впрочем, я это говорю еще не прочитавши, а только перелистнувши» [XIII, 66]. Отзыв Гоголя, как говорят, положительный, но умеренный. Капитальных достоинств, нового слова в дебюте молодого писателя он не увидел. Или еще не успел увидеть...

Прочитал ли Гоголь «Бедных людей» полностью – неизвестно. Но известно еще одно свидетельство о его отношении к роману, зафиксированное в воспоминаниях А.О. Смирновой: «В 48-м (т. е. в 1846. – Ю. М.) г. печатался роман Достоевского “Макар Девушкин”, который огорчил покойника. “А у него есть большой талант, жаль, что его перо пишет без остановки, но без руководства. Макар Девушкин оставляет в душе невыразимое чувство безотрадной грусти”» [Смирнова, 1989, с. 69]. Если эти слова были услышаны самой Смирновой, то они относятся к более позднему времени; но возможно и то, что они восходят к приведенному отзыву в гоголевском письме к Анне Виельгорской, с которой Смирнова общалась. Во всяком случае, отзыв, переданный Александрой Осиповной, развивает мотивы предыдущего: отмечены талант, душевная отзывчивость молодого писателя, но в то же время – погрешности общего построения и повествования. Надо сказать, что этот упрек, усиленный во втором отзыве («огорчил покойника»), отвечал художественным критериям Гоголя, требовавшего, чтобы писатель владел своим воображением, как араб своим скакуном...

Вообще же проявленное Гоголем внимание к первому роману Достоевского (его отзывы о других произведениях молодого писателя, в частности о «Двойнике», неизвестны) обусловливалось общим интересом к современной литературе – тут внимание Гоголя привлекли к себе «Тарантас» и «Воспитанница» В.А. Соллогуба, произведения В.И. Даля, И.С. Тургенева и других. «Мне теперь сильно хотелось прочесть повестей наших нынешних писателей, – пишет он 21 апреля н. ст. 1846 г. Н.М. Языкову. – Они производят на меня всегда действие возбуждающее... В них же теперь проглядывает вещественная и духовная статистика Руси, а это мне очень нужно» [XIII, 52]. Или в уже известном нам письме к А. Виельгорской: «Напрасно вы оторвали одних “Бедных людей”, а не прислали весь сборник, я бы его прочел, мне нужно читать все новые повести; в них хотя и вскользь, а все-таки проглядывает современная наша жизнь» ([Там же, с. 66]; упомянутый «Петербургский сборник» был выслан Гоголю позднее с отправлявшимся за границу М.Ф. Самариним [Переписка, т. 2, с. 222]).

Словом, его интерес имел определенную практическую направленность. Современники, например художник Ф.И. Иордан, жаловались, что Гоголь утилитарно подходил к друзьям и знакомым, рассматривая их как источник и стимул для своих художественных впечатлений: «...он все только брать хочет» (см.: кн. 2, с. 345). Несколько похожим было в это время и его отношение к литературным произведениям. Поэтому для Гоголя, говоря его словами, имели «много цены даже и те повествован<ия>, которые кажутся другим слабыми и ничтожными относительно достоинства художественного». Поэтому он мог не увидеть или не отметить нового слова, содержащегося в художественном дебюте Достоевского. Поэтому никак не прореагировал или остался равнодушным к начинавшей входить в моду параллели «Достоевский–Гоголь», к тому, что в молодом писателе видели его соперника или подражателя. Разве что прореагировал на эту параллель своеобразно, непроизвольно дав повод для довольно комического эпизода.

...Чуть позже, 20 июня н. ст. 1847 г., находясь уже во Франкфурте-на-Майне, Гоголь обратился к проживающему в Петербурге Н.Я. Прокоповичу с просьбой: «Разузнай, пожалуста, какой появился другой Гоголь, будто бы мой родственник. Сколько могу помнить, у меня родственников Гоголей не было ни одного, кроме моих сестер, которые, во-первых, женского рода, а во-вторых, в

литературу не пускаются». Видно, Гоголя больше всего встревожило то обстоятельство, что самозванец «пущен» в литературу, и поэтому он заканчивает свое письмо прямой угрозой: «Тому же, кто выступает под моим именем, не худо бы как-нибудь дать знать стороной, чтобы он выступал под собствен<ным> именем... Верно же будет ему неприятно, если я сделаю какое-нибудь печатное объяв<ление>» [XIII, 325–326].

Однако необходимость в «печатном объявлении» отпала. «Поручение твое о появившемся здесь... твоим однофамильцем выполнил, – сообщал Прокопович 27 июня того же года, – но никаких следов его здесь не отыскалось, никто ни о чем подобном в Петербурге не слышал, и не знаю, откуда к тебе дошли эти вести» [Переписка, т. 1, с.128].

Очень может быть (как предположил И. Волгин), что все эти слухи («вести») возникли на почве той реакции, которую вызвал литературный дебют Достоевского: «новый Гоголь явился»...

### «Беспрерывная дорога»

Около 5 мая 1846 г. Гоголь покинул Рим. Началась опять разъездная жизнь: Франция, Бельгия, Германия... В Италию он вернется только в ноябре.

Причина отъезда обычная: Гоголь бежит от изнуряющей летней жары. И еще: надежды на целительную силу дороги. «Еду я для того, чтобы ехать. Езда, как вы знаете, мое всегдашнее средство...» (5 мая н. ст., С.Т. Аксакову [XIII, 62]).

Следуют знакомые города: 10 мая Гоголь во Флоренции, 14-го – в Генуе, 15-го – в Ницце. Он направляется во Франкфурт, к Жуковскому, но на пути решает заехать в Париж, «единственно для того, чтобы взглянуть на моего доброго гр<афа> А<лександра> П<етровича> Толстого» [XIII, 65]. Толстой жил в той же гостинице «Вестминстер» на Rue de la Paix, где годом раньше останавливался и Гоголь. Здесь же он провел несколько дней и на этот раз, – было это в конце мая.

В это время через Париж проезжал Анненков, случайно узнавший о приезде Гоголя и, конечно, не преминувший с ним встретиться.



Со времени их совместного пребывания в Риме в первой половине 1841 г., когда Анненков под диктовку Николая Васильевича переписывал «Мертвые души», прошло пять лет.

Гоголь постарел, но приобрел особого рода красоту, которую нельзя иначе определить, как назвав красотой мыслящего человека. Лицо его побледнело, осунулось; глубокая, томительная работа мысли положила на нем ясную печать истощения и усталости, но общее выражение его показалось мне как-то светлее и спокойнее прежнего. Это было лицо философа. Оно оттенялось по-старому длинными, густыми волосами до плеч, в раме которых глаза Гоголя не только что не потеряли своего блеска, но, казалось мне, еще более исполнились огня и выражения.

Гоголь направлялся из гостиницы «Вестминстер» в Тюльерийский сад и предложил Анненкову его проводить. «На пути он подробно расспрашивал, нет ли новых сценических талантов, новых литературных дарований, какого рода и свойства они, и прибавлял, что новые таланты теперь одни и привлекают его любопытство: “старые все уже выболтали, а все еще болтают” Он был очень серьезен, говорил тихо, мерно, как будто весьма мало занятый своим разговором» [Анненков, 1983, с. 115–116].

Обратим внимание: разговор этот имел место вскоре после знакомства Гоголя с «Бедными людьми»; следовательно, говоря о «новых талантах», он мог иметь в виду и роман Достоевского. И еще: о литературной ситуации, о новинках Гоголь выспрашивает человека другого, нежели он сам, направления, представителя «партии Белинского», той самой, которая, по словам Языкова, подняла на щит «Бедных людей». Гоголь делает подобное не в первый раз: его интересуют разные мнения, он не хочет привязывать себя к точке зрения одного кружка или группы. Это не противоречит его прагматизму в отношении к писателям или книгам. Наоборот: по примеру Мольера, он хочет брать свое добро там, где оно найдется (эта фраза, приписываемая французскому драматургу, получила во времена Гоголя широкое хождение).

Состоялась и еще одна, вторая встреча Анненкова с Гоголем – «в большом обществе, в гостиной семейства, которому он сопутствовал», т. е. в номере А.П. Толстого отеля «Вестминстер»<sup>1</sup>.

Николай Васильевич сидел на диване и не принимал никакого участия в разговоре, который вскоре завязался около него. Уже к концу беседы, когда зашла речь о разнице поучений, какие даются наблюдением двух

разных народов, английского и французского, и когда голоса разделились в пользу того или другого из этих народов, Гоголь прекратил спор, встав с дивана и проговорив длинным, протяжным тоном: «Я вам сообщу приятную новость, полученную мною с почты» [Там же, с. 116].

И затем Гоголь «прочел новую “Речь”» одного из известных духовных витий наших. Речь была действительно недурна, хотя нисколько не отвечала на возникшее прение и не разрешало его нимало.

«Прение» о французских уроках («поучениях») касалось социально-политической роли Франции в современной истории, роли радикальной и революционной. Поскольку «прение» было связано с разговором, завязавшимся «около него» (Гоголя), то повторилась ситуация, имевшая место пять лет назад в Риме и уже описанная Анненковым. Тогда Гоголь выступил с определенным «отрицанием Франции», хотя и не стал настаивать на своем мнении (см.: кн. 2, с. 289). Новое теперь – появившаяся «английская карта», вызванная, возможно, планами поездки в Англию А.П. Толстого, но главное – собственными раздумьями Гоголя о роли Англии: через несколько месяцев он будет заинтересованно обсуждать эту тему и с Хомяковым, и с тем же Анненковым. Но пока Гоголь решил уклониться от спора, переключив внимание на новое произведение Филарета (В.М. Дроздова): «один из известных духовных витий наших» – это, конечно, митрополит московский и коломенский<sup>2</sup>.

Из Парижа, как и было обещано, Гоголь в начале июня едет к Жуковскому во Франкфурт-на-Майне, но задерживается здесь ненадолго: он спешит для лечения в Греффенберг. По дороге Гоголь продолжает обдумывать «Выбранные места...», продолжает работать; так, его огромное письмо из Праги от 6 июня н. ст. 1846 г. по существу является черновой редакцией статьи «Что такое губернаторша». «Друг мой, – обращается Гоголь в Смирновой, – вспомните вновь мои слова... глядеть на Калугу, как на лазарет. Глядите же так! Но прибавьте к этому еще кое-что, а именно: уверьте себя, что больные в этом лазарете ваши родные, близкие сердцу вашему, и тогда все перед вами изменится: вы с ними примиритесь и будете враждовать только с их болезнями». И не следует считать, что «болезни эти неизлечимы» – нужно только найти сведущего доктора. Ну хотя бы его, Гоголя. Ведь признавалась же Александра Осиповна, что он помог ей «в душевном деле». «Неужели вы

думаете, я не сумел бы так же помочь и вашим неизлечимым больным? Вы позабыли, что я могу и помолиться, молитва моя может достигнуть и до Бога, Бог может послать уму моему вразумление, а ум мой, вразумленный небесной милостью его, может распутать и это дело так же, как распутывал и другие» [XIII, 69]. Этот пассаж почти дословно был включен Гоголем в текст книги.

Около 16 июня Гоголь – в Греффенберге-Фрейвальдау, курорте в австрийской Силезии, в гористой местности, славившемся своею водолечебницей. Гоголь уже лечился здесь около года назад по методу Винсента Присница, но на этот раз без ощутимого результата. И окружение не способствовало подъему настроения. «И Греффенберг и Фрейвал<ь>дау грустны, почти не души; кроме бедного Дегалета, который еле ходит с закрытыми глазами и ничего не видит, только двое русских. Один армейский полковник Быков, другой какой-то Лосев» [XIII, 81]. О Быкове и Лосеве ничего не известно, о Дегалете же – лишь то, что он адъютант кн. А.С. Меншикова, лечившийся от апоплексического удара, по словам А.О. Роскета, «очень добрый и простой малый» [Шенрок, т. 4, с. 340].

Пребывание в Греффенберге-Фрейвальдау скрасила Гоголю встреча с кн. Александром Ивановичем Бярятинским (1814–1879), «умным и замечательным человеком» [XIII, 81]. Они виделись и раньше: в конце 1838 – начале 1839 г. Бярятинский находился в Риме в свите наследника; тогда он, между прочим, встречался и с больным Иосифом Виельгорским, разделяя его интерес к материалам по русской истории. В Греффенберге, по словам Гоголя, они с Бярятинским сошлись «ближе», и это впоследствии подсказало писателю мысль привлечь князя к филантропическому предприятю: «У него душа добрая... Мне кажется, что ему не достаает для полного себя укомплектованья близкого знакомства с половиной страждущею людей и практического познания затруднительных их положений под условием прижимающих и гнетущих их обстоятельств» [XIII, 122]. В такой несколько витиеватой манере Гоголь подразумевает свой план переиздания «Ревизора» в пользу бедных.

К концу пребывания на курорте Гоголь пришел к выводу, что «дорога действует лучше», чем лечение. «Видно, на то воля Божья, и мне нужно более, чем кому-либо, считать свою жизнь непрерывной дорогой и не останавливаться ни в каком месте иначе, как на временный ночлег и минутное отдохновение» [XIII, 84]. С этою мыслью он отправился в Карлсбад, продолжая обду-

мывать и сочинять свою новую книгу. Из Карлсбада, в частности, он посылает Плетневу (4 июля н. ст.) письмо «Об Одиссее, переводимой Жуковским», которое должно было появиться сначала в виде отдельной статьи<sup>3</sup>, а потом войти в «Выбранные места...».

Из Карлсбада Гоголь направился в Швальбах, чтобы вновь встретиться с Жуковским, принимающим здесь ванны, а заодно и самому попробовать это средство, но по пути, в Бамберге, опять увиделся с Анненковым. Странствующий любитель искусства, Анненков заехал в Бамберг, чтобы осмотреть расположенный на горе знаменитый собор в романском стиле, и когда, уже полный впечатлений, он спускался с горы, то заметил вдали подымающегося человека, очень похожего на Гоголя. Невольно Анненков впал в тон гоголевского стиля мышления, т. е. он «с изумлением подумал об этой странной игре природы, которая из какого-нибудь почтенного бюргера города Бамберга делает совершенное подобие автора “Вечеров на хуторе”». Однако это было не подобие, а сам оригинал: Гоголь ехал в дилижансе, очевидно, в Швальбах, и воспользовался часовой остановкой для осмотра собора.

Пришлось Анненкову вновь подниматься в гору к собору, чтобы поделиться с Гоголем только что полученными впечатлениями и сведениями, но Николай Васильевич от такой помощи отказался: «Вы, может быть, еще не знаете, что я сам знаток в архитектуре».

В Бамберге Анненков провел с Гоголем еще меньше времени, чем в Париже, час или несколько больше, но этого было достаточно, чтобы заметить в писателе разительные изменения. «Это был совсем другой Гоголь, чем тот, которого я оставил недавно в Париже, и разнился он значительно с Гоголем римской эпохи». То есть «разнился» не только с Гоголем пятилетней давности, но и с тем, каким он был всего два месяца тому назад! «Все в нем, — продолжает мемуарист, — установилось, определилось и выработалось».

В Париже Гоголь уклонился от разговора об уроках Франции и Англии для современного мира, — надо полагать, для России прежде всего. В Бамберге он рассуждал на эти темы охотно и определенно — «с какой-то задумчивостью, исполненной еще страсти и сосредоточенной энергии... мерным, отрывистым, но пламенным словом стал делать замечания об отношениях современного европейского мира к быту России... “Вот, — сказал он раз, — начали бояться у нас европейской неурядицы — пролетариата... думают, как из мужиков сделать немецких фермеров...»

А к чему это?.. Можно ли разделить мужика с землею?.. Какое же тут пролетариатство? Вы ведь подумайте, что мужик наш плачет от радости, увидав землю свою; некоторые ложатся на землю и целуют ее, как любовницу. Это что-нибудь значит?.. Об этом-то надо поразмыслить” Вообще он был убежден тогда, что русский мир составляет отдельную сферу, имеющую свои законы, о которых в Европе не имеют понятия» [Анненков, 1983, с. 119].

Определенность суждений Гоголя обуславливалась тем, что он во многом закончил работу над «Выбранными местами...»; обуславливалось и значением, которое придавалось им этой книге. Отсюда – многозначительные намеки и обещания на будущее.

Анненкову Гоголь посоветовал приехать на зиму в Неаполь, где он и сам собирался провести время: «Я открою тогда секрет, за который вы будете меня благодарить». Анненков подумал, что этот «секрет» связан с предстоящим путешествием писателя к Гробу Господню, о чем многие знали, и с поисками попутчика, но Гоголь возразил: «Конечно, это дело хорошее... мы могли бы вместе сделать путешествие, но прежде может случиться еще нечто такое, что вас самих перевернет...»

Реплика, переданная мемуаристом, хорошо вписывается в контекст письменных обращений Гоголя к своим корреспондентам в это время: тот же таинственный тон, провиденциальность, торжественность. Ю.Ф. Самарину, начало июля н. ст.: «Благодарю вас весьма много за ваше письмо... Ответ на него будет потом <...> вами неожиданным образом» [XIII, 86]. П.А. Плетневу, 4 июля н. ст.: «Приходит уже то время, когда все объяснится» [XIII, 85]. Н.М. Языкову, 21 июля н. ст., в связи с его стихотворением «Сампсон»: «Твой “Сампсон” прекрасен; от него дышит библейским величием. Но смысл его я понимаю так: Сампсон, рассерженный своими врагами, глумящимися над его бессилием, происшедшим от забвения высшего служения Богу, ради всяких светских мелочей, потрясает наконец храмину, дабы погубить в своих врагах врагов себе и вместе с ними погубить прежнего самого себя, дабы на место его явился вновь еще сильнейший силач, служащий Богу» [XIII, 90]. Е.А. Свербеева, узнавшая о гоголевском отзыве от Языкова, заметила: «...Видится в этих словах это новое его сочинение» [ЛН. Т. 58. С. 685], т. е. обещанные «Выбранные места...».

Последнюю декаду июля Гоголь проводит в Швальбахе вместе с Жуковским. Отсюда же 30 июля н. ст. высылает Плетневу первую тетрадку с рукописью «Выбранных мест...» и настоятель-

но просит: «Все свои дела в сторону, и займись печатаньем этой книги... Она нужна, слишком нужна всем...» [XIII, 91–92].

Необходимо соблюдение строжайшей тайны, только занятый изданием Плетнев и цензор должны быть посвящены в дело. Плетнев – «как наивернейший друг», цензор – по необходимости.

«Выбранные места...» должны выйти к середине сентября, тогда же, когда и второе издание «Мертвых душ» со специальным предисловием, которое будет послано позднее. К этому времени, т. е. к середине сентября, Гоголь рассчитывает быть в Неаполе и получить на руки первые экземпляры. Этим и объясняется приглашение Анненкову приехать именно в Неаполь.

В том же письме к Плетневу Гоголь просит его озаботиться вторым изданием «Выбранных мест...»: писатель уверен, что «книга эта разоидется более, чем все мои прежние сочинения».

Продолжая свое путешествие, Гоголь к 1 августа н. ст. приезжает в Эмс, откуда отправляет письмо к А.В. Никитенко: именно ему поручается роль цензора. Просьба все та же – хранить тайну, «чтобы осталось только между вами и Плетневым» [XIII, 93].

В Эмсе, между прочим, у Гоголя состоялась еще одна встреча с земляками – это брат А.П. Толстого Иван Петрович с молодой женой Софьей Сергеевной (урожденной графиней Строгановой), которая лечилась в эмских водах. «Они, кажется, обоюдно счастливы, – сообщал Гоголь А.П. Толстому, – хотя оба не весьма знакомы с опытной жизнью грешного мира сего» [XIII, 96]. И граф и графиня показали Гоголю «очень добрыми людьми»; общение с ними он продолжит и позже, в Неаполе.

## Остенде – Франкфурт-на-Майне

Из Эмса Гоголь в первых числах августа едет в Остенде, где задерживается примерно на месяц, чтобы пройти курс лечения. Он уже бывал здесь двумя годами раньше, с большой пользой купаясь в прохладных водах Северного моря, и надеялся, что эта процедура благотворно подействует на него и на этот раз.

Две-три «морские бани» Гоголь принял «без отвращения», но и «без особенного удовольствия» [XIII, 96], но дней через де-

сать почувствовал желаемое освежение. А это значит, что можно с новыми силами приниматься за работу.

В Эмс Гоголь решил приехать и потому, что здесь больше бывает русских. «Мне же особенно нужно бежать от тоски, которая меня наиболее одолевает тогда, когда нет с кем провести вечер и сколько-нибудь позабыть в беседе тягость и трудность дня» [XIII, 81]. И действительно, в окружении Гоголя в Эмсе оказалось несколько земляков: Николай Иванович Мещерский (1798–1862), гвардии подполковник, разбитый параличом; его жена Александра Ивановна (ум. 1873), урожденная княжна Трубецкая. Затем еще Софья Ивановна Борх (1809–1871), дочь французского эмигранта и крупного чиновника графа И.С. Лавалля, фрейлина, бывшая замужем за дипломатом Александром Петровичем Борхом. Супругов Борхов, а также все семейство Лавалей знал Пушкин. Была знакома с ними и Смирнова-Россет.

Однако сколько-нибудь тесных контактов с земляками у Гоголя не возникло, и он ждет не дожидается приезда А.П. Толстого, о чем просил, а может быть, и договорился с ним еще раньше. «Что с вами? Где вы? И отчего до сих пор от вас ни одной строчки?» [XIII, 93] – пишет он Толстому из Остенде 6 августа н. ст.

Желание увидеться с ним было так велико, что Гоголь сам на несколько дней отправился в Париж. Сделать это было не так трудно: из Остенде до Парижа лишь «день езды... по железной дороге» [XIII, 270], о чем позднее Гоголь сообщал Плетневу явно на основе собственного опыта. Эта поездка приходится на период между 10 и 20 августа. В Париже, между прочим, Гоголь познакомился с Михаилом Федоровичем Самариным (1824–1848), который передал ему письмо от Юрия Федоровича<sup>4</sup>.

А затем для возвратившегося в Остенде Гоголя наступили радостные дни: кончилось его одиночество, когда сюда наконец приехал граф А.П. Толстой – и не один, а с братьями Мухановыми, почти на целый месяц – «ради морского купания» [XIII, 97].

Братья Мухановы – это два сына сенатора Алексея Ильича Муханова (ум. в 1836). Старший из них, Николай Алексеевич (1802–1871), был адъютантом петербургского генерал-губернатора П.В. Голенищева-Кутузова, поручиком лейб-гвардии гусарского полка, позднее товарищем министра народного просвещения и министра иностранных дел, членом Государственного совета и сенатором. Тремя годами младше был его брат Владимир Алексеевич (1805–1876), камер-юнкер и «архивный юноша», т. е. один из молодых служащих Московского главного архива Министерства

иностранных дел, где он занимал должность переводчика. Нужно еще добавить, что оба брата были хорошо знакомы с Пушкиным.

Знала Мухановых и Смирнова-Россет, восхищавшаяся их взаимоотношениями: «Братья обожали друг друга, не говорили друг другу ты и называли всегда по имени и отчеству» [Смирнова, 1989, с. 395].

Гоголь был подготовлен к встрече с Мухановыми письмом А.О. Россета от 29 июля 1846 г.: «Я их вам рекомендую; оба очень хорошие люди; особенно со вторым, мне кажется, вы бы сошлись» [Шенрок, т. 4, с. 390]. И Гоголь действительно «сошелся», и не только со вторым, т. е. Владимиром Алексеевичем, но с обоими. Они стали видаться чуть ли не ежедневно, причем от Мухановых не укрылись перемены в умонастроении писателя.

29 августа н. ст. Владимир Муханов сообщал сестрам из Остенде: «Здесь мы нашли Гоголя, с которым познакомились. Он очень замечателен, в особенности по набожному чувству, христианской любви и складной, правильной речи...» И несколько позже, в письме от 5 сентября н. ст.: «Продолжаем довольно часто видаться с Гоголем; он внушает сочувствие и особенно приятен, как человек истинно-верующий и которого Бог посетил своею благодатью». Владимиру вторит Николай Муханов в письме от 20 сентября н. ст.: «Здесь Гоголь, которого мы довольно часто видим. Никак нельзя сказать, чтобы это был автор “Тараса Бульбы”, “Старосветских помещиков” и “Записок сумасшедшего”, – прочих его творений я не люблю. Впрочем, он очень теперь набожен, что, вероятно, переменит и направление его сочинений» [Миловский, с. 9–11].

В том же письме, где говорится о наследовании Гоголем высшей благодати, Владимир Муханов передает и такой эпизод. «На днях я встретил его [Гоголя] на берегу моря, вечер был прекрасный и месяц светил чудесно...

– Знаете ли, сказал он, что со мной сейчас случилось? Иду и вдруг вижу перед собой луну, посмотрел на небо, и там луна такая же. Что же это было? Лысая голова человека, шедшего передо мною» [Там же. С. 10].

При всей набожности юмор и склонность к балагурству не оставили Гоголя...

Мухановы в курсе планов и намерений писателя. «Через несколько дней, – сообщает Владимир Алексеевич 26 сентября н. ст., – едет он в Франкфурт для свидания с Жуковским, оттуда в Италию, где проживет два, три месяца и потом отправится



в Иерусалим. Он жалуется на здоровье и даже с трудом может переносить римскую зиму» [Там же. С. 11].

Общение Гоголя с братьями Мухановыми продолжится и по возвращении его на родину, когда он будет посещать их московский дом на Остоженке, в приходе церкви Воскресения. По-видимому, особенно близок Гоголю (как предвидел А.О. Россет) стал Владимир Алексеевич; это подтверждается тем фактом, что при намеченном переиздании «Ревизора» в пользу бедных писатель назвал его в числе лиц, «принявших на себя раздачу вспомоществований» [Гоголь, ак., т. 4, с. 103].

...Улучшившимся самочувствием, подъемом настроения Гоголь спешит воспользоваться, чтобы закончить «Выбранные места...». «Работаю от всех сил над перечисткой, переделкой и перепиской» [XIII, 98], – сообщает он Плетневу 25 августа н. ст. Одновременно высылается вторая тетрадка рукописи, а затем с двухнедельными интервалами – третья и четвертая. В Остенде Гоголь, очевидно, пишет и предисловие ко второму изданию «Мертвых душ», которое высылает Плетневу уже 3 октября н. ст., по прибытии во Франкфурт-на-Майне.

Город этот был хорошо знаком Гоголю: он приезжает сюда уже в шестой раз, начиная с лета 1836 г. Четыре последних посещения связаны с пребыванием здесь Жуковского, у которого Гоголь останавливается и на этот раз, в уже знакомом ему доме: Saxenhausen, Salzwedelsgarten vor dem Schaumeinthor, где он прожил примерно 20 дней, с 3-го по начало 20-х чисел октября.

Все это время прошло в напряженном ежедневном труде. Гоголь пишет «Развязку Ревизора», «Предупреждение» к задуманному новому изданию той же комедии, но больше всего занят завершением «Выбранных мест...».

Гоголь видит себя накануне важного события – сбора заслуженной «жатвы». «Приходит время, когда должна объясниться хотя отчасти свету причина моего молчания и моей внутренней жизни» (А.О. Смирновой, 15 октября н. ст. [XIII, 109]). «Друг мой, я действовал твердо во имя Бога, когда составлял мою книгу, во славу его святого имени взял перо, а потому и расступились перед мною все преграды...» (П.А. Плетневу, 20 октября н. ст. [XIII, 112]). Даже несколько расстроившееся по сравнению с пребыванием в Остенде здоровье не печалит его: «...Бог все творит, верно, к какому-нибудь новому душевному добру» [VIII, 109].

16 октября н. ст. Гоголь высылает Плетневу пятую, заключительную тетрадку «Выбранных мест...». Одновременно дает распоряжения и советы, как обойти возможные преграды: если цензор Никитенко проявит робость, то напечатать корректурные листы и поднести их «на прочтение государю». Тут надо привлечь и Смирнову-Россет с ее связями при дворе: «она сумеет, как это устроить». Если же возникнут осложнения по части духовной цензуры, то не действовать официально, но в обход, полагаясь на человеческие связи, т. е. призвать к себе духовного цензора и потолковать с ним «лично».

Пришло время подумать и о дарении книг. Плетневу поручается по выходе «Выбранных мест...» «приготовить экземпляры и поднести всему царскому дому, до единого, не выключая малолетних, всем великим князьям, детям наследника», т. е. Александра Николаевича, «детям Марь<и> Никола<е>вны», дочери Николая I, «всему семейству Михаила Павловича», т. е. брата императора. При этом Плетнев должен объяснить, что дарящий не связывает с этим никаких практических целей, не ждет для себя никаких благ (ибо «вследствие и болезненного своего состояния, и внутреннего состояния душевного, меня не занимает все то, что может еще шевелить и занимать человека, живущего в свете»), но делает это лишь потому, что «все, относящееся к их дому, стало близко моей душе...» [XIII, 113].

Что касается продажи книги, то связанную с этим практическую цель Гоголь не скрывает – собрать деньги для предстоящего путешествия на Восток, к Гробу Господню.

Намечается и новый срок паломничества – первые числа февраля следующего, 1847 г. Но и этот срок не будет выдержан.

Последние дни пребывания Гоголя в доме Жуковского были омрачены болезнью Елизаветы Алексеевны, жены поэта. Вначале это было физическое недомогание, потом психическое; о его проявлениях Жуковский сообщал Гоголю уже по его отъезде: наступила болезнь «мучительная, неотступная, та, которую вы слишком знаете, но которую знаете в другом и, я думаю, менее суровом виде, – нервы ее сильно расстроены; беспрестанная тоска физическая, выражающаяся в страхе смерти, и беспрестанная тоска душевная, выражающаяся в совершенной безнадежности. Никакая сила не может отторгнуть от нее этих черных мыслей» [Переписка, т. 1, с. 196]. Да, Гоголь «слишком знал», что это за болезнь, но, к счастью, ему не пришлось на этот раз быть ее свидетелем: обычно он обостренно, в тон реагировал на состояние Елизаветы Алексеевны.

Перед отъездом из Франкфурта Жуковский подарил Гоголю записную книжку, на обороте переплета которой стоит дата: «1846, 8 (20) октября» [VII, 427]. Гоголь тотчас же ответил запиской: «Нельзя было лучше и кстати сделать подарка. Моя книжка вся исписалась. Подарку дан был поцелуй, а в лице его самому хозяину» [XIII, 111].

Гоголь отправлялся в дорогу с сознанием выполненного долга: все пять тетрадок его новой книги отосланы в Петербург, и теперь можно было ожидать ответной редакции.

### «Исходы, средства и пути...»

В ходе работы над «Выбранными местами...» Гоголь укрепился в тех принципах, с которыми с самого начала связывалось написание книги. Это должно быть произведение особого жанра, практического, активного, с установкой на непосредственное, прямое воздействие на читателей. Никогда еще с такой силой и настойчивостью Гоголь не выражал «волю к *общественному действию*» [Флоровский, с. 265; курсив в оригинале]. По отношению же к «Мертвым душам» произведение выполняло роль некоторой компенсации, поскольку в краткой, так сказать, итоговой форме сообщало «идеи» его главной книги, и в то же время – роль упреждающую, провокативную, пробную, поскольку должно было обнаружить, в какой мере автор готов высказать свое новое слово, а публика готова его принять и усвоить. Все эти качества Гоголь обозначал одним определением – «дельный» («первая моя дельная книга...»), и по мере реализации замысла «дельность» ее направления раскрывалась все отчетливее.

«Выбранные места...» часто называют утопией: «это – не “реальная политика”, а чистая романтическая утопия...» [Мочульский, с. 100]; это «бюрократическая утопия», «патриархальная утопия», «утопия феодальная» [Гиппиус, 1966, с. 186]; произведение посвящено «созданию образа идеального государства. Этот пафос дает основание рассматривать “Переписку” как своеобразную утопию» [Крутикова, с. 295] и т. д.

Действительно, момент должного, совершенного и в этом смысле идеального играет у Гоголя важную роль, но в то же время



«Выбранные места из переписки с друзьями»  
*Титульный лист*

все у него сложнее, оригинальнее. Прежде всего книга отклонялась от утопии в жанровом отношении: утопия резко противостоит реальности как воображаемая сущность, как *другая* действительность; уже самой этимологией этого понятия задана установка на такое восприятие (утопия *греч.* – место, которого нет)<sup>5</sup>. Отсюда выбор и сценической площадки, резко отграниченной от «нашего» мира: остров («Остров», 1838 – название незаконченного произведения И.В. Киреевского), иной материк или иная планета; отсюда и особая мотивировка «попадания» на это место (сон, видение, дальше, подчас космическое путешествие и т. д.). Отсюда, наконец, и особое время утопии – отдаленное прошлое или не менее отдаленное, запредельное будущее, о чем говорят уже названия (роман Л. Мерсье «Год 2440», роман А.Ф. Вельтмана «МММСДХLVIII [т. е. 3448] год. Рукопись Мартына Задеки»). Кстати, по тому же принципу временного или пространственного отдаления строятся и антиутопии: неприступный остров-утес в

«Городе без имени» В.Ф. Одоевского, будущее у Дж. Оруэлла в романе «1984» (написан в 1948) и т. д.

Конечно, если произнести все необходимые оговорки и уточнения, то можно и «Выбранные места...» посчитать утопией, но только *особой* утопией, как это и сделал Чижевский: «Утописты помещали свои утопии, как правило, в далекое будущее, иногда – в далекое прошлое (например, в христианских утопиях, когда в первоначально-христианском [im Urchristentum] видели идеальный порядок; или в далекую (и, в общем, не существующую) страну. Напротив, утопия Гоголя, если так можно сказать, – это “утопия современности”» [Чижевский, 1978, с. 355].

Поэтому в «Выбранных местах...» все должно было быть заведомо узнаваемое, т. е. свое, близкое, российское и русское. Чтобы увидеть этот мир, не надо никуда лететь или плыть, достаточно пристально посмотреть вокруг себя, так, как это умеет (и чему учит) автор. И обращается автор к своим современникам, часто названным по имени или легко узнаваемым [ср.: Егоров, 2007, с. 185–186]. И материал, которым оперирует Гоголь как мыслитель (и ставит своей целью оперировать и как художник), – это не идеальная субстанция, но земная, грешная, раздираемая противоречиями человеческая натура. По словам Гиппиуса, в период «Выбранных мест...» «особенное значение в гоголевской теории и практике исправления имеет обращение к добру *искаженных* качеств» [Гиппиус, 1924, с. 174; курсив в оригинале].

Как это происходит конкретно, можно увидеть из гоголевского наброска, напечатанного под условным названием «Размышления о героях “Мертвых душ”». Здесь фигурируют те же «герои»: Собакевич и Коробочка, но каждый повернут другой, незнакомой читателю стороной, в каждом отмечены достоинства, порой неразрывно связанные с недостатками. Так, Коробочка, далекая от каких-либо современных веяний, «не читавшая и книг никаких», умела в деревне сохранить «порядок», «души в ломбарт не заложены», церковь цела, и служба ведется «исправно». Собакевич, «уж вовсе не благородный по духу и чувствам, однако же не разорил мужиков, не допустил их быть ни пьяницами, ни праздношатайками...» [VI, 690]. Отсюда вывод, провозглашенный в «Выбранных местах...»: «Мы призваны в мир не затем, чтобы исправлять и разрушать, но, подобно самому Богу, все направлять к добру – даже и то, что уже испортил человек и обратил во зло» [VIII, 227].

Укорененность в настоящем, опора на настоящее – чуть ли не девиз Гоголя периода «Выбранных мест...»; ради этого он

даже готов поступиться даром ясновидца, визионера, угадчика – в пользу вседневной и прозаической работы наблюдателя. «Велика важность угадать! Стоит только попристальнее взглядеться в настоящее, будущее вдруг выступит само собою. Дурак тот, кто думает о будущем мимо настоящего: он или соврет, или скажет загадку». Это, между прочим, чуть ли не специально сказано об авторах утопий с их фантастическими, подчас таинственными видениями, целящими «мимо настоящего». «Оттого и беда вся, – продолжает Гоголь, – что мы не глядим в настоящее, а помышляем о будущем... Все позабыли, что пути и дороги к этому светлому *будущему* сокрыты именно в этом темном и запутанном *настоящем*, которого никто не хочет узнавать, считает его низким и недостойным своего внимания!» [XIII, 79; курсив в оригинале]. По причине неисполнения этого требования Гоголь, как мы уже знаем, обречен на сожжение в 1845 г. первую редакцию второго тома «Мертвых душ»: «...нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости...» [VIII, 298]. Скрыт в этом упреке и элемент самокритики, адресованной прежним своим произведениям, прежней авторской позиции: «Пока я еще мало входил в мерзости, меня всякая мерзость смущала, я приходил тогда в уныние от многого в России, и мне за многое становилось страшно. С тех же пор, когда я стал побольше всматриваться в мерзости, я просветлел духом. Передо мной стали обнаруживаться исходы, средства и пути» [XIII, 79–80].

Прежде всего: в чем же «исходы»? В исконной социальной структуре России, представляющей совершенный, идеальный план государственного строения и жизнестроения. «Все наши должности в их первообразе прекрасны и прямо созданы для земли нашей». Метко замечено исследователем: «Основная категория у Гоголя есть *служба* – даже не служение...» [Флоровский, с. 266; курсив в оригинале]. Служба в тех учреждениях, которые уже существуют.

А в чем «средства и пути»? В том, чтобы «ввести всякую должность в ее законные границы и всякого чиновника губернии в полное познание его должности. В последнее время все почти губернские должности нечувствительным образом выступили из пределов и границ, указанных законом. Одни слишком стали обрезаны и стеснены, другие раздвинулись в действиях в ущерб прочим...». Нужно каждую из них преобразовать в соответствии «с первообразом ее, который уже почти вышел у всех из головы»

[VIII, 354, 353, 354]. Гоголь говорит о «губернских должностях», поскольку предмет этого «письма» – «Занимающему важное место» – устройство дел в губернии; но по существу подразумеваются все должности, вся общественно-государственная система,веряемая божественным планом. В России «все места святы», «всякое званье и место требуют богатства» [VIII, 292, 291].

Значит, этот план отмечен национальной, русской печатью, что особенно видно из тех поправок, которые Гоголь впоследствии внес в упомянутое «письмо». О дворянстве в первоначальной редакции было сказано: «Сословие это в своем ядре прекрасно, несмотря на шелуху, его облекающую». Стало: «Сословие это в своем *истинно русском ядре* прекрасно, несмотря на временно наросшую чужеземную шелуху». Было: «Государь любит это сословие больше всех других, но любит в его истинном виде». Стало: «Государь любит это сословие больше всех других, но любит в его *истинно русском* значении, в том прекрасном виде, в каком оно должно быть по духу самой земли нашей» [XIII, 105].

Словом, «должности» – это идеальные в своей основе предназначения, или поприща, как в административном, так и в общественном и даже художественно-творческом аспектах. К этим идеалам нужно и можно стремиться при всем их разнообразии и множестве. Показательно, например, что в «Развязке Ревизора» Первый комический актер говорит о своем «поприще» и даже называет себя «чиновником» («...честный чиновник великого Божьего государства» [Гоголь, ак., т. 4, с. 123]). Вот как: актер – чиновник!..

Но оказывается, подобные же категории применимы и к семейно-личной сфере; поэтому, как мы уже говорили, «женщина в свете» (название одного из «писем») – тоже должность, не менее важная, чем «прокурор» или «губернатор». И такая же должность – «жена» в семейном кругу, предписание для которой содержится в специальном письме: «Чем может быть жена для мужа в простом домашнем быту, при нынешнем порядке вещей в России».

Синонимом понятий «должность» и «служба» выступает часто слово «место»; оно особенно удобно потому, что пространственно, физически, буквально определяет ту точку, в которой должен находиться каждый и которая предуказана ему свыше: «Всякому теперь кажется, что он мог бы надеть много добра на *месте* и в должности другого... Это причина всех зол. Нужно подумать теперь о том всем нам, как на своем собственном *месте*

сделать добро. Поверьте, что Бог недаром повелел каждому быть на том *месте*, на котором он теперь стоит» [VIII, 225]. И в заключительной речи генерал-губернатора во втором томе «Мертвых душ»: «Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком *месте* предстоит человеку» [VII, 127].

В связи с философией «места» особое значение Гоголь придает поучениям апостола Павла. Сестре Ольге (письмо от 20 января н. ст. 1847 г.) он советует читать «всякий день Новый Завет, и пусть это будет единственное твое чтение. Там все найдешь, как быть с людьми и как уметь помогать им. Особенно для этого хороши послания апостола Павла. Он всех наставляет и выводит на прямую дорогу, начиная от самых священников и пастырей церкви до простых людей, всякого научает, как ему *быть на своем месте...*» [XIII, 183]. Внутренняя история апостола Павла, его обращение сообщают глубокий выстраданный тон этим наставлениям [об отражении архетипа апостола Павла в гоголевской поэтике см.: Гольденберг, с. 131 и далее].

В письме, определяющем «место» жены в доме, Гоголь, между прочим, дает совет, каким образом вести в семье денежные дела (этот совет, разумеется, относится и к мужу тоже):

Разделите ваши деньги на семь почти равных куч. В первой куче будут деньги на квартиру, с отопкою, водой, дровами и всем, что ни относится до стен дома и чистоты двора. Во второй куче – деньги на стол и на все съестное с жалованьем повару и продовольствием всего, что ни живет в вашем доме. В третьей куче – экипаж: карета, кучер, лошади, сено, овес, словом – все, что относится к этой части. В четвертой куче – деньги на гардероб, т. е. все, что нужно для вас обоих, чтобы показаться в свет или сидеть дома. В пятой куче будут ваши карманные деньги. В шестой куче – деньги на чрезвычайные издержки, какие могут встретиться: перемена мебели, покупка нового экипажа... Седьмая куча – Богу, т. е. деньги на церковь и на бедных. Сделайте так, чтобы эти семь куч пребывали у вас несмешанными, как бы семь отдельных министерств. Ведите расход каждой особо, и ни под каким предлогом не занимайте из одной кучи в другую [VIII, 338–339].

Пассаж этот был отнесен некоторыми современниками к числу курьезов; так, Белинский увидел в письме «Чем может быть жена для мужа...» «истинный перл по советодательной части» [Белинский, т. 10, с. 68]. Между тем гоголевские наставления и выкладки были теснейшим образом связаны с установкой на практицизм,



реалистичность и, так сказать, на преодоление антиутопизма. По выражению М.О. Гершензона, Гоголь весь «отдался делу земного благоустройства. Он практик от головы до ног» [Гершензон, 2010, с. 195].

В самом деле: что может быть проще, чем разделить деньги на «семь кучек», а ведь от этого, по Гоголю, зависит оптимальное ведение хозяйства, причем не только семейного (образный план рассуждений – сравнение с «семью отдельными министерствами» – весьма симптоматичен), зависит в широком смысле от самодисциплины, самоорганизации, порядка. «Все у нас теперь расплылось и расшуровалось» [VIII, 341], – сказано в конце того же письма. Строгое соблюдение статей семейного бюджета – одна из первичных форм уплотнения и «зашнуровки». А значит, и возвращения к предназначенному поприщу или должности.

(Другое дело: кто бы смог выдержать характер и не нарушить запрета, т. е. не занять в случае необходимости денег из другой «кучи»? Показательна реакция на это место москвича Д.Н. Свербеева: «...ну, как заставить и меня делить на семь кучек мои скромные доходы, да еще запретить, невзирая ни на какую крайнюю нужду, занимать из одной кучи для другой... Виноват, я тоже человек; может быть, и рассержусь на такие печатные предписания» [Шенрок, т. 4, с. 520]. Но сам Гоголь, наверное, эти «предписания» выдержал бы, – только не пришлось ему быть «мужем для жены» и, соответственно, причастным к семейным расходам...)

Вообще проблематичность гоголевских указаний и советов – это вопрос не столько теоретический (и, соответственно, жанровый), сколько психологический: в предложенных «исходах» и «средствах» нет ничего фантастического, но как последовательно и до конца реализовать их земным, обыкновенным людям, отмеченным грехами и слабостью? В *этом смысле* можно тоже говорить об утопизме «Выбранных мест...» [см.: Кривонос, 2009, с. 371 и далее].

В ряду критических замечаний в адрес «Переписки» весьма выразителен упрек уже упоминавшегося Чижевского: мол, книга Гоголя «очень наивная, неубедительная. Главная ее слабость в том, что она слишком конкретна. Конкретность – величайший дефект всех утопий. Сопровождая свой набросок моральной и религиозной утопии долей конкретных указаний о том, что должно быть сделано в определенной исторической ситуации при правлении Николая I, Гоголь тем самым ослаблял действенность

и привлекательность своей утопии» [Чижевский, 1952, с. 275]. Но в том-то и дело, что Гоголь хотел представить современникам не обольстительную, желанную картину будущего, но тернистый, мучительный «земной» путь совершенствования.

Возвращаясь же к гоголевскому понятию «должности», надо еще заметить, что оно подразумевало и сословие в целом, что видно из приведенных выше суждений о дворянстве. Таким *коллективным* должностям Гоголь посвящает примыкающую к «Выбранным местам...» специальную статью «О сословиях в государстве». Здесь вновь самым энергичным образом подчеркнуто предназначение русского дворянства: оно «должно быть сосудом и хранителем высшего нравственного чувства всей нации, рыцарями чести и добра...». Затем следует самый «многочленный» класс – крестьяне; затем «сословие граждан», еще не получившее «определенное выражение», это, возможно, горожане, разночинцы, – Гоголь не закончил статью и не дал более четкого их обозначения, равно как не успел описать и другие «должности» – военных, купцов и т. д.

Основа русского государства, его становой хребет – отношения помещиков и крестьян, «истинно русские отношения», – не забывает добавить Гоголь. «В “Переписке с друзьями” Гоголь придает власти помещика особенно возвышенное значение. Это не владелец только того или другого числа душ, это, так сказать, Божией милостию «блюститель за трудолюбием и нравственностью своих подданных» [Семевский, с. 271]. Выразительная параллель к этим словам – разъяснение Тентетникова о том, почему он оставляет государственную службу: «У меня есть *другая служба*: триста душ крестьян...» [VII, 17].

А это значит, что Гоголь не воспринимает крепостничество как анахронизм, что для него не возникает даже намек на необходимость отмены крепостного права – проблема, над которой задумывались уже и некоторые высшие российские чиновники. Получается, что Гоголь «был сразу писатель передовой и отсталый» [Флоровский, с. 260]. Гоголь даже готов в этом отношении противопоставить Россию Западу, «потому что теперь не на шутку задумались многие в Европе над древним патриархальным бытом, которые стихии исчезли повсюду, кроме России, и начинают гласно говорить о преимуществах нашего крестьянского быта, испытавши бессилие всех установлений и учреждений нынешних для их улучшения» [VIII, 362].

Среди «задумавшихся» европейских писателей Гоголь имел в виду маркиза А. де Кюстина, автора сенсационной книги: «La Russie en 1839» («Россия в 1839»): In 4 vol. P., 1843. Кюстин, правда, о преимуществах российского сельского «быта» не говорил, но на некоторые моральные достоинства крестьян действительно обратил внимание, чем не преминул воспользоваться Гоголь в «Выбранных местах...» (в статье «В чем же наконец существо русской поэзии...»): «Как пораженный, останавливался он [маркиз де Кюстин] перед нашими маститыми, беловласыми старцами, сидящими у порогов изб своих, которые казались ему величавыми патриархами древних библейских времен. Не один раз сознался он, что нигде в других землях Европы, где ни путешествовал он, не представлялся ему образ человека в таком величии, близком к патриархально-библейскому» [VIII, 405]<sup>6</sup>.

В то же время гоголевская картина сельских отношений восходит и к представлениям Карамзина, которого автор «Выбранных мест...» особенно ценил как выразителя независимого образа мысли. В «Историческом похвальном слове императрице Екатерине II» (1802) Карамзин высказывал опасения за судьбу крестьян в случае получения ими свободы. Хороший хозяин заботится о своих подопечных, в то время как упразднение крепостного права поставит их в зависимость от менее образованных и совсем не гуманных чиновников. По мнению Гоголя, власть над крестьянами дана помещику «в предположении, что такой человек, кто лучше других понял высокие чувства и назначение, может лучше править, чем какой-нибудь простой чиновник, выбираемый в заседатели или капитан-исправники» [VIII, 492].

Но полностью точка зрения Гоголя с карамзинской не совпадает: Карамзин, в принципе, не был против освобождения крестьян, он лишь считал такое изменение преждевременным. Крестьянин в России не приспособлен к жизни в качестве свободного гражданина, поэтому надо подготовить его к самостоятельной хозяйственной деятельности. Гоголь тоже за гуманизацию, за совершенствование и облагораживание человеческих отношений – но в рамках существующих помещичьих хозяйств, когда владельцы крепостных душ будут заботиться о них, «как о своих кровных и родных, а не как о чужих людях, и так бы взглянули на них, как отцы на детей своих». Метафоры родства – существенный элемент гоголевской картины жизнестроения: отцами оказываются «занимающее важное место» чиновники («Будьте же с ними, как отец с детьми...» [VIII, 359]), отцом всех своих подданных явля-

ется император, отцами «своих детей», т. е. крестьян, выступают помещики. «Сим только одним могут возвесть они [помещики-отцы] это сословие в то состояние, в каком следует ему пребыть, которое, как нарочно, не носит у нас названия ни вольных, ни рабов, но называется хрестьянами от имени самого Христа» [VIII, 362].

Своей высокой оценкой религиозных, моральных, нравственных основ крестьянской жизни Гоголь близок славянофилам, однако свойственное многим из них, например И.В. Киреевскому, представление об общине, о мире, в котором примиряются хозяйственные интересы всех («человек принадлежал миру, мир – человеку» [Мюллер, с. 326]), Гоголь не разделяет; он просто обходит эту проблему. Для него сумма крестьянских дворов какого-либо помещика – это хозяйство, идеально управляемое его владельцем, помещиком, или, что то же самое, это большая семья во главе с ее отцом, тем же помещиком.

Поэтому Гоголю не свойственно характерное для славянофилов противопоставление внутренней, истинной правды так называемому «материализму формы» (Хомяков), противопоставление лжеправде и лжесправедливости, проистекающим из государственных структур. По Гоголю, эти структуры облагораживаются уже тем, что каждый ее представитель, от малого до великого, будет соответствовать своему «месту», «поприщу».

Гоголь отчетливо сознает, что всего этого нет, – но *должно быть*; отсюда интонация долженствования и побуждения, пронизывающая всю «Переписку» и отраженная уже в самих названиях писем (статей): «*Нужно любить Россию*», «*Нужно проездиться по России*», «*Напутствие*», «*Советы*» и т. д. Но все это не только должно, но и может быть, потому что предопределено национальной моделью общества, а та, в свою очередь, божественным впечатлением, божественным выбором. Гоголевские построения не свободны от налета идеализации, что вовсе не противоречит тому, что это в строгом (жанровом) смысле не утопия. Напротив, в утопиях идеализация не столь подчеркнута, она сведена на нет уже тем, что это заведомо другой мир, не претендующий на подмену или смешение. К нему можно и нужно стремиться, но негоже выдавать несуществующее за реальное. «Переписка» тоже не допускает такой подмены, но ее программные установки образуются из *этой* действительности, подобно тому как будущее (согласно исходной авторской мысли) прорастает из *настоящего*.

Идея божественного выбора повышает национальное самосознание, рождает – в литературе прежде всего – дух пророчества:

«Зачем же ни Франция, ни Англия, ни Германия не заражены этим поветрием и не пророчествуют о себе, а пророчествует только одна Россия? – Затем, что сильнее других слышит Божью руку на всем, что ни сбывается в ней...» [VIII, 251]. (Пример такого пророчества показал и сам Гоголь в последних строках первого тома «Мертвых душ»: «...косясь, постораниваются и дают ей [России] дорогу другие народы и государства».) Но то же ощущение божественного выбора обостряет и чувство национальной самокритики; тут Гоголь перекликается с Хомяковым, автором стихотворения «России»:

О, недостойная избранья,  
Ты, избрана! Скорей омой  
Себя водою покаянья... [Хомяков, 1969, с. 137].

И Гоголь, при всей склонности к идеализации потенциала России, порою поразительно трезв в оценке реальных, бюрократических возможностей системы. Он, например, совсем не верит в пользу умножения контролирующих инстанций: «Вы очень хорошо знаете, что приставить нового чиновника для того, чтобы ограничить прежнего в его воровстве, значит сделать двух воров вместо одного. Да и вообще система ограничения – самая мелочная система» [VIII, 357]. Правда, тут же, в духе славянофилов или, скажем, Шевырева, писавших о естественном, ненасильственном образовании и развитии русского государства<sup>7</sup>, Гоголь относит этот порок к другим странам, «которые составились из народа всякого сброда, не имеющего национальной целизны и духа народного», – но ведь конкретно речь идет о стране, якобы имеющей все эти достоинства, т. е. о России, и адресовано не кому другому, как лицу, «занимающему важное место» в этой стране (возможно, А.П. Толстому).

Вместо системы дублирования чиновничьих должностей Гоголь продумывает меры по разделению функций и независимости друг от друга различных ведомств. Так, прокурор «есть отдельное лицо, от всех независимое, долженствующее держать себя от всех в стороне, даже и от самого губернатора». Или, как гласит помета в одной из записных книжек Гоголя, прокурор «не должен даже водиться с губернатором и подчиняться какому-нибудь его влиянию» [VII, 353]. Ведь и «за самим губернатором могут завестись грехи», и тут вмешивается этот самый прокурор, который подотчетен лишь министру юстиции, т. е. центральной

власти. С другой стороны, «весь снаряд юстиции, как-то: все суды уездные, так и высшая их инстанция – гражданская их палата, находясь в полном заведывании своего министерства, кажутся в независимости от губернатора», но последний может вмешаться, если заподозрит «злоупотребление» [VIII, 356, 355]. Словом, хотя и в зачаточном виде и непоследовательно, Гоголь нащупывает то, что называют равновесием и разделением властей. Так тесно переплелись в его образе мыслей элементы идеализации с трезвостью и реализмом!

Из «должностей» особое место в гоголевской системе отводится духовенству и императору.

Вначале о церкви. Все церковные обряды и установления, по Гоголю, содержательны, каждый несет в себе часть общего смысла. В этом отношении Гоголь близок М.С. Лунину, считавшему, что «обряд богослужения есть выражение догматов и заимствует от них жизнь, полноту и величие» [Лунин, с. 169]. Если это действие массовое, то оно завораживает уже своеобразным «разделением труда» – строгим выполнением каждым участником своей роли, безусловной верностью своему «месту».

В «Размышлениях о Божественной литургии» (трактат, над которым Гоголь работал в последние годы жизни) этот процесс описан подробно: «Твердым, мужественным пением, водружая в сердце всякое слово исповедания, поют *певцы* сей Символ, и твердо повторяет *каждый*, вслед за ними, слова его. Мужествуя сердцем и духом, *иерей* пред святым престолом, долженствующим изображать святую трапезу Тайной Вечери, повторяет в себе Символ Веры, и *все* ему сослужащие повторяют его в самих себе...» [Гоголь, 1894, с. 78–79]. Всеобщая согласованность, гармония рождается из твердо определенного поведения «каждого». Современный исследователь выразил эту мысль формулой «Литургия как идеал»: «Если церковь постоянно поминает своих членов, то Дом Божий может их собрать и объединить. Гоголь всегда подчеркивает общественный характер литургического праздника, который он понимает в буквальном смысле этого слова как публичную службу (als öffentlichen Dienst)» [Амберг, 1986, с. 250; см. также: Манн, 2007, с. 720–722].

И это не внешнее, а внутреннее достоинство, определяемое непорочной чистотой русской церкви. Русская православная церковь не только восходит к божественному предначертанию, но и осталась ему верна, в отличие от других христианских конфессий.

«Эта церковь, которая, как целомудренная дева, сохранилась одна только от времен апостольских в непорочной первоначальной чистоте своей, эта церковь, которая вся с своими глубокими догматами и малейшими обрядами наружными как бы снесена прямо с неба для русского народа...» Отсюда ее особая конструктивная роль по отношению к другим составляющим российского общества – она призвана их восстановить, т. е. «заставить у нас всякое сословье, званье и должность войти в их законные границы и пределы» [VIII, 246].

Но и «духовенству нашему указаны законные и точные границы в его соприкосновениях со светом и людьми». Значит, и духовное лицо не всевластно, это тоже поприще, должность, служба [см. также: Вайскопф, 2002, с. 643–644]. И от исполнения этой должности, как и любой другой, зависит восстановление связанного с Россией всего божественного замысла, поскольку в ее социальной структуре ничего не нужно менять («не изменив ничего в государстве»).

В этом контексте, очевидно, следует понимать и гоголевское заявление: «По мне безумна и мысль ввести какое-нибудь нововведение в России, минуя нашу церковь, не спрося у нее на то благословения» [VIII, 284]. Едва ли Гоголь мог иметь в виду «нововведение» по части упразднения крепостного права. Церковь совершенствует систему, но систему наличную, уже сложившуюся, начертанную высшей силой.

Исключительна и роль российского императора, которую Гоголь определяет с помощью пространного рассуждения, якобы слышанного им от Пушкина. «Зачем нужно, – говорил он, – чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон – дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполнением закона далеко не уйдешь... Государство без полномочного монарха – автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигнули Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит» [VIII, 253]<sup>8</sup>. В противопоставлении права формального, ложного, западного праву внутреннему, истинному, исконно-русскому Гоголь близок к славянофилам, в частности И.В. Киреевскому. Но есть в этом противопоставлении и излюбленная гоголевская нота, связываемая им на этот раз с верховной ролью монарха. «Государство без полномочного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди их одного та-

кого, который бы движением палочки всему подавал знак, никуда не пойдет концерт» [Там же]. Словом, монарх – «всего оживитель, верховодец верховного согласия», носитель идеи примирения, гармонии и цельности.

Однако обращает на себя внимание и другая особенность гоголевских размышлений. «Оставим личность императора Николая и разберем, что такое монарх вообще...» – этот риторический оборот означает, что Гоголь восходит к категории «монарх» как божественному предопределению, как «должности»; собственно, так же он поступает и в отношении «нашей церкви». Но важны и некоторые оттенки: церковь мыслится Гоголем вполне сохранившей свое предопределение, как некая объективная данность; русский император мыслится в понятиях обобщенных («монарх вообще»). Этот оттенок долженствования усилен в примыкающей к «Выбранным местам...» статье «О сословиях в государстве»: монарх – «лицо, которое уже *должно* жить другою жизнью, нежели обыкновенный червь. Он *должен* отречься от себя и от своей собстве<нности>, как монах; его пищей *должно быть* одно благо его – счастье всех до единого в государстве; его лицо не иначе, как священ<но>» [VIII, 491]. Гоголь далек от того, чтобы в чем-то упрекать или критиковать власти предержавшие, но все же выдвигает понятие монарха как некую идеальную норму, которая впереди, к которой *должно* стремиться.

Наконец, еще одна сила, способствующая исправлению общества, – отечественная словесность, «идеальный проект будущей русской литературы» [Маркович В., с. 380]. Сила эта давно уже приведена в действие, ее составляющие тоже представляют «поприще», или «должность» – своего рода «коллективную должность». Никаких квазипатриотических излияний или наставлений Гоголь от нее не ждет. Наоборот, дважды в своей книге («Выбранные места...») он противопоставляет ее «квасному патриотизму», понятию в то время знаковому, обозначающему патриотизм официальный, высочайше одобренный, верноподданный. Гоголь ждет другого: душевного потрясения – «христианским, высшим воспитаньем должен воспитаться теперь поэт», чтобы оказать благотворное влияние на общество. Увы, пока это влияние слабое.

Все беды России от того, что разные звания, поприща, должности вышли из своих пределов, изменили своему предназначению, своему «месту», а значит, уклонились от божественного замысла, «от духа земли своей» [VIII, 361]. Гоголя с молодых лет угнетало



ощущение дисгармонии, разлада, сумбура, вылившееся в проблему «целого и арабесок» (см.: кн. 1, с. 413 и далее). Теперь это ощущение не только обострилось, но и воспринималось в категориях общественного, сословного и национального разлада и сумбура:

Все перессорилось: *дворяне* у нас между собой, как кошки с собаками; *купцы* между собой, как кошки с собаками; *мещане* между собой, как кошки с собаками; *крестьяне*, если только не устремлены побуждающей силой на дружную работу, между собой, как кошки с собаками. Даже честные и добрые люди между собой в разладе; только между плутами видится что-то похожее на дружбу и соединение в то время, когда кого-нибудь из них сильно станут преследовать [VIII, 304–305].

Положение усугубилось тем, что трещины прошли сквозь слой образованных, мыслящих людей («споры» славянофилов и западников служили тут Гоголю наглядным примером): «...никогда еще различие образований и воспитания не оттолкнуло так друг от друга всех и не произвело такого разлада во всем. Сквозь все это пронесся дух сплетней, пустых поверхностных выводов, глупейших слухов, односторонних и ничтожных заключений» [VIII, 303]. Создается впечатление, что страна впала в состояние тяжелой болезни: «Уже душа в ней болит, и раздастся крик ее душевной болезни». С этим чувством автор «Выбранных мест...» знаком лично, на горьком опыте общения с окружающими: такое переживание «можно уподобить только положенью того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, что его погребают живого, и не может даже пошевелинуть пальцем и подать знака, что он еще жив» [VIII, 301, 334]. В более поздние времена все это назовут *отчуждением* и состоянием *некоммуникабельности*...

Такое состояние – не региональное, не одной страны или народа, но всей новой эпохи, «нашего девятнадцатого века» («В Одиссее услышит сильный упрек себе наш девятнадцатый век, и упрекам не будет конца...» [VIII, 243–244]. О кризисности этой эпохи Гоголь говорил еще в середине 1830-х годов в связи с картиной К. Брюллова «Последний день Помпеи»: «Мысль ее принадлежит совершенно вкусу нашего века, который вообще, как бы чувствуя свое страшное раздробление, стремится сокоуплять все явления в общие группы...» [VIII, 109]; оригинальное преломление этой «мысли» – в художественных принципах «Ревизора», см.: Манн, 1966, с. 169 и далее). В картине мира,

отраженной в «Выбранных местах...», центробежные силы приумножились; человечество вступило в «тяжелую годину всемирного землетрясения, когда все помутилось от страха за будущее» [VIII, 278]. «Всемирного» значит и русского тоже. Добавим, что и в упоминавшемся выше гоголевском «исполнинском образе скуки» видится тот же всеобщий, *всемирный* смысл: «Боже! Пусто и страшно становится в твоём мире!» [VIII, 416]. Во всем Божьем мире – значит, и в русском мире тоже. А ведь эти пронзительные гоголевские слова (как мы уже отмечали) предвосхищают и демонические образы Достоевского, и мироощущение экзистенциализма [Сечкарев, с. 179].

Правда, в Западной Европе положение еще запутаннее, перспективы еще страшнее. Ввиду назревающих революционных событий, свидетелем которых довелось быть Гоголю, он адресует «графине .....ой» (очевидно, Л.К. Виельгорской) предостережение: «Погодите, скоро поднимутся снизу такие крики, именно в тех с виду благоустроенных государствах, которых наружным блеском мы так восхищаемся... что закружится голова у самых тех знаменитых государственных людей, которыми вы так любовались в палатах и камерах. В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство...» [VIII, 343–344]. А вот России – «поможет», должно помочь, и «средство» к этому известно: «На корабле своей *должности и службы* должен теперь всяк из нас выноситься из омута, глядя на кормщика небесного» [VIII, 344]. Это и означает восстановить высшее предназначение и каждого поприща, сословия, звания, и российской государственной структуры в целом. Гоголь уверяет, что это возможно, что это произойдет, – но крепка ли, окончательна ли была его вера?

Н.А. Бердяев, имея в виду и Гоголя, и своих современников, говорил о «апокалипсическом» переживании, которое связано с «эсхатологическими предчувствиями и надеждами. У славянофилов... не было этой тревоги, этой жути, этого трагизма, почва не колебалась под ними, земля не горела, как под нами... Славянофилы жили, как люди, имеющие свой град – древнюю Русь. Мы же живем, как града своего не имеющие, как Града Грядущего взыскующие...» [Бердяев, с. 28–29]. При всей практичности, выношенности, последовательности, подчас даже схематизме гоголевских построений чувства тревоги, уходящей из-под ног почвы ему было не занимать. Тут он намного превосходил славянофилов.

Однако же исправление общества должно произойти через потрясение каждого его члена. Знаменательно, что в настрое «Переписки» развивается один характерный пассаж из «Шинели», а именно тот, который получил название «гуманного места». «Один молодой человек», принимавший вместе с другими участие в издевательствах над Акакием Акакиевичем, однажды «вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменялось перед ним...». Так должен содрогнуться и читатель «Выбранных мест...», когда узнает, «что есть такие страдания человека, от которых и бесчувственная душа разорвется...» [XIII, 204]. Молодой человек из «Шинели» услышал в жалобе Башмачкина «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» другие слова: «Я брат твой». «...Все люди – братья той же семьи, и всякому человеку имя брат, а не какое-либо другое» [VIII, 412], – провозглашено и в «Выбранных местах...», в статье «Светлое воскресенье».

При сохранении социальной структуры в обществе, по Гоголю, должны утвердиться христианские, истинно братские отношения.

Проблема исправления общества путем исправления каждого человека приближала мысль Гоголя к кругу социалистических идей, особенно в его последней книге. «В заключительной главе “Выбранных мест из переписки с друзьями” (“Светлое воскресенье”) Гоголь проговаривал свое знакомство с социал-христианскими идеями...» [Михед, 2011, с. 360]. О факте такого «проговаривания» писал еще Чижевский в 1978 г., определяя отношение Гоголя к этим идеям в категориях одновременного приятия и отталкивания, «да» и «нет», «Ja» и «Nein» (статья написана на немецком языке). «...Рядом со своими “реакционными” взглядами в своей “теоретической” книге [подразумеваются «Выбранные места...»] Гоголь упоминает социализм без всякого отторжения, даже с определенной долей признания», с ним связано «открытие», «чтобы все было общее – и дома и земли». «Кажется, и здесь, в области социального, противоположности, да и нет могут находиться рядом, не нуждаясь в том, чтобы кто-либо подумал о возможности их примирения» [Чижевский, 1978, с. 349]. Чтобы увидеть, насколько верно это допущение, приведем соответствующее место из статьи о празднике Воскресенья максимально полнее.

Как бы этот день пришелся, казалось, кстати нашему девятнадцатому веку, когда мысли о счастье человечества сделались почти любимыми мыслями всех; когда обнять все человечество, как братьев, сделалось лю-

бимой мечтой молодого человека; когда многие только и грезят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство человека; когда почти половина уже признала торжественно, что одно только христианство в силах это произвести; когда стали утверждать, что следует ближе ввести Христов закон как в семейственный, так и в государственный быт; когда стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее – и дома и земли; когда подвиги сердоболия и помощи несчастным стали разговором даже модных гостиных; когда, наконец, стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов. Как бы, казалось, девятнадцатый век должен был радостно восприимчиво отметить этот день, который так по сердцу всем великодушным и человеколюбивым его движениям! Но на этом-то самом деле, как на пробном камне, видишь, как бледны все его христианские стремленья и как все они в одних только мечтах и мыслях, а не в деле. И если, в самом деле, придется ему обнять в этот день своего брата, как брата – он его не обнимет. Все человечество готов он обнять, как брата, а брата не обнимет. Отделись от этого человечества, которому он готовит такое великодушное объятие, один человек, его оскорбивший, которому повелевает Христос в ту же минуту простить, – он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, не согласный с ним в каких-нибудь ничтожных человеческих мнениях, – он уже не обнимет его. Отделись от этого человечества один, страждущий видней других тяжелыми язвами своих душевных недостатков, больше других требующий сострадания к себе, – он оттолкнет его и не обнимет. И достанется его объятие только тем, которые ничем еще не оскорбляли его, с которыми не имел он случая столкнуться, которых он никогда не знал и даже не видел в глаза. Вот какого рода объятие всему человечеству дает человек нынешнего века, и часто именно тот самый, который думает о себе, что он истинный человеколюбец и совершеннейший христианин! Христианин! Выгнали на улицу Христа, в лазареты и больницы, на место того, чтобы призвать его к себе в дома, под родную крышу свою, и думают, что они христиане! [VIII, 411].

Источник напряжения гоголевской мысли – в столкновении двух начал: человечество в целом и один человек. Оказывается, легче полюбить человечество, чем отдельного его представителя (предвосхищение знаменитого тезиса Достоевского: полюбите не людей вообще, а своего соседа). Отдельный человек конкретен, осязаем, между ним и тобою (нами) разнообразные видимые свойства и поступки, порою действительные оскорбления, а порою какие-нибудь ничтожные несогласия, мелкие прегрешения или вообще отсутствие таковых. Источник диссонанса уже в том,

что он (равно как и ты по отношению к нему) *ближний*; человечество же в целом – абстракция. К абстракции невозможно питать те же чувства, что к живому существу.

Как и в других случаях, выводы Гоголя основаны на личном опыте, вернее, на попытке его преодоления. В письме к С.Т. Аксакову от 18 декабря н. ст. 1847 г. Гоголь делает неожиданное признание, высказывает «сущую правду»: «...я вас любил, точно, гораздо меньше, чем вы меня любили. Я был в состоянии всегда (сколько мне кажется) любить всех вообще... Но любить кого-либо особенно, предпочтительно я мог только из *интереса*». Однако, продолжает Гоголь, положение меняется: «Мне кажется, что я теперь все-таки люблю вас больше, нежели прежде, но это потому только, что любовь моя ко всем вообще увеличилась: она должна была увеличиться, потому что это *любовь во Христе*» [XIII, 415–416; курсив в оригинале].

Вне гоголевского контекста может показаться странным и сетование на то, что Христа «выгнали на улицу... в лазареты и больницы», – разве там он не нужен? Но речь опять идет о почине, стимуле, исходном пункте: «призвать его [Христа] к себе в дома, под родную крышу свою» – значит начинать с себя, с ближнего своего, раскрывая ему объятия любви. И шпилька в адрес тех, кто поговаривает о том, чтобы «все было общее – и дома и земли», – это продолжение той же мысли о неадекватности средств и путей. Обобществление собственности (мысль, по Гоголю, настолько непродуктивная, что он упомянул ее лишь вскользь) не приведет к перестройке психики, а значит, и к установлению человеческой гармонии. (Гоголь сильнее подчеркнет эту мысль чуть позже в ответ на критику «Выбранных мест...» Белинским – см.: наст. издание, с. 161.)

С ироническим упоминанием «странноприимных домов» («...стало тесно от всяких человеколюбивых заведений, странноприимных домов и приютов») как будто бы контрастирует реальный факт: Гоголь, по словам его сестры Анны Васильевны, «мечтал построить такой дом, чтобы всем была хорошая комната, а в середине общая гостиная. Он желал, чтобы сестры не выходили замуж и устроить вроде монастыря или странноприимного дома [находящееся в архиве письмо к В.И. Шенроку; цит. по: Крутикова, 2003, с. 298]. Однако в данном случае Гоголь, говоря его языком, действительно приглашает Христа к себе в дом, т. е. начинает с себя и своих близких.

И кроме того, гоголевский «странноприимный дом» в корне отличается от человеколюбивого заведения социалистического

толка. Имущественные отношения, власть помещика над крестьянином остаются незабываемыми; более того, они освящаются, укрепляются обоюдным исполнением каждой из сторон своего долга. Помещику Гоголь рекомендует: «Припомни отношения прежних помещиков-хозяинов к своим мужикам: будь патриархом, сам начинателем всего и передовым во всех делах. Заведи, чтобы при начале всякого общего дела, как-то: посева, покоса и уборки хлеба – был пир на всю деревню...» и т. д. [VIII, 324]. Радостное участие в «общем деле» только укрепляет положение помещика как «хозяина», а вместе с тем и всю социальную структуру общества.

Дело это непростое ни в масштабе одного хозяйства (имения), ни тем более всего государства. Из общественных событий Гоголь готов признать благотворными не социальные потрясения, но общенациональный подъем «двенадцатого года», когда «всякие ссоры, ненависти, вражды – все бывает позабыто, *брат* повиснет на груди *брата*, и вся Россия – *один человек*» [VIII, 418]. Но этот пример только оттеняет безмерную трудность установления братских отношений, Всемира [см.: Янушкевич, с. 33–49] в мельтешении, суете, дразгах будничной жизни.

### «Гомеровский вопрос»

Речь идет не о «гомеровском вопросе», как он обычно понимается, хотя в «Выбранных местах...» мельком затронута и эта традиционная тема: в статье «Об Одиссее, переводимой Жуковским» Гоголь с иронией упомянул о «немецких умниках» (подразумевается прежде всего Ф.А. Вольф), выдумавших, «будто Гомер – миф, а все творения его – народные песни и рапсодии!» [VIII, 241]. Но сейчас речь пойдет о другом – о стихотворении Пушкина «С Гомером долго ты беседовал один...», толкование которого у Гоголя связано с его концепцией «должностей» и званий.

Появились эти стихи еще в 1841 г. в посмертном издании пушкинских Сочинений (СПб., т. 9, с. 159), но смысл их, по мнению Гоголя, остался неразгаданным, в том числе и для самого публикатора – Жуковского. В письме «О лиризме наших поэтов» (адресованном Жуковскому) Гоголь решил приоткрыть «тайну»: мол, это стихотворение – не что иное, как «ода императору Ни-

колаю». Собственно, об этом он уже говорил в «Учебной книге словесности для русского юношества» (датируется 1844–1845 гг.; опубликована значительно позднее – в 1896 г.), где среди примеров оды значится: «Императ<ору> Никола<ю>, Пушки<на>» [VIII, 484]. В «Выбранных местах...», в упомянутом письме, Гоголь аргументирует свой вывод, рассказывая историю «происхождения» оды.

Был вечер в Аничковом дворце... Все в залах уже собралось; но государь долго не выходил. Отдалившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул Илиаду и увлекся нечувствительно ее чтением в то время, когда в залах давно уже гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принес на лице своем следы иных впечатлений. Сближение этих двух противоположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оно оставило сильное впечатление, и плодом его была следующая величественная ода... [VIII, 253–254; далее следует пушкинский текст].

Утверждение Гоголя вызвало бурную реакцию Шевырева. «Как ты мог сделать ошибку, нашед в послании Пушкина Гнедичу совершенно иной смысл, смысл неприличный даже? – пишет он 30 января 1847 г. из Москвы. – Не знаю, как Плетнев не поправил тебя. Послание адресовано к Гнедичу: как же бы Пушкин мог сказать кому другому “ты проклял нас”?» [Переписка, т. 2, с. 34]. Еще язвительнее отозвался С.Т. Аксаков, в письме к Ивану Сергеевичу (от 16 января 1847 г.) он привел этот факт как свидетельство психического нездоровья автора «Выбранных мест...»: «...все это надо повершить фактом, который равносителен 41 числу мартабря (в «Записках сумасшедшего». – Ю. М.). Известное стихотворение Пушкина к Гнедичу: *С Гомером долго ты беседовал один* Гоголь принял за стансы царю. Неужели это не бросилось тебе в глаза?» [Аксаков С., с. 182; курсив в оригинале].

Мнение о Гнедиче как адресате послания фигурирует здесь как общеизвестное и неоспоримое, это подтверждается тем, что и Белинский упоминал и цитировал стихотворение как «свидетельствующее о его [Пушкина] уважении к труду и имени переводчика “Илиады”» [Белинский, т. 7, с. 255]. Затем это мнение было решительно поддержано литературоведами (В.Ф. Саводник, Н.О. Лернер, Н.Ф. Бельчиков и др.). «Не может быть никаких сомнений в том, что стихотворение связано с Гнедичем» [Есипов, с. 265].

Связь с Гнедичем – и это тоже уже отмечено исследователями – подтверждается преимуществом стихотворения по отношению к другому пушкинскому тексту – опубликованному в «Литературной газете» (1830. № 2. 6 января) библиографическому извещению об издании «Илиады». Уже здесь намечены важнейшие тезисы будущего стихотворения: во-первых, момент долгого обостренного ожидания («Наконец, вышел в свет так давно и так нетерпеливо ожидаемый перевод...»); во-вторых, контраст, с одной стороны, благоговейного служения искусству и вдохновенного труда, а с другой – слепого следования «моде», изготовления «блестящих безделок». Все это превращает поступок переводчика в «высокий подвиг», художественный и общественный [Пушкин, т. 7, с. 97–98].

Собственно, то главное, что добавлено в стихотворении «С Гомером долго ты беседовал один...» – это терпимость героя (поэта) к своим современникам, принятие им жизни во всех проявлениях, снисходительность:

О, ты не проклял нас. Ты любишь с высоты  
Скрываться в тень долины малой,  
Ты любишь гром небес, но также внемлешь ты  
Жужжанью пчел над розой алой.

[Там же. Т. 3. С. 238].

Но помимо этого добавления, бросается в глаза перестройка стилистической структуры, а именно введение библейского, ветхозаветного фона: «И светел ты сошел с таинственных вершин / И вынес нам свои скрижали». «Скрижаль» в словоупотреблении Пушкина – это иногда просто «доска, плита с письменами» (В. Даль), иначе говоря, предмет, на котором пишут, как, например, в черновой редакции VIII главы «Евгения Онегина»: «И Дмитрев не был наш хулитель; / И быта русского хранитель, / *Скрижаль* оставя, нам внимал...» [Там же. Т. 5. С. 549]. Но в данном случае это еще и отсылка к пророку Моисею: «...и сошел Моисей с горы; в руке его *были* две скрижали откровения...». «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою...» [Исх. 32: 15, 19; курсив в оригинале]. Эта отсылка, этот библейский фон сообщают стихотворению «высокий стилиевой регистр, исключающий слишком конкретное толкование реалий» [Вацура, с. 24.].



И все же позволительно задать вопрос: кто является героем стихотворения? Дело в том, что обозначение «поэт» («прямой поэт») фигурирует только в предпоследней, пятой, строфе, которая вместе с последней строфой была обнародована много позже, в 1855 г.:

Таков прямой поэт. Он сетует душой  
На пышных играх Мельпомены –  
И улыбается забаве площадной,  
И вольности лубочной сцены.

То Рим его зовет, то гордый Илион,  
То скалы старца Оссиана,  
И с детской легкостью меж тем летает он  
Во след Бовы иль Еруслана.

Остается неясным, почему эти строфы были зачеркнуты Пушкиным (по мнению Анненкова, зачеркнуты «как портящие стихотворение», хотя никак не объяснено, в чем состоит эта «порча» [Анненков, 1855, т. 1, с. 468]). Может быть, дело именно в излишней конкретизации образа, доходившей даже до включения некоторых реалий из творческой биографии Гнедича, что противоречило заданному «иносказательному плану» (Вацуро) стихотворения. Однако сама установка на героя стихотворения именно как на поэта была уже определена ранее и остается в силе, – присмотримся внимательнее к приведенной выше четвертой строфе.

Здесь происходит любопытное явление, – если можно так сказать, минимизация прегрешений толпы, поскольку ее изображение привязано к главному персонажу, поэту, а не к царю и тем более божеству, дано в его (поэта) аспекте. Поэтому среди откликов современников на гоголевскую трактовку попадает и такой, принадлежащий, по словам Д.Н. Свербеева, одному «умному, скромному и религиозному читателю», – тот «был удивлен непонятным применением стихов Пушкина к идеалу царя, изображенному Гоголем» [Шенрок, т. 4, с. 522]. В самом деле: пребывание людей в тени «долины малой», внимание к «жужжанью пчел» – это не «безумство суетного пира» и пляски вокруг золотого тельца; проклятия такие поступки действительно не заслуживают. И в реакции лирического героя, помимо снисхождения, есть еще другая нота – живой интерес к самым разным сторонам бытия, как высоким, так и прозаическим

(именно прозаическим, даже категория «низким» выглядела бы здесь чрезмерной). А это – реакция истинно художественная; поэтому начало следующей, пятой, вычеркнутой строфы «Таков прямой поэт» выглядит логичным продолжением сказанного и переходом к характеристике еще более широкого, разноликого творческого диапазона поэта.

Теперь вернемся к гоголевской интерпретации стихотворения. То обстоятельство, что Гоголь не знал двух последних строк и полагал, что цитирует «оду» полностью («всю»), способствовало «переадресовке» им произведения – от Гнедича к императору Николаю; в этом свете детали четвертой строфы – «Ты любишь с высоты / Скрываться в тень долины малой...» и т. д. – воспринимались им как знак человечности и открытости монарха. Это могло быть вполне искренним убеждением; Гоголь мог действительно полагать, что нашел верный ключ толкования (тем более что стихотворение было напечатано под названием, отсутствовавшим в рукописи: «К Н\*\*\*»). Современная исследовательница говорит по этому поводу, что Гоголь «творит миф о Пушкине... И сам верит в созданный им миф...» [Белоногова, с. 89]. Я бы переформулировал эту мысль: Гоголь интерпретирует факты и предположения и сам безусловно верит в эту интерпретацию.

Вместе с изменением адресата, т. е. героя, трансформировалась вся концепция произведения. Ибо, конечно, «скрижали» в руках поэта и императора – совсем разные «предметы»; Гнедич «вынес нам» свой высокий вдохновенный труд, Николай I – нечто более существенное.

Конкретно предметом внимания Николая, говорит Гоголь, послужила «Илиада», т. е. перевод Гнедича, вышедший в 1829 г. Правда, согласно тому же Гоголю, всеобъемлющее произведение Гомера – «Одиссея», «Илиада пред нею эпизод», но говорить о чтении императором «Одиссеи» было бы нереально, ее перевод еще долго будет у Жуковского в работе (опубл. в 1849 г.). Однако в пушкинском стихотворении конкретное произведение не названо, и отсылка к Гомеру могла, с точки зрения Гоголя, подразумевать воображаемый диалог с ним вообще («С Гомером долго ты беседовал...») и извлечение императором из этого диалога общезначимого «гомеровского» урока.

Что это был за урок – читатель узнавал тут же, из помещенной в тех же «Выбранных местах...» статьи «Об Одиссее, переводимой Жуковским». Это напоминание о верности своему «званию» или «поприщу» (сквозная мысль «Переписки!»), о том,

«что человеку везде, на всяком поприще предстоит много бед, что нужно с ними бороться...» [VIII, 239]. И еще это тот завет патриархальности, мудрого устройства основ национальной жизни, которые утрачены «страждущими и болеющими» европейцами, но сохранены в зародыше русскими. И потому через посредство древнегреческого поэта «многое из времен патриархальных, с которыми есть такое сродство в русской природе, разнесется невидимо по лицу русской земли» [VIII, с. 244]. «Разнесется» с помощью самодержца, при его содействии.

Однако гомеровский урок умножается на урок Священного Писания, ведь, по мнению Гоголя, своего героя, Николая I, поэт уподобляет «древнему боговидцу Моисею». Но уподобляет с существенной поправкой: монарх мог бы, «подобно ему, разбить листы своей скрижали, проклявши ветрено-кружащееся племя», но не сделал этого. «...Пушкина остановило еще высшее значение той же власти, которую вымолило у небес немощное бессилие человечества...» Вымолило «криком не о правосудии небесном, перед которым не устоял бы ни один человек на земле, но криком о небесной любви Божией, которая бы все умела простить нам – и забвение долга нашего, и самый ропот наш, – все что не прощает на земле человек...» [VIII, с. 254–255]. Словом, монарх, как ветхозаветный пророк, преобразуется в духе Нового Завета. Но и это еще не последняя веха в цепи его изменений.

В черновой редакции письма «О лиризме наших поэтов» есть обширное рассуждение, не вошедшее в печатный текст, но непосредственно связанное с трактовкой пушкинского стихотворения (на эту связь, кажется, еще не обращалось внимания). Здесь тема любви и всепрощения монарха достигает наивысшей степени. В печатном тексте говорилось, что «все полюбивши в своем государстве, до единого человека всякого сословья и звания», император готов обратиться «все, что ни есть в нем, как бы в собственное тело...» [VIII, 256]. В исключенном пассаже эта картина была еще более впечатляющей: советуя монарху – пусть он «возьмет в образец своих действий действия самого Бога», – Гоголь говорит и о его высшем проявлении такой любви: «...и наконец, видя, что все уже тщетно, и ничто не в силах образумить их, и нет средства укрыть людей от их неотразимой правды, сам [решается] решится самого себя принести в жертву за всех, чтобы ценой такой жертвы [и любви] победить и самую природу свою, показав людям, что такая любовь есть уже выше всего, что ни есть...» [VIII, 679, 680].

Это уже подвиг распятия! Это уже сам Спаситель!..

Соответственно с эволюцией образа меняется и символика схождения. У Пушкина это схождение поэта: «И светел ты сошел с таинственных вершин...», «Ты любишь с высоты / Скрываться в тень долины...» У Гоголя вначале, в описании вечера в Аничковом дворце, это схождение императора к своим подданным («Сошел на бал...»); потом, в истолковании пушкинского текста, схождение с Синяя пророка Моисея со скрижалями в руках; потом, в исключенном пассаже, схождение Бога к избранному им народу («Дай сойду сам на землю и рассмотрю, точно ли так велика неправда!»); и наконец, в заключение того же пассажа сошествие Спасителя ко всему человечеству. И это зримое повышение символики, ее сакрализация бросают свой отсвет на образ монарха. Тут уместно напомнить, что Гоголь, называя пушкинское стихотворение «одой», определял этот жанр в «Учебной книге словесности...» следующим образом: «...предмет од или сам источник всего – Бог или то, что слишком близко высокою чувств своих к божественному» [VIII, 473].

Гоголь, однако, велел исключить из статьи упомянутый пассаж, где возвышение «должности» монарха граничило с обожествлением. «Нужно выбросить все то место, где говорится о значении власти монарха, в каком оно должно явиться в мире, – пишет он Плетневу 16 октября н. ст. 1846 г. – Это не будет понято и приметя в другом смысле... Теперь выбросить нужно ее непременно, хотя бы статья была и напечатана...» [XIII, 111]. Настойчивость Гоголя вызвана боязнью превратного понимания, которое может проистекать из подозрения в угодничестве автора по отношению к власти, и опасением, что утверждаемая им искомая норма («в каком оно должно явиться в мире») будет принята за уже существующее, осуществленное. Ведь писатель, в полном соответствии с установкой «Выбранных мест...», лишь перебрасывает мостик от настоящего к будущему, намечает к этому будущему «исходы, средства и пути», но не выдает желаемое за действительное<sup>9</sup>.

## О тайне «Прощальной повести»

В русле «Выбранных мест...» развивается еще один, несколько таинственный сюжет – история неизвестного гоголевского произведения. Об этом произведении, называемом «Прощальной повестью», читатели узнали лишь в начале 1847 г., после выхода «Выбранных мест...». Именно здесь, в первой главе, озаглавленной «Завещание», писатель сообщил, что создал «лучшее свое сочинение, под названием Прощальная повесть», которую, однако, издавать не будет. Причина одна: «что могло иметь значение по смерти, то не имеет смысла при жизни» [VIII, 220, 222].

Критика не обратила особого внимания на упоминание «Прощальной повести»: ей хватало хлопот и с «Выбранными местами...» (об этом разговор впереди). Белинский лишь заметил, говоря о «Завещании», что «тут, между прочим, говорится, как о венце творений Гоголя, о какой-то прощальной повести, написанной им в назидание, поучение и услаждение высоких душ...» [Белинский, т. 10, с. 61]. Да еще Н.Ф. Павлов в одной из статей, посвященных «Выбранным местам...», обращаясь к их автору, коснулся и «Прощальной повести» в свойственной критику издательской манере: «...Конечно, вам не следовало бы упоминать, что вы плакали над нею, будучи еще дитятей: назначая ее на великое дело поучения людей взрослых, вы даете им право требовать, чтобы она была задумана и оплакана в менее нежном возрасте» [Шенрок, т. 4, с. 473].

Однако после смерти Гоголя вспомнили о его заявлении. 26 мая 1852 г. Марья Ивановна Гоголь писала М.П. Погодину: «Скажите мне, пожалуйста, существует ли прощальная повесть моего сына, о которой он упоминает в последней своей книге?» [ЛН. Т. 58. С. 765]. С аналогичным вопросом обращалась Елизавета Алексеевна Елагина, сводная сестра братьев Киреевских, к своей матери Авдотье Петровне Елагиной: «Пересмотрели Вы бумаги Жуковского? Не нашлись ли в них “Мертвые души” или прощальная повесть Гоголя?»<sup>10</sup>.

Рукописи второго тома «Мертвых душ», хотя и в виде черновых неполных редакций пяти глав, в бумагах Гоголя нашли; нашли и другие произведения: «Авторскую исповедь», «Размышления о Божественной литургии», «Учебную книгу словесности для русского юношества» и т. д., – а вот «Прощальная повесть» так и не обнаружилась. Поэтому со временем возобладало мнение, что

такого произведения просто не существовало. «Прощальная повесть, о которой Гоголь говорит в IV пункте Завещания, очевидно, так и не была им написана» [VIII, 787], – замечает Л.М. Лотман в комментариях к первому академическому Полному собранию сочинений Гоголя.

Встал вопрос и о том, что побудило Гоголя сделать такое заявление. Наиболее подробно на этот вопрос отвечал Ф.М. Достоевский, увидевший в гоголевских словах о «Прощальной повести» прямую неправду и связавший поступок писателя с психологическим феноменом «подполья». В набросках «Для предисловия» (к роману «Подросток») Достоевский писал:

Подполье, подполье, поэт подполья – фельетонисты повторяли это как нечто унижительное для меня. Дурачки. Это моя слава, ибо тут правда. Это то самое подполье, которое заставило Гоголя в торжественном завещании говорить о последней повести, которая выпелась из души его и которой совсем и не оказалось в действительности. Ведь, может быть, начиная свое завещание, он и не знал, что напишет про последнюю повесть. Что ж это за сила, которая заставляет честного и серьезного человека так врать и паясничать, да еще в своем завещании. (Сила эта русская, в Европе люди более цельные, у нас мечтатели и подлецы.)

И как вывод: «Причина подполья – уничтожение веры в общие правила. “Нет ничего святого”» [Достоевский, т. 16, с. 330; курсив в оригинале]<sup>11</sup>.

Нетрудно догадаться, что современные исследователи Гоголя с таким суровым приговором не согласились. «...Нельзя не заметить, – говорит В.Д. Носов (П.Г. Паламарчук), – что уже одно лишь описание ее [«Прощальной повести»] сделано с такой силой и непосредственностью, что повесть эта явственно встает перед глазами словно живая. Как-то трудно поверить, что, прощаясь с читателями перед уходом в вечность, великий писатель решил солгать, а солгав, сумел сделать это столь искренне».

Какое же это произведение конкретно? «Вряд ли можно принять... предложение отождествить с повестью “Выбранные места из переписки с друзьями”, – это собрание статей и писем Гоголь никогда не называл художественным произведением»<sup>12</sup>. Речь идет о некоем сокровенном, совокупном итоге последних гоголевских планов и раздумий, увенчанных известной предсмертной его фразой «Лестницу, поскорее давай лестницу!..»<sup>13</sup>. «Если взглянуть на последние слова Гоголя одновременно и как на завершающую

фразу его ПРОЩАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ, то это даст возможность связать образ лестницы с образом города в один общий символ пути духовного роста и совершенствования, лежащий в основе всех его поздних произведений»<sup>14</sup>.

В этих интересных рассуждениях заметна примечательная непоследовательность: оборот «Если взглянуть на последние слова Гоголя...» предполагает определенную степень условности утверждения. В то же время оказывается, что это не условность, не допущение, но факт: «В отличие от неоконченных “Мертвых душ”, конечные слова ненаписанной ПРОЩАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ хорошо известны: это... знаменитая фраза его о “лестнице”»<sup>15</sup>. Тем самым ненаписанная «Прощальная повесть» приобретает хотя бы частично – или, может быть, правильнее сказать: в какой-то части – статус существовавшего текста.

Таким статусом – уже не частично, а полностью – обладает «Прощальная повесть» для другого исследователя – Ю.Я. Барабаша, считающего, что речь идет именно о «Выбранных местах из переписки с друзьями»: «Решусь на чистосердечное признание. Лично для меня в этом вопросе не было (нет и сейчас, после Бог знает какого по счету прочтения книги) никакой особой загадки. Я не видел и не вижу, что, кроме “Выбранных мест...”, пусть даже еще только замышлявшихся, мог иметь в виду Гоголь, говоря в “Завещании” о “Прощальной повести”» [Барабаш, 1993, с. 260].

С другим произведением, с «Авторской исповедью», связывает «Прощальную повесть» Н.Е. Крутикова: «А может быть, она вошла какой-то частью в “Авторскую исповедь”, называемую Гоголем “повестью о писательстве”?» [Крутикова, с. 171].

Более сложный ответ на вопрос о «Прощальной повести» предложен Павлом Михедом. По его мнению, «повесть» соотнесена как с «Выбранными местами...», так и с «Авторской исповедью», но соотнесена в разной степени. «Я склонен думать, что, еще работая над “Выбранными местами”, Гоголь замыслил книгу, которая могла бы объяснить происшедшую с ним метаморфозу, в результате которой писатель обратился к прямому Слову и отважился проповедовать». Однако «Выбранные места», продолжает исследователь, «содержали лишь часть авторства или писательства. Другая ее часть, и основная, изложена в “Авторской исповеди”». Так акцент решительно смещается в сторону «Авторской исповеди»: «...без полного завершения “Мертвых душ” оставленный набело переписанный текст “Авторской исповеди” и был вариантом “Прощальной повести”, объясняющей Путь писателя. Осталось лишь дать

заглавие прощальной повести писательства или авторства Гоголя, что и сделал С. Шевырев...» [Михед, с. 339, 340].

Интересно также мнение современного деятеля Русской православной церкви иеромонаха Симеона (Томачинского). С одной стороны, он повторяет уже сказанное: «Гоголь поступает в данном случае подобно человеку, который, рассказывая о себе, говорит “мой друг” или “один человек” “Прощальная повесть” – это своего рода псевдоним “Выбранных мест...”». А с другой стороны, гоголевский псевдоним означает «мистификацию», которая «служит для того, чтобы, во-первых, заинтриговать читателя, во-вторых, чтобы поставить “защиту от дурака” По признанию писателя, “Прощальная повесть” была “источником слез”, настоящей *святыней* для него. А святыни, как известно, не всякому можно давать в руки» [Симеон, с. 69, 68]. Словом, в «Прощальной повести» нарочито скрыт элемент тайны. А тайну необходимо раскрыть, расшифровать.

Прежде всего: о чем говорит название предполагаемого гоголевского произведения?

Повесть, помимо определенной жанровой дефиниции (в прозе это средний, промежуточный жанр между романом и рассказом или новеллой), несла на себе печать личного повествования, рассказа о себе: «Послушай: расскажу тебе / Я *повесть* о самом себе» (А.С. Пушкин, «Цыганы»<sup>16</sup>), иногда – рассказа весьма обширного, охватывающего всю жизнь или значительный ее этап, как, например, в сочинении А.В. Никитенко «Моя *повесть* о самом себе и о том, “чему свидетель в жизни был”» (1851, опубли. в 1888–1892).

В качестве личного повествования повесть нередко приобретала черты исповедальности и становилась синонимом исповеди как жанра (это обстоятельство уже неоднократно подчеркивалось, в частности, Павлом Михедом). Так, в известном письме Е.А. Баратынского к В.А. Жуковскому (от конца 1823 г.), где поэт рассказывает о мрачном эпизоде в своей биографии (участии в краже): «Требуя от меня *повести* беспутной моей жизни, я уверен, что вы приготовились слушать ее с тем снисхождением, на которое, может быть, дает мне право самая готовность моя к исповеди, довольно для меня невыгодной» [Баратынский, с. 463]. Или в стихотворении Лермонтова (датировано 1837 г.): «Я не хочу, чтоб свет узнал / Мою таинственную *повесть*; / Как я любил, за что страдал, / Тому судья лишь Бог да совесть!..»



Надо сказать, что и Гоголь не раз имел повод исповедоваться в каком-либо странном и «невыгодном» событии своей жизни, как, скажем, во внезапном путешествии за границу в августе–сентябре 1829 г., по возвращении из которого он спешит «повергнуться в объятия» матери, чтобы «излить... изрытую и опустошенную бурями душу свою, рассказать всю тяжкую повесть свою» [X, 151].

И затем сходная ситуация повторялась в жизни Гоголя неоднократно. В ответ на откровенные письма своего давнего друга А.С. Данилевского и его жены Гоголь пишет (18 марта н. ст. 1847 г.): «Хотелось бы вам заплатить тем же, т. е. повестью о себе, но повесть эта так чудна, так необыкновенна, что нужно слишком собраться духом и привести себя в очень покойное расположение... Но теперь во внутреннем доме моем происходит еще столько мытья, уборки и всякой возни, что хозяину просто невозможно быть толкову в речах...» [XIII, 261]. Таким образом, значения личного повествования и исповедальности дополняются еще значением нравственного самовоспитания и совершенствования: «Уже самая своя собственная душевная повесть, – говорит Гоголь в статье «О Современнике» (1846), – предметом которой будет взято собственное пробуждение от мертвенного застоя, заставляющее с ужасом взглянуть человека на животное-истраченную жизнь свою, может быть высоким предметом для романа» [VIII, 426].

А что означало первое слово, определение, в названии «Прощальная повесть»? То, что это произведение последнее, возникшее на грани жизни и смерти и даже тогда, когда человек заглянул за эту грань. Голос уходящего и ушедшего приобретает особую убедительность и непререкаемость. «Мои слова должны иметь силу, ибо я от вас отдален. Они подобны голосу из гроба и должны быть священны» [XII, 128], – писал Гоголь в ноябре 1842 г. из Рима неустановленному лицу (возможно, С.Т. Аксакову). Гоголь тогда уже вживался в эту роль, вживался гипотетически, ибо Рим – это все-таки не тот свет; теперь ему довелось «проиграть» ее с большим основанием и, увы, большим приближением к действительности: «...человек, лежащий на смертном одре, может иное видеть лучше тех, которые кружатся среди мира» [VIII, 221]. Это сказано уже непосредственно в связи с «Прощальной повестью». Раньше под знаком смерти Гоголь обращался к конкретным лицам – такие обращения он будет практиковать и позже, например, 14 ноября н. ст. 1846 г. он просит сестер «свято исполнить, как бы последнюю волю уже умершего их брата» [XIII, 139]. Теперь своей «Прощальной повестью» Гоголь говорит *sub specie mortis* со всем

читающим миром. А это, в свою очередь, определяет тональность всей книги, «Выбранных мест...», в которой упомянута «Прощальная повесть». В своей «Переписке», подметил Шевырев, Гоголь «говорит как умирающий, на такой высоте, с которой слова имеют уже другое значение» [М. 1848. № 1. С. 3].

Еще раз подчеркнем своеобразие именно «Прощальной повести». О воспитательной роли фактора смерти Гоголь думал всегда, особенно часто в последние годы жизни. «До тех пор, пока человек не сроднится с мыслью о смерти, – пишет он матери 25 января (н. ст.) 1847 г., – и не сделает ее как бы завтра его ожидающею, он никогда не станет жить так, как следует, и все будет откладывать от дня до дня на будущее время. Постоянная мысль о смерти воспитывает удивительным образом душу, придает силу для жизни и подвигов среди жизни» [XIII, 194]. В своем отношении к «памяти смертной» (это выражение Гоголь употребляет в том же письме) писатель близок к традиции Отцов Церкви и, возможно, непосредственно руководствуется их трудами. Вот, например, выразительная параллель из «Размышлений о смерти» Ефрема Сирина:

Блажен тот, кто непрестанно думает о дне своего ухода... Блажен тот, кто в час ухода обретает радостную уверенность, когда душа с трепетом и болью отделяется от тела... О, брат! Не рассчитывай долгое время пребывать на земле и не поддавайся искушению злых мыслей и поступков. Может случиться так, что воля Всевышнего обнаружится внезапно, настигнув тебя врасплох и не оставив тебе времени для раскаяния и мольбы о прощении. Поэтому как человек пронизательный и исполненный духовной силы жди каждый день смерти, ухода, предстания перед престолом судящего Бога!

[Цит. по: Шрайер, с. 89; здесь же отмечена указанная параллель к гоголевским рассуждениям; см. также: Вайскопф, 2002, с. 640.]

В «Прощальной повести» роковой порог максимально приближен, приговор высшего судьи уже произнесен, завтрашнее ожидание смерти превращается в сегодняшнюю реальность, и в ней поистине зазвучал (должен зазвучать) «голос из гроба».

Что еще можно извлечь из авторской характеристики «повести»? Что она «лучшее из всего, что произвело перо мое», значит, лучше и «Мертвых душ», над вторым томом которых он в это время работал и которые считал своей главной книгой. Что она возникла не вдруг, но вынашивалась долгие годы, была «источ-

ником слез, никому не зримых, еще от времен детства», вобрала в себя весь духовный и душевный опыт автора. Что ее действие, эффект естественно вылились в «поучение», но это никого не должно смущать или оскорблять: «Я писатель, а долг писателя не одно доставление приятного занятия уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям» [VIII, 221].

Гоголь действительно нигде не говорит, что это художественное произведение, но он нигде и не говорит, что это произведение другой, нехудожественной в категориях нашего времени, публицистической природы. С этой стороны жанр «Прощальной повести» никак не определен. Зато определено другое – ее естественное, спонтанное, как сказал бы Аполлон Григорьев, органическое происхождение. «Клянусь, я не сочинял и не выдумывал ее, она выпелась сама собою из души, которую воспитал сам Бог испытаньями и горем, а звуки ее взялись из сокровенных сил нашей русской породы нам общей, по которой я близкой родственник вам всем» [VIII, 221–222]. Эти слова, особенно глагол «выпелась», заставляют вспомнить характеристику привезенной из Италии картины русского живописца во второй редакции «Портрета»: «Видно было, как все, извлеченное из внешнего мира, художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника устремил его одной согласной, торжественной *песнью*» [III, 112]. «Прощальная повесть», как ее хочет представить автор, – не только последнее, но и совершенное, может быть, самое совершенное его произведение, неотразимый и неоспоримый шедевр.

И тут видны важные отличия в авторской ориентации применительно к «Выбранным местам...». Это тоже книга страданий, кризиса, даже смертельного кризиса, но страданий, идущих на убыль, кризиса преодоленного. Отсюда характеристика «Выбранных мест...» как книги полезной, нужной, дельной, даже, может быть, гоголевской «единственной дельной книги», «первой моей дельной книги». В ней, говорит писатель, заключилась «часть моей исповеди», но исповеди, которая не столько потрясет, сколько научит, что и как «должно делать». В составлении книги Гоголь также видит участие высшей силы, Божественного чуда, но чуда восстановления и преображения: «Это просто чудо и милость Божия, и мне будет грех тяжкий, если стану жаловаться на возвращенье трудных, болезненных моих <припадков>» [XIII, 112]. Со временем же, после первой читательской реакции на «Выбранные

места...», Гоголь будет готов признать и неполноту, предварительность своего опыта, который отзовется более значительными сочинениями, его собственными или других авторов. «Несмотря на то, что сама по себе она [книга] не составляет капитального произведения нашей литературы, она может породить многие капитальные произведения» [XIII, 243].

И еще одно отличие: «Выбранные места...» – книга не прощальная, не последняя, но скорее промежуточная. Это книга мучительного переделывания, перестраивания себя – в этом духе Гоголь интерпретировал «Сампсона» Н.М. Языкова: «Сампсон, рассерженный своими врагами, глумящимися над его бессилием, происшедшем от забвения высшего служения Богу, ради всяких светских мелочей, потрясает наконец храмину, дабы погубить в своих врагах врагов в себе и вместе с ними погубить прежнего самого себя, дабы на место его явился вновь еще сильнейший силач, служащий Богу» [XIII, 90]. В то же время книга вызвана к жизни, чтобы объяснить и мотивировать длительное молчание Гоголя, задержку давно ожидаемого и обещанного второго тома «Мертвых душ»; чтобы предложить и опробовать некоторые коренные идеи гоголевской поэмы, изложенные более непосредственно, языком умозаключений и публицистики. По словам Н.С. Тихонравова, писатель приподнимал «для публики завесу с того нового направления, которое должно было выразиться полно и рельефно в новой редакции второго тома “Мертвых душ”»<sup>17</sup>. Автор «Выбранных мест...» вовсе не ставил точку, не прощался. Напротив, за ними должны были последовать другие его сочинения и прежде всего – две части поэмы. «Вся моя книга, – говорит Гоголь в письме от 22 февраля н. ст. 1847 г. к А.О. Смирновой, – долженствовала быть пробой... Не позабывайте, что у меня есть постоянный труд: эти самые “Мертвые души”...» [XIII, 223–224].

Совершенно иная гоголевская ориентация – по сравнению с «Прощальной повестью» – заметна и в отношении «Авторской исповеди», не говоря уже о том, что ко времени, когда была объявлена «повесть», такого сочинения еще не существовало (написано в мае–июле 1847 г.; напомним еще раз, что заглавие – «Авторская исповедь» – принадлежит редактору С.П. Шевыреву). Несмотря на то что и здесь фигурирует слово «повесть» («...решаюсь чистосердечно и сколько возможно короче изложить всю повесть моего авторства...» [VIII, 438]), это тоже не прощальная повесть. Отважившись на откровенные и мучительные объяснения по поводу своего «авторства» и своей

последней книги («Выбранные места...»), Гоголь держит в уме и перспективу дальнейшей писательской карьеры, – то время, когда «выйдет второй и третий том Мертвых душ» и когда «все будет объяснено ими» [VIII, 463].

Словом, «Прощальная повесть», по установке Гоголя, – это не «Выбранные места...», не «Авторская исповедь» и, конечно, не некая совокупность гоголевских текстов и замыслов последнего времени. Очевидно, что подразумевалось другое произведение. И не только подразумевалось, но подчеркивалось: не забудем, что о «Прощальной повести» объявлено в рамках «Выбранных мест...» и что «лучшим» произведением она признана автором и по отношению к этой книге. Гоголю важно было, чтобы у читателя создалось твердое впечатление: речь идет об особенном, уникальном и, увы, утаенном от него тексте.

В недавно вышедшем исследовании Е.И. Анненковой говорится: «Скорее всего подразумевалось произведение, которое только мыслилось, которое должно было снять те сложности и противоречия, которые мучили Гоголя в ходе работы над “Выбранными местами” и над “Мертвыми душами”; которое воплотило бы и самые ранние гоголевские религиозные устремления, и поздние, зрелые, обдуманное знания» [Анненкова, с. 158–159]. Соотнесенность «Прощальной повести» с «Выбранными местами...», «Мертвыми душами» (а заодно и с другими гоголевскими вещами) бесспорна. Но вместе с тем значащими факторами представления этого произведения являлось то, что оно *уже написано*, но автор *отказывается* предьявлять ее читателям, равно как и *возвращаться* к нему в будущем. «Прощальная повесть» – это реальность, но, увы, недоступная нашим органам чувств.

Гоголь датировал «Завещание», содержащее сообщение о «Прощальной повести», 1845 г., тем самым указав в ее истории верхнюю хронологическую границу. Это была действительно страшная пора – июль и август того же года, – когда Гоголь, по его выражению, заглянул в лицо смерти, когда он готов был признать тщету и «бесполезность» всего им прежде напечатанного, когда возникла потребность решительного и последнего объяснения с «соотечественниками» (см. подробнее: кн. 2, с. 447 и далее). «Я был тяжело болен; смерть уже была близка», – сказано об этом времени в «Предисловии» к «Выбранным местам...». Такое объяснение и вылилось в замысел «Прощальной повести». Замечание автора, что замысел этот он носил «долго в своем сердце», «от времен детства»,

сказанному не противоречит: «повесть» выростала из глубин души, вбирала в себя пережитое и прочувствованное за всю жизнь<sup>18</sup>.

Нет никакой возможности утверждать, что «Прощальная повесть» была написана полностью или хотя бы частично; однако уже то, что она была задумана и пережита Гоголем, давало ему моральное право говорить о ней как о биографическом и литературном факте. Тут гораздо корректнее не слова Достоевского о прямой неправде («начиная завещание, он и не знал, что напишет про последнюю повесть»), а его же замечание о воображении и мечтании («...в Европе люди более цельные, у нас мечтатели...»).

Однако кризис 1845 г. был преодолен, «небесная милость Божия, – как сказано в «Предисловии» к «Выбранным местам...», – отвела от меня руку смерти» [VIII, 215]. «Выбранные места...» создаются в другом психическом и эмоциональном настрое, и Гоголь теперь признает неуместной публикацию «Прощальной повести». Но в то же время в виде специального IV параграфа «Завещания» он дает о ней подробное упоминание. Фактор утаенной «Прощальной повести» переходит в другой гоголевский жизненный и творческий контекст, и ему, этому фактору, придается теперь новое ударное значение.

Весьма возможно, что какие-то элементы гоголевского замысла перешли или отразились в «Выбранных местах...», но не весь замысел и не его установка.

Вернемся еще раз к упоминанию «повести». Оно содержит описание не столько самой повести, сколько того действия, которая она оказывает – должна оказать! – на читателей. И тут Гоголь не скупится на самые сильные выражения, на высочайшую приподнятость тона. «...Соотечественники! страшно!.. Замирает от ужаса душа при одном только предслышании загробного величия и тех духовных высших творений Бога, перед которыми пыль все величие его творений, здесь нами зримых и нас изумляющих. Стонет весь умирающий состав мой, чужа исполинские возрастанья и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся...» [VIII, 221]. Тут явно звучат мотивы Страшного суда, картина которого поразила будущего писателя еще в детстве в рассказе матери, сумевшей, как вспоминает Гоголь, «так разительно, так страшно» описать «вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне всю чувствительность» (см.: кн. 1, с. 38). Таким образом проясняется и замечание Гоголя, что «Прощальная повесть» вынашивалась «еще со времен детства» и теперь вдруг «выпелась сама собою из

души». «Может быть, – заключает Гоголь, – Прощальная повесть моя подействует сколько-нибудь на тех, которые до сих пор еще считают жизнь игрушкой, и сердце их услышит хотя отчасти строгую тайну ее и сокровеннейшую небесную музыку этой тайны» [VIII, 221].

К этому месту – о воздействии повести на других – можно найти у Гоголя не одну параллель, например уже приводившуюся выше характеристику (в письме к А.О. Смирновой от 27 января н. ст. 1846 г.) светских русских дам, «которые еще не избрали поприще и находятся покаместь на дороге и на станции, а не дома. Для них, равно как и для многих других люд<ей>, готовятся “Мертвые души”» [XIII, 35]. Однако есть существенное отличие: в цитиромом письме речь идет о произведении, известном читателю (или таком, которое станет известным, т. е. продолжении поэмы), в «Завещании» же – о тексте, который «не может явиться в свет» и для читателя не доступен.

«Соотечественники!.. не знаю и не умею, как вас назвать в эту минуту, – продолжает Гоголь свою речь о «Прощальной повести». – Прочь пустое приличие! Соотечественники, я вас любил; любил тою любовью, которую не высказывают, которую мне дал Бог... во имя этой любви прошу вас выслушать сердцем мою Прощальную повесть» [VIII, 221]. «Выслушать» ее невозможно, но затребовано к ней высочайшее внимание, полная открытость; предполагается и соответствующий неотразимый эффект.

Все это обусловило особую роль «Прощальной повести» в отношении других текстов, созданных или только создающихся.

Гоголю второй половины 1840-х годов был свойственен такой мыслительный ход: мол, нечто сказано им неполно, неточно, даже плохо; но в основе своей все это верно и справедливо; читатель должен сам преодолеть несовершенство формы, прикинуть к животворящей истине. Отсюда постоянные призывы к своим корреспондентам вновь и вновь перечитывать его письма и произведения. Показательно начало статьи «О лиризме наших поэтов», включенной в «Выбранные места...»: «Мне стыдно, когда помыслию, как до сих пор еще я глуп и как не умею заговорить ни о чем, что поумнее... Мою же собственную мысль, которую не только вижу умом, но даже чую сердцем, не в силах передать. Слышит душа многое, а пересказать или написать ничего не умею. Основание статьи моей справедливо, а между тем объяснился я так, что всяким выражением вызвал на противоречие» [VIII, 248–249].

Ощущение Гоголя близко положению Чаадаева, которое он применял даже к священным текстам. «Чтобы стать понятным для человеческого разума, – писал Чаадаев княгине С.С. Мещерской 27 мая 1839 г., – Божественное слово должно было пользоваться человеческим языком, а следовательно, и подчиниться несовершенствам этой речи. Подобно тому, как Сын Божий, став Сыном человеческим, принял все условия плоти, Дух Божий, проявляясь в духе человеческом, также должен был принять все условия человеческой речи... Св. Дух также торжествует над человеческой речью не в каждой строчке Писания, но в его целом» [Чаадаев, с. 407].

Гоголь тоже требует от своих читателей внимания к «целому», требует тем самым осознания несовершенства произнесенного слова, постоянного стремления понять, что же в глубине его скрывается и должно быть обнаружено и почувствовано. В «Прощальной повести» это требование выражено, говоря языком формалистов, как обнаженный прием, потому что не известно, что и как в ней сказано, – объявлено лишь впечатление, повторим, неотразимое впечатление, которое она должна бы была произвести. «Прощальная повесть» предлагает и определенную модель поведения читателя: внимая автору, он в то же время внимает самому себе, причем не столько достраивая текст, сколько дооформляя и усиливая свое ощущение.

Утаивание текстов – популярный прием гоголевско-пушкинской эпохи, сложившийся в атмосфере романтизма и стернианства. Таково опущение строф и строчек в «Евгении Онегине», заменяемых цифрами.

В этих цифрах даются как бы эквиваленты строф и строк, наполненных любым содержанием; вместо словесных масс – динамический знак – неопределенный, загадочный семантический иероглиф, под углом зрения которого следующие строфы и строки воспринимаются усложненными, обремененными семантически. Какого бы художественного достоинства ни была выпущенная строфа, с точки зрения семантического усложнения и усиления словесной динамики – она слабее значка и точек... [Тынянов, 1977, с. 60].

Своеобразие гоголевского «приема» в том, что были опущены не строчки и фрагменты, а целое произведение, причем не существенно, написано и закончено это произведение или нет (лакуны в пушкинском романе в стихах тоже не всегда были строго эквивалентны реально существовавшему тексту). Важен был сам



факт демонстративного опущения, создающего «угол восприятия» другого текста, причем этот угол – еще одна оригинальная черта гоголевского «приема»! – был предуказан, предопределен описанием того действия, которое проистекало из утаенного произведения.

Наконец, важно и то, что представляемый «Прощальной повестью» «динамический знак» обращен был не к одному произведению, – как пушкинские «динамические знаки» обращены к «Евгению Онегину», – но ко всему гоголевскому творчеству, включая и «Выбранные места...», и продолжаемые «Мертвые души». Рядом с другими произведениями, уже написанными и будущими, возникал образ произведения умопостигаемого, совершенного, идеального. Это тоже была норма «должности» или «поприща», но на этот раз собственно гоголевских, его писательской судьбы, его достижений, его будущего. Если не бояться современных категорий, то можно сказать, что объявленное произведение существовало в виртуальном пространстве, бросая оттуда на другие гоголевские тексты свой отблеск и заставляя воспринимать последние в их высшем значении.

Правда, после «Выбранных мест...» Гоголь уже не упоминал «Прощальную повесть», а в «Авторской исповеди» признал публикацию «Завещания» (где содержался соответствующий пассаж) довольно «неосторожным» шагом [см.: VIII, 465]. Однако дезавуировать «Прощальную повесть» как фактор своей литературной судьбы он уже не мог, даже если бы и хотел. «Прощальная повесть» уже существовала как, по пословице, выпущенный на волю воробей, несмотря на то что этого «воробья» никто не видел и, очевидно, не должен был увидеть.

С судьбой «Прощальной повести» оказался связанным другой сюжет гоголевской биографии – сюжет портрета. Сюжет этот восходит к событию трех-четырёхлетней давности, когда в 11-м номере «Москвитянина» за 1843 г. и в украинском литературном сборнике «Молодик на 1844 год» были опубликованы портреты Гоголя. Писатель тогда сильно рассердился на обоих издателей, особенно на Погодина, редактора «Москвитянина», – рассердился не столько за то, что у него не было испрашено разрешения, сколько за самый факт публикации, обнародования. Тут были затронуты глубокие слои гоголевской психики: автор, который работает «в тишине» и сторонится публичности, не хочет до поры до времени являться своим современникам, да еще в многократно

умноженном, тиражированном виде. Конечно, немалая роль при этом отводилась самой декларации, позе; ведь, в конце концов, внешность писателя не была тайной: многие его знали, видели, причем с довольно близкого расстояния. Но именно в декларативности, а не в реальности гоголевского запрета состоял смысл последнего. Мол, когда Гоголь выполнит свою миссию, завершит книгу жизни, тогда он вправе предстать перед своими читателями воочию (см.: кн. 2, с. 415).

Тем самым портрет Гоголя, подобно «Прощальной повести», приобретал некие черты потусторонности, «вертуальности», – но с одним существенным отличием. «Прощальная повесть» утаена от читателя, и никто ее не увидит, а портрет при желании можно и посмотреть, стоит только открыть книжку «Москвитянина» или «Молодика». Отсюда досада и неудовольствие, направленные прежде всего против Погодина: «Завещаю... но я вспомнил, что уже не могу этим располагать. Неосмотрительным образом *похищено* у меня право собственности: без моей воли и позволения опубликован мой портрет» [VIII, 222].

Это место вызвало возмущение С.Т. Аксакова:

...Не могу умолчать о том, – писал он Гоголю 27 января 1847 г., – что меня более всего оскорбляет и раздражает: я говорю о ваших злобных выходках против Погодина. Я не верил глазам своим, что вы даже в завещании... расставаясь с миром и со всеми его презренными страстями, – позорите, бесчестите человека, которого называли другом и который точно был вам друг, но *по-своему*. Погодин сначала был глубоко оскорблен; мне сказывали даже, что он плакал; но скоро успокоился. Он хотел написать к вам следующее: «Друг мой! Иисус Христос учит нас, получив оплеуху в одну ланиту, подставляя со смирением другую; но где же он учит давать оплеухи?» Желал бы я знать, как бы вы умудрились отвечать ему [Переписка, т. 2, с. 81; курсив в оригинале].

Да, исполненный внимательности, подчас заботливости, подчас самоотверженности к своим друзьям, Гоголь нередко причинял им боль и наносил оскорбления. Но и друзья Гоголя не всегда склонны были разбираться в сложностях и тонкости душевной организации писателя.

«Среди разъездов, среди хлопот и дел...»

Но вернемся к хронологической канве биографии Гоголя. Путь его из Франкфурта-на-Майне в Рим, занявший около трех недель, с начала 20-х чисел октября до 11 ноября, пролегал через Страсбург, Ниццу, Геную, Флоренцию...

Гоголь мысленно все время возвращается к тексту «Выбранных мест...», внося в него поправки и уточнения. «Не сердись и не гневайся на меня... – пишет он Плетневу 2 ноября н. ст. из Ниццы. – Что же делать? Сам видишь, каким образом составлялась эта книга: среди лечений, среди разъездов, среди хлопот и дел...» [XIII, 123]. «Разъезды» и «хлопоты» все продолжались, а вместе с ними не унималось и беспокойство по поводу тех или других фраз и оборотов.

Так, в статье «Русской помещик» Гоголь просит Плетнева выбросить выражение «Выбрани немцем, если не хватит другого слова», потому что это могут принять «в смысле моего личного нерасположения к немцам». В рукописи к слову «немец» уже имелось пояснение: «Немцем называет русской народ всякого, кто не умеет говорить по-русски, а не то, чтоб он разумел под этим какую-нибудь германскую нацию» [VIII, 695]. Но теперь писателю показалось этого мало, и, опуская упоминание «немец», он мотивирует свое решение в духе довольно резкой национальной самокритики: «По мне, между нами есть гораздо более русских такого рода, которых бы следовало назвать немцами и которые повели себя гораздо хуже немцев» [XIII, 123]. Как видим, дело не только в незнании (или знании) языка.

Особенно показательны советы и замечания, сделанные в связи с предполагаемой постановкой «Развязки Ревизора», они все сводятся к требованию соблюдать естественность действия и правду характеров. Реплики «должны быть сказаны твердо, с полным убеждением в их истине, потому что это – спор, и спор живой, а не нравоченье». В связи с этим Гоголь рекомендует актерам ориентироваться на какие-либо реальные лица; так, «играющему Петра Петровича» – «придерживаться американца Толстого», а исполнителю роли Николая Николаевича – «придерживаться Ник<олая> Филипповича Пав<лова>» (письмо к М.С. Щепкину от 24 октября н. ст. из Страсбурга).

Оба реальных лица заняли свое место в истории восприятия и истолкования гоголевских произведений, в частности «Ревизо-

ра». Ф.И. Толстой («Американец») публично говорил, что автор комедии – «враг России и что его следует в кандалах отправить в Сибирь» [Воспоминания, с. 122]. Сложнее была позиция Н.Ф. Павлова, сочувствовавшего Гоголю, но в то же время ревниво относившегося к его успехам, в частности к театральным [см. сводку данных: Гоголь, ак., т. 4, с. 849–850]. Все это было хорошо известно в литературных кругах, но тем не менее Гоголь упоминает обоих отнюдь не в связи с их отношением, отрицательным или сдержанным, к «Ревизору», но потому что Толстой принадлежит к «говорящим лучше всех по-русски», а у Павлова «самый ровный и пристойный голос из всех наших литераторов». Тут следует совет и исполнителю роли Семена Семеныча, по авторской ремарке, «человеку... немалою света, но в своем роде», – «дать более благородную замашку, чтобы не сказали, что он взят с Николая Миха[й]лов[ича] Заг[оскина]» [XIII, 118]. Все это преследует одну цель – избежать карикатуры, «личностей», добиваться полноты и пристойности. Художественной объективностью Гоголь стремится уравновесить усилившийся моральный и проповеднический пафос. Выведение уроков из «Ревизора» – объявленная цель «Развязки...» – должно было производиться теми же средствами, что и построение самого «Ревизора».

Кстати, и для самого «Ревизора» у Гоголя находятся яркие краски в духе намеченной ранее интерпретации комедии.

Так Хлестакова, – объясняет Гоголь Сосницкому в письме из Ниццы 2 ноября н. ст., – непременно нужно сыграть в виде светского человека *comme il faut*, вовсе не с желанием сыграть лгуна и щелкопера, но, напротив, с чистосердечным желаньем сыграть роль чином выше своей собственной, но так, чтобы вышло само собою, в итоге всего, и лгунишка, и подляшка, и трусишка, и щелкопер во всех отношеньях [XIII, 127–128].

Но и стремление к вразумлению и наставлению современников не оставляет Гоголя, обдумывавшего в связи с этим многоступенчатую акцию. Вначале должны появиться «Выбранные места...», которые пробудят желание вновь увидеть «Ревизора» на сцене [XIII, 119]; ко дню представления выйдет и «Ревизор» «отдельно с “Развязкой”»; появится и новое издание «Мертвых душ». «Выбранные места...» должны сыграть ударную роль, роль своеобразного эпиграфа к другим гоголевским произведениям.

Не ограничиваясь тем общим зарядом наставничества, который содержала в себе «Переписка», Гоголь решил снабдить не-

которые из даримых им экземпляров еще советами персонального свойства, в его категориях – снабдить индивидуальными «упреками-ободрениями». Так, сестры Гоголя получили совет увеличить «ко всем ласковость и приветливость, гораздо в большей степени, чем прежде», а Лиза, сверх того, еще и предостережение от нескромности, ибо брат приметил у нее «что-то похожее на кокетничество, когда ей случалось говорить с молодыми мужчинами или просто быть при них». Гоголь строго приказывает: «Чтобы это было выброшено из головы. Чтобы на всех молодых людей глядели они (речь идет уже о все сестрах. – Ю. М.) так, как сестра глядит на брата; чтобы были с ними искренни, простодушны, говорливы и говорили так просто, как бы со мною...» [XIII, 139].

Но особенно оригинальное напутствие адресовалось Погодину. (Гоголь сделал надпись на отдельном листке и поручил Шевыреву приклеить его на первую страницу книги.) Погодину было вспомнано все: и своевольная публикация гоголевского портрета, и намеки и просьбы Гоголю об участии в «Москвитянине». Можно сказать, перефразируя Хлестакова («...еще ни один человек в мире не едал такого супа»), – еще никто и никогда не получал такой дарственной надписи: «Неопрятному и растрепанному душой Погодину, ничего не помнящему, ничего не примечаящему, наносящему на всяком шагу оскорбления другим и того не видящему, Фоме неверному, близоруким и грубым аршином меряющему людей, дарит сию книгу в вечное напоминание грехов его человек, так же грешный, как и он, и во многом еще неопратнейший его самого» [Барсуков, т. 8, с. 544]. Моральной компенсацией Погодину должна была служить последняя фраза: он, Гоголь, оказывается, ничуть не лучше, а в чем-то и хуже Погодина...

Получив подобное посвящение, Погодин записал в дневнике: «Он считает своею обязанностью учить всех. Вот научил и меня! Христианство с аплике, а не серебряное, Бог с ним. Рад, что не сержусь» [Там же].

Краткое пребывание Гоголя в Ницце прошло под знаком воспоминаний о событиях трехлетней давности: дом возле Мраморного креста (Croix de Marbe), где жила Смирнова-Россет; дом Мазари, где квартировали Соллогубы; и, конечно, Paradis, т. е. дом госпожи Паради, где жили Виельгорские и куда переехал Гоголь. Обо всем этом Гоголь напомнил в письме к Анне Виельгорской.

Для обращения к Анне Михайловне был и деловой повод – нашлось поприще и для нее в связи с задуманной писателем ак-

цией: «...все выслушайте внимательно и все исполните усердно, что ни скажу, помолившись прежде покрепче Богу...». Речь идет о раздаче денег бедным из тех средств, которые будут выручены за новое издание «Ревизора» вместе с «Развязкой...». Среди «раздателей» Анне Виельгорской отводится роль организатора: «Старайтесь особенно склонить из женского пола таких, которых вы знаете как сострадательных, рассудительных и умных женщин». Гоголь называет и конкретное имя – Софью Андреевну Дашкову (ок. 1820 – после 1908): «...у ней есть особенная светлость душевная, постоянно разлитая в чертах ее лица...» [XIII, 120–121].

В тот же день, 2 ноября, Гоголь обращается с письмом к Щепкину и просит его связаться с Анной Виельгорской, причем не только по поводу раздачи денег: «Расскажите ей обо всем относительно постановки “Ревизора”». И поясняет: «Она умна, многое поймет и на многое подвигнет других» [XIII, 126, 127]. И чуть позже, 5 января н. ст., из Неаполя, советуя Плетневу познакомиться с Анной Михайловной: «У ней есть то, что я не знаю ни у одной из женщин: не ум, а *разум*; но ее не скоро узнаешь; она вся *внутри*» [XIII, 171; курсив в оригинале].

По пути в Рим Гоголь провел дня четыре, по 10 ноября, во Флоренции, отправившись далее дилижансом и жалея, что не выбрал ранее морское сообщение – он бы давно уже был у цели, т. е. в Неаполе.

Краткое пребывание Гоголя в Риме ознаменовалось встречей с графом Д.Н. Блудовым, одним из учредителей «Арзамаса», а также крупным чиновником. Гоголь был знаком с ним еще по Петербургу, когда, будучи министром внутренних дел, тот помогал ему в хлопотах о месте в Киевском университете.

В Риме Гоголь встретил Блудова в посольской церкви во время обедни. «Он немного постарел, но нынешнее выражение лица его мне очень понравилось: в нем что-то приятное и благостное. Он меня принял очень хорошо», – сообщал Гоголь позднее, 24 ноября н. ст., Жуковскому.

Эта встреча оказалась, по-видимому, единственной; на другой день Гоголь зашел к Блудову, но не застал его дома; поэтому, продолжает Гоголь свое письмо Жуковскому, он не может «больше рассказать о нем ничего», но все же вынес впечатление, что Блудов «доволен своими делами с папой, о котором отзывается с большим уважением» [XIII, 144].

«Дела с папой» проистекали из того, что незадолго перед тем, 14 марта 1846 г., Блудов был назначен членом комитета для

рассмотрения дел и предположений, относящихся к сношениям России с Римским двором по духовной части. А 21 июля он стал его императорского величества уполномоченным для переговоров с Римским двором об устройстве и управлении римско-католической церковью в империи и Царстве Польском. С этой целью он и прибыл в Рим в середине октября. В результате переговоров 22 июля / 3 августа 1847 г. будет заключен конкордат с главой католической церкви. Произойдет это уже тогда, когда Гоголь покинет Италию.

На этот раз Гоголь задержался в Риме всего на несколько дней, с 12 по 14 ноября н. ст., – он спешил в Неаполь. И при этом не без удивления заметил перемену своих чувств: город, в который он «приезжал всякий раз как бы на родину свою», теперь проследовал как «дорожную станцию», и нервы его лишь «услышали прикосновение холода и сырости» [XIII, 143].

Изменение гоголевского отношения к Риму в пользу Неаполя связано с тем, что последний рисовался ему теперь как «прекрасное перепутье», преддверие дороги в Святую землю. Гоголь нуждался в этом паломничестве, оно затмевало все другие его цели и желания, сулило надежду на радикальное преумножение творческих сил [ср. также: Джулиани, 2009, с. 217–228]. Однако на этот путь он вступит еще не скоро: из Неаполя Гоголю вновь пришлось совершить путешествие на север, в страны Центральной Европы.

### Неаполь: конец 1846 – начало 1847 г.

Но впереди было еще почти полгода жизни под неаполитанским небом.

С первых же минут Гоголь ощутил необычайный прилив сил: «...как только приехал я в Неаполь, все тело мое почувствовало желанную теплоту, утихнули нервы...». «Желанная теплота» проистекала не только от неаполитанского климата, но и от присутствия близкого душе Гоголя человека – графини Софьи Петровны Апраксиной: писатель приютился в арендуемом ею доме – Palazzo Ferandini. «Душе моей, еще немощной, еще не так, как следует укрепившейся для жизненного дела, нужна близость прекрасных людей

затем, чтобы самой от них похорошеть» (из письма Жуковскому, 24 ноября н. ст. [XIII, 144]). Гоголь помнил, какое благотворное воздействие оказала на него Софья Петровна еще во время прежних встреч в Риме, осенью и зимою 1845 г.

И в Риме, и теперь в Неаполе Апраксина опекала свою больную дочь Наталью Владимировну (1820–1853), которой, по наблюдениям Гоголя, сделалось «гораздо лучше» – неаполитанский «воздух ее целит видимо» [XIII, 147]. То же самое Гоголь мог бы сказать и о себе.

Хорошему настроению Гоголя способствовало и то, что в Неаполе основалась русская посольская церковь и настоятелем ее был весьма симпатичный ему человек – Тарасий Федорович Серединский (1822–1897), выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, протоиерей, магистр богословия.

Когда я приехал в Неаполь, – вспоминал впоследствии Серединский, – в то время (1846 г.) жила там генеральша А. [подразумевается С.П. Апраксина]. Вскоре после моего первого к ней визита я был приглашен к ней на обед. Перед обедом, когда слуга доложил, что обед готов, генеральша сказала, скажите господину Гоголю. Потом, когда явился этот господин, она представила его мне. Лицо его было совершенно простое, обыкновенное, не представляющее ничего особенного, une figure commune, как говорят французы. Украшением его служили усики и эспаньолетка. Череп его был несколько остроконечный, конусообразный. На темени был у него вихор. За обедом он говорил очень мало. В разговоре обнаруживалась его наблюдательность и меткая характеристика лиц, однако ж все было так просто, что я был сдержан в разговоре, боясь попасть впросак, признав его знаменитым писателем. Через несколько дней он был у меня. Я бывал у него. Однажды он прислал мне записку об отслужении литургии и молебна... В бытность свою в Париже г. Гоголь отозвался обо мне своему свояку протоиерею Вершинскому так: «очень серьезен в служении и совсем другой в общественной жизни» [Материалы, т. 1, с. 115; публ. В.В. Гиппиуса].

Кстати, гоголевская записка Серединскому «об отслужении литургии и молебна» сохранилась [см.: XIII, 420]. Подтверждается и высокая оценка, данная Гоголем Серединскому: несколько позже, 24 сентября н. ст., уже из Остенде, он сообщал М.А. Константиновскому, что «в Неаполе... основалась русская церковь и очень хороший священник» [XIII, 392]. Что касается отзыва, сообщенного настоятелю русской церкви в Париже Вершинскому, то это



могло быть около 27 мая 1847 г., когда Гоголь на пути из Неаполя останавливался во французской столице. Возможно, слова Гоголя стали известны Серединскому от Вершинского: оба были однокашники, питомцы Санкт-Петербургской духовной академии и, наверное, переписывались.

Между тем о перемене в состоянии Гоголя узнали и в Риме. «...Он совершенно здоров, и ничего нет об нем странного...» [ЛН. Т. 58. С. 692], – сообщает Ф.В. Чижов Н.М. Языкову 7 января н. ст. 1847 г.

Гоголь уточняет свои ближайшие планы. 24 ноября н. ст. – А.П. Толстому: «...обстоятельства так устроятся, что, может быть, поезд мой, точно на несколько времени отдалится» [XIII, 148]. Значит, поездка («поезд») в Святую землю будет уже, возможно, не в 1847, а в следующем году. В письме к матери 25 января н. ст. 1847 г. он говорит уже совершенно определенно: «...в Иерусалим... я отправлюсь в начале будущего 1848 года...» [XIII, 195].

Мотивы переноса срока очевидны. «...Несравненно нужно сделать больше того, что сделал я, для того, чтобы ехать с совестью покойной в этот путь. Божья милость дала мне силу уже сделать одно... верю, что даст она же мне силу сделать и другое, которое более подвинет вперед, т. е. к готовности в дорогу» [XIII, 148]. «Одно» – это «Выбранные места...», «другое» – второй том «Мертвых душ». Гоголь спешит воспользоваться поправлением здоровья, чтобы решительно продвинуть работу над поэмой. Он даже рассчитывает дописать второй том («кончить мое сочинение» [XIII, 195]), чтобы вернуться в Россию через Иерусалим с уже готовым трудом.

Творческого настроения Гоголя не разрушило даже горестное известие, полученное им в начале нового 1847 г.: 26 декабря в Москве умер Н.М. Языков.

Сообщивший об этом Гоголю Шевырев всячески постарался смягчить удар. Прежде всего, зная о благотворном влиянии на Гоголя Софьи Петровны, он написал ей письмо, «чтобы она с свойственной ей мягкостью и любовью приготовила» Гоголя «к этой вести и утешила в горе». Самому Гоголю Шевырев не поспешил на подробности, поскольку «подробности... в таком горе, я знаю, бывают усладительны».

Выбор «подробностей» тоже определенный. «Кончина его была самая тихая, без страданий. Он уснул, а не умер». Вид покойного был прекрасен и величествен: «Какой чудный лоб! <...> Какие уста! Ими как будто объяснялся его чудный стих». Сами

поминки пройдут как бы в присутствии хозяина и при его главенстве: «Завтра после погребения мы будем обедать в комнатах у покойного, по его желанию, и есть те блюда, которые он сам для нас заказал своему повару» [Переписка, т. 2, с. 336, 337].

Но вопреки опасениям Гоголь остался спокоен и невозмутим духом. «Самая смерть Язы<кова> не произвела во мне тревожных чувств печали, но что-то неопределенное и как бы светлое. Как будто бы он для меня не умер» [XIII, 207], – пишет он А.П. Толстому 6 февраля н. ст. И чуть раньше, 25 января н. ст., – матери: «Я лишился наилучшего моего друга, с которым я жил душа в душу, Н.М. Языкова, к которому я питал истинно родственную любовь... Еще за несколько лет перед сим эта смерть сокрушила бы меня, может быть, совершенно. Теперь я принял эту весть покойно и, зная, что этот человек, за небесную душу свою, удостоен небесного блаженства...» [XIII, 195].

Тут очень важна оговорка – «за несколько лет перед сим»: это, конечно, семь лет тому назад, когда смерть Иосифа Вильгорского действительно потрясла Гоголя, когда никакая вера в бессмертие души не могла смягчить его горе. Однако было бы неверно полагать, что только теперь изменилось его мироощущение: Гоголю издавно было свойственно двойное отношение к смерти. То он в связи с кончиной П.О. Трушковского, мужа сестры, Марии Васильевны (это было еще в 1836 г.), заявлял, что смерть близкого человека следует считать «за ничто, если хотим быть христианами»; или порицал родителей Аксаковых за то, что они, мол, слишком тяжело переживают кончину 17-летнего сына... То, напротив, при всей своей вере в загробное воздаяние и несокрушимости христианского мирозерцания, говоря словами Сергея Тимофеевича Аксакова, платил «полную дань своей человеческой природе», т. е. глубоко страдал от гибели близкого родного существа, предаваясь и жалости и скорбному чувству. Но верно то, что теперь Гоголь все решительнее вытеснял – старался вытеснить – это чувство на периферию сознания. Так он поступал весной 1846 г., когда узнал о смерти Анастасии Васильевны Якушкиной, дочери Н.Н. Шереметевой. «...Я утешился мыслью, – писал он убитой горем матери в апреле того же года, – что для христианина нет утраты...» [XIII, 53]. И вот теперь – смерть Языкова, из которой Гоголь хочет извлечь поучительный итог: если «этот человек, за небесную душу свою, удостоен небесного блаженства», то и он, Гоголь, должен стараться, чтобы «удостоил Бог быть вместе с ним», – и «чрез это у меня и бодрости больше в жизненном деле,

и я гляжу светло вперед. Итак, вот что значит смерть и мысль о смерти...» [XIII, 195].

И все же до конца одолеть силу удара не удалось, и смотреть «светло вперед» не получалось. Это стало ясно чуть позже, когда обнаружили сложности в самом «жизненном деле» Гоголя – в судьбе только что созданной и отправленной в печать его книги.

Гоголь предпринял все меры, чтобы «Выбранные места...» прошли через цензурные препоны побыстрее и без потерь. Поручил издание П.А. Плетневу, имевшему большой вес в бюрократических сферах (все-таки ректор Санкт-Петербургского университета и действительный статский советник!), в качестве цензора посоветовал привлечь А.В. Никитенко, поскольку он к Гоголю «благосклоннее других» (писатель помнил о его содействии при прохождении через цензуру «Мертвых душ»), написал письмо к самому Никитенко, убеждая его «в безвинности самой книги».

Незадолго перед тем появилось распоряжение министра народного просвещения о том, что светские сочинения должны предварительно проходить и через духовную цензуру [ВЛ. 2005. № 6. С. 205], – Гоголь и на этот счет снабдил Плетнева необходимым советом: «Если же дойдет до духовной цензуры, то этого не бойся. Не делай только этого официальным образом, а призови к себе духовного цензора и потолкуй с ним лично; он пропуст<ит> и скорей, может быть, чем ты думаешь» [XIII, 110]. Гоголь не знал, что буквально за три дня до того, как писались эти строки, выполнявший роль духовного цензора протоиерей Тимофей Никольский на рукописи двух статей из «Выбранных мест...» – «Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве» и «О том же» – начертал резолюцию: «Не может быть напечатано, потому что понятия о Церкви Русской и духовенстве конфузны» [ВЛ. 2005. № 6. С. 205].

Плетнев не смирился с этим решением и в день получения запретительной надписи – 1 октября – обратился со специальным письмом к обер-прокурору Св. Синода графу Н.А. Протасову. Действуя подобным образом, Плетнев, конечно, нарушал волю Гоголя, просившего до выхода книги в свет держать все в глубокой тайне, но именно такой шаг спас обе статьи от запрещения. Обер-прокурор Протасов лишь распорядился «переделать первое письмо» [Там же. С. 207], т. е. внести в него два-три сокращения (об их характере – речь впереди).

Однако до пропуска всей книги было еще далеко, и это промедление чрезвычайно беспокоило Гоголя. 20 октября н. ст. он набрасывает для Плетнева конспект речи, с которой следует обратиться к Никитенко: «Вы [т. е. Никитенко] – человек умный и можете видеть сами, что в книге содержится дело и предпринята она именно затем, чтобы возбудить благоговенье ко всему тому, что поставляется нам всем в закон нашей же церковью и нашим правительством. Вы можете сами смекнуть, что сам государь и двор станут в защиту ее. Перегляните и цензурный устав ваш, и все предписания прибавочные и покажите мне, против какого параграфа есть в книге противуречие» и т. д. [XIII, 112–113]. Продумывает Гоголь и меры поощрения для Никитенко: близкую ко двору Л.К. Виельгорскую он просит 25 января н. ст. 1847 г. употребить «все старания, чтобы цензор, пропустивший мою книгу, был награжден, чтобы досталась на его долю если не награда, то, по крайней мере, благоволение за доверие к благородству высокой души государя, которое показал он пропуском моей книги» [XIII, 191–192].

К этому времени «Выбранные места...» действительно были пропущены – объявление об их выходе в свет помещено в «Московских ведомостях» от 9 января, – но без пяти статей: «Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России», «Что такое губернаторша», «Страхи и ужасы России» и «Занимающему важное место».

Как ни значительны эти потери, они составляли примерно лишь шестую часть книги; кроме того, при относительно свободном ее построении, такие сокращения могли показаться не столь чувствительными, как, скажем, аналогичные сокращения в романе или поэме. Но Гоголь воспринял случившееся очень болезненно – как трагедию. Почему?

В книге существовало внутреннее движение тем, мотивов, не столь заметное со стороны, но очевидное для автора. Всем этим пренебрегли, «последовательность и связь – все пропало» [XIII, 216]. Но главное даже не в этом, а в самом факте сокращения: почему в его текст вмешались столь решительно и бесцеремонно, почему выдрали из него большие куски; ведь в книге не содержалось ничего противозаконного или опасного, и Гоголь не хитрил, говоря, что не вступает в «противуречие» ни с самим «цензурным уставом», ни с предписаниями «прибавочными». «Плетнев приписывает все это его [Никитенко] глупости, – пишет Гоголь Смирновой-Россет. – Но я этому не совсем верю... Тут есть что-то покуда для меня непонятное» [XII, 222].

Непонятное, неожиданное, алогичное – вот что прежде всего поразило Гоголя. Цензор Никитенко оказался «в руках каких-то дурных людей, употреблявших все, чтобы произвести бессмыслицу...» [XIII, 202]. Мало сказать «дурных» – статус этих сил вскоре был повышен: «Образовалось что<-то> вроде демонского восстания... Какие-то таинственные партии европейцев и азиатцев вместе совокупились, чтобы смутить и сбить с толку цензуру» [XIII, 206]. И это пишет Гоголь, который совсем недавно, в тех же «Выбранных местах...», утверждал, что в России проблемы цензуры не существует, что у нас все можно сказать, нужны только чистота помыслов и благородство устремлений.

И то и другое наличествовало, а взаимопонимания – нет; все дело в том, что один и тот же текст автор и власти видели по-разному. Скажем, в статье «Страхи и ужасы России» (одной из тех, что подверглась запрещению) говорилось о предстоящих бедствиях западноевропейских народов – Гоголь здесь замечательно ярко изобразил назревающую революционную бурю 1848 г., первые сполохи которой он наблюдал как очевидец:

Погодите, скоро поднимутся снизу такие крики, именно в тех с виду благоустроенных государствах, которых наружным блеском мы так восхищаемся, стремясь от них все перенимать и приспособлять к себе, что закружится голова у тех самых знаменитых государственных людей, которыми мы так любовались в палатах и камерах. В Европе завариваются теперь повсюду такие сумятицы, что не поможет никакое человеческое средство, когда они вскроются, и перед ними будет ничтожная вещь те страхи, которые нам видятся теперь в России [VIII, 343].

У Гоголя в этом пассаже заключено противопоставление России и Запада; с точки же зрения цензора – аналогия. Пусть еще не осуществившаяся, возможная, скрытая, но все равно аналогия двух миров, двух путей развития.

Характерно также следующее место в статье «Несколько слов о нашей Церкви...», поправленное духовной цензурой, – речь идет о «западных католиках», оппонентах «нашей Церкви»:

Как нам защищать нашу Церковь и какой ответ мы можем дать им, если они нам зададут такие запросы: «А сделала ли ваша Церковь вас лучшими в сравнении с нами? Счастливы ли от вас государство ваше? Исполняет ли всяк у вас, как следует, свой долг *внутри* его? Двинулись ли у вас

*от содействия вашей Церкви искусства и науки, находящиеся повсюду в праздном застое? Упредила ли ваша Церковь развитие всех даров и сил, данных от Бога человеку? Вознесла ли вас на высоту совершенства вашего и вывела ли вас на ту законную дорогу, которую мы все так жадно ищем?»* Что мы тогда станем отвечать им, почувствовавши вдруг в душе и в совести своей, что шли все время мимо нашей Церкви и едва ли знаем ее даже и теперь. Владеем сокровищем, которому нет цены, и не только не заботимся о том, чтобы это почувствовать, но не знаем даже, где положили его [ВЛ. 2005. № 6. С. 210].

Так вот: все, выделенное нами курсивом, было вычеркнуто [см.: VIII, 245], – спрашивается почему? Мысль Гоголя отчетлива и совершенно не крамольна: православной церкви не страшны обращенные к ней вопросы, виной тому лишь «наше» незнание, «наше» пренебрежение владеемым сокровищем. Интересно, что констатация незнания и пренебрежения осталась, а сами вопросы были сняты, иначе говоря – утаены от читателя. Ибо, с официальной точки зрения, ставить неудобные вопросы – значит допускать возможность и мотивированность обвинения.

Писатель полагал, что своей книгой он сослужит великую службу стране, правительству, императору. Замечательны его слова, обращенные к Плетневу, известившему о выходе «Выбранных мест...» и о вынужденных сокращениях: мол, тот воспринимает книгу «как литератор, с литературной стороны»; автор – как факт вмешательства в жизнь. «...Когда узнаешь, что есть такие страдания человека, от которых и бесчувственная душа разорвется, когда узнаешь, что одна капля, одна росинка помощи в силах пролить освежение и воздвигнуть дух падшего, тогда попробуй перенести равнодушно это уничтоженье писем». И далее – чуть ли не вопль отчаяния: «С меня сдирают не только рубашку, но самую кожу...» И вывод: «Какие вдруг два сильные испытания! С одной стороны нынешнее письмо от тебя; с другой стороны письмо от Шевырева с известием о смерти Языкова» [XIII, 204, 205]. Значит, кончина Языкова не была для Гоголя столь безболезненной, как казалось раньше; теперь она встала в ряд с переживаниями по поводу «Выбранных мест...».

И в письме к А.О. Смирновой от 30 января н. ст. 1847 г.: «...недуги приступили ко мне вновь. Бессонницы, продолжающиеся уже более месяца, известие о смерти Языкова... наконец известие о беде, постигшей мою книгу, и о *нелепом* ее появлении в свет, – все это изнурило меня» [XIII, 199; курсив в оригинале].

Похоже, что тот творческий подъем, прилив сил, которые ощутил Гоголь при переезде в Неаполь, сходили на нет.

Самое страшное для Гоголя – ощущение хаоса, или «бестолковщины»: «по делам моим произошла совершенная бестолковщина» (из того же письма к Смирновой); на сцену вылез, говоря словами из «Выбранных мест...», «сам черт путаницы, который как тут во всякое время...» [VIII, 358]. С этим врагом Гоголь боролся с молодых лет, пытаясь укротить его и в жизненных перипетиях и в творчестве, – и вот опять та же опасность, та же угроза, тот же «черт путаницы». «Друг мой, прошу вас, молитесь... о том, чтобы послал Бог необходимое спокойствие в мою душу, которое теперь слишком трудно будет восстановить...» [XIII, 198].

Чтобы «восстановить» справедливость, а значит, и «спокойствие», Гоголь посылает письмо М.Ю. Виельгорскому с просьбой представить полный, несокращенный и нецензурированный текст «Выбранных мест...» самому императору. «Сердце говорит мне, что он почтит их вниманьем своим и велит напечатать» [Там же]. Получалось так, что именно от облеченного высшей властью зависела теперь возможность обретения Гоголем ощущения разумности и определенности бытия.

Обращению к Николаю I по поводу «Выбранных мест...» предшествовал другой эпизод. На исходе 1846 г., в начале декабря, Гоголь отправил императору письмо, в котором в связи с предстоящим путешествием к гробу Господню просил выдать «пашпорт на полтора года, особенный и чрезвычайный», побуждающий «все власти и начальства Востока» оказывать паломнику всемерное покровительство.

Государь! – писал Гоголь, – знаю, что осмеливаться вас беспокоить подобной просьбой может только один именитый, заслуженный гражданин вашего государства, а я – ничто: дворянин, незаметнейший из ряда незаметных, чиновник, начавший было служить вам и оставшийся поныне в 8 классе, писатель, едва означивший свое имя кое-какими незрелыми произведениями. Но не я причиной ничтожности моей: десять лет тяжких недугов оторвали меня от тех трудов, к которым я порывался [XIII, 423].

Упоминание «десяти лет» возвращало память к 1836 г., когда Николай I оказал покровительство гоголевскому «Ревизору». Должен был вспомнить император и о денежном пособии, выданном им Гоголю годом позже, и в помоществовании, назна-

ченном ему в 1845 г. (см.: кн. 2, с. 155). И вот теперь писатель питает надежду на новое покровительство: «Тайный, твердый голос говорит мне, что не останусь я в долгу перед вами, мой царственный благодетель, великодушный спаситель уже было погибавших дней моих!»

Обращение Гоголя к Николаю возымело свое действие: в письме от 9 января 1847 г. гр. В.Ф. Адлерберг сообщил ему, что хотя «таковых чрезвычайных паспортов» никогда не выдавалось, император повелел министру иностранных дел гр. К.В. Нессельроде снабдить Гоголя беспошлинным паспортом на полтора года и, кроме того, предложить русскому посольству в Константинополе и всем русским консулам в Турции оказывать ему необходимое покровительство [РМ. 1896. № 5. Отд. 1. С. 176; см. также: РС. 1880. Т. 29. С. 196].

Помимо объявленной цели обращения к императору (получение соответствующего паспорта), у предпринятой акции была цель и не объявленная и еще более важная: убедиться, что знаменательная связь между писателем и лицом, облеченным высшей властью, существует!

И реакция Николая I, о которой Гоголю стало известно, очевидно, от М.Ю. Виельгорского (именно он передал его просьбу императору), ободрила писателя: «...добрый государь принял ее [просьбу] милостиво, расспрашивал с трогательным участием обо мне...» (из письма к Плетневу от 6 февраля н. ст. [XII, с. 205]). «...Он... расспрашивал обо мне с трогательным участием у Михаила Юрьевича Вьельгорского. Все это показывает мне, что рука Божья чьими-то чистейшими молитвами хранит меня!» (В.А. Жуковскому, 6 февраля н. ст. [XIII, 208]). А если Божья воля так благосклонна, то можно отважиться и на другой шаг – попытаться спасти книгу.

Тем временем от Плетнева пришли неутешительные известия: 21 ноября /3 декабря 1846 г. он сообщил Гоголю, что посылал не пропущенные цензурой письма в Царское Село наследнику. «Его высочество призывал меня к себе и лично объявил, что, по его мнению, *лучше* не печатать этого» [Переписка, т. 1, с. 265; курсив в оригинале]. При этом Плетнев отвел высказанное Гоголем ранее (в письме к нему от 16 октября н. ст. 1846 г.) предложение передать императору всю книгу «в корректурных листах» [XIII, 110]: «О представлении книги в корректурных листах самому государю и подумать нельзя. Ты совсем позабыл, сколько у него дел поважнее наших» [Переписка, т. 1, с. 265].



Но Гоголь настаивает: «Государь должен видеть все письма, не пропущенные цензурой. Кроме того, что так следует, чтобы он знал образ мыслей моих и помышлений, – это законный ход дела» (Плетневу, 5 января н. ст. 1847 г. [XIII, 166]). «...Никак не вижу причины, почему лучше не печатать тех писем, которые, мне кажется, заставят оглянуться на себя построже некоторых должностных людей... Еще я не вижу причины также, почему *нельзя и думать о представлении книги на просмотрение государя* (как ты выразился), присовокупляя, сколько у него дел поважнее наших. Дела его все же не о чем другом, как о его подданных; я также его подданный; я также имею право подать просьбу ему самому...» (Плетневу, 15 января н. ст. [XIII, 174–175; курсив в оригинале]).

И автор «Выбранных мест...» решает обратиться с письмом непосредственно к императору, как месяцем ранее обращался к нему по поводу паспорта. Вручить письмо должна Л.К. Виельгорская, «если другие не решатся». «Выбранные места...», пишет он Луизе Карловне 16 января н. ст. 1847 г., сочинены «в духе любви к государю и ко всему, что ни есть доброго в земле русской. Цензура не пропускает именно тех самых писем, которые я более других почитаю нужными. В этих письмах есть кое-что такое, что должны прочесть и сам государь и все в государстве... Сердце мое говорит, что он скорей меня одобрит, чем укорит» [XIII, 177–178].

Эту же мысль Гоголь развил в самом письме к императору: «Цензура находит, что статьи эти не вполне соответствуют цели нашего правительства; мне же кажется, что вся книга моя написана в духе самого правительства. Рассудить меня в этом деле может один тот, кто, обнимая не одну какую-нибудь часть правления, но все вместе, имеет чрез то взгляд полнее и многостороннее обыкновенных людей... стало быть, рассудить меня может один только государь» [XIII, 424–425].

Ответ пришел не от императора и не от посредницы в этом деле Л.К. Виельгорской, а от Плетнева. «О представлении государю переписанной вполне новой книги твоей и думать нельзя, – сообщает он Гоголю 17/29 января 1847 г. – Иначе какими глазами я встречу наследника, когда он сам лично советовал мне не печатать запрещенных цензором мест, а я как будто в насмешку ему полезу далее». И затем следовал самый сильный аргумент: «Да и кто знает, не показывал ли он [наследник] этого государю, который, не желая дать огласки делу, велел, может быть, ему от себя сказать то, что я от него слышал» [Переписка, т. 1, с. 277]. Был ли это тактический прием Плетнева, или он на самом деле так думал, но

очевидно то, что версия о неодобрении ряда писем императором должна была произвести на Гоголя тяжелое впечатление. С этого времени его тон в отношении книги, авторская самооценка заметно меняются. А тут еще ему стал известен другой факт.

Обращаясь в письме к А.М. Виельгорской от 16 марта н. ст. 1847 г. с просьбой сообщать ему отклики на «Выбранные места...», Гоголь добавляет: «Не скройте от меня также отзывов того человека, который нам близок обоим. Я не знаю, почему ваш папинька скрывал от меня его мнение о “Мертвых душах”, которое я узнал уже случайно большим крюком, пять лет спустя после появления моей книги» [XIII, 256]. Речь, конечно, идет о Николае I [что уже было указано комментаторами – см.: XIII, 500], но весь смысл этого эпизода еще требует объяснения.

Вопрос относительно «Выбранных мест...» стимулирован сведениями, сообщенными еще Плетневым: Гоголь хочет узнать, подтверждается ли реакция императора на его книгу и какова она конкретно. А вот вопрос о «Мертвых душах» имеет более давнюю историю: еще в 1845 г. из разговора А.О. Смирновой с императором выяснилось, что тот не читал книгу, и Александра Осиповна посоветовала ему это сделать (см.: кн. 2., с. 436). Очевидно, Николай I вскоре познакомился с «Мертвыми душами», увидев в них подтверждение того впечатления, которое возникло у него после премьеры «Женитьбы» – о некоторой вульгарности и грубости гоголевской художественной манеры («...Я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие»). Ставшее известным Гоголю только недавно («пять лет спустя после появления моей книги»), это мнение легло в общее русло неблагоприятных симптомов. Симптомы, характеризующих отношение к его творчеству человека, которого писатель готов был признать носителем высшей справедливости.

С этого момента, как мы сказали, тон гоголевской самооценки заметно меняется. В том же самом письме к Л.К. Виельгорской, в котором Гоголь касается отзыва императора о «Мертвых душах», говорится и о «Выбранных местах...»: «Книга моя вышла не столько затем, чтобы распространить какие-либо сведения, сколько затем, чтобы добиться самому многих тех сведений, которые мне необходимы для труда моего, чтобы заставить многих людей умных заговорить о предметах более важных и развернуть их знания, скупно скрываемые от других» [XIII, 256]. Вот, оказывается, как обстояло дело! Книга вовсе не претендовала на вразумление сограждан, не содержала капитально важную для всех благоую

весть, но играла скорее роль провокативную – разговорить других и тем самым послужить вящей пользе ее автора. Акцент переносится на будущий «труд», т. е. на продолжение «Мертвых душ».

Что касается «Выбранных мест...» и исключенных цензурой глав, то Гоголь готов обвинить самого себя – свое неумение выразить все так, как надо. Это ощущение и ранее было ему присуще, сопровождая его писательскую деятельность, но проявлялось по-разному: то отступая, то выдвигаясь на первый план. Теперь оно усилилось почти до высшей степени, и, соответственно, его планы относительно издания «Выбранных мест...» стали, по выражению Гоголя, «гораздо умереннее». Иначе говоря, он хотел бы, чтобы Вяземский и М. Ю. Виельгорский провели своего рода редактуру текста – «прочли два раза непропущенные статьи и выбросили из них все жесткие, дикие и оскорбляющие выражения». А «чтобы лучше заметить во мне все то, что следует умягчить и оговорить, я просил князя Вяземского не забывать при чтении писем моих, что их пишет чиновник маленького чина». Как будто для Вяземского важен был «чин» Гоголя!..

Только после этого должно быть решено – и не Гоголем, а его доверенными лицами, т. е. Вяземским и Виельгорским, – «что лучше обождать или даже отменить представление этих статей» императору, «и тогда это решение будет для меня [т. е. для Гоголя] совершенно удовлетворительно». А в данном Луизе Карловне поручении передать письмо императору Гоголь готов теперь раскаиваться: «Скажу вам искренно, что мною одолевала некоторая боязнь за неразумие моего поступка, но в то же время какая-то как бы неестественная сила заставила его сделать и обременить графиню смутившим ее письмом» [XIII, 268]. Не та ли «неестественная сила», что учинила «демонское восстание» и кутерьму вокруг его книги?

«Выбранные места...»:

«Мне теперь тяжело взглянуть на мою книгу...»

Критическое отношение Гоголя к «Выбранным местам...» наметилось еще раньше, с поступлением первых негативных откликов на книгу, и усиливалось по мере умножения таких откликов.

К началу 1847 г. пришло письмо из Москвы от С. Т. Аксакова; тот книгу еще не читал, но по одним слухам, распространявшимся из столицы, пришел в «неописанный ужас» [Переписка, т. 2, с. 76].

Конкретнее об этом «ужасе» пишет В.С. Аксакова в Петербург племяннице Сергея Тимофеевича М.Г. Карташевской, уже после первого знакомства с книгой (письмо от 16 января):

Боже мой, какое ужасное явление стоит перед нами. Это Гоголь... По прочтении первых же страниц нельзя сомневаться в однопредметном помешательстве Гоголя, а на нас это произвело глубоко горестные впечатления. В первую минуту даже страшно было читать, что за нелепости, что за сумасшедшая гордость, называющая себя смирением, что за проповеди, обо всем и всем, что за католический взгляд на женщину... Уже одно... печатание этой книги, этих писем есть доказательство нездорового рассудка... Ужасное и горестное явление. Может быть, он сжег сокровища, которые уже не в состоянии произвести. – Но кто знает, может быть, он и выздоровеет... Вот чем разрешились эти неясные чудные ожидания, впрочем, он все еще хочет продолжать М<ертвые> Д<уши>. Но что это будет! [ИРЛИ. Ф. 173. Ед. хр. 10, 617. Л. 3об.–5].

И в письме к той же Карташевской от 30 января: «...дай Бог, чтобы оно было переходное состояние, признаюсь, я иногда совершенно в этом отчаиваюсь. Мне кажется иногда, что в нем погиб не только художник, но даже и человек. Мы перечли еще раз его книгу со вниманием, старались вначале откинуть все свои предубеждения и под конец еще более нашли несообразностей, нежели прежде» [Там же. Л. 10].

Мысль о психическом нездоровье Гоголя широко распространялась по Москве, о чем в начале 1847 г. сообщал И. Киреевский в письме к матери, добавляя, что многих это обрадует [ОР РНБ, не опубли.; цит. по: Мюллер Э., с. 301].

Теперь, по прочтении книги, подробнее о своем «ужасном» впечатлении смог сообщить Гоголю и С.Т. Аксаков. В письме от 27 января он признал ложным само направление книги: «...вы искренно подумали, что призвание ваше состоит в возвещении людям высоких нравственных истин в форме рассуждений и поучений, которых образчик содержится в вашей книге... Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, – оскорбляете и Бога и человека» [Переписка, т. 2, с. 80]. К этому письму Аксаков приложил еще письмо Д.Н. Свербева, давнего московского знакомого Гоголя; тот изложил свои впечатления от книги «тремя на ней подписями: 1) унижение паче гордости, 2) гордость смирения, 3) надувательство». В связи с по-

следним обвинением весьма кстати пришлась и реплика неназванного читателя – Свербеев относится к ней несколько отстраненно (мол, этот читатель, видно, «был сердит на Гоголя за Ноздрева»), но сама реплика говорит за себя: «...во всеуслышание объявил, что автор писем отныне должен называться не Николаем, а Тартюфом Васильевичем» [Шенрок, т. 4, с. 522, 521].

Приложил Аксаков к своему письму и письмо жены Свербеева Екатерины Александровны. «С грустным впечатлением оставила меня ваша книга, Николай Васильевич! Все кричат о ней, все удивляются этому учению христианскому, вашему призыву всем обратиться к Богу, и все это учение облекается самую страшную гордыню» [Там же. С. 524]. Упреки Свербеевой были для Гоголя тем чувствительнее, что она ссылалась на Языкова, который был знаком ей с детства и свидетельницей последних дней которого она являлась: оказывается, Языков перед смертью «много думал о вас, и сердечная тревога о вашем душевном состоянии не оставляла его. Не дожил он до вашей книги, но преждевременно заботился о ней и боялся ее появления» [Там же. С. 524–525]. А ведь Гоголь считал, что Языков был к нему ближе других и поэтому примет его книгу: «Из всех моих друзей у него больше других было тех *некоторых особенностей*, какие были и в моей природе...» [XIII, 213; курсив в оригинале].

Из Аксаковых только Иван Сергеевич, служивший в это время в Калуге, отнесся к гоголевской книге иначе. «Не погиб он для нас как юмористический писатель» [Аксаков, 1988, с. 342], – убеждал он родных, утверждая, что автор «Переписки» решает труднейший вопрос – о «примирении искусства и религии» [подробнее о позиции И.С. Аксакова см.: Греков, с. 188–214]. Но Гоголю это мнение оставалось неизвестным, со стороны же других членов семьи оно встретило решительный отпор. «Письмо твое не изумило, не поразило меня, – писал Сергей Тимофеевич сыну, – а просто уничтожило на некоторое время... Я вижу в Гоголе добычу сатанинской гордости, а не христианское смирение» [Аксаков С., т. 3, с. 180]. «С изумлением, разиня рты и поднявши руки, слушали мы письмо твое о книге Гоголя» [Там же. С. 181], – вторила отцу Ольга Сергеевна.

Не одни Аксаковы и близкие к ним люди готовы были поставить крест на дальнейшей деятельности Гоголя как художника. А.В. Станкевич писал 20 февраля 1847 г. Н.М. Щепкину, сыну великого актера: «Гоголь сделался Осипом, только резонерствующим в духе отвратительного ханжества... Вряд ли по-

сле такой книжицы дождемся чего-нибудь путного от Гоголя...» [ЛН. Т. 58. С. 700].

Московские знакомые Гоголя, прежде всего Аксаковы, готовы были объяснить все случившееся долговременным пребыванием писателя за границей, отдалением от прежних друзей в пользу новых. «О, недобрый был день и час, – писал С.Т. Аксаков 27 января 1847 г., – когда вы вздумали ехать в чужие края, в этот Рим, губитель русских умов и дарований! Дадут Богу ответ эти друзья ваши, слепые фанатики и знаменитые маниловы, которые не только допустили и сами помогли вам запутаться в сети собственного ума вашего, дьявольской гордости, которую вы принимаете за христианское смирение» [Переписка, т. 2, с. 81]. Более поздний текст Аксакова – «История моего знакомства с Гоголем» – позволяет понять, кого конкретно он имел в виду. Прежде всего графа А.П. Толстого: «я считаю его знакомство решительно губительным для Гоголя». Затем – «дружеские связи с женщинами, большею частью высшего круга». Эти женщины «сделали из него нечто вроде духовника своего, вскружили ему голову восторженными похвалами и уверениями, что его письма и советы или поддерживают, или возвращают их на путь добродетели. Некоторых я даже не знаю и назову только Виельгорскую [очевидно, Луиза Карловна], Соллогуб [Софья Михайловна Виельгорская, жена В.А. Соллогуба] и Смирнову» [Воспоминания, с. 207]. Сергей Тимофеевич мог бы назвать и другие имена, например Софью Петровну Апраксину, в доме которой в Неаполе в это время жил Гоголь; но он действительно не был вполне осведомлен и оценивал круг общения писателя, так сказать, в общем и целом, принципиально.

Гоголь в ответ не стал уточнять характер своих взаимоотношений с окружающими, оставил без внимания рискованное заявление Аксакова, что Рим – «губитель русских умов и дарований», но к обвинениям в свой собственный адрес отнесся внимательно – и болезненно. Два пункта этих обвинений задели его особенно остро – снова (и не в последний раз) прозвучавший упрек в измене самому себе, направлению своей деятельности и замечание о гордости, прикрытой смирением (в формулировке С.Т. Аксакова это прозвучало так: «гордынь в рубище смирения» [Переписка, т. 2, с. 74]).

На первое обвинение Гоголь отвечал: «...Вы в заблуждении, подозревая во мне какое-то новое направление. От ранней юности у меня была одна дорога, по которой иду» [XIII, 186]. Второе обвинение парировал ссылкой на свою терпимость, на то, что с пол-

ным благорасположением готов отнестись к самым беспощадным приговорам, готов даже благодарить авторов этих приговоров, как, например, С.Т. Аксакова или супругов Свербеевых: «...человек, который с такой жадностью ищет слышать все о себе, так ловит все сужденья и так умеет дорожить замечаньями умных людей даже и тогда, когда они жестки и суровы, такой человек не может находиться в *полном и совершенном* самоослеплении» [XIII, 241; курсив в оригинале]. Упрек в самоослеплении и гордости Гоголь возвращает своим оппонентам и для наглядности рассказывает им такую притчу.

Некий повар вызвался приготовить гостям необыкновенно вкусный обед, который требует необыкновенных усилий и много времени.

Что следовало делать тем, которым обещано угощение? Следовало молчать и ожидать терпеливо. Нет, давай кричать: «Подавай обед!» Повар говорит: «Это физически невозможно, потому что обед мой не так готовится, как другие обеды, для этого нужно поднимать такую возню на кухне, о которой вы и подумать не можете». Ему в ответ: «Врешь, брат!» Повар видит, что нечего делать, решился, наконец, привести гостей самих на кухню, постаравшись, сколько можно было, расставить кастрюли и весь кухонный снаряд в таком виде, чтобы из него хотя какое-нибудь могли вывести заключение об обеде. Гости увидели множество таких странных и необыкновенных кастрюль и, наконец, таких орудий, о которых и подумать бы нельзя было, чтобы они требовались для приготовления обеда, что у них закружилась голова.

«Ну, что, если в этой повести есть маленькая частица правды?» – спрашивает Гоголь своего адресата, т. е. С.Т. Аксакова. И выводит мораль: «Друг мой! вы видите, что дело покуда еще темно» [XIII, 241–242].

Однако напрашиваются и другие выводы. Ведь одно-то «блюдо» – «Выбранные места...» – приготовлено и выдано самим «поваром»; почему же гости не вправе судить о нем по всем правилам строгого вкуса? Потому что готовая книга, оказывается, вовсе неготовая, несовершенная и изобилует изъянами. Тут уже виноваты не цензурные изъяны, а собственные, творческие, происходящие от автора, который не достиг еще необходимой простоты и безыскусственности, и поэтому на его книге «лежит какой-то фальшивый тон и неуместная восторженность» (Гоголь Вяземскому, 28 февраля 1847 г. [XIII, 227]). Но сравнение с кухней

намекает и на то, что главное «блюдо» – «Мертвые души» – еще не готово, что «Выбранные места...» по отношению к ним – лишь промежуточное звено, временная замена, пробужденная желанием опробовать некий круг идей и мыслей или же даже «страхом за жизнь свою и за возможность окончить начатый труд», т. е. те же «Мертвые души». Эти мотивы Гоголь развивал еще при начале работы над новой книгой, затем, по мере осознания значительности и самостоятельности ее замысла, они отступали на второй план, а вот теперь снова приобрели актуальность.

«Друг мой, – обращается писатель к Смирновой 22 февраля н. ст. 1847 г., – не забывайте, что у меня есть постоянный труд: эти самые “Мертвые души”... Друг мой, искусство есть дело великое» [XIII, 261]. Тут к гастрономическому плану сравнений присоединяется еще и хозяйственно-домоводческий. «...Теперь во внутреннем доме моем происходит еще столько мытья, уборки и всякой возни, что хозяину просто невозможно быть толкову в речах даже и с ближайшим другом, – пишет Гоголь А.С. и У.Г. Данилевским 18 марта н. ст. – Покуда скажу тебе вот что, мой добрый Александр. Ты никак не смущайся обо мне по поводу моей книги и не думай, что я избрал другую дорогу писаний. Дело у меня то же, какое и было всегда и о котором замышлял еще в юности... Нынешняя книга моя есть только свидетельство того, какую возню нужно было мне поднимать для того, чтобы “Мертвые души” мои вышли тем, чем им следует быть» [Там же]. Чуть позже Гоголь скажет в «Авторской исповеди», что в юности он еще не помышлял о писательском поприще; здесь же речь идет именно о «дороге писаний» – утверждение, по-видимому, более соответствующее действительности (см. об этом: кн. 1, с. 115 и далее). И эта дорога прямоком ведет к «Мертвым душам», а «Выбранные места...» – лишь ответвление («Что ж делать, если мне суждено сделать большой крюк...» [XIII, 26]).

Среди причин, объясняющих появление книги писем, особенно любопытна следующая: «...чтобы увидели наконец читатели и почитатели мои (увы! и самые друзья), что не следует торопить меня к печатанью, когда я сам чувствую, что не пришел еще в силы выражаться ясно и просто...» (Шевыреву, 10 марта н. ст. 1847 г., [XIII, 250]). Такими словами Гоголь обычно отвечал на напоминания о втором томе «Мертвых душ», но в данном случае подразумеваются «Выбранные места...». Читатели, оказывается, сами виноваты, что книга вышла столь несовершенной и уязвимой...



Иные из читателей, однако, во всем винили автора или, точнее, те недобрые силы, жертвою которых он стал. «...Издание писем ваших есть ошибка... – пишет Владимир Владимирович Львов (1804–1856), князь, детский писатель, с которым Гоголь встречался в московских кругах. – Оно показывает, что ежели вы победили многое, то не видите еще самого сильного врага, *духа прелести*, который стоит всегда на страже у последних врат, ведущих от тьмы к свету... Что теряет публика в старом Гоголе? – любимого автора. Что приобретает она в обращенном? – ничего!» [Шенрок, т. 4, с. 527; курсив в оригинале]. По мнению публикатора этого письма (В.И. Шенрока), оно не имело «никакого серьезного влияния на Гоголя» [Там же, с. 528]. Ответное письмо Гоголя от 20 марта н. ст. свидетельствует о том, что это не так: «Нет, не допустит Бог впасть меня в ту *прелесть*, в которую подозревают меня падшим...». Поручкой тому – глубокое недовольство своей недавней книгой: «Одно помышление о том, с каким неприличием и самоуверенностью сказано в ней многое, заставляет меня гореть от стыда». «Стыд этот мне нужен», – заключает Гоголь. Нужен, так как облегчает путь к главному его труду: «Труд у меня все один и тот же, все те же “Мертвые души”» [XIII, 264; курсив в оригинале].

Ко времени обмена Львовым и Гоголем письмами можно приурочить и другой знаменательный эпизод. След к нему ведет от более поздней дневниковой записи О.М. Бодянского (от 27 октября 1850 г.): «Гр. С.Г. Строганов рассказывает, что он, по просьбе Гоголя, через дочь его, графиню Толстую, бывшую с мужем за границей, написал свое мнение о “Переписке Гоголя с друзьями”, которое заключил так: “человек спасен, но автор погиб” После чего Гоголь замолчал и был мрачен весь вечер. “Этот человек, по словам Строганова, в высшей степени самолюбивый”, что и я подтвердил со своей стороны» [РС. [№ 10]. Октябрь. С. 129].

С Иваном Петровичем Толстым и его женой Софьей Сергеевной, урожденной Строгановой (1824–1853), Гоголь встречался в Неаполе около 25 марта 1847 г. [см.: XIII, 265]. Следовательно, в это время он и услышал суждение Строганова, весьма строгое для Гоголя-писателя, но лестное для Гоголя-человека. Но автора «Выбранных мест...» оно не утешило, ибо его вовсе не радовала перспектива личного спасения ценою пожертвования творческим даром...

Гораздо тактичнее и пронизательнее судил Шевырев: он тоже винил Гоголя в измене своему призванию, но считал возможным (и необходимым) возвращение в прежнюю колею: «...зачем ты

оставил искусство и отказался от всего прежнего? зачем ты пренебрег даром Божиим? – пишет он Гоголю 22 марта 1847 г. – <...> Возвратись-ка опять к твоей художественной деятельности. Приноси ей опять твои обновленные силы. Твой комический талант еще так нужен в нашей России».

Шевырев поднял вопрос о развитии гоголевского «комического таланта», о его двух стадиях. Была пора, когда писатель «иногда шалил им». Теперь – другое время. «...Ты мог бы теперь высокую комедию, всю силу смеха, которым ты одарен, обратить на самого дьявола. Раз случилось мне говорить с одним русским, богомольным странником, который собирался в Иерусалим и был у меня... У меня записана в книге вся его беседа, но есть в ней особенно одни слова, которые тебе принадлежат как комику. Выписываю из моей книги: Весьма иронически и всегда с насмешкой говорил он о дьяволе, называя его дураком: “В яме сидит, дурак сам и хочет, чтобы другие туда же засели. Прямой дурак!” Вот мысль русского и христианского комика: дьявол первый дурак в свете и над ним надобно смеяться. Смейся, смейся над дьяволом: смехом твоим ты докажешь, что он неразумен» [Переписка, т. 2, с. 351–352].

К этому месту есть выразительная параллель – рассуждение Гоголя о «дурачестве» черта, записанное современником: «“Скажите, Н.В., – спрашивал я, – как так мастерски вы умеете представлять всякую пошлость? Очень рельефно и живо!” Легкая улыбка показала на его лице, и после короткого молчания он тихо и доверчиво мне сказал: “Я представляю себе, что черт, большею частью, так близок к человеку, что без церемонии садится на него верхом и управляет им как самую послушную лошадью, заставляя его делать дурачества за дурачествами» [Малиновский, с. 3].

Что касается рассуждения Шевырева о развитии гоголевского комизма, о переходе его в новую стадию, то она близко мысли самого Гоголя. Первая стадия – примерно до «Ревизора»; вторая – от «Ревизора». «Я увидел, что в сочинениях моих смеюсь даром, напрасно, сам не зная зачем (по Шевыреву, «шалил» дарованием. – Ю. М.). Если смеяться, так уже лучше смеяться сильно над тем, что действительно достойно осмеянья всеобщего. В “Ревизоре” я решился собрать в одну кучу все дурное в России... и за одним разом посмеяться над всем» («Авторская исповедь» [VIII, 440]). Или в другом месте (в письме к Жуковскому от 10 января, 1848 / 29 декабря 1847): «...мой смех вначале был добродушен; я совсем не думал осмеивать что-либо с какой-нибудь целью». Но

потом, продолжает писатель, он «наконец задумался». «Если сила смеха так велика, что ее бояться, стало быть, ее не следует трогать по-пустому». «Я решился собрать все дурное, какое только я знал, и за одним разом над ним посмеяться – вот происхождение “Ревизора”!» [XIV, 34]. Наконец, в «Театральном разъезде...», непосредственно после «Ревизора» и в объяснение «Ревизора»: «Нет, смех значительней и глубже, чем думают... тот смех... который углубляет предмет, заставляет выступить ярко то, что проскользнуло бы, без пронизывающей силы которого мелочь и пустота жизни не испугала бы так человека...» [V, 169]. Возможно, классификация Шевырева возникла под прямым влиянием Гоголя; правда, и упомянутое письмо Жуковскому, и «Авторская исповедь» еще не были написаны, но «Театральный разъезд...» Шевырев знал, а кроме того, он мог слышать сходные рассуждения Гоголя в устных с ним беседах.

Конечно, деление творческой эволюции Гоголя на две стадии относительно: и в произведениях первой стадии выступала «мелочь и пустота жизни», а в произведениях второй – действовала та непосредственная, игровая сила комизма, которую Шевырев назвал «шалостью». Однако такой категоризм противопоставления отвечал определившейся художественной установке Гоголя на всеобъемлющее, универсальное изображение (в «Ревизоре» – «сборный город», в «Мертвых душах» – «вся Русь»; см. подробнее: Манн, 2007, с. 163 и далее, с. 234 и далее), отвечал установке на извлечение некоего урока и для России, и, может быть, всего человечества.

Понравилось Гоголю и рассуждение Шевырева об осмеянии черта. «Слова твои о том, как чорта выставить дураком, совершенно попали в такт с моими мыслями. Уже с давних пор только о том и хлопочу, чтобы после моего сочинения насмеялся вволю человек над чортом» [XIII, 293]. Интересно, что здесь Гоголь не делит свое творчество на периоды. «С давних пор» – это значит с чуть ли не самого начала, с первых произведений.

И действительно, уже в «Вечерах на хуторе...», скажем, в «Пропавшей грамоте», черт, вопреки своей репутации, являл жалко-смешное зрелище. «На деда, несмотря на весь страх, смех напал, когда увидел, как черти с собачьими мордами, на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм, будто парни около красных девушек» [I, 188]. Характерно и обещание, данное в письме от 7 октября 1835 г. Пушкину в связи с замыслом будущего «Ревизора»: «...Духом будет комедия из пяти актов, и кля-

нись, будет *смешнее чорта!*» [X, 375]. Черт словно выступает как единица измерения комического, эталон смеха...

К сообщению же Шевырева о богомольном старике Гоголь сделал замечание: «Судя по его отзыве о чорте, он должен быть малороссиянин» [XIII, 293]. Тут найдутся и реальные примеры – ну хотя бы только что упомянутый «дед» из «Пропавшей грамоты», который при виде пляшущих чертей чуть не изощелся смехом... Упоминание «малороссийского» (украинского) элемента влекло за собой включение в текст ряда мотивов. Прежде всего частоту подобных встреч, превратившихся чуть ли не в будничные явления и вызывавших стойкое противостояние, что дало современному исследователю возможность говорить «об украинцах как о некоем *народе-чертоборце*» [Звенияцковский, 2011, с. 42; выделено в оригинале; см. также: Звенияцковский, с. 162–172]. Затем – особая манера комизма, его неподдельная наивность и простодушие – качества, свойственные и русскому комизму, но в украинском достигавшие особенно высокой степени. Гоголь ощутил это качество с юных лет, и оно во многом определило его образное мышление и художественный стиль (см.: кн. 1, с. 91 и далее).

Однако означало ли такое высмеивание черта его одоление и непременно над ним победу, как, возможно, казалось Шевыреву и встреченному им старику-богомольцу? Отнюдь нет. Такая победа становилась все более проблематичной, особенно в связи с изменением в творчестве Гоголя статуса нечистой силы, перехода ее в более глубокие сферы бытия и, соответственно, в более глубокие слои стиля – от прямой фантастики к неявной, завуалированной, «нефантастической» [см. подробнее: Манн, 2007, с. 54–116; 705–714].

Возвращаясь же к отзыву Шевырева, надо подчеркнуть, что он заметно выделялся на фоне общего неприятия «Выбранных мест...», и этот фон глубоко травмировал писателя.

Особенно интересовали Гоголя отклики духовных лиц, ведь и свою книгу он рассматривал как духовный подвиг. Так, он послал «Выбранные места...» архиепископу Херсонскому и Таврическому Иннокентию (в миру Борисову), который в 1842 г. благословил Гоголя на паломничество в Святую землю (см. об этом: кн. 2, с. 332). Свое мнение Иннокентий передал через Погодина: «Если вы пишете к нему, то скажите, что я благодарен за дружескую память, помню и нежно его люблю, радуюсь перемене в нем, только прошу его не парадировать набожностью: она любит внутреннюю клеть. Впрочем, это не то, чтобы он молчал. Голос его нужен для

молодежи особенно, но если он будет неумерен, то она поднимет его на смех, и плода не будет» [Барсуков, кн. 8, с. 562].

Отзыв Иннокентия исполнен теплотой, сочувствием, которых так жаждал Гоголь. Но в то же время он заключал в себе весьма чувствительный упрек. Ведь парадировать означало красоваться, делать напоказ, с расчетом на эффект – и в чем же? – в проповеди добродетели, в деле души. Принять на себя такую вину Гоголь не мог, оставалось обвинить себя в неумении, а это значит в том, что он еще не достигнул разума Бога, его слов и должен вслушиваться в них вновь и вновь. Но это означало и остановку в писании, пусть временную, не навсегда. «Я дал себе слово остановиться писать, видя, что нет на это воли Божией... Словом, нужно мне в это время притихнуть, исполнять просто какую-нибудь должность самую незаметную, невидную, но взятую во имя Божие...» (письмо архиепископу Иннокентию <около 8 июля н. ст. 1847 г., Франкфурт> [XIII, 344]).

Другие упреки, исходившие от духовных лиц, были серьезнее: Гоголю довелось услышать и обвинение в грехе и богохульстве, «духу прелести» придавалось здесь вполне определенное злое очертание. Такие обвинения исходили от священника Матвея и монаха Игнатия.

Отец Матвей (Матвей Александрович Константиновский, 1792–1867) проживал в Ржеве; с 1836 г. – священник Спасо-Преображенской церкви; позднее, с 1849 г., – штатный протоиерей Успенского собора [Грещищев, с. 249–250]. С Гоголем его заочно познакомил А.П. Толстой, и писатель еще до выхода в свет «Выбранных мест...» включил имя ржевского священника в число тех, кому следует послать книгу в первую очередь. Гоголь обратился к отцу Матвею с настоятельной просьбой не затрудняться тем, что тот лично не знает автора, и не скрывать от него ничего: «Упреки мне сладки, а от вас еще будет слаще» [XIII, 231]. Особой сладости, однако, желанный отзыв Гоголю не доставил...

Матвею Константиновскому доведется сыграть важную роль в последние месяцы жизни Гоголя, поэтому более подробно о нем мы скажем позже. Пока же – краткая характеристика отца Матвея, данная его знакомым Константином Ивановичем Марковым, отставным поручиком, помещиком Лебединского уезда Харьковской губернии. Марков проживал в Ржеве; когда пришло письмо от Гоголя, находился близ Матвея Константиновского, это дало ему основание высказать «свое мнение о нем».

Сколько мне известно, – писал он Гоголю 20 ноября 1847 г., – вам рекомендовал его граф Толстой, но, вероятно, преувеличивал его достоинства. Как человек он действительно заслуживает уважения; как проповедник он замечателен – и весьма; но как богослов он слаб, ибо не получил никакого образования. С этой стороны я не думаю, чтобы он мог разрешить сколько-нибудь удовлетворительно ваши вопросы, если они имеют предметом не чистую философию, а богословские тонкости... Отец Матвей может говорить о важности постов, необходимости покаяния, давно известных предметах, но тщательно избегает трактатов о сюжетах чисто богословских и не может даже объяснить двенадцати догматов наших, т. е. членов Символа веры... [Шенрок, т. 4, с. 554–555].

Но Гоголь ждал от отца Матвея не ученого «трактата», не разъяснения «богословских тонкостей», а конкретной оценки пользы и значения его книги, – и оценка эта оказалась суровой.

Письмо Матвея Константиновского неизвестно, но о его содержании можно судить по ответному письму Гоголя от 9 мая н. ст. 1847 г.: «Не могу скрыть от вас, что меня очень испугали слова ваши, что книга моя должна произвести вредное действие и я дам за нее ответ Богу. Я несколько времени оставался после этих слов в состоянии упасть духом...» [XIII, 301]. Преступление перед Богом – в сознании Гоголя это было не шуточное обвинение! «Полагаем, – заключает гоголевский биограф, – что в целом ряде жестоких ударов, нанесенных Гоголю по выходе “Переписки”, не было при его тогдашнем настроении ни одного столь ужасного для него, не исключая даже известного письма Белинского, как тот, который нанес ему о. Матвей...» [Шенрок, т. 4, с. 602].

Большую часть своего ответа о. Матвею Гоголь посвятил самооправданию: мол, благим замыслам повредило дурное исполнение. Так, в связи со статьей «О театре...», которая, видимо, больше всего возмутила Матвея Константиновского, Гоголь говорит, что писал ее «не с тем, чтобы приохотить общество к театру, а с тем, чтобы отвадить его от развратной стороны театра, от всякого рода балетных плясавиц», но «выразил все это таким нелепым и неточным образом, что подал повод вам думать, что я посылаю людей в театр, а не в церковь». Словом, всему причиной – «незрелость», «невоспитанье», которые теперь обернулись горьким раскаянием. «Моя книга есть точная мне оплеуха. Я не имел духу заглянуть в нее, когда получил ее отпечатанную: я краснел от стыда и закрывал лицо себе руками...» Закрытие лица рукою, между прочим, –

характерный в поэтике Гоголя жест сокрушения и прозрения: вспомним молодого человека из «Шинели», услышавшего в словах Акакия Акакиевича «оставьте меня, зачем вы меня обижаете» другие слова – «я брат твой»: «И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья...».

Другое обвинение пришло, мы говорили, от монаха Игнатия.

Игнатий (в миру Брянчанинов Дмитрий Александрович (1807–1867)) получил образование в Главном инженерном училище в Петербурге, но военной карьеры не сделал: в 1827 г. по болезни вышел в отставку в чине поручика, а спустя четыре года постригся в монахи. В 1834 г. возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Троице-Сергиевой пустыни (близ Петербурга). Значительно позже, в 1857 г., стал епископом Кавказским и Черноморским.

В отзыве о «Выбранных местах...» Игнатий утверждал, что книга Гоголя «издает из себя и свет и тьму. Религиозные его понятия неопределенны, движутся по направлению сердечного вдохновения неясного, безотчетливого, душевного, а не духовного. Он писатель, а в писателе непременно “от избытка сердца уста глаголют”, или сочинение есть непременно исповедь сочинителя, по большей части им не понимаемая» [Брянчанинов, с. 556]. По замечанию историка русской философии, Брянчанинову, строгому ревнителю «аскетической традиции», не понравился у Гоголя «дух утопического активизма» [Флоровский, с. 393, 268], иначе говоря, отстаиваемая им система социального устройства общества, взаимодействия различных «должностей», т. е. сословий и личностей.

В ответном письме к Плетневу от 9 мая н. ст. (именно он переслал отзыв Брянчанинова) Гоголь отдает «справедливость нашему духовенству за твердое познание догматов» – «это познание слышно во всякой строке его [Игнатия] письма», но с главной мыслью – о неразличении в «Выбранных местах...» света и тьмы – решительно не согласился:

...Чтобы произнести полный суд моей книге, для этого нужно быть глубокому душеведцу, нужно почувствовать и услышать страдания той половины современного человечества, с которою даже не имеет и случаев сойтись монах; нужно знать не свою жизнь, но жизнь многих. Поэтому никак для меня не удивительно, что им видится в моей книге смешение света со тьмой. Свет для них та сторона, которая им знакома; тьма та сторона, которая им незнакома; но об этом предмете нечего нам распространяться [XIII, 305–306].

Это напоминает гоголевский упрек Плетневу, высказанный тремя месяцами раньше, в чисто эстетическом, так сказать, барственном подходе к его книге: «Ты не знаешь, что делается на Руси, внутри, какой болезнью там изнывает человек, где и какие вопли раздаются и в каких местах. Тепло, живя в Петербурге, наслаждаться с друзьями разговорами об искусстве и о всяких высших наслаждениях» [XIII, 204]. Но в случае с Плетневым Гоголь парирует критику эстетического, литературного характера («...на книгу мою ты глядишь как литератор»); в случае с Игнатием – критику духовного, религиозного рода. В сущности Гоголь возвращает своему оппоненту упрек в неразличении добра и зла.

Одновременность гоголевских ответов отцу Матвею и архимандриту Игнатию (оба письма датированы 9 мая н. ст. 1847 г.) глубоко символична и свидетельствует о двойственности его сознания. Гоголь глубоко переживает ощущение своей греховности, готов смириться и покаяться и в то же время не может поступиться своим словом, ощущая его справедливость и правоту, и поэтому на упрек готов ответить контррупреком, на обвинение – контробвинением.

Среди откликов, полученных Гоголем в Неаполе на его книгу, выделяются суждения А.О. Россета. Письмо последнего, посланное из Петербурга и датированное 12 марта 1847 г., не обратило на себя заметного внимания гоголевских биографов, а между тем это письмо очень содержательно: в нем не только углублены ходовые упреки – об отказе от художественной деятельности в пользу проповеднической, но и высказаны новые – об изменениях в характере самого художественного созерцания Гоголя, его колорита и направления.

Знакомый Гоголю еще с начала 1830-х годов по Петербургу, неоднократно встречавшийся с ним за границей (особенно сблизились они в первые месяцы 1843 г. в Риме, куда Аркадий Осипович приехал вместе с сестрой А.О. Смирновой-Россет), он пользовался неизменным доверием писателя и выполнял его различные поручения. Одно из них – раздача средств, вырученных за планируемое Гоголем в 1846 г. благотворительное издание «Ревизора» (Россет, имевший чин штабс-капитана, в это время жил в Петербурге), другое поручение – сбор сведений, касающихся реакции на «Выбранные места...». Эти сведения Россет систематизировал, снабдил собственным комментарием и в весьма доброжелательном, но нелицеприятном тоне довел до сведения автора.



Прежде всего, объясняет Россет, читателей отвратило от книги отразившееся в ней новое «направление».

Вы первый светский писатель выступили с решительным религиозным направлением и должны были тем сильнее поразить всех, что ваше прошлое не позволяло предполагать такого направления. Что ни говори, а перейти прямо с Хлестакова и Чичикова на Христа и душу – озадачит хоть кого. Вы пренебрегли и прошлым наших писателей и вашим прошлым, и тем что у нас привыкли видеть человека, говорящего о Христе, в рясе, а не во фраке, и выступили прямо учителем, да каким учителем! прямым проповедником с самым доктринерским тоном, почти без апелляций, которого советов все спрашивают и, получив, только слушают и благодарят [Шенрок, т. 4, с. 54].

Слова Россета предвосхищают более позднее замечание другого критика (Ивана Щеглова), также высказанное в связи с Гоголем: писатель может находиться вблизи амвона, но не его назначение – подниматься на амвон!

Для самого Гоголя такая смена позиций была глубоко органичной, отвечающей потребностям души, хотя и сменой непростой, мучительной, но со стороны она выглядела неубедительной и подчас неожиданной. «И здесь, – пишет современный исследователь, – возникало резкое противоречие между его реальным статусом (писателя и светского человека) и «жанровым образом» (духовника и учителя жизни) [Симеон, с. 145]. И продолжает свою мысль цитатой из Набокова: «Результатом стало впечатление, о котором Набоков сказал так: “Чем больше пафоса он [Гоголь] вложит, чем торжественнее возьмет тон, чем глубже будут его чувства или по крайней мере те чувства, которые он выразит самым набожным и раздражающим слогом, тем сильнее и неожиданнее будет полученный отпор. Он распустит все свои паруса на крепчайшем ветру и вдруг заскрипит килем по каменистому дну чудовищного непонимания”» [Набоков, с. 183].

Другой сформулированный Россетом тезис – о дороге, приведшей Гоголя к его доктрине.

Каким путем пришли вы к Христу? Путем болезни. Путь очень действительный для нас с вами, слабый для других. Убедать человеку больному человека, который, слава Богу, здоров, самое ненадежное средство... Чем увлекали вы публику в прошлых сочинениях? Обилием жизни и внутренней силы; до мелочи касались, а читатель был весь ваш. – Ка-

кой господствующий тон настоящей книги? Тон болезненной слабости телесной, расстройства нервного, напуганного воображения, душевной скорби, какого-то уныния, тяжелого для читателя, когда оно длится почти без отдыха от первой страницы до последней. Мне кажется, что, представляя христианство в настоящем его духе, в духе света, крепости и силы, ныне скорее обратишь человека к Христу. Когда выступит наша церковь, просветлит или высветлит всего насквозь нам человека (эта страница ваша просто прелесть), человек этот выразится нам в противоположной вам форме [Шенрок, т. 4, с. 544–545].

Суждения Россета вновь предвосхищают более поздние концепции, например, с одной стороны, В.В. Розанова, с другой – И.А. Ильина.

По мнению Розанова, православная церковь исказила христианство. «Умирая, Византия нашептала детскому народу, принятому ею в “крестильную рубашечку”, все свои предсмертные стоны, всю патологию, всю органическую ненависть умирающего к жизни... Гроб, монашество, отречение от мира – вот с чем она слила христианство. И от Грозного до Петра, и сейчас до последнего журналиста, все одинаково чувствуют эту роковую силу». И еще: «Ну, если, в самом деле, таково дело, если религия есть точно гроб и отречение – то государству не сдобровать, да и народу не сдобровать же; обществу, науке, искусству – всему не сдобровать» [НВ. 1909. № 10453, 10496].

По мнению же Ильина, это отчуждение от жизни вовсе не тождественно православию, но касается «истории христианской церкви в целом», в которой «имеется древняя “мироотречная” традиция». «И когда окидываешь взором историю культурного человечества за последние века и видишь этот процесс отхода масс от церкви и христианства, то иногда невольно спрашиваешь себя, не объясняется ли этот процесс, помимо массового духовного кризиса, еще и тем, что христианство доселе не побороло в себе этого *мироотречного уклона*, который учит покаянно уходить от мира и из мира, но не учит ответственно входить в мир и радостно творить в нем во славу Божию» [Ильин, 1990, с. 26, 29; курсив в оригинале].

Наконец, гоголевской книге, по мнению Россета, повредили разные «причуды и странности»; к ним относится, в частности, публикация завещания при живом завещателе.

Вы могли пренебречь приличиями, литературными обычаями, презреть общим мнением, но не должны были, ради пользы самой книги, прене-

брегать слабостью человека. – Как быть, а человек уже так устроен, что, посмотрев на солнце, заговорит об этих пятнах. Что делают с солнцем, то делают и с вашей книгой. На вопрос: «читал ли Гоголя?» – каждый помимо всего заговорит о завещании, публичной исповеди, портрете, посмертных памятниках, просьбе раскупать книгу, раздавать ее всем и проч. и проч. [Шенрок, т. 4, с. 545–546].

Интересно, что в ответном письме (от 15 апреля н. ст.) Гоголь фактически не отвечает ни на одно из сформулированных Россетом обвинений, повторив лишь уже ставшие привычными утверждения о том, что он болеет «незнанием» русской жизни, что «Выбранные места...» есть «пробный оселок», который поможет узнать эту жизнь, ибо «без выхода нынешней моей книги никак бы я не достигнул той безыскусственной простоты, которая должна необходимо присутствовать в других частях “М<ертвых> д<уш>”, дабы назвал их всяк верным зеркалом, а не карикатурой» и т. д. Россету дается поручение продолжать сбор откликов на книгу и при этом еще завести специальный журнал, внося в него сведения о тех, чьи мнения довелось услышать. Например: «Сегодня я услышал вот какое мнение; говорил его вот такой человек; жизни он следующей; характера следующего (словом, в беглых чертах портрет его); если ж он незнакомец, то: жизни его я не знаю, но думаю, что он вот что, с вида он казист и приличен (или неприличен); держит руку вот как; сморкается вот как; нюхает табак вот как» [XIII, 280, 279–280].

То, что Гоголь обошел молчанием суждения Россета, не означает, что он не обратил на них внимания. «Все смекнуто, соображено, замотано на ус и зарублено на стенке» [XIII, 394], – заверит Гоголь своего корреспондента позднее, в письме от 20 ноября н. ст. 1847 г. Видимо, Гоголю не хотелось входить в столь трудные объяснения, ведь вопросы относились не только к отказу от художественной деятельности (тут достаточно было заверить оппонентов, что он от такой деятельности не откажется), но, как мы сказали, и к характеру самой художественной мысли, ее изменению и развитию. А это развитие было весьма прихотливым, обнаруживавшим новые качества, но сохранявшим преемственность. Например, в столь важном для писателя вопросе, как назначение женщины и ее красоты.

Этой темы коснулась В.С. Аксакова в уже упоминавшемся письме от 30 января 1847 г. к М.Г. Каргашевской. Вера Сергеевна увидела у Гоголя ложный, католический взгляд на женскую красоту.

...Он хочет примирить жизнь и весь порядок вещей с христианским стремлением, он ищет примирения и тут-то впадает в ложь, примером этого служит его письмо к женщине в свете, которое многих обольстило и которое есть великое зло тем самым. Оно точно прекрасно написано, особенно местами, но неужели, милый друг, ты не видишь того ложного взгляда, на котором оно основано. Возможно ли красоту женщины считать орудием от Бога, данным для внушения святых истин, для влияния благодатного на людей, если даже оно в самом деле так бывает в обществе, то это только показывает испорченность его, стало быть, Гоголь проповедует Католический взгляд, что для благого дела можно употреблять всякие орудия и возбуждать слабости человеческие для того, чтобы человек стал лучше, не заботясь о том, какая побудительная причина в нем действует, и не думая о том, что он вносит этим самым порчу в человека, потому что затемняет чистоту его искренних, бескорыстных, святых побуждений. Католики, конечно, так действуют... В самом деле, при первом чтении явился мне прекрасный образ этой женщины, но потом идут везде такие несообразные крайности, и возможно ли писать это в лицо кому-нибудь и печатать? Я даже скорее соглашусь с некоторыми, которые находят это письмо просто страстным письмом. – Не подумай, чтобы я говорила против примирения христианства с жизнью, я совсем далека от этого. Я утверждаю, что возможно примирение, только не в спокойном признании и извинении слабостей человеческих, а в непрестанной борьбе с ними, для этого не нужно оставлять мир, всякий на своем месте может это исполнить... [ИРЛИ. Ф. 173. Ед. хр. 10.617].

М.Г. Карташевская не согласилась с этим мнением, что заставило Веру Сергеевну в письме от 21 февраля вернуться к той же теме.

Мне жаль, мой милый друг, что мы расходимся во мнении насчет письма к Соллогуб<sup>19</sup> [т. е. к Софье Михайловне Соллогуб], впрочем, это только потому, что мы разное его понимаем, разное в нем видим. Ты прочла его только один раз, но перечти его еще, и я уверена, что впечатление будет другое... При повторном прочтении этой книги, когда передо мной открылся весь хитросплетенный состав его самолюбивого и самоуверенного мудрствования, я увидела ясно, что и это письмо выходит из одного же источника и что меня обольстил только на минуту прекрасный образ, который и сам даже ложен. Вспомни, милый друг, эти места: Но у вас есть другие орудия, с которыми все возможно. Во-первых, вы имеете уже красоту или дальше: Если уже один бессмысленный каприз красавицы ... к добру. Скажи, пожалуйста, разве не прямо он велит употреблять красоту как средство... [Там же; подчеркивания, означающие цитирование гоголевского текста, содержатся в оригинале].

Проблема, которой коснулась В.С. Аксакова, глубоко коренится в гоголевской биографии и в гоголевском творчестве. С молодых лет ему было свойственно острое ощущение женской красоты – источника вдохновения, бурных переживаний и одновременно опасного соблазна и губительной угрозы. Один из ранних, если не самый ранний эпизод, в котором выявились и переплелись эти силы, – то событие, которое Гоголь обозначил как встречу с красавицей-незнакомкой весной 1829 г. С тех пор его не оставляло ощущение трагического несоответствия красоты и моральной правды, но в то же время возникала и мучительная потребность преодолеть эту коллизию. Опору нужно найти в самой красоте, если поставить на службу высокой религиозной нравственности всю силу женского очарования, бездну чувственности, небесного и в то же время вполне земного вдохновения. Аксакова увидела в этом влияние католицизма; с таким же правом можно было бы увидеть в нем и проявления средневекового, согласно эстетическим концепциям конца XVIII – начала XIX в., истинного романтизма с его культом прекрасной дамы и рыцарского ей служения. Гоголю доводилось не раз касаться этой волнующей для него темы – последний раз в «Тарасе Бульбе», особенно во второй ее редакции, в сцене встречи Андрия и прекрасной полячки (см.: кн. 2, с. 189 и далее), и в «Риме», в сценах с Аннунциатой. Теперь эта тема вошла в контекст «Выбранных мест...».

«Красота женщины еще тайна. Бог недаром повелел иным из женщин быть красавицами; недаром определил, чтобы всех равно поражала красота, – даже и таких, которые ко всему бесчувственны и ни к чему не способны». Сравним всеобщее поражающее действие красоты Аннунциаты: «И, повстречав ее, останавливаются как вкопанные: и щеголь миненте с цветком за шляпой, издавши невольное восклицание; и англичанин в гороховом макинтоше, показав вопросительный знак на неподвижном лице своем; и художник с вандиковской бородкой...»

Из констатации могущества красоты в «Выбранных местах...» следует вывод (эти строки и имела в виду В.С. Аксакова): «Если уже один бессмысленный каприз красавицы бывал причиной переворотов всемирных и заставлял делать глупости наиумнейших людей, что же было бы тогда, если этот каприз был осмыслен и направлен к добру? Сколько бы тогда могла произвести красавица сравнительно перед другими женщинами! Стало быть, это орудие сильное» [VIII, 226]. И затем – прямое наставление красавицам: «Повелевайте же без слов, одним присутствием ва-

шим; повелевайте самим бессилием своим... повелевайте и именно той женскою прелестью вашей, которую, увы! уже утратила женщина высшего света!» [VIII, с. 227].

С точки зрения В.С. Аксаковой, это смешение греха со спасением или даже, точнее, употребление «греха» ради «спасения» (автор «Выбранных мест...» «велит употреблять красоту как средство»). Для Гоголя же это дозволенная практичность, соответствующая полезному, «дельному» направлению его книги. Красота становится атрибутом «поприща» или «должности», в данном случае «должности» женщины в свете. Замечательна амбивалентность гоголевского оборота «Бог не даром повелел...». В красоте – и высшая, божественная избранность, и своего рода назначение: некоторые женщины назначены быть красавицами, как иные лица – начальниками или крупными чиновниками...

Сказанным отчасти снимается сформулированное Россетом суждение о пропасти между прежним и нынешним Гоголем: особенности его развития в том, что тенденции последней стадии обычно заключены в предыдущей и само изменение происходит посредством переноса акцента, накопления новых нюансов и т. д. Но снимаются приведенные критические суждения именно отчасти: Россет прав в том отношении, что преимущественный угол зрения в гоголевской книге – это угол зрения болезни и смерти. Однако важно то, что и этот угол зрения Гоголь стремится разложить на разные, порою противоположные составляющие.

Письмо со значащим названием «Значение болезни» начинается с утверждения: «...силы мои слабеют, но не дух. Никогда еще телесные недуги не были так изнурительны». Эта ситуация буквально соответствует состоянию Гоголя в первые месяцы 1846 г. (письмо, кстати, датировано 1846 г.): с одной стороны, физическое изнурение; с другой – расположение к труду, к творчеству (см.: наст. издание, с. 78). Но при этом Гоголь благословляет свои «телесные недуги» не только потому, что они оставляют место для деятельности духа, но и побуждают особенно дорожить этой деятельностью: «...ныне, в мои свежие минуты, которая дает мне милость небесная и среди самых страданий, иногда приходят ко мне мысли, несравненно лучшие прежних, и я вижу сам, что все, что ни выйдет из-под пера моего, будет значительное прежнего» [VIII, 228–229].

Угол зрения смерти задан в начале книги и задан многократно: «Предисловием» («Я был тяжело болен; смерть уже была близко...»), «Завещанием» («...излагаю здесь мою последнюю

волю»), наконец, особой, так сказать, внесюжетной ролью «Прощальной повести», о которой подробно говорилось выше. Гоголь оглядывает жизнь с роковой черты, с последнего рубежа, но все-таки рубежа уже преодолеваемого и преодоленного.

Услышанные отклики на книгу, рефлексия по этому поводу истощили душевные силы Гоголя. «...Мне случилось получить всякого рода поражений по самым чувствительным струнам души моей... Мне теперь тяжело взглянуть на мою книгу, мне кажется в ней все так напыщенно, неумеренно, невоздержно, что от стыда закрываю вперед обеими руками лицо [опять жест закрывания лица – жест сокрушения!]. О, как мне трудно управляться в моем душевном хозяйстве!» (В.А. Жуковскому, 4 марта н. ст. 1847 г. [XIII, 232]). Нестерпимо тяжело «получать письменные упреки от самых близких людей в лицемерии, ханжестве, надувании других и скорбные упреки в игрании комедии там и в том, что было священнейшею мыслью и любовью души» (М.П. Погодину, 4 марта н. ст. [Там же. С. 236]). «Появление моей книги разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, еще сильнейшая оплеуха мне самому. <...> Я размахнулся в книге моей таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в нее» (В.А. Жуковскому, 6 марта н. ст. [XIII, 243]).

Слова о поражении, об оплеухе Гоголь повторяет с каким-то мазохистским наслаждением; ему доставляет удовольствие говорить и о своем небольшом чине (коллежского асессора), скромном общественном положении: «...сам по себе я человек не велик, несмотря на великую возню, которая идет обо мне теперь в литературе...» (П.А. Плетневу, 6 марта н. ст. [XIII, 247]), говорить и о том, что он, «чиновник 8 класса, слишком зарпортовался» (П.А. Вяземскому, 28 февраля н. ст. [XIII, 227–228]). Все это вновь непосредственно связано с комплексом Хлестакова, норотившего сыграть роль чином повыше.

Позднее реакцию на «Выбранные места...» подытожил А. Суворин: «И друзья и враги наговорили столько нелепого и обидного для Гоголя, что эту книгу можно сравнить с костром, на который Гоголь взошел добровольно и на котором его поджигали со злобою и остервенением великим как большие, так и маленькие люди и на котором он погиб преждевременно жертвою своего искреннего убеждения и желания добра и правды...» [НВ. 1886. 20 апреля. С.1].

Это так и не совсем так: ведь были же отклики другого рода, и Гоголь их слышал! «...Ваши “Мертвые души” даже – все побледнело как-то в моих глазах при прочтении вашего последнего томика» [РС. 1890. № 8. С. 282], – писала ему Смирнова-Россет. «...Она [книга писем], по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы. Все до сих пор бывшее мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет» [Переписка, т. 1, с. 271–272], – утверждал Плетнев. Почему же эти голоса не производили на Гоголя заметного действия?

Потому что изначально книга апеллировала если не ко всем, то ко многим, была рассчитана на их внимание, ответную реакцию, особенно реакцию власть имущих, начиная с самого императора. Похвалы отдельных знатоков или друзей ничего не решали, не решали и похвалы сугубо литературного свойства. «Не скрою, что я хотел произвести ею вдруг и скоро благодетельное действие на некоторых *недугующих* (Гоголь производит это слово от *недуг*. – Ю. М.), что я ожидал даже большего количества толков в мою пользу...» [XIII, 279]. Если этого не произошло, то эффект потерян, книга не состоялась.

Начало мая 1847 г. – последние дни пребывания в Неаполе – «самый трагический момент в жизни Гоголя: все воздвигнутое им здание учительства, государственного служения, общественной пользы – рушится сразу; возвращение к художественному творчеству невозможно; “как честный человек” он должен отказаться от всякого писательства». Наступило «двойное отречение» [Мочульский, с. 111].

В этом утверждении много верного, но есть и категоризм, не адекватный логике гоголевских изменений, всегда прихотливых, с «двойным дном», с подспудным встречным течением. Когда Гоголь в «Выбранных местах...» переходил на язык публицистики, он втайне лелеял мечту о новом подъеме его художнической энергии. «Бог недаром отнял у меня на время силу и способность производить произведения искусства, чтобы я не стал произвольно выдумывать от себя, не отвлекался бы в идеальность...» [XIII, 286–287]. Именно «на время» и именно для того, чтобы избегать надуманности, «идеальности». И теперь, после поражения идеи «государственного служения», потребность в художническом труде становилась все сильнее и сильнее.



Чаадаев: «несчастный гениальный человек»

С появлением «Выбранных мест...» и возникшей вокруг них полемикой связано заметное изменение отношения Чаадаева к Гоголю. Мы помним, что «Ревизора» Чаадаев встретил, мягко говоря, холодно. На фоне осуждения «Философических писем», поддержанного официально, императорской волей, успех гоголевской пьесы воспринимался им болезненно, тем более что и по своему жанру оба произведения, по мнению Чаадаева, не шли ни в какое сравнение: с одной стороны, легкая комедия, сборище карикатур, с другой – выношенный долгими размышлениями философский труд (см.: кн. 2, с. 324).

Эпизод с «Ревизором» задал тон последующей десятилетней истории взаимоотношений двух писателей. Во время приездов Гоголя в Москву в 1839–1840 и 1841–1842 гг. они встречались и в погодинском доме в день именин Гоголя, и у Чаадаева на Новой Басманной, но к близости и взаимопониманию эти встречи не привели. По выходе же «Мертвых душ» Чаадаев оказался среди порицателей поэмы. Фраза, брошенная им ее защитникам: «Vous etes ivre-morte» (Вы мертвецки пьяны) [ЛН, Т. 58. С. 624], как мы уже говорили, продолжает саркастические обвинения почитателям «Ревизора».

Но вот появляются «Выбранные места из переписки с друзьями», и в оценке Чаадаевым этой книги, а заодно и творчества Гоголя в целом зазвучали неожиданные ноты. Отчасти они связаны с общей господствующей атмосферой, вызванной «Перепиской», атмосферой, передаваемой, в частности, письмом С.Т. Аксакова от 16 января 1847 г. к сыну Ивану Сергеевичу: «Обстоятельства переменяются. Мы не можем молчать о Гоголе, мы должны публично порицать его. Шевырев даже хочет напечатать беспощадный разбор его книги... Вся его книга проникнута лестью и страшной гордостью под личиной смирения: он льстит женщине, ее красоте, ее прелестям; он льстит Жуковскому; он льстит власти. Он не устыдился напечатать, что нигде нельзя говорить так свободно правду, как у нас» [Аксаков С., с. 182]. Сергей Тимофеевич откровенно намекает на душевное нездоровье Гоголя. О болезни Гоголя пишет и Иван Киреевский, замечая, что это многих радует [см.: Мюллер, с. 301]. И хотя спустя неделю Аксаков смягчил свой приговор («Мне блещет луч надежды, что Гоголь выйдет победоносно из этого

положения...» [Аксаков С., с. 183]), жестокие слова прозвучали, и очень многие разделяли это мнение.

Не менее сурово отозвался о книге Ю.Ф. Самарин. Человек, который лет восемь тому назад писал: «Да, мы можем считать себя счастливыми, что родились современниками Гоголя», и что он, Самарин, отвернется от тех, «кто будет порицать Гоголя или не будет благоволить перед ним безусловно» [ЛН. Т. 58. С. 580], теперь сам совершил этот жест – отвернувшегося человека. «Говорить ли о книге Гоголя? – писал он К.С. Аксакову (Рига, 1847 г.). – Она произвела на меня тяжелое и грустное впечатление, такое грустное, какого я давно не испытывал... Да, гордость, гордость отшельника, самая опасная из всех гордостей, затемняет его сознание о его призвании». Самарин отваживается говорить от имени многих, даже «всех»: «Как он всем стал чужд! Как сам он раззнакомился с русскою публикою и перестал понимать ее!» [Нольде, с. 467, 468].

На господствующую атмосферу Чаадаев прореагировал по-своему. Он был не из тех, кто готов был бросить камень в преследуемого или кто послушно шел за большинством. Вопреки мнению большинства Чаадаев в свое время судил о «Ревизоре», а теперь – о «Выбранных местах...». Только надо принять во внимание, что это было за большинство.

29 апреля 1847 г. Чаадаев пишет петербуржцу Вяземскому: «У вас, слышно, радуются книгою Гоголя, а у нас, напротив того, очень ею недовольны. Это, я думаю, происходит от того, что мы более вашего были пристрастны к автору. Он нас немножко обманул, вот почему мы на него сердимся» [Чаадаев, с. 456].

Относительно радующихся петербуржцев – не совсем точно. Достаточно вспомнить проживавшего в Петербурге Белинского, чья статья о «Переписке», опубликованная в первом томе «Современника» за 1847 г., могла быть известна Чаадаеву (ценз. разр. тома от 30 января; знаменитое зальцбруннское письмо появилось значительно позже – оно датировано 15 июля н. ст.).

О другой, «московской», партии тоже сказано неточно; впрочем, тут заметен сознательный риторический прием. «Мы на него сердимся», «он нас немножко обманул»... Сам Чаадаев в это коллективное «мы» не входит, а входят друзья Гоголя, прежде всего славянофилы, те, кто неумеренно его восхваляли.

Как вы хотите, чтобы в наше надменное время, напыщенное народной спесью, писатель даровитый, закуренный ладаном с ног до головы, не зазнался, чтобы голова у него не закружилась? <...> Чувство всеобщего

самодовольства невольно переносится и к собственным нашим лицам. Коли народ русский лучше всех народов в мире, то, само собою разумеется, что и каждый даровитый русский человек лучше всех даровитых людей прочих народов... Гордость, в нем <Гоголе> проявившаяся, привита ему его друзьями. Это он сам говорит, в письме к кн. Львову... [Там же. С. 458–459].

Чаадаев имеет в виду письмо Гоголя князю Владимиру Владимировичу Львову от 20 марта н. ст. 1847 г., посланное из Неаполя. (Чаадаев жил по соседству со Львовым на Новой Басманной и мог познакомиться с письмом у самого адресата.) «Люди, с которыми я нахожусь ныне в сношениях, – писал Гоголь Львову, – уверены не шутя в моем совершенстве. Где же мне было добыть голос осуждения?» [XIII, 264].

Мысль о «совершенстве» имела, по Чаадаеву, и литературные, художественные стимулы. «...Знаете ли, – продолжает он упомянутое письмо к Вяземскому, – откуда взялось у нас на Москве это безусловное поклонение даровитому писателю? Оно произошло от того, что нам понадобился писатель, которого бы мы могли поставить наряду со всеми великанами духа человеческого, с Гомером, Дантом, Шекспиром, и выше всех иных писателей настоящего и прошлого». Это уже прямой намек на Константина Аксакова, провозгласившего в брошюре «Несколько слов о поэме Гоголя: “Похождения Чичикова, или Мертвые души”» (М., 1842), что «только Гомер, Шекспир и Гоголь обладают этою тайною искусства» [Аксаков К., с. 82].

Словом, «недостатки книги Гоголя принадлежат не ему, а тем, которые превозносят его до безумия...» [Чаадаев, с. 458, 457].

Но если говорится о «недостатках», то предполагаются и достоинства. В чем же они состоят?

Прежде всего в искренности тона, в честности позиции. Чаадаев решительно отвергает мысль о близости Гоголя к иезуитам, состоящей в приверженности принципу «цель оправдывает средства» (очевидно, угроза Гоголю со стороны иезуитов ощущалась в русском обществе: напомним еще раз опасения Киреевского, прозвучавшие в 1845 г.: «Страшно, чтобы в Париже не подольстились к нему иезуиты» [Киреевский, с. 402]). «В Гоголе ничего нет подобного, – возражал на это Чаадаев. – Он слишком спесив, слишком бескорыстен, слишком откровенен, откровенен иногда даже до цинизма, одним словом, он слишком неловок, чтобы быть иезуитом». Искренность

Гоголя проявилась и в отношении к друзьям. «Хвалениями их он пресыщался; но к самим этим людям он не питал ни малейшего уважения. Это можете видеть из этой его книги и выражается в его разговоре на каждом слове» [Там же. С. 458, 459].

Чаадаев опять-таки не совсем точен: одно дело Погодин, которому Гоголь в свое время послал довольно едкую дарственную надпись к «Выбранным местам...» (см.: наст. издание, с. 76), и другое дело, скажем, Шевырев, с которым у Николая Васильевича всегда были ровные дружеские отношения. Однако если иметь в виду славянофилов, прежде всего Константина и Ивана Аксаковых, Ивана Киреевского и других, то утверждение Чаадаева справедливо. Справедливо в том смысле, что автор «Переписки» видел недостатки как у «славянистов», так и у «европистов», т. е. западников, хотя и в разной мере: «...правды больше на стороне славянистов и восточников, потому что они все-таки видят весь фасад и, стало быть, все-таки говорят о главном, а не о частях» [VIII, 262]. Возможно, осуждающие «славянистов» слова Чаадаев вычитал не только из книги, но и слышал от самого Гоголя («...выражается в его разговоре на каждом слове»). Во всяком случае, Чаадаеву импонировало гоголевское стремление быть *над* схваткой – позиция, которую сам он выражал с большей последовательностью и решительностью.

Однако в Гоголе это стремление осложнялось грандиозностью задачи, которую он, не без влияния своего окружения, перед собой поставил и которая граничила с мессианизмом. В какое сравнение с этой «задачей» могли идти «ответы» западников или славянофилов! Чаадаев подметил приистекавшую отсюда тяжелую психологическую драму. «От этого родилось в нем какое-то тревожное чувство к самому себе, усиленное сначала болезненным его состоянием, а потом новым направлением, им принятым, быть может, как убежищем от преследующей его грусти, от тяжкого, неисполнимого урока, ему заданного современными причудами».

Относительно «причуд» Чаадаев делает знаменательное уточнение: «Нет сомнения, что если б эти причуды не сбили его с толку, если б он продолжал идти своим путем, то достиг бы чудной высоты...» [Чаадаев, с. 458]. Прежний, «свой» путь – это не путь «писем», это путь художественных текстов, в том числе «Ревизора» и «Мертвых душ». Значит, Чаадаев иначе взглянул теперь на произведения, к которым ранее относился весьма сдержанно.

Между тем против гоголевских писем как жанра Чаадаев ничего не имел. Наоборот: письма свидетельствовали, что Гоголь

может выступать не только как забавляющий публику насмешник, но и как серьезный мыслитель. Пусть это не «философические» письма, как у Чаадаева, но все же логические построения, частично пересекающиеся, частично расходящиеся с его собственными размышлениями. На этих точках пересечения/отталкивания стоит остановиться подробнее.

К 30-м годам XIX в. под влиянием немецкой классической философии, прежде всего Гегеля, в русском общественном сознании сложилось представление о динамике исторического прогресса. Наиболее отчетливо это представление выразил И.В. Киреевский в статье «Девятнадцатый век» (1832):

Каждая эпоха человеческого бытия имеет представителей в тех народах, где образованность процветает полнее других. Но эти народы до тех пор служат представителями своей эпохи, покуда ее господствующий характер совпадает с господствующим характером их просвещения. Когда же просвещение человечества, довершив известный период своего развития, идет далее и, следовательно, изменяет характер свой, тогда и народы, выражающие сей характер своею образованностью, перестают быть представителями всемирной истории. Их место заступают другие, коих особенность всего более согласуется с наступающею эпохою [Киреевский, с. 101–102].

В современных понятиях это напоминает эстафету, когда один участник передает эстафетную палочку другому и сходит с дистанции.

«Народы» или регионы, осуществлявшие до сих пор исторический прогресс, т. е. участвовавшие в эстафете, таковы: Древний Восток, античность (древние греки и римляне), Западная Европа. России в этом ряду пока места не доставалось, остается надеяться на будущее [см. подробнее: Манн, 1998, с. 121 и далее].

Безрадостный взгляд Чаадаева на прошлое и настоящее России близок такому представлению. «Во всяком случае, Чаадаев не смог включить Россию в ту схему провиденциализма, какую навевала история Запада» [Зеньковский, 1991, т. 1, ч. 1, с. 179]. Отсюда следует беспощадный вывод «о вторичности и незначительности судьбы России» [Тарасов, с. 203]. «Опыт времен для нас не существует. Века и поколения протекли для нас бесплодно. Наблюдая нас, можно бы сказать, что здесь сведен на нет всеобщий закон человечества... Мы жили и сейчас еще живем лишь для того,

чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в порядке разумного существования» [Чаадаев, с. 31–32]. Это сказано в первом «Философическом письме», которое мог прочитать Гоголь после публикации в «Телескопе» (1836. № 15).

Кстати, формула так называемой официальной народности, выданная Бенкендорфом как раз по поводу первого «Философического письма» Чаадаева [см. об этом: Велижев, с. 271], тоже по-своему соотносится с историко-философской триадой. «Прошлое России прекрасно; настоящее более чем великолепно; что касается ее будущего, то оно превосходит все то, что самое смелое воображение может изобразить» [Лемке, 1909, с. 411]. Сохраняются три временных стадии (прошлое, настоящее и будущее), но образуемое ими движение вверх наивно-однозначно – от «прекрасного» к «более чем» «великолепному», а затем к такому состоянию, которое и вообразить нельзя. Но так или иначе, Россия снова выпадает из общего хода мировой истории.

Вернемся, однако, к Чаадаеву. В работе, примыкающей к «Философическим письмам», в «Апологии сумасшедшего» (начата в конце 1836 г., опубликована посмертно в 1862 г. на языке оригинала – французском), Чаадаев несколько сместил акцент. С одной стороны, Россия по-прежнему фигурирует как страна «без идеи», в то время «как настоящая история этого народа начнется лишь с того дня, когда он проникнется идеей, которая ему доверена и которую он призван осуществить...». С другой стороны, неучастие России до сих пор в исторической жизни человечества, т. е. отсутствие у нее этой идеи, сообщает ей силы и преимущества, так сказать, неопита. «Несомненно, что большая часть народов носит в своем сердце глубокое чувство завершенной жизни, господствующее над жизнью текущей, упорное воспоминание о протекших днях, наполняющее каждый нынешний день. Оставим их бороться с их неумолимым прошлым» [Чаадаев, с. 148, 154]. У русских такого «чувства завершенной жизни» быть не может, поэтому нет и подобных «воспоминаний», не нужна и борьба с прошлым. «Именно это неучастие, “расстояние” “по отношению к Европе”, ранее расценивавшееся в перспективе “мрачной” дальнейшей судьбы нации, как он теперь полагает, открывает активизировавшемуся русскому уму свободное пространство для объективного, “беспристрастного” взгляда на происходящие на Западе новейшие распри, столкновения “эгоизмов”, мелочных интересов и ограниченных идей» [Гурвич-Лищинер, с. 72]. Кстати, сходную

точку зрения высказал и Шевырев в «Послании к А.С. Пушкину»: мы пришли «последние» и поэтому на спор нового мира с древним «скажем в пре [пря – борьба, состязание, спор] решительный глагол» [Поэты, с. 190].

Несколько смещается у Чаадаева акцент и в оценке Петра I. В «Философических письмах» (где Петр I упоминается один раз) говорится: «Когда-то великий человек вздумал нас цивилизовать и для того, чтобы приохотить к просвещению, кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись». В «Апологии сумасшедшего» масштаб деятельности Петра I не менее значителен: «Своим могучим дуновением он смел все наши учреждения; он вырыл пропасть между нашим прошлым и нашим настоящим и грудой бросил туда все наши предания». Но на этот раз действие не ограничилось внешними формами, «плащом цивилизации», кое-что России перепало и от ее сути: «Таков был урок, который мы должны были усвоить; мы действительно воспользовались им и до сего дня шли по пути, который предначертал нам великий император». В письме к французскому литератору Адольфу де Сиркуру, датированном 1846 г., т. е. хронологически близком появлению гоголевской «Переписки», Чаадаев с еще большим акцентом говорит о подчинении русских влиянию Петра, хотя в этом подчинении есть элемент несамостоятельности: «Эта податливость чужим внушениям, эта готовность подчиняться идеям, навязанным извне, все равно – чужеземными или нашими собственными господами, является, следовательно, существенной чертой нашего нрава... Этого не надо ни стыдиться, ни отрицать...» Надо лишь признать, что «почин в нашем движении все еще принадлежит иноземным идеям и – прибавлю – принадлежит им искони» [Чаадаев, с. 32, 144, 145, 448, 447].

Гоголь тоже воспитывался в атмосфере философского историзма, однако он был менее скован провиденциальной схемой. Показательна его оценка Малороссии: украинское «казачество – народ, составляющий одно из замечательных явлений европейской истории, которое, может быть, одно сдержало это опустошительное развитие двух магометанских народов, грозивших поглотить Европу» («Взгляд на составление Малороссии» [VIII, 46]). Словом, народ, казалось бы, занимавший периферийное место, сыграл всемирно-историческую роль.

Гоголевская оценка роли украинского казачества в защите христианской Европы разительно напоминает слова Пушкина, кстати, сказанные в письме Чаадаеву от 19 октября 1836 г.: «осо-

бое предназначение» России в том, что ее пространства «поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена» [Пушкин, т. 10, с. 866; подлинник на фр. яз.].

Гоголь также полагал, что России уготована историческая роль, хотя был сдержан в ее конкретном определении. Он беспощаден в оценке российской отсталости, непросвещенности, мертвенности: подпись под первым «Философическим письмом» «Некрополис», т. е. «город мертвых», невольно соотносится с многогранной семантикой названия гоголевской поэмы – «Мертвые души» («невелико расстояние от Некрополиса до “Мертвых душ”» [Кантор, с. 195]). Однако в истории страны были величайшие эпохи пробуждения к жизни: Петр I, которого Гоголь почитал, как и Чаадаев, ибо «гражданское строение наше произошло от потрясения, от того богатырского потрясения всего государства, которое произвел царь-преобразователь...» [VIII, 369]; затем всенародное единение в эпоху Отечественной войны 1812 г.; и наконец, предсказание будущего, когда Россия вырвется во главу прогресса («...косясь постараются и дают ей дорогу другие народы и государства»).

Вот с таким-то радужным предсказанием Чаадаев согласиться не мог, ибо «почин» российского прогресса все еще принадлежит Западу. И это относится к социальной структуре общества и, в частности, к соотношению церкви и государства.

Как и Гоголь, как и многие славянофилы, Чаадаев считал преимуществом то, что Русь приняла христианство «от Византии вместе с полнотою догмы и ее первоначальной чистотой». «Эта чистота, без сомнения – неоценимое благо», – замечает Чаадаев в упомянутом письме к Сиркуру. Однако на Западе религиозное начало свободно, у нас же подчинено «политической власти». «Неудивительно, что мы шли от отречения к отречению... Довольно указать вам на колоссальный факт постепенного закрепощения нашего крестьянства, представляющий собою не что иное, как строго логическое следствие нашей истории. Рабство всюду имело один источник: завоевание. У нас не было ничего подобного. В один прекрасный день одна часть народа очутилась в рабстве у другой». Славянофилы из факта отсутствия завоевания иноплеменными пришельцами выводили мысль об органическом единстве крестьянского мира в России, воплощаемом в господстве истинного, а не формального права, в добровольном примирении индиви-



дуальных стремлений в коллективной воле общины, мира. Для Чаадаева же отсутствие завоевания – отягчающее обстоятельство: сам народ, без воздействия внешней враждебной силы, допустил порабощение, и произошло это при активном содействии не только светской, но и церковной власти. «Заметьте, что это вопиющее дело завершилось как раз в эпоху наибольшего могущества церкви, в тот памятный период патриаршества, когда глава церкви одну минуту делил престол с государем» [Чаадаев, с. 450–452]. Чаадаев отмечает «социальную пассивность православной церкви, которая «не возвысила материнского голоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой» [Тарасов, с. 250]. Можно сказать и резче: не только «пассивность», но и конформизм по отношению к монаршей, государственной воле.

Это значит, что для Чаадаева неприемлема и современная структура русского общества, в которой крепостное право – неотъемлемое и, увы, в европейском контексте давно уже архаичное начало. Гоголь же, как мы уже отмечали, мыслит развитие и совершенствование российского общества в рамках существующего социального устройства. Вопрос о ликвидации крепостного права, остро ощущаемый и многими славянофилами, и даже крупными государственными чиновниками, и самим императором Николаем I, перед писателем не возникает. Если славянофилы, в частности И. Киреевский, призывали с опаской и осторожностью решать «крестьянский вопрос», то потому, что опасались другой не менее страшной кабалы для мужика – со стороны чиновников и всех власть имущих. Освобождение без гарантий справедливой законности – путь к катастрофе [Мюллер, с. 475–477]. Гоголь о такой опасности не говорит, хотя судьба крестьян ему тоже небезразлична. Но главное, что нужно сделать – укрепить «прежние узы, связывавшие помещика с крестьянами». «Русской помещик» (как гласит одноименная статья в «Выбранных местах...») – это строгий отец и обладатель ответственной должности, или поприща, ничуть не менее важного, чем другие звания в государстве (см. об этом: наст. издание, с. 41): «Что ни говори, но поставить 800 подданных, которые все, как один, и могут быть примером для окружающих своей истинно примерною жизнью, – это дело не бездельное и служба истинно законная и великая» [VIII, 328]. Подобные поучения могли показаться Чаадаеву неуместными и отдающими тем мессианизмом, который усилился в Гоголе под влиянием его окружения. Ведь для Чаадаева источник бед России – ее отстра-

ненность (Absichtsstehen) от Запада, следовательно, разрешение проблемы – «в воссоединении с Западом» [Амберг, 1986, с. 140].

Большая часть письма Чаадаева Вяземскому (письма, из которого мы выше приводили цитаты) написана еще до получения статьи последнего «Языков и Гоголь» [Санкт-Петербургские ведомости. 1847. № 90–91, 24–25 апреля]. Прочитав эту статью, Чаадаев еще с большей страстностью выступил на защиту Гоголя: «Ему как будто не могут простить, что, веселивши нас столько времени своею умною шуткою, ему раз вздумалось поговорить с нами не смеясь...» Задним числом Чаадаев вновь отменяет свою недооценку комической манеры Гоголя: шутка его и «умная», и приводила она читателей к веселью неслучайно.

В своей статье Вяземский восторженно отзывается о художественно-ораторских достоинствах «Выбранных мест...». «Многие страницы в сей книге исполнены воодушевления и красноречия, как, например, в письме “Женщина в свете” Письма “О нашей церкви и духовенстве”, “О лиризме наших поэтов”, “Христианин идет вперед”, “Светлое воскресение”, некоторые из литературных портретов его и оценок и многие другие места, здесь и там разбросанные в книге, могут стать наряду с лучшими образцами нашей прозы» [Вяземский, с. 182]. Чаадаев не смог бы согласиться с гоголевской оценкой русской церкви и ее положения в обществе; поэтому он начал с оговорки, но в целом поддержал восторженный тон рассуждений Вяземского: «...при некоторых страницах слабых, а иных и даже грешных, в книге его находятся страницы красоты изумительной, полные правды беспредельной, страницы такие, что, читая их, радуешься и гордишься, что говоришь на том языке, на котором такие вещи говорятся».

«На меня находит невыразимая грусть, – продолжает Чаадаев, – когда вижу всю эту злобу, возникшую на любимого писателя, доставившего нам столько слезных радостей...» «Слезные радости» – это уже напоминает гоголевское «Сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы».

Заметно и сходство в эстетических суждениях. «Так, и Чаадаев, и Гоголь почти одинаковыми словами передают свое впечатление от простоты пушкинской прозы. Сравнительно с «Капитанской дочкой, – замечает последний, – все наши романы и повести кажутся приторной размазней. Чистота и безыскусственность взошли в ней на такую высокую степень, что сама действительность кажется перед нею искусственной и карикатурной»

[Тарасов, с. 403; приводится цитата из вошедшей в «Выбранные места...» статьи «В чем же, наконец, существо русской поэзии...»].

Но Чаадаев по-прежнему против навязанного Гоголю «несродного ему патриотизма», против «высокомерного тона этих писем»; он сожалеет, что Вяземский всего этого не отметил. «...Наш милый Гоголь, тот самый, который так резко нам высказал нашу грешную сторону, этому влиянию подчинился...» [Чаадаев, с. 460]. «Милый Гоголь...» Тут звучит личная, нежная интонация.

Эта интонация – и в его более позднем (от 10 мая) письме Ф.И. Тютчеву, содержащем похвалу статье Вяземского: «...я нахожу ее отличной в противность мнению почти всей нашей литературной братья, озлобление которой против этого несчастного гениального человека не поддается описанию» [Чаадаев, с. 460, 461]. Тут положение Гоголя видится Чаадаеву сквозь личную ситуацию, пережитую им десятью с лишним годами ранее, когда было опубликовано первое «Философическое письмо», вызвавшее всеобщее непонимание и «озлобление».

## Последний вояж в Центральную Европу

Гоголь ничего не знал об обмене письмами между Вяземским и Чаадаевым по поводу «Выбранных мест...» – он проживал в это время в Неаполе и готовился к дальнему путешествию.

Гоголь выехал из Неаполя дилижансом 11 мая н. ст. 1847 г. План его таков: «май в дороге; июнь во Франкфурте или в окрестности его, на водах, словом – где будет Жуковский; конец июля, август или сентябрь (половина, если не весь) в Остенде. А потом опять в Неаполь, дабы отсюда уже в Иерусалим» [XIII, 309–310]. Так оно в общем и получилось.

На другой день Гоголь был уже в Риме. И потом – привычный маршрут: Флоренция, Генуя, Марсель. Около 27 мая н. ст. прибыл в Париж, где состоялась наконец новая давно желанная встреча с А.П. Толстым – он жил по-прежнему в гостинице Westminster на Rue de la Paix. Виделся Гоголь и с Михаилом Сергеевичем Скуридиным (1795–1872), отставным майором, возможно, знакомым ему еще по Петербургу, и с братьями Мухановыми, с которыми прошлым летом познакомился в Остенде.

Время и обстоятельства пребывания Гоголя в Париже выясняются из письма В.А. Муханова от 28 мая (9 июня) к сестрам: «Отсюда в воскресенье [т. е. 5 июня н. ст.] уехал Гоголь, который провел здесь неделю в одной гостинице с нами. Мы почти каждый день обедали с ним у Толстых, здоровье его совершенно поправилось; он все время был разговорчив и бодр, одним словом – другой человек, а не тот, которого мы встретили прошлым летом в Остенде». Тут же Муханов поясняет, что Гоголь после критики «Выбранных мест...» «не только вовсе не раздражен, но, напротив, покойнее и светлее духом прежнего» [Миловский, с. 11–12].

Впечатления Муханова подтверждаются собственными словами Гоголя. «Будьте покойны насчет меня относительно моей книги. Я совершенно тверд» (Смирновой-Россет, 20 мая н. ст. [XIII, 312]). «Я сам тоже спокоен. Путь мой, слава Богу, тверд... Дорога моя все одна и та же» (П.А. Плетневу, 10 июня н. ст. [XIII, 319]). «Я разъял себя анатомически, рассмотрел себя строго и расспросил себя еще раз, поставляя себя мысленно как бы пред суд самого того, кто будет судить меня...» (С.П. Шевыреву, 25 мая н. ст. [XIII, 315]). «Я сам пришел в положение человека, могущего о себе слышать все хладнокровно» (Смирновой-Россет, 20 июня н. ст. [Там же. С. 329]). Так, совершенно «хладнокровно» прочитал он статьи Аполлона Григорьева и Н.Ф. Павлова, опубликованные соответственно в газетах «Московский городской листок» и «Московские ведомости». Гоголь получил их от Шевырева буквально перед отъездом из Неаполя.

В одной статье – Аполлона Григорьева – гоголевская книга была взята под защиту, в другой – Николая Павлова – подверглась уничтожающей критике. Но Гоголь не пришел в восхищение от первой статьи и не вознегодовал на вторую. «Статья Григорьева, довольно молодая, говорит больше в пользу критика, чем моей книги. Он, без сомнения, юноша очень благородной души и прекрасных стремлений. Временный гегелизм пройдет, и он станет ближе к тому источнику, откуда черплется истина. Статья Павлова говорит тоже в пользу Павлова и вместе с тем в пользу моей книги» [XIII, 314–315]. Словом, часть правды у защитника книги, часть – у ее хулителя, часть – у самого автора, а полная истина только у Бога.

Похоже, Гоголь выдержал удары и обрел душевное равновесие, – но надолго ли?..

Около 10 июня н. ст. Гоголь – во Франкфурте-на-Майне, у Жуковского. В доме Василия Андреевича беспокойно: болеет

жена, нужно везти ее на лечение в Швейцарию, и по этой причине отменяется празднование предстоящего юбилея – 50-летия литературной деятельности поэта. Но у Гоголя свои понятия о юбилеях: «следует помышлять о юбилее небесном», а не земном, и блажен тот, кто готов «к переселенью», т. е. «купил себе уже имение в другой губернии, отправил туды все свои пожитки и сундуки и сам остался налегке, готовый пуститься вслед за ними. Его не в силах смутить тогда никакая земная скорбь и огорченья от всякого мелкого дрязга жизни» [XIII, 319].

Разумеется, Гоголь говорит прежде всего о себе. «Я, слава Богу, покоен довольно и, мне кажется, даже здоровьем несколько лучше» [XIII, 335], – сообщает он из Франкфурта А.М. Виельгорской 8 июля н. ст. Эти слова находят подтверждение со стороны Жуковского, писавшего 15 июля н. ст. Смирновой-Россет: «Наш Гоголь теперь во Франкфурте; он пополнел, поздоровел, но вместо жаркой Палестины едет к южным берегам Северного моря, в котором надеется утопить последний остаток своего нервического недуга» [Смирнова, 1929, с. 351].

Но еще до желанного длительного пребывания у Северного моря Гоголь предпринял краткосрочную поездку в Гомбург вместе с братьями Мухановыми; об этом мы узнаем из письма В. Муханова к сестрам, из Бадена, 1 июля (20 июня): «...провели день с Гоголем, который ездил вместе с нами в Гомбург... Много говорили с ним о последней его книге... Ему многие ставят в вину, что... он вздумал быть всеобщим наставником. Между тем ему никогда подобная мысль не приходила в голову... Он издал свою переписку, чтобы вызвать толки и прения. Цель его достигнута. Он получил множество писем с замечаниями на книгу» [Миловский, с. 13]. Нетрудно увидеть, что Муханов воспроизводит версию, которую в это время усиленно развивает сам Гоголь – о провокативной и вспомогательной (по отношению к «Мертвым душам») роли «Выбранных мест...».

Во Франкфурте Гоголь работает над сочинением, получившим впоследствии редакторское название «Авторская исповедь», задумана она была еще в Неаполе «как необходимое объяснение на мою книгу» [XIII, 304], т. е. на «Выбранные места...». Теперь чуть ли не основной целью «исповеди» становится опровержение «утвердившегося, неизвестно почему, мнения», будто он, Гоголь, «возгнушался искусством, почел его низким, бесполезным и тому подобное» [XIII, 320]. Наоборот, он видит свою силу именно в художественном творчестве, а слабость – в попытке заменить его

проповедью и рассуждениями. Или, как сказано в «Авторской исповеди»: «Из боязни, что мне не удастся окончить того сочинения, которым занята была постоянно мысль моя в течение десяти лет, я имел неосторожность заговорить вперед кое-о-чем из того, что должно было мне доказать в лице выведенных героев повествовательного сочинения» [VIII, 434].

Многосторонность, объективность, уравновешенность – любимые категории Гоголя: «...Бог есть середина всего» [XIII, 335]. И еще снисходительность, – показательна его реакция на статью Вяземского «Языков – Гоголь», в которой критикам «Выбранных мест...» был адресован упрек: «Русский человек даже и обидевшему его говорит: Бог простит! а Гоголь только тем перед вами и виноват, что вы не так мыслите, как он» [Санкт-Петербургские ведомости. 1847. № 91. С. 422]. Вяземский защищает Гоголя от его «нападателей», Гоголь защищает «нападателей» от Вяземского. «Бог знает, – пишет он Вяземскому из Франкфурта 11 июня н. ст., – может быть, в существе многие из них добрые люди и влекутся даже некоторым, хотя отдаленным, желанием добра... Бог знает, может быть, и нам будет сделан упрек в гордости за то, что мы несколько жестоко оттолкнули их...» [XIII, 321]. Гоголь прежде всего подразумевает Белинского, чью статью о «Выбранных местах...», опубликованную во втором номере «Современника», он прочитал в те же дни.

К опасениям показаться несправедливым прибавилась еще боязнь показаться неблагодарным, «потому, что, как бы то ни было, человек этот [Белинский] говорил обо мне с участием в продолжение десяти лет». И не только с участием! «Человек этот, несмотря на излишества и увлечения, указал справедливо, однако ж, на многие такие черты в моих сочинениях, которых не заметили другие, считавшие себя на высшей точке разумения перед ним». Гоголь явно имел в виду людей из своего окружения, из славянофильского круга; сказать подобное кому-нибудь из них он бы не решился, но цитируемое письмо (от 20 июня н. ст.) адресовано Прокоповичу, человеку, далекому от этого круга и находившемуся в хороших отношениях с Белинским, и Гоголь может позволить себе быть откровенным. «И я заплатил бы этому человеку неблагодарностью, когда я умею отдавать справедливость даже тем, которые выставляют на вид и отыскивают во мне одни недостатки» [XIII, 324].

Одновременно Гоголь посылает Прокоповичу письмо и для Белинского. В этом письме снова – и опасения показаться неспра-

ведливым и неблагодарным, и стремление быть объективным к своим оппонентам, но в то же время и огромная внутренняя боль от необъективности и несправедливости к нему самому, причем не со стороны одного лица, а большинства, чуть ли не всех. Гоголь хотел поставить себя вне «партий», вне славянофилов или западников, а получил удары ото всех. «Как это вышло, что на меня рассердились все до единого в России, этого я покуда еще не могу сам понять. Восточные, западные и нейтральные – все огорчились. Это правда, я имел в виду небольшой щелчок каждому из них, считая это нужным, испытавши надобность его на собственной своей коже (всем нам нужно побольше смирения), но я не думал, чтоб щелчок мой вышел так грубо-неловок и так оскорбителен. Я думал, что мне великодушно простят и что в книге моей зародыш примирения всеобщего, а не раздора» [XIII, с. 326]. Во имя этого примирения Гоголь и Белинскому говорит, что тот взглянул на книгу «глазами рассерженного человека». Автор «Выбранных мест...» и не догадывался, какую бурю вызовет этот упрек спустя несколько недель, когда он будет уже в Остенде...

В первых числах июля до Гоголя дошел и отзыв Иннокентия, сообщенный ему Погодиным. Этим отзывом продолжилась критика «Выбранных мест...» со стороны духовных лиц – отца Матвея и архимандрита Игнатия: с их письмами Гоголь познакомился еще в Неаполе.

В глазах Гоголя глава Харьковской епархии архиепископ Иннокентий (впоследствии глава Херсонской епархии) был одним из самых уважаемых богословов и церковных деятелей; именно у него в последний свой приезд в Москву, пять лет назад, писатель принял благословение на путешествие в Святую землю (см.: кн. 2, с. 332), и свою книгу – «Выбранные места...» – Гоголь распорядился послать ему сразу же по ее выходе.

Надо сказать, что в целом отношение архиепископа Иннокентия к Гоголю оставалось благожелательным. Но один существенный недостаток, выражаемый оригинальным словом «парадирование», Иннокентий у Гоголя отметил (эти слова уже приводились выше): «... прошу его не парадировать набожностью: она любит внутреннюю клеть. Впрочем, это не то, чтобы он молчал. Голос его нужен для молодежи – особенно, но если он будет неумерен, то она поднимет его на смех, и плода не будет» [Барсуков, т. 8, с. 562]. Вот этот-то упрек в аффектации, а следовательно, в гордости и неискренности, которые вызовут насмешки, этот упрек оказался для Гоголя довольно чувствительным.

Защищался он так же, как перед этим от обвинений Матвея Константиновского, – указанием на свои «добрые» намерения и неудачное исполнение. «Парадировать набожностью я тоже не хотел... Уверяю вас, что многое из того, что кажется высокомернейшей гордостью, есть просто ребячество и незрелость юности... Во всяком случае это для меня урок. Я дал себе слово остановиться писать, видя, что нет на это воли Божией. <...> Словом, нужно мне в это время притихнуть, исполнять просто какую-нибудь должность, самую незаметную, не видную...» [XIII, 343–344]. Отречение от писательства выражено на этот раз определеннее и категоричнее; до сих пор у Гоголя всегда прочитывалась мысль об отречении на время, на какой-то срок, теперь этот срок никак не ограничен. И тем не менее действительно ли это твердое решение? Непонятным уже представляется гоголевское намерение вместо писательства исполнять какую-то «не видную» должность... Какую именно?

Во всяком случае, очевидно, что для Гоголя вновь наступили тяжелые дни. 10 июля, примерно в то же время, что и архиепископу Иннокентию, Гоголь пишет С.Т. Аксакову: «Ради самого Христа, прошу вас теперь уже не из дружбы, но из милосердия ... взойти в мое положение, потому что душа моя изныла, как ни креплюсь и ни стараюсь быть хладнокровным... Друг мой! я изнемог...»

Еще совсем недавно Гоголь уверял, что он спокоен и тверд, что все главные тревожения позади – и вот вновь приступ душевной муки, вопль страданий... И вновь звучит мысль об отречении «надолго», если не навсегда: «Друг мой, тяжело очутиться в этом вихре недоразумений! Вижу, что мне нужно надолго отказаться от пера во всех отношениях и от всего удалиться» [XIII, 347, 348]. «Во всех отношениях» – значит и от публицистики, и от попыток объясниться в личном общении, в письмах, но в то же время и от художественного творчества.

Но колебания гоголевского настроения поразительны! Одновременно с этим решением, в тот же самый день (10 июля н. ст.) он осведомляется у Плетнева, куда послать ему «Авторскую исповедь», которую следует напечатать «в виде отдельной небольшой книжки», – а ведь в этом произведении, мы помним, Гоголь проводил мысль о последовательности своего развития и верности писательскому поприщу.

В это же время продолжились объяснения Гоголя с Щепкиным по поводу «Развязки Ревизора», эти объяснения начались годом раньше, когда писатель словно стремился смягчить учитель-



ный пафос этого произведения. Тогда Гоголь ставил своею целью избежать карикатуры, «личностей» в трактовке и исполнении «Развязки Ревизора»; теперь – ограничить «Развязку Ревизора» от самого «Ревизора».

«...Прочтя ваше окончание “Ревизора”, – пишет М.С. Щепкин Гоголю 22 мая, – я бесился на самого себя, на свой близорукий взгляд, потому что до сих пор я изучал всех героев “Ревизора”, как живых людей... Не давайте мне никаких намеков, что это-де не чиновники, а наши страсти; нет, я не хочу этой переделки: это люди, настоящие живые люди... После меня переделывайте хотя в козлов, а до тех пор я не уступлю вам даже Держиморды, потому что и он мне дорог» [Переписка, т. 1, с. 468–469]. На это Гоголь отвечает (около 10 июля н. ст.): «У меня не то в виду. “Ревизор” – “Ревизором”, а примененье к самому себе есть непременно вещь, которую должен сделать всяк зритель изо всего, даже и не “Ревизора”, но которое приличней ему сделать <по> поводу “Ревизора”» [XIII, 348]. Словом, делать выводы – прерогатива зрителя, а сам по себе текст произведения все-таки суверенен и неизменен. «Теперь осталось все при своем. И овцы целы и волки сыты. Аллегорья аллегор<ией>, а “Ревизор” – “Ревизором”» [Там же].

И тут же Гоголь дает Щепкину замечательный урок эстетической нюансировки текста на примере роли Городничего, которую исполняет Щепкин: «Начало первого акта несколько у вас холодно. Не позабудьте также: у городничего есть некоторое ироническое выражение в минуты самой досады, как, например, в словах: “Так уж, видно, нужно. До сих пор подбирались к другим городам; теперь пришла очередь и к нашему”. Во втором акте, в разговоре с Хлестаковым, следует гораздо больше игры в лице. Тут есть совершенно различные выраженья сарказма» [XIII, 349].

Последние дни июля – Гоголь готовится к отъезду из Франкfurта; путь его лежал через Эмс в Остенде.

В 20-х числах во Франкфурт, по дороге в Эмс, заглянул А.С. Хомяков с женою. «Здесь мы нашли Жуковского, который также будет с семьей в Эмсе, – сообщает Хомякова П.М. Бестужевой, – а теперь у нас сидит Гоголь» [ЛН. Т. 58. С. 703]. Гоголь давно питал симпатию к Хомяковым, особенно к Екатерине Михайловне, сестре Н.М. Языкова. Теперь, после смерти поэта, она стала для Гоголя особенно близка.

По всей вероятности, виделся Гоголь и с Андреем Карамзиным, который вместе с женой, знаменитой красавицей Авророю,

баронессой, урожденной Шернваль фон Валлен, заехал к Жуковскому как раз перед отъездом последнего в Эмс, – об этом Жуковский известил Вяземского 3/15 июля [см.: РА. 1866. С. 1074].

А вот возможная встреча, которая, к сожалению, не осуществилась: прибывший во Франкфурт Ф.И. Тютчев сообщает своей жене Эрнестине Федоровне (письмо от 22 июля н. ст. из Баден-Бадена): «Жуковский и Гоголь, для которых я привез письма и посылки, уехали в самый день моего приезда» [Тютчев, 1980, т. 2, с. 134].

В Эмсе Гоголь провел несколько дней вместе с четой Жуковских и Хомяковых в спокойном душевном расположении, – насколько он вообще мог быть спокоен. «Знаешь ли, с кем я живу под одною кровлею в Эмсе? – писал Жуковский в упомянутом письме к Вяземскому. – С Хомяковым. Он здесь с женою, которая лечит Эмсом свою больную грудь... Хомяков – живая, разнообразная, поэтическая библиотека, добродушный, приятный собеседник... К нам подъехал Гоголь, и мы на досуге триумвиратствуем» [РА. 1866. С. 1074]. Со слов Хомяковой, о пребывании Гоголя в Эмсе пишет и Е.А. Свербеева (17 августа, Шевыреву): «...Гоголь был у Хомяковых в Эмсе, где жил с своей семьей и Жуковский. Гоголь, пишет Катерина Михайловна, похудел, но здоров» [ЛН. Т. 58. С. 703]. В свою очередь, Хомяков писал из Эмса 8 июля, характеризуя царившую здесь атмосферу: «...в Эмсе житье мне славное. Место милое. Гоголь погостил четыре дня. Жуковский здесь; пропасть написал и хорошие вещи. Гоголь бодр и хорош; но нисколько нельзя предвидеть, что он будет писать или делать. Сам не знает» [Хомяков, т. 8, с. 464].

Но триумвиратствовать Жуковскому, Гоголю и Хомякову пришлось недолго: 13 июля н. ст. Эмс покинули Хомяковы, уехал в Остенде и Гоголь.

## На берегу Северного моря

Гоголь прибыл в Остенде около середины июля, поселившись по адресу Rue de Carucins, 16; уехал же после 24 сентября. В течение почти двухмесячного пребывания на берегу Северного моря он надеялся окрепнуть и окончательно оправиться от душевных невзгод и потрясений.

Поначалу вышло не так – Гоголь совершенно «расклеился в здорoвьи». Ощущения примерно такие же, какие испытывал несколькими месяцами раньше в Париже; поэтому он счел за лучшее обратиться (через посредство А.П. Толстого) к лечившему его тамошнему доктору Грубби, обстоятельно описав симптомы недомогания: «В месте, где сердце, урчанье и бурлыканье, как в животе; во рту точно как бы подымаются крошки съеденного хлеба, так что нужно беспрестанно глотать, – словом, как бы пища не сварилась. Слабость заметная во всем теле...» и т. д. [XIII, 352]. Доктор Грубби выслал какой-то белый порошок и потребовал более подробных объяснений самочувствия, на что пациент, т. е. Гоголь, ответил запиской из семи пунктов. Так или иначе, но к началу августа «как будто стало несколько лучше», и Гоголь мог внимательнее присмотреться к окружению и к окружающим.

Остенде, портовый и курортный город, был хорошо знаком Гоголю: он бывал здесь уже дважды: летом и ранней осенью 1844 г. и совсем недавно, летом и осенью 1846 г. Помимо лечения, это место привлекало Гоголя тем, что сюда съезжалось много русских; писатель же, после неудачи его последней книги, чувствовал потребность запастись новыми сведениями, особенно от тех, «которые поумнее и могли бы мне сообщить многое интересное». «Прежняя моя дикость исчезла, и мне теперь не трудно разговариваться» [XIII, 270], – уверял Гоголь А.П. Толстого.

На этот раз русских в Остенде было меньше, но среди них находились лица, еще не знакомые Гоголю, например некто Глебов-Стрешнев, по словам писателя, «очень добрый человек» [XIII, 365] – возможно, это Николай Петрович Глебов-Стрешнев, отставной конно-пионер, разбитый параличом [Ден, с. 76]. Он был знаком А.П. Толстому и находился в каких-то родственных отношениях с Виельгорскими.

Впервые, по-видимому, встретился Гоголь и с княгиней Ольгой Карловной Сен-При Долгоруковой (ум. 1851). Она приходилась родственницей А.П. Толстому, но для Гоголя не меньший интерес могло представить то обстоятельство, что муж Ольги Карловны, Василий Андреевич Долгоруков (1804–1868), полковник и флигель-адъютант (впоследствии военный министр и начальник III отделения) был знаком с Пушкиным.

Однако встречи Гоголя с Глебовым-Стрешневым или Сен-При Долгоруковой были мимолетными и случайными. Уклад жизни в Остенде предоставлял возможность ненавязчивого общения, возможность «почти никого не видеть, если захотите»,

чему Гоголь дает объяснение в свойственном ему стиле: «Несмотря на маленькое место, занимаемое городом, люди никак не встречаются и не сталкиваются, именно потому, что по причине морского ветра всяк отворачивает свое лицо и прижмуривает глаза» [XIII, 365].

С тем большим нетерпением ждет Гоголь приезда в Остенде близких людей.

Еще будучи в Неаполе, Гоголь заманивал в Остенде Смирнову-Россет, чтобы потом опять вернуться в Неаполь, а оттуда уже вместе – в Иерусалим. Приглашал в Остенде и Плетнева с перспективой последующего совместного путешествия в Лондон. Ни Смирнова, ни Плетнев в Остенде не приехали, зато ненадолго приехал А.П. Толстой – 24 сентября н. ст. Гоголь сообщил, что виделся с ним один день «во время проезда его в Англию для совещанья с зубными докторами» [XIII, 391].

На более длительное время приехали в Остенде Хомяков и братья Мухановы.

А.С. Хомяков вместе с женою, сыном Дмитрием и дочерью Марией прибыли в Остенде, согласно штампу в заграничном паспорте, 25 июля н. ст. [Хомяков, 1988, с. 430; комментарий Б.Ф. Егорова]. 6 августа н. ст. Гоголь уведомляет А.П. Толстого: «Хомяков приехал... Мухановых и Тютчева еще нет» [XIII, 356; обоснование даты письма – с. 522].

Мухановы прибыли спустя несколько дней; 4 (16) августа В. Муханов сообщал сестрам: «...тотчас по приезде явился к нам Гоголь и виделись мы с Хомяковым. Несколько дней, проведенных с последним, были совершенным праздником. Какое сокровище знаний и остроумие, и вместе какая доброта, какое всегда ровное расположение! Правду говорит Гоголь, что этому человеку не с чем в себе бороться, нечего стараться побеждать в себе» [Миловский, с. 15].

О содержании бесед, которые велись во время встреч с Хомяковым, дает представление фраза из гоголевского письма к А.П. Толстому от 6 августа н. ст.: «О тульском дворянстве говорит он [Хомяков], что тульские помещики сами изъявили желание составить комитет» [XIII, 356]. Гоголь обнаружил интерес к вопросу, которого почти не коснулся в «Выбранных местах...», – об отмене крепостного права и способах подготовки этой реформы. Возможно, это произошло не без влияния Хомякова; ведь Хомяков, в отличие от И.В. Киреевского или К.С. Аксакова, был сторонником скорейшей

отмены крепостного права. «По его словам, безнравственность является главным злом рабства. Рабовладелец всегда отличается большей безнравственностью, чем раб: христианин может быть рабом, но не должен быть рабовладельцем» [Лосский, с. 57].

Конкретно же тульское дело состояло в следующем. Еще в начале 1844 г. группа тульских помещиков (П. Мяснов, В. Муравьев, гр. Н.Н. Татищев и другие) заявили местному губернатору, что каждый из них готов передать в вечную собственность своим крестьянам и дворовым по одной десятине земли на ревизскую душу. За это крестьяне, кроме подушной подати, должны были вносить по три рубля серебром с каждой десятины, и эти деньги пошли бы на погашение скопившейся задолженности помещиков в государственных кредитных учреждениях. «Таким образом, проект, по-видимому, так легко разрешавший крестьянский вопрос, был составлен исключительно в интересах помещиков» [Семевский, с. 241]. Впрочем, идея эта не получила развития – согласно циркулировавшим в обществе слухам, ввиду сопротивления правительства (эту версию разделял и Белинский: «...движение тульского дворянства... было остановлено правительством с высокомерным презрением» [Белинский, т. 12, с. 426]); согласно же объяснению историка крестьянского вопроса, остановлено ввиду того, что не было получено необходимого согласия на это самих крестьян [Семевский, с. 242].

Однако спустя несколько лет тульское дело вновь оказалось в центре внимания: в начале 1847 г. тульский губернатор по повелению самого Николая I запросил инициаторов проекта, продолжают ли они его поддерживать, а в апреле того же года, получив их подтверждение, «объявил ходатайствовавшим о том лицам волю государя, чтобы они ограничились составлением проекта освобождения крестьян в своих собственных имениях» [Там же. С. 243]. Несомненно, именно эта стадия возобновившегося дела оказалась предметом внимания Гоголя.

Другая тема бесед подсказывалась предстоящей поездкой Хомякова в Англию; английская же проблематика, естественно, связывалась с комплексом религиозных идей. В этой области Хомяков имел репутацию глубокого и эрудированного интерпретатора – мнение, которое разделял и Гоголь, познакомившийся с новой его работой «Опыт катихизического изложения учения о церкви» (согласно замечанию издателя сочинений Хомякова, «первоначально автор выдавал свое произведение за найденную где-то древнюю рукопись»).

Как одну из важнейших новостей Гоголь сообщил А.П. Толстому 8 августа н. ст., что Хомяков «привез с собой катихизис [так!], отысканный им на греческом языке в рукописи, и перевод его на русский, тоже в рукописи. Катихизис необыкновенно замечательный. Еще нигде не была доселе так отчетливо и ясно определена церковь, ее границы, ее пределы. Все в таком виде и в такой логической последовательности, что может сильно подействовать на немцев и англичан» [XIII, 359]<sup>20</sup>. Рассуждения Хомякова оказались чрезвычайно близки и гоголевским религиозным «определениям», фиксируя и постоянное, давно сложившееся в них, и новое, только складывающееся.

Исходный тезис Хомякова – «Церковь одна» (именно так озаглавлен его трактат в рукописи).

Церковь называется *единою, святою, соборною* (кафолическою и вселенскою), *апостольскою*; потому что она едина и свята, потому что она принадлежит всему миру, а не какой-нибудь местности; потому что ею светятся все человечество и вся земля, а не один какой-нибудь народ, или одна страна; потому что сущность ее состоит в согласии и в единстве духа и жизни всех ее членов, по всей земле, признающих ее; потому, наконец, что в писании и учении апостольском содержится вся полнота ее веры, ее упования и ее любви [Хомяков, т. 2, с. 5–6; курсив в оригинале].

Все эти рассуждения, включая и формулу «церковь одна», мог бы повторить и Гоголь, – собственно, он и говорил подобное десятилетием ранее, объясняя матери причину, по которой нет оснований «переменять религию» – православную на католическую (см.: кн. 2, с. 180). Но тут же Гоголь добавлял, касаясь соотношения католической и православной конфессий: «И та и другая истинна». «Катихизису» Хомякова, да и теперешним взглядам Гоголя эта мысль уже не вполне соответствует.

Вначале – цитата из «Опыта катихизического изложения...»: «По воле Божией св. Церковь, после отпадения многих расколов и Римского патриаршества, сохранилась в епархиях [так!] и в патриаршествах Греческих, и только те общины могут признать себя вполне Христианскими, которые сохраняют единство с восточными патриаршествами или вступают в их единство» [Хомяков, т. 2, с. 26]. И, по мысли Гоголя, «вполне христианским» осталось только «католичество восточное», т. е. православие. «Западная церковь», говорится в «Выбранных местах...», «сузила взгляд свой на жизнь и мир и не может обхватить их. Полный и

всесторонний взгляд на жизнь остался на ее восточной половине, видимо сбереженной для позднейшего и полнейшего образования человека» [VIII, 285].

К этому присоединяется еще и осуждение Гоголем театральности, аффектированности, нарочитой зрелищности (в чем раньше он находил и положительное начало), осуждение самой манеры поведения: «миссионер католичества западного бьет себя в грудь, размахивает руками и красноречием рыданий и слов исторгает скоро высыхающие слезы. Проповедник же католичества восточного должен выступать так перед народом, чтобы уже от одного его смиренного вида, потухнувших очей и тихого, потрясающего гласа, исходящего из души... все бы... в один голос заговорило бы к нему: Не произноси слов, слышим и без них святую правду твоей церкви!» [Там же. С. 246; см. также: Дмитриева, 2011, с. 299].

И вместе с тем Гоголь сохранил терпимость, сегодня сказали бы – толерантность, по отношению к «западной церкви». Эта терпимость носила прежде всего личный, поведенческий характер. С начала пребывания в Италии (мы помним) Гоголь молился в католических храмах, как в православных, ощущая всю полноту религиозного чувства. Интересно, что такую же полноту переживаний обретает в повести «Рим» возвратившийся на родину главный персонаж, князь: «Он вспомнил, что уже много лет не был в церкви, потерявшей свое чистое высокое значение в тех умных странах, где он был» [III, 231]. «Умные страны» – это прежде всего Франция, и, таким образом, противопоставление истинной веры неверию или индифферентности возникает в пределах католического мира [см.: Амберг, 1986, с. 133–134]<sup>20а</sup>.

Что же касается гоголевской рефлексии на этот счет, то само уподобление им в «Выбранных местах...» западной церкви Марфе, а восточной – Марии говорит о многом: Мария, «отложивши все попеченья о земном», впитывала в себя высшую премудрость; Марфа же, «гостеприимно» хлопотавшая «около людей», передавала им «еще не взвешенные разумом слова господни», – но при этом они оставались сестрами и у каждой была своя «часть», и невольно напрашивалась мысль об их будущем единстве. Все это вновь заставляет провести параллель к Хомякову. «Хомяков рассматривал православие как одну истинную церковь, но ни в коей мере не был фанатиком. Он не понимал *extra ecclesiam nulla salus* (нет спасения вне церкви) в том смысле, что католик, протестант, иудей, буддист и так далее обречен на проклятие» [Лосский, с. 53].

Именно в силу терпимости, тактичности и в конечном счете широты взгляда Хомякова Гоголь ждет успеха от его просветительской деятельности: «Хомяков может, по моему мнению, больше, чем кто-нибудь другой, поговорить с англичанами толково о православии. Он в продолжение последних пяти лет, как мы с ним не видались, имел множество новых диспутов с раскольниками в разных местах и везде славно побеждал, так что имя его пронеслось по Руси» [XIII, 352].

Неудивительно, что о способности Хомякова говорить с оппонентами Гоголь пишет не кому другому, как А.П. Толстому, которого он еще в начале 1845 г., будучи в Париже, просил «не обращать никого в православие» и внимательно выслушивать другую сторону (см.: кн. 2, с. 432). И эпизод двухлетней давности, и теперешнее гоголевское сообщение Толстому находятся в русле той критики односторонности, которая велась в «Выбранных местах...». «Друг мой, – обращался Гоголь к Толстому, – храни вас Бог от односторонности: с нею всюду человек произведет зло... Односторонний человек не может быть истинным христианином: он может быть только фанатиком» [VIII, 277].

Кстати, перспективу плодотворной деятельности Хомякова на британских островах (без уточнения ее характера) отмечал и В. Муханов: Хомяков из Остенде «пустился в Англию, где предстоит обширное поле его любознательности» [Миловский, с. 15].

Семейство Хомяковых отплыло в Англию 12 августа н. ст. на пароходе «Тритон», лучшем «из пароходов, содержащих прямое сообщение Остенде с Лондоном»; «Гоголь нас проводил и пожал нам руку на прощанье» [Хомяков, 1988, с. 168]. А по словам Гоголя (из письма к Л.К. Виельгорской от 14 августа н. ст.), он и сам «чуть было не уехал в Лондон с Хомяковым» и жалеет, «что этого не сделал» [XIII, 364], – так интересовала его в это время Англия и все, что с нею связано...

Хомяков пробыл в Англии около месяца и вернулся в Остенде уже на пути в Россию. «Сейчас только проводил Хомякова, – сообщает Гоголь Шевыреву 8 сентября н. ст. – Как мне приятно было с ним встретиться! Приезд его был точно Божий подарок... Я не успел с ним наговориться и только по отъезде его почувствовал, что о многом не расспросил его» [XIII, 386]. Конечно же, среди тем разговора снова была Англия, теперь уже с опорой на личные впечатления Хомякова. Впрочем, о значении для Гоголя английской темы следует поговорить специально.



## Английские мотивы

Для русских Англия не была в то время таким же местом паломничества, как Франция, немецкие земли или Италия, но интерес к этой стране пробудился давно. Он вырос после публикации в 1816 г. стихотворения К.Н. Батюшкова «Тень друга» («Я берег покидал туманный Альбиона...»). Поэт побывал в Лондоне в 1814 г. и, как он признавался в письме к Д.П. Северину от 19 июня 1814 г., «пожирал глазами Англию и желал запечатлеть в памяти все предметы, меня окружающие» (*Батюшков К.Н. Сочинения: В 3 т. СПб., 1886. Т. 3. С. 274 и далее*).

В Англии побывали и многие из гоголевского окружения. Еще до Хомякова Англию четырежды посещал А.И. Тургенев – в 1826, 1828–1829, 1831 и 1835 гг.<sup>21</sup> Путешествуя по западноевропейским странам в 1838–1839 гг., в Англию заезжал П.А. Вяземский. С 1830 г. в Лондоне жил Ф.И. Иордан, занимаясь гравированием (к 1834 г. он перебрался в Рим). В середине 1843 г. Англию посетил П.В. Анненков, причем о своей поездке он известил Гоголя. «...Возвращаюсь восвояси через Лондон» [Материалы, т. 1, с. 127], – писал он из Парижа 11 мая 1843 г.

Вероятно, в разговорах Гоголя с ними и возникала тема Англии; но не меньшее, если не большее значение для него имел тот образ этой страны, который формировался в русской печати.

У истоков облика Англии в новой русской литературе стоит Н.М. Карамзин с его «Письмами русского путешественника» (1791–1792; полное изд. – 1801). Гоголь, как известно, проявлял постоянный интерес к творчеству Карамзина; скорее всего, он не прошел мимо и соответствующих глав названной книги.

В этих главах был задана преобладающая идея английских описаний и сцен – уравнищенность, срединность, отсутствие резких контрастов и переходов.

Какая розница [так!] с Парижем! Там огромность, здесь простота с удивительною чистотою; там роскошь и бедность в вечной противоположности, здесь единообразие общего достатка; там палаты, из которых ползут бледные люди в раздранных рубищах, здесь из маленьких кирпичных домиков выходят здоровые и довольные, с благородным и спокойным видом – лорд и ремесленник, чисто одетые, почти без всякого различия... [Карамзин, 1984, т. 1, с. 43].

Выбор Франции в качестве антитезы не случаен: на фоне революционных потрясений и резкого слома государственной машины Англия (как казалось Карамзину) открывала перспективу постепенности развития, гармонизации общественных отношений (потом, мы знаем, эта идея найдет отражение в гоголевских «Выбранных местах...») и правовой упорядоченности.

В связи с этим Карамзин не упускает возможности отметить преимущества английской юридической системы, суда присяжных, – обстоятельство, которое затем привлечет к себе внимание других русских путешественников. «...Друзья мои, отдайте пальму английским законодателям, которые умели жестокое правосудие смягчить человеколюбием, не забыли ничего для спасения невинности и не боялись излишних предосторожностей» [Там же. С. 445]. И еще: «В Англии никогда не возьмут в тюрьму человека по вероятности, что он вор; надобно поймать его на деле и представить свидетелей; иначе вам же беда, если приведете его без неоспоримых законных доказательств» [Там же. С. 471]. Тут уже не Франция, а Россия выступала в качестве подразумеваемой антитезы...

Что касается А.И. Тургенева, то ему довелось быть в Англии уже в другую эпоху, когда разразился общественный кризис 1825 г., возникла безработица, проходили выступления рабочих. Но при всем том бросалось в глаза – и было отмечено русским путешественником – относительное равенство сословий и лиц: «Бродил по городу, был в Гайд-парке и видел тысячи прекрасных экипажей и народ – и солнце! <...> Все одеты хорошо, и бедности ни в чем и ни в ком не заметно. Говорят, что император А<лександр> в Лондоне спросил: “Где же народ?” В самом деле его здесь нет, в русском смысле этого слова; но в смысле англинском, он везде – и одно самодержавие мешает видеть его...» [Тургенев, с. 404]. Тут снова Россия выступает в качестве антитезы, но уже не подразумеваемой, а явной.

Англия заняла существенное место и в размышлениях М.М. Сперанского о принципах разделения властей и функционирования самодержавной власти. Реально эта власть кажется абсолютной, но на деле она ограничена или должна быть ограничена традициями, обычаями и т. д. Ссылаясь на Дэвида Юма, Сперанский говорил, что своей прочностью английская конституция обязана традициям и определенному духовному строю английского народа.

Апогей воодушевления, можно сказать, восторга, переживаемого русскими по поводу Англии, – вырвавшаяся у П.А. Вязем-

ского реплика: страна эта, писал он жене весной 1839 г., представляет собою «рай человеческий, рай рукотворный, умотворный, как Италия – рай небесный. Только эти две страны и стоят чего-нибудь, а все прочее хоть потопом залей» [ЛН. Т. 31–32. С. 119].

В стороне от наметившейся тенденции – образ Англии, рисуемый В.Г. Белинским. В этом образе зафиксированы резкие противоречия: «национальный эгоизм» и невольное служение благу всего человечества («...распространяя свои завоевания на всем земном шаре, она по всему лицу его разносит семена европейской цивилизации»); передовые «общественные учреждения» (возможно, Белинский подразумевал парламент и тот же суд присяжных) и приверженность «феодалным формам», «букве закона», «потерявшего смысл и давно замененного другим»; развитие «индивидуальной свободы» и стеснение свободы «общественной»; наконец, «чудовищное богатство» – на одном полюсе и «чудовищная нищета» – на другом. По Белинскому, все эти противоречия не смягчаются, не уравниваются, но, напротив, чреваты непоправимыми коллизиями: «Нигде так не прочны общественные основы, как в Англии, и нигде, как в ней же, не находятся они в такой опасности ежеминутно разрушиться, подобно чересчур крепко натянутым струнам инструмента, ежеминутно готовым лопнуть» [Белинский, т. 5, с. 644, 665].

В чем Белинский совпадал с писавшими об Англии другими русскими, так это в высокой оценке английской литературы и, в связи с этим, характерном перечне имен, – в наше время этот перечень назвали бы «обоймой»: Шекспир, Байрон, Вальтер Скотт; к ним присоединялся еще не названный здесь Диккенс: «Англия – отечество юмора, который теперь более или менее привился ко всем европейским литературам...» [Там же. С. 654]. Далее, как мы увидим, в подобном контексте обычно возникало имя Гоголя...

Точка зрения Белинского не могла быть известна Гоголю (статья, условно названная «Общее значение слова литература», откуда приведены цитаты, была напечатана лишь в 1862 г.). Зато он хорошо был знаком с концепциями славянофилов – И.В. Киреевского и А.С. Хомякова.

Киреевский посвятил положению Англии несколько страниц своего «Обозрения современного состояния литературы» [М. 1845. Ч. 1. № 1–3], встреченного Гоголем с большим интересом [см.: XII, 481–482]. Хотя главная идея рассуждений Киреевского – интеграция Англии в «общеевропейскую образованность» и, следовательно, сглаживание специфических отличий, но он так-

же отмечает гармонизацию общественной и религиозной жизни. Особенно это видно на примере тори, которые перестают быть ортодоксальными консерваторами. «Для пользы аристократии хотят они живого сближения и сочувствия *всех* классов; для пользы церкви англиканской желают ее уравнивания в правах с церковью ирландскою и другими разномыслящими... Одним словом, воззрение этой партии тори очевидно разрушает всю особенность английского торизма...» [Киреевский, с. 184; курсив в оригинале]<sup>22</sup>.

Еще больше внимания современному положению Англии уделил А.С. Хомяков – в «Письме в Петербург» [М. 1845. № 2] и в статье «Мнение иностранцев о России» [Там же. № 4]. Хомяков продолжил линию восхваления Англии (это «величайшая и бесспорно первая во всех отношениях из держав Запада» [Хомяков, 1988, с. 88], но уже с установкой не на антитезу России (как у А.И. Тургенева), а на сходство.

Таков, в частности, его подход к суду присяжных, в свое время обратившему на себя внимание Карамзина. Похвала Хомякова этому институту заострена в славянофильском духе, заострена двояко: во-первых, суд присяжных реализует начало истинной справедливости в противовес господствующей во многих европейских странах справедливости формальной и внешней («...бесконечная разница между большинством – выражением грубо вещественного превосходства, и единодушием – выражением высоконравственного единства...»); во-вторых, само происхождение этого института, правда, в предположительной форме, выводится из славянского мира («...Англия приняла суд присяжных, как известно, от другого (кажется, славянского) начала...» [Там же. С. 80, 81]. В результате в суде присяжных Хомякову видится явление, родственное русской общине, – как известно, краеугольному камню славянофильского учения. Да и не только в суде присяжных отмечает он близкое и родственное, но и во всей внутренней жизни Англии, «у которой есть еще предание, поэзия, святость домашнего быта, теплота сердца» [Там же. С. 88] – все то, что изжито или изживается европейским рационализмом и утилитаризмом и сохранилось в своих основах лишь в России.

Посещение британских островов укрепило Хомякова в этом убеждении, что нашло отражение в его статье «Англия» [М. 1848. № 7]. Так, Лондон напомнил ему Москву своим разумным консерватизмом. «В обеих жизнь историческая еще цела и крепка. «Для обеих еще много впереди». А празднование Воскресения в

Лондоне? «...Два миллиона людей самых промышленных, самых деятельных в целом свете остановили свои занятия, перервали свои забавы, и все это из покорности одной высокой мысли». И вновь вспомнилось свое, родное: «Разве первый день пасхи в России не соблюдается так же строго, как воскресенье в Англии?» [Хомяков, 1988, с. 170, 171]. Все это перекликается с безусловно известными Хомякову гоголевскими рассуждениями (в «Выбранных местах...») о значении для русского человека праздника Пасхи: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспряднуется Светлое Воскресенье Христово!» [VIII, 418].

Все же рисуемая Хомяковым картина Англии не лишена оттенка пессимизма, обусловленного изменениями религиозной жизни. Племена, населявшие Британские острова, приняли христианство «в его полной чистоте и содержали его с ревностью и любовью» – этим они напоминают Россию; но затем проявилось влияние «римского католицизма», который, в свою очередь, вызвал к жизни протестантство с его скептицизмом и отвержением авторитетов. Одновременно нарушается и равновесие между «торизмом» и «вигизмом», консервативными и либеральными элементами. Словом, говорит Хомяков, «я взшел на английский берег с веселым изумлением, я оставил его с грустной любовью» [Хомяков, 1988, с. 195]. Но есть и утешение, питаемое надеждой на возрождение плодотворных начал, и еще более – ощущением преемственности России по отношению к Англии: тут Хомяков вспоминает и «дух единомыслия», обнаруживаемый русскими в годину бедствий, и «домашнюю святыню семьи», и высоту православия, и, конечно, общину – «деревенский мир с его единодушною сходкою, с его судом по обычаю, совести и правде [внутренней]» [Там же. С. 194; ср. также: Лосский, с. 58–59].

В письме же к Ганке, отправленном из Берлина в 1847 г. после посещения Англии, Хомяков делится впечатлениями об англичанах на фоне впечатлений о немцах и французах. И немцы, и французы интересуются бытом русских крестьян – «общину славянскую изучают и пишут об ней... с завистью; но зависть не любовь. Другое сочувствие, глубокое и сильное, нашел я в Англии не к нам, но к нашей церкви. Трудно поверить, как часто и с каким жаром выражается у них любовь или, лучше сказать, жажда церковного единства» [Хомяков, т. 8, с. 466].

Все сказанное объясняет мотивы интереса к Англии со стороны Гоголя и восстанавливает контекст его суждений.

Еще в статье «О сословиях в государстве», примыкающей к «Выбранным местам...», Гоголь, говоря о подотчетности полиции гражданам, приводил в пример Англию: «Лучшая полиция, по признанию всех, в Англии и то потому, что этим занимается город, выбирая для этого чиновника и платя ему жалованье от себя. Правитель города должен требовать от магистрата, чтобы сделано было так же точно; а магистрат уже сам размыслит, как это сделать так, чтобы тягость упала на все сословие» [VIII, 494]. А затем, уже в письмах из Остенде (от 7 и 20 сентября н. ст.), Гоголь коснулся общей роли Англии в истории и в современном мире.

Адресат и одновременно оппонент Гоголя – П.В. Анненков. Гоголю по прежней беседе с ним в Париже в мае предыдущего года было известно, что тот считает источником прогресса Францию, противопоставляя ей Англию. Тогда Гоголь уклонился от спора, теперь же смолчать по поводу столь жизненно важной темы просто не смог. Отмечая «неполноту» и «упущенья» во взглядах Анненкова, Гоголь указал и на причину: «...Вы сделали представителями всего для себя Париж и оставили совершенно в стороне Англию, где важная сторона современного дела. По моему разумению, вам почти необходимо туда съездить, и не то чтобы взглянуть только на Лондон, но именно прожить в Англии, затем избрать в предмет наблюдений не один какой-нибудь класс *пролетариев*, изученье которого стало теперь модным, но взглянуть на все классы, не выключая никого из них. Несмотря на чудовищное совмещение многих крайностей... местами является такое разумное слитие того, что доставила человеку высшая *гражданственность*, с тем, что составляет первообразную *патриархальность*...» [XIII, 384; курсив в оригинале].

Гоголь, конечно, помнил, что Анненков был в Англии, но, с его точки зрения, был, что называется, наездом, не вникнув в жизнь страны и народа: отсюда гоголевский совет «именно прожить в Англии». Вместе с тем впечатления, оставшиеся у Анненкова от его поездки, не являлись столь уж одноцветными и поверхностными: он, например, отмечал и социальные контрасты («...нищенство и нищета страшные»), и развитие промышленности («...все предприятия – гиганты»), и ухоженность, красоту, удобство («Просто всю Англию обратили в сад и сделали из нее изумрудный остров...») [Анненков, 1983, II, с. 450, 449]<sup>23</sup>. Но, по-видимому, в общении с Гоголем Анненков сделал акцент на сравнительном значении Англии и вывел заключение в пользу Франции, что и вызвало возражения Николая Васильевича.

Эти возражения целиком находятся в русле отмеченного выше понимания Англии, полнее всего сформулированного Хомяковым, – тут и примирение крайностей, и соединение («слитие») традиционного с современными гражданскими установлениями (не исключено, что подразумевается тот же суд присяжных) – словом все то, что помогает не впасть в односторонность и обуславливает естественность и органичность развития. И гоголевский совет Анненкову съездить в Англию дан не без влияния только что совершенного и, по мнению Гоголя, плодотворного английского путешествия Хомякова и в свете собственных аналогичных, пусть и несбывшихся, планов.

Знаменателен и гоголевский совет Анненкову – не замыкаться на изучении одного класса «пролетариев». Эту тему Гоголь поднимал в разговоре с Анненковым еще годом раньше в Бамберге, говоря о своеобразии русского мира и об отличии русского крестьянина от западного пролетария. Теперь появились новые обстоятельства, обострившие интерес к этому вопросу – среди них прежде всего публикация в «Отечественных записках» за 1847 г. (№ 1–4) цикла статей В.А. Милютин «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции». Эти статьи молодого талантливом экономиста обратили на себя широкое внимание; по крайней мере с двумя из них к этому времени мог познакомиться и Гоголь (24 апреля н. ст. 1847 г. он сообщал А.О. Россету, что получил два номера «Отечественных записок», в которых были опубликованы первая и вторая статьи [XIII, 289]).

Милютин писал о конфликте интересов в западноевропейских странах, в частности в Англии: «Интересы капиталистов не только не тождественны с интересами работников, но даже противоположны им», – и поэтому внешнее впечатление у наблюдателя обманчиво: «...богатство, благосостояние и блеск... составляют одну только светлую и блестящую сторону современного быта, за которою кроется другая сторона – горестная, мрачная и безотрадная». «...Кроется язва нищеты и страданий, язва страшная и глубокая». «...Эта нищета и эти страдания постоянно тяготят над рабочими классами... Никакая предусмотрительность, никакая деятельность, никакие добродетели не могут спасти их от этого рокового и неотвратимого жребия!» Картины, нарисованные Милютиным, произвели сильное впечатление на русское общество и, в частности, подготовили мнение Белинского, которое оформилось у него во время заграничного путешествия. «Что за нищета в

Германии... – напишет он из Дрездена 7/19 июля 1847 г., – только здесь я понял ужасное значение слов *навперизм* и *пролетариат*...» [Белинский, т. XII, с. 383; курсив в оригинале].

Надо сказать, что оценки Милютина современного развития капиталистической Англии (как и Франции) не были однозначно негативными и пессимистическими. Он, например, с похвалой отмечал, что англичане сами не скрывают своих пороков и анализируют их («Нет! не гниют те общества, которые рождают из себя беспрестанно и последовательно новые элементы жизни... Гнил только тот, кто вовсе не примечает своей гнилости»). Милютин вовсе не отвергал технический прогресс, считая, что зло происходит не от машин, а от отношения «работника и капиталиста», отношения, которое должно «основываться на началах взаимной доверенности, тесной связи и справедливости». В этом пункте Милютин был близок Гоголю, говорившему о сотрудничестве и «слитии» разных сил. Однако Гоголь не принимал чрезмерного сосредоточения внимания на «пролетариате», причем, возможно, этот акцент исходил именно от Анненкова.

Что отвечал Анненков, видно из второго к нему гоголевского письма (от 20 сентября н. ст.): Анненков упорствовал, повторяя, что в Англии «нет никакой замечательной борьбы и движения, могущих занять человека, наблюдающего успехи строящейся ныне *общественности*» [XIII, 388; курсив в оригинале]. Поэтому Гоголь вновь призывает своего оппонента к многосторонности знания, к осторожности выводов.

Иногда, даже вовсе не имея самоуверенности в познаниях наших, мы выражаемся так, как бы были совершенно уверены в том, что знаем окончательно вещь. В Соединенных Штатах действительно вырабатывается теперь видней общественное дело, а потому не мудрено, что глаза наблюдающего большинства обращены теперь туды. Но и земля, в которой заключилось в громадных глыбах то, что уже уничтожено в других землях, и то, что еще и не начиналось в Европе, земля, которая, несмотря на дикие крайности, вырабатывает, однако ж, безостановочно Байронов и Диккенсов, не может дремать в такое время, когда раздаются вопросы, так важные для человечества... [XIII, с. 388–389].

Различия в направлении мыслей спорящих об Англии очевидны. Анненков говорит о застое, об отсталости, о непримиримых крайностях. Гоголь: «...несмотря на чудовищное совмещение многих крайностей...» и т. д. Акцент перемещен Гоголем в перспективу



будущего – на преодоление противоречий и гармонизацию общественных отношений.

В гоголевском ответе Анненкову все значительно, начиная с упоминания Соединенных Штатов. Страну эту в качестве положительного примера (в противоположность Англии) назвал, очевидно, Анненков. Гоголь прислушался к своему оппоненту, тем самым внося коррективы и в свои собственные суждения, ведь совсем недавно в «Выбранных местах...» было сказано, что Соединенные Штаты – «мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит» [VIII, 253]. Ан нет, оказывается, «не выветрился», оказывается, и в этой стране заметен прогресс, вырабатывается «общественное дело». Так Гоголь на практике реализует свой принцип: «правду... усмотреть может только всесторонний и *полный* гений...» [XIII, 383; курсив в оригинале].

Вообще даже частные и, казалось бы, случайные упоминания, содержащиеся в гоголевских письмах Анненкову, находятся в силовом поле идеи «всесторонности», т. е. расшифровываются как аргументы в пользу этой идеи. Он, например, пишет о находившемся в это время в Париже вместе с Анненковым А.И. Герцене: «Я слышал о нем много хорошего. О нем люди *всех партий* отзываются как о благороднейшем человеке. Это лучшая репутация в наше время [первоначально было: «время смут и недоразумений»]. Когда буду в Москве, познакомлюсь с ним непременно» [XIII, 385; курсив в оригинале]. Гоголь проявляет интерес к типичному западнику, человеку радикальных убеждений и фактически (с января 1847 г.) политическому эмигранту.

В том же русле – другая гоголевская просьба к Анненкову: «Изобразите мне также портрет молодого Тургенева, чтобы я получил о нем понятие как о человеке; как писателя я отчасти его знаю: сколько могу судить по тому, что прочел, талант в нем *замечательный* и обещает большую деятельность в будущем» [Там же; курсив в оригинале]. На самом деле Гоголь, по крайней мере со времени пребывания в Москве в 1841–1842 гг., был знаком с Тургеневым и «как с человеком» (см.: кн. 2, с. 320), но ему хотелось теперь узнать о нем еще больше, а самое главное – зафиксировать, сделать известным этот свой интерес – интерес к человеку совсем иной, западной, ориентации. И наконец, совершенная мелочь. «Уведомьте меня, – просит Гоголь Анненкова, – женат ли Белинский или нет; мне кто-то сказывал, что он женился» [Там же]. Подтекст этого вопроса очевиден: обрел ли Белинский необходимое душевное спокойствие и равновесие,

освободился ли от крайностей? (Жениться – остепениться, по известной поговорке).

Следует еще добавить, что гоголевское упоминание Диккенса (наряду с Байроном) в качестве свидетельства пробуждающейся в Англии творческой силы носит определенно личный характер: Гоголь, конечно, хорошо помнил, что в статье Хомякова «Мнение иностранцев о России» (1845) Диккенс фигурировал в таком же контексте, но при этом – с многозначительным уточнением: «Диккенс, меньшой брат нашего Гоголя» [Хомяков, 1988, с. 88]. Затем эту параллель продолжил Ю.Ф. Самарин, заметивший, что у Гоголя и Диккенса есть «единство мысли» и «у обоих она не вредит художественности» (рецензия на «Тарантас» В. Соллогуба, опубликованная в «Московском сборнике», 1846 г.) Так что у русского писателя обнаруживалась и родственная близость и к английской литературе, и к английскому национальному духу...

К периоду пребывания Гоголя в Остенде относится и его отклик на «Письма об Испании» В.П. Боткина, во многом гармонирующий с гоголевским решением английского вопроса.

Гоголь к этому времени мог познакомиться лишь с первым письмом цикла [С. 1847. № 3. Отд. 2. С. 32–62; ценз. разр. – 28 февраля], но уже здесь он увидел подтверждение своего тезиса о пользе непредвзятости и всесторонности. «...Автор мысленно занялся вопросом разрешить себе самому, что такое нынешний испанский человек, и приступил к этому смиренно, не составивши себе заблаговременно никаких убеждений из журналов, не влюбившись в первый выведенный им вывод, как делают люди с горячим темпераментом...» [XIII, 363]. Гоголь имеет в виду в первую очередь Белинского, имя которого тут же названо, но отчасти и своего адресата Анненкова, и «многих людей на Москве», т. е. представителей славянофильского лагеря, да и самого себя («случается» и «со мною грешным»). Гоголь требует объективности от людей разных партий и направлений.

Конкретно же внимание Гоголя в «Письмах об Испании» привлекло прежде всего описание народа. «Всего более заставляет верить в будущность Испании редкий ум ее народа, – пишет Боткин. – Когда имеешь дело с людьми из простого народа, совершенно лишенного всякого образования, невольно изумляешься их здравому смыслу, ясному уму, легкости и свободе, с какими они объясняются... Среди этих бесчисленных смут, раздирающих Испанию, чувствуешь какую-то необходимость беспрестанно

оглядываться назад... для того чтоб сохранить веру в народ, который, несмотря на три несчастных века, умел сберечь в себе свои природные качества, столь прекрасные и драгоценные» [Боткин, 1976, с. 25]. Гоголь почти буквально повторит эту мысль: письма «обнаруживают свежесть сил народа и характер, очень похожий на характер добрых простых народов, образовавшийся, однако ж, в это время смут, которые не допустили воцариться там ни новой гражданственности, ни новой роскоши» (письмо к А.П. Толстому от 8 августа н. ст. [XIII, 359]). В сравнении со своим же образом Англии Гоголь несколько смещает акцент: там говорилось о единении, «слитии» начал современной гражданственности и исконной патриархальности, здесь – может быть, ввиду отсутствия в Испании этой гражданственности – только о верности традиции. Поэтому – на первый взгляд неожиданно – описание испанцев сближается у Гоголя с описанием черкесов, содержащемся в том же письме. Ни жестокость русского правительства, ни просвещение («модное просвещение») применительно к черкесам неуместны: «Бог не даром сберегает простоту некоторых народов и хранит в ущельях и горах остатки патриархального быта» [XIII, 358].

Интересно, что автор «Писем об Испании» похвалы Гоголя не принял (видимо, она стала известна ему со слов Анненкова). «Гоголь клевет на меня, – пишет он Анненкову из Москвы, между 24 и 25 августа 1847 г., – мне в голову не приходило задавать себе вопрос о нынешнем “испанском человеке”». И в том же письме – уже о самом Гоголе: «Гоголь так погряз в доктринерстве, что уже не может понять всей прелести *бесцельности*» [Боткин, 1984, с. 277; курсив в оригинале]. Получается, что автор отказывается от чести быть художником-мыслителем, оставляя за собой лишь право на «бесцельность». Но все дело в том, что оценки Гоголя воспринимались в свете его последней книги и под «доктринерством» подразумевалось прямое подчинение художественного мышления моральным целям. Такой подход был неприемлем ни для Боткина, ни для Анненкова.

О переживаниях Гоголя после «Выбранных мест...», о его мучительных усилиях преодолеть собственную односторонность многие не знали, а кто знал, как тот же Анненков, не во всем ему верили. Перед лицом же гоголевского «доктринерства» и Боткин, и Анненков как автор другого сходного по жанру произведения – «Парижских писем» – готовы были считать свое творчество голым описательством, свободным от всяких «внутренних» задач [см. подробнее: Манн, 1987, с. 162–163]. Но и

для Гоголя вырвавшаяся внезапно стена непонимания еще более усугубляла его состояние.

Что же касается английской темы, то она еще раз аукнется Гоголю год спустя, в ноябре 1848 г., когда он уже окончательно вернется в Москву. Тогда в окружении писателя возникло подозрение, что тот вновь обдумывает дальнейшее путешествие, и прямодушный Константин Аксаков не смог сдержать своих чувств. «...Услыхав, что он опять собирается за границу, в Англию, – сообщает Константин Сергеевич брату Ивану, – я высказал ему свои ощущения касательно этих бесстыдных отъездов в чужие края, и он, кажется, обиделся» [ЛН. Т. 58. С. 715]. Сильная фраза о «бесстыдных отъездах» живописно оттеняет различия позиции Константина Аксакова и, с другой стороны, Хомякова и Гоголя в отношении «чужих краев» и особенно Англии<sup>24</sup>.

Но вернемся к периоду пребывания Гоголя в Остенде в конце лета и начале сентября 1847 г.

Еще весной в Неаполе Гоголь мечтал о встрече с Виельгорскими, особенно с Анной Михайловной, вспоминая о совместном пребывании в Остенде в 1844 г. «О, если бы привел Бог вновь ощутить такую радость, как назад тому три года, – пишет он Анне Михайловне, – когда после долгих моих ожиданий привезла вас вдруг железная дорога и я увидел всех, всех милых сердцу моему» [XIII, 258].

Вначале Виельгорские побывали в Висбадене, где графиня-мать лечила глаза, а Михаил Михайлович – «небольшую ранку на ноге», а к 1 сентября все трое (помимо названных, еще Анна Михайловна) приехали в Остенде [ЛН. Т. 58. С. 694], где они гуляли и принимали морские ванны. Уже по приезде в Неаполь Гоголь сообщил Смирновой-Россет, что в Остенде «виделся с графиней Вьельгорской и ее дочерью, умницей Анной Михайловной. Море им помогло обоим» (письмо от 20 ноября н. ст. [XIII, 396–397]).

В связи с пребыванием Виельгорских в Остенде наметился было один небезынтересный сюжет.

Еще в начале 1847 г. Гоголь передал с Апраксиным, направлявшимся в Петербург, письмо для Анны Виельгорской, а потом, высказывая пожелание о новом приезде ее в Остенде, как бы невзначай попросил: «Напишите мне, как вам показался Апраксин» [XIII, 258].

Вместе с тем Гоголь «насел» и на Апраксина. 8/20 августа из Коксгавена Апраксин сообщает матери, что «получил письмо

от Гоголя, который умоляет меня приехать; вчера я решился, и через час я отправляюсь в Амстердам, Роттердам и Остенде, куда прибуду через двое суток» [ЛН. Т. 58. С. 694].

Интерес Гоголя к Виктору Владимировичу Апраксину (1822–1898), племяннику А.П. Толстого и сыну его сестры Софьи Петровны Апраксиной, обусловлен был прежде всего некоторыми достоинствами молодого человека. «Он на мои глаза показался совсем непохожим на других молодых людей, исполнен намерений благих и намерен заняться не шутя благосостоянием *истинным* своего огромного имения и людей, ему подвластных» [XIII, 258; курсив в оригинале], – писал Гоголь А.М. Виельгорской. И еще раньше, 15 января н. ст., к П.А. Плетневу: «...весьма дельный молодой человек, вовсе не похожий на юношей-щелкоперов. Он глядит на вещи с дельной стороны и, будучи владелец огромного имения, намерен заняться благосостоянием его сурьезно» [XIII, 174]. Интересно, что Гоголь характеризует Апраксина именно так, как и «Выбранные места...», – эпитетом «дельный», поскольку и от своей книги, и от своего молодого друга ждет (или ждал, если говорить о книге) непосредственного, практического эффекта. Писатель повторяет эту характеристику и в письме от 21 августа н. ст. к А.П. Толстому: «Он очень умный и очень желающий действовать полезно; только и думает, чтобы заняться деревней, хозяйством и благосостоянием крестьян» [XIII, 368].

И вот тут-то в голове Гоголя возникла некая матримониальная идея – подумалось, «хорошо, если бы он [Апраксин] познакомился и узнал Ан<ну> Михайлов<ну>. Почему знать? Может быть, они понравились друг другу. У Виктора Вл<адимировича> желанье сильное сделаться помещиком и заняться не шутя благоустройством крестьян. В таком случае вряд ли ему во всей России найти где лучшую помощницу, которая дейс<твует> и рассуждает так умно об этом деле, как я не встречал никого из нашей братьяи мужчин» [XIII, 359]<sup>24а</sup>.

Вот, оказывается, в чем дело! Гоголь не просто хотел устроить судьбу молодых, но и реализовать идею, развиваемую им в «Выбранных местах...», особенно в статье «Женщина в свете». Общественно полезное дело осуществляется и мужем и женой; будет свое поприще у мужа, и какое поприще! – что может быть важнее, чем совершенствование и гармонизация сельской жизни, отношений помещика и крепостных; будет свое поприще и у жены – быть вдохновительницей и опорой этих усилий.

Гоголь, как мы знаем, давно уже простирает свое внимание и заботу на жизнь семейных пар: Маша Балабина и Вагнер; Софья Соллогуб (Виельгорская) и В.А. Соллогуб; А.О. Смирнова-Россет и Н.М. Смирнов, – и вот теперь, пока еще гипотетически, Анна Виельгорская и В.В. Апраксин. Во всех случаях женщине надлежало выполнить свое высокое предназначение, осуществить свое поприще, но обстоятельства и изначальные условия были разные.

Обязанности Вагнера определялись и ограничивались его специальностью чиновника железнодорожного ведомства; соответственно, ограничивалась и сфера влияния Марьи Петровны. Муж Софьи Михайловны, отнюдь не чиновник и не служащий, но талантливый писатель Владимир Соллогуб, был привержен светским удовольствиям и рассеянию; поэтому от жены приходилось прежде всего ждать сдерживающего и облагораживающего влияния в семейной сфере. Крупным чиновником с большим диапазоном функций и действия был Н.М. Смирнов, ставший в 1845 г. калужским губернатором, и Гоголь в общении со Александрой Осиповной постоянно имел в виду и те возможности, которые она вследствие своего положения приобретала. Но брачный союз Россет и Смирнова определился задолго до этого, еще в 1832 г., и, разумеется, независимо от Гоголя.

А тут писатель волею судьбы оказывался у самого начала «эксперимента», который мог быть проведен в самом что ни есть чистом виде...

Как реально складывались отношения Апраксина и Анны Виельгорской, сказать трудно, да и времени для общения выпало им немного. Около 10 сентября Виктор Петрович оказался в Лондоне, где он проживал вместе со своим дядей А.П. Толстым, что устанавливается из письма Гоголя к последнему [см.: XIII, 387]. А в 20-х числах того же месяца, почти одновременно с Гоголем, Остенде покидали Виельгорские. Так или иначе, но «дело кончилось ничем» (В. Шенрок).

«Но в жизни Гоголя, – замечает тот же гоголевский биограф, – этот эпизод остался не без значения: раз запавшая мысль о пристроистве Анны Михайловны, незаметно для него самого, развилась в особую привязанность к ней, которую он принял было впоследствии за любовь» [Шенрок, т. 4, с. 458]. Впрочем, об этом «эпизоде» мы поговорим в своем месте<sup>25</sup>.

«Душа моя изнемогла...»:  
Спор с Белинским

В период пребывания Гоголя во Франкфурте, Эмсе и Остенде летом 1847 г. происходит его заочный спор с Белинским, обозначивший кульминацию в истории восприятия и оценки «Выбранных мест...» и стоивший их автору огромных душевных сил и переживаний. Последовательность событий была такой.

Вначале во второй книжке «Современника» появилась обширная рецензия Белинского на «Выбранные места...». Гоголь, возможно, прочел ее еще весной (к 24 апреля н. ст. он получил соответствующий номер журнала [XIII, 289]), но откликнулся на нее лишь 20 июня н. ст., по приезде во Франкфурт. Промедление было вызвано не отсутствием реакции со стороны Гоголя, скорее наоборот: рецензия произвела на него более сильное впечатление, чем многие другие отклики. И на то были свои причины.

Прежде всего, это обуславливалось самим тоном и стилем рецензии. Белинский считал ее не совсем удачной ввиду того, что вынужден был оглядываться на цензуру и не мог, «зажмурил глаза, отдаться моему негодованию и бешенству» [Белинский, т. 12, с. 340]. Но как раз в этой вынужденной сдержанности заключалась сильная сторона рецензии, родственная тому эффекту, который обычно извлекает сатирик (Салтыков-Щедрин, например) из самого факта эзопова, «рабьего» языка. Эзопового стиля рецензия в себе не заключала (или заключала в небольшой мере), зато в изобилии пользовалась иронией, граничившей с издевкой и призванной обнаружить, с точки зрения критика, внутренние противоречия в гоголевских рассуждениях, выставить «товар лицом». А это воспринималось Гоголем особенно болезненно. Неслучайно, что у одного из читателей (Н.П. Огарева) сложилось впечатление, что в статье, собственно, нет «голоса критика», что она сплошь «состоит из выписок, за себя говорящих» (письмо к А.И. Герцену от 13 марта <1847 г.> [ЛН. Т. 61. С. 756]).

Но «голос критика» в рецензии, конечно, присутствовал, хотя бы в том, как преподносилась и комментировалась мысль Гоголя, что взяточничество чиновников зависит «от расточительности их жен, которые так жадничают блистать в свете, большом и малом, и требуют на то денег от мужей». «Мы, однако ж, не остановились на этом, – продолжает критик, – думая... что еще будет лучше, если они вместе с тем навсегда оставят дурную привычку –



В.Г. Белинский  
*Рис. К. Горбунова. 1843*

поутру и вечером пить чай или кофе, а в полдень обедать, равно как другую не менее вредную привычку прикрывать наготу свою чем-нибудь другим, кроме рогожи или самой дешевой парусины... Исправление нравов было бы всесовершенное...» [Белинский, т. 10, с. 62]. Иронию против автора «Выбранных мест...» обращали и другие критики, например Н.Ф. Павлов, а еще раньше О. Сенковский, намекавший на психическую болезнь Гоголя («...я печален – Гомер, знаете, болен!» [БЧ. 1848. Т. 78. Отд. 6. С. 17]), но ирония Белинского была тоньше и оттого чувствительнее. Гоголь, разумеется, не мог ее не заметить; в письме к критику (об этом письме ниже) он упомянет об «унижении», «в которое вы хотели меня поставить в виду всех». И действительно, цель Белинского состояла в публичной демонстрации или, как сегодня сказали бы, показе, с его точки зрения, несостоятельности гоголевской книги.

«В виду всех» был провозглашен и связанный с этим вывод: «Тут дело идет только об искусстве, и самое худшее в нем – потеря человека для искусства» [Там же. С. 60]. Мысль о том, что Гоголь изменяет своему таланту художника, и вытекающие отсю-



да опасения за судьбу второго тома «Мертвых душ» выражали и другие, ну, например, А.В. Станкевич в письме к Н.М. Щепкину (от 20 февраля 1847 г.): «Вряд ли после такой книжицы дождемся чего-нибудь путного от Гоголя» [ЛН. Т. 58. С. 700]. Но Белинский придал этой мысли и этим опасениям характер почти окончательного приговора, заявив, что «на этом новом пути ожидает его <Гоголя> неминуемое падение» или что «теперь он сам существует для публики больше в прошедшем». Причем – что очень важно – это был приговор не в частном письме, а публичный.

Гоголь ответил на обвинения Белинского в письме к Прокоповичу (от 20 июня н. ст.), объяснив их тем, что критик «принял всю книгу на его собственный счет и прочитал в ней формальное нападение на всех разделяющих его мысли». Это, мол, не личная или, вернее, не только личная обида, но корпоративная – за партию западников. Но, по Гоголю, оснований для этого нет: «в книге моей, как видишь, есть нападение на всех и на все, что переходит в крайность», т. е. «нападение» и на славянофилов тоже, когда они грешат «крайностями», – книга *вне-* или *над*партийна.

Стремясь к объективности и беспристрастию, Гоголь отдает должное и своему оппоненту Белинскому. «Человек этот, несмотря на излишества и увлечения, указал справедливо, однако ж, на многие такие черты в моих сочинениях, которые не заметили другие, считавшиеся на высшей точке разумения перед ним» [XIII, 324]. Это, конечно, Шевырев и славянофилы; как ни высоко оценивал Гоголь их суждения по поводу своих произведений, но он признает и достоинства критики Белинского. Анненков зафиксировал еще более определенную похвалу: «Гоголь указывал <...> на статьи Белинского о его собственной, гоголевской деятельности как на образцовые по своей неотразимой истине и мастерскому изложению» [Анненков, 1983, с. 126]. И поэтому он, Гоголь, не хочет показаться неблагодарным по отношению к Белинскому: «...для меня этот упрек был тяжелее всех упреков, потому что в самом деле душа моя благодарна...».

И в связи с этим на Прокоповича возлагается посредническая миссия: «Пожалуйста, переговори с Белинским и напиши мне, в каком он находится расположении духа относительно меня». Зная о личных отношениях Прокоповича с Белинским, Гоголь пытается вновь нащупать путь к критику, с которым в последний раз виделся пять лет назад в Петербурге, в квартире того же Прокоповича, перед своим отъездом за границу в июне 1842 г. Тогда они расстались в весьма дружественном расположении друг к другу.

В письмо к Прокоповичу Гоголь вложил другое – для Белинского. Здесь он вновь подчеркнул надпартийный характер своей книги, объясняя тем самым то, что упреки ее автору раздались со всех сторон: «Восточные, западные и нейтральные – все огорчились. Это правда, я имел в виду небольшой щелчок каждому из них...». Своей обиды ввиду его публичного «унижения» критиком Гоголь не признал, указав на другую и, в общем, действительно имевшую место причину того, что его так расстроила рецензия: «...в ней слышится голос человека, на меня рассердившегося. А мне не хотелось бы рассердить даже не любившего меня человека, тем более вас, о котором я всегда думал, как о человеке меня любящем» [XIII, 326]. В голосе Гоголя звучат теплые, сердечные ноты, он явно настроен на примирение, может быть, даже на продолжение отношений.

Такую цель – примирения и улаживания коллизии – явно преследовало и ответное письмо Прокоповича Гоголю (27 июня, Петербург). Прокопович начинает с известия, что гоголевское письмо не удалось вручить адресату в руки, так как болезнь заставила Белинского отправиться из Петербурга в Силезию, в Зальцбрунн. «...Только от нее одной [этой поездки] зависит спасение жизни его, бывшей, в продолжение последней зимы, не один раз на волоске и сохранившейся в противность всех правил и приговоров медицины». Это пояснение должно было пробудить у Гоголя сочувствие к безнадежно больному человеку. Решительно отводит Прокопович и предположение о личной обиде критика. «Зная Белинского давно, я не могу не быть уверенным, что ни одна строчка его не назначалась мщению за личное оскорбление. Почему не судить проще и не принимать всего сказанного им встрече совершенно противоположных друг другу убеждений, искренних в нем и, конечно, не притворных и в твоей книге?» [Переписка, т. 1, с. 128]. Прокопович определенно вступает за Белинского, так сказать, уравнивая его с Гоголем в главном: оба безусловно честны и достойны уважения при всем различии их позиций.

Однако Белинский не расслышал (или отвергнул) примирительные интонации гоголевского письма. Получив это письмо в Зальцбрунне около середины июля, критик расценил его как вызов, требующий решительного ответа. Именно таким словом – «вызов»! – определил ситуацию написания знаменитого зальцбруннского письма Анненков, бывший свидетелем этого события.

Когда Анненков ознакомился с письмом (датировано 15 июля н. ст.), то, по его словам, «испугался за Гоголя», так как

ничего подобного тот «еще не выслушивал доселе, несмотря на множество перьев, занимавшихся разоблачением недостатков “Переписки”, попреками и браньями на ее автора» [Анненков, 1983, с. 355, 354]. Это отличие часто видят в том, что Белинский подверг гоголевскую книгу критике с «точки зрения революционной демократии», в противовес критике либеральной, консервативной и т. д. О мировоззренческой «точке зрения», отразившейся в письме, речь впереди; пока же лишь о том, как оценена книга Гоголя и чем эта оценка могла его поразить.

Прежде всего Белинский подхватывает глубоко личную интонацию гоголевского письма к нему, подхватывает и усиливает, но с существенной поправкой. Начало письма Белинского звучит почти как объяснение в любви, но, увы, ушедшей в прошлое. «Да, я любил вас со всею страстью, с какою человек, кровно связанный с своею страной, может любить ее надежду, честь, славу, одного из великих вождей ее на пути сознания, развития, прогресса». В голосе Белинского чувствуется горечь обиды, переживание обманутой надежды, боль от сознания измены и отречения писателя, причем не только отречения от художнического поприща. Речь идет об измене и отречении куда более глубокого свойства.

В самом деле: резких слов, граничивших с инвективами, Гоголю уже приходилось услышать немало, ну, скажем, от Э. Губера, автора рецензии на «Выбранные места...» в «С.-Петербургских ведомостях» (1847. № 35. 14 февраля): мол, книга «поражает и самого неопытного читателя ничтожным содержанием, пустыми общими местами и нестерпимым самолюбием, худо прикрытым под маскою ложного натянутого смирения... Никто еще не воздвигал такого странного памятника своему самолюбию, как Гоголь; никто еще под видом смирения не расточал себе таких похвал и не говорил читателям таких грубостей, как он». Однако обвинения Белинского пострашнее, тут уже речь шла не о психологии, но жизненной, сегодня бы сказали, экзистенциальной позиции: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов – что вы делаете! Взгляните себе по ноги, – ведь вы стоите над бездною!..» Ощущение окончательности перемены в Гоголе, обозначившееся еще в рецензии Белинского на «Выбранные места...», было усилено в письме до ощущения катастрофы, неминуемой «бездны».

Это ощущение подкреплялось и тем, что в гоголевской позиции признавалось участие сознательного выбора, увы, затуманенного нездоровьем. На болезнь Гоголя указывали (или наме-

кали) многие, писавшие о «Выбранных местах...», например тот же Губер («Понятия г. Гоголя о назначении русской литературы и мнения об Одиссеи высказывают необыкновенное состояние ума и воображения») или, как мы уже говорили, Сенковский. Касается мысли об «умственном расстройстве» Гоголя и Белинский, но затем, чтобы ее тотчас опровергнуть: в книге «сквозь небрежное изложение проглядывает обдуманность, а гимн властям предержавшим хорошо устраивает земное положение набожного автора». Обвинение в своекорыстии показалось чрезмерным даже единомышленнику Белинского В.П. Боткину. Зная о споре Белинского с Гоголем от Анненкова, Боткин писал последнему (датируется 24–25 августа 1847 г.): «...я всегда относил “Переписку с друзьями” более к гордости своей гениальности и невежеству, нежели к расчетливой подлости» [Боткин, с. 278].

Но из понимания гоголевской «набожности» как расчета следует, может быть, самый болезненный для писателя упрек в лицемерном и показном характере его широко оповещенного предстоящего паломничества к Гробу Господню: «Кто способен страдать при виде чужого страдания, кому тяжело зрелище угнетения чуждых ему людей, тот носит Христа в груди своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим». И все эти обвинения или откровенное пародирование (мол, писатель собирается идти «пешком в Иерусалим») звучали тем острее, что подавались на фоне преклонения и безмерного уважения к прежнему Гоголю; эпитеты и определения вроде: «великий писатель», автор «дивно художественных, глубоко истинных творений», «гениальный человек» и т. д. – звучали на протяжении всего письма.

О том, как мучительно далось Гоголю ответное письмо, свидетельствуют сохранившиеся черновые наброски. Анненков говорит, что Белинский составлял свое письмо «три дня», Гоголь, наверное, не меньше. Он начинает с того, что обращает против Белинского его же слова о катастрофе: «Опомнитесь, вы стоите <на краю> бездны!». Причина – в душевном состоянии критика; теперь Гоголю уже кажется недостаточным определение «рассердившийся» человек – «уста ваши дышат желчью и ненавистью». Именно ненависть побудила к обвинению, глубоко ранившему Гоголя, – в своекорыстии. «Своекорыстных же целей я и прежде не имел, когда меня еще несколько занимали соблазны мира, а тем бол<ее теперь>, когда пора подумать о смерти... Есть прелесть в бедности. Вспомнили б вы по крайней мере, <что> у меня нет даже угла,

и я стараюсь только о том, как бы еще облегчить мой небольшой походный чемодан, чтоб легче было расстаться с <миром>. Вам следовало поудержаться клеймить меня теми обидными подозрениями, какими я бы не имел духа запятнать последнего мерзавца». Со своей стороны, Гоголь обвиняет критика в главном грехе – односторонности, выводя ее не только из свойства его натуры («ум», пылкий «как порох»), но и недостаточности знаний, – кстати, для Белинского, отчисленного из университета, это тоже был очень болезненный укор. «Вспомните, что вы учились кое-как, не кончили даже университетского курса»; «<не>льзя, получа легкое журнальное образов<ание, судить> о таких предметах» [XIII, 435, 437, 445, 440]. И Гоголь указывает и разъясняет эти «предметы»; они многочисленны: тут и оценка «европейской цивилизации», и назначение самодержавия в России, и роль православной церкви, и отношение к крепостному праву, и т. д. – мы еще вернемся к этим темам, характеризуя существо спора Гоголя и Белинского.

Все это, повторяем, содержалось в черновых набросках гоголевского письма. Беловой вариант (датирован 10 августа н. ст., Остенде) примерно в шесть раз короче и занимает всего две печатные страницы. Письмо дышит страданием, изнурившим и обессилившим писателя. «Душа моя изнемогла, все во мне потрясено, могу сказать, что не осталось чувствительных струн...» Ни в какие объяснения по существу Гоголь уже не входит; он лишь готов допустить, что оба спорящих «перешли в излишество. Я, по крайней мере, сознаюсь в этом, но сознаетесь ли вы?». Допускает Гоголь и то, что многое в современной России ему незнакомо. «А вывод из всего этого я вывел для себя тот, что мне не следует выдавать в свет ничего, не только никаких *живых образов*, но даже и двух строк какого бы то ни было писанья до тех пор, покуда, приехавши в Россию, не увижу многого своими собственными глазами и не пощупаю собственными руками» [XIII, 360; курсив в оригинале]. Под «живыми образами» подразумевались художественные тексты, в данной ситуации прежде всего второй том «Мертвых душ»; под остальными «писаньями» – тексты публицистические; таким образом косвенно и задним числом гоголевская критическая рефлексия распространялась и на «Выбранные места...».

Но это не был, как казалось некоторым современникам, отказ от писательства вообще; даже в самые мрачные минуты, вызванные реакцией на его книгу, Гоголь подразумевал временную задержку («...до тех пор, покуда...») ради будущего более успешного возобновления своего труда. Самокритика велась в

духе излюбленной гоголевской идеи многосторонности: «Мне кажется даже, что не всякий из нас понимает *нынешнее* время, в котором так явно проявляется дух *построенья полнейшего*, нежели когда-либо прежде...» [XIII, 360–361; курсив в оригинале]. К многосторонности призывает Гоголь и Белинского.

Вообще при всей горечи и затаенной обиде гоголевское письмо вновь обнаруживает примирительные ноты. Гоголь призывает критика помнить о здоровье, советует оставить «на время современные вопросы»: «Вы потом возвратитесь к ним с большею свежестью, стало быть, и с большею пользою как для себя, так и для них» [Там же]. Этот совет невольно рифмуется и с той паузой, которую Гоголь в творческой деятельности определил и самому себе.

И еще любопытная деталь: в заключение Гоголь просит Белинского узнать, получил ли его письмо Анненков (обоим адресатам письма были посланы в Париж, куда Белинский и Анненков приехали из Зальцбрунна). Гоголь, разумеется, знал, что, справляясь о письме, Белинский поинтересуется и его содержанием. Он таким образом вовлекал Анненкова в свой диалог с критиком, как перед этим вовлекал Прокоповича.

Впрочем, Гоголь и открыто говорил об этом в упомянутом письме к Анненкову (датировано 12 августа н. ст.): «Вы теперь при нем [Белинском]: отводите от него все возмущающее дух его. Убедите его прежде всего в той непреложной истине, что *излишество* теперь удел всех, кто сколько-нибудь имеет сердце не бесчувственное...» [XIII, 362; курсив в оригинале]. «Все переливают через край», продолжает Гоголь, и он сам, «более других спокойный и хладнокровный, впал в излишество более других...» и т. д. Словом, Гоголь вновь проводит параллель между собою и Белинским, повторяя свое письмо к последнему. Почему же ему важно было, чтобы все это было сказано снова устами Анненкова?

Анненков в это время воспринимался им как некий противовес Белинскому. Он близок к критику, но не упрям, не догматичен; в нем, как пишет Гоголь в следующем письме к Анненкову (от 12 августа), нет «пристрастия и сильной уверенности в истине своих выводов и заключений». В то же время он близок и к гоголевскому кругу начала 1830-х годов, и, как говорит писатель в том же письме, «люди, с которыми я повстречался в юности моей, становятся мне теперь, с каждым годом родственней и ближе – оттого ли, что способность воспоминания... при повороте дней моих к старости стала еще живей, или оттого, что в самом деле любовь к человеку во мне увеличилась» [XIII, 364]. Заметим, между про-

чим, что о повороте «к старости» говорит человек, которому едва исполнилось 38 лет...

И Гоголь оживляет в памяти те молодые годы, когда с его легкой руки Анненков, как и другие друзья-«однокорытники», носил прозвище знаменитого французского писателя, участвуя в своеобразном маскараде. «Прощайте, мой добрый Павел Васильевич, а по-старому *Жюль* [т. е. Жюль Жанен]», – завершает Гоголь письмо к Анненкову от 7 сентября н. ст. из Остенде.

Понятно, почему именно Анненкову выпала посредническая роль в отношениях с Белинским.

Однако если Анненков что-нибудь и сделал в таком качестве, особого эффекта это не имело. Может быть, оттого что позиция Белинского, выраженная в зальцбрунском письме, была ему гораздо ближе, чем позиция Гоголя.

Получив в Париже гоголевский ответ, Белинский, по свидетельству Анненкова, прочел его «с участием» и «заметил только: «Какая запутанная речь; да он должен быть очень несчастлив в эту минуту» [Анненков, 1983, с. 365]. Эта реплика говорит о том, что критик отказался от своего мнения (или по крайней мере смягчил его) о притворстве и корыстном расчете автора «Выбранных мест...». Но отвечать на второе гоголевское письмо Белинский не стал. Его отношения с писателем фактически прекратились.

Теперь о существовании спора. В не очень давнее время он интерпретировался чаще всего как столкновение революционно-демократической точки зрения с консервативной и охранительной. В последние 10–15 лет наметились изменения: собственно квалификация позиций осталась прежней, но поменялась их оценка – то, что подавалось со знаком «плюс» (Белинский), сопровождается знаком «минус», и наоборот. Но в таком случае непонятно, почему письмом Белинского восхищались не только, скажем, Герцен, но и люди, далекие от революционности и радикализма: Анненков, И.С. Тургенев и другие. Либерал и «постепеновец» Тургенев, например, говорил: «Белинский и его письмо, это вся моя религия» (*Аксакова В.С. Дневник. СПб., 1913. С. 42*).

Однако все это не покажется нелогичным, если вспомнить сформулированные в письме задачи: «Самые живые, современные национальные вопросы в России теперь: уничтожение крепостного права, отменение телесного наказания, введение по возможности строгого выполнения хотя тех законов, которые уже

есть». Ничего революционного в этих требованиях нет, и о законах говорится не новых, а существующих. Под этими словами вполне мог бы подписаться тот же Тургенев.

Ю.Г. Оксман, серьезный исследователь Белинского, полагал, что сдержанность критика вызвана тактическими соображениями: «Предельно упрощая в своей полемике с Гоголем требования демократической общественности, Белинский считал, видимо, и бестактным, и бесполезным поднятие на данном этапе политической борьбы дискуссионных вопросов, могущих развалить или хотя бы ослабить антикрепостнический фронт...» [Оксман, с. 215]. Но дело тут не столько в тактике, сколько в особенностях самой мысли Белинского.

Настроение Белинского периода зальцбруннского письма подробно характеризует Анненков: «Кто поверит, что когда Белинский писал его, он был уже не прежний боец, искавший битв, а, напротив, человек, наполовину замиренный...» [Анненков, 1983, с. 336]. Нужно, однако, уяснить, в каком смысле – «замиренный». В России, как это явствует из письма, царят бесправие, произвол, презрение к человеческому достоинству – примирением критика с существующим положением и не пахнет. Формула официальной идеологии «православие, самодержавие и народность» произносится Белинским с величайшим негодованием. По поводу «самодержавия» высказан Гоголю язвительный совет – «созерцать его из вашего прекрасного далека: вблизи-то оно не так красиво и не так безопасно».

Анненков, внимательный читатель зальцбруннского письма, не мог всего этого упустить из виду. Его определение «замиренный» имеет продолжение: «...и потерявший веру в пользу литературных сшибок, журнальной полемики, трактатов о течениях русской мысли и рецензий, уничтожающих более или менее шаткие литературные репутации». Речь идет об уклонении от вседневной литературной борьбы, от решения внутренних литературных вопросов – ради более существенных знаний. Анненков называет их «новой *правдой*, провозглашаемой экономическими учениями» [курсив в оригинале], т. е., как сказано в другом месте, это «теории Прудона, Фурье, к которым позднее присоединился Луи Блан», а также Кабе и Леру. «...Эти и другие совершенно противоположные по духу сочинения служили Белинскому просто средством отыскать первые семена социализма, заброшенные переворотом 89 года на европейскую почву...» [Там же. С. 198]. В то же время важно и другое уточнение Анненкова: «о каком-либо приложении



их к русскому миру» Белинский «не помышлял». Это особенно справедливо по отношению к Белинскому 1846–1847 гг., когда почти полугодовая поездка по России (с мая по октябрь 1846 г.), а затем и поездка за границу и некоторые другие факторы «окончательно освободили Белинского от элементов *утопического* мышления, еще тяготевшего над ним в середине сороковых годов...» [Егоров, 1982, с. 140; курсив в оригинале].

Словом, социалистическая перспектива сохранялась Белинским в самом общем виде как идея более гуманного общественного строения, но сохранялась вне насильственной и преждевременной детализации, без учитывания будущего и навязывания ему априорных идеалов. Нужно было избежать идеализации и в то же время не воздвигать преград развитию мысли. Белинский, по словам Анненкова, негодовал, когда «встречался с суждением, которое под предлогом неопределенности или неубедительности европейских теорий обнаруживало поползновение позорить труды и начинания эпохи», – в книге Гоголя критик увидел именно этот случай. Со своей точки зрения он был прав, – но с точки зрения Гоголя, в контексте его мысли?

Спор их развивался по очень сложной логике, порой оппоненты весьма близко подходили друг к другу, особенно в констатации существующего. Белинский: «...страны, где... есть только огромные корпорации разных воров и грабителей!». Гоголь: «Если же правительство огромная шайка воров, вы думаете, этого не знает никто из русских?». Значит, Гоголь ничуть не отрицает этого утверждения, он его даже заостряет, относя определенно к властям предрежащим, к правительству. Но отчего же такое положение в стране? По Гоголю, от всеобщей разладицы («мы все кто в лес, кто по дрова»), от всеобщего эгоизма («всякий думает только о себе и о том, как бы себе запастись потеплее квартирку»).

На это Белинский мог бы ответить примером, который он привел позже (в письме к К.Д. Кавелину от 7 декабря 1847 г.), – о двух вариантах изображения честного губернатора. Писатель, склонный к идеализации, «представит удивительную картину преобразованной коренным образом и доведенной до последних крайностей благоденствия губернии». Писатель же, верный правде жизни, «представит, что этот, действительно, благонамеренный, умный, знающий, благородный и талантливый губернатор видит, наконец, с удивлением и ужасом, что не поправил дела, а еще больше испортил его...» [Белинский, т. 12, с. 460–461]. Потому что есть нечто более могущественное, чем благие намерения

человека, – «невидимая сила вещей». Пример словно специально выбран Белинским в пандан к таким разделам гоголевской книги, как «Занимающему важное место» и «Что такое губернаторша».

Но на это и Гоголь мог бы возразить словами своего письма (черновой вариант): «Нет, оставим подобные сомнительные положения... Будем отправлять по совести свое ремесл<o>. Тогда все будет хорошо, и состоянье общества поправится само собою» [XIII, 444]. Белинский же в ответ вновь напомнил бы о «невидимой силе вещей», сводящей на нет благородные устремления личности. И так – до бесконечности...

В конечном счете все сводилось к альтернативе: с чего начинать – с исправления структуры общества или всех ее составляющих, от монарха до последнего обывателя? Спор, как известно, вечный и при максималистской постановке проблемы до конца не разрешимый, но у него был конкретный и злободневный вопрос: как быть с крепостным правом? Для Гоголя помещик или крестьянин – те же «должности», те же «поприща», и их добросовестное исполнение – залог благоденствия и справедливости общества. В своей книге он просто исходил из непреложности существующих сельских отношений, не вдаваясь ни в какие обоснования; критика же Белинского побудила его к защите этих отношений. «Что для крестьян выгоднее, правление одного помещика, уже довольно образованного... или <быть> под управлением <многих чиновников>, менее образованных, <корыстолюбивых>...? Следует <каждому из нас> подумать... чтобы это осво<божде>нье не было хуже рабства» [XIII, 442]. Гоголь предвидел теневые стороны освобождения, но, отрицая его неотложную необходимость, он выступал вопреки чаяниям не только западников, но и части славянофилов, а также некоторых из властей предержавных лиц, включая самого императора, которые работали в это время над подготовкой крестьянской реформы.

Для Белинского же ликвидация крепостного права – самое насущное и вполне конкретное требование, веление дня (наряду, мы помним, с отменой телесных наказаний и соблюдением существующих законов); все другие – в его письме не уточнены, нарочито неопределенны.

И в эту неопределенность целит гоголевское ответное письмо (черновой вариант).

Вы говорите, что спасенье России в европейской цивилизации... Хотя бы вы определили, что такое нужно разуметь под именем европейской цивили-

лизации. Тут и фаланстерьен, и красный и всякий, и все друг друга готовы съесть и все носят такие разрушающие, такие уничтожающие начала, что уже даже трепещет в Европе всякая мыслящая голова и спрашивает невольно, где наша цивилизация?

Вновь отчетливо проявилась гоголевская способность предвидения – предвидения будущих потрясений и катаклизмов (в большой мере это было и результатом личных наблюдений и переживаний революционных событий приближающегося 1848 г.). Но в отношении Белинского Гоголь был неточен: там, где тот не договаривал и проявлял сдержанность, Гоголю казалось, что он валит все в одну кучу. Это особенно видно в приписываемом критику взгляде на «фаланстерьен». «Кто же, по-вашему, ближе и лучше может истолковать Христа? – спрашивает Гоголь. – Неужели нынешние ком<м>унисты и социалисты, [объясняющие, что Христос повелел отнимать имущества и граб<ить> тех, которые нажили себе состояние?)]» [Там же. С. 438, 440].

Белинский действительно истолковывал Христа в духе христианского социализма: «Он первый возгласил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения». Но идеи экспроприации и вообще насилия с этим учением не связывались; время, когда Белинский видел орудие прогресса в робеспьеровских действиях, было уже в прошлом. Есть все основания согласиться с Анненковым, утверждавшим, что в этот период все поступки и речи критика «не дают права узнавать в нем... любителя страшных социальных переворотов, свирепого мечтателя, питающегося надеждами на крушение общества, в котором живет»<sup>26</sup>.

Два момента особенно подтверждают этот вывод. Во-первых, Белинский считал, что освобождение крестьян должно осуществиться усилиями прогрессивных высших чиновников и волею императора: «все зависит от воли г<осударя> и<мператора>, а она решительна»; он «один по своей мудрости и твердой воле способен решить его». (В это время Белинский с особым пиететом относится к Петру I: «Для меня Петр – моя философия, моя религия, мое откровение во всем, что касается России».) Если же «окружающие» помешают проведению реформы, то вопрос «решится сам собою, другим образом, в 1000 <раз> более неприятным для русского дворянства» [Белинский, т. 12, с. 437, 438, 433]. Крестьянское восстание, насильственный отъем земли, социальный переворот видятся в это время Белинскому как ве-

личайшее бедствие. Соответственно, к началу следующего 1848 г. весьма скептической становится и оценка Белинским самостоятельности народа. «Кстати, – писал он Анненкову 15 февраля 1848 г., – мой верующий друг (подразумевается М. Бакунин. – Ю. М.) и наши славянофилы сильно помогли мне сбросить с себя мистическое верование в народ. Где и когда народ освободил себя? Все делалось через личности» [Там же. С. 468].

И во-вторых (это тоже обозначилось к началу 1848 г.), Белинский пришел к признанию прогрессивной роли буржуазии. «Когда я, в спорах с Вами о буржуазии, – пишет он в том же письме к Анненкову, – называл Вас консерватором, я был осел в квадрате, а Вы были умный человек. Вся будущность Франции в руках буржуазии, всякий прогресс зависит от нее одной, и народ тут может по временам играть пассивную роль». Соответственно Белинский определяет и перспективу буржуазного развития России: «...теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуазию» [Там же].

Отчуждение от утопизма в пользу реальности и практицизма определяет склад мысли Белинского этой поры, еле сдерживающего негодование против прежних авторитетов: «...ежеминутно мысленно плюю в рожу дураку, ослу и скоту Луи Блану» (письмо к Анненкову от 15 февраля 1848 г. [Белинский, т. 12, с. 467]). Но показательно, что и «Выбранные места...» видятся ему в свете критики утопизма: «Посмотрите на Ж. Санд в тех ее романах, где рисует она свой идеал общества: читая их, думаешь читать переписку Гоголя» (Кавелину, 7 декабря 1847 г. [Там же. С. 462]). И это при том, что гоголевский «идеал общества» подчеркнуто заострен против опасных фантазий современного социализма, а программа действий (как мы говорили выше; см. с. 38) подчеркнуто прагматична, с четкими предписаниями действий и поступков каждому званию, должности или «поприщу». Но, по Белинскому, эта программа нереальна именно потому, что, отвлекаясь от перспективы социального строения, сосредоточена на личностном воспитании и совершенствовании. Со своей стороны и Гоголь воспринимал позицию критика как непродуктивную в силу неоправданного, с его точки зрения, переноса центра тяжести в противоположном направлении – с личности на общество.

Сосредоточение на личностном воспитании позволило в «Выбранных местах...» предвосхитить комплекс идей, которые, как писал Дмитрий Чижевский, составили «бессмертную славу

Достоевского»: необходимость христианизации всей жизни, положение о сочетании эстетических и этических ценностей, а также о том, что безрелигиозная культура обречена на гибель [Чижевский, с. 75]. Однако оценка этой «линии» (как и противоположной) не терпит абсолютизации, которую допускают, скажем, К. Мочульский или, с других позиций, А. Воронский. «Письмо Белинского, – утверждает Воронский, – являлось линией крестьянской революции, направленной против попыток с помощью религии оправдать и поддержать царский строй» [Воронский, с. 335]. «Линия Белинского, – говорит Мочульский, – привела через интеллигенцию, народников и марксистов к современному коммунизму» [Мочульский, с. 93]. Но такой фатальной одномерности вовсе не было: «линия Белинского» заключала в себе возможность и другой, неревolutionционной и немарксистской тенденции; из нее, из этой линии, исходил и русский либерализм.

Что же касается Гоголя, то одним из результатов его спора с Белинским была попытка подняться над односторонностью – своей и оппонента. «Точно так же, как я упустил из виду современные дела и множество вещей, которые следовало сообразить, точно таким же образом упустили и вы; как я слишком *усредоточился* в себе, так вы слишком *разбросались*» [XIII, 361; курсив в оригинале]. «Усредоточиться» и «разбросаться» – это знаки противоположных направлений, центростремительного и центробежного, нуждающихся в нейтрализации, и Гоголь, провозглашающий эту мысль пока декларативно, питает надежду на то, что она воплотится в осязаемых формах вместе с реализацией его главного замысла, его книги жизни.

## Защита Иванова

Одна из статей «Выбранных мест...» вызвала реакцию, которую Гоголь не ожидал и не предвидел. Речь идет о письме XXIII «Исторический живописец Иванов», посвященном художнику, с которым Гоголь лично был знаком и чьи произведения, особенно находившееся еще в работе «Явление Мессии», глубоко почитал [см.: Джулиани, 2011, с. 102–113]. И упомянутая статья из «Переписки» – это восторженный панегирик великому художнику



Гоголь  
*Акварель А.А. Иванова. 1841*

и его творению. И тем не менее гоголевский биограф утверждал, что к моменту появления статьи «между Гоголем и Ивановым заметно открылась пропасть, давно подготавливаемая в их взглядах и настроениях» [Шенрок, т. 4, с. 391]. «Пропасть» – это, конечно, сильное преувеличение. Но тень неудовольствия, раздражения со стороны Иванова безусловно была. Чем же она вызвана?

«...Он не только не ищет... житейских выгод, но даже просто ничего не ищет, потому что уже давно умер для всего в мире, кроме своей работы» [VIII, 329; далее все цитаты из упомянутой статьи приводятся по этому изданию]. Это говорится об Иванове, но могло бы быть сказано – и действительно не раз говорилось Гоголем – о самом себе.

Теперь о материальной нужде, «нищенстве». «Есть люди, которые должны век остаться нищими. Нищенство есть блаженство, которого еще не раскусил свет». Гоголь объединяет себя со своим героем, причем к нему, писателю, состояние нищенства относится даже в большей степени. «У вас, – пишет Гоголь Ива-

нову 10 января н. ст. 1844 г., – есть впереди возможность два года прожить безнуждно, а у меня бывали такие времена, когда я не знал, как проживу завтра» [XII, 248].

«Воля ваша, я вижу во всем этом волю провиденья, уже так определившую...» Снова речь об Иванове, но об участии провидения, высшей божественной силы в своей жизни и особенно в творчестве, конкретно – в написании «Мертвых душ», Гоголь говорил неоднократно.

«Доселе раздавался ему упрек в медленности. Говорили все: “Как! восемь лет сидел над картиной, и до сих пор картине нет конца!” Но «теперь все чувствуют нелепость упрека в медленности и лени такому художнику, который, как труженик, сидел всю жизнь свою над работою и позабыл даже, существует ли на свете какое-нибудь наслаждение, кроме работы». Здесь тоже все Гоголю знакомое, все личное: и его не раз упрекали – и еще будут упрекать – в медлительности работы над вторым томом поэмы, и его просили или даже требовали, говоря современным языком, ускорить процесс.

Тут Гоголь подходит к самому главному пункту своей защиты Иванова. «Еще более будет стыдно тем, которые попрекали его в медленности, когда узнают и другую сокровенную причину медленности. С производством этой картины связалось собственное душевное дело художника, – явление слишком редкое в мире, явление, в котором вовсе не участвует произвол человека, но воля того, кто повыше человека». То есть воля Бога.

Здесь Гоголь открыто говорит о себе, имея в виду пережитый им год назад страшный кризис и другой, пятью годами раньше, когда он оказался на краю пропасти, когда уже прощался с жизнью, составил завещание, но был чудесным образом спасен, спасен для того, чтобы исполнить свое высокое предназначение, завершить книгу жизни.

Но пока кризис не разрешился, испытываешь мучительные страдания, неведомые и не понятные другим. «Не думайте, чтобы легко было изъясниться с людьми во время переходного состояния душевного, когда, по воле Бога, начнется переработка в собственной природе человека. Я это знаю и отчасти даже испытал сам». Но «знает», оказывается, и Александр Иванов, испытывавший и еще испытывающий нечто подобное на пути к завершению своего судьбоносного труда.

И тут – источник того расстройства или даже раздражения, которые мог ощутить Иванов. То, что, с точки зрения Гоголя, должно

было ему понравиться, действовало противоположным образом, ибо художник превращался в двойника писателя, пусть писателя великого, перед которым Иванов продолжал преклоняться, но все-таки – его двойника.

«Читая статью Гоголя, постоянно чувствуешь, что он без всякого колебания вкладывает в нее то содержание, которое было выработано его собственными размышлениями и опытом, но вовсе не принадлежало Иванову» [Шенрок, т. 4, с. 392]. Здесь необходимо одно уточнение: в какой-то мере эти «размышления» и «опыт» были общими, принадлежали и Иванову, но сам факт их обнародования голосом и словами другого придавал им печать аффектации. И, кажется, Гоголь к ней еще сознательно стремился: одно дело – сказать о материальной нужде, нищенстве Иванова, другое – исчисляя все подробности, представить своего рода эталон художника-аскета: «Что нужно, как Иванов, умереть для всех приманок жизни... как Иванов, отказывать себе во всем, даже и в лишнем блюде в праздничный день; как Иванов, надеть простую плюсовую куртку, когда оборвались все средства, и пренебречь пустыми приличиями; как Иванов, вытерпеть все и при высоком и нежном образовании душевном, при большой чувствительности ко всему вынести все колкие поражения и даже то, когда угодно было некоторым провозгласить его *сумасшедшим...*»

«Провозгласить сумасшедшим» – это тоже очень болезненная нота. Гоголь словно предвосхищает собственную судьбу, когда после издания «Выбранных мест...», в последние годы жизни в обществе распространилась молва о его «помешательстве» (см. об этом далее: кн. 3, ч. 3). Впрочем, эти слухи по поводу Гоголя циркулировали и раньше. Очевидно, нечто подобное говорилось и об Иванове, но одно дело – доходящие до тебя слухи и пересуды, и другое – мнение, зафиксированное печатно, пусть и с целью опровержения, несогласия.

Но «сумасшествие» – не единственное ранящее слово; в гоголевской защитительной речи (=статье) попадались и другие. «Клянусь, бывают так трудны положенья, что их можно уподобить только положенью того человека, который находится в *летаргическом сне*, который видит сам, как его погребают живого, и не может... подать знака, что он еще жив». Это прямое развитие мотива, возникшего еще в начале книги, в «Завещании»: «Завещаю тела моего не погребать, до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце



и пульс переставали биться...» [VIII, 219]. Гоголевский текст невольно придвигает Иванова к краю могилы, ставит его на грань жизни и смерти.

В ответных словах художника, в его возражениях Гоголю есть примечательная (и не отмеченная исследователями) черта. Иванов не возражает, когда говорится о сходстве замысла его картины и гоголевской поэмы, об их провиденциальном, историческом значении, о творческих переключках и параллелях в самой фабуле, в художественном пафосе – обретении истинной веры. Несогласие, сопротивление начинаются там, где устанавливаются точки сближения или сходства *психологических, душевных* состояний авторов.

В одном из черновых набросков Иванов сравнивает «Явление Мессии» и «Мертвые души»:

Самоотвержение дано вполне только русским, вот почему они, как последний народ в образовании, совершенно поймут Спасителя рода человеческого и приспособят Его учение ко всем отраслям образования человеческого. Но в настоящую, переходную, минуту, минуту трудную для избранных, можно ли допустить их до земного блаженства, т. е. женитьбы?.. Вот вопрос, который решит Гоголь напечатанием своего сочинения, который решу и я окончанием моей картины» [Шенрок, т. 4, с. 228].

Гоголевский биограф увидел в таком сопоставлении свидетельство «отдаления» Иванова от Гоголя [Там же. С. 227]. Но прав был, конечно, А.П. Новицкий, публикатор этого документа [РО. 1893. Т. 3. С. 349], отметивший противоположную тенденцию – к сближению художников: оба «видели в своих произведениях средство сделать нравственный переворот в обществе», оба «слили свое творчество с своим собственным перевоспитанием» [Там же].

В психологическом аспекте Иванов готов был говорить о перевоспитании, совершенствовании, но не о кризисе, перевороте, душевной драме – все это довольно трудные предметы для открытого обсуждения, хотя бы и с Гоголем. И когда Гоголь в январе 1845 г. обратился к нему с очередным увещанием («...Вспомните сие мое слово: пока с вами или, лучше, в вас самих не произойдет того внутреннего события, какое силитесь вы изобразить... до тех пор не будет кончена ваша картина...» [XII, 450], т. е. когда Гоголь сделал новую попытку войти во внутренний мир Иванова, тот просто ушел от объяснения: «На ваше письмо ответить нужно

очень подумавши. Погодите, подождите...» (письмо от 12 февраля 1845 г. [Переписка, т. 2, с. 457]).

Не понравилась Иванову и определение «монашеский»: мол, истинный художник отдается «своему делу, как монах монастырю», «ведет жизнь истинно монашескую, корпя день и ночь над своей работой и молясь ежеминутно...». На это Иванов прореагировал: «...позвольте возразить против следующих слов вашей статьи “Иванов ведет жизнь истинно монашескую” И очень бы не отказался иметь женой монахиню – женщину, занятую преследованием собственных своих пороков» [Иванов, 1880, с. 247]. Наверное, Иванов имел основания для иронии...

Нам мало известна бытовая сторона жизни Иванова в Италии, пишет его биограф. Но, конечно, неверно было бы представлять Иванова монахом, отрекшимся от мира, его страстей и радостей. Письма и записи художника говорят о другом. Когда в Италии жил художник Г.И. Лапченко (которого Иванов не называет иначе, как другом), они часто жили вместе в Альбано в семье невесты, а потом жены Лапченко, знаменитой красавицы Виттории Кальдони. Иванов, конечно, участвовал, и не как зритель, в веселье римских карнавалов и октябрьских праздников. В письмах и заметках Иванова постоянно прорывается страстная, но крепко сдерживаемая натура [Машковцев, 1982, с. 121–122].

В более позднем письме к Гоголю (от 30 января 1851 г.) Иванов обронил фразу: «В глазах художника, и в особенности в моих, вы все кажетесь прекрасным теоретическим человеком» [Переписка, т. 2, с. 485]. Едва ли это была только похвала: Гоголь прекрасен в «теории», но как обстоит дело «на практике», в угадывании душевных стимулов конкретного человека, хотя бы того же Иванова? Во всяком случае, Гоголь отвел этот комплимент: «Вы называете меня прекрасным теоретическим человеком. Не думаю, чтоб это была правда. Мне кажется, я плохой теоретический человек, да и практический тоже» (письмо от 18 марта 1851 г. [XIV, 225–226]).

Между тем отношение Иванова к Гоголю в целом и к его последней книге оставалось неизменно положительным, даже восторженным: он ведет споры о «Переписке» с Герценом [Герцен, т. 13, с. 326], возражает ее критикам в письме к Ф. Чижову: «Не знаю, за что это на него так нападают, – там есть превосходные места» [Иванов, 1880, с. 251]. После же путешествия Гоголя в Святую землю провидит его новое поприще: «Чем-то вы нас пода-

рите? Ведь от вас все ждут чудес. Я тоже думаю, что, может быть, в этой вашей будущей книге и художник из ничтожества и предмета *печатной* колкой насмешки вынесется в деятеля общественного образования, и – тогда мы с вами с миром изыдем, чтоб приготовить мир миру» (письмо от 13/25 июня 1848 г. [Переписка, т. 2, с. 481–482; курсив в оригинале]). Характерно местоимение «мы», объединяющее Иванова с Гоголем: как и автор «Мертвых душ», он ждет общественного эффекта от своей картины. Он только не хочет говорить об этом эффекте и назначении заранее, чтобы «не сглазить», чтобы не ослабить впечатление. В этом еще один источник неудовольствия Иванова его защитой. «Николай Васильевич Гоголь, – скажет он позднее, в 1856 г., П.М. Ковалевскому, – сделал мне много вреда похвалами: после его слов я не вправе выставить свою картину... С меня слишком много спросится» (цит. по: *Виноградов И.* Явление картины – Гоголь и Александр Иванов // *Наше наследие.* 2000. № 54. С. 123).

У Гоголя и Иванова наблюдалась общая черта – своеобразная деликатность, осторожность в отстаивании своего мнения, даже если это мнение было твердым и в общем неизменным. В конце 40-х годов не было более волнующей темы, чем французская, выдвинутая социальными потрясениями, революцией 1848 г. Однажды в Риме в споре на эту тему сошлись трое русских: Гоголь, Иванов и Анненков. Анненков верил в то, что Франция не утратила прогрессивную роль в мировом развитии, выразив эту мысль образно: «Франция – очаг, подставленный под Европу, чтобы она не застывала и не плесневела». Гоголь же и Иванов решительно выражали «отрицание» Франции, однако в ходе спора неожиданно обнаружили склонность к примирению. О позиции Гоголя мы уже говорили в своем месте (см.: кн. 2, ч. 3, с. 289); здесь же уместно сказать об Иванове. «Дня через два, – вспоминает Анненков, – он встретил меня на Monte-Pincio и, улыбаясь, повторил не очень замысловатую фразу, сказанную мною в жару разговора: “Итак, батюшка, Франция – очаг, подставленный по Европу, чтобы она не застывала и не плесневела” Он еще думал о разговоре...» [Анненков, 1983, с. 190–191].

Этот эпизод находит полное соответствие в фактах, описанных Герценом.

Рим. Март, от 3 до 27 апреля. Встречи с А.А. Ивановым. «Настал громовый 1848 год, я жил на площади, Иванов плотнее запирался в своей студии, сердился на шум истории, не понимая его, я сердился на него за это. <...> Тем не менее иногда вечером

Иванов приходил ко мне из своей студии и всякий раз, наивно улыбаясь, заводил речь именно о тех предметах, в которых мы совершенно расходились» [Герцен, т. 13, с. 326]. Говоря словами Анненкова, Иванов «еще думал о разговоре»...

И вот парадоксальное сходство: отношение Иванова к нарисованному Гоголем его словесному портрету напомнило реакцию Гоголя на публикацию его портрета в «Москвитянине» за 1843 г., представлявшую собою литографию портрета, выполненного тем же Ивановым (см.: кн. 2, с. 414). Правда, характер обрисовки персонажей не совпадал, даже был противоположен: Гоголь – в домашнем, затрапезном виде, Иванов – в строгом облике самоотверженного аскета, однако в обоих случаях, так сказать, оригиналы портретов прореагировали одинаково – как при неосторожном прикосновении к своему внутреннему миру, к душевным тайнам, порождавшем ощущение неловкости и боли.

«Ближе к выгрузке на корабль»  
(Неаполь: ноябрь 1847 – декабрь 1848 г.)

В октябре Гоголь покидает Остенде, в последний раз направляясь в Италию. Через Марсель едет в Ниццу, Геную, Флоренцию и Рим [РМ. 1896. № 5. С. 180], а в ноябре достигает цели своей поездки – Неаполя, в котором провел прошедшую зиму. «Перед мной опять Неаполь, Везувий и море!» [XIV, 33].

Но и Неаполь – не последний рубеж; просто «здесь мне как-то покойнее и отсюда я ближе к выгрузке на корабль» [XIII, 396]. Этот корабль доставит его в Святую землю. Но пока еще предстояло прожить два-три месяца в Неаполе.

Сознание, что он вступил на издавна намеченный путь, что он скоро осуществит свою мечту, заставляет Гоголя по-другому смотреть на окружающее. Еще во время предыдущего пребывания в Неаполе в декабре 1846 г. Гоголь писал В.А. Жуковскому: «Неаполь прекрасен, но чувствую, что он никогда не показался бы мне так прекрасен, если бы не приготовил Бог душу мою к приятию впечатлений красоты его. <...> Как только приехал я в Неаполь, все тело мое почувствовало желанную теплоту, утихнули нервы...» [XIII, 143; см. также: Лебедева, с. 127–155].

Гоголь приходит в себя от потрясений, вызванных его последней книгой. «О себе скажу только то, что покамест здоровьем слава Богу» (М.П. Погодину, 7 декабря н. ст. 1847 г. [XIII, 401]). «По крайней мере, я здесь чувствую себя не только лучше, чем в Германии, но даже, чем в Риме» (С.П. Шевыреву, 2 декабря н. ст. [XIII, 397]).

Остановился Гоголь в Hotel de Roma, который называет «трактиром»; живет «довольно уединенно и мирно», и круг общения его ограничен. Чаще всего видится с Софьей Петровной Апраксиной, проживавшей в Неаполе с двумя дочерьми, Наталией и Марией. В октябре появился еще один близкий Гоголю человек, А.П. Толстой, приехавший навестить сестру, Апраксину. В письме от 26 октября / 7 ноября 1847 г. Толстой сообщал: «Обедаю в 5 часов с Гоголем, а иногда с Циммерманом» [ЛН. Т. 58. С. 704; подлинник на фр. яз.]. Циммерман, согласно уточнению комментатора (Л.Р. Ланского), – врач, лечивший в Италии русских художников.

Гоголь полагал, что самочувствию Толстого, впавшего в очередной приступ хандры, поможет то обстоятельство, что в Неаполе при русском посольстве основалась православная церковь. Порадовало это и Гоголя, а ее настоятель, «очень хороший священник» [XIII, 392] вошел в круг общения писателя.

Речь идет о Т.Ф. Серединском, магистре богословия Петербургской духовной академии. С Гоголем Серединский встретился еще в прошлую зиму, так что в его воспоминаниях о писателе (см. выше, с. 79) соединились впечатления и 1846 и 1847 г.

Гоголь собран, «сдержан» (по слову Серединского)<sup>27</sup>; он спокойно оглядывается на «последний год», особенно на «последнюю половину года» [XIII, 403], т. е. время, на которое пришелся пик полемики по поводу «Выбранных мест...», и видит в себе благодетельные перемены. «...Думаю только о том, каким бы образом я мог прийти в мое нынешнее состояние без этой публичной оплеухи, которую я попотчевал самого себя в виду всего русского царства». «Оплеуха» привела к смирению; тут очень кстати оказался присланный Шевыревым второй том его «Истории русской словесности, преимущественно древней» (М., 1846): «Мне особенно понравилось, – пишет Гоголь автору 18 декабря н. ст. 1847 г., – что ты развил в своей книге мысль о *безличности* наших первоначальных писателей, умевших всегда позабыть о себе» [XIII, 413, 412; курсив в оригинале]. Гоголь же в «Выбранных местах...» выставил

«на вид свою личность» и оттого был наказан; но парадокс в том, что и в смирении он не может не говорить в сокровенно личном тоне, обнажая глубины своей психики и ее противоречия.

Он, например, признается С.Т. Аксакову, что любил его «гораздо меньше», чем тот Гоголя, потому что любить мог предпочтительно «только из *интереса*» (к этому высказыванию мы уже обращались), Аксаков же, дескать, ничего не сделал «для головы моей», т. е. не помог автору «Мертвых душ» необходимыми материалами. «Что же делать? – сокрушается Гоголь. – Вы видите, какое творенье человек, у него прежде всего свой собственный интерес». Но затем утешает: «Мне кажется, что я все-таки люблю вас больше, нежели прежде...» Однако тут же оговаривается: «А на самом деле, и это ложь, и я ничуть не умею любить лучше, чем прежде» [XIII, 416; курсив в оригинале].

Но в чем Гоголь действительно не сомневается, так это в сознании своей неправоты. Так, он просит прощения у Погодина – и было за что: и за нападки в связи с публикацией портрета, и за оскорбительную дарственную надпись к «Выбранным местам...». Просит прощения и тут же признается: «Странное, однако ж, дело, я не чувствую, однако ж, ни стыда, ни раскаяния. Я только люблю тебя больше, именно от<того>, что чувствую себя неправым перед тобою, точно как бы мне теперь хочется любить только тех, кто великодушнее меня» [XIII, 401].

В Неаполе Гоголь узнает, что против его книги «сильно восстает» А.И. Герцен; об этом сообщил А. Иванов, встретившийся с Герценом в Риме. В ответ Гоголь писал Иванову 14 декабря н. ст.: «Герцена я не знаю, но слышал, что он благородный и умный человек, хотя, говорят, чересчур верит в благодатность нынешних европейских прогрессов и потому враг всякой русской старины и коренных обычаев». Гоголь строит защиту так же, как несколько ранее защищался от Белинского – критикой «европейских прогрессов», взятых суммарно и с негативной их стороны. Но в целом гоголевская реакция оказалась сдержанной; опыт спора с Белинским не прошел для него даром. В духе стремления к многосторонности и цельности Гоголь хочет узнать о взглядах Герцена поподробнее: «Напишите мне, каким он показался вам, что он делает в Риме, что говорит об искусствах и какого мнения о нынешнем политическом и гражданском состоянии Рима, о чивиках и о прочем» [XIII, 408; чивики (*итал. civico*) – граждане].

Вместе с улучшением самочувствия оживились планы на продолжение второго тома. От мелькнувшей было идеи отказа от

писательской деятельности, пусть даже отказа временного, не осталось и следа. «Много, много произошло всякого рода вещей, явлений в моем внутреннем мире, и все Божьей милостью обратилось в душевное добро и в предмет созданий точно художественных, если только даст Бог силы физические совершить то, что уже вызрело в душе и в уме» [XIII, 401–402]. В том, что вызрели в душе создания художественные, Гоголь не сомневается – на сцену он выйдет не с публицистикой, но «с моими живыми образами». «Тут ведь я буду посильнее, чем в “Переписке” Там можно было разбить меня в пух и Павлову и барону Розену, а здесь вряд ли и Павловым, и всяким прочим литературным рыцарям и наездникам будет под силу со мной потягаться». Со своей стороны, жажда литературного труда подхлестывает жажду впечатлений. «Я очень соскучился по России и жажду с нетерпением услышать вокруг себя русскую речь» [XIII, 398, 397]. Пробудившееся в ходе полемики вокруг «Выбранных мест...» желание поближе познакомиться с современной русской жизнью приобретает очертания конкретных планов. «В продолженьи лета (речь идет о следующем, 1848 г. – Ю. М.) мне нужно будет непременно заглянуть в некоторые, хотя главные углы России. Вижу необходимость существенную взглянуть на многое своими собственными глазами» [XIII, 393].

Но до этого времени предстоял еще отъезд в Святую землю, который Гоголь наметил на середину февраля 1848 г.

Страшась дальнего пути и морской болезни, Гоголь мечтает о попутчике. Прежние кандидаты (Погодин, А.П. Толстой) отпали. Идеальным вариантом была бы поездка вместе с Д.С. Вершинским – о его намерении отправиться в Иерусалим Гоголь узнал от Серединского и написал настоятелю посольской православной церкви в Париже записку: «Весьма буду рад, если придется нам вместе и совершить это путешествие» [XIV, 292]. Но и этот план не состоялся, оставалось надеяться на попутчика случайного, и 5 декабря н. ст. Гоголь просит А.А. Иванова разузнать в его римском окружении, «не отправляется ли кто также в Иерусалим», и если отправляется, то сообщить ему адрес Гоголя в Неаполе. Но и таковых не нашлось, и писатель стал собираться в путешествие в одиночку.

Гоголь пишет прощальные письма – матери и сестрам, М.А. Константиновскому, Н.Н. Шереметевой, А.А. Иванову. Лейтмотив этих писем – просьба о прощении и о молитве. «Друг мой, молитесь обо мне, молитесь крепче, чем когда-либо прежде!» (Шереметевой [XIV, 43]). «Я требую от вас всех помощи, как

погибающий брат просит у братьев. Соедините ваши моления и помогите воскреситься к Богу моей молитве» (М.И. Гоголь [XIV, 44]). «Молитесь, молитесь крепко обо мне, и Бог вам да поможет обо мне молиться!» (Константиновскому [XIV, 42]). Письмо к Матвею Константиновскому, кроме того, еще имеет характер исповеди, подведения итогов и в связи с этим защиты своего направления деятельности – деятельности как художника.

Константиновский в не дошедшем до нас письме упрекнул автора «Выбранных мест...» в неоправданных притязаниях, в «учительстве». Гоголь принимает этот упрек, но только как упрек к своей книге, но не к деятельности в целом и ее характеру. «Я, точно, моей опрометчивой книгой... показал какие-то исполинские замыслы на что-то вроде вселенского учительства». Но это произошло от того, объясняет Гоголь, что книга «есть произведение моего переходного душевного состояния». Значит, состояние это уже преодолено и автор возвращается к свойственной его природе деятельности. «Дело в том, что книга эта не мой род». И далее о «роде», который органичен для Гоголя и в котором осуществляется его поэма: «Я хотел представить только читателю замечательнейшие предметы русские в таком виде, чтобы он сам увидел и решил, что нужно взять ему, и, так сказать, сам бы поучил самого себя... Вот вам исповедь моего писательства» [XIV, 40, 41].

«Исповедь моего писательства» содержится и в другом отправленном Гоголем перед отъездом письме – к В.А. Жуковскому. В общем оно развивает ту же мысль, что и письмо к Константиновскому, – о наглядности художественных произведений, отсутствии в них назидательности и прямого «учительства»: «Мое дело говорить *живыми образами*, а не рассужденьями. Я должен выставить *жизнь* лицом, а не трактовать о жизни». Однако, адресуясь к поэту-единомышленнику, Гоголь с наслаждением и с большей свободой, чем в письме к ржевскому протоиерею, рассуждает о самом эстетическом феномене. «Хотелось бы поговорить о том, о чем с одним тобой могу говорить: о нашем милом *искусстве*, для которого живу и для которого учусь теперь, как школьник». И устремляясь мыслью к далекому прошлому, к началу дружбы, Гоголь говорит: «Мы почувствовали родство, сильнейшее обыкновенного родства. Отчего? Оттого, что чувствовали оба святыню искусства» [XIV, 33; курсив в оригинале].

Настоящее письмо (как это уже давно отмечено) является наброском будущей «Авторской исповеди». Вместе с тем оно служит известным коррективом к «Выбранным местам...»: Гоголь на-



меревался при переиздании «поставить [письмо] впереди книги», заменив им рискованное и шокировавшее многих «Завещание».

Гоголь отправился в путь около 20 января, двумя-тремя неделями ранее намеченного срока. Ускорила его отъезд докатившаяся до Неаполя революционная волна. «...Из Неаполя меня выгнали раньше, чем я полагал, разные политические смуты и бестолковщина, во время которых трудно находить<ся> иностранцу, любящему мир и тишину» [XIV, 47–48], – пишет Гоголь А.М. Виельгорской 23 января н. ст., находясь уже на Мальте. Днем раньше, также с Мальты, он призывает покинуть Неаполь и А.П. Толстого, если тот еще этого не сделал, и сообщает некоторые подробности революционных событий: «Дела короля (речь идет о Фердинанде II, короле Обеих Сицилий. – Ю. М.) совершенно плохи: Мессина, Катания – все восстало, и английские фрегаты повсюду, как у себя дома. Привезенную от короля индульгенцию, говорят, мессинцы разорвали в куски, в виду его же гвард<ии>» [XIV, 46].

Перед отплытием Гоголя из Неаполя, говорит настоятель посольской православной церкви Серединский, он отслужил для писателя «напутственный молебен» [Материалы, т. 1, с. 115]. Сохранилась записка Гоголя к Серединскому, относящаяся, по-видимому, к этому событию, – Николай Васильевич напоминает, что «молебен должен быть вместе с обедней», и «убедительно» просит: «... если для вас все равно, начать обедню пораньше, а именно в 10 часов с четвертью» [XIII, 420]<sup>28</sup>.

Но одного молебна недостаточно, считал Гоголь. Чем больше людей попросят за него у Бога, тем вернее сбудется желание. И потому он просит Шереметеву, чтобы ее знакомый московский священник, «сверх того, что находится в обыкновенных молебнах», прочитал еще специальную молитву; с такой же просьбой обратился он к матери и сестрам. Текст этой молитвы, написанной Гоголем на отдельном листочке, гласил:

Боже, содейлай безопасным путь его, пребыванье во Святой Земле благодатным, а возврат на родину счастливым и благополучным!

Преклони сердца людей на пути к доставленью ему покровительства, восстанови тишину морей, укротив бурное дыхание ветров!

Тишину же души его исполни благодатных мыслей во все время дороги его! Удали от него духа колебаний, духа помыслов мятежных и волнующих, духа суеверия, пустых примет и малодушных предчувствий, ничтожного духа робости и боязни. <...>

И сподоби его, Боже, восстать от святого Гроба с обновленными силами, бодростью и рвением возвратиться к делу и труду своему, на добро земле своей и на устремление сердец к прославлению святого имени Твоего! (Сочинения и письма. СПб., 1857. Т. 6. С. 445–446; с некоторыми разночтениями – с. 448–449).

## Средиземное море

Гоголь плыл на маленьком пароходе «Капри». Произошло то, чего он так боялся: хотя сильной бури не было, Гоголем овладел приступ морской болезни. «Рвало меня таким образом, что все до едина возымели о мне жалость, сознавая, что не видывали, чтобы кто так страдал» [XIV, 46].

На Мальту Гоголь прибыл около 22 января н. ст. «в прах расклеившийся». Остановился «в плохом отелишке», видимо, не очень удобном для проживания. Это разочаровало Гоголя, имевшего, как мы знаем, высокие представления об английском качестве жизни (Мальта с 1800 г. принадлежала Англии). «Противу всякого чаяния, в Мальте почти нет всех тех комфорт, где англичане: двери с испорченными замками, мебели простоты гомеровской, и язык нивесть какой. Аглиц<кого> почти даже и не слышно» [Там же].

Все же хорошо то, что можно взять паузу перед предстоящим четырехдневным плаваньем. Гоголь использует это время для отправки писем на родину. Лейтмотив их тот же, что наметился еще в Неаполе, – заверение в питаемом ко всем благоволении и любви. С.П. Шевыреву, 23 января н. ст.: «...пожалуйста, передай это от меня всем, как близким друзьям, так и просто знакомым, что никакого неудовольствия ни против кого не питаю, что, напротив... любви у меня прибавилось скорее, чем убавилось...». Н.Н. Шереметевой: «Повторяю вам вновь, что ни против кого в душе не имею никакого неудовольствия. Напротив, всех люблю больше прежнего» [XIV, 49, 51].

И 27 января н. ст., уже перед самым отправлением, ввиду ухудшающейся погоды («гремит гром и шумит дождь»), А.П. Толстому: «Каково-то будет мое плаванье? Спасет ли Бог меня недостойного? Во всяком случае еще раз приношу вам благодарность за все» [XIV, 51].

Но на этот раз море было спокойное, и Гоголь чувствовал себя сносно.

Гоголь выбрал не тот маршрут, на котором остановился вначале: вместо кратчайшего пути на Александрию он отправился в направлении Константинополя на Смирну (отказался он и от высказанной еще раньше мысли посетить Грецию). Гоголь принял во внимание сведения, сообщенные ему проживавшим в Бейруте Базили: если плыть «из Александрии сюда, надо здесь просидеть 12 дней в карантине, а из Смирны сюда карантина нет» [Шенрок, т. 4, с. 685]<sup>29</sup>.

В Смирне (современное название – Измир) Гоголь пересел на пароход австрийской компании Ллойда «Истамбул», следовавший курсом на Бейрут, и сразу же оказался в шумной компании направлявшихся к Святым местам паломников. На борту находились и члены недавно учрежденной в Иерусалиме Русской духовной миссии во главе с архимандритом Порфирием (Успенским) (1804–1885), впоследствии епископом Чигиринским, известным также своими трудами по археологии. Один из членов миссии, священник Петр Соловьев, обратил внимание на двух русских, державшихся несколько особняком от других пассажиров.

Один из них был высокий, плотный мужчина в темно-синей с коротким капюшоном шинели на плечах и с красною фескою на голове, другой же маленький человечек с длинным носом, черными жиденькими усами, причесанными а la художник, сутуловатый и постоянно смотревший вниз. Белая поярковая с широкими полями шляпа на голове и итальянский плащ на плечах, известный в то время у нас под названием «манто», составляли костюм путника. Все говорило, что это какой-нибудь путешественный художник. Действительно, это был художник, наш родной гениальный сатирик Николай Васильевич Гоголь, а спутник его – генерал Крутов (Михаил Иванович Крутов был генералом в отставке. – Ю. М.).

От Петра Соловьева мы узнаем, что пассажиры корабля предприняли маленькую экскурсию на находившийся на пути остров Родос с целью осмотреть исторические постройки рыцарей-крестоносцев и «посетить местного прославленного митрополита». Мемуарист не уточняет, принимал ли в этом участие Гоголь, но некоторые последствия экскурсии коснулись и его.

Дело в том, что митрополит, принявший русских весьма радушно, на прощанье снабдил их «целою корзиною превосход-

ных апельсинов из своего сада». «На пароходе, – продолжает Соловьев, – о. П. (т. е. отец Порфирий. – Ю. М.) поручил мне потчевать родосскими гостинцами и земляков-спутников, что я не замедлил исполнить, отобрав десятка два лучших плодов. Гоголь и ген. Крутов не отказались от лакомства и поблагодарили меня за любезность. Тем дело и кончилось». Но не закончилось на этом общение Петра Соловьева с Гоголем.

Гоголь и Крутов поинтересовались у отца Порфирия, кто этот человек, который угостил их апельсинами, и тот, «вероятно... – продолжает свой рассказ Петр Соловьев, – отрекомендовал им меня яко художника, потому что спустя полчаса Гоголь вышел на палубу, где тогда я находился, и прямо направился ко мне. Не входя ни в какие объяснения, он показывает мне маленькую, вершка в два живописную (масляными красками) на дереве икону святителя Николая-чудотворца и спрашивает мнения, – искусно ли она написана? Затем он... поведал мне, что эта икона есть верная копия в миниатюре с иконы святителя в Бар-граде (Бари), написанная для него по заказу искуснейшим художником, и теперь сопутствует ему в путешествиях, потому что святитель мирликийский Николай – его патрон и общий покровитель всех христиан, посуху и по морям путешествующих. Я полюбовался иконою, как мастерски написанною и еще заметил, что у нас на православных старинных иконах святитель изображается несколько иначе, особенно по облачению, и что последнее прямо говорит о латинском происхождении барградского изображения святителя. На мой отзыв Гоголь ничего не возразил, но по всему видно было, что он высоко ценил в художественном отношении свою икону и дорожил ею, как святынею» [Соловьев, с. 553].

Реакция Гоголя характерна: хотя его позиция в отношении католичества заметно изменилась и писатель, вероятно, уже не сказал бы, как в 1837 г.: «...религия наша, так и католическая совершенно одно и то же» (см.: кн. 2, с. 180), но его восприятие и художественных произведений и религиозно-культурных сохранило былою широту и терпимость.

В первых числах февраля «Истамбул» причалил в бейрутском порту, и Гоголь сошел на берег.

## На Святой земле

В Бейруте Гоголя радушно встретил уже упоминавшийся К.М. Базили, старинный его приятель и соученик по нежинской Гимназии высших наук (см.: кн. 1, с. 376). Гоголю он был весьма полезен и как дипломат – Базили занимал должность русского консула (с 1844 г. – генерального консула) в Сирии и Палестине, – и как ученый, глубокий знаток проблем Ближнего Востока. Как раз в это время Базили работал над книгой «Сирия и Палестина под турецким правительством, в историческом и политическом отношениях» (2 части, Одесса, 1861–1862; переизд.: М., 2007). Гоголь, ознакомившийся с книгой в рукописи, писал Жуковскому 16/28 февраля 1848 г. из Иерусалима: «Знания бездна, интерес силен. Я не знаю никакой книги, которая бы так давала знать читателю существо края» [XIV, 53].

После небольшого отдыха в гостеприимном доме Базили (этому гостеприимству содействовала и жена хозяина дома Маргарита Александровна) Гоголь в сопровождении Константина Михайловича отправился в Иерусалим.

В дороге Гоголь был порой нетерпелив, капризен, не всегда считался с обстоятельствами и местными условиями. Об этом рассказал первый биограф писателя со слов самого Базили.

Б<азили>, занимая значительный пост в Сирии, пользовался особым влиянием на умы туземцев. Для поддержания этого влияния он должен был играть роль полномочного вельможи, который признает над собою только власть «Великого Падишаха». Каково же было изумление арабов, когда они увидели его в явной зависимости от его тщедушного и невзрачного спутника! Гоголь, изнуряемый зноем песчаной пустыни и выходя из терпения от разных дорожных неудобств, которые, ему казалось, легко было бы устранить, – не раз увлекался за пределы обыкновенных жалоб и сопровождал свои жалобы такими жестами, которые, в глазах туземцев, были доказательством ничтожности грозного сатрапа. Это не нравилось его другу; мало того: это было даже опасно в их странствовании через пустыни, так как их охраняло больше всего только высокое мнение арабов о значении Б<азили> в русском государстве. Он упрашивал поэта говорить ему наедине что угодно, но при свидетелях быть осторожным. Гоголь соглашался с ним в необходимости такого поведения, но при первой досаде позабыл дружеские условия и обратился в избалованного ребенка. Тогда Б<азили> решился вразумить приятеля самым делом и

принял с ним такой тон, как с последним из своих подчиненных. Это заставило поэта молчать, а мусульманам дало почувствовать, что Б<азили> все-таки полновластный визирь «Великого Падишаха»... [Кулиш, 1856, т. 2, с. 164–165].

Дорога русских путешественников пролегла через Сидон, Тир, Акру и затем через Назарет, где прошли детские годы Христа. Этот путь до Иерусалима был самым прямым; воспользоваться им советовал Гоголю и побывавший на Ближнем Востоке Август-Карл Андреевич Бейне (1816–1858), выпускник Академии художеств, архитектор, впоследствии академик. По просьбе Александра Иванова Бейне послал Гоголю подробное письмо с изложением разных полезных сведений, касающихся его предстоящего путешествия [см.: Шенрок, т. 4, с. 685–687].

Впоследствии, уже будучи в России, Гоголь подробно описал свое путешествие Жуковскому.

Подымаясь с ночлега до восхождения солнца, садились мы на мулов и лошадей в сопровожденьи и пеших и конных провожатых; гусем шел длинный поезд через малую пустыню по мокрому берегу или дну моря, так что с одной стороны море обмывало плоскими волнами лошадиные копыта, а с другой стороны тянулись пески или беловатые плиты начинавшихся возвышений, изредка поросшие приземистым кустарником; в полдень колодец, выложенное плитами водохранилище, осененное двумя-тремя оливами или сикоморами. Здесь привал на полчаса и снова в путь, пока не покажется на вечернем горизонте, уже не синем, но медном от заходящего солнца, пять-шесть пальм и вместе с ними прорезывающийся сквозь радужную мглу городок, картинный издали и бедный вблизи, какой-нибудь Сидон или Тир. И этакий путь до самого Иерусалима (XIV, 167–168).

Иерусалим открылся Гоголю с Элеонской горы: «Поднимаясь вместе с горою, как бы на приподнятой доске, он выказывается весь, малые дома кажутся большими, небольшие выбеленные выпуклости на их плоских крышах кажутся бесчисленными куполами, которые, отделяясь резко своей белизной от необыкновенно синего неба, представляют вместе с острями минаретов какой-то играющий вид».

На Элеонской горе видел Гоголь и «след ноги вознесшегося, чудесно вдавленный в твердом камне, как бы в мягком воске, так что видна малейшая выпуклость и впадина необыкновенно правильной пяты».

Еще Гоголю запомнился пейзаж, открывшийся уже по выезду из Иерусалима, когда «вдали, в голубом свете, огромным полукружьем предстали горы. Странные горы: они были похожи на бока или карнизы огромного, высунувшегося углом блюда. Дно этого блюда было Мертвое море» [XIV, 167–169].

О Мертвом море Гоголь рассказывал и Смирновой-Россет; присутствовавший при этом Л.И. Арнольди записал рассказ:

На несколько десятков верст тянулась степь все под гору; ни одного дерева, ни одного кустарника, все ровная, широкая степь; у подошвы этой степи или, лучше сказать – горы, внизу виднелось Мертвое море, а за ним прямо, и направо, и налево, со всех сторон, опять то же раздолье, опять та же гладкая степь, поднимающаяся со всех сторон в гору. Не могу описать, как хорошо было это море при заходе солнца! Вода в нем не синяя, не зеленая и не голубая, а фиолетовая. На этом далеком пространстве не было видно никаких неровностей у берегов; оно было правильно овальное и имело совершенный вид большой чаши, наполненной какой-то фиолетовой жидкостью [Воспоминания, с. 473–474]<sup>30</sup>.

Никакие другие виды, добавляет Гоголь в упомянутом письме к Жуковскому, не поразили его. «Где-то в Самарии сорвал полевой цветок, где-то в Галилее другой; в Назарете, застигнутый дождем, просидел два дня, позабыв, что сижу в Назарете, точно как бы это случилось в России, на станции» [Там же. С. 167–169]; в записной книжке Гоголь также отметил: «В Назарете дождь задержал нас двое суток» [VII, 375].

Картины эти словно увиденны усталым взором, краски поблекли, впечатления приобрели характер обыденности («...как бы это случилось в России...»). Это объясняется тем, что отчет Жуковскому о своих переживаниях Гоголь давал много позже (28 февраля 1850 г.), когда обозначилось его глубокое разочарование в путешествии. Можно с уверенностью сказать, что вначале его переживания были другими – Гоголь с волнением ждал встречи с Гробом Господним (кстати, в упомянутой записной книжке зафиксировано: «Николай Гоголь – в св. Граде» [VII, 374]). Вскоре после того, как это произошло, он писал из Бейрута (у Гоголя: Байрут) 6 апреля 1848 г. тому же Жуковскому:

Уже мне почти не верится, что и я был в Иерусалиме. А между тем я был точно, и говел, и приобщался у самого Гроба Святого. Литургия совершалась на самом гробовом камне. Как это было поразительно! Ты

уже знаешь, что пещерка, или вертеп, в котором лежит гробовая доска, не выше человеческого роста; в нее нужно входить, нагнувшись в пояс; больше трех поклонников в ней не может поместиться. Перед нею маленькое преддверие, кругленькая комнатка почти такой же величины с небольшим столбиком посередине, покрытым камнем (на котором сидел ангел, возвестивший о воскресении). Это преддверие на это время превратилось в алтарь. Я стоял в нем один. Передо мною только священник, совершавший литургию. Диакон, призывавший народ к молению, уже был позади меня, за стенами гроба. Его голос уже мне слышался в отдалении. Голос же народа и хора, ему ответствовавшего, был еще отдаленнее... Все это было так чудно! Я не помню, молился ли я. Мне кажется, что я только радовался тому, что поместился на месте, так удобном для моления и так располагающем молиться. Молиться же собственно я не успел. Так мне кажется. Литургия неслась, мне казалось, так быстро, что самые крылатые моления не в силах бы угнаться за нею. Я не успел почти опомниться, как очутился перед чашей, вынесенной священником из вертепа для приобщения меня, недостойного... [XIV, 57–58].

В знак посещения Гроба Господня Гоголь получил от митрополита Петраса Мелетия и наместника патриарха в святом граде Иерусалиме две реликвии и следующую записку, удостоверяющую их подлинность: «1848, февраля 23. В граде Иерусалим, ради усердию, которую показывал к живописного Гроба Господня и на прочих святых местах духовный сын наш Николай Васильевич (Гоголь), в том и благославляю ему маленький части камушка от Гроба Господня и часть дерева от двери храма воскресения, которая сгорела во время пожара 1808 сентября 30-го дня, эти частички обе справедливость» [Гиляровский, с. 32].

Еще надо сказать, что у Гроба Господня Гоголь помянул имена родных и близких; перечень имен он составил заранее:

Чьи имена вспомнить у Гроба Святого:

Матвея Александровича [Константиновского], Надежду Николаевну Ш<ереметеву>, Всю родную семью мою, Александру Осиповну С<мирову>, Степана Петровича Шев<ырева>, Михаила Петров<ича> Погод<ина>, Александра Петровича Толстого, Петра Алексеевича Плетнева, Василия Андреевича Жуков<ского>, Вьельгорских, Аксаковых и всех близких друзей и благодетелей [VII, 374].

Из Иерусалима же 28 и 29 февраля н. ст. Гоголь отправил письма на родину – Жуковскому, Матвею Константиновскому, Шере-



метево́й и матери и сестрам. Шереметеву он, в частности, просил молиться о его будущем «деятельном вступлении на поприще с освеженными и обновленными силами», а Жуковского – об их будущем совместном житье-бытье в Москве.

Еще Гоголь отослал из Иерусалима письмо к Маргарите Александровне Базили в Бейрут. Из письма видно, что у него хорошее настроение, что свою поездку он считает удачной: «Все совершенно обстоит благополучно. Ехали мы прекрасно, приехали и того лучше, собираемся ехать к вам с наслаждением» [XIV, 54–55].

Обстоятельства возвращения Гоголя в Бейрут не совсем ясны. По словам В.Б. Бланка, в обратный путь Гоголь отправился один, так как Базили, будучи генеральным консулом не только в Сирии, но и в Палестине, должен был задержаться в Иерусалиме «по делам службы». Это вполне возможно: об огромном количестве дел, обрушившихся на Базили, говорил и Гоголь в только что упомянутом письме к Маргарите Александровне, да и сам Базили сделал на письме краткую приписку: «...решительно некогда писать» [XIV, 369].

О нескольких днях, проведенных Гоголем в Бейруте, известно от того же Бланка, который, по его словам, «часто навещал» Николая Васильевича. Бросается в глаза некоторая сдержанность и легкая печаль в облике Гоголя. «Он был очень приветлив, но грустен, был набожен, но не ханжа, никогда не навязывал своих убеждений и не любил разговора о религии. Часто посещал он жену Базили и приглашал меня показывать ему окрестности Бейрута».

По возвращении в Бейрут Константин Базили решил познакомиться Гоголя с «бейрутским обществом, чтобы рассеять немного его грустное настроение». Но – безрезультатно. «Однажды, входя в дом консула, – продолжает мемуарист, – на лестнице я встретил уходившего Гоголя, и на мой вопрос, что он так рано уходит, он махнул рукою и отвечал: “ваше бейрутское общество страшную тоску не меня навело; я ушел потихоньку, пора домой; не говорите Базили, что меня встретили”» [Бланк, с. 215].

6 апреля н. ст. Гоголь вместе с Базили отплыл в Смирну, где несколько дней пришлось провести в карантине, а к 13 апреля прибыл в Константинополь. Здесь его ожидала встреча с еще одним соучеником по нежинской Гимназии высших наук – Иваном Дмитриевичем Халчинским (см. о нем: кн. 1, с. 376; см. также: Супронюк, 2). Халчинский служил в это время советником русского посольства в Константинополе.

14 апреля н. ст. вместе с Базили Гоголь отбыл из Константинополя в Одессу. За несколько часов до отплытия парохода-фрегата «Херсонес» Гоголь писал Александру Иванову в Рим: «Путешествие мое в Иерусалим совершилось, слава Богу, благополучно» [XIV, 60]. Вместе с тем «совершилось» и почти десятилетнее (если вычесть время двукратного приезда Гоголя в 1839–1840 и в 1841–1842 гг.) пребывание его за границей.

Чувство неудовлетворенности предпринятым путешествием в Святую землю росло у Гоголя постепенно, особенно отчетливо проявилось оно уже по возвращении в Россию. Но проблески этого чувства возникли после моления у Гроба Господня. «...Никогда еще так ощутительно не виделась мне моя бесчувственность, черствость и деревянность» (А.П. Толстому, 13/25 апреля [XIV, 59]). «...Еще никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима» (Матвею Константиновскому, 21 апреля [XIV, 63]).

Гоголевское недовольство собою, перепады настроения, переход от надежды к унынию и наоборот – все это обусловлено комплексом тех мотивов, которые стимулировали его паломничество на Святую землю. Эти мотивы менялись вместе с продвижением и судьбой его главного труда.

Начиная с весны 1842 г., когда Гоголь получил благословение Иннокентия, бывшего в ту пору епископом Харьковским, идея этого паломничества приобрела, так сказать, публичный характер и стала фактором его осуществляемого на глазах у многих жизненного пути. О намерении Гоголя знали не только из устных рассказов близких к нему людей (Аксаковых или Н.Н. Шереметевой), но и из печати. Так, в «Московских ведомостях» [Прибавления к № 38 от 13 мая 1842 г., с. 567], в рубрике «Отъезжающие за границу», можно было прочитать: «В Италию и ко Святым местам, 8-го класса Николай Васильевич Гоголь; жительство имеет в доме Погодина на Девичьем поле». Словно Гоголь из Москвы уже двинулся в путь именно к Гробу Господню.

Вначале паломничество мыслилось писателем лишь «по совершенном окончании» его «труда» [XII, 133]. Окружающие Гоголя твердо запомнили это условие. «Вы на мой вопрос, когда отправитесь в дальний путь, всегда отвечали, что вам необходимо прежде кончить свой труд» (Шереметева – Гоголю, 20 марта 1845 г. [Шереметева, с.107]). Такой шаг стал бы выражением благодарности Богу и в то же время актом высшего освящения соз-

данного произведения. И возвращение на родину представлялось Гоголю возможным (вместе с написанной книгой, т. е. по крайней мере со вторым томом поэмы!) только через Иерусалим – все ассоциации высокого мессианского плана, вытекавшего из такого поступка, писателем, конечно, сознавались. Но Гоголь не был бы Гоголем, если бы он не ощущал и другое – величайшую ответственность и риск, вытекавшие из подобной ситуации, неминуемо перетекавшей в ситуацию рокового выбора и строжайшего испытания. А что если его почин будет отвергнут Божественной волей и испытание не выдержано?.. Это как прыжок в неизвестность, таящую в себе неведомые и, может быть, превышающие его силы опасности. Неслучайно в Предисловии к «Выбранным местам...», еще более увеличивая элемент публичности своего решения, Гоголь объявлял, что его «жизнь» «на волоске» и что во время его «путешествия к Святым местам» «может все случиться».

Согласно В.Я. Проппу, путешествие в чужое пространство приравнивается к смерти, а возвращение – к воскресению. Гоголевское мироощущение сложнее этого архетипа! В далеком «пространстве» Гоголь ищет не смерти, а «жизни» и воскрешения; но в то же время он страшится и смерти, причем в прямом, физическом ее смысле, и эти неутешительные ожидания ставят под вопрос и целительный эффект «возвращения». И на все это еще накладывался комплекс переживаний психологического и духовного свойства: боязнь смерти – как душевного и творческого оскудения и жажда воскресения – как обретения полноты чувств и художнической энергии.

Отсюда необычайная подвижность и изменчивость гоголевских мотиваций. Если не удалось завершить задуманный труд, освятив его пребыванием у Гроба Господня, то остается более скромное желание: «Теперь ничего другого не хочется, как только поклониться в тишине Святому гробу, принеся на нем благодарность за все со мной случившееся, испросить сил и мужества на свое дело и потом возвратиться прямо в Россию» [XIII, 396]. «Возвратиться» если не с готовой рукописью, то хотя бы с желанием и силами ее завершить. «Благодарственный молебен превращался в зов о помощи... Если сам Христос благословит его книгу, он будет спасен» [Труайя, с. 508]. А если нет? Страшно даже подумать...

И еще другой оттенок: «Съезжу в Иерусалим (чего стало даже и совестно не делать), поблагодарю как сумею за все бывшее...» [XIV, 38]. Не ехать в Иерусалим – «совестно»! Это все равно что быть уличенным публично в бахвальстве и обмане... Но

опасения перед будущим и страх неудачи все-таки столь велики, что Гоголь готов отказаться от паломничества: «Признаюсь, что часто даже находит на меня мысль: зачем я поеду теперь в Иерусалим? ...не будет ли оскорблением святыни мой приезд и поклонение мое? Если бы Богу было угодно мое путешествие, возгорелось бы в груди моей и желание сильней... Но в груди моей равнодушно и черство, и меня утрашает мысль о затруднениях» [XIII, 399].

Нет никаких оснований видеть в этих колебаниях и противоречиях гоголевских объяснений «по большей части сфальсифицированные эксплицитные мотивировки поездки» [Паперный, с. 160]. Это не симуляция, а действительная изменчивость и текучесть мотивов. Гоголь не притворяется, не играет роль; напротив, стремится к предельной откровенности, к необычной для него полной открытости, обнажая такие стороны души, которые невыгодны ему в общественном мнении, так как подрывают идею его духовного (не только художнического) избранничества.

Между тем паломничество к Гробу Господню подтвердило худшие опасения Гоголя, не ощутившего ни прилива сил, ни освежения души. «Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от святых тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, – и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное» (Жуковскому, 28 февраля 1850 г. [XIV, 167]). «Я был недоволен состоянием души своей и теперь также. В ней бывает так черство!» (Матвею Константиновскому, 9 ноября 1848 г. [XIV, 96]).

Поэтому-то Гоголь с такой неохотой вспоминал о своем паломничестве («Что могут доставить мои сонные впечатления?»). Когда в мае 1848 г. в Васильевке съехавшиеся для встречи со знаменитым земляком соседи «начали распрашивать о св. местах», тот уклонился от разговора. «В св. местах так много перебивало разных путешественников и в разное время и так много о них написано, что я ничего не могу сказать вам нового», – был ответ [Б. 1880. № 268; рассказ соученика Гоголя по нежинской Гимназии высших наук Т.Г. Пащенко].

Следы глубокого расстройствa заметила и Ольга Васильевна. Она «ожидала, что путешествие в Иерусалим возвратит брату душевное спокойствие и прежнюю веселость и работоспособность; но как только он приехал в Яновщину – тотчас после пребывания в Иерусалиме, – она с первого взгляда на его осунувшееся, страдальческое лицо поняла, что поездка не только ничего не дала

ее брату, а даже, напротив, еще более подорвала его слабеющие силы» (рассказ В.Я. Головни со слов своей матери Ольги Васильевны [Головня, с.75]).

«Ничего не дала...» – это, конечно, преувеличение. Но разочарование, переживание несбывшихся надежд очевидны.

Ведь ощущение своей черствости и бесчувствия поставили под сомнение не только право на высокое предназначение, но и на повседневную связь со Всевышним. Не смог всем сердцем молиться у Святого гроба – значит, не угоден Богу. Гоголь «переживает последний и жесточайший кризис – *кризис религиозный*. Он начинает сомневаться в самом интимном и святом – в своей близости к Христу, в своей любви к Богу. А что если прав Аксаков, толкующий о его союзе с дьяволом и он действительно пребывает в греховном ослеплении и “прелести”?» [Мочульский, с. 111–112; курсив в оригинале]. А что если прав (можно к этому добавить) и Белинский, говоривший в своем недавнем письме, что «незачем ходить пешком в Иерусалим» тому, «кто носит Христа в груди своей»? Гоголь «вступает в последний круг своего ада – в пустыню *богооставленности*» [Там же. С. 112; курсив в оригинале].

К этому выводу напрашивается, однако, одно немаловажное уточнение: даже если Бог оставил или оставляет Гоголя, Гоголь не может отстать от Бога, и он будет с еще большим рвением и самоотверженностью доказывать свое право на высшее участие, на высокую миссию. Это право он выговорит, вымолит, выслужит. Пусть не на Святой земле – на родине, в России. Выслужит завершением своего труда, своей Книги жизни.

## *Часть вторая*



---

## Возвращение

Пароход-фрегат «Херсонес», на котором находились Гоголь и Базили, причалил к одесскому берегу 16 апреля 1848 г. (ОВ. № 30–31. 17 апреля 1848 г.). А.С. Стурдза, одесский житель, тотчас же известил об этом москвича Погодина: «Н.В. Гоголь и К.М. Базили прибыли на днях в нашу Одесскую пристань» [Барсуков, т. 9, с. 470; с датировкой письма, очевидно, ошибочной – 12 апреля]. Сам Гоголь сообщил о своем приезде спустя пять дней матери в Васильевку, Матвею Константиновскому в Ржев, С.П. Шевыреву в Москву, позднее А.С. Данилевскому в Киев, где тот занимал должность инспектора второго благородного пансиона при киевской Первой гимназии.

Друзья давно торопили Гоголя с возвращением на родину. «...Можно ли узнавать Россию, живучи все так далеко от нее? Неужели не чувствуешь потребности побывать опять в ней, чтобы освежить впечатления и собрать новые?» [Переписка, т. 2, с. 325], – писал 20 октября 1846 г. Шевырев.

И вот Гоголь вернулся. Среди москвичей это известие вызвало бурную радость. «Наконец вы в русской земле, любезнейший Николай Васильевич, наконец я пишу к вам, а не за границу! Шесть лет! Порядочно» [Там же. С. 94], – вырвалось у К.С. Аксакова. «Здравствуйте, здравствуйте на святой Руси, мой любезный друг Николай Васильевич! Давно должны были написаться эти строки...» [Там же. С. 99], – вторил сыну Аксаков-старший. «Приветствую тебя в отечестве, поздравляю тебя с совершением обета веры, как было для тебя сладко, животворно, действительно посетить Святую землю!» [Там же. Т. 1. С. 441], – писал Гоголю Погодин. На радостную весть отозвался и Шевырев, сразу же по получении письма от Гоголя сообщивший Н.Н. Шереметевой: «Слава Богу, он прибыл благополучно... Духом спокоен и счастлив... Когда я прочел его письмо, первую мыслью было благодарить Бога за то, что он по милосердию своему услышал наши молитвы...» [Барсуков, т. 9, с. 471]. Увы, Гоголь не был «духом спокоен и счастлив»...

Друзья Гоголя надеялись, что исполнение «обета веры», возвращение на родину и, как говорил С.Т. Аксаков, освежение и укрепление «родным воздухом» благотворно и без промедлений скажутся на его состоянии.

Но этого не произошло, несмотря на то что не только далекие москвичи, но и те, кто был рядом, с кем столкнулся писатель,



едва вступив на родной берег, готовы были оказать ему всяческое внимание.

Сразу же по прибытии Гоголь должен был отправиться в двухнедельный карантин – это была обязательная процедура для всех прибывающих из-за границы. В карантине чуть ли не на следующий день Гоголя навестил его дальний родственник Андрей Андреевич Трощинский, генерал-майор, племянник Дмитрия Прокофьевича Трощинского, – как и его могущественный дядя, Андрей Трощинский оказывал покровительство семье Гоголей.

А затем появились и другие посетители, в их числе Лев Сергеевич Пушкин (1805–1852), – это была первая встреча Гоголя с братом великого поэта. «Некогда непоседливый, пылкий Левушка и vaillant capitaine [храбрый капитан], как звали его близкие» [Лернер, с. 324], превратился в чиновника, «мирного члена одесской таможни». Кстати, Лев Сергеевич всего на пять месяцев пережил Гоголя (он скончался 19 июля 1852 г. и был похоронен на одесском кладбище).

Вместе со Л. Пушкиным Гоголя навестил проживавший в Одессе Н.Г. Тройницкий, оставивший воспоминания об этом визите (мемуарист говорит о себе в третьем лице):

Лев Сергеевич Пушкин и Н.Г. Тройницкий отправились в карантин, где на их звонок вышел из своего номера Гоголь. Физиономия Гоголя при первом взгляде на него поражала своим саркастическим выражением. Он рассеянно перебирал четками и приветствовал навестивших его знаком своей руки. Его отделяли от посетителей четвертные проволочные решетки на довольно значительное пространство, так что разговаривать оказывалось довольно неудобным. Явственно доносился только плеск береговой волны, а по ту сторону залива как бы трепетала в струях знойного миража прилегающая к морю степь» [Тройницкий, с. 47].

Навестил Гоголя и Николай Васильевич Неводчиков (1822–1910), выпускник Московской духовной академии, литератор, автор богословских трудов, впоследствии архиепископ Кишиневский и Хотинский, принявший имя Неофит. Ко времени приезда Гоголя Неводчиков исполнял обязанности учителя в приюте под начальством Стурдзы, а также домашнего учителя его внука. В карантин Неводчиков пришел с поручением от Стурдзы «приветствовать его [Гоголя] с приездом и предложить ему добрые услуги».

Вероятно, тронутый таким вниманием, – вспоминал впоследствии Неводчиков, – Н.В. разговорился со мной более, чем я ожидал. Он принялся меня расспрашивать о Стурдзе, а потом о городе, именно любят ли в нем чтение? много ли книжных лавок? можно ли найти в них английские книги? Он даже коснулся собственно меня и, узнав, что я занимаюсь воспитанием внука Стурдзы, заметил о важности сего занятия: «Да, вся безалаберщина, какая набирается нам в голову, как-то сосредотачивается и уясняется, когда готовимся передать ее другим».

В заключение он попросил прислать ему в карантин «Мертвые души» и два-три нумера «Москвитянина» [Неводчиков, с. 263].

Подробности этого «карантинного разговора» (выражение Неводчикова) связаны с кругом размышлений Гоголя в ту пору. Так, вопрос об английских книгах свидетельствует о том, что тема Англии продолжала его интересовать (см. выше, с. 136 и далее). «Москвитянин» понадобился, в частности, в связи с публикацией статьи Жуковского «О поэте и современном его значении», являющейся ответом на письмо Гоголя к нему от 10 января н. ст. 1848 г. Замечание же об обязанностях воспитателя поясняется пассажем из письма Неводчикова к Гоголю, отправленного уже после посещения карантина: «В последнее время, – говорит Неводчиков, – соблазняла меня мысль, что должность наставника не по силам: меня одолевали лень и лжесмирение. Добрая ваша мысль о пользе воспитания для самого воспитателя запала в мою душу и освежила ее. За все вам русское спасибо!» [Шенрок, т. 4, с. 698].

Значит, по Гоголю, «уясниться» и «сосредоточиться» должна прежде всего душа самого воспитателя в то время, когда он воспитывает другого. Писатель уже пытался опробовать эту идею, когда вынашивал планы пристроить безалаберного П.В. Нащокина в качестве наставника сына Бенардаки и тем самым оказать услуги и воспитываемому и воспитывающему (см.: кн. 2, с. 338). Но эта идея отвечала и личной тактике Гоголя: поражать в другом свои собственные недостатки и хворости, словно объективируя их, отделяя от себя.

Внешне это напоминает «врач! исцели Самого Себя» [Лк. 4: 23]. Но евангельское выражение обычно употребляется в значении: других не суди, на себя посмотри (*Михельсон М.И.* Ходячие и меткие слова. СПб., 1896. С. 43); или: прежде чем осуждать других, исправься сам (*Ашукин Н.С., Ашукина М.Г.* Крылатые слова. М., 1988. С. 60). У Гоголя же предполагается, так сказать, одновременность и взаимосвязанность обоих процессов: исправляя других, воспитатель исправляется сам...

Гоголь пробыл в карантине две недели. «...30 апреля выходит в город Одессу, и мы его встречаем у Отона» [Барсуков, т. 9, с. 470], – сообщил Погодину Николай Никифорович Мурзакевич (1806–1883), профессор русской истории, впоследствии директор Ришельевского лицея. Таким образом, к чествованию Гоголя подключилась профессура, решившая отметить волнующую встречу в знаменитом ресторане, стены которого еще помнили веселые застолья с участием Пушкина: «...Шум, споры – легкое вино / Из погребов принесено / На стол услужливым Отоном» («Отрывки из путешествия Онегина»).

Встреча состоялась 1 мая, о чем оповестила своих читателей местная газета, сообщившая, что школьные товарищи и друзья «в сообществе многих почитателей знаменитого русского таланта» дали обед в честь Гоголя [ОВ. 1848. № 40. 19 мая].

Очевидно, слух о предстоящем обеде широко распространился в городе, но не все смогли на него попасть. Один из неудачников – Василий Иванович Белый (или Билый; 1817–1890), сын купца третьей гильдии, служивший с 1835 г. в Одесской городской думе. Позднее в письме (неопубликованном) к Гоголю Белый рассказывал:

В то время была у меня на душе сильнейшая горечь, а тут единственный приятель мой зовет праздновать весну, было 1 мая; но я бегал везде по городу, чтоб увидеть Гоголя. И если было встречу француза в борде или итальянца в смешном костюме: это Гоголь! Гоголь! прежде же всего увидел одного большого господина, который ехал в енотовой шубе, по той улице, где дом Т. (подразумевается А.А. Трощинский, у которого остановился Гоголь. – Ю. М.). – Это непременно Гоголь! а тогда было тепла за 20 град. Но увидел Вас уже на другой день в Л. церкви; но через одних сударыней, я мало Вас видел. И было мне за что-то очень, очень досадно [ОР РГБ. 298/IV (Тихонравов). 1. 55; этот документ сообщен мне Н.Л. Виноградской]<sup>31</sup>.

Но известно, что Гоголь не очень склонен был к случайным знакомствам. Так же как и не любил он многолюдство, в котором обычно чувствовал себя не совсем свободно, и едва ли не упомянутую встречу у Отона имел в виду Тройницкий, говоря, что Николаю Васильевичу «было привольнее в дружеском кругу, чем в большом обществе». «Привольнее» чувствовал себя Гоголь, заходя попросту к тому же Тройницкому или к Льву Пушкину, – оба жили в одном доме Крамаревой на Дерибасовской.

Темы разговоров с Тройницким или Львом Пушкиным бывали разные. «Гоголь вспоминал об Италии, о Пушкине, о порядках в отечестве, о новейших явлениях в русской литературе и рассказал несколько анекдотов». Пушкинская тема, естественно, стимулировалась присутствием брата поэта; ее отзвук слышится и в стихотворении Тройницкого «Гоголю», написанном, как говорит автор, «в память знакомства» с писателем: мол, во время этих бесед говорилось и «про твои с *поэтом* [т. е. с Пушкиным] встречи» [курсив в оригинале].

Похоже, что и Тройницкий (и, возможно, Лев Пушкин) заходил к Гоголю; об этом свидетельствует сделанное мемуаристом подробное описание обстановки, которая окружала писателя.

Гоголь проживал у Сабанеева моста, во флигеле дома, ныне принадлежащего графине Толстой, в двух комнатах. В одной из них стоял только круглый ясеневый стол, на котором лежала одна книжечка – Новый Завет на греческом языке. В другой – кровать, два стула и у окна ясеневая конторка, на которой лежала толстая тетрадь в полулист. Гоголь уже находился тогда под разьедающим настроением того мистицизма, из которого, по-видимому, он и сам не усматривал выхода...» [Тройницкий, с. 47–48].

Как видно, подмеченная в Гоголе перемена Тройницкому не понравилась. А вот у другого гоголевского собеседника – А.С. Стурдзы она вызывала радостное одобрение. Продолжала вызывать – можно сказать для точности, потому что после первой и, в общем, формальной встречи в Швейцарии в августе 1836 г. они спустя десятилетие довольно близко познакомились в Риме и вели доверительные беседы (см.: наст. издание, с. 12). Ко времени приезда Гоголя в Россию Стурдза, бывший дипломат, давно уже (с 1819 г.) находившийся в отставке, проводил время на своей одесской даче под названием Приют.

Судя по всему, Гоголь приехал к Стурдзе, что называется, экспромтом – было это сразу же по выходе из карантина. «Он нечаянно посетил меня на моей приморской даче, вместе с умным спутником своим К.М. Базили, – вспоминал Стурдза. – Но свидание наше было минутно. Гоголь спешил к родным в Малороссию, а оттуда в Москву» [М. 1852. № 20. Отд. 1. С. 225].

Несмотря на краткость встречи, оба остались ею довольны. «Мы виделись мало: час с небольшим, – писал Гоголь Стурдзе 6 июня 1850 г. из Москвы. – Только прошлишь по саду вашего

приятного обиталища да едва тронулись [так!] в разговоре таких вопросов, о которых хотелось бы душе поговорить подольше. Но, несмотря на то, этот час и эта прогулка остались в памяти моей, как что-то очень отрадное» [XIV, 189]. Стурдза же сразу же после встречи, 3 мая 1848 г., послал Гоголю из Приюта свою книжку «Письма о должностях священного Сана» (4-е изд. – 1844), сопроводив ее письмом: «Она пригодится кому-нибудь, и в руках ваших пусть остается лучший труд мой залогом моей братской любви к вам и надежды на вас!» [Шенрок, т. 4, с. 697].

Обмен похвалами свидетельствовал о сближении взглядов, подкрепляемом взаимной симпатией. И действительно, Гоголю могла импонировать развиваемая Стурдзой центральная идея терпимости как основа самовоспитания и общественной организации. «Терпимость на уровне отдельных людей проявляется в следовании известной евангельской истине “не судите, да не судимы будете”. Вместо того, чтобы критиковать действия другого человека, Стурдза предлагает индивиду заняться самосовершенствованием. “Истинный христианин терпим по своей сути, потому что он смирен и потому что его ум, следуя Божественным предписаниям Евангелия, знает всю слабость и все достоинства человека”» [Парсамов, с. 181]. И у Гоголя (особенно в «Выбранных местах...») воспитание другого неотъемлемо от самовоспитания: «...тот же самый упрек, который сделал другому, сделай тут же себе самому. <...> Если даже тебе случится рассердиться на кого бы то ни было, рассердись в то же время и на себя самого, хотя за то, что сумел рассердиться на другого» [VIII, 282].

...Были у Гоголя в Одессе и другие встречи: с сыновьями бывшего директора нежинской Гимназии высших наук И.С. Орлая и ее выпускниками Александром и Андреем («Орлаи оба, Александр и Андрей, прекрасные люди», – писал Гоголь Данилевскому из Одессы, 4 мая 1848 г. [XIV, 66]); с неперменным членом Строительного комитета Одессы Петром Павловичем Титовым (1800–1878) и его женой («Титовы были люди гостеприимные и жили в Одессе очень открыто» [Маркевич, с. 26]). Разыскал Гоголя в Одессе и Василий Васильевич Черныш, единоутробный брат Данилевского. Гоголь мечтал о встрече с самим Сашей Данилевским, но тот не смог выбраться в Одессу, занятый экзаменами и другими учебными делами.

...Прожив в Одессе три недели, включая пребывание в карантине, Гоголь 7 мая отправился в Васильевку, где его давно и с нетерпением ожидали.

Днем 9 мая в Васильевку пришло с нарочным письмо из Полтавы от С.В. Скалон, дочери И.В. Капниста, давней приятельницы гоголевского семейства. Та извещала, что Николай Васильевич «будет сегодня или завтра». «После человек открыл, что он уже едет и сейчас будет». Елизавета Васильевна, сестра писателя, «плакала от радости». Брат так чудесно подгадал: 9 мая – его именины, всегда отмечаемые, где бы он ни жил, на родине, в Москве или в Риме.

Но вот появился Николай... «Как он переменялся! Такой серьезный сделался; ничто, кажется, его не веселит, и такой холодный и равнодушный к нам! Как мне это было больно!» [Шенрок, т. 4, с. 703], – записывает в тот же день Елизавета Васильевна.

И затем это ощущение все возрастало и становилось мучительнее.

На другой день после именин, 10 мая: «Все утро мы не видели брата! Грустно: не виделись шесть лет и не сидит с нами».

Через два дня, 13 мая: «Брат все такой же холодный, серьезный, редко когда улыбнется; однако сегодня больше разговаривал».

Через неделю, 20 мая: «Сегодня у меня сильное раздражение нервов, и я все плачу».

И наконец, 25 мая: «Брат уехал в Киев. Так было грустно; все что-то тревожит» [Там же. С. 703–704].

В продолжение этого времени в Васильевке бывали гости: навещали соседи, приезжала Софья Васильевна Скалон с мужем Василием Антоновичем Скалоном (1805–1882), армейским офицером, преподавателем Полтавского кадетского корпуса, и сыном Сашей. Да и сам Гоголь на день-два с сестрой Анной ездил в Полтаву, откуда они возвратились вместе с племянником Колей Трушковским. Собирали и крестьян, которые танцевали и пели во дворе, угощались и пили за здоровье Николая Васильевича («Меня очень тронуло, что они были так рады его видеть!» – записывает Елизавета Васильевна). Но все это не улучшало настроения Гоголя и общей атмосферы в доме.

Со своей стороны, Гоголь так описывал Данилевскому первые часы пребывания на родине:

Ты спрашиваешь меня о впечатлениях, какие произвел во мне вид давно покинутых мест. Было несколько грустно, вот и все. Подъехал я вечером. Деревья – одни разрослись и стали рощей, другие вырубались. Я отправился того же вечера один степовой дорогой, позади церкви, ведущей в Яворивщину, по которой любил ходить некогда, и почувствовал сильно, что тебя нет со мной. Вероятно, того же вечера я был бы в Толстом (име-

ние Данилевских. – Ю. М.), но Толстое пусто, и мне стало еще грустнее. Все это было в день моих именин, 9 мая. Матушка и сестры, вероятно, были рады до *pes plus ultra* моему приезду, но наша братья, холодный мужеский пол, не скоро растапливается. Чувство непонятной грусти бывает к нам ближе, чем что-либо другое» [XIV, 66–67].

Редкий случай душевного просветления Гоголя зафиксировала княжна Варвара Николаевна Репнина, когда писатель ненадолго заехал в имение Репниных Яготино в Полтавской губернии (впрочем, это могло иметь место и позже, во время путешествия Гоголя на юг в 1850–1851 гг.). «Лицо его носило отпечаток перемены, которая воспоследовала в душе его. Прежде ему были ясны люди; но он был закрыт для них, и одна ирония показывалась наружу. Она колола их острым его носом, жгла его выразительными глазами; его боялись. Теперь он сделался ясным для других; он добр, он мягок, он братски сочувствует людям, он так доступен, он снисходителен, он дышит христианством» [РА. 1890. № 10. С. 230; курсив в оригинале]. Но примечательная деталь: Гоголь хотел, чтобы Репнина-старшая, мать Варвары Николаевны, прочитала проповедь епископа Иакова, но неожиданно застал ее вместе с приятельницей Глафирой Ивановной Дуниной-Барковской, которая читала вслух «Мертвые души». Гоголь возмутился: «Какую чертовщину вы читаете, да еще в Великий пост!» [Там же. С. 229].

Причины недовольства собою и «непонятной грусти» Гоголя многообразны. По-прежнему угнетали мысль о неудаче только что совершенного паломничества к Гробу Господню, ощущение поражения и отверженности. К этому прибавилось и расстройство, вызванное плохими вестями на родине: «Беспрестанно узнаешь про смерть кого-нибудь из близких людей или какие-нибудь смуты» [XIV, 62]. Гоголь имел в виду прежде всего кончину Ивана Григорьевича Пашенко, старого гимназического товарища, служившего в Министерстве юстиции. «Он был умен и имел способность замечать, – писал Гоголь Данилевскому из Одессы 4 мая 1848 г. – И ты и я лишились в нем товарища закадычного. Я до сих пор не могу привыкнуть к мысли, что его уже нет» [XIV, 66]. Тяжело переживал Гоголь и неурядицы в родном доме – запущенность хозяйства, непрактичность матери, растущие долги.

Влияло и общее беспокойство, угроза приближающейся и уже начавшейся эпидемии. Cholera буквально гналась за Гоголем по пятам. «1848 год был несчастным для Одессы. Cholera, поразившая всю Россию, коснулась и Одессы: заболевших было свыше

5500 душ, умерло до 1800 человек» [Одесса, с. 37]. Ненамного лучше обстояло дело в родных местах. «В Полтавской губернии, – сообщал Гоголь С.Т. Аксакову из Васильевки 8 июня, – свирепствует холера почти повсеместно, и в самой Полтаве» [XIV, 70]. Было несколько смертельных случаев и в Васильевке. Заболел и Гоголь – «...это, слава Богу, еще не холера, а просто понос от нестерпимых жаров, томительнее которых, я думаю, не бывает в самой Африке. Никакого освеженья даже по ночам» (Гоголь – Плетневу, 7 июля, Васильевка, [XIV, 77]).

И вести, которые шли из Петербурга, не сулили ничего хорошего. «...Нельзя быть уверенным в жизни и того, с кем виделся и вчера, – писал Гоголю Прокопович 16 июня. – Да, нас посетил страшный бич: по свидетельству медиков, эпидемия 1831 г. против нынешней кажется игрушкой» [Шенрок, т. 4, с. 770–771]. Бедствие предстало всеобщим, всероссийским, но надо подчеркнуть: и этот масштаб, в глазах Гоголя, выглядел неоправданно заниженным. Ибо российские беды накладывались в его сознании на сполохи революционных потрясений, которые он предчувствовал или видел воочию в Западной Европе, и все вместе воспринималось, используя давнее гоголевское выражение, как «сильные кризисы, чувствуемые целою массою». Не страной, не народом – а именно «целым» человечеством!

«Времена настали такие, в которых нельзя думать о собственных удовольствиях и мирном проведении времени; нужно покрепче молиться» (Гоголь – матери [XIV, 62]). «Если Бог не вмешается наконец сам в дело, люди погибнут от собственной глупости» (Шевыреву [XIV, 75]). Что же остается художнику? «Дело в том, остались ли мы сами верны прекрасному... чтобы петь ему безуданно песнь даже и в ту минуту, когда бы валился мир и все земное разрушалось. Умереть с пенем на устах – едва ли не таков же неотразимый долг для поэта, как для воина умереть с оружием в руках» (Жуковскому [XIV, 74]).

Петь «прекрасному» ввиду погибающего мира – значит стремиться к завершению книги жизни, а это-то не давалось Гоголю. Поначалу казалось, что наступила лишь небольшая пауза, временная реакция на перемену обстановки. «О себе скажу только, что еле-еле осматриваюсь. Вижу предметы вокруг меня как бы сквозь какую-то мглу. Многое для меня покуда задача. Боюсь предаться собственным заключениям, чувствуя, что малейшей торопливостью и опрометчивостью могу наделать больше вреда, чем всякой иной писатель» [Записки. 1960. Вып. 23. С. 255–256].



Но пауза все тянулась, силы не прибавлялись, мгла не проходила, – и в этом заключалась еще одна, может быть, решающая причина угнетенного состояния Гоголя: «...ничего не мыслится и не пишется; голова тупа» (Шевыреву, 14 июня, [XIV, 75]).

Итак, 25 мая Гоголь отправился в Киев, куда его настойчиво зывал Данилевский: «Здесь у тебя много друзей! После стольких бесчисленных и бесконечных вояжей, что стоит тебе перешагнуть в Киев?» [Шенрок, т. 4, с. 711]. Гоголь и «перешагнул» – и прямо в тесную казенную квартирку Данилевского, где тот проживал вместе с женой Ульяной Григорьевной, урожденной Похвисневой (они поженились во второй половине 1844 г.), и дочерью Ольгой.

Но по случаю экзаменов Данилевский целыми днями пропал в пансионе, и Гоголь страдал от одиночества.

Возможно, среди киевских друзей Гоголя Данилевский подразумевал и Ф.В. Чижова. Действительно, Чижов с Гоголем были знакомы еще по Петербургскому университету, прожили вместе зиму 1842/43 г. в Риме; но отношения их в ту пору не сложились (см.: кн. 1, с. 397 и далее). Иное дело – во время теперешнего краткого пребывания Гоголя в Киеве.

Следует прежде всего вспомнить, что пришлось пережить Чижову после римских встреч с Гоголем. В 1845 г. он возвратился в Россию, с тем чтобы вновь отправиться в путешествие, на этот раз по славянским странам. Но на обратном пути в мае 1847 г. Чижов был арестован на русской границе по подозрению в принадлежности к Кирилло-Мефодиевскому обществу (другая версия ареста, которой придерживался, в частности, И.С. Аксаков, – участие Чижова в доставке оружия в Далмацию и последовавшее затем донесение австрийского правительства русскому). Чижова допросили в III Отделении, и хотя вскоре освободили, но по личному распоряжению императора запретили жить в обеих столицах. В 1848 г. он поселился в Триполье Киевской губернии, оставив литературный труд и занявшись шелководством. «Это было тяжелое для него время: он остался без средств, а надобно было жить и не зависеть» [И. Аксаков, с. 707].

В это-то «тяжелое время» произошла встреча с Гоголем, о чем Чижов сообщил 1 июня из Киева Александру Иванову:

...Четвертого дня приехал сюда Гоголь, возвращаясь из Иерусалима, он, кажется, очень и очень успел над собою, и внутренние успехи выражаются в его внешнем спокойствии... Мы сошлись хорошо, хоть разбитая душа

мой не в состоянии была отозваться ни на какой призыв его <...> Верите ли, что до того истощены силы, что написать письмо мне стало уже делом. Гоголь предсказывает укрепление тела и духа, но я до того упал, что даже нет утешения в мысли, что силы могут вновь восстановиться [ЛН. Т. 58. С.778].

Бросается в глаза, что Чижов – чуть ли не единственный в эту пору, кто отмечал ровное настроение и «внутренние успехи» Гоголя. Это объясняется тем, что его состояние Чижов воспринимал на фоне собственного беспокойства и угнетенности. И еще тем, что Гоголь взял на себя привычные обязанности утешения и духовной поддержки своего собеседника, – в таких случаях, как это было не раз, затраченная духовная энергия словно рикошетом возвращалась к нему самому.

Со своей стороны, и Чижов приблизился к пониманию Гоголя, былые упреки писателю в диктаторском тоне сменились сочувствием и терпимостью.

После Италии, – рассказывал Чижов гоголевскому биографу, – мы встретились с ним в 1848 году в Киеве, и встретились истинными друзьями. Мы говорили мало, но разбитой тогда и сильно больной душе моей стала понятна болезнь души Гоголя... Мы встретились у Данилевского, у которого остановился Гоголь и очень искал меня; потом провели вечер у М.В. Юзефовича. Гоголь был молчалив, только при расставании он просил меня, не можем ли мы сойтись на другой день рано утром в саду. Я пришел в общественный сад рано, часов в 6 утра; тот час же пришел и Гоголь. Мы много ходили по Киеву, но больше молчали; несмотря на то, не знаю, как ему, а мне было приятно ходить с ним молча. Он спросил меня, где я думаю жить? – Не знаю, говорю я: вероятно, в Москве.

– Да, – отвечал мне Гоголь, – кто сильно вжился в жизнь римскую, тому после Рима только Москва и может нравиться.

Тут, не помню, в каких словах, он передал мне, что любит Москву и желал бы жить в ней, если позволит здоровье. Мы назначили вечером сойтись в Лавре, но там виделись только на несколько минут: он торопился [Кулиш, 2003, с. 578].

Упомянутый Чижовым «вечер» у М.В. Юзефовича – возможно, именно тот, который, согласно легенде, закончился курьезом... Но вначале следует сказать о хозяине дома.

Михаил Владимирович Юзефович (1802–1889), поэт и археолог, бывший военный, участник Русско-турецкой войны

1828–1829 гг., мог быть интересен Гоголю вследствие своих связей с Пушкиным. О встрече с Юзефовичем («поэтом Ю.») 27 июня 1829 г. Пушкин упоминал в «Путешествии в Арзрум...», появившемся в первом томе «Современника» за 1836 г. (в этом томе было опубликовано несколько произведений Гоголя). Известны письма Льва Пушкина к Юзефовичу (за 1831–1843 гг.) с упоминаниями поэта; с Львом Сергеевичем же, как мы знаем, Гоголь совсем недавно встречался в Одессе. Не приходится говорить о том, что немало пушкинских реминисценций содержат стихи Юзефовича, опубликованные в «Украинском журнале» за 1825 г. [см. подробнее: Лосиевский, с. 162–168].

Следует еще добавить, что ко времени приезда Гоголя в Киев Юзефович занимал должность помощника попечителя Киевского учебного округа.

Что же касается упомянутого вечера у Юзефовича в Липках, то его подробное описание восходит к некоему Михольскому, молодому помещику, бывшему «очевидцем» событий.

На обширном балконе, выходящем в сад, были приготовлены стол с закусками и чаем. Собрались преимущественно молодые профессора Киевского университета, которые хотели представиться Гоголю. Все были по этому случаю одеты в новенькие вицмундиры и, в ожидании великого человека, переговаривались вполголоса. Юзефович постоянно выбегал смотреть, не едет ли Гоголь. Уж начинало смеркаться и последние лучи заходящего солнца умирали на чайной посуде, как, по некоторому движению в доме и по внезапно изменившемуся лицу Юзефовича, который, заслышав шум, убежал с балкона, гости заключили, что Гоголь, наконец, приехал. Профессора, сидевшие перед этим, встали и выстроились в ряд... В раме открытых настежь дверей показались две фигуры – Юзефовича и Гоголя. Гоголь шел, понутив свою голову, с длинным носом и длинными, прямыми волосами. На нем был темный гранатовый сюртук, и Михольский, в качестве франта, обратил внимание на жилетку Гоголя. Эта жилетка была бархатная, в красных мушках по темно-зеленому полю, а возле красных мушек блестели светло-желтые пятнышки по соседству с темно-синими глазками. В общем, жилетка казалась шкуркой лягушки. Приведя Гоголя на балкон, Юзефович отстранился, чтобы не выдвигаться вперед, а Гоголь остался перед выставленными профессорами, словно начальник, принимающий подчиненных. Все низко ему поклонились. Он потупился и, по застенчивости или по гордости, не ответил на поклон, который заменил его потупленный взор.

Юзефович почувствовал неловкость от воцарившегося молчания, бросился из-за спины Гоголя и стал представлять ему по одиночке его почитателей.

– Профессор такой-то! Профессор Павлов! Костомаров!

Гоголь чуть-чуть кивал головой и произносил тихо:

– Очень приятно, весьма приятно, душевно рад во всех отношениях.

Когда представление гостей кончилось, Юзефович простер руку в некотором расстоянии от талии Гоголя и просил его сесть откусать, но Гоголь, взглянув на закуску и на чай, сделал брюзгливую [так!] гримасу, еще брюзгливее посмотрел на своих почитателей и закрыл глаза рукой, брюзгливо глянув в сторону заходящего солнца. Юзефович сделал знак какому-то молодому человеку стать у решетки балкона и заслонить собою солнце, что тот моментально и исполнил. Гоголь продолжал молчать. Никто не осмелился сесть в его присутствии.

Прошло минуты две или три. Наконец великий человек поднял голову и пристально воззрился на жилет Михольского, тоже бархатный, как у него, и тоже в замысловатых крапинках, но в общем походивший не на шкурку лягушки, а на шкурку ящерицы.

– Мне кажется, как будто я вас где-то встречал, – сказал Гоголь Михольскому.

Михольский хотел отвечать, но из-за спины Гоголя Юзефович угрожающе покивал ему пальцем, и тот должен был ждать, что еще скажет Гоголь.

– Да, я вас где-то встречал, – утвердительно произнес Гоголь. – <...> Мне кажется, что я видел вас в каком-то трактире, и вы там ели луковый суп.

Михольский поклонился.

Гоголь погрузился снова в молчание, задумчиво глядя на жилетку Михольского. Вдруг он подал руку хозяину, сделал общий поклон его гостям и направился к выходу. Юзефович не смел его удерживать (*Ясинский* I. Анекдот о Гоголе // ИВ. 1891. Июнь. С. 594–598).

Далее, как следует из того же рассказа, Гоголь попытался – впрочем, безуспешно – приобрести такой же жилет; и таким образом обнаружилось, что зависть к обладателю этого жилета и явилась истинной причиной неожиданного ухода писателя из дома Юзефовича.

Что в этом рассказе истина, а что вымысел – сказать трудно: история поведена спустя многие десятилетия и не очевидцем, а другим лицом (Иеронимом Иеронимовичем Ясинским). Еще Н.С. Лесков обратил внимание на явные неточности сообщения:

профессор Н.И. Костомаров не мог присутствовать на вечере, так как еще в марте предыдущего года был арестован по делу об участии в Кирилло-Мефодиевском обществе (другой упоминаемый профессор, Платон Васильевич Павлов, в это время действительно преподавал историю в Киевском университете); не было в ту пору в Киеве и портного Гросса, у которого Михольский якобы приобрел свою жилетку<sup>32</sup>. Но если оставить в стороне эти неточности и сюжет со злополучным жилетом, то наиболее вероятным представляется сам факт внезапного бегства Гоголя от многолюдства, от незнакомых и неожиданных почитателей. Так поступал писатель и раньше, случилось подобное и в нынешний его приезд в Киев, о чем гоголевскому биографу рассказывал сам Данилевский: раз у него «неожиданно собралось большое общество, желавшее с ним познакомиться, но на Гоголя опять напала такая хандра, что он просидел в этом обществе не более получаса. Таких примеров было много» [Шенрок, т. 4, с.747]. Один из них, видимо, – вечер у Юзефовича.

Более расположен был Гоголь, так сказать, к индивидуальным встречам, с людьми, вызывавшими у него симпатию.

Так, в доме Данилевских Гоголь познакомился с Александром Михайловичем Марковичем (1790–1865). Окончивший Петербургский университет, Маркович отказался от перспективы служебной карьеры и, возвратившись в родовое имение в селе Сварково Глуховского уезда Черниговской губернии, посвятил себя попечению о своих крестьянах – открыл школу, расширил больницу. Маркович приходился дядей Ульяне Данилевской и ее сестрам Марье и Варваре и фактически воспитал трех своих племянниц-сирот<sup>33</sup>.

Прожив в Киеве две с лишним недели, Гоголь направился в Васильевку. «У нас в Киеве так часто говорят о вас, что мне все кажется, что вы еще здесь...» – писала ему 15 июня Ульяна Григорьевна. Часто вспоминала Гоголя и дочка Данилевских Ольга (дети обычно любили Гоголя, привязывались к нему). «Недавно кто-то ее спросил: “где Гого?” – “Нету Гого, а палька туту” – и пошла показывать вашу палку» [Шенрок, т. 4, с. 712, 713].

Вторую половину июня–июль Гоголь проводит на родине. Атмосфера в доме по-прежнему гнетущая: продолжение холеры, перспектива неурожая, подавленное настроение Николая Васильевича. «Ужасная тоска!» – записывает Елизавета Васильевна 9 июля [Там же. С. 704].

В доме часто бывают гости, 23 июля приехали Данилевский с женой. Отлучается иногда и Николай Васильевич, так, в первых числах августа вместе с сестрами Лизой и Аней он едет в Будище, потом в Диканьку на молебен по случаю предстоящего своего отъезда в Москву, потом в Полтаву к Скалон... Но настроения это не поднимает. «Вчера мы все плакали, – отмечает 22 августа Елизавета Васильевна. – Тоска ужасная!» И еще о брате – как сокровенное признание: «Как я его сильно люблю, хотя часто и неприятности делает» [Там же].

И вот наступило 24 августа. «Мы встали очень рано. Грустный день: брат уезжает! Я пошла к нему и помогала ему укладываться. В 8 часов пошли в церковь слушать молебен: поехали в Сорочинцы на двух экипажах: полдороги Аннета с братом, а потом я с ним».

В Сорочинцах Елизавета упросила Николая Васильевича остаться здесь до завтра и хотя бы таким образом отложить расставание на день.

25 августа: «Я встала рано и пошла к нему, и он меня обнял и крепко поцеловал. В 9 часов мы распрощались... Ах, как грустно!.. <...> Все плакали, – у Трахимовских – даже дети» [Там же]. Речь идет, в частности, о десятилетнем Н.А. Трахимовском, внуке врача Михаила Яковлевича Трахимовского, в доме которого около сорока лет назад родился Гоголь<sup>34</sup>...

И еще запись Елизаветы Васильевны 27 августа: «Мы дома. Какое ужасное пробуждение: первый день без брата!»

Между тем Гоголь вместе с Данилевскими в их экипаже прибыл в село Сварково, имение Марковича. «Мы приехали прямо ко дню его именин (30 августа), – рассказывает Александр Данилевский. – Было много гостей, и Гоголь был страшно не в духе». Но «дядя Ульяны Григорьевны», т. е. Маркович, «ему очень понравился», и Гоголь «провел у него несколько дней...» [Шенрок, т. 4, с. 715].

Из Сваркова в экипаже Марковича Гоголь едет в Глухов и далее на север. 5 сентября он уже в Орле, а 12 сентября – в Москве.

«Здоровье мое, слава Богу, немного лучше» [XIV, 83], – писал Гоголь Плетневу перед выездом из Сваркова. И уже по приезде в старую столицу, 12 сентября, в *воскресенье* (Гоголь специально отмечает, какой это день недели), – своему «брату и богомольцу» Матвею Константиновскому: «Я, слава Богу, приехал сюда цел и невредим» [XIV, 85].

## Месяц в столицах

Гоголь расположился в знакомом ему доме на Девичьем поле. «Он теперь у Погодина, – сообщала В.С. Аксакова отцу около 11 сентября, – в той же самой комнате, которую занимал и прежде, и говорит, что увидал ее с такой радостью, точно как будто воротился на родину...» [ЛН. Т. 58. С. 706].

Но в московской жизни еще господствовали летняя тишина и безлюдье. «В Москве, кроме немногих знакомых, почти нет никого, – писал Гоголь Данилевскому. – Всё еще сидит по дачам и деревням» [XIV, 85].

В своей «деревне», в Абрамцеве, находился и Сергей Тимофеевич Аксаков – в город он возвратился лишь в октябре [Аксаков С., с. 213]. Но с некоторыми членами аксаковского семейства Гоголь повидался в их московском доме – с Ольгой Семеновной, Верой Сергеевной и Константином Сергеевичем. Константина особенно впечатлила встреча с Гоголем, что отразилось в нескольких эпистолярных документах.

«Сюда приехал Гоголь: я был в то время в Москве, – сообщал 16 сентября Константин Сергеевич своему брату Григорию и его жене. – Его письма к отесеньке и ко мне были совсем не то, что прежние, т. е. гораздо лучше, да и увидев его, я помнил только то, что шесть лет с лишком не видел его. Поэтому крепко его обнял, так что он долго после этого кряхтел. Он будто смущен, уступает и еще не знает, как ему быть; неуверенность видна в нем. Так я заметил» [ЛН. Т. 58. С. 708].

Более подробно об этой встрече примерно в то же время писал К. Аксаков А.Н. Попову: «Я видел его в Москве почти совершенно неожиданно и обрадовался ему очень... – Я помнил тут, что не видал его шесть с лишком лет, и поэтому обнял всюю крепостью своего объятия. Проведши с ним несколько часов, я на другой день уехал в деревню. Гоголь показался мне как-то смущенным, не знающим еще, как ему стать, робким даже, что поневоле останавливает всякое сильное слово. Мне, однако же, казалось и теперь кажется, что итальянская дурь у него прошла. <...> Но если он прежний Гоголь, написавший свою несчастную книгу, полную лжи в искренности и гордости в смирении, то поневоле станешь с ним в прежние далекие отношения, которые образовались после его книги» [Там же. С. 707].

Наконец, сообщала о встрече с Гоголем и Вера Сергеевна в Петербург М.Г. Карташевской 30 сентября: «Он был в Москве,



Н.В. Гоголь

*Рис. Э.А. Дмитриева-Мамонова. 1852*

мы его видели, он мало наружно переменился, но кажется, как будто это не тот Гоголь. Константин в минуту свидания забыл все и задумал, было, его обнимая» [Аксаков С., с. 213].

Общая деталь всех этих сообщений – мощное «объятие», выражающее свойственную Константину Аксакову непосредственность характера и непритворную радость от возвращения Гоголя. Со стороны же Гоголя – явное смущение, граничащее с растерянностью. Среди его друзей Аксаковы были те, кто наиболее откровенно не принял «Выбранные места...», что невольно и сказалось на первой, после шести лет, его встрече с Константином Сергеевичем. Обращает на себя внимание и совсем уж экзотичный упрек насчет «итальянской дури»: дело в том, что К. Аксаков вообще считал пагубным и зловредным пребывание Гоголя за границей и оторванность от мира родного, русского.

Еще Гоголю удалось повидаться в Москве с художником Эммануилом Александровичем Дмитриевым-Мамоновым (1823–1883), который нарисовал с него портрет; затем, возможно, с Е.А. Свербеевой, а также с Шевыревым. Шевырев тоже еще жил на даче, но приехал в город для свидания с Гоголем. «...Николай Васильевич наружностью не переменился нисколько, – сообщает



он Н.Н. Шереметевой, – здоровье его хорошо. Бойтся зимнего холода. Духом он бодр. Слово его такое же, как было прежде. Собирается здесь работать» [ЛН. Т. 58. С. 708].

Но прежде чем засесть за работу, Гоголь отправился из старой столицы в новую – в город «с именем чужим», если воспользоваться выражением Константина Аксакова. Обдумывалась эта поездка уже давно, за границей и затем по прибытии в Россию, в родных местах. «...Мне так хочется увидеть и обнять многих» [XIV, 73], – писал Гоголь А.М. Виельгорской 15 июня из Полтавы.

К 16 сентября он уже в Петербурге. Был у Прокоповича, «вокруг которого роща своей семьи» [XIV, 87], т. е. жена Марья Никифоровна (в девичестве Трохнева) и дети. Дважды заходил к П.А. Плетневу, но не застал дома: тот проводил время на своей даче Спасская мыза, близ Лесного института (впоследствии, скорее всего, они все-таки увиделись). Потом вместе с Михаилом Юрьевичем поехал в Павлино, дачу Виельгорских, чтобы вместе отпраздновать именины Софьи Михайловны, приходившиеся на 17 сентября. Около того же времени Гоголь ездил в Павловск, где жила А.О. Смирнова.

Вот ради встречи с Александрой Осиповной и с Анной Виельгорской Гоголь прежде всего и приехал в Петербург.

Смирнова переживала очередной приступ тоски, граничившей с депрессией. После рождения сына Михаила в мае 1847 г. ее здоровье заметно ухудшилось; лечилась она и на курорте, в Ревеле, и в Петербурге, но все это не помогало. «...Успокойтесь, моя страдальца, – писал ей Гоголь еще 20 ноября н. ст. 1847 г. из Неаполя. – Сложите тихо руки крестом, как младенец, и предайтесь доверчиво воле того, кто посылает нам страданье» [XIII, 396]. Но и советы Гоголя не помогали. В письме к Гоголю от 14 апреля 1846 г. у Смирновой вырывается вопль отчаяния: «Трудна моя жизнь, трудна болезнь...» [РС. 1890. № 7. С. 207]. Гоголю оставалось надеяться на личную встречу.

Однако встреча в Павловске вышла недолгой, а других возможностей не представилось. «Я вас ожидал, добрая Александра Осиповна, у Веневитиновых, – пишет Гоголь уже по возвращении в Москву, 14 октября. – Я думал потом, авось-либо вы заедете в контору дилижансов. Но вас не было, и мне сгрустнулось. Мы с вами так немного виделись!» [XIV, 89].

И Гоголь поручает попечению Смирновой другую свою подопечную – Анну Виельгорскую. Поручает, потому что, по его представлениям, это проверенный способ помочь не только дру-



Петербург. Невский проспект  
*Художник Л. Арну. 40-е годы XIX в.*

гому, но и самому себе. Пусть Смирнова почаще видится с ней, ведет участливые, исполненные любви беседы, объясняет, в чем «состоит наше истинно русское добро» [XIV, 90], и результат, причем двойной результат, скажется сам собою.

Но выполнить гоголевское «поручение касательно Нози» (так называли Анну Михайловну домашние) Смирнова не смогла: «...надобно бы очень часто видеться с нею для этого, а графиня [Луиза Карловна Виельгорская] ее одну не пустит ко мне, сама же всегда приезжает на минуту» [РС. 1890. № 11. С. 355–356]. И тогда Гоголь решает воздействовать на Анну Виельгорскую уже сам, с помощью письменного слова.

Из этих его писем, отправленных по возвращении в Москву (а также из письма к Смирновой), видно, что в Петербурге у Гоголя с Анной был доверительный разговор, что он узнал (или догадался) о пережитой ею драме, возможно, драме интимной, о постигшей ее неудаче или разочаровании («...думали найти человека, с которым об руку хотели пройти жизнь, а нашли мелочь да пошлость...»); услышал он и откровенные слова, которые его,

Гоголя, «испугали», – Анна будто бы сказала: «Я хотела бы, чтобы меня что-нибудь схватило и увлекло; я не имею собствен<ных> сил» [XIV, 93, 90]. Впрочем, о новом этапе отношений Гоголя с Анной Виельгорской речь впереди...

Пока лишь отметим, что важную роль в воспитании Анны Михайловны Гоголь отводил своему главному произведению: «...мне хотелось бы сильно, чтобы наши лекции с вами начались 2-м томом “Мерт<вых> душ”». Вспомним, что свою книгу Гоголь, в частности, предназначал светским женщинам вроде Ростопчиной или Нессельроде, «которые еще не избрали поприща и находятся покаместь на дороге и на станции, а не дома» [XIII, 35]. К таким лицам Гоголь относил и Анну Виельгорскую, причем очевидно, что писатель не стал бы в данном случае дожидаться выхода второго тома – речь шла о чтении еще создаваемого, еще вынашиваемого труда. А это означало, что Гоголь рассчитывал на продолжение общения с нею и, возможно, не такое уж далекое.

В трехнедельное пребывание в Петербурге Гоголь еще имел несколько встреч и сделал несколько визитов. Так, он заходил к Федору Лаврентьевичу Халчинскому (ум. 1860), дипломату и переводчику, чтобы передать ему привет от родственника Ивана Дмитриевича Халчинского, однокашника Гоголя, с которым они недавно встречались в Константинополе. Не застав Федора Халчинского дома, Гоголь оставил ему записку [XIV, 88].

Неоднократно встречался писатель с художником Павлом Федоровичем Зеньковым (Зенковым, р. 1824). У Гоголя могли быть связанные с ним неприятные ассоциации: именно Зеньков литографировал портрет кисти А. Иванова, помещенный в 11-м номере «Москвитянина» за 1843 г., что вызвало неудовольствие Николая Васильевича (см.: кн. 2, с. 414).

Это не помешало Гоголю проявить внимание к молодому художнику, которым он сумел заинтересовать и Александра Иванова. Собирающемуся в Москву Ф.В. Чижову Иванов писал 8 ноября н. ст. 1845 г. из Рима: «Гоголь просит Вас сыскать у Погодина Зенькова; это молодой художник, которого Вы во имя искусства должны раскусить и сказать мне, что он такое, и если он с талантом и призванием, то и похлопотать, чтобы он был прислан сюда...» [ЛН. Т. 58. С. 673]. В Рим Зеньков не поехал, и его встреча с Гоголем состоялась осенью 1848 г. в Петербурге.

Эту встречу устроил Погодин, переслав Гоголю письмо для Зенькова. Виделись Зеньков и Гоголь три раза.

...При первом моем свидании с Николаем Васильевичем, – писал Зеньков Погодину, – мы были очень рады друг другу, в особенности я; от радости не знаешь, что и говорить с ним, – начнешь об одном, сейчас же об другом, потом об третьем, и т. д. После, во второй раз, я приносил ему показать свои рисунки, этюды и эскизы; пересмотревши все, он был доволен моим успехом и пожелал мне еще больших; дал мне несколько полезных советов в отношении моих занятий, которые я уже имел в своем сердце и чувствовал так же, как он... поэтому я его слушал так, как бы говорило мне мое сердце; я его еще больше полюбил после этих советов... В третий раз заходил к нему проститься [Там же. С. 710].

Со своей стороны, Гоголь сообщал Погодину: «Зеньков у меня был. Из него выйдет славный человек. В живописи успевает и уже почувствовал сам инстинктом почти все то, что приготовлялся я ему посоветовать» [XIV, 89]. Таким образом, если не Чижев, то уж Гоголь точно «раскусил» молодого художника. Гоголь постарался поддержать его и деньгами.

Еще я Вам скажу, – продолжает Зеньков свое письмо Погодину, – что он так был добр для меня, что дал мне десять рублей серебром, которые мне было совестно от него взять, и старался сколько мог отклониться, но он просил меня, чтобы я от него принял их, как бы от своего родственника, и чтобы мне не так было совестно взять их, то он предложил мне написать ему к весне головку Спасителя [ЛН. Т. 58. С. 710].

И этому сообщению находится любопытное соответствие в словах Гоголя: 20 ноября, уже по возвращении в Москву, он просит Плетнева: «Пошли в Академию художеств по художника Зенькова и, призвавши его к себе, вручи ему пятьдесят рублей ассигнациями на нововыстроенную *обитель*, для которой они работают иконостас. Деньги напиши на мне» [XIV, 99; курсив в оригинале].

Еще один немаловажный эпизод петербургского времяпрепровождения Гоголя – посещение им мастерской К.П. Брюллова. Об этом мы узнаем из малоизвестных воспоминаний ученика великого художника М.И. Железнова.

В мастерской Брюллова я видел Гоголя только один раз, вскоре по возвращении из Италии, в 1849 г. (на самом деле в 1848 г. – Ю. М.<sup>35</sup>). Гоголь пришел к Брюллову перед сумерками вместе с Бруни. До этого времени я никогда не видел Гоголя, но тотчас узнал его по литографии, сделанной, как я впоследствии убедился, с портрета, написанного Ивановым (речь

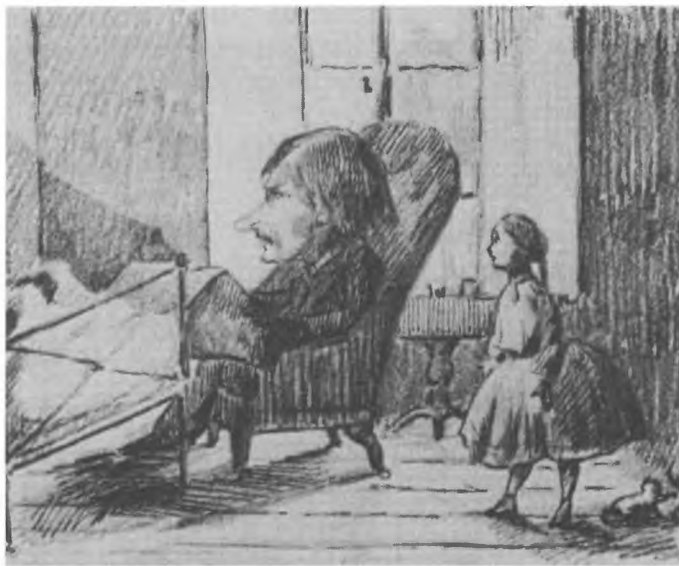
идет о вышеупомянутой литографии Зенькова. – Ю. М.). Костюм Гоголя состоял из серых шароваров, из черного бархатного короткого сюртука и из небрежно повязанного на шее малинового шелкового платка, на котором лежал довольно широкий, ненакрахмаленный воротник рубашки. Неблагодарство манер Гоголя сразу озадачило меня; но его лицо, в сравнении с портретом, показалось мне молоденьким и свеженьким огурчиком. Гоголь и Брюллов поцеловались три раза накрест, как у нас все целуются в Светлое воскресенье. Только что Брюллов пустился в расспросы о Риме, Лукашевич (другой ученик Брюллова. – Ю. М.) вызвал его в другую комнату, а Гоголь обратился ко мне с вопросом: «Скажите, где портрет Жуковского?» (Речь идет о варианте портрета, написанного Брюлловым в 1838 г. для выкупа Т.Г. Шевченко. – Ю. М.) [Железнов, с. 643].

Когда портрет был принесен, Гоголь сказал: «Жуковский много постарел с тех пор, как К<арл> П<авлович> его писал; но все-таки очень похож на свой портрет. Это лучший из портретов, написанных с Жуковского» [Там же].

Описанная мемуаристом встреча Гоголя с Брюлловым, характер их общения косвенно подтверждают, что они уже были знакомы лично: предположительно они уже виделись дважды в Петербурге, в конце мая – начале июня 1836 г. и в 1839, или 1841, или 1842 г. (см.: кн. 2, с. 109, 500). Но случилось так, что это была их последняя встреча: спасаясь от петербургского климата, Брюллов 1 апреля 1849 г. вместе с двумя своими учениками, уже упоминавшимися Михаилом Железновым и Николаем Лукашевичем, уехал за границу (умер он 12 июня 1852 г. в местечке Марчиано близ Рима, всего на три с небольшим месяца пережив Гоголя).

Воспоминания Железнова интересны и тем, что позволяют определенно ввести в биографию Гоголя еще одно лицо – Федора Антоновича Бруни. Впрочем, и о более раннем их знакомстве, во второй половине 1830-х годов в Риме, можно говорить с большой долей уверенности: Гоголь следил за работой художника над «Медным змием» и в мае 1839 г. информировал М.П. Балабину: «Картина Бруни, о которой вы интересуетесь знать, кажется, стоит на том же, на чем стояла. Век художника оканчивается, когда он оставляет раз Италию, и,дохнувши глетворным дыханием севера, он, как цветок юга, никнет голову» [XI, 231]. Гоголь имеет в виду поездку Бруни в Петербург в 1836 г. для проведения работ в Исакиевском соборе, из которой он вернулся в Рим лишь в 1838 г.

К 1839 г. относится замечательно выразительный шарж, предположительно сделанный Бруни, – Гоголь на вилле Волкон-



Карикатура на Гоголя  
*Ф. Бруни*

ской. Карлик с огромной головой в профиль и крохотным телом и ножками, сидя в кресле, читает кому-то газету. Возможно, больному Иосифу Виельгорскому, за которым ухаживал писатель и которому посвятил «Ночи на вилле» (см.: кн. 2, с. 214 и далее). Перед Гоголем – край постели с одеялом, а за его спиной – столик с какими-то предметами, возможно, лекарствами. Если это действительно рисунок Бруни, то он свидетельствует о том, что художник виделся с Гоголем весной 1839 г. у Волконской в пору смертельной болезни Иосифа Виельгорского.

И наконец, еще один штрих. В 1841 г. картина «Медный змий» была перевезена в Петербург; выставленная в одном из залов Зимнего дворца, она пробудила к себе широкое внимание. «...Жаль, что ты не видала картины Бруни, – писала В.С. Аксакова из Москвы в Петербург М.Г. Карташевской 11 ноября 1841 г. – Я спрашивала об ней Гоголя. Он говорит, что в картинах Бруни виден талант более зрелый, нежели даже в картинах Брюллова, но что у этого последнего более гения; что картина эта, впрочем, прекрасна и что каждая группа отдельно может служить для изу-

чения» [ЛН. Т. 58. С. 608]. Говоря о «Медном змие», Гоголь, возможно, основывался не только на своих римских впечатлениях – он мог видеть картину и во время своего краткого пребывания в Петербурге в октябре 1841 г.

Такова предыстория настоящей встречи Гоголя с Бруни осенью 1848 г., и их совместного визита к Брюллову.

Среди петербургских встреч Гоголя особый смысл приобретает его визит к преподавателю русской литературы во 2-м кадетском корпусе А.А. Комарову (см. о нем: кн. 2, с. 336).

Прежде всего – это, так сказать, массовая встреча: в ней приняло участие, вместе с хозяином дома, не менее шести человек, а массовых встреч, как мы знаем, Гоголь обычно избегал. Далее, эта была встреча по инициативе Гоголя, и, что очень важно, обратился он с такою инициативой к человеку, близкому к Белинскому. Самого Белинского уже не было в живых (кстати, о его смерти, последовавшей 26 мая 1848 г., Прокопович известил Гоголя еще 16 июля [Шенрок, т. 4, с. 771]), но писатель, конечно, понимал, что приглашение будет сделано людям близким или, во всяком случае, не враждебным покойному критику. Так оно и произошло.

Из тех, кто оставил воспоминания об этом событии, двое были его участниками (И.И. Панаев и П.В. Анненков), а третий (А.С. Суворин) опирался на свидетельства другого лица (Н.А. Некрасова). Приведем вначале свидетельства очевидцев как наиболее достоверные.

Панаев:

Гоголь изъявил желание А.А. Комарову приехать к нему и просил его пригласить к себе несколько известных новых литераторов, с которыми он не был знаком. Александр Александрович пригласил между прочими Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Я также был в числе приглашенных, хотя был давно уже знаком с Гоголем... Мы собрались к Комарову часу в девятом вечера. Радужный хозяин приготовил роскошный ужин для знаменитого гостя и ожидал его с величайшим нетерпением...

Гоголь приехал в половине одиннадцатого, отказался от чая, говоря, что он его никогда не пьет, взглянул бегло на всех, подал руку знакомым, отправился в другую комнату и разлегся на диване. Он говорил мало, вяло, нехотя, распространяя вокруг себя какую-то неловкость, что-то принужденное. Хозяин представил ему Гончарова, Григоровича, Некрасова и Дружинина. Гоголь несколько оживился, говорил с каждым из них об их произведениях, хотя было очень заметно, что не читал их.



Н.А. Некрасов  
*Акварель А.А. Иванова. 1841*

Потом он заговорил о себе и всем нам дал почувствовать, что его знаменитые «Письма» писаны им были в болезненном состоянии, что их не следовало издавать, что он очень сожалеет, что они изданы. Он как будто оправдывался перед нами [Панаев, с. 345].

Затем мемуарист рассказывает о том, что Гоголь отказался от обеда, от вина, выразив желание лишь выпить рюмку малаги.

Одной малаги именно и не находилось в доме. Было между тем уже около часа (ночи. – Ю. М.), погреба все заперты... Однако хозяин разослал людей для отыскания малаги.

Но Гоголь, изъявив свое желание, через четверть часа объявил, что он чувствует себя не очень здоровым и поедет домой...

Хозяин дома, однако, умолил его подождать малаги. Через полчаса бутылка была принесена. Он налил себе полрюмочки, отведал, взял шляпу и уехал, несмотря ни на какие просьбы [Там же. С. 345–346].

Среди участников этой встречи здесь не упомянут Анненков, а между тем он определенно говорил о ней как очевидец. Передавая гоголевские суждения о том, что литератору не следует сетовать на



цензуру, Анненков добавляет: «Эту же мысль развивал он *при мне* и в 1849 (т. е. 1848. – Ю. М.) году на *вечере у Александра Комарова*. Тогда произошла довольно наивная сцена. Некрасов, присутствовавший тоже на нем, заметил: “Хорошо, Николай Васильевич, да ведь за все это время надо еще есть”. Гоголь был опешен, устремил на него глаза и медленно произнес: “Да, вот это трудное обстоятельство”» [Анненков, 1983, с. 535]. О том же эпизоде Анненков говорит и в письме к И.С. Тургеневу от 3 февраля 1858 г.: «Помню я, что в 1849 г. (т. е. 1848. – Ю. М.) Гоголь находил необычайную пользу для литературы в тогдашней системе цензурного ограничения: это, говорил он, временный арест, чтоб заставить людей *мыслить*» [Труды библиотеки, с. 78; курсив в оригинале].

Теперь – версия Суворина, записанная со слов Некрасова:

Раз он (Гоголь. – Ю. М.) изъявил желание нас видеть. Я, Белинский (в действительности умерший несколькими месяцами ранее – см. об этом выше. – Ю. М.), Панаев и Гончаров надели фраки и поехали представляться, как к начальству. Гоголь и принял нас, как начальник принимает чиновников: у каждого что-нибудь спросил и каждому что-нибудь сказал. Я читал ему стихи к «К Родине» (т. е. «Родина». – Ю. М.). Выслушал и спросил: «Что ж вы дальше будете писать?» – «Что Бог на душу положит» – Гм. – и больше ничего. Гончаров, помню, обиделся его отзывом об «Обыкновенной истории» [Некрасов в воспоминаниях, с. 343]<sup>36</sup>.

Несмотря на возможную утрировку поведения Гоголя, какой оно подверглось во всех этих свидетельствах, отчетливо проступает вполне серьезный смысл его инициативы, и эта инициатива вписывается в общее умонастроение писателя в это время. Гоголю чрезвычайно важно предотвратить впечатление о своей приверженности к какой-то одной группе или направлению (в том числе славянофильскому), подчеркнуть свою известную внепартийность или надпартийность. С этой целью он старался поддерживать контакты с Анненковым, а теперь обратился с просьбой о встрече к Комарову, понимая, что его собеседниками будут люди западнической ориентации.

Гоголь делал это вопреки воле своих друзей, а иногда, возможно, в тайне от них. Очень выразительна реакция Плетнева, о которой один гоголевский биограф, Кулиш, сообщал другому биографу, Шенроку (в письме от 5 января 1890 г.): «С крайним негодованием рассказывал он мне, как Гоголь, по возвращении из-за границы, поддакивал ему в его искреннем суде о журна-

листах и тайком от него делал визиты Белинскому, Краевскому, Некрасову, Панаеву и другим» [Крутикова, с. 269; неточность с Белинским отмечена выше; впрочем, возможно, Плетнев имел в виду встречу Белинского с Гоголем перед отъездом последнего за границу 5 июня 1842 г. – эта была их последняя встреча].

Не заключало в себе ничего неожиданного и заявление Гоголя во время визита к Комарову по поводу «Выбранных мест...». Писателю, мы знаем, было свойственно двойное отношение к книге: не отказываясь от воодушевлявших ее главных мыслей, от философско-этического пафоса, он готов был признать несовершенство формы, поспешность выполнения, неубедительность доказательств, словом, слабость публицистического начала в сравнении с его, Гоголя, художественным даром. Быть может, учитывая характер аудитории, писатель на этот раз сильнее, чем обычно, подчеркивал неудачу «Выбранных мест...», так что у присутствовавших могло создаться впечатление, что он перед ними оправдывается.

Отвечала инициатива Гоголя и его интересу к современной литературе. Ведь еще 21 апреля н. ст. 1846 г. Гоголь писал Н.М. Языкову о своем желании познакомиться с произведениями «наших нынешних писателей». Все приглашенные на встречу литераторы уже заслужили себе громкие имена: Гончаров – «Обыкновенной историей», Григорович – «Деревней» и «Антоном-Горемыкой», Дружинин – «Полянкой Сакс», Анненков – «Парижскими письмами», Панаев – «Петербургским фельетонистом» и «Литературной тлей», Некрасов – прежде всего своими стихами. Кстати, некрасовское стихотворение «Родина», опубликованное значительно позднее (в 1856 г.), в то время широко распространялось в списках и имело большой успех; возможно, Некрасов прочитал эти стихи по просьбе Гоголя. Правда, самим участникам встречи осведомленность Гоголя в их произведениях могла показаться недостаточной, а интерес – формальным, но то, что этот интерес существовал, подтверждается и другими свидетельствами, в частности Л.И. Арнольди: «Я прежде никогда не видал у Гоголя ни одной книги, кроме сочинений отцов церкви и старинной ботаники, и потому весьма удивился, когда он заговорил о русских журналах... Он все читал и за всем следил. О сочинениях Тургенева, Григоровича, Гончарова отзывался с большою похвалой. “Это все явления утешительные для будущего”, – говорил он...» [Воспоминания, с. 490]. Напрашивается вывод, что этот эпизод, который мемуарист относит к более позднему времени, фиксирует усиление интереса Гоголя

к современной литературе и что произошло это не без влияния петербургской встречи у Комарова.

Наконец, вполне ожидаемым и естественным для Гоголя было и его высказывание о цензуре. Смысл этого высказывания не столько в защите цензуры, сколько в предъявляемом писателю требовании большей зрелости мысли, взвешенности и, так сказать, «необидности» его слова. Насколько реально было это требование – другой вопрос. Многие из присутствовавших – да и сам Гоголь – из своего опыта могли бы привести на этот счет плачевные примеры. Тем не менее мысль Гоголя сводится именно к тому, что автор ввиду возможного вмешательства цензуры должен уметь так говорить «свою правду», чтобы ее выслушали все, «начиная от царя до последнего нищего в государстве». Эту мысль, как мы знаем, Гоголь особенно настойчиво проводил в «Выбранных местах...» (в частности, в статье «Карамзин») и теперь решил развить перед собравшимися литераторами<sup>37</sup>.

С Анненковым Гоголь беседовал еще на другую волнующую его тему – о революционных событиях; скорее всего это имело место не у Комарова, а у Прокоповича.

В Петербурге, – сообщает Гоголь Данилевскому 24 сентября, – я успел видеть Прокоповича... и Анненкова, приехавшего на днях из-за границы. Все, что рассказывает он, как очевидец, о парижских происшествиях – просто страх: совершенное разложение общества. Тем более это безотраднo, что никто не видит никакого исхода и выхода и отчаянно рвется в драку, затем, чтобы быть только убиту. Никто не в силах вынести страшной тоски этого рокового переходного времени [XIV, 87].

Сложившееся у Анненкова впечатление о «парижских происшествиях» было в действительности объемнее и многоцветнее, как это явствует из его «Записок о французской революции 1848 года» (1983). Толпа ведет себя по-разному: тут и жестокость, и легкомыслие, и праздничность («какой-то странный маскарад»), порою даже сдержанность («Всю ночь слышались выстрелы и песни, но ни пожара, ни грабежа, даже воровства не было, а город был совершенно без власти»), и попытка самоорганизации («...ассоциации по образцу Луи Блана перерождались тотчас же в монастырь или новое моравское братство...» [Анненков, 1983, II, с. 283, 287, 371]). Таковы были наблюдения Анненкова. Но Гоголь воспринимал все услышанное в духе собственных представлений, которые сложились у него по окончании его западноевропейской страды.



И.А. Гончаров  
Фотография С.В. Левицкого. 1856



Д.В. Григорович  
Фотография. 50-е годы XIX в.

«Повсюду смущенья, повсюду беды, повсюду голос неудовольствий и вражда на место любви» [XIV, 44], – писал он еще 15 января н. ст. из Неаполя. Потом на эти представления наложился опыт первых дней и месяцев пребывания на родине, в Одессе, Васильевке или в Киеве, и вот теперь ко всему еще прибавился петербургский опыт: «Все так странно, так дико. Какая-то нечистая сила ослепила глаза людям, и Бог попустил это ослепление» [XIV, 89], – пишет он из Петербурга Погодину в начале октября. И еще характерный эпитет – в письме от 11 октября к Смирновой: «*бестутный* Петербург» [Там же]<sup>38</sup>.

### Московский житель

Гоголь приехал в старую столицу к 13 октября с намерением поселиться здесь навсегда. Впереди еще многочисленные поездки – краткосрочные, как в Калугу или в Абрамцево, длительные, как в Одессу или в Васильевку, – но каждый раз он будет возвращаться в

Москву как к себе домой, несмотря на то что своего-то дома у него здесь не было.

«Москва уединенна, покойна и благоприятна занятиям». «Здесь привольнее. Тут найдется более свободного удобного времени для бесед наших...» [XIV, 91, 89]. Гоголь и других заманивает в Москву, например Александра Иванова: «Пора вам в Москву. Здесь так много открывается древностей и преимущественно по вашей части, что вы не обсмотрите и в целые годы» [XIV, 119]. И конечно, не забывает и Жуковского; о совместной жизни с ним в Москве Гоголь мечтал давно. «Мне все кажется, что хорошо бы тебе завести подмосковную. В деревне подле Москвы можно жить еще лучше, нежели в Москве, и еще уединеннее, чем где-либо... Так что представляются две выгоды: от людей не убежал и в то же время не торчишь у них на глазах» [XIV, 118]. Обе «выгоды» московской жизни Гоголь испытал на себе, но спокойствия они ему все-таки не принесли...

В октябре, вскоре по приезде в Москву, Гоголь посетил С.Т. Аксакова – это была первая их встреча «после шестилетней разлуки» (в дни краткого сентябрьского пребывания Гоголя в Москве Аксаковы жили в Абрамцево). «В непродолжительном времени, – вспоминал Сергей Тимофеевич, – восстановились между нами прежние, как бы прерванные, нарушенные продолжительною разлукою отношения...» [Кулиш, 2003, с. 562]. «Нарушение» объяснялось, конечно, не только разлукою, но и разногласием, заочной полемикой по поводу «Выбранных мест...», но на этот раз обе стороны решили не касаться острой темы: «...об его книге и втором томе “Мертвых душ” не было и помину». Зато много времени уделялось чтению; «Гоголь в эту зиму прочел нам всю “Одиссею”, переведенную Жуковским» [Там же]. «Очень часто также читал вслух Гоголь русские песни, собранные Терещенкою, и нередко приходил в совершенный восторг, особенно от свадебных песен» [Аксаков С., с. 215].

Речь идет о замечательном труде археолога и этнографа Александра Власевича Терещенко «Быт русского народа» (СПб., 1847–1848. Ч. 1–7). Как раз к этому времени (1848) вышла вторая часть этого труда – «Свадьбы».

Как и прежде, Гоголь жил в Москве в доме Погодина на Девичьем поле; гостю отвели самую теплую светлую комнату с двумя окнами и балконом, выходящими на восход солнца.

Сын Михаила Погодина Дмитрий описывает распорядок дня писателя.

После обеда до семи часов вечера он уединялся к себе, и в это время к нему уже никто не ходил; а в семь часов он спускался вниз, широко распахивал двери всей анфилады передних комнат, и начиналось хождение, а походить было где: дом был очень велик. В крайних комнатах, маленькой и большой гостиных, ставились большие графины с холодной водой. Гоголь ходил и через каждые десять минут выпивал по стакану. На отца, сидевшего в это время в своем кабинете за летописями Нестора, это хождение не производило никакого впечатления; он преспокойно сидел и писал. Изредка только, бывало, поднимет голову на Николая Васильевича и спросит: «Ну что, находился ли?» – «Пиши, пиши, – отвечал Гоголь, – бумага по тебе плачет». И опять то же; один пишет, а другой ходит [Воспоминания, с. 408].

Иногда в ход действия вмешивалась Аграфена Михайловна, 73-летняя мать М.П. Погодина. Когда Николай Васильевич «очень уж расходится», то Аграфена Михайловна, «сидевшая в одной из комнат, составлявших анфиладу его прогулок, закричит, бывало, горничной: “Груша, а Груша, подай-ка теплый платок, тальянец (так она звала Н.В.) столько ветру напустил!” – “Не сердись, старая, – скажет добродушно Н.В., – графин кончу, и баста” Действительно, покончит второй графин и уйдет наверх» [Там же. С. 408–409].

По молодости – Дмитрию едва исполнилось 12 лет – он не замечал, что пребывание Гоголя у Погодиных было далеко от идиллии. Об этом говорят дневниковые записи хозяина дома; в них две темы – перечень обсуждаемых с Гоголем вопросов и сетования и жалобы на Гоголя.

С одной стороны: «Вечером с Гоголем о нынешнем времени и о Русском человеке». «С Гоголем о нынешней администрации». «С Гоголем обедали вдвоем и толковали о людях и их действиях». «Глубокое замечание Гоголя: *спасение России, что Петербург в Петербурге*» [курсив в оригинале].

С другой стороны, запись от 1. XI: «Думал о Гоголе. Он все тот же. Я убедился. Только ряса подчас другая. Люди ему нипочем». 2. XI: «Гоголь по два дня не показывается; хоть бы спросил: чем ты кормишь двадцать пять человек?» (замечание не без ехидства – ведь среди этих «двадцати пяти» был и Гоголь, а несколькими годами раньше еще его мать и три сестры). 19. XI: «Православие и Самодержавие у меня в доме: Гоголь служил всенощную – неужели для восшествия на престол?» [все дневниковые записи приводятся по: Барсуков, т. 9, с. 474].

«Самодержавие» Гоголя, т. е. его власть, ощущалось и за пределами погодинского жилища. В Москве хорошо чувствовалось, кто обитает в доме на Девичьем поле, и многие хотели бы с ним встретиться. «Слышал, что у вас гостит русская знаменитость: Н.В. Гоголь, – писал Погодину С.К. Смирнов. – Горю нетерпеливым желанием видеть этого чудного мужа, которого я почитаю до беспредельности» [Там же. С. 475]. Письмо это принадлежит Сергею Константиновичу Смирнову (1818–1889), протоиерею, духовному писателю, одному из «Троицких ученых», по выражению Барсукова, автору, в частности, труда «История Троицкой лаврской семинарии». Неизвестно, осуществилось ли нетерпеливое желание Смирнова, но вот, скажем, встреча Гоголя в доме Погодина со студентами семинарии состоялась, о чем гласит дневниковая запись Погодина от 22 ноября [Там же].

Иногда Гоголь сам приглашал к себе интересующих его людей, например приехавшего с Украины в Москву А.М. Марковича, своего недавнего знакомого, родственника Данилевских. Маркович был большим знатоком народного быта и истории, и его посещению погодинского дома Гоголь придавал особый смысл: мол, гость увидит «редкий музей русских древностей» (знаменитое «древнехранилище» Погодина) и «почти всех замечательных московских литераторов и ученых». Хозяин «вам будет сердечно рад», – добавляет Гоголь и еще советует: «Приезжайте запросто, одевшись, как одеваетесь дома. Дам и модных людей не будет» [XIV, 100].

Совсем иной колорит имела другая встреча – 11 ноября, празднование дня рождения Погодина. По словам погодинского биографа, многочисленные гости явились во фраках и белых галстуках. Были приглашены и важные чиновные лица: московский вице-губернатор, действительный статский советник П.П. Новосильцев; помощник попечителя Московского учебного округа Г.А. Щербатов, который отвечал Погодину: «Я воспользуюсь с величайшим удовольствием вашим приглашением... и со своей стороны, надеюсь, что вы не откажете мне приехать ко мне во вторник провести вечер. Вы меня очень обяжете, если уговорите Гоголя принять тоже мое приглашение и тем доставить мне случай возобновить старое наше с ним знакомство» [Барсуков, т. 9, с. 478].

Вообще присутствие Гоголя должно было придать особую пикантность праздничному дню. Можно даже сказать, что Погодин созывал гостей «на Гоголя»... Увы, ожидания хозяина не оправдались, и причиной тому послужили события, взбудоражившие в то время обе столицы.

В сентябре 1848 г. вышла в свет первая часть «Чтений Московского Общества истории и древностей российских при Московском университете» с переводом сочинения английского дипломата и писателя Дж. Флетчера «О государстве Русском» (1591), в котором в весьма нелестном свете освещались российские порядки. На сочинение еще до его выхода в свет обратил внимание находившийся тогда в Москве Уваров, использовав этот факт в борьбе против С.Г. Строганова («Граф Уваров сбросил Строганова с места попечителя в Московском округе», – записывает 1 декабря 1848 г. А.В. Никитенко [см.: Никитенко, т. 1, с. 313]); Уварову же, как полагали многие, сообщили обо всем Погодин и Шевырев. Насколько эта версия была справедлива, сказать трудно: например, биограф Погодина считал ее клеветой [Барсуков, т. 10, с. 160]; напротив, историк «дела Флетчера» назвал возражения Барсукова «не особенно убедительными» [Белокуров, с. 13]. Так или иначе, но важно то, что убеждение в виновности Погодина и Шевырева было устойчивым.

О степени возмущения против обоих свидетельствует более поздняя (от 6 февраля 1849 г.) запись того же Никитенко: «Недавно был у меня князь <М.А.> Оболенский, начальник московского архива, и рассказывал мне о подвигах Шевырева и Погодина, чтобы выслужиться перед графом Уваровым: как они подвизались против графа Строганова, как подали донос о напечатании Флетчера...» [Никитенко, т. 1, с. 322].

В свете этого события и происходило празднование дня рождения Погодина. Многие приняли приглашение, в том числе И.В. Киреевский, но по крайней мере двое, историк и археограф П.М. Строев и Ю.Ф. Самарин, уклонились; первый, сославшись на недомогание и дальность расстояния; второй же все объяснил, как сейчас принято говорить, открытым текстом. «Последние происшествия в университетском кругу, – писал он Погодину, – о которых говорит теперь вся Москва, возмутили меня и оставили во мне впечатление, с которым я не считаю себя вправе принять вашего приглашения» [Барсуков, т. 10, с. 63].

Спустя четыре дня, 15 ноября, С.Т. Аксаков, суммируя ощущения от всего произошедшего, сообщал сыну Ивану:

...Погодин сделал у себя раут, на который заблаговременно, письмами и записками, убедительно звал всех, кого мог, а особенно людей порядочных, называющих его публично мошенником. Из всех порядочных людей, совершенно понимавших цель Погодина, один только поступил



согласно с своим убеждением: Самарин... Честь ему и слава! Все прочие повалили, как бараны, их набралось более 50 штук! Погодин мог, торжествуя, сказать Гоголю: «Вот они, называющие меня подлецом! Даже хворые притащились от Красных Ворот и других отдаленных московских урочищ!» Гадко все и скверно! [ЛН. Т. 58. С. 712].

Возможно, Погодин действительно сказал что-то подобное Гоголю; но, во всяком случае, Аксаков верно передал и настроения и намерения Погодина в отношении великого писателя. Гоголю отводилась роль не только своеобразной «изюминки» устроенного торжества, но и свидетеля и участника публичной реабилитации Погодина в сложившейся для него щекотливой ситуации. И тем горше для хозяина дома, что Гоголь от этой роли уклонился.

В дневниках Погодина есть такая запись: «Приготовление к вечеру. Письмо от Самарина. *Гоголь испортил и досадно*» [Барсуков, т. 9, с. 479; курсив в оригинале].

«Смысл последних слов неясен», как заметил еще Л. Ланской [см. его комментарий в кн.: ЛН. Т. 58. С. 712]. У нас нет никаких оснований видеть в поведении Гоголя нечто аналогичное открытому протесту Самарина. Скорее всего, Гоголь просто вел себя отчужденно, недружественно, может быть, даже покинул собравшихся, как это он нередко делал и раньше. Ведь нетрудно себе представить, каково ему было при таком скоплении лиц, да еще во фраках и белых перчатках, да еще при определенно ожидаемой от него Погодиным – этого Гоголь не мог не почувствовать! – линии поведения. И реакция Гоголя в таких случаях была привычной – ретироваться...

Через три-четыре недели после празднования дня рождения Погодина, 4 или 5 декабря, Гоголь переезжает к А.П. Толстому в дом на Никитском бульваре<sup>39</sup>. Официальная причина переезда – некоторая перестановка и переоборудование в доме Погодина, но за этой причиной угадывалось и другое – род взаимного недовольствия хозяина и его гостя.

Спустя некоторое время, 24 декабря, Погодин писал Максимувичу: «Гоголь в Москве жил у меня два месяца и теперь переехал к графу А.П. Толстому, ибо я сам переезжаю в флигель: из дома выживают рукописи, боюсь огня запаху. Он [Гоголь] здоров, спокоен и пишет. Вот так нагрубил или лучше – обругал он меня перед лицом всей России, да я и то снес, – значит – что я горд, или добр?» [Барсуков, т. 9, с. 476]. В свете новых обид вспомнились и старые – и упреки по поводу публикации гоголевского портрета,

и публичные обвинения (в «Выбранных местах...») в «неряшестве и неопрятности».

Дом, в котором Гоголю предстояло прожить последние годы и где он умер, хранил память о многих событиях и людях. Одно время владельцем усадьбы был Дмитрий Сергеевич Болтин (1757–1824), дальний родственник историка Ивана Никитича Болтина, а также Карамзина и И. Дмитриева. В прошлом военный, Дмитрий Болтин и сам занимался литературным трудом, он, в частности, подготовил первый русский перевод «Исповеди» Руссо.

Следующим владельцем дома стал генерал-майор Александр Иванович Талызин, а после его смерти, в августе 1847 г., дом перешел к его родственнице титулярной советнице Талызиной. Вскоре дом приобрел вернувшийся из-за границы граф Александр Петрович Толстой, записавший его на имя своей жены графини Анны Георгиевны (Егоровны) Толстой [Шокарев, с. 268–269; Шокарев, 2009, с. 24–25].

Несмотря на то что Талызина уже давно не было в живых, дом называли его именем; так поступал и Гоголь в своих письмах: «Адрес мой: в доме Талызина на Никитском бульваре...» [XIV, 107]; «Адресуйте письма по-старому в дом Талызина на Никитском бульваре» [XIV, 140] и т. д.

В доме Талызина Гоголь занял «переднюю часть нижнего этажа, окнами на бульвар, тогда как сам Толстой занимал весь верх. Здесь за Гоголем ухаживали как за ребенком, предоставив ему полную свободу во всем. Он не заботился ровно ни о чем. Обед, завтрак, чай, ужин подавались там, где он прикажет. Белье его мылось и закладывалось в комоды невидимыми духами, если только не надевалось на него тоже невидимыми духами. Кроме многочисленной прислуги дома, служил ему, в его комнатах, собственный его человек из Малороссии, именем Семен, парень очень молодой, смиренный и чрезвычайно преданный своему барину. Тишина во флигеле была необыкновенная. Гоголь либо ходил по комнате из угла в угол, либо сидел и писал, катая шарики из белого хлеба, про которые говорил друзьям, что они помогают разрешению самых сложных и трудных задач. Один друг собрал этих шариков целые вороха и хранит благоговейно... Когда писание утомляло или надоедало, Гоголь подымался наверх, к хозяину (т. е. к А.П. Толстому. – Ю. М.), не то – надевал шубу, а летом испанский плащ без рукавов, и отправлялся пешком по Никитскому бульвару, большею частью налево от ворот».

Автор этой зарисовки Николай Васильевич Берг (1823–1884), поэт-переводчик и историк, заключает: «Мне было весьма легко делать эти наблюдения, потому что я жил тогда как раз напротив, в здании коммерческого банка» [Воспоминания, с. 504–505]. Действительно, Берг находился, что называется, по соседству – с 1848 г. он работал в конторе Государственного банка, в знаменитом построенном Доменико Жилярди доме, что располагался на противоположной стороне Никитского бульвара. Но увидеть отсюда, как ведет себя Гоголь за стенами талызинского особняка, было невозможно, для этого Бергу надо было бывать в этом доме.

По словам Берга, он впервые встретился с Гоголем в конце 1848 г. на обеде у Шевырева. Впечатление, произведенное писателем, такое же, как и у многих других, наблюдавших его в многолюдстве: «Во всей фигуре было что-то несвободное, сжатое, скомканное в кулак. Никакого размаха, ничего открытого нигде, ни в одном движении, ни в одном взгляде. Напротив, взгляды, бросаемые им то туда, то сюда, были почти что взглядами исподлобья, наискось, мельком, как бы лукаво, не прямо другому в глаза, стоя перед ним лицом к лицу». И потом, когда все уселись за обеденным столом, «Гоголь говорил не много, вещи самые обыкновенные».

После этой встречи Бергу не раз приходилось «видать его [Гоголя] у разных знакомых славянофильского кружка», но линия поведения писателя оставалась неизменной: «Он держал себя большей частью в стороне от всех» [Там же. С. 500–501].

Нелегко складывались отношения Гоголя и с аксаковским семейством. Первым, мы помним, еще до поездки Гоголя в Петербург руку дружбы ему протянул Константин Аксаков. Гоголь принял ее, как показалось Константину Сергеевичу, со смущением. В октябре 1848 г. в Москву возвратился Аксаков-старший, и Гоголь навестил его чуть ли не «в тот же вечер». Но тут некоторую неловкость проявил уже Сергей Тимофеевич, хорошо помнивший свою полемику с автором «Выбранных мест...». «Мне было досадно, но я не мог преодолеть себя. Разумеется, Гоголь это заметил, но бывал у нас почти каждый день, и любовь самая искренняя ко мне выражалась в каждом его слове и движении» [Аксаков С., с. 213, 214].

Но под покровом любви зрели обиды и взаимное раздражение. Сергей Тимофеевич не мог скрыть тревоги относительно будущего писателя и прежде всего судьбы второго тома поэмы («...не погиб ли в Гоголе художник в борьбе с мистиком-христианином» [Там же. С. 214]; со стороны же Константина Сергеевича еще добавлялось опасение, не отдалился ли Гоголь от русской жизни.

Конфликт проявился во время чтения Гоголем «Одиссеи» в переводе Жуковского. «Третьего дня, – сообщает 28 ноября 1848 г. С.Т. Аксаков сыну Ивану, – [Гоголь] так рассердился за упреки в долгом пребывании на чужой стороне Жуковскому, что убежал и унес с собой “Одиссею”» [ЛН. Т. 58. С. 714]. Эта вспышка негодования понятна: ведь К.С. Аксаков метил и в Гоголя с его, как выразился Константин, «бесстыдными отъездами в чужие края»...

«Нет, не восстанавливаются прежние отношения между нами. Искренности нет...» [Там же] – подытоживает Сергей Тимофеевич.

Источником напряжения служило и общее отношение Гоголя к славянофильской доктрине. Его подмеченная Бергом отстраненность «у разных знакомых славянофильского кружка» не была случайной: Гоголь оставался верен себе, не желая полностью солидаризироваться с каким-либо направлением. И это при том, что, по его мнению, «правды больше на стороне славянистов и восточников», чем «западников», «потому что они все-таки видят весь фасад и, стало быть, все-таки говорят о главном, а не о частях». Это заявление только что прозвучало со страниц «Выбранных мест...» (глава «Споры»). Но здесь же можно было прочитать, что «и на стороне европейстов и западников тоже есть правда» и что «кичливости больше на стороне славянистов: они хвастуны; из них каждый воображает о себе, что он открыл Америку, и найденное им зернышко раздувает в репу» [VIII, 262].

«Открытие Америки» – формула некоей абсолютизации идеала, ощущения, что он уже найден, четко сформулирован. Эту черту славянофилов, как мы уже говорили, отмечал Н.А. Бердяев: у славянофилов «не было этой тревоги, этой жути, этого трагизма, почва не колебалась под ними, земля не горела...» и т. д. [Бердяев, с. 28–29]. Напротив, ощущение колеблющейся почвы, уходящей из-под ног земли – хорошо знакомое Гоголю чувство...

Что же такое дельность и внимание к «частям», которого недостает славянофилам, Гоголь показывает своей характеристикой «Домостроя» (этот памятник литературы XVI в. только что был опубликован во «Временнике Московского общества истории и древностей российских»). В «Домострое», пишет Гоголь 30 марта 1849 г. А.М. Виельгорской, «является уже не политическое устройство России, но частный семейный быт»; все определено и разъяснено во всех подробностях: «как быть... жене и хозяйке дома с мужем, с детьми, с слугами и с хозяйством, как воспитать детей, как воспитать слуг, как устроить все в доме, обшить, одеть,

убрать, наполнить запасами кладовые, уметь смотреть за всем...» Перед нами описание «должности» или «поприща», как они определялись в «Выбранных местах...», т. е. своеобразное развитие мотива евангельской Марфы, который, мы помним, играл такую большую роль в философии той же гоголевской книги. «Словом, – продолжает Гоголь свое письмо к Виельгорской, – видим соединенье Марфы и Марии вместе или, лучше, видим Марфу, не ропшущую на Марию, но согласившуюся в том, что она избрала благую часть, и ничего не придумавшую лучше, как остаться в повеленьях Марии...» И затем Гоголь переходит к современным авторам: такие книги, как «Домострой», «гораздо полезнее всех тех, которые пишутся теперь о славянах и славянстве людьми, находящимися в брожениях, в переходных состояниях духа, возрастах, подвластных воображенью, оболещеньям самолюбивого ума и всяким пристрастьям» [XIV, 110–111]. Тут скрывалась шпилька и в адрес Константина Аксакова...

Между тем при посещении московских знакомых и друзей Гоголь продолжал придерживаться своей манеры уклонения от публичных споров. Следующая по времени известная нам встреча имела место 1 мая 1849 г. у Хомякова. В дневнике П.И. Бартенева, участника этой встречи, помечено: «Сначала сидели в кабинете, толковали о том, чью сторону должна принять Россия в предстоящей войне: славянскую или антиславянскую». Хомяков и К. Аксаков говорили, что славянскую, противником их выступал Н.Ф. Павлов. «Во время разговора незаметно отворилась дверь и взошел, поклонившись только некоторым (видно было, что он был тут уже давно, шляпа его лежала в кабинете), *Гоголь*... Гоголь сел в угол дивана, далеко от света, так что я не мог порядочно рассмотреть лица его, и большею частью молчал... Он часто позевывал, тербил пальцами по подушке, наконец спросил себе воды, выпил и, ни с кем не простившись, взял шляпу и тихонько вышел...» [Зайцев, с. 25; курсив в оригинале]. Это свидетельство может быть дополнено выводом В.И. Шенрока: «В разговорах, как мы слышали из разных источников (в том числе и от упомянутого выше П.И. Бартенева. – Ю. М.), Гоголь часто не принимал участия, молча и презрительно поглядывая на современников; у иных зарождалась даже мысль, что этот прием употреблялся им в некоторых случаях нарочно для прикрытия своего невольного смущения» [Шенрок, т. 4, с. 757].

Приведенная запись Бартенева позволяет расширить представление если не о круге общения (об общении в свете только

что сказанного говорить рискованно), то о круге связей Гоголя в этот период. Это прежде всего сам Петр Иванович Бартенев (1829–1912), в будущем историк, археограф и библиограф, издатель «Русского архива»; в момент встречи с Гоголем – студент словесного отделения историко-филологического факультета Московского университета. Затем – Александр Михайлович Языков (1799–1874), младший брат поэта. Гоголь продолжал встречаться и со старшим братом, Петром Языковым; известно, например, что день 19 марта, считавшийся днем рождения Николая Васильевича, они совместно провели у Аксаковых.

Любопытный факт – присутствие на вечере у Хомякова 1 мая П.Я. Чаадаева, а также Чижова. Как протекала новая встреча Гоголя с Чаадаевым, неизвестно; зато определенно можно сказать о дружественном расположении его к Чижову. После встреч в Киве в мае–июне 1848 г. эта дружественность окрепла, несмотря на различие во взглядах. Как раз к 1849 г. относится письмо Чижова к Е.М. Хомяковой: «Любите Гоголя... Простите, что напишу Вам два слова наставления: я думаю, Вы не шутите над Гоголем, ради Бога не шутите. Я с ним не схожусь, но это человек (как писатель), до того стоящий самого глубокого уважения, что малейшая попытка на шутку была бы оскорбительна. Любите его, его приходы всегда хороши» [ЛН. Т. 58. С. 778].

Среди лиц, симпатичных Гоголю, – еще Иван Александрович Фонвизин (1790–1853), отставной полковник, брат декабриста Александра Фонвизина, также принимавший участие в Союзе благоденствия и подвергшийся двухмесячному задержанию в крепости [Декабристы, с. 330]. С Иваном Фонвизиным Гоголя познакомил Н.Н. Шереметева. «Доброго Ивана Алекс<андровича> Фон-Визина я имел удовольствие видеть два раза и вам благодарен от души за это знакомство» [XIV, 129], – писал Гоголь Шереметевой в мае 1849 г. Со своей стороны, Фонвизин сообщал 25 мая 1849 г. той же Шереметевой: «...у Николая Васильевича третьего дня был сам и побеседовал с ним около двух часов». Затем «в самый троицын день он был у меня... Скажу вам, что мне с ним чрезвычайно легко и свободно...» [ЛН. Т. 58. С. 716].

«Легко и свободно» – такое в общении с Гоголем случилось не часто...

Иллюстрируя свою мысль о благотворном воздействии бесед с Гоголем, Фонвизин далее приводит рассказ последнего о явлении Спасителя больной девушке (этот рассказ Гоголь, в свою очередь, заимствовал у А.П. Толстого). «Гр<аф> Толстой был там

(в доме больной девушки. – Ю. М.) на другой день и прежде, нежели ему сказали о том, догадался, что в доме случилось что-нибудь необыкновенное, по лицам живущих в нем» [Шереметева, с. 34]. Этот рассказ вполне отвечал душевному настрою склонного к мистике Ивана Фонвизина, хотя религиозное чувство самого Гоголя было гораздо сложнее: достаточно напомнить, что непосредственность веры сочеталась в нем с аналитизмом и рациональностью протестантизма.

Между тем об эпизоде с явлением Спасителя Гоголь, очевидно, рассказывал не только Фонвизину и не раз; поэтому, возможно, именно этот рассказ имел в виду С.Т. Аксаков<sup>40</sup>):

Перед своими именинами (9 мая 1849 г. – Ю. М.) Гоголь перепугал нас всех, говоря серьезно и с уверенностью о самых нелепых бреднях суеверных людей. Я приписывал и теперь приписываю нравственное состояние Гоголя пребыванию его в доме Толстых. Попы, монахи с их изуверными требованиями, ханжество, богомольство и мистицизм составляли его атмосферу, которая никому не вредила, кроме Гоголя: ибо он один со всею искренностью предавался этому направлению» [Аксаков С., с. 216].

Тут уже упрощал С.Т. Аксаков, сводивший протекавшие в душе Гоголя глубокие душевные процессы к внешнему влиянию.

Начнем с того, что к весне 1849 г. резко ухудшилось физическое состояние Гоголя. Осенью предыдущего года он находился (как отметил тот же Аксаков) «в прекрасном расположении духа» [ЛН. Т. 58. С. 711]. Это подтверждают и другие. М.П. Погодин 22 октября: Гоголь «довольно здоров и весел» [Там же. С. 710]. А.М. Языков, только что познакомившийся с Гоголем, 4 ноября: «в обществе он очень интересен» [Там же. С. 710]. Такого же мнения остался и побывавший в Москве В.А. Соллогуб, хотя сам Гоголь счел необходимым его подкорректировать: «Донесенье Соллогуба насчет моего здоровья и прекрасного расположенья духа только наполовину справедливо. Он меня видел в гостях. Нельзя же приносить в гости скуку» [XIV, 111]. Впрочем, «приносить в гости скуку» Гоголю, как мы знаем, доводилось; все дело в том, что поступал он так не всегда: до поры до времени ему удавалось с собою справляться.

Хуже почувствовал себя Гоголь к весне 1849 г. – и уже не столько физически, сколько душевно. «Здоровье мое, кажется, несколько лучше... но зато находят опять такие волнения...» (Н.Н. Шереметевой, 20 мая [XIV, 124]). «Я до того расколебался,

и дух мой пришел в такое волнение, что никакие медицинские средства и утешения не могли действ<овать>. Уныние и хандра мною одолели снова» (П.А. Плетневу, 24 мая [XIV, 125]). «Приехал я в Москву с тем, чтобы засесть за “Мерт<вые> души”, с окончанием которых у меня соединено было все... Сначала работа шла хорошо, часть зимы проведена отлично, потом опять отупела голова... И все во мне вдруг ожесточилось, сердце очерствело. Я впал в досаду, в хандру, чуть не в злость» (С.М. Соллогуб, 24 мая [XIV, 126]). «Нервы расшатали меня всего, ввергнули в такое уныние, в такую нерешимость, в такую тоску от собственной нерешимости, что я весь истомился» (А.О. Смирновой, 27 мая [XIV, с. 128]).

Гоголь оказался на грани душевного кризиса, подобно которому он подвергся летом 1845 г. В то же время отчетливо видно, что психическое его состояние тесно связано с расположением творческим, что истоком душевных мук становится замедление в работе, отсутствие вдохновения, бледность и несовершенство, как это кажется автору, исполнения. Не пишется – значит не живет...

В состоянии мучительных терзаний и тоски Гоголь вновь подумывает о дороге – цели путешествия самые разные: то опять Иерусалим, то Греция, то Англия, то какое-нибудь место поближе, например Калуга, где жила А.О. Смирнова. Дорога и путешествие – испытанные целительные средства; «они одни... (как писал Гоголь еще в марте 1841 г. С.Т. Аксакову) восстанавливают меня». Но дорога и путешествия – еще и способ освоения новых пространств, необходимых для успешной работы над поэмой, ведь действие второго, а затем, очевидно, и третьего томов должно было сместиться на восток. «Я имел, точно, намерение проездиться по северно-восточным губерниям России, мало мне знакомым, но как и когда приведу это в исполнение – не знаю» [XIV, 133], – писал Гоголь А.М. Виельгорской 3 июня 1849 г. Еще более неопределенны были планы заграничного путешествия.

В состоянии смятения и неопределенности Гоголь встречает свои именины 9 мая, традиционно отмечаемые в саду Погодина. Гоголь и на этот раз решил не нарушать обычай; ему хотелось, чтобы все было, как прежде. «Не можете ли вы дать знать, – пишет он Сергею Тимофеевичу, – или сами или через Константина Сергеевича Армфельду, Загоскину, Самарину и Павлову, совокупно с Мельгуновым?» [XIV, 123]. Достоверно известно, что и Армфельд, и Загоскин, и Юрий Самарин, и Николай Павлов и ранее участвовали в подобных именинных обедах. Разумеется, Гоголю хотелось видеть и Аксаковых, но, согласно Сергею Тимофеевичу,



это было невозможно: «Меня с сыновьями Гоголь не мог приглашать, потому что еще в начале 1848 года мы перестали видеться с Погодиным» [Аксаков С., с. 217].

Тем не менее Иван Аксаков решил отправиться на обед, и благодарный Погодин отметил в дневнике: «Иван Аксаков подал руку» [Барсуков, т. 10, с. 318]. Но впечатления, оставшиеся у Ивана Сергеевича, были неутешительные; спустя неделю, 16 мая, он общал Смирновой:

...Гоголь захотел дать обед в саду Погодина так, как он давал обед в этот день в 1842 году и прежде еще не раз. Много воды утекло в эти годы! Он позвал всех, кто только были у него в *то* время. Люди эти теперь почти перессорились, стоят по разных сторонах, уже выказались в разных обстоятельствах; многие не выдержали испытания и пали... Словом, обед был весьма грустный и поучительный, а сам по себе превялый и прескучный. Когда же по милости вина обед оживился, то многие перебрались так, как и ожидать нельзя было... [РА. 1895. № 12. С. 432; курсив в оригинале].

И через год в связи с таким же именинным обедом Иван Аксаков писал отцу: «Как удался ныне обед Гоголя? В прошлом... он был очень неудачен, я был на нем» [Барсуков, т. 10, с. 318].

Что же касается Погодина, то, как видим, несмотря на взаимные обиды и холодность, отношения его с Гоголем сохранились. Об этом свидетельствует и другой факт: спустя почти месяц, 5 июня, вместе они совершат поездку к Вяземскому в Остафьево. Возможно, стимулом для поездки являлось желание поддержать Вяземского в трудную для него пору: в начале года он потерял дочь Марию, внезапно скончавшуюся от холеры, и теперь готовился к длительному путешествию (через несколько дней прямо из Остафьева он отправится вместе с женой Верой Федоровной в Константинополь).

Совместная поездка дала возможность Гоголю и Погодину коснуться многих предметов, о чем говорит дневниковая запись последнего. «С Гоголем о Европе, о России, правительстве». Затронули и такую злободневную тему, как строительная деятельность П.А. Клейнмихеля, главноуправляющего путями сообщений и публичными зданиями, тем самым предвосхищая написанную спустя несколько лет Некрасовскую «Железную дорогу»: «Это шоссе, например, проведено прямо, стоило дорого, но ездить нельзя: усыпано хрящем, что и колеса, и копыта испортились. Все ездят и мучатся и проселками, а за шоссе все-таки платят Клейнмихелю» [Барсуков, т. 10, с. 194–195].

В Остафьеве обсуждение тем продолжилось уже с участием хозяина. «Вяземский очень рад. Гуляли. О Карамзине, о крестьянах, о Петре Великом, литературе и пр. С Всеволожским. Обедали у Окуловых» [Там же].

В тот же день и Гоголь сделал запись, свидетельствующую о том, что присутствовавшие еще осматривали остафьевский архив: «5 июня 1849. Рылись здесь Гоголь...». И далее еще подписи Погодина, Всеволожского и Вяземского [XIV, 15].

Тут надо пояснить: Николай Сергеевич Всеволожский (1772–1857) – личность весьма примечательная. Отставной военный, писатель, владелец типографии в Москве (в 1809–1817 гг.), он мог быть интересен Гоголю во многих отношениях. Всеволожский был знаком с Пушкиным, встречался с ним по крайней мере дважды [см.: Черейский, с. 83]. Позднее совершил большое путешествие, отчасти совпадающее или предвосхищающее гоголевские вояжи; это странствие стало основой книги Всеволожского «Путешествие чрез Южную Россию, Крым и Одессу в Константинополь, Малую Азию, Северную Африку, Мальту, Сицилию, Италию, Южную Францию и Париж в 1836 и 1837 годах» (М., 1839. Т. 1, 2). И еще: почти десять лет (с 1817 по 1826 г.) Всеволожский был тверским гражданским губернатором – должность, которая весьма интересовала Гоголя в связи с его общими размышлениями об устройстве государственного правления в России и, в частности, в связи с фигурой генерал-губернатора во втором томе «Мертвых душ» (ср. также соответствующие многочисленные заметки в гоголевских записных книжках, начиная с рубрики «Дела, предстоящие губернатору» [VII, 349 и далее]).

Говоря о московских встречах Гоголя, следует упомянуть и Николая Степановича Чаева (1824–1914), прозаика, драматурга. Встречи были не частыми, может быть, единственный раз. Зато благодаря Чаеву мы узнаем о более регулярном общении писателя с Дмитрием Матвеевичем Перевошиковым (1788–1880), астрономом, математиком, профессором Московского университета (в 1848–1851 гг. – ректором). «Перевошиков, – рассказывает Чаев, – любил Гоголя и не пропускал ни одного представления Ревизора, Женитьбы, даже сцен Тяжба, Утро делового человека и др. С М.С. Щепкиным он был дружен. Гоголь также у него бывал, и раз я был приглашен на обед, когда у Перевошикова обедал знаменитый писатель» [РО. 1896. Март. С. 389].

Перевошиков славился как выдающийся популяризатор науки, что было отмечено Н.Г. Чернышевским: «...в последние

тридцать лет никто не содействовал столько, как он, распространению астрономических и физических сведений в русской публике...» [Чернышевский, т. 2, с. 620]. Среди увлеченных слушателей преподавателя были Лермонтов и Герцен [Земенков, 2011, с. 121]. Интерес к Перевощикову проявил и Гоголь-гимназист, который, по словам его соучеников, на собственные деньги выписал «Математическую энциклопедию» Перевощикова, правда, не столько из-за любви к математике, сколько из-за пристрастия к редким и оригинальным изданиям – энциклопедия была «издана в шестнадцатую долю листа» [Кулиш, 2003, т. 1, с. 109]. Этот эпизод, очевидно, относится к тому времени, когда Гоголь ревностно «выполнял обязанности общественного библиотекаря» и даже заставлял товарищей надевать на пальцы бумажные наконечники, чтобы не засаливались страницы...

Летом 1849 г. состоялось еще несколько встреч Гоголя с интересными людьми. Писатель в это время более расположен к общению: он чувствует себя лучше. «Я только что оправился от сильной болезни нервической...» (А.М. Виельгорской, 3 июня, [XIV, 133]). «...Теперь опять поправляюсь. Голова еще не в таком состоянии, чтоб светло заняться делом, но времени не пропускаю, от дела не бегаю и запасуюсь материалами для будущей работы» (К.М. Базили, 5 июня [XIV, 134]). И по обыкновению свои встречи Гоголь старается подчинить интересам «будущей работы».

Около 25 июня Гоголь видится с приехавшим в Москву Яковом Карловичем Гротом (1812–1893), языковедом, переводчиком, профессором русского языка и словесности Гельсингфорского университета. Гоголь бегло встречался с ним и раньше, у Плетнева – скорее всего, это было во время приездов писателя в столицу в 1839, в 1841 и 1842 гг., но, возможно, и прежде, в петербургский период его жизни. Тогда Грот, только что окончивший Царскосельский лицей, делал свои первые шаги в литературе и на служебном поприще – как чиновник канцелярий Кабинета министров и Государственного совета.

В Москве же Гоголь и Грот виделись не один раз («...мы посещали друг друга», – говорит Грот). Автор «Мертвых душ» обратился к собеседнику с привычными сетованиями: «Он жаловался, что слишком мало знает Россию; говорил, что сам сознает недостаток, которым от этого страдают его сочинения». Говорил в связи с этим и о необходимости путешествия по стране, которое становится трудноисполнимым: «...уж некогда: мне около сорока

лет, а время нужно, чтобы написать» [Воспоминания, с. 414]. Под свежим впечатлением от разговора Грот сообщил об этом Плетневу 25 июня: «Посидел у Гоголя: собирается поехать по России, но еще колеблется, ехать ли, ибо дорожит временем, а жизнь коротка» [Плетнев, 1896, т. 3, с. 443–444].

Недостаток собственных сведений Гоголя должны возместить сообщения его корреспондентов – на Грота, в частности, возлагается обязанность быть источником информации о Финляндии: «...Гоголь стал расспрашивать меня и о Финляндии, где я жил в то время. Между прочим его интересовала флора этой страны... и попросил выслать ему, когда я возвращусь в Гельсингфорс, незадолго перед тем появившуюся книгу Нюландера “Flora fennica”, что я и исполнил впоследствии» [Воспоминания, с. 414–415]. Примечательно, что прежде Гоголь не проявлял особого интереса к Финляндии, говоря, что ему «следует присылать только те книги, где слышна сколько-нибудь Русь», и даже высказывал опасения, как бы Плетнев не стал его «потчевать Финляндией» [XIII, 211], – возможно, он имел в виду именно Грота. Теперь, как видим, диапазон гоголевских интересов расширился.

Грот обещал Гоголю устроить встречу с другим полезным ему человеком – Дмитрием Степановичем Протопоповым (ум. 1871), знатоком крестьянского быта, начальником комиссии по уравнению податей казенных крестьян. С этой целью Гоголь приехал к дому на Собачьей площадке, где жил Протопопов, у которого остановился и Грот, но хозяина не оказалось дома. Впоследствии, 26 октября, из Гельсингфорса Грот выслал Гоголю материалы Протопопова [см.: Шенрок, т. 4, с. 821], которые писатель нашел очень полезными. «Его замечания о русском народе... совершенно верны, отзываются большой опытностью, а с тем вместе и ясностью головы» [XIV, с. 157].

Летом 1849 г. Гоголь встретился и с Л. Арнольди, познакомила их приехавшая в Москву 25 июня Смирнова-Россет. Лев Иванович Арнольди (1822–1860) приходился ей сводным братом – от брака ее матери с И.К. Арнольди.

По словам Льва Арнольди, он впервые увидел Гоголя в гостинице «Дрезден», где остановилась Александра Осиповна. Это был «человек маленького роста с длинными белокурыми волосами, причесанными а la moujik, маленькими карими глазками и необыкновенно длинным и тонким птичьим носом... Он носил усы, чрезвычайно странно тарантил ногами<sup>41</sup>, неловко махал одной рукой, в которой держал палку и серую пуховую шляпу; был одет вовсе не

по моде и даже без вкуса. Улыбка его была очень добрая и приятная, в глазах замечалось какое-то нравственное утомление» [Воспоминания, с. 472]. В общем – Гоголь, каким его обычно видели и другие. «...Гоголь дружески обнял меня, сказав сестре: “Ну теперь я знаком, кажется, со всеми вашими братьями; этот, кажется, самый младший”. Действительно, я был младший» [Там же].

Лев Арнольди симпатизировал славянофилам гораздо больше, чем его сестра. Он «в восторге от Константина, от Москвы, от всего направления, – писал Иван Аксаков родным 24 ноября 1845 г. – Так поразило его все это мысленное движение, добросовестные убеждения и забвение всех предрассудочных условий и понятий» [Аксаков, 1988, с. 221]. Подружился он и с Иваном Аксаковым, который посвятил ему стихотворение «Послание к Л.И. Арнольди» (1848).

Одно время Иван Аксаков и Лев Арнольди служили вместе в Калуге: первый – товарищем председателя Калужской уголовной палаты, второй – секретарем губернского правления. Н.М. Смирнов, калужский губернатор, отзывался об Арнольди весьма похвально: «умный очень малый» [Аксаков, 1988, с. 195].

Служебные занятия Льва Арнольди предопределили характер беседы его с Гоголем, которая возникла в первый же день знакомства, когда Лев Иванович провожал писателя от гостиницы «Дрезден» до дома Толстого на Никитском бульваре. Гоголь «советовал не брать видных мест». «На них всегда найдутся охотники, – прибавил он, – а вы возьмите должность скромную, не блестящую, и постарайтесь быть именно в этой должности полезным». Арнольди сказал, что надеется скоро стать советником в губернском правлении. «Вот и хорошо, отвечал Гоголь, тут работы будет много и пользу принести можно; это не то что франты чиновники по особым поручениям или служба министерская...» [Воспоминания, с. 472–473]. Гоголь, как видим, давал советы в духе своего главного убеждения в том, что каждый должен быть деятелен на своем месте, или поприще, и что общий порядок возникнет из согласованных действий всех.

Лев Арнольди пробыл в Москве две недели и «почти каждый день» виделся с Гоголем (на одной из встреч присутствовал Ю.Ф. Самарин<sup>42</sup>). Все это время писатель «был здоров, весел». Словом, как будто бы подтверждались слова Гоголя, что болезненное состояние преодолено, ушло в прошлое.

Но вот эпизод, относящийся к приезду в Москву Смирновой в 1849 г., т. е. к тому же самому времени. «Однажды, – говорит

Ф. Чижов, – мы сошлись с ним [Гоголем] под вечер на Тверском бульваре... Заговорили мы с ним об его болезни. “У меня все расстроено внутри, – сказал он. – Я, например, вижу, что кто-нибудь спотыкнулся; тот час же воображение за это ухватится, начнет развивать – и все в самых страшных призраках. Они до того меня мучат, что не дают мне спать и совершенно истощают мои силы”» [Кулиш, 1856, т. 2, с. 241].

Над силами хаоса и страха была натянута очень тонкая пелена, и эти силы то и дело грозили прорваться наружу.

Арнольди, регулярно встречавшийся с Гоголем и отмечавший его здоровье и хорошее расположение духа, однажды тоже убедился в том, что дело обстоит гораздо сложнее.

По обыкновению он как-то провожал Гоголя до дома А.П. Толстого у Никитских ворот. Была ночная пора, и навстречу, рассказывает Арнольди, «попалось несколько таинственных лиц женского пола, выползающих обыкновенно на бульвар при наступлении ночи. Гоголь сказал мне:

Знаете ли, что на днях случилось со мной? Я поздно шел по глухому переулку, в отдаленной части города: из нижнего этажа одного грязного дома раздавалось духовное пение. Окна были открыты, но завешены легкими кисейными занавесками, какими обыкновенно завешиваются окна в таких домах. Я остановился, взглянул в одно окно и увидел страшное зрелище! Шесть или семь молодых женщин, которых постыдное ремесло сейчас можно было узнать по белилам и румянам, покрывающим их лица, опухлые, изношенные, да еще одна толстая старуха отвратительной наружности, усердно молились Богу перед иконой, поставленной в углу на шатком столике. Маленькая комната, своим убранством напоминающая все комнаты в таких приютах, была сильно освещена несколькими свечами. Священник в облачении служил всенощную, дьякон с причтом пел стихиры. Развратницы усердно клали поклоны. Более четверти часа простоял я у окна... На улице никого не было, и я помолился вместе с ними, дождавшись конца всенощной. Страшно, очень страшно, – продолжал Гоголь, – эта комната в беспорядке, имеющая свой особенный вид, свой особенный воздух, эти раскрашенные развратные куклы, эта толстая старуха, и тут же – образа, священник, евангелие и духовное пение! Не правда ли, что все это очень страшно? [Воспоминания, с. 475; вариант этого рассказа см.: Соллогуб, с. 311–313].

Но почему «страшно», почему же «очень страшно»? Потому что женщина – «венец творения» и ее красота, ее обаяние исполнены

для Гоголя особой, божественной силы, и надругательство над женщиной есть род святотатства, господство сил хаоса над гармонией. То, о чем Гоголь рассказал Арнольди, он запечатлел еще в «Невском проспекте», в сцене, в которой художник Пискарев попадает в публичный дом – в «тот приют, где человек святотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь» [III, 21].

### Экзамен для «Мертвых душ»

Около 6 июля 1849 г., еще до переезда к Толстому, Гоголь вместе с Арнольди выехали в Калужскую губернию, Медынский уезд, в имение Смирновых Бегичево. Александра Осиповна, отправившаяся туда несколькими днями раньше, пригласила его провести там остаток лета. Это соответствовало планам Гоголя: уж если не получается совершить дальнейшее путешествие, «в большом размере», то нужно ограничиться «малым», т. е. «посетить губернии в окружности Москвы, повидаться с некоторыми знакомыми и поглядеть на Русь, сколько ее можно увидеть на большой дороге» [XIV, 138].

Ехали в большом тарантасе вчетвером: помимо Гоголя, Арнольди и ямщика, еще француз, исполнявший обязанности камердинера<sup>43</sup>. У Гоголя было чудесное настроение, он потешался над французом, по словам Арнольди, малым «до чрезвычайности тупым и глупым»; рассказывал анекдоты, «один другого забавнее и остроумнее»; описывал «характер малороссиянина» – очевидно, в том же комическом ключе. Казалось, поездка внушала ему хорошие предчувствия.

В дороге Гоголь много беседовал со своим спутником о «русской литературе, о Пушкине, в котором он любил удивительно доброго и снисходительного человека и умного, великого поэта», говорил о Языкове, Баратынском; при этом Гоголь «превосходно прочел» два стихотворения Языкова, в том числе «Землетрясение», заметив, что это «лучшее русское стихотворение» [Воспоминания, с. 477]. Гоголь повторил оценку Жуковского, воспроизведенную еще в «Выбранных местах...»: «Это, по его мнению, лучшее не только из твоих, но даже из всех русских стихотворений» [VIII, 278].



Свидетельство, выданное Гоголю на право проезда  
в Калужскую и другие губернии

На другой день прибыли в Малоярославец, где Гоголь свел знакомство с тамошним городничим, оказавшимся, не в пример иным городничим, поклонником «Ревизора»<sup>44</sup>; потом поехали по большой калужской дороге, свернули на проселочную и прибыли в деревню Бегичево, где возвышался белокаменный барский дом. И на всем протяжении пути, днем и ночью, Гоголь держал при себе большой портфель: здесь заключалось все его богатство, все его надежды – второй том «Мертвых душ».

В Бегичеве в радушной атмосфере Гоголь прожил четыре дня. Он по-прежнему был общителен, весел, любознателен. Арнольди вспоминает, что они «в большом обществе» ходили за грибами, ездили по окрестностям и, в частности, посетили находившееся в пяти верстах от Бегичева имение Гончаровых Полотняный Завод. Здесь все еще напоминало о Пушкине, гостившем в Полотняном Заводе около двух недель, в августе–сентябре 1834 г. По вечерам же Гоголь читал вслух «Одиссею» в переводе Жуковского, восхищаясь «каждой строчкой».

На пятый день переехали в Калугу, в загородный дом губернатора. И тут произошло то главное событие, к которому готовился Гоголь, которое с волнением ожидал...



Служивший в Калуге Иван Аксаков так описывает этот дом. «Помещение довольно большое и удобное; с одной стороны балкон выходит на луг, позади которого прекрасный лес; слева Ока, справа виднеется другая речка, монастырь и сады; вид чудесный, тем более что с этой стороны всегда заходит солнце. С другой стороны огромный сад с темными, тенистыми аллеями, вроде дворцового сада в Москве» [Аксаков, 1988, с. 264].

Гоголь, расположившийся в комнатке во флигеле, рядом с комнаткой Арнольди, повел свой привычный образ жизни: по утрам запирался и писал стоя за конторкой, потом один гулял по саду, затем являлся к обеду. На этом уединение Гоголя заканчивалось: остаток дня он проводил вместе со Смирновой и Арнольди или только со Смирновой, «гулял, беседовал и был большую часть времени весел» [Воспоминания, с. 480].

Однажды – это было примерно на второй неделе пребывания в Калуге – Гоголь выразил желание прочесть Смирновой из второго тома «Мертвых душ». Чтение проходило в кабинете Александры Осиповны, которая распорядилась никого к ней не пускать, в том числе и брата, но на другой день, видимо, ободренный реакцией слушательницы («все им прочитанное было превосходно», – сказала она), Гоголь разрешил присутствовать и Льву Арнольди. Встретились «для этого в 11 часов утра, на балконе» – очевидно, том самом балконе, откуда открывался чудесный вид на окрестные просторы. И потом встречались, вероятно, не один раз, потому что Арнольди довелось прослушать не менее двух глав (Смирновой же значительно больше).

Существует мнение, что калужское чтение – «первое авторское чтение написанного [Гоголем] за истекшую зиму» [см.: VII, 410]. Но в действительности это было по крайней мере второе чтение.

Как мы знаем, с середины зимы Гоголь жил у А.П. Толстого на Никитском бульваре, где возобновил работу над поэмой. Из более позднего письма Гоголя к Толстому видно, что он прочел ему «две главы» [XIV, 202], – скорее всего еще до своей поездки в Калугу. Подтверждается это тем фактом, что Дмитрий Александрович Оболенский (1822–1881), князь, видный чиновник, которому довелось быть попутчиком Гоголя при его возвращении из Калуги в Москву, к этому времени уже «несколько знал» содержание второго тома. И знал, по его словам, от своего родственника А.П. Толстого, которому «Гоголь читал еще вчерне отрывки из второй части “Мертвых душ”» [Воспоминания, с. 546].



А.О. Смирнова-Россет  
*Акварель Н. Алексеева. 1844*

Но то верно, что чтения в Калуге имели для Гоголя совершенно особое значение. В другом месте мы уже говорили о предполагаемом соотношении прочитанных глав с остальным текстом поэмы [см.: Манн, 1987, с. 227 и далее]. Сейчас речь о другом – о роли этого события в судьбе писателя, в его мироощущении, художническом самоопределении.

Представим себе снова положение Гоголя после появления «Выбранных мест...». Как бы ни различались его оппоненты, с каких бы позиций – зачастую противоположных – они ни выступали, но почти всеобщим мнением было то, что Гоголь изменяет искусству, отрекается от него или же теряет былую мощь художнического дарования. С этим мнением парадоксальным образом соединилось и другое – о том, что и как мыслитель или просто как мыслящий человек Гоголь уже не отвечает современным требованиям. «Из нескольких слов о нашей старине, – писал Константин Аксаков в конце ноября 1848 г., – увидел я, что Гоголь ее самонадеянно не понимает. Если все это так, то, я думаю, не будет прока

в его деятельности...» [ЛН. Т. 58. С. 715]. Отчетливее всех мысль об отставании Гоголя выразил Иван Аксаков в связи с памятным неудавшимся именинным обедом 9 мая 1849 г.: «Оттого ли, что время безусловного поклонения искусству прошло, оттого ли, что у всех в памяти его книга, не знаю; но только Гоголь не только не играет никакой роли в здешнем обществе, но даже весьма небрежно трактуется им» [РА. 1895. № 12. С. 432].

В этих условиях Гоголю предстояло словно заново завоевывать расположение читателей, делом убедить их в том, в чем он уже неоднократно пытался убедить их словесно: нет, он не изменил искусству, не покинул художническое поприще, – он остается верен ему всею душою и до конца.

И понятно, почему в качестве своей слушательницы автор «Мертвых душ» выбрал именно Смирнову. Более раннее чтение А.П. Толстому не имело в глазах Гоголя такого значения, поскольку тот не слыл авторитетом в суждениях об искусстве (вспомним, что гоголевский упрек в «односторонности» в «Выбранных местах...» был адресован именно Толстому). Смирнова же, если использовать выражение Гоголя, была «почтена» вниманием Пушкина, и не только Пушкина, почтена, в том числе, и за открытость и отзывчивость на эстетические впечатления.

Важна была и общественная позиция, и, так сказать, реноме Смирновой, ее, говоря современным языком, равноудаленность от противоборствующих сторон. Смирнова находилась в стороне от круга московских литераторов славянофильского направления, равно как и от западнического круга Белинского и близких к нему людей. Она не разделяла опасений ни тех ни других, опасений, вызванных «Выбранными местами...». Она была более других посвящена в ход работы Гоголя над вторым томом, сочувственно следила за этой работой. Словом, предлагая ей главы второго тома, Гоголь не должен был преодолевать завесу предубеждений и заранее сделанных выводов. Это был, конечно, экзамен, но без осложняющих обстоятельств.

И результат, который произвели чтения в Калуге, был впечатляющим. Например, по поводу описания Тентетникова после получения им согласия на брак с Уленькой Лев Арнольди писал: «...это описание было так хорошо, в нем было столько силы, колорита, поэзии, что у меня захватывало дыхание» [Воспоминания, с. 486]. «Когда [же] Гоголь окончил чтение, то обратился ко мне, – продолжает Арнольди, – с вопросом: “Ну, что вы скажете? Нравится ли вам?” – “Удивительно, бесподобно! – восклик-

нул я. – В этих главах вы гораздо ближе к действительности, чем в первом томе; тут везде слышится жизнь, как она есть, без всяких преувеличений”...» [Там же. С. 488].

Разумеется, Лев Арнольди тем самым передавал и впечатление сестры. Собственно, есть и ее прямые оценки; одна – в ее воспоминаниях о калужских чтениях («Все были в восторге» [Смирнова, 1989, с. 66]), другая зафиксирована гоголевским биографом: «Первый том, по словам А.О. Смирновой, совершенно побледнел в ее воображении перед вторым: здесь юмор возведен был в высшую степень художественности и соединялся с пафосом, от которого захватывало дух» [Кулиш, 1856, т. 2, с. 227]. Особенно восхитила Смирнову глава о Тентетникове; приехавшему в Калугу Д.А. Оболенскому она говорила, что «влюблена в Тентетникова» [Воспоминания, с. 545], – признание, которое вызвало у Гоголя, уже по прибытии его в Москву, такую приписку в письме к Смирновой: «Кланяется вам Тентетников» [XIV, 140]<sup>45</sup>.

Собеседник Смирновой – Дмитрий Александрович Оболенский (1822–1881), князь, судебный чиновник, впоследствии товарищ министра государственных имуществ и член Государственного совета, специально заехал в последних числах июля в Калугу, чтобы вместе с Гоголем возвратиться в Москву. Оболенский подметил, что писатель «был в отличном расположении духа и сохранил его во всю дорогу». Конечно же, этот душевный подъем был вызван успехом только что состоявшихся чтений.

И вновь, как на пути в Калугу, все внимание Гоголя было приковано к заветному портфелю. «...Главная его забота заключалась в том, как бы уложить свой портфель так, чтобы он постоянно оставался на видном месте»; выходя же из кареты, «Гоголь вытащил портфель и понес его с собою, – это делал он всякий раз, как мы останавливались» [Воспоминания, с. 545, 546].

Гоголь взял со Смирновой обещание, что о чтениях второго тома она никому не скажет ни слова; однако это обещание сразу же было нарушено. Своими впечатлениями, как мы уже знаем, она поделилась еще с Оболенским, что дало тому повод во время поездки в Москву задавать Гоголю вопросы о содержимом заветного портфеля (Гоголь эти вопросы оставлял без ответа).

А чуть позже Александра Осиповна сообщила важную новость Ивану Аксакову в Рыбинск, а тот, в свою очередь, 30 августа написал Сергею Тимофеевичу:

Я получил на днях письмо от Александры Осиповны, которой до смерти хочется разболтать свой секрет, но говорит, что не велено, однако же кое-что сообщает. Гоголь читал ей 2-й том «Мертвых душ», не весь, но то, что написано. Она в восторге, хоть в этом отношении она и не совсем судья... Говорит, что 1-й том перед тем, что написано и что только набросано, совершенно побледнел. – Может быть, Константин и махнет рукой, но я просто освежился этим известием; нужно давно обществу блистание Божьих талантов на этом сером, мутном горизонте...

Далее Иван Аксаков объясняет, почему своим слушателем Гоголь выбрал именно Смирнову, а не Сергея Тимофеевича или Константина: «Он видит в настоящее время, что Вы и Константин мало заботитесь о его производительности и не ждете от него ничего, даже не видит уважения к прежним проявлениям своего таланта. – Впрочем, я уверен, что Вы, милый отесинька, обрадуетесь этому известию, да и Константин тоже» [Аксаков, 1994, с. 51]. Все это относилось и к самому Ивану Сергеевичу, который всего три с лишним месяца тому назад утверждал, что время безусловного поклонения искусству прошло и что Гоголь не играет в обществе прежней роли. И ему, Ивану Сергеевичу, тоже довелось «освежиться» и «обрадоваться» новому известию – и с нетерпением ожидать дальнейших событий.

Весть о калужских чтениях достигла и Петербурга. «Правда ли, что осенью гостил ты у Смирновых в Калуге? – спрашивает Плетнев Гоголя 23 декабря. – Разве ты не знаешь, как мне интересно все слышать, что до нее касается? Уж о литературных твоих делах я и не спрашиваю...» [РВ. 1890. Ноябрь. С. 60]. Более подробные сведения Плетнев получил от самой Смирновой, которая и на этот раз «разболтала» секрет. «Смирнова рассказала мне, как ты читал с нею вторую часть “Мертвых душ”, – пишет Плетнев Гоголю 23 марта 1851 г. – Она в восхищении от нее. Со мною ты и речи не заводишь о том, сколько и как у тебя идет литературная работа» [Переписка, т. 1, с. 296]. В голосе Плетнева звучит обида: он хорошо помнит, что в свое время только он, да Пушкин, да еще Жуковский были посвящены в тайну гоголевского произведения и что они свято берегли эту тайну. «Тогда кружок наш был маленький, но так крепко сомкнутый, что ни одна чуждая нам фигура не могла втесниться к нам и разделить кого-нибудь из нас от другого» [Там же].

Однако, надо думать, что хотя наложенный на Смирнову обет молчания и отличался строгостью, но его нарушение отве-

чало интересам Гоголя. Смирнова это прекрасно сознавала; ведь она сообщала своим собеседникам и корреспондентам не только детали содержания книги, но и свое к ней восторженное отношение, т. е. удостоверяла тем самым ее высокое художественное достоинство. Все это способствовало определенной направленности общественного мнения. И Гоголь решил продолжить экзамен для «Мертвых душ», но теперь уже с большей внутренней уверенностью и в более благоприятных условиях для своего детища.

Следующим на очереди был Шевырев. В начале августа Гоголь живет у него на даче и «с необыкновенной таинственностью» (опять с «необыкновенной таинственностью»!) читает ему главы второго тома [Барсуков, т. 10, с. 324]. В эти же дни, 7 августа, Гоголь сообщил о втором томе Ивану Киреевскому, хотя читать из него ничего не стал. «Гоголя мы видели вчера, – пишет Киреевский на другой день. – Второй том Мертвых душ написан, но еще не приведен в порядок, для чего ему нужно употребить еще год» [РА. 1909. № 5. С. 114].

А потом наступил черед Аксаковых, причем Гоголь не отказал себе при этом в удовольствии прибегнуть к небольшому розыгрышу...

Гоголь приехал к Аксаковым в Абрамцево 14 августа. Имение было приобретено Аксаковыми еще в конце 1843 г., но Гоголь побывал здесь впервые.

Дорога на Абрамцево, пролежавшая мимо женского монастыря в Хотьково, вид старинной усадьбы – все это производило сильное впечатление. «...Вся великорусская подмосковная красота казала себя тут во всей роскоши и на всем привольи, как вдруг открывались перед путником белые стены и высокие храмы с разноцветными главами женского Хотькова монастыря», – писал Н. Бицын (псевдоним Николая Михайловича Павлова, 1835–1906, историка, литератора). Бицын же заметил, что здесь, в Абрамцево, Гоголь нашел «гостеприимное пристанище» [РА. 1885. № 3. С. 388, 390; см. также: Анненкова, 2011, с. 149–158].

Установился непривычный для Гоголя, размеренный образ жизни: он «много гулял», ходил с Сергеем Тимофеевичем за грибами, по вечерам же «читал с большим воодушевлением переводы Мерзлякова древних, особенно гимны Гомера ему нравились. Так шли вечера до 18 числа» [Аксаков С., с. 217]. А 19 августа Гоголь вдруг поменял программу: «Прочтемте что-нибудь, хоть бы “Мертвые души”. Константин хотел было уже принести книгу, но

Гоголь его остановил: «Да уж лучше я сам вам прочту...» и вытащил из кармана тетрадь». «Мы обомлели, едва переводили дыхание от ожидания, – рассказывает Вера Сергеевна Аксакова М.Г. Карташевской (письмо от 29 августа). – Гоголь начал читать первую главу второго тома “Мертвых душ” – первые минуты прошли еще в смутном состоянии и радости, и опасения, что то, что услышим, не будет иметь достоинства прежних сочинений Гоголя. Но вскоре мы убедились, что опасения наши были напрасны; слава Богу, Гоголь все тот же, и еще выше и глубже во втором томе...» [ЛН. Т. 58. С. 719].

Такое же впечатление сложилось и у Сергея Тимофеевича: «Слава Богу! Талант его стал выше и глубже», – писал он в тот же день сыну Ивану, который к этому времени уже был наслышан о чтении от Смирновой. И снова произошло вольное или невольное нарушение запрета: «Мы обещали ему [Гоголю] не писать даже и к тебе, но нет сил молчать» [Там же. С. 719].

В тот же день, 19 августа, Гоголь совершил поездку в Троице-Сергиевскую лавру, где встретился с наместником Лавры; тот, как сообщала В.С. Аксакова в упомянутом письме, «благословил Гоголя образом, которого и живопись и отделка прекрасная...» [РГБ. Фонд Аксаковых (ГАИС, III). К. 15. Ед. хр. 9–10]. Вернулся Гоголь в Абрамцево вечером, явно довольный.

Вместе с восхищением к слушателям «Мертвых душ» пришло и чувство вины перед Гоголем – за утраченную было веру в его талант, в успешное продолжение «Мертвых душ»; пришла и потребность в покаянии. «Много вытерпел я сердечной скорби от моей грубой ошибки, – пишет Сергей Тимофеевич 27 августа Гоголю (он вернулся к этому времени в Москву). – Но теперь все забыто! Слава Богу, я чувствую только одну радость. Талант ваш не только жив, но он созрел. Он стал выше и глубже...» [Аксаков С., с. 219]. Сергей Тимофеевич выражал свое искреннее убеждение, однако реальная ситуация была много сложнее: и ему не удалось до конца задушить зародыш сомнения, и Гоголю – до конца поверить в то, что он сумел убедить своих слушателей...

Но все это выявилось со временем, пока же и автор и его оппоненты были довольны. По словам Сергея Тимофеевича, Гоголь по получении письма решил его поблагодарить лично – в Абрамцево «он приехал необыкновенно весел, или лучше сказать, светел, долго и крепко жал мне руку...» [Там же. С. 220]. Это означало, что второй том выдержал еще один экзамен, причем перед человеком, как сказал Гоголь, «пристрастным» к нему.



«Шествие в храм славы»  
Карикатура на писателей 40-х годов XIX в.  
Из журнала «Ералаш». 1846  
Н.В. Гоголь изображен посередине  
спящим на II томе «Мертвых душ»

Гоголь прожил в Абрамцеве еще неделю, иногда гулял, большую часть времени работал, но от просьбы «прочсть следующие главы» решительно отказался: еще не пришел срок. Тот прилив сил, который он ощутил, хотелось всецело посвятить решительному продвижению его труда.

«Все время мое отдано работе, часу нет свободного, – пишет он из Москвы 20 октября С.М. Соллогуб и А.М. Виельгорской. – Время летит быстро, неприметно. О, как спасительна работа и как глубока первая заповедь, данная человеку по изгнанию его из рая: в поте и труде снискивать хлеб свой! <...> Избегаю встреч даже с знакомыми людьми от страха, чтобы как-нибудь не оторваться от работы своей» [XIV, 147–148].



## Встречи со знакомыми и незнакомыми

Но «отрываться» все-таки приходилось. Осенью 1849 г. Гоголь вновь побывал у Смирновой в Калуге. Обстоятельства да и точное время этой поездки недостаточно прояснены; известно только, что она была непродолжительной (между 27 сентября и 13 октября<sup>46</sup>) и обуславливалась различными мотивами.

Прежде всего – душевным состоянием Александры Осиповны. Проживая у Смирновой летом, Гоголь заметил, что она «очень больна» [XIV, 144]. На письма, отправленные по его возвращении в Москву, Смирнова не отвечала, и Гоголь решил ее проведать. Это соответствовало и его внутренней потребности глубже погрузиться в жизнь российской провинции, чтобы запастись необходимыми материалами для продолжения «Мертвых душ». Как нарочно, в Калуге в это время проходила сенаторская ревизия действий губернатора Н.М. Смирнова, мужа Александры Осиповны, устроенная вследствие жалобы царю со стороны сына генерал-лейтенанта И.З. Ершова, И.И. Ершова<sup>47</sup>. Желая несколько утешить Смирнову, Гоголь позднее (6 декабря) напишет ей: «Что же касается до сплетней, то не позабывайте, что их распускает чорт, а не люди... Эта длиннохвостая бестия, как только приметит, что человек стал осторожен и неподатлив на большие соблазны, тотчас спрячет свое рыло и начинает заезжать с *мелочей*...» [XIV, 154; курсив в оригинале]. У этого пассажа находится аналог в гоголевском художественном тексте – и как раз во втором томе «Мертвых душ»: взбудораживший весь губернский город юрисконсульт – вполне конкретное лицо, но он обладает поистине бесовской силой смущения и соблазна. Словом, и на этот раз личные впечатления от российской действительности стимулировали (или подкрепили) творческие устремления писателя.

По возвращении из Калуги в Москву Гоголя ждали и другие встречи. Запись Погодина от 15 октября гласит: «Вечер. Князь Енгальчев, Киреевский, Григорьев... Духовная беседа, а Гоголь скучал и улизнул» [Барсуков, т. 10, с. 326; к фамилии Григорьева публикатор делает помету: «вероятно, Аполлон»]. Квалификацию этой встречи как «духовной беседы» поддержал и другой ее участник – Иван Киреевский, написавший Погодину шутовскую записку: «Вчерашняя духовная беседа так подействовала на мой грешный нос, что я забыл от него платок у тебя в передней...» [Там же]. На Гоголя она подействовала иначе («улизнул!») – впрочем,



А.Н. Островский  
*Фотография С.В. Левицкого. 1856*

шаг, вполне от него ожидаемый. Может быть, и на этот раз Гоголя смутило присутствие незнакомого (или малознакомого) ему человека – Н.А. Енгальчева.

Что же касается другого участника встречи, Аполлона Григорьева, то Гоголь уже был знаком с ним заочно. Писатель сочувственно встретил статью Григорьева о «Выбранных местах...», опубликованную в «Московском Городском Листке» за 1847 г. в № 62–64 («Он, без сомнения, юноша очень благородной души и прекрасных стремлений...» [XIII, 314–315]), а позднее рекомендовал его Ф.В. Чижову в качестве автора для журнала, который тот задумал [см.: XIII, 385–386].

Спустя полтора месяца после «духовной беседы», 3 декабря, в том же доме Погодина Гоголь присутствовал на чтении А.Н. Островским его комедии «Свои люди – сочтемся» (тогда она еще носила название «Банкрот»). По свидетельству очевидца события Н.В. Берга, Гоголь «приехал среди чтения; тихо подошел к двери и стал у притолоки. Так и простоял до конца, слушая, по-видимому, внимательно». После чтения «не проронил ни слова», а на прямой вопрос одной из слушательниц, графини Е.П. Ростопчиной, похвалил пьесу, но отметил «некоторую неопытность

в приемах», неоправданную длинноту или, напротив, краткость некоторых сцен. «После, однако, – заключает мемуарист, – я имел случай не раз заметить, что Гоголь ценит его талант и считает его между московскими литераторами самым талантливым» [Воспоминания, с. 502–503].

Свидетельство Берга подтверждается другими фактами. Еще раньше Гоголь обратил внимание на «Семейную картину» Островского, которая еще носила название «Картина семейного счастья», – пьеса произвела на него «сильное впечатление» [Барсуков, т. 11, с. 65; по-видимому, это свидетельство Т.И. Филиппова, человека, близкого драматургу]. Что же касается новой комедии, то, по словам другого мемуариста, Гоголь «на вопрос хозяина [Погодина] отозвался о пьесе одобрительно», – и его «похвальный отзыв», «написанный на клочке бумаги карандашом, передан был Погодиным А.Н. Островскому и сохранялся им как драгоценность» (Максимов С.В. А.Н. Островский. По моим воспоминаниям // Островский А.Н. Полн. собр. соч. СПб.: Просвещение, 1904–1909. Т. 11. С. 30).

И еще один факт – сообщение Дмитрия Константиновича Малиновского (ум. 1871), весьма колоритного человека, студента Московского университета, впоследствии подполковника артиллерии, преподавателя математики во 2-м Московском кадетском корпусе; он неоднократно встречался с Гоголем в 1847–1852 гг. Его сообщение содержится в малоизвестных у нас воспоминаниях И. Малиновского, сына Дмитрия Константиновича.

Однажды разговор зашел о новом тогда произведении Островского «Свои люди – сочтемся». «Я дважды слышал эту пьесу в чтении, один раз читал мне ее Садовский, в другой раз сам автор», – сказал Гоголь. Некто позволил себе здесь замечание, что эта пьеса от первой строки до последней написана узорчатым языком и что было бы с нею, если б все ее разговоры перевести на обыкновенный простой язык. «Да, – сказал Гоголь, – может быть, она тогда кое-что потеряла бы. По моему мнению, автор сделал в своей пьесе то упущение, что старик отец в последнем акте вдруг, без всякого ведома и ожидания читателя и зрителя, является узником. Я на месте автора предпоследнее действие непременно окончил бы тем, что приходят и берут старика в тюрьму. И зритель и читатель были бы ошутительно приготовлены к силе последнего акта» [Малиновский, с. 3].

Гоголевское внимание к Островскому находилось в русле его общего интереса к новой русской литературе, отличавшегося некоторыми общими чертами.

Прежде всего, гоголевские оценки были похвальными, но не безоговорочными, и, скажем, упрек Островскому в «неопытности в приемах» разительно напоминает соответствующее замечание автору «Бедных людей» («Много еще говорливости и мало сосредоточенности в себе» – см. выше, наст. издание, с. 21). А кроме того, Гоголь не скрывал своего личного, так сказать, практического интереса к новым писателям и произведениям, которые должны были послужить стимулом для его собственных творческих усилий. В связи с этим примечательна запись Погодина, относящаяся к Ивану Дмитриевичу Беляеву (1810–1873, историку и археографу): «И. Д. Беляев сказывал, что он хочет печатать статьи исторические, он тоже подвигнет все-таки меня, как Островский Гоголя» [Барсуков, т. 11, с. 71].

В конце 1849 г. Гоголь активно общается с находившимися в Москве земляками-украинцами. После 15 октября приезжает Максимович, чтобы повидаться с Гоголем, – и остается здесь на всю зиму. Затем, 21 декабря, Гоголь встречается со своим старым знакомым, славистом О. М. Бодянским (см.: кн. 1, с. 344–345), о чем последний в тот же день оставил запись в дневнике: «Часа в три пополудни навестил меня Николай Васильевич Гоголь, пришедший с поздравлением о победе над супостаты». «Максимович (М. А.) был у меня сейчас, сказал Гоголь, и сообщил мне новость о вас, и я немедленно же очутился у вас, чтобы вас обнять и поздравить с победою» [РС. 1888. Ноябрь. С. 401–402<sup>48</sup>].

Подразумевается известная нам история публикации перевода сочинения Флетчера «О государстве Русском», т. е. запрещение журнала, где появился перевод («Чтения Московского общества истории и древностей российских при Московском университете»), и отстранение Бодянского от должности секретаря этого Общества и профессора университета. И вот возвращение Бодянского в университет радостно переживается Гоголем как «победа над супостаты».

Но поздравлением дело не ограничилось. «Тут прямо разговор перешел к сборнику малороссийских песен, – продолжает Бодянский, – который я по весне показывал ему [Гоголю] и который намеревался помещать в «Чтениях» [Там же]. Печатание в приостановленных «Чтениях» было уже невозможно, зато песни послужили поводом для многочисленных встреч в аксаковском доме. Напевала песни одна из старших дочерей, Надежда Сергеевна Аксакова (1829–1869), отличавшаяся приятным голосом и хорошим слухом, посильное же участие в исполнении принимали

и Гоголь, и Бодянский, и Максимович. Всем троим доставляло огромное удовольствие слышать родные звуки; остальные же наблюдали происходящее с интересом, сочувствием, порою с восхищением, но, как ни странно, и с оттенком некоторой отстраненности.

Характерно впечатление Веры Сергеевны Аксаковой, высказанное в письме от середины февраля 1850 г. к брату Ивану – «по поводу малороссийских песен»:

Гоголь, в самом деле, с таким увлечением, с таким внутренним чувством поет их, разумеется, не умея петь, но для того только, чтоб передать напев и характер песни, что в эту минуту весь проникается своей народностью и выражает ее всеми средствами – и жестами, и голосом, и лицом, а Максимович перед ним стоит и также забывает все вокруг себя, поет и топчет ногами и разводит руками, но только выражая нежную сторону Малороссии. Бодянский же было припрыгнул с самого начала пения, но потом сконфузился и держал себя смирно, но тоже пел... [ЛН. Т. 58. С. 726–727].

Пели украинские песни и 19 марта, в день, считавшийся днем рождения Гоголя. «...Мне живо вспомнулось, – писал позднее Максимович С.Т. Аксакову, – как... мы с ним обедали у Вас в этот день... Боже мой, как хорошо мне прожилося в тот март месяц и как часто я проводил тогда у Вас с Гоголем и с земляком Есипом!» (т. е. с Осипом Бодянским [Там же. С. 725]). У самого же Сергея Тимофеевича эта встреча, 19 марта 1850 г., оставила более сложное впечатление. На следующий день он писал сыну Ивану:

Трое хохлов были очаровательны: пели даже без музыки и Гоголь зачитал меня какими-то думами хохлацкого Гомера. Гоголь декламировал, а остальные хохлы делали жесты и гикали, чему были свидетелями и Хомяков и Софья (Софья Александровна – невестка Сергея Тимофеевича, жена его сына Григория. – Ю. М.), хотя присутствие последней видимо мешало Гоголю, и как только она ушла, то начались прежние гримасы и выверты рукою; я, Хомяков и Соловьев (речь идет об историке Сергее Михайловиче Соловьеве. – Ю. М.) любовались проявлением национальности, но без большого сочувствия, в улыбке Соловьева проглядывало презрение, в смехе Хомякова – добродушная насмешка, а мне было просто смешно и весело смотреть на них, как на чуваш или черемис... и не больше. Бодянский был неистово великолепен, а Максимович таял, как молочная, медовая сосулька или татарский клево-сахар [Материалы, т. 1, с. 217].

Противоречивое отношение к «малороссийским вечерам» выражает и Надежда Сергеевна, бывшая их деятельным участником. После встречи 16 января 1850 г. она писала брату Ивану:

Гоголю я пела, по его просьбе, малороссийские песни, данные Константину (т. е. Константину Аксакову. – Ю. М.) Максимовичем, которые и теперь звучат в ушах моих. Как они не отвязны! Мотив в них так ярко обозначен, так легок и жив, что легко запоминается, и по тем же причинам скоро и надоедает. Как сравнить с русской песней! – Ее и схватить трудно, а если остается в памяти, то раздается в ушах отдельными протяжными звуками или выдающимися вперед музыкальными фразами. Как успокаиваешься и отдыхаешь, когда споешь русскую после малороссийской [ЛН. Т. 58. С. 722; ср. мнение Ивана Аксакова об украинских песнях: Аксаков, 1994, с. 108].

Пояснением этой параллели – песни украинской и русской – может служить их сравнительная характеристика, набросанная Гоголем еще в давней статье «О малороссийских песнях» (1834; вошла в «Арабески», 1835):

Русская заунывная музыка выражает... забвение жизни: она стремится уйти от нее и заглушить вседневные нужды и заботы; но в малороссийских песнях она слилась с жизнью – звуки ее так живы, что, кажется, не звучат, а говорят: говорят словами, выговаривают речи, и каждое слово этой яркой речи проходит душу. Взвизги ее иногда так похожи на крик сердца, что оно вдруг и внезапно вздрагивает, как будто бы коснулось к нему острое железо [VIII, 96].

Значит, обе национальные стихии исполнены глубокого драматизма, но малороссийская его не смягчает, являя во всей трагедийности и не щадя ни чувств, ни воображения (неслучайна реакция Надежды Аксаковой: «как успокаиваешься и отдыхаешь, когда споешь русскую после малороссийской»). Особенно выразительна заключительная фраза приведенного гоголевского пассажа: коснувшееся сердца «острое железо» – символика убийства и жертвоприношения (ср. в сцене смерти Андрия в «Тарасе Бульбе»: «...как молодой барашек, почувший под сердцем смертельное железо, повис он головой и повалился на траву...» [II, 144]).

Словом, повинувшись своему внутреннему чувству, Гоголь вновь отдавал должное стихии диссонанса, ничем не смягчаемой и неутешаемой трагедийности, проступавшей через завесу безоглядной веселости, комизма и воодушевления.

Малороссийские посиделки у Аксаковых продолжались до июня 1850 г. – времени отъезда Гоголя и Максимовича из Москвы.

Вот, кстати, вспомнились мне и *последние* Гоголевы ко мне строки, – говорит Максимович, – писанные в Москве, в апреле 1850 года, на Светлой неделе:

«Христос воскрес!

Всконечно у Аксаковых сегодня. Завтра же мы приглашены с тобой к Погодину. Твой весь Н.Г.» [Максимович, 1871, с. 71; курсив в оригинале; см. также: XIV, 179].

И еще одно-два, последние из известных свидетельств встречи у Аксаковых. 12 мая 1850 г. Бодянский сообщает в дневнике о своем посещении Гоголя: «Прощаясь, он спросил меня, буду ли я на варениках? “Если что-нибудь не помешает”. Под варениками разумеется обед у С. Тим. Аксакова по воскресеньям, где непременно блюдом были всегда вареники для трех хохлов: Гоголя, М.А. Максимовича и меня, а после обеда, спустя час, другой, песни малороссийские под фортепьяно, распеваемые второй дочерью хозяина, Надеждою Сергеевною...» [Воспоминания, с. 431]. В.С. Аксакова – М.Г. Карташевской, 25 мая: «...у нас опять были малороссийские песни, были малороссы» [ЛН. Т. 58. С. 732].

«Вареники и песни»... Под таким названием эти вечера и запечатлелись в сознании участников: «В воскресенье все опять соберутся на вареники и песни»; «По воскресеньям устроились вареники и песни» [Там же. С. 726, 727].

Тем временем Гоголя ожидали и другие встречи. Например, с профессором Ярославского лицея Василием Ивановичем Татариновым.

По отзыву проживавшего в Ярославле Ивана Аксакова, это был «забавный», но «очень неглупый и честной души человек» [Аксаков, 1994, с. 100]. «Положение его прескверное. Директор считает его опасным человеком, как всякого мыслящего человека, и он едет в Москву искать себе какое-нибудь место да и вообще освежиться от чаду пошлости провинциальной. Пожалуйста, примите его ласково», – заключает Иван Аксаков. Отзывчивый Сергей Тимофеевич внял этой просьбе, и Татаринов стал бывать в его доме, причем, как сообщает Вера Сергеевна около середины февраля 1850 г., «в последний раз он у нас обедал нечаянно с Гоголем и Максимовичем. Гоголя он видел в первый раз» [ЛН. Т. 58. С. 726].

Еще один, по-видимому, новый знакомый Гоголя – Владимир Иванович Хитрово (ум. 1866), помещик, по имению сосед А.С. Хомякова, посещавший и его московский дом. 15 января 1850 г. Хитрово записывает в дневнике: «Вечером у А<лексея> С<тепановича> встретился с известным автором “Мертвых душ” Н.В. Гоголем и приятно провели свое время; много мы спорили и кричали с Алексеем Степановичем, но Гоголь поддерживал меня...» [ЛР. 1994. № 25; публикация В.И. Сахарова].

Встречи же Гоголя с Хомяковым, несмотря на «поддержку», оказанную в споре его оппоненту, продолжили их давние дружеские отношения. Теперь эти отношения были закреплены, так сказать, духовно-родственной связью: 31 января того же года Гоголь крестил новорожденного сына Хомякова Николая.

Встречался Гоголь и со своим давним знакомым, соучеником по нежинской Гимназии высших наук Н.В. Кукольниковом, который с 1847 г. занимал пост ответственного чиновника в канцелярии военного министра гр. А.И. Чернышева. В записной книжке Гоголя московского периода сохранилась запись: «Кукольник против Семенов<ских> казарм в Гороховой улице рядом с Москов<скими> казарм<ами> в доме Демидова» [VII, 377]. В течение месяца, который Кукольник провел в Москве (28 марта 1850 г. он уехал из Москвы на юг), они с Гоголем виделись неоднократно<sup>49</sup> – эти встречи свидетельствуют о том, что, несмотря на различия в эстетических позициях, на принадлежность к различным кружкам (Гоголя – к пушкинскому, Кукольника – к кружку Брюллова и Глинки), несмотря даже на насмешливое прозвище, данное Гоголем Кукольнику («Возвышенный»), оба писателя (вопреки бытующему в научной литературе мнению) сохранили добрые, приятельские отношения.

Впрочем, литературное положение Кукольника в это время было далеко не таким блестящим, как в годы его молодости. Популярность его среди читателей заметно упала, новые книги выходили с трудом. В более поздних литературных воспоминаниях (1857) Кукольник горько жаловался на судьбу своих кровных детей – «сочинений»: «Иоанн безземельный! Ни кола, ни двора. Семья большая правда. Да что в ней толку? Вот седьмой год под одну крышку всех детей собрать не могу, так как цензура разогнала, а иных до того изуродовала, что за свое детище и признать не могу. Говорят, теперь заставу приподняли; да я прошедшим напуган так и боюсь, чтоб шлагбаума разом не опустили и кому-нибудь лба не прихлопнули» [ОР РНБ. Ф. № 402. Л. 6–6об.].



В этот свой приезд в Москву бывал Гоголь и у Ивана Васильевича Капниста (1795–1860), сына знаменитого писателя, бывшего земляком и другом гоголевской семьи. Иван Капнист успел проделать уже большой служебный и жизненный путь: избирался миргородским предводителем дворянства, а затем в течение пяти трехлетий губернским предводителем (в Полтаве); с 1842 г. он – смоленский, а с 1844 г. – московский гражданский губернатор<sup>50</sup>.

О дружеских чувствах Ивана Капниста к писателю свидетельствует его письмо от 23 июня 1849 г.:

«Я был у Вас, любезный Николай Васильевич, и, к сожалению, не застал. Прошу Вас усерднейше приехать завтра 24 числа в Сокольники обедать к сердечно Вас любящему имениннику И. Капнисту. Сестра Соф<ья> Вас<ильевна> и Вас<илий> Ант<онович> с детьми ко мне приехали и очень желают Вас видеть» [Материалы, т. 1, с. 132].

Софья Васильевна Скалон, сестра Ивана Васильевича, знала Гоголя с детских лет (к ее воспоминаниям мы уже неоднократно обращались); вместе с мужем Василием Антоновичем Скалоном (1805–1882) она была из тех, кто весной и летом 1849 г. приветствовал Гоголя по возвращении его из-за границы в родные края.

Если упомянутое посещение Гоголем именин состоялось, то оно имело место как раз между его встречей с Гротом у Шевырева (22 июня) и визитом Грота на гоголевскую квартиру в доме Талызина (25 июня).

Скорее всего, именно этот именинный обед в Сокольниках имеет в виду Л.И. Арнольди, который тоже был среди гостей. По его словам, собралось человек 70; обедали в большой палатке под звуки гремевшей в саду музыки. Можно себе представить, как чувствовал себя Гоголь! «Его усадили между двумя дамами, его великими почитательницами. После обеда мужчины, как водится, уселись за карты; девицы и молодежь рассыпались по саду. Около Гоголя образовался кружок; но он молчал и, развалившись небрежно в покойном кресле, забавлялся зубочисткой» [Воспоминания, с. 489]. Хорошо еще, что Гоголь не слышал разговора трех сенаторов и генерала, игравших поодаль в ералаш: они «с негодованием» посматривали на писателя и недобрим словом поминали и «Мертвые души», и «в особенности» «Ревизора».

Визиты Гоголя к московскому губернатору зафиксированы и Ильей Александровичем Арсеньевым (1820–1887), бывшим студентом Московского университета (курса он не закончил), жур-

налистом и чиновником. Арсеньеву запомнилось: «наружность Гоголя была очень непривлекательна, а костюм его (венгерка с брандербургами) придавал ему крайне невзрачный вид». И вел себя Гоголь крайне неприметно – «редко пускался в разговор и всегда выглядел “Букой”».

Один только раз, – продолжает мемуарист, – удалось мне видеть Гоголя в хорошем расположении духа и вздумавшим представить в лицах разных животных из басен Крылова. Все мы были в восхищении от этого действительно замечательного *impromptu*, которое окончилось внезапно вследствие случайного приезда к Капнисту Михаила Николаевича Муравьева, который не был знаком с Гоголем.

Капнист, знакомя Гоголя с Муравьевым, сказал: «Рекомендую вам моего доброго знакомого, хохла, как и я, Гоголя». Эта рекомендация, видимо, не пришлась по вкусу гениальному писателю, и на слова Муравьева: «Мне не случилось, кажется, сталкиваться с вами», Гоголь очень резко ответил: «Быть может, ваше превосходительство, это для меня большое счастье, потому что я человек больной и слабый, которому вредно всякое столкновение».

Муравьев, выслушав эту желчную тираду, отвернулся от Гоголя, который, ни с кем не простившись, тот час же уехал. Впоследствии я слышал от Ивана Васильевича, что Гоголь не на шутку на него рассердился за «непоштеную (как он выразился) рекомендацию» [ИВ. 1887. Март. С. 569–570; см. также: Шенрок, т. 4, с. 758–759].

Это происшествие примечательно и потому, что Михаил Николаевич Муравьев (1796–1866) – видный государственный деятель, в 1850 г. член Государственного совета, позднее министр государственных имуществ и губернатор Северо-Западного края, прозванный «Муравьевым-вещателем» за проявленную при подавлении польского восстания 1863 г. жестокость.

Описанная встреча могла иметь место в 1848 г. (в этот год И.А. Арсеньев, автор воспоминаний, переехал в Петербург).

Но присутствие у Капниста неприятных особ, вроде Муравьева или не названных по имени трех сенаторов и генерала, не омрачило отношение Гоголя к хозяину дома. Не помешало даже различие во вкусах, некоторая архаичность художественных пристрастий Капниста, о которой говорили современники. Согласно тому же Арнольди, Капнист «остановился на “Водопаде” Державина и дальше не пошел. Даже Пушкина не любит...». Не жаловал он и Гоголя, говоря, что у того «нет ни на грош таланта». Но как

раз это обстоятельство побудило писателя прочитать ему главы из второго тома поэмы.

Когда Арнольди выразил по этому поводу недоумение, Гоголь сказал:

Я читал ему мои сочинения именно потому, что он их не любит и предрешен против них... И.В., слушая мое чтение, отыскивает только одни слабые места и критикует строго и беспощадно, а иногда и очень умно. Как светский человек, как человек практический и ничего не смыслящий в литературе, он иногда, разумеется, говорит вздор, но зато в другой раз сделает такое замечание, которым я могу воспользоваться. Мне именно полезно читать таким умным не литературным судьям [Воспоминания, с. 490].

Достоверность этого свидетельства подтверждается другим документом – письмом П.А. Плетнева от 12 марта 1852 г.: «А.О. Смирнова сказывала мне, что только И.В. Капнисту, который, хотя любил Гоголя, но терпеть не мог его сочинений, он прочитал девять глав <второго тома «Мертвых душ»>, желая воспользоваться строгою критикою беспощадного порицателя своих сочинений» [Плетнев, с. 734]<sup>51</sup>.

Чтения поэмы И. Капнисту, по-видимому, происходило после калужских чтений лета 1849 г. и таким образом продолжило устроенный Гоголем экзамен. Но в позиции экзаменуемого появились новые черты – большая твердость и уверенность в своих силах. Заручившись мнением и, так сказать, впечатлением компетентных судей, Гоголь мог теперь представить свой труд лицу заведомо предрешенному, чтобы все-таки извлечь из его критики практическую пользу.

Обращаясь же вновь к событиям 1850 г., следует сказать, что в первых числах февраля Гоголь опять впал в болезненное состояние, не долгое, но мучительное. К простуде и жару, следствию московских холодов, прибавилось «нервическое волнение» [XIV, 163]. Пришлось прибегнуть к помощи Александра Ивановича Овера (1804–1864), известного медика, профессора Московского университета. Около середины февраля Гоголь почувствовал «облегчение от болезни» [XIV, 165], да и со стороны было видно, что ему «гораздо лучше» [ЛН. Т. 58. С. 728]. В это время возобновились украинские посиделки («вареники и песни»), о которых говорилось выше, а, кроме того, к 1 марта на три дня в Москву

поездом в Петербург прибыла А.О. Смирнова, что также немало содействовало улучшению состояния Гоголя.

«...В присутствии Александры Осиповны [Гоголь] ничего не видит, не слышит и ни о чем, кроме нее, не думает», – сообщал 3 марта С.Т. Аксаков сыну Ивану. И далее: «Гоголь в ее присутствии – описать невозможно. <...> Таким бывает он в счастливые минуты творчества. Нет никакой возможности признать его влюбленным, и потому я объясняю себе это обстоятельство другим образом: между ними существует совершенное согласие в религиозном и нравственном отношении... Вера думает точно так же» [Там же]. Вера, т. е. старшая дочь Сергея Тимофеевича, Вера Сергеевна, подтвердила эти слова в письме к брату Ивану: «Гоголь при ней [Смирновой] совершенно счастлив, она его любит, у них есть свой особый мир, так сказать, в котором у них совершенно одинакие взгляды, понятия, впечатления, язык» [Там же. С. 730]. И Константин Аксаков был того же мнения (в письме к Ивану от 4 марта): «Тут сидел Гоголь, радостный и счастливый до того ее присутствием, что просто, казалось, лучи шли от него: так он был светел. Между ними как бы установилась постоянная гармония и понимание» [Там же. С. 730–732].

Аксаковы явно ревновали Гоголя к Смирновой; неслучайно Сергей Тимофеевич то ли с сожалением, то ли с долей злорадства отметил: «Боже, как она [Смирнова] изменилась в продолжение трех с половиною лет! Она старуха, она страшно что такое!» [Там же. С. 728]. Но, конечно, в данном случае имела место ревность интеллектуально-духовного свойства. Людям, затратившим столько нервов и душевных сил на споры с автором «Выбранных мест...» и добившимся, как им казалось, взаимопонимания и уступок с его стороны, нелегко было видеть, что все это меркнет на фоне того согласия, которым проникнуты отношения Гоголя и Смирновой. А тут еще, надо думать, оба демонстративно бравировали этим согласием: Смирнова – вследствие своего давнего нерасположения к славянофильским взглядам; для Гоголя же это было нечто вроде некоторой компенсации, реванша за ту критику, которую ему довелось выслушать от Аксаковых, и те переживания и изменения, которые ему действительно пришлось испытать.

Ключевые моменты трений и споров – оценка «Выбранных мест...» и их соотношения со вторым томом поэмы.

Когда я между слов промолвил, – замечает Сергей Тимофеевич, – что, слава Богу, талант Гоголя жив и что он здраво смотрит на предметы,

Смирнова расхохоталась и, разгорячась, высказала мне, что Гоголь точно так же смотрит на все, как смотрел в своих письмах, что без них он никогда бы не написал второго тома «Мертвых душ», что он не отступился ни от одного слова, в них написанного, и что он решился меня обманывать, в этом отношении, со всеми другими» [Там же. С. 730].

Конечно, Смирнова была и права и не права: права в том смысле, что «Выбранные места...» составили необходимый этап в эволюции писателя, что изъять их из истории второго тома поэмы невозможно. Но не права, поскольку утверждала, будто бы Гоголь ни на йоту не изменился: на самом деле горький опыт «Выбранных мест...» заставил его крепче держаться той почвы, на которой он был сильнее и увереннее в своих силах, – почвы художественных образов.

Собственно, Аксаков мог бы про себя легко скорректировать высказывания Смирновой и успокоиться, если бы его не задело заявление о притворстве, о сознательном обмане со стороны Гоголя. Тут уж Смирновой досталось вкупе с Гоголем: «Что за укладистая вещь у этих людей вера! Они пойдут с нею на всякую подлость!» [Там же]. И честный и прямотушный до святости Константин Аксаков не мог отреагировать иначе: «Бог их знает, как-то не просты они – и Гоголь и Смирнова, и все, им подобные. Нет свободы в этих людях» [Там же. С. 732].

Но надо заметить, что и Гоголю Александра Осиповна открывалась не полностью, что вполне естественно для людей со столь сложной душевной организацией.

Вот маленькая зарисовка, сделанная проживавшим в Калуге чиновником Н.М. Колмаковым и относящаяся, кстати, к тому же времени.

Вспомните бал 1850 года, в Дворянском собрании, – пишет Колмаков, обращаясь к Смирновой, – я стоял подле вас, а вы, глядя на вальсирующую молодежь и вообще на приличную во всем обстановку, вспомнив фразу Гоголя: *пошла губерния плясать*, сказали: «Ну, откуда Гоголь берет свои карикатуры? У него в губернии что ни чиновник, то взяточник; и вообще, что ни человек, то урод и самого скверного свойства, жалкий он человек!»

Я согласился с вами!

Потом у вас, в губернском доме, тоже в Калуге, всегда была самая интеллигентная публика, преимущественно молодежь! Вспомните, вы сами проповедовали любовь, женитьбу, уродливость того, кто остается

холостым. Одним словом, молодежь, под наитием вашим, вела самый оживленный разговор, а о религии ни полслова. Да, в 1850 году мы жили весело! [РС. 1891. Июль. С. 144–145; курсив в оригинале].

По крайней мере однажды легкая тень дисгармонии между Гоголем и Смирновой промелькнула и во время встреч в аксаковском доме, когда, по словам Веры Сергеевны, писатель «хотел обратить внимание ее на малороссийские песни, на их содержание, просил Наденьку спеть, но Александра Осиповна почти не слушала, говоря, что народная музыка для нее не имеет никакой цены, что она понимает только музыку Бетховена и пр., что малороссийские песни потому ей больше русских нравятся, что напоминают ей ее детство...» [ЛН. Т. 58. С. 730]. Нужно вспомнить, какую роль в мироощущении Гоголя играла стихия малороссийской песни, чтобы понять, почему ему так важны были сочувствие и солидарность со стороны Смирновой. Но, кстати, досталось от нее и русским песням («...пустилась она бранить народ и не признавать красоту русских песен»). Тут уж вмешался Константин Аксаков, не удержавшийся от несколько бестактной реплики: «Виноват, я и забыл, что вы урожденная Россет». Гоголь же попытался смягчить спор, чем вновь навлек на себя упрек в неискренности и притворстве.

В апреле Гоголь подумывает о новом дальнем путешествии, «на Восток, под благодатнейший климат, навеваемый окрестностями святых мест», но перед этим он хотел бы, как прежде, тепло и сердечно отметить в погодинском саду свои именины – «в надежде обнять всех, привыкших проводить вместе со мной этот день» [XIV, 179, 180], т. е. 9 мая. Желание это было таким непреодолимым, что Гоголь, по выражению Бодянского, «почти силою затащил с собою» Константина Сергеевича и Григория Сергеевича Аксаковых [РС. 1888. Ноябрь. С. 405]. А вот сам Бодянский отказался («...не пошел бы никоим образом в такое место», т. е. к Погодину): он помнил о той роли, которую связывали с Погодиным в деле запрещения «Чтений в Обществе истории и древностей российских».

Участие в обеде Константина и Григория («молодых Аксаковых») подтверждает и Н.В. Берг. Упоминает он еще Хомякова, Кошелева, Шевырева, Максимовича. Сам Берг тоже был если не «затащен» к Погодину, то завезен с полдороги, и не один, а с лицом, которое еще не участвовало в подобном событии, – А.Н. Островским, чья драма «Банкрот» несколькими месяцами раньше читалась в присутствии Гоголя. «Раз в день его именин... –

рассказывает Берг, – ехали мы с Островским откуда-то вместе на дрожках и встретили Гоголя, направлявшегося к Девичьему полю. Он соскочил со своих дрожек и пригласил нас к себе на именины; тут мы и повернули за ним».

Но вопреки ожиданиям Гоголя, обед не удался – «прошел самым обыкновенным образом». «Гоголь был ни весел, ни скучен. Говорил и хохотал более всех Хомяков, читавший нам, между прочим, знаменитое объявление в “Московских ведомостях” *о волках с белыми лапами*, явившееся в тот день» [Воспоминания, с. 503; курсив в оригинале].

Действительно, в № 55 «Московских ведомостей» от 9 мая было напечатано объявление о некоем отставном корнете Я. Атуеве, который, помимо дрессировки охотничьих собак, предлагал свои услуги по обучению людей «подзывать волков». Якобы необходимо это было потому, что «в Мензелинском уезде в настоящее время показано много прибыли волков с белыми лапами, похищавших преимущественно достояние государственных крестьян, которые хотя и сами воют также волком, но не могут еще в точности определить число кочующих стай...». Эта курьезная публикация, вполне смахивавшая на розыгрыш, была истолкована как злонамеренное иносказание, о чем свидетельствует дневниковая запись Бодянского от 11 мая того же года: «Под волками разумеет следует чиновников министерства государственных имуществ, обирающих в Оренбургской и других губерниях государственных крестьян».

Гоголь в своих произведениях, как известно, сумел предсказать многое; фигурирует в его повести «Нос» и газетное объявление с двойным дном: «...все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль: пудель-то этот был казначей, не помню какого-то заведения». Но одно дело – насмешка над «казначеем», другое – над обстоятельствами и фактами такого болезненного для России института, как крепостное право. Согласно тому же Бодянскому, в Москве об этом объявлении «заговорили во всех ее углах», а «редактор и корректор просидели под арестом (у себя дома) 3 дня» во избежание большего взыскания со стороны высшего начальства [РС. 1888. Ноябрь. С. 406].

На второй день после именин, 11 мая, Гоголя постигло несчастье. Об этом рассказывает Смирнова (по-видимому, она вновь заехала в Москву, возвращаясь из Петербурга):

Гоголь пришел ко мне утром и был очень встревожен. Что с вами, Ник<олай> Вас<ильевич>?» – «Надежда Ник<олаевна> Шереметева умерла, вы знаете, как мы с ней и с Фонвизиним (речь идет об И.А. Фонвизине; см. о нем выше, с. 229) жили душа в душу? Последние два года на нее нашло искушение: она боялась смерти. Сегодня она приехала, как всегда, на своих дрожках и спросила, дома ли я. Поехала куда-то, опять заехала в дом Татищева (т. е. Талызина. – Ю. М.), не нашла меня и сказала людям: «Скажите Николаю Вас<ильевичу>, что я приехала с ним проститься», – поехала домой и душу отдала Богу, который отвратил предсмертные страдания. Ее смерть оставляет большой пробел в моей жизни [Смирнова, 1989, с. 62].

Гоголевский рассказ о предсмертном визите Шереметевой записал и Бодянский, который был у него на другой день, 12 мая:

...Слуга мой говорит мне, что ко мне, около обеденной поры, какая-то старушка заходила и три раза просила передать мне, что вот она у меня была; а теперь я слышу, что она уже покойница. «Да, скажи же Николаю Васильевичу, пожалуйста, скажи, что была у него; была нарочно повидаться с ним». Вероятно, бедняжка, уставшая от ходьбы, изнемогла под бременем лет, воротившись в свою светелку... [Воспоминания, с. 429].

Действительно, кончина Надежды Николаевны Шереметевой (1775–1850) оставила «большой пробел» в жизни Гоголя. Урожденная Тютчева (поэт приходился ей племянником), она много испытала на своем веку: трагическую гибель мужа, раннюю смерть в младенчестве сына Петра, участие в декабристском движении сына Алексея, арест по тому же делу декабристов двух ее зятьев – мужей старшей дочери Пелагеи и младшей Анастасии. Впрочем, один из них, в будущем крупный чиновник, уже упоминавшийся выше Михаил Николаевич Муравьев, был вскоре освобожден; второй же, Иван Дмитриевич Якушкин, вполне избыл свою вину, будучи приговоренным к смертной казни с заменой 20-летним сроком каторжных работ. Это был тот самый «меланхолический Якушкин», который упоминался в десятой главе «Евгения Онегина» («...казалось, молча обнажал царевбийственный кинжал»).

Трудная жизнь привила Шереметевой смирение, набожность, благочестие, которые сочетались с заботливостью и всегдашней готовностью помочь ближнему. Откликнувшийся на ее кончину Иван Аксаков писал родным 17 мая 1850 г.: «Это была



натура деятельная, душа светлая и, казалось мне, давно готовая к смерти, что не мешало ей жить – пока она была в жизни – живою жизнью с живыми» [Аксаков, 1994, с. 141].

В отношении к Гоголю (они познакомились, как мы знаем, в начале 1840 г.) все это проявлялось в материнской участливости – чувстве, которое никогда не было для него лишним. Сравнение с сыном («как сына») наиболее частое в устах и Гоголя, и его современников, когда речь заходит о его общении с Шереметевой. С.Т. Аксаков: «...почтенную и благодетельную старушку, которая... любила Гоголя, как сына...» [Воспоминания, с.122]. Гоголь, вскоре после смерти Шереметевой, в середине мая 1850 г.: «Она меня любила, как сына, хотя я не сделал ничего, достойного любви ее...» [XIV, 182]. И сама Шереметева, в одну из трудных для Гоголя минут, в ответ на повторяющуюся просьбу молиться за него: «...благословляя вас как сына, мне любезного, вручаю Богу, молю Его, да с Его Отцовскою помощью возможете с терпением все нести» [Шереметева, с. 225].

Смерть Надежды Николаевны омрачила последние дни пребывания Гоголя в Москве. Объясняя А.С. Данилевскому и его жене Ульяне Григорьевне причины своего молчания, Гоголь пишет 14 мая: «Я... много скорбел и страдал как душевно, так и телесно. И до сих пор не выбрал<ся> из этого состояния» [XIV, 180].

Тем не менее спустя неделю, 21 мая, Гоголь отправился к Аксаковым на именины Константина Сергеевича. В числе гостей был Бодянский и, согласно дневниковой записи последнего, Максимович, Хомяков, Свербеев и «еще два какие-то неизвестные мне, да родные именинника». Сергея Тимофеевича не было за столом – он простудился, и «к нему после обеда все ходили один за другим».

Во время встречи возник диалог на злободневную тему, записанный тем же Бодянским.

«– Не понимаю, как можно быть в наше время национальным? – сказал, между прочим, Свербеев.

– А я так не понимаю, как можно не быть в наше время не национальным, – возразил я ему» [РС. 1888. Ноябрь. С. 411–412].

Какую-либо реакцию Гоголя на этот обмен репликами Бодянский не зафиксировал. Возможно, тот по обыкновению уклонился от споров западнического или славянофильского толка.

К последнему московскому периоду жизни Гоголя следует приурочить и новую встречу с Галаховым. Она произошла в книжной

лавке И.В. Базунова, прежде принадлежавшей А.С. Ширяеву. Гоголь попросил показать ему литературные новинки, в числе которых оказалась и хрестоматия Галахова, вышедшая летом 1849 г. [ОЗ. 1849. № 9. Отд. 6. С. 24–25]. Очевидно, и визит Гоголя имел место в конце лета или осенью того же года.

Книга Галахова (первое ее издание: Полная русская хрестоматия, или Образцы красноречия и поэзии, заимствованные из лучших отечественных писателей. М., 1842. Ч. 1) сразу же сделалась предметом внимания и острой полемики. Причина в том, что Галахов нарушил канон такого рода учебных изданий, включавших в себя общепризнанные, «классические» тексты, и ввел в оборот произведения новейших писателей, в том числе Гоголя. Новое издание состояло уже из трех частей, из которых, по словам Галахова, «последняя, под названием “примечаний”, заключала в себе биографические сведения о важнейших писателях и оценку их деятельности. Гоголь, разумеется, был превознесен выше облака ходячего» [Галахов, с. 245].

Попасть (говоря современным языком) в учебные программы было труднее, чем завоевать признание знатоков или даже массового читателя. Гоголь вполне оценил этот факт и, заключает Галахов, «польстил мне, когда в число отобранных им книг включил и мой учебник» [Там же].

Интересно, что, рассказывая об этой встрече, Галахов ни словом не обмолвился об эпизоде, имевшем место двумя годами ранее, – о публикации в «Отечественных записках» (1847. № 2) под псевдонимом «Сто-один» его «Письма к Н.В. Гоголю». Предметом критики Галахова послужило авторское предисловие ко второму изданию «Мертвых душ», в котором он усмотрел измену писателя своему прежнему направлению. Огорчение Галахова было вполне искренним (не он один испытывал это чувство), но при этом он впал в мелочный, по выражению гоголевского биографа, «досадно-придирчивый» тон. «...Страннее же всего то, что письмо это написано человеком, который в продолжение всей своей достаточно известной ученой и литературной деятельности никогда не заявлял себя таким неприятным образом и вообще не заявлял себя с несимпатичной стороны. Не удивительно, что Гоголь не удостоил ответа именно *такое* письмо» [Шенрок, т. 4, с. 479–480; курсив в оригинале]. А может быть, Гоголь просто не знал, кто скрывается за псевдонимом «Сто-один», хотя журнал с «Письмом» (или соответствующие страницы) определенно были в его распоряжении [XIII, 314]. Галахову же напоминать об этом эпизоде было, конечно, не с руки.

## Продолжение экзамена

Тем временем Гоголь провел новый тур чтений «Мертвых душ», что означало для них продолжение экзамена. Писатель хотел бы начать с Жуковского, но тот был в Германии. «Временами приходит такое желанье прочесть из них [«Мертвых душ»] что-нибудь тебе, – пишет он Жуковскому 14 декабря 1849 г., – и кажется, что это прочтенье освежило бы и подтолкнуло меня – но... Когда это будет? Когда мы увидимся?» [XIV, 156]. Пришлось начать с тех, кто поближе.

В начале января следующего года, числа седьмого, Гоголь прочитал в аксаковском доме доработанную первую главу. «Глава показалась нам еще лучше, – отмечал Сергей Тимофеевич, – и как будто написана вновь» [Аксаков С., 1890, с. 188]. На чтении впервые присутствовал Иван Сергеевич (до этого он мог судить о поэме по отзывам родных, а также Смирновой), – и услышанное восхитило его. «Спасибо Гоголю! – писал он родным 9 января по возвращении из Москвы в Ярославль. – Все читанное им выступало перед мной отдельными частями во всей своей могучей красоте... Если б я имел больше претензий, я бы бросил писать: до такой степени превосходства дошел он, что все другие перед ним пигмеи» [Аксаков, 1994, с. 94].

Через несколько дней, 19 января, Гоголь познакомил Аксаковых со второй главой. Утром он был у Погодина и, согласно дневнику последнего, читал «Мертвые души» ему и Максимовичу [Барсуков, т. 11, с. 133]. А потом отправился обедать к Аксаковым, и тут состоялось новое чтение. При этом, как и несколько месяцев тому назад, приступая к самому первому чтению, Гоголь не мог себе отказать в маленьком розыгрыше.

«Вот как было дело, – рассказывал на следующий день Сергей Тимофеевич в письме к Ивану. – Пришел он к нам вчера обедать... Часу в 7-м вдруг говорит: “А что бы куличка прочесть?” Я отвечал, что теперь все маленькие кулички, но что если он хочет, то Константин принесет все мои записки и прочтет их ...» [Аксаков С., с. 223]. Подразумевались «Записки ружейного охотника», над которыми в это время работал Сергей Тимофеевич.

Но Гоголь чтения почти не слушал, решительно «выхватил тетрадь из кармана, которую давно держал в руке, и сказал: “Ну, а теперь я вам прочту”» [Там же. С. 224]. Это была рукопись второй главы «Мертвых душ».

«Что тебе сказать? – продолжает Аксаков. – Скажу одно: вторая глава несравненно выше и глубже первой. Раза три я не мог удержаться от слез» [Там же]. Сергею Тимофеевичу буквально вторит Константин: «Вчера Гоголь читал отесеньке и мне вторую главу. Что тебе сказать? Она для меня несравненно выше первой... Чем дальше, тем лучше» [ЛН. Т. 58. С. 724].

В первых числах марта Гоголь расширил круг слушателей. 7 марта С.Т. Аксаков сообщил Ивану, что «третьего дня» Гоголь прочел А.С. Хомякову и Ю.Ф. Самарину первую главу (по более позднему свидетельству Самарина – две главы). «Разумеется, Самарин вполне оценил это великое произведение» [Там же. С. 734]. Автор «Мертвых душ» при этом требовал критических замечаний, и Хомяков в ответ высказал один-два упрека, по мнению Сергея Тимофеевича, «неосновательные и пустые»; Самарин же отозвался следующим (недатированным) письмом: «Любезнейший Николай Васильевич, если бы я собрался слушать вас, с намерением критиковать и подмечать недостатки, кажется и тогда, после первых же строк, прочтенных вами, я забыл бы о своем намерении. Я был вполне так увлечен тем, что слышал, что мысль об оценке не удержал бы в моей голове. Вместо всяких похвал и поздравлений, скажу вам только, что я не могу вообразить себе, чтобы прочтенное вами могло быть совершеннее». Единственное, на что Самарин решился, – замечания «касательно не художественной стороны, а исторической верности» [РС. 1889. № 7. С. 174]: речь шла конкретно об обстоятельствах и характере служебной деятельности Тентетникова.

Наконец, в последних числах мая Гоголь прочел в аксаковском доме третью главу. Вначале одному Сергею Тимофеевичу, а на другой день «половину ее» заново – Аксакову-старшему и Константину. 25 мая Вера Сергеевна сообщала М. Карташевской: «...И отесенька и Константин никогда еще не были, кажется, в таком восхищении...» [ЛН. Т. 58. С. 732]. И Сергей Тимофеевич писал Ивану: «До того хорошо, что нет слов. Константин говорит, что это лучше всего; но что бы он сказал, если б услышал в другой раз то же? Я утверждаю, что нет человека, который мог бы вполне все почувствовать и все обнять с первого раза» [Там же. С. 734]. Словом, восхищение слушателей от главы к главе шло по возрастающей.

Гоголь собирался прочесть и четвертую главу, но болезнь Аксакова-старшего – он не поправился еще со времени именин Константина – этому помешала. В письме от 2 июня к Ивану Сергей Тимофеевич сокрушался: «Гоголь приготовил и отделал главу для прочтения всему нашему семейству, но все не читал, потому

что она так чувствительна, что меня должна расстроить... Как это досадно! Проклятое последнее мое нездоровье тому причиной. Теперь чтение откладывается на год» [Там же].

Так оно и произошло: чтения «Мертвых душ» Аксаковым и другим москвичам возобновились лишь после возвращения Гоголя из путешествия на юг в июне 1851 г.<sup>52</sup>

Гоголь мог быть вполне удовлетворен: поэма продолжала держать экзамен. Больше того – уверенность слушателей в авторе и их осознание собственной былой неправоты еще более окрепли. «Теперь только я убедился вполне, – признается Сергей Тимофеевич, – что Гоголь может выполнить свою задачу, о которой так самонадеянно и дерзко, по-видимому, говорил он в первом томе...» [Аксаков С., с. 224]. В этом Аксаковых убеждало и отношение Гоголя к критике – в отличие от Самарина они не ограничились бытовой верностью деталей и коснулись проблем художественности. Например, Сергею Тимофеевичу в описании Улиньки не понравилось выражение, «что когда надобно дать что-нибудь, она отдает все, что у нее есть», и еще не понравилось сравнение, «что, казалось, она готова была сама улететь вслед за *своими словами*» [Материалы, т. 1, с. 184–185; курсив в оригинале]. Ивану Аксакову же показалось, что «не довольно ясно обозначено, почему, под каким предлогом Чичиков расположился жить у Тентетникова» [Аксаков, 1994, с. 94].

Все эти упреки Гоголь, как правило, принимал и словно шел им навстречу. «Я заставил его признаться, – продолжает Сергей Тимофеевич, – что все наши замечания бесполезны и что он сам это видит лучше других, но в то же время он сказал, что для него важно совпадение моих замечаний с его собственными...» [Материалы, т. 1, с. 184–185]. А это значит, что между Гоголем и его критиками устанавливался род согласия, что писатель демонстрировал полную готовность избегать какой-либо идеализации и всецело полагаться на язык образов. И все это Гоголь делает и будет делать не в силу притворства или расчета, но подчиняясь органической устремленности души и таланта. Вот почему так резанула Аксаковых реплика Смирновой, будто бы Гоголь лукавил и обманывал их.

Но предпринятые чтения поэмы были экзаменом и для ее слушателей. Ведь во втором томе раскрывались новые стороны жизни, фигурировали более сложные характеры. Мы уже знаем, что, слушая вторую главу этого тома, С.Т. Аксаков «не мог удержаться от слез». Такое трудно себе представить при чтении глав о Манилове, Собакевиче или даже Плюшкине. Для этого нужны

были перипетии жизненных судеб Тентетникова и Бетрищева, их взаимные обиды и примирение, разговор о войне с Наполеоном, помолвка Тентетникова с Улинькой, плач Улиньки на могиле матери и т. д. – все это составляло предмет упомянутой главы и требовало другого эмоционального отклика. И реакция слушателей оказалась соответствующей. «Такого высокого искусства: показывать в человеке пошлом высокую человеческую сторону, нигде нельзя найти, кроме Гомера, – отмечал Сергей Тимофеевич в упоминавшемся письме от 20 января 1850 г. – Так раскрывается духовная внутренность человека, что для всякого из нас, способного что-нибудь чувствовать, открывается *собственная своя духовная внутренность*» [Аксаков С., с. 224]. Не зная, Аксаков почти буквально воспроизвел ту характеристику второго тома, которую дал сам Гоголь в письме от 3 декабря 1849 г. к К.И. Маркову, помещику и литератору: «...я не имел в виду собственно *героя добродетелей*. Напротив, почти все действующие лица могут назваться героями недостатков. Дело только в том, что характеры *значительнее* прежних и что намеренье автора было войти здесь глубже в высшее значение жизни, нами опошленной, обнаружив видней русского человека не с *одной* какой-либо *стороны*...» [XIV, 152; курсив в оригинале]. И чтение второго тома показало, что слушатели оказались на высоте этого «намерения».

Окончательным ли был итог проведенного экзамена, прочным ли взаимное согласие автора и его слушателей? Очень скоро обнаружилось, что не окончательным и не прочным. Некоторым предвестием расхождения явился уже спор о цензуре, который произошел в первых числах марта, т. е. в разгар чтений второго тома. Правда, этот спор был заочным – С.Т. Аксаков вел его непосредственно со Смирновой, но от того он не сделался менее значительным.

В свое время Сергей Тимофеевич, предвидя цензурные препятствия для поэмы, советовал Гоголю представить рукопись царю (Аксаков руководствовался счастливым прецедентом – участием Николая I в судьбе «Ревизора»). Теперь Аксаков узнал от Смирновой, что писатель никогда этого не сделает, хотя «уверен, что он [царь] дозволил бы ее напечатать; нет, он хочет до тех пор ее исправлять, пока всякий глупый, привязчивый цензор не пропустит ее без затруднения». На это Сергей Тимофеевич сказал Смирновой: «...Как жаль, какая ложная мысль!..» [ЛН. Т. 58. С. 730].

Но гоголевское «мысль» вписывалось в его общее решение проблемы цензуры, которое сложилось у него к середине 40-х го-

дов и которое нам известно, в частности, по статье о Карамзине («Выбранные места...»). Мол, писатель все может сказать, если постарается, если будет убедителен, разносторонен и свободен от раздражения. Проблема цензуры для Гоголя в это время – проблема авторского стиля, но в то же время и проблема самовоспитания, самосовершенствования – и нравственного и творческого. Во внешних преградах, какие являла собою цензура, Гоголь хотел найти стимулы для внутреннего сопротивления и развития; со стороны же было видно, что писатель тем самым обрекает себя на бесконечный процесс переработки текста.

Но подобные опасения С.Т. Аксаков и другие держали пока при себе или не высказывали слишком явно. На первом плане были одобрение и энтузиазм, которые подействовали на Гоголя окрыляюще. «Когда я перед отъездом из Москвы прочел... две первые главы, оказалось, что последующие сильнее первых и *жизнь* раскрывается, чем дале, тем глубже. Стало быть, несмотря на то, что старею и хирею телом, силы умственные, слава Богу, еще свежи» (А.П. Толстому, 20 августа 1850 г. [XIV, 202, курсив в оригинале]).

Но чтобы выполнить намеченное, приготовить к печати второй том, Гоголю необходимо всю предстоящую зиму «поработать хорошо», а для этого, помимо душевного расположения, нужны еще «благорастворенный воздух и ненатопленное тепло». И вот, в поисках этих условий, Гоголь вновь отправляется в дальнюю дорогу.

Но еще до отъезда, весной 1850 г., Гоголю суждено было пережить тяжелую душевную драму.

«...Бог недаром сталкивает так чудно людей...»:  
Гоголь и Анна Виельгорская

В семье Виельгорских (и тут они не составляли исключения) на Гоголя смотрели как на великого человека, дружить с которым почетно и лестно. Луиза Карловна, описывая визит к Шатобриану, «великому писателю», в чьих глазах светится «воображение, ум, гений», прибавляла в письме к Гоголю из Парижа 2 (14) марта 1845 г.: «И вам, любезный друг, и Жуковскому, Пушкину, Языкову, и некоторым другим предстоит бессмертие и на земле, а нам, несчастным, совершенное забвение» [Переписка, т. 2, с. 213].

Анна, младшая дочь Виельгорских, тоже хорошо понимала, кто пред ней, но при этом ценила и простые человеческие отношения: «...как русская, вы для меня *Гоголь*, и я вами горжусь, а как Анна Михайловна, вы только для меня Николай Васильевич, т. е. христианский, любящий, вернейший друг» (письмо от 18 марта 1846 г. [Там же. С. 219; курсив в оригинале]). И, надо прибавить, такой друг, перед которым не надо казаться лучше или умнее, можно болтать что придет в голову. В Петербурге она с удовольствием воображает (эта цитата нами уже приводилась), «что я с вами где-нибудь сижу, как случалось в Остенде или Ницце, и что вам говорю все, что в голову приходит, и что вам рассказываю всякую всячину. Вы меня тогда слушали, тихонько улыбаясь и закручивая усы...» [Там же. С. 218]. Такого друга можно и укорить, как ребенка: «Надеюсь, что вы здоровы телесно и душевно, что вы, как я, не хандрите, но *умник*, пишете для наших будущих наслаждений и пользы, гуляете, смеетесь и думаете иногда о вашей приятельнице Анне Михайловне» [Там же. С. 210; курсив в оригинале]. Можно и прочесть нотацию насчет излишнего внимания Гоголя к отзывам о себе: «И отчего, любезный Николай Васильевич, вы так хотите узнать мнения других? <...> Помните, любезный Николай Васильевич, что ваше имя и ваш талант обязывают вас быть самостоятельным и что вы должны иметь некоторое уважение к самому себе и к званию писателя...» (5–8 мая 1847 г. [Там же. С. 238]).

Что касается самой Анны, то она думала о Гоголе постоянно. 17 февраля (1 марта) 1845 г. из Парижа: «Я все о вас думаю и провожаю мысленно по вашей дороге, стараясь вообразить себе, какая у вас теперь физиономия, куда вы смотрите, что думаете и играете ли усами или просто сидите с сложенными руками, не смотря ни на что и не думая ни о чем?» [Там же. С. 211–212]. И чуть позже, 20 ноября 1846 г., из Петербурга: «...в продолжение этих шести месяцев не прошел ни один день, в который я бы не молилась за вас» [Там же. С. 226]. Письма Гоголя становятся для Анны насущной необходимостью: «...для меня все в них просто, понятно; мне кажется, читая их, что я вас слышу, как вы часто с нами говорили, и я вхожу в ваши чувства, вижу вашими глазами и мыслю вашими чувствами» (7 февраля 1847 г., Петербург [Там же. С. 231]).

Со своей стороны, ввиду такой душевной близости, Гоголь предрекает Анне Михайловне великое будущее: «Ваше поприще будет даже гораздо более, чем всех ваших сестриц... Вам недаром имя *благодать* (Анна на дрнееврейском языке означает «благодать». – Ю. М.). Вы будете, точно, Божья благодать для всего



вашего семейства и всех вас окружающих» (31 марта/ 12 апреля 1844 г. [XII, 285; курсив в оригинале]). Предсказание, находящееся в русле излюбленной гоголевской мысли о благотворном воздействии женщины, женской красоты на нравственное и духовное состояние общества. Но Анну Михайловну гоголевское письмо привело в смущение: «Я прочла его раз шесть, и каждый раз с новым удивлением... Вы говорите, что у меня жизнь полезная и возможность делать много добра... Но сколько мне предстоит времени и труда для достижения прекрасной цели, которую вы мне показываете!» (17/29 апреля 1844г. [Переписка, т. 2, с. 207–208]). Тем более что молодость требовала своего, веселия и развлечения, и Гоголь, похоже, пока против этого не возражал. «Я была вчера на балу, – сообщает она Гоголю 7 ноября 1845 г., – и очень веселилась. Вы мне часто говорили – я помню – что мне нужно непременно ехать на бал и развлекаться и танцевать *de bon sociu*. Это именно со мной нынче случается» [ВЕ. 1889. Ч. 6. С. 101].

Но очень скоро светские увеселения и общение разочаровали Анну Михайловну. «Множество лиц, и все-таки находишься как будто в уединении, – пишет она Гоголю 18–21 марта из Петербурга. – И о чем говорить с людьми глупыми или неприятными, или для меня совершенно равнодушными?» Выходы в свет заставляют Анну вспомнить о другом: «В некоторых из наших губерний умирают с голода; здесь, в Петербурге и около города, свирепствует заразительная болезнь, *le typhus*, от которой множество людей каждый день умирает... Несмотря на то, всю зиму танцевали, веселились, и я с прочими, только с разницею, что мне почти всегда было скучно...» Это уже близко гоголевскому противопоставлению бедствий страны и беспечно веселящегося высшего класса. И еще одно место из того же письма: «Я вам в пример скажу, любезный Николай Васильевич, что самые модные франты нынешней зимы, с которыми все щеголихи старались танцевать, такие пустые люди, что с ними нельзя иметь даже светского глупого разговора» [Переписка, т. 2, с. 218]. Читая эти строки, Гоголь мог бы подумать, что этой девушке, которой шел уже 25-й год, нелегко будет выйти замуж...

Во второй половине сентября–начале октября 1848 г. Гоголь, мы помним, встречался с Виельгорскими в Петербурге. Именно с этого времени Гоголь будет вести счет своих трудных отношений с Анной («...я много выстрадался с тех пор, как расстался с вами в Петербурге»). Что же произошло?

В. Шенрок первоначально высказал предположение, что именно в это время Гоголь обнаружил намерение жениться на Анне, решительно отклоненное ее родственниками; но потом исследователь приурочил это событие к более позднему времени – 1850 г. [Шенрок, т. 4, с. 741]. Поправка Шенрока представляется нам обоснованной: после петербургских встреч Гоголя с Анной Михайловной продолжалась еще около двух лет оживленная переписка, и, казалось, ничего не изменилось. Разрыва не произошло, если Гоголь и почувствовал обиду, то самую малую.

Гоголь интересуется, как идут у Анны Михайловны «русские лекции», читаемые «моим адъюнкт-профессором», т. е. Владимиром Соллогубом; сам выражает желание читать такие лекции, предлагая начать со второго тома «Мертвых душ» – это все откроет «много сторон русской жизни», что «доселе не обнаружено ни одним писателем». «Не позабудьте рядом с русской историей читать историю русской церкви». И все это для того, чтобы «сделаться действительно русскою, по душе, а не по имени».

А рядом с этим – еще такие советы: «...Ради Бога, не сидите на месте более полутора часа, не наклоняйтесь на стол: ваша грудь слаба, вы это должны знать... Не танцуйте вовсе, в особенности бешеных танцев: они приводят кровь в волнение, но правильного движенья, нужного телу, не дают. Да вам же совсем не к лицу танцы: ваша фигура не так стройна и легка. Ведь вы нехороши собой. Знаете ли вы это достоверно?» Сказать женщине, что она некрасива... Что это – просто бестактность или маленькая месть, да еще с многозначительным умолчанием? «Есть в свете гадости, – продолжает Гоголь, – которые, как репейники, пристают в нам... К вам кое-что уже пристало; что именно, я покуда не скажу». Возможно, это и маленькая месть и бестактность, но и еще и скрытая сентенция в свою пользу. К замечанию о том, что Анна некрасивая, Гоголь добавляет: «Вы бываете хороши только тогда, когда в лице вашем появляется благородное движение...» А ведь такие движения не результат ли ее встреч с Гоголем, уроков Гоголя, – и благоразумно ли со стороны девушки всем этим пренебрегать [XIV, 92–93]?..

Во всяком случае, Гоголь предрекает Анне Михайловне, что в свете она свою партию не найдет: «Вы искали в нем душу, способную отвечать вашей, думали найти человека, с которым об руку хотели пройти жизнь, и нашли мелочь да пошлость. Бросьте же его совсем» [XIV, с. 93]. Зато душа Гоголя и Анны способны «ответить» друг другу и пройти вместе жизненный путь – такая

мысль вполне естественно могла зародиться в его сознании. Нет, никакого официального предложения Гоголь не делал, но этой животрепещущей темы, очевидно, не раз касался во время петербургского общения с Анной, причем его настроение не укрылось и от внимания других членов семейства Виельгорских.

После петербургских встреч Анна не прочь встретиться с Гоголем снова. «Одно хотела бы я знать: приедете ли вы в Петербург весной и в какое именно время?» – пишет она 24 февраля 1849 г., добавляя, что ей и другим членам семейства очень хотелось бы посетить в нынешнее лето свою деревню, что недалеко от Коломны; в этом случае они могли бы «остановиться в Москве и хорошенько рассмотреть этот для нас совершенно незнакомый город. Я бы очень желала, чтобы мы сошлись вместе в Москве и чтоб вы были нашим Сисегопе» [Переписка, т. 2, с. 245].

В ответном письме (от 20 марта) Гоголь предложение о поездке в Петербург отклонил до более подходящего времени, но зато горячо поддержал идею приезда Анны в Москву. «От всей души желаю, чтоб Москва оставила в душе вашей навсегда самое благодатное впечатление». Пребывание в Москве должно продолжить русское воспитание Анны; в том же письме Гоголь говорит о «высоком достоинстве русской породы», состоящей в том, что «она способна глубже, чем другие, принять в себя высокое слово евангельское»; сообщает о только что опубликованном «Домострое», где в надлежащем свете выступает «уже не политическое устройство России, но частный, семейный быт...» [XIV, с. 112, 110].

В январе 1849 г. в Москву приезжает Владимир Соллогуб, одновременно в старой столице гостит Л.К. Виельгорская, но Анна не приехала. Соллогуб подметил у Гоголя приступ тоски – не первый, конечно. «Он был грустен, тупо глядел на все окружающее, его потускневший взор, слова утратили свою неумолимую меткость, и тонкие губы как-то угрюмо сжались» [Соллогуб, с. 308]. Сам Гоголь чуть позже (11 февраля 1850 г.) пишет Анне: «Сижу больной, нервы страждут и все во мне страждет. И так бывает тяжело, что не знаешь, куда деться, как позабыть себя» [XIV, 162]. Вероятно, в это время, весной 1850 г., Гоголь и сделал предложение Анне.

Впрочем, тут мы должны принять оговорку В. Шенрока – это не было формальное предложение, но, как принято говорить, зондирование почвы. «Гоголь только обратился к графине (Луизе Карловне. – Ю. М.) через Алексея Владимировича Веневитинова, женатого на старшей дочери Виельгорских Аполлинии Михай-

ловне. Зная взгляды своих родственников, Веневитинов понял, что предложение не может иметь успеха, и напрямик сказал о том Гоголю» [Шенрок, т. 4, с. 740]. Этот эпизод сохранился в семейных преданиях Виельгорских, как и его объяснение: при всем почитании Гоголя как великого писателя люди титулованные, принадлежащие к высшему кругу, близкие ко двору, не видели в нем подходящей партии.

Конечно, эта версия не может считаться твердым, непровержимым фактом, но ее вероятность весьма велика. Обычно возражают: Гоголь тяготел к иночеству, говорил о преимуществах монашеской жизни, сам мечтал стать монахом, не обнаруживал, особенно в последние годы жизни, никаких сексуальных интересов и т. д.

Однако желание стать монахом – это еще не решение, Гоголь так его и не осуществил, не в последнюю очередь именно потому, что не мог отодвинуть в сторону, говоря его словами, свое главное «поприще» – светского писателя и свое главное дело – завершение «Мертвых душ». Что же касается характера брака, то вовсе не всегда в основе его лежит сексуальность. Например, говорили об отсутствии сексуальных отношений в браке А.П. Толстого и его жены Анны Егоровны (Георгиевны), урожденной княжны Грузинской – близких Гоголю людей<sup>52a</sup> («35 лет княжна вышла замуж за графа Александра Пет<ровича> Толстого, святого человека. Он подчинился своей чудовине и жил с нею как брат» [Смирнова, 1989, с. 224]). Не входя в подробности гадательного свойства, подчеркнем очевидное: Гоголь видел в Анне духовно близкого себе человека, свято почитающего его талант, исполненного глубокого религиозного чувства, впитавшего в себя высокое достоинство русской природы, причем достигшего всего этого не без его, Гоголя, влияния. И вполне вероятно, что у Гоголя родилась мысль видеть такую женщину спутницей своей жизни. Если бы это была только мысль, потаенная, невысказанная, то все это не причинило бы Гоголю таких страданий. Но Гоголь, очевидно, ее обнаружил, пусть косвенно, через родственников Анны Михайловны, и этот шаг не мог не дойти до сведения самой девушки, и результатом оказалось следующее гоголевское письмо к ней, исполненное редкого трагического чувства:

Мне казалось необходимым написать вам хотя часть моей исповеди. Принимаясь писать ее, я молил Бога только о том, чтобы сказать в ней одну сущую правду. Писал, поправлял, марал, вновь начинал писать и увидел, что нужно изорвать написанное. Нужна ли вам, точно, моя испо-

ведь? Вы взглянете, может быть, холодно на то, что лежит у самого моего сердца, или же с иной точки, и тогда может все показаться в другом виде, и что писано было затем, чтобы объяснить дело, может только потемнить его. Совершенно откровенная исповедь должна принадлежать Богу. Скажу вам из этой исповеди одно только то: я много выстрадал с тех пор, как расстался с вами в Петербурге. Изныл весь душой, и состояние мое было тяжело, так тяжело, как я не умею вам сказать. Оно было тяжелее оттого, что мне некому было его объяснить, не у кого было спросить совета или участия. Ближайшему другу я не мог его поверить, потому что сюда замешались отношения к вашему семейству; все же, что относится до вашего дома, для меня святыня. Грех вам, если вы станете продолжать сердиться на меня за то, что я окружил вас мутными облаками недоразумений. Тут было что-то чудное, и как оно случилось, я до сих пор не умею вам объяснить. Думаю, что случилось оттого, что мы еще не довольно друг друга узнали и на многое *очень важное* взглянули легко, по крайней мере гораздо легче, чем следовало. Вы бы меня лучше узнали, если бы случилось нам прожить подольше где-нибудь вместе не праздно, но за делом. Зачем, в самом деле, не поживете вы в подмосковной вашей деревне? Вы уже более двадцати лет не видали ваших крестьян. Будто это безделица: они нас кормят, называя нас же своими кормильцами, а нам некогда даже через двадцать лет взглянуть на них! Я бы к вам приехал также. Мы бы все вместе принялись дружно хозяйничать и заботиться о них, а не о себе. Право, это было бы хорошо и для здоровья и веселей, чем обыкновенная бессмысленная жизнь на дачах. А если бы при этом каждый помолился крепче Богу о том, чтобы помог ему выполнить долг свой, – мы бы, верно, все стали чрез несколько времени в такие отношения друг к другу, в каких следует нам быть. Тогда бы и мне и вам оказалось видно и ясно, чем я должен быть относительно вас. Чем-нибудь да должен же я быть относительно вас: Бог не даром сталкивает так чудно людей. Может быть, я должен быть не что другое в отношении <вас>, как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего. Не сердитесь же; вы видите, что отношения наши хотя и возмутились на время каким-то налетным возмущением, но все же они не таковы, чтобы глядеть на меня как на чужого человека, от которого должны вы таить даже и то, что в минуты огорчения хотело бы выговорить оскобленное сердце. Бог да хранит вас. Прощайте. Обнимите крепко всех ваших. Весь ваш до гроба Н. Гоголь [XIV, 187–188; курсив оригинале].

Такие письма пишутся в минуты кризиса, в состоянии тяжелой душевной муки. Сравнение с «верным псом», которому отведена лишь роль беречь «имущество господина своего», – это вовсе не

«полушуточная любезность» (как показалось одному исследователю). В этих словах звучит сердечная обида, боль. Возможно, отношения Анны и Гоголя дали повод для недовольства и каких-то предостережений Виельгорских-старших; отсюда извинения Гоголя за то, что окружил девушку «мутными облаками недоразумений». В письме отчетливо звучат прощальные ноты (и действительно, на этом переписка Гоголя и Анны Михайловны оборвалась; лишь в новогоднем письме от 1 января 1852 г. к А.О. Смирновой Гоголь в обобщенной форме поручает поздравить «всех добрейших Виельгорск<их>» [XIV, 267]). Гоголь лишь просит Анну «не сердиться» и «не глядеть» на него «как на чужого человека», – единственное право, которое он за собой оставляет.

Недавно стало известно письмо сестры писателя Анны Васильевны к А.М. Черницкой, автору работ о Гоголе, – Анна Васильевна решительно отвергла самую возможность подобного «сватовства». «Меня очень огорчил Шенрок, хотя еще не читала его статьи, но из его писем узнала и писала ему, что это сватовство невероятно! Возвратясь из Иерусалима, он не в таком был настроении, говорил, что желает пожить с нами в деревне, хозяйничать, построить домик, где бы у каждого была бы своя комната... Мне кажется, он не думал о женитьбе, всегда говорил, что он не способен к семейной жизни! Я написала Шенроку об этом». Анна Васильевна не один раз выступала против такого мнения. Узнав, что Н.В. Берг предлагал Шенроку статью «Сватовство Гоголя», она писала той же Черницкой: «Я в негодовании, как ему могут это предлагать! Берется писать его биографию и совсем его не знает»<sup>53</sup>.

Но «не знать» могли и родные Гоголя, тем более что события происходили за тысячи верст от миргородчины и что до сватовства скорее всего не дошло. Вся драма протекала в тонкой сфере чувств, а тут Гоголь был скрытен как никто («Ближайшему другу я не мог его поверить...»). Уж больший вес следует придать словам В.А. Соллогуба, женатого на сестре Анны Михайловны Софье и более осведомленного в семейных делах и тайнах. Анна Виельгорская, писал Соллогуб, «кажется, единственная женщина, в которую влюблен был Гоголь» [Соллогуб, с. 293]. И в другом месте, перечисляя недуги Гоголя: «Он страдал долго, страдал душевно, от своей неловкости, от своего мнимого безобразия, от своей застенчивости, от безнадежной любви...» [Там же. С. 380]. Так или иначе, но это могла подразумеваться именно любовь к Анне Виельгорской.

Развязка отношений с Анной причинила Гоголю сильнейшую душевную боль. Отныне у него уже нет надежды найти умную, понимающую, склонную к полускрытой нежности женщину, с которой можно было бы «об руку пройти жизнь». Оставались лишь тяжелый труд и неустроенная жизнь «бессемейного путника».

Что же касается Анны Михайловны, то после смерти Гоголя, когда ей было уже 30, она вышла замуж за князя Александра Ивановича Шаховского, представителя знатного рода, восходящего к известному Шемяке, т. е. князю Дмитрию Шемякину. В 1861 г. у Шаховских родилась дочь – Мария Александровна. Жили Шаховские в старинной усадьбе Сенница, что на берегу речек Сенница и Осетр, в том имении, в котором призывал Гоголь провести лето Анну Михайловну и куда он собирался приехать сам.

### Путешествие на юг

Итак, в июне 1850 г. Гоголь вместе с Максимовичем на долгих уезжает из Москвы на юг. Ближайшая цель поездки – Украина, родные места, Васильевка. Но за ними видятся другие края. В разговоре с Бодянским, состоявшемся 12 мая, Гоголь упоминает Крым; в письме к С.М. Соллогуб от 29 мая – «острова Средиземного моря»; Средиземное море фигурирует и в письме к А.С. Данилевскому от 5 июня; днем позже в письме к А.С. Стурдзе – Одесса, вновь Средиземное море и еще Греция. Подумывал Гоголь и о новом паломничестве в Святую землю, чтобы пополнить и сгладить впечатления от первого путешествия [Шенрок, т. 4, с. 694–695].

Во всяком случае, целью поездки на этот раз не является Италия. На первый план выходят Греция и Афон.

О серьезности намерения Гоголя отправиться в Грецию говорят многочисленные свидетельства изучения им греческого языка. Так, Бодянский видел у Гоголя экземпляры греко-латинского словаря; Максимович – молитвенник на греческом языке, который тот читал каждое утро, и т. д.

Выехал Гоголь вместе с Максимовичем 13 июня. Перед этим позавтракали в доме Аксаковых варениками, которые Гоголь заказал заранее, и в пятом часу были уже в дороге.



У городской заставы  
Гравюра. 30-е годы XIX в.

Одно время предполагалось, что третьим спутником будет Константин Аксаков, и Гоголь призывал его, «задавши работу ногам, освежить голову, совершая путь пополам с подседом на телегу и с напуском пехондачка, совокупно с нами, оттопавши дорогу до Глухова...» [XIV, 186]. Все это и совершали Гоголь с Максимовичем – и подсед, и напуск пехондачка, т. е. ходьбу пешком, а кроме того (как рассказывал Максимович гоголевскому биографу), «ложась спать, он [Гоголь] “отправлялся к Храповицкому”, а когда желал только отдохнуть, то говаривал своему попутчику: “Не пойди ли нам к Полежаеву?”» Совсем как персонажи первого тома «Мертвых душ», которые «знались» с Завалишиным и Полежаевым, любили «заехать к Сопикову и Храповицкому»... А еще, по словам гоголевского спутника, «хаживал он также к “Обедову” и к другим господам по разным надобностям...» [Кулиш, 2003, с. 572].

Ехали медленно, не на почтовых, а в собственной бричке Максимовича; сзади еще тянулась телега с вещами обоих спутников. Гоголь предпочел «медленную и дешевую езду быстрой и дорогой» в целях экономии, но не только поэтому. Как рассказывал со слов Гоголя А.К. Толстой (об их встрече см. ниже), «путешествие на долгих было для него уже как бы началом плана, который от предполагал осуществить впоследствии. Ему хотелось совершить путешествие по всей России, от монастыря к монастырю, езда по проселочным дорогам и останавливаясь отдыхать у помещиков. Это ему было нужно, во-первых, для того, чтобы



видеть живописнейшие места в государстве, которые большею частью были избираемы старинными русскими людьми для основания монастырей; во-вторых, для того, чтобы изучить проселки Русского царства и жизнь крестьян и помещиков во всем ее разнообразии; в-третьих, наконец, для того, чтобы написать географическое сочинение о России самым увлекательным образом» [Там же. С. 570–571]. Можно добавить: это было нужно в первую очередь для продолжения «Мертвых душ», усвоения новых художественных впечатлений и опыта.

Первую ночь путники провели в Подольске, где ночевали также А.С. Хомяков с женой. Хомяков издавна был симпатичен Гоголю, и вечер они провели «в дружеской беседе» – определение, которое гоголевский биограф, очевидно, слышал от Максимова.

«На 15-е июня, – продолжает тот же биограф, – ночевали в Малом Ярославце; утром служили в тамошнем монастыре молебен; напились у игумена чаю и получили у него по образу св. Николая». Этот игумен очень понравился Гоголю, и впоследствии он будет рекомендовать Александру Петровичу Толстому: «...не забудьте также заглянуть в Малом Ярославце... к тамошнему игумену, который родной брат оптинскому игумену (т. е. архимандриту Моисею. – Ю. М.) и славится также своей жизнью...» [XIV, 195]. Производил впечатление и монастырь, где служил брат игумена Моисея, – Малоярославецкий Черноостровский Николаевский общежительный мужской монастырь, основанный, по преданию, в XIV в.

Наконец, 16 июня прибыли к Смирновой в Калугу, где и заночевали, а на другой день обедали. Здесь-то Гоголь и встретился с А.К. Толстым, с которым познакомился еще летом 1844 г. во Франкфурте.

Алексей Константинович нашел в Гоголе «большую перемену»:

Прежде Гоголь, в беседе с близкими знакомыми, выражал много добродушия и охотно вдавался во все капризы своего юмора и воображения; теперь он был очень скуп на слова, и все, что ни говорил, говорил, как человек, у которого неотступно пребывала в голове мысль, что «с словом надобно обращаться честно», или который исполнен сам к себе глубокого почтения. В тоне его речи отзывалось что-то догматическое, так, как бы он говорил своим собеседникам: «Слушайте, не пророните ни одного слова».



Площадь провинциального города  
*Художник Е.Ф. Крендовский. 1850*

Нет основания не верить этому впечатлению, но категоричность его смягчается подробностями, которые сообщает тот же Толстой. Согласно мемуаристу, гоголевская речь «была исполнена души и эстетического чувства». Так, он «попотчивал графа двумя малороссийскими колыбельными песнями, которыми восхищался, как редкими самородными перлами». Затем настала очередь великорусской песни, которую Гоголь «продекламировал с свойственным ему искусством... выражая голосом и мимикой патриархальную величавость русского характера...».

Не было недостатка и в юмористических деталях; часть из них, мы знаем, была связана с наименованием разного рода действий путешественников, вроде «подседа» и «пехондачка». Еще предметом комических наблюдений Гоголя являлся старый конь, которого Максимович переправлял обратно на родину довольно оригинальным способом, – конь шел сзади телеги, будучи представлен самому себе. «Да твой старик просто жуирует! говорил он [Гоголь], заметив, что сзади повозки приделан был для него рептух с овсом и сеном».

Вообще, согласно Максимовичу, Гоголь во время этой поездки казался не столько догматичен, сколько самодостаточен.

Он был простой путешественник, немножко рассеянный, немножко прихотливый, порой детски затейливый, порой как будто грустный, но постоянно спокойный, как бывает спокоен старик, переиспытавший много на веку своем и убедившийся окончательно, что все в мире совершается по строгим законам необходимости и что причина каждого неприятного для нас явления может скрываться вне границ не только нашего влияния, но и нашего ведения [Кулиш, 2003, т. 2, с. 573].

Но, конечно, в глубине души Гоголя беспокоила проблема завершения второго тома поэмы, а значит, и проблема здоровья, и – ближайшим образом – планы совершаемой поездки, конечная ее цель. Все это, видимо, обсуждалось со Смирновой. По отъезде Гоголя из Калуги Александра Осиповна сообщила Ивану Аксакову (письмо от 28 июня): «Он [Гоголь] проехал здесь с Максимовичем, здоровье его плохо. Если Бог поможет ему получить паппорт за границу, он, вероятно, поселится в Афинах или на Афоне и кончит там второй том» [ЛН. Т. 58. С. 734].

Из Калуги 19 июня Гоголь и Максимович прибыли в имение Киреевских Долбино и в тот же день посетили Оптину пустынь. Путники (рассказывал Максимович) шли «до самой обители, версты две, пешком. На дороге встретили они девочку, с мисочкой земляники, и хотели купить у нее землянику; но девочка, видя, что они люди дорожные, не захотела взять от них денег и отдала им свои ягоды даром, отговариваясь тем, что “как можно брать с странных людей деньги?”

– Пустынь эта распространяет благочестие в народе, – заметил Гоголь, умиленный этим, конечно редким, явлением» [Кулиш, 2003, т. 2, с. 573].

Об этом же несколько позже (10 июля) Гоголь писал А.П. Толстому: «За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание: все становится приветливее, поклоны ниже и участя к человеку больше». И в том же письме: «Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо там присутствует» [XIV, 195, 194].

Сравнение с Афоном возникло неслучайно: осознанно или исподволь Гоголь обдумывал мысль, можно ли и в России найти такой же оплот благочестия и духовной поддержки, чтобы не ехать за границу.

На другой день после Долбина, 20 июня, путники посетили Авдотью (Евдокию) Петровну Елагину (1789–1877) в ее имении

Петрищеву. Это была последняя известная встреча писателя с глубоко симпатичной ему замечательной женщиной, племянницей Жуковского, матерью Ивана и Петра Киреевских<sup>54</sup>.

Через несколько дней, 24 июня, остановившись на ночлег в Севске, в уездном городе Орловской губернии, в ночь на Ивана Купалу, Гоголь испытал сильное художественное впечатление. На заре путешественники слышали неподалеку от постоялого двора «какой-то странный напев». «Поди послушай, что то такое, – просил Гоголь своего друга [т. е. Максимовича], – не купаловые ли песни? Я бы и сам пошел, но ты знаешь, что я немножко из-под Глухова» [Кулиш, 2003, т. 2, с. 575].

(Таким метафорическим оборотом Гоголь обозначал некоторую свою глухоту – факт, подтверждаемый сестрой писателя: «Мой брат был немножко глуховат, но только на одно ухо, и при разговоре иногда склонялся ухом к говорящему...» [Белоусов, с. 31].)

Максимович выяснил, что это три дочери оплакивали смерть матери – и оплакивали с замечательным приникающим, поэтическим чувством: «Все служило им темою для горестного речитатива: добродетельная жизнь покойницы, их неопытность в обхождении с людьми, их беззащитное сиротское состояние». Максимовичу это напомнило плач Ярославны из «Слова о полку Игореве»; когда же он рассказал обо всем увиденном и услышанном Гоголю, «тот был поражен поэтичностью этого явления и выразил намерение воспользоваться им, при случае, в “Мертвых душах”» [Кулиш, 2003, т. 2, с. 576].

На другой день, 25 июня, в Глухове (уже не метафорическом, а вполне реальном месте – уездном городе Черниговской губернии) спутники должны были расстаться: Максимович направлялся в Турановку к своему дяде И.Ф. Тимковскому; Гоголь – в Сорочинцы и Васильевку. При этом поскольку путешествие совершалось в собственной бричке Максимовича, с отъездом последнего Гоголь, по его выражению, оказался «совершенно на безэкипажи» [XIV, 192]. Выручил А.М. Маркович, дядя Ульяны Данилевской, с которым Гоголь близко сошелся двумя годами ранее, во время пребывания в Киеве. Маркович прислал из своего имения Сварково бричку с лошадьми, на которой Гоголь в последних числах июня приехал в имение Данилевского Дубровное, но, не застав хозяев дома, продолжил путь до Березовой Луки. А потом, уже в экипаже, присланном Данилевским, отправился в Сорочинцы, где последний в это время находился, – произошло это 30 июня. На следующий день, 1 июля, Гоголь был уже в Васильевке, в родном доме, с матерью и сестрами.

Жил он во флигеле. Занимался хозяйством. Наблюдал за ремонтом дома. Обдумывал планы разведения дубового леса. Посещал окрестные места, например Обуховку или Сорочинцы, где проживал Данилевский.

А 9 августа «с вязкою миргородских бубликов для Гоголя» в Сорочинцы приезжает Максимович. Друзья не виделись всего полтора месяца, тем не менее, рассказывает Максимович, «новая встреча с Гоголем на месте его рождения весьма обрадовала меня и мы весело провели этот день вместе, у А.С. Данилевского... Мы переехали через Псел и ехали в Васильевку ночью при свете полного месяца. Наслаждением для меня было промчаться вместе с Гоголем по степям, лелеявшим его с детства. И никогда я не видел его таким одушевленным, как в эту украинскую ночь».

Великое счастье испытывал Гоголь и тогда, когда исполнялись украинские песни. «Меня часто, – рассказывает Ольга Васильевна, – просил играть ему на фортепиано малороссийские песни. “А ну-ка, говорит, сыграй мне *чоботы*”. Стану играть, а он слушает и ногой притоптывает. Ужасно любил он малороссийские песни. Видела я, как он раз нищих позвал, и они ему пели» [Белоусов, с. 31].

К украинским песням Гоголь нередко обращался, чтобы взбодриться, развеять тоску. Так, однажды он был приглашен на свадьбу дочери соседней помещицы Цюревской (Цуревской). Гоголь, по обыкновению, скучал и упросил сестру побыстрее вернуться домой, и там (рассказывает Ольга Васильевна) «заставил меня играть малороссийские песни, в особенности ему нравилось “Ой, на двори метелиця”. При этом топал ногой и напевал; и прочие песни играла, тоже напевал» [Головня, с. 48].

Еще Гоголь боролся с тоской и унынием своим проверенным способом – научая других, как преодолевать эту беду. По-прежнему очень подходила для этой роли А.О. Смирнова. «...А насчет чортика, – писал он ей 10 июля из Васильевки, – и прочих лезущих в голову посторонних вещей скажу вам: просто плюньте на них! Скажите: мне некогда, у меня есть теперь много забот поважнее... А еще лучше скажите: у меня есть другие, высшие обязанности: мне нужно благодарить Бога за то, что сохранил меня до сих пор, что я еще живу на свете, что жизнь моя еще нужна для добрых дел. Некогда, некогда, сатана, убирайтесь себе в свою преисподнюю! Он, скотина, убежит, поджавши хвост» [XIV, 194]. Все это вполне отвечает известной нам программе Гоголя – выставить черта существом слабым и глупым, «чтобы после моего сочинения насмеялся вволю человек над чортом». Эти строки следует читать и как за-

щитную речь самого Гоголя: и у него есть «высшие обязанности» – его поэма, и он благодарит Бога за то, что тот сохранил его для этого дела, и он, стало быть, еще нужен людям...

В действительности же Гоголю писалось, видимо, с большим трудом. В этот год на Украине стояли «жары невыносимые. Нет сил ни работать, ни даже лечиться...». Но обдумывалось все энергично и успешно: «Я телом не очень здоров, но голова, слава Богу, вся сидит во 2 томе». Морально писатель готовился к решительному рывку: «Мне нужно непременно эту зиму хорошенько поработать в ненатопленном тепле, с благодатными прогулками на воздухе благорастворенного юга. И если только милосердный Бог приведет мои силы в состоянье полного вдохновенья, то второй том эту же зиму будет готов» [XIV, 198, 201, 200]. То есть к весне 1851 г. Гоголь вернется в Москву с завершенной книгой!

Оставалось только найти место, отвечающее всем условиям работы. Вначале в Васильевке Гоголя еще не оставляет мысль о путешествии за границу: он приедет «в Одессу с тем, чтобы оттоле пуститься в климаты теплейшие» (1 августа, Е.П. Репниной). Но уже через несколько дней, получив от А.С. Стурдзы «весьма милое письмо с дружелюбным зазывом в Одессу», Гоголь предается мечтаниям: «Если бы Одесса сделалась хоть на этот год Коринфом или Байрутом, с какой бы я радостью остался в России!» (20 августа, А.О. Смирновой). И чуть позже, еще более определенно: «Душевно бы хотел прожить сколько можно доле в Одессе и даже не выезжать за границу вовсе. Скажу вам откровенно, что мне не хочется и на три месяца оставлять Россию» (11 сентября, А.С. Стурдзе [XIV, 199, 200, 203]).

С изменением решения Гоголя относительно цели поездки связана и история его несостоявшегося обращения к наследнику. Писатель составил предварительный текст такого обращения с наименованием предполагаемых адресатов-посредников (графа Л.А. Перовского, князя П.А. Ширинского-Шихматова и графа А.Ф. Орлова). Письмо было передано Смирновой в Калугу, с тем чтобы находившийся там же А.К. Толстой составил на его основе прошение к наследнику. Толстой выполнил эту работу, но письмо, содержавшее две главные просьбы – о беспошлинном паспорте и денежном пособии, – Гоголь так и не отправил.

Возможно, потому, что с отказом от планов заграничного путешествия отпала необходимость и в заграничном паспорте. А кроме того, Гоголя могло смутить и то обоснование, которым мотивировалось продолжение поэмы, когда «выступает русский чело-

век уже не мелочными чертами своего характера, не пошлостями и странностями, но всей глубиной своей природы и богатым разнообразием внутренних сил, в нем заключенных»; «теперь... дело идет к тому, чтобы выставить наружу все здоровое и крепкое в нашей природе..» [XIV, 278, 279]. Собственно в общем виде это соответствовало движению от первого тома к последующим, но только в общем виде. В письме для наследника упор делался на позитивное, здоровое начало русской жизни – таковы были общественные ожидания, тем более у власть имущих. На самом же деле чуть ли не все герои второго тома, с которыми уже успели познакомиться слушатели, не представляли вполне это начало, разве что Улинька или Костанжогло, но и у последнего были свои недостатки (Муразов появится позднее, о нем знала чуть ли не одна Смирнова). Поэтому сам Гоголь (в письме от конца 1849 г. к К.И. Маркову) гораздо осторожнее оценивал персонажей второго тома: «...Я не имел в виду собственно *героя добродетелей*. Напротив, почти все действующие лица могут назваться героями недостатков» [XIV, 152; курсив в оригинале]. И через каких-нибудь несколько месяцев (когда, напомним, второй том должен стать известен широкой публике) это сделалось бы очевидным для каждого.

По-видимому, Гоголя смущало еще одно обещание, данное в проекте письма для наследника, – написать книгу о родине, «та существенная, говорящая ее география, начертанная сильным, живым слогом, которая поставила бы русского лицом к России...». Сочинение это действительно давно занимало Гоголя, еще со времени его преподавательской деятельности; совсем недавно он говорил об этом замысле А.К. Толстому в Калуге. Но заявление, что такая книга «зреет вместе с нынешним моим трудом [т. е. со вторым томом «Мертвых душ»] и, может быть, в одно время с ним будет готова» [XIV, 281], отдавало явным преувеличением, и Гоголь не хотел через каких-нибудь несколько месяцев оказаться в неловком положении.

...Осенью Гоголь вместе с матерью и сестрами покинул Васильевку. «Наш родственник, – рассказывает Елизавета Васильевна, – кузен матери, старик больной, А.А. Трощинский, просил нас провести у него зиму в его имении Кагорлык (Киевской губернии). Так решили всем вместе в двух экипажах ехать прежде к нему, в сентябре, а потом брат в одном экипаже поедет в Одессу и весной опять заедет за нами» [Шенрок, т. 4, с. 705].

На пребывание в Кагорлыке 1 октября пали именины Марьи Ивановны, и Николай Васильевич «вместо подарка читал нам из второго тома “Мертвых душ”» [Там же].

Потом уже, на пути в Одессу, в октябре Гоголь заехал к В.А. Лукашевичу в село Мехедовка Золотоношского уезда. Здесь его встретил А.В. Маркович, знакомый будущего гоголевского биографа Кулиша; Маркович зафиксировал некоторые, с его точки зрения, интересные подробности. Так, «по поводу разнощика, забросавшего комнату товарами, он сказал: “Так и мы накупили всякой всячины у Европы, а теперь не знаем, куда девать”».

Когда же Гоголю «читали переведенные на малороссийский язык псалмы Давида, он останавливался на лучших стихах, по языку и верности переложения. Он слушал с видимым наслаждением малороссийские песни, которые для него пели...»

Среди подмеченных деталей есть и совсем мелкие, но для Гоголя очень характерные.

Например: «Кто-то наступил на лапку болонке, и она сильно завизжала. “А, не хорошо быть малым!” – сказал Гоголь» [Кулиш, 2003, т. 2, с. 579].

### Одесса: октябрь 1850 – март 1851 г.

Дорога на Одессу оказалась тяжелой; добрался он до города (а «лучше сказать, доплыл») только 24 октября. «Ровно неделю я тащился, придерживая одной рукой разбухнувшие дверцы коляски, а другой расстегиваемый ветром плащ...» [XIV, 206]. А когда приехал и осмотрелся – ужаснулся: ни следа той блаженной теплоты, о которой мечталось. Появился даже снег. «Здесь его выпало во множестве третьего дня, и с одного раза сделалась санная дорога: диво доселе, говорят, невиданное. Вообще климат Одессы я нахожу мало чем лучше московского» (С.П. Шевыреву 7 ноября [XIV, 210]).

Но через каких-нибудь три-четыре недели природа взяла свое, и Гоголь воспрянул духом. «Я остался здесь, в Одессе, и этому рад. По великой милости Божией, зима здесь в этом году вовсе не похожа на суровые зимы предыдущие: она тепла и благоприятна моему здоровью» [XIV, 219].

Гоголь поселился за Сабанеевым мостом на Надеждинской улице в доме А.А. Трощинского. Сам Андрей Андреевич, как мы знаем, проживал в это время в Кагорлыке, «так что мне [сообщал Гоголь Шевыреву 7 ноября] даже очень просторно и подчас весьма пустынь-



но» [XIV, 210]. Но работе это не мешало, как и частое посещение дома Репниных, старинных знакомых Гоголя еще по Баден-Бадену, а затем по Риму, а потом по курортному городку Каstellамаре.

Гоголь почти ежедневно бывал у Василия Николаевича Репнина, который даже «отвел ему особенную комнату с высокой конторкой, чтобы ему можно было писать стоя». У Репниных Гоголь нашел маленький малороссийский уголок – своеобразное продолжение аксаковских вечеров («вареники и песни»). «У моего брата, – рассказывает княжна Варвара Николаевна, сестра Василия Николаевича, – жили молодые люди малороссияне, занимавшиеся воспитанием его младших сыновей. Жена моего брата (Елизавета Петровна, урожденная Балабина. – Ю. М.) была хорошая музыканша; Гоголь просил ее аккомпанировать хору всей этой молодежи на фортепиано, и они под руководством Гоголя пели украинские песни».

Навещал Гоголь и Репнину-старшую, княгиню Варвару Алексеевну, у которой была своя домовая церковь. «Гоголь приходил к обедне, становился в угол за печкой и молился, “как мужичок”, по выражению одного молодого слуги, т. е. клал земные поклоны и стоял благоговейно» [РА. 1890. № 10. С. 229–230].

За пределами репнинского семейства Гоголя тоже встречали люди ему симпатичные. Среди них – профессор Ришельевского лицея Н.Н. Мурзакевич (с ним писатель познакомился еще в первый свой приезд в Одессу), профессор философии в том же лицее Иосиф Григорьевич Михневич (1809–1885)<sup>55</sup>, а также знакомые Гоголю еще по нежинской Гимназии высших наук сыновья ее директора И.С. Орлая – Александр и Андрей – с ними писатель также виделся еще во время прежнего посещения Одессы. Укрепились связи и с А.С. Стурдзой («...добрейший Стурдза, с которым вижусь довольно часто...»). Продолжилось общение с Титовым и – что особенно важно – со Львом Сергеевичем Пушкиным, при посредничестве которого Гоголь невольно соприкасался и с памятью великого поэта, и с традициями одесского литературного круга.

«В его семье, – рассказывает о Льве Пушкине одесский старожил А.Л. Деменитру, – гостеприимной, любезной и общительной, собиралось лучшее одесское общество. Сам хозяин дома, живой, умный, образованный и добродушный, был в очень близких отношениях со многими писателями и выдающимися людьми. В Одессе у него часто бывал молодой Полонский...» [Лернер, с. 324]. По словам другого одесского жителя, Лев Пушкин пользовался «большим влиянием на общественное мнение Одессы как в

деле искусства, так и в вопросах справедливости...» [Воспоминания, с. 422]. Свидетельство это тем более интересно, что оно исходит от актера и драматурга Толченова, т. е. из театральной среды, в которую Гоголю в Одессе предстояло глубоко погрузиться.

По словам того же Толченова (эти сведения он получил от Гоголя), писатель часто бывал и у князя Дмитрия Ивановича Гагарина [Воспоминания, с. 426], в знаменитом доме на Ланжероновской улице, который так и называли – Дворец Гагарина. Построил его в 1840-х годах известный архитектор Ц.Л.Оттон.

Иные из новых знакомых Гоголя оказались полезны для пополнения его сведений, для более широкого знакомства с провинциальной жизнью, к которому стремился автор «Мертвых душ». Еще в 1843 г. он обратил внимание на статью о «Мертвых душах», имевшую несколько необычное название: «Голос из провинции о поэме Гоголя “Похождения Чичикова, или Мертвые души”» [О. 3. 1843. Т. 27. Отд. 5. С. 23–48; подпись: Н.М.]. «Лучшие критики, – заметил Гоголь в письме к Н.М. Языкову, – большею частью из провинции. Одна из Екатеринослава замечательнее других...» [XII, 192].

И вот в Одессе Гоголь встретился с подателем этого «голоса», Н. Мизко – их познакомил 9 января 1851 г. один из сыновей бывшего директора нежинской Гимназии Орлая. А потом Мизко посетил Гоголя на его квартире в доме Трощинского, проведя около двух часов в оживленной беседе.

Николай Дмитриевич Мизко (1818–1881), уроженец Екатеринославской губернии, был тесно связан с этим краем, что и определило характер беседы. «Гоголь расспрашивал о Екатеринославе, о каменном угле в нашей губернии, о Святогорском монастыре на меловых горах (Харьковской губернии, на границе Екатеринославской), в котором я был».

Затем возникла тема биографического жанра: дело в том, что отец Николая Мизко Дмитрий Тимофеевич был основателем и многолетним директором Екатеринославской гимназии и его жизни и деятельности сын посвятил специальную книгу «Памятная записка...» (Одесса, 1849), которую он подарил Гоголю. Николай Васильевич был очень доволен, заметив: «Я описываю жизнь людскую, поэтому меня всегда интересует живой человек более, чем созданный чьим-нибудь воображением, и оттого мне любопытнее всяких романов и повестей биографии или записки действительно жившего человека» [Кулиш, 2003, т. 2, с. 583]. Отталкиваясь от реального материала, Гоголь рассчитывал придать новый импульс работе над вторым томом поэмы; отсюда

его настойчивое стремление вести «переписку с такими людьми, которые могли мне что-нибудь сообщить» (фраза из «Авторской исповеди» [VIII, 446]). Знакомство с Мизко оказалось для него счастливым случаем<sup>56</sup>.

Заинтересовала Гоголя и другая книга Мизко – «Столетие русской словесности» (Одесса, 1849).

Таким образом, после знакомства с хрестоматией Галахова (см. об этом выше) Гоголь мог снова убедиться, что он уже вошел в учебные курсы отечественной литературы. И в другой изданной в Одессе в том же 1849 г. книге – «Истории русской литературы для учащихся» – можно было прочитать специальный параграф об авторе «Мертвых душ», завершаемый выводом: «Вообще Гоголь принадлежит к числу самобытных, вполне национальных писателей наших» (с. 220).

Автор этой книги Константин Петрович Зеленецкий (1814, по др. сведениям: 1812–1858) тоже был тесно связан с провинцией, а именно с Одессой; здесь он родился, окончил философское отделение Ришельевского лицея, где с 1832 г. занимал должность профессора русской словесности. Кстати, есть все основания полагать, что Гоголь в Одессе встречался с Зеленецким: Плетнев в письме к Гоголю в Одессу от 23 марта 1851 г. просит его передать привет Зеленецкому [Переписка, т. 1, с. 297].

Встречался Гоголь и с лицами из чиновничьего круга, например с Александром Ивановичем Казначеевым (1783–1880), бывшим одно время одесским градоначальником. Казначеев дружил с Сергеем Тимофеевичем Аксаковым, которому Гоголь сообщил 7 ноября 1850 г.: «Видел я Казначеева, который мне показался весьма добрым человеком» [XIV, 211]. Гоголю этот человек мог быть интересен и тем, что от него вела еще одна ниточка к Пушкину: будучи в свое время правителем канцелярии новороссийского губернатора М.С. Воронцова, он (по выражению одного современника) оказывал ссыльному поэту «покровительство». Пушкин тоже относился к Казначееву уважительно.

Особую роль для Гоголя имело общение с Михаилом Карповичем Павловским (1810–1898), профессором богословия в Ришельевском лицее. По словам А.О. Смирновой, «протоиерей Павловский, почтенный и добрейший священник», «на Гоголя имел большое влияние» [Смирнова, 1989, с. 67]. Эти слова косвенным образом подтверждаются письмом Павловского, отправленным буквально через неделю после приезда Гоголя в Одессу: протоиерей сообщает Николаю Васильевичу, что выслал ему

«святую икону»: «...пусть святитель и чудотворец Николай, вам тезоименитый, да пребудет своей помощью и покровом с вами...» [Шенрок, т. 4, с. 825]. Возможно, это было сделано в ответ на просьбу самого писателя.

«Словом, – подытоживает Гоголь, – со стороны приятного препровождения грех пожаловаться. Дай Бог только, чтобы не подгадило здоровье» [XIV, 210].

Но, к счастью, и «со стороны» здоровья все более или менее стало налаживаться. «Здоровье его поправилось, – сообщает Л.С. Пушкин П.А. Вяземскому 5 декабря 1850 г., – и я никогда не видел его таким веселым болтуном, каким он теперь сделался» [ЛН. Т. 58. С. 734]. А значит, и творческие силы появились, и «Мертвые души» пошли успешнее: «О себе пока скажу, что Бог хранит, дает силу работать и трудиться. Утро постоянно проходит в занятиях, не тороплюсь и осматриваюсь» (А.О. Смирновой, 23 декабря [XIV, 216]). «Работа идет с прежним постоянством и хоть еще не кончена, но уже близка к окончанию» (В.А. Жуковскому, 16 декабря [XIV, 215]).

«Близка к окончанию!» Гоголь такими фразами не бросался, он скорее был склонен преуменьшать сделанное и преувеличивать предстоящие трудности. Значит, действительно дело решительно двинулось, и можно было подумать и о скорых чтениях новых глав – С.Т. Аксакову в Москве, Жуковскому, Плетневу и Смирновой в Петербурге, или в Ревеле, или Риге (Гоголь мечтает пожить с ними вместе некоторое время)<sup>57</sup>. А затем – можно «приступить к печатанью!» [XIV, 214].

Усилия Гоголя должен был подхлестнуть дух соревновательности – с С.Т. Аксаковым, работавшим над своими «Записками ружейного охотника Оренбургской губернии», и особенно, конечно, с Александром Ивановым. Поздравляя его с наступающим 1851 годом, Гоголь высказывает пожелание, чтобы «картина ваша [«Явление Мессии...»] в продолжение его наконец окончилась, и окончание ее, венчающее дело, было бы достоиславно». И прибавляет: «Хорошо бы было, если бы и ваша картина и моя поэма явились вместе» [XIV, 216–217]. Гоголь ощущает особенный, как сейчас сказали бы, судьбоносный смысл самого факта одновременности появления таких произведений, как второй том «Мертвых душ» и картина Иванова. Поскольку лето считалось неблагоприятным временем для продажи книги, то можно сделать определенный вывод: Гоголь рассчитывал издать второй том поэмы зимой, самое позднее – ранней весной 1852 г.

С приездом в Одессу Гоголь окунулся в атмосферу пестроты, разнообразия, социального и национального разнообразья. Согласно старому справочнику, «к 1-му января 1849 года в Одессе было жителей 86 729 душ; купцов 3 597, мещан 48 773, иногородних 8 600, иностранцев до 8 000 душ; домов было 3 877. Городских доходов было 1 408 864 руб. Таким образом, в течение пятнадцати лет Одесса выросла до степени лучшего торгового города Европы» [Одесса, с. 38]. О духе европеизма в Одессе неоднократно говорил А.С. Пушкин, проживший здесь более года; 21 января 1821 г. он писал С.И. Тургеневу, что хотел бы подышать в этом городе «чистым европейским воздухом»; в письме же к брату Льву от 25 августа 1823 г. отмечал осязаемый здесь «европейский образ жизни» [Пушкин, т. 10, с. 30, 64].

Приметами европейского образа жизни Одессы для Пушкина служили еще «ресторация и итальянская опера». И то и другое (только с заменой итальянского театра русским) в какой-то мере определяли и пребывание в Одессе Гоголя.

«Ресторация» – это в первую очередь знаменитый ресторан Цезаря Людвиговича Оттона (ум. 1860) на Дерибасовской. По воспоминаниям актера и драматурга Александра Павловича Толченова (ум. 1888), Гоголь приходил сюда обедать два-три раза в неделю. Он появлялся «часов в пять, иногда позднее, приходил серьезным, рассеянным, особенно в дни относительно холодные, но встречали его обыкновенно так радушно, задушевно, что минут через пять хандра Гоголя пропадала, и он делался общителен и разговорчив». Среди сотрапазников Гоголя мемуарист называет уже упоминавшегося выше профессора Мурзакевича, а также людей из театральной среды: члена театральной дирекции Александра Ивановича Соколова, режиссера А.Ф. Богданова (ум. 1877), а «из посторонних театру лиц» – Николая Петрович Ильина.

Иногда появлялся сам Оттон, «массивный мужчина, в белой поварской куртке, с симпатичным лицом». Начиналось бурное обсуждение меню, потом само пиршество. «По окончании Гоголем обеда вся компания группировалась около него... Тут-то, собственно, и начиналась беседа, веселая, одушевленная, беспритязательная. Анекдот следовал за анекдотом, рассказ за рассказом, острое слово за острым словом. Веселость Гоголя была заразительна, но всегда покойна, тиха, ровна и немногоречива» [Воспоминания, с. 423].

Приметой публичности одесской жизни являлись газетные объявления о событиях, связанных с видными персонами, к которым относился, конечно, и Гоголь. Еще в первый его приезд

в «Одесском вестнике» (от 19 мая 1848 г., № 40) было сообщено, что 1 мая некоторые школьные товарищи и друзья «в сообществе почитателей знаменитого русского таланта» дали обед в честь Гоголя. 28 октября 1850 г. та же газета (№ 86) оповестила о новом приезде писателя в Одессу и о намерении его провести здесь зиму.

Показателем необычайной открытости Гоголя и редкой для него склонности к общению является готовность выступать перед другими с чтением художественных текстов. О чтениях из произведения, над которым он тогда работал, т. е. из второго тома поэмы, известно в то время немного. Зато никогда так часто не читал Гоголь публично чужие произведения, как во время пребывания в Одессе в 1850–1851 гг.

Так, 6 января 1851 г. Гоголь у Репниных в присутствии Екатерины Александровны Хитрово («Неизвестной») читает «Агнесу» («Школу женщин» Мольера [РА. 1902. № 3. С. 547])<sup>58</sup>.

20 января того же года – «Одиссею» в переводе Жуковского [Там же. С. 548–550].

В том же месяце – перед актерами одесского театра «Школу женщин» (а также позднее, в ресторане Оттона свою «Лакейскую» [Воспоминания, с. 420]).

3 февраля у Репниных Гоголь читает пушкинского «Бориса Годунова» [РА. 1902. С. 553].

Манера гоголевских чтений воплощала его эстетику неаффицированного комизма, ненавязчивой и в то же время неотразимой характерности. По словам Толченова, слушавшего Гоголя, «все достоинство его чтения заключалось в удивительной верности тону и характеру того лица, речи которого он передавал, в поразительном умении подхватывать и выражать жизненные, характерные черты роли, в искусстве оттенять одно лицо от другого, т. е. в том, что в сценическом искусстве называется созданием характера, типа» [Воспоминания, с. 420–421]. Сам Гоголь употребил однажды замечательно выразительное слово для обозначения этого свойства. Когда в его присутствии зашла речь о «Саге о Фритгофе» шведского поэта Эсайса Тегнера (выполненный Я. Гротом ее русский перевод вышел в 1841 г.), Гоголь, не читавший этого произведения, поинтересовался: «Но лица в ней каковы? Есть ли *барельефность*?» И еще: «Да что же, мысли ли автора или сами лица?» [РА. 1902. № 3. С. 488]. *Барельефность* означает, что фигурируют «сами лица», причем выпукло, наглядно, а не авторские сентенции или суждения по их поводу.

Но помимо эстетического элемента, факт публичности гоголевских чтений скрывал в себе и общественный, поведенческий аспект. В специальной статье, вошедшей в «Выбранные места...» (она так и называлась – «Чтения русских поэтов перед публикою»), Гоголь обращал внимание на важность этого акта: «...публичное чтение у нас необходимо. Мы как-то охотней готовы действовать сообща, даже и читать...» [VIII, 233]. Гоголевские публичные чтения – знак коммуникации, человеческих связей, в которые писатель в этот краткий одесский период своей жизни вступал охотнее, чем в иные времена.

Неожиданность гоголевского поведения отметил тот же Толченев:

Все слышанное мною про него в Москве и Петербурге так противоречило виденному мною в этот вечер, что на первое время удивление взяло верх над всеми другими впечатлениями. Я столько слышал рассказов про нелюдимость, недоступность, замкнутость Гоголя, про его эксцентрические выходки... как приглашенный в один аристократический московский дом, Гоголь, заметя, что все присутствовавшие собрались собственно затем, чтоб посмотреть и послушать его, улегся с ногами на диван и проспал или притворился спящим почти весь вечер... Неужели, думал я, это один и тот же человек, – засыпающий в аристократической гостиной, и сыплющий рассказами и заметками, полными юмора и веселости, и сам от души смеющийся каждому рассказу смехотворного свойства... [Воспоминания, с. 418–419].

Да, это был «один и тот же человек», только с разными гранями своего характера, и другая, противоположная грань никуда не делась, она лишь реже обнаруживалась. И факты уклонения Гоголя от новых знакомств или визитов в аристократические дома случались и в Одессе. Так, согласно дневниковой записи Е.А. Хитрово (от 26 ноября 1850 г.), «княгиня Долгорукова к нему писала, что рада всегда видеть его; звала к себе на вечер, говоря, что у нее будет прекрасный пол, а он так чувствует красоту, и что ей хотелось бы представить славу России и своим и иностранцам. Ответ был... что “по слабости здоровья” и т. д.» [РА. 1902. № 3. С. 544–545]. Чем не вариант гоголевского поступка в московском аристократическом доме? Правда, вариант смягченный, поскольку Гоголю не пришлось притворяться спящим.

Прежним, обычным, что ли, традиционным показался Гоголь и А.Л. Деменитру, в ту пору студенту Ришельевского лицея.



*Автопортрет Лермонтова. 1837*

Деменитру видел писателя у Льва Пушкина. Гоголь «был вял, угрюм, сосредоточен; говорил очень мало... Одна дама обратилась к нему с каким-то вопросом, но уткнувшийся в свою тарелку Гоголь ничего не ответил, как будто и не расслышал вопроса». Не оживил внимания Гоголя и разговор о Лермонтове, а ведь с поэтом он встречался лично и творчество его высоко ценил (см.: кн. 2, с. 243 и далее). «Лев Сергеевич достал и показал гостям перчатку Лермонтова, снятую с его руки после дуэли с Мартыновым. Все с любопытством поглядели на эту реликвию, но Гоголь не обратил на нее ни малейшего внимания и, казалось, не слушал и рассказа хозяина дома о Лермонтове, которого Лев Сергеевич близко знал» [Лернер, с. 325].

Лишь одна деталь анекдотического свойства вызвала в тот день бурную реакцию Гоголя.

Кто-то произнес фамилию негодянта-грека Родоканаки. При этом слове Гоголь на мгновение встрепенулся и спросил студента Деменитру, сидевшего рядом с ним:

– Это что такое? Фамилия такая?

– Да, – подтвердил Деменитру, – это фамилия.

– Ну, это Бог знает что, а не фамилия. Этак только обругать человека можно: ах ты, рродоканака ты этакая!

Все засмеялись, а Гоголь опять погрузился в свои мысли.



И в отношении к молодежи Гоголь был непоследователен и порою капризен. Толченова, например, писатель «с любопытством допрашивал о жите-бытье одесских лицеистов (в то время место нынешнего Новороссийского университета занимал Ришельевский лицей), между которыми у меня [т. е. Толченова] было много знакомых». «Вообще, – заключает мемуарист, – к молодежи Гоголь относился с горячей симпатией, которая сказалась мне и в расспросах меня о моей собственной жизни, о моих наклонностях и стремлениях...» [Воспоминания, с. 422].

Но вот свидетельство одного из этих лицеистов, уже упоминавшегося выше Деменитру: «Зачитывавшиеся произведениями Гоголя студенты Ришельевского лицея с благоговением, смешанным с удивлением и любопытством, оглядывали на улице странно одетого, с сумрачным и скорбным, бледным лицом Гоголя. Те, что были посмелее, даже следовали за ним, – правда в довольно значительном отдалении. Это раздражало Гоголя, и, завидя студентов, шедших ему навстречу, он иной раз беством в первые попавшиеся ворота спасался от тяготившего его внимания молодежи» [Лернер, с. 325].

Со стороны своей общительности и дружелюбности гоголевский характер более всего проявлялся, как мы уже говорили, в театральной среде. В то время в Одессе было две труппы, итальянская и русская, причем русская по своей популярности, как свидетельствует современник, уступала итальянской, «несмотря на превосходную игру и дарование гг. Воробьева и Толченова, особенно первого, несмотря на увлекательную прелесть гг. Медведевой и Левкеевой, на игру Боченковой и Шуберт»<sup>59</sup>. Но можно смело сказать, что в сознании Гоголя первенствовала именно русская труппа. Со всеми или почти со всеми ее актерами писатель познакомился лично, например с уже упоминавшимся Александром Павловичем Толченовым, А.Ф. Богдановым (ум. 1877), между прочим, родственником Щепкина (он был женат на его сестре), с Александрой Ивановной Шуберт (1827–1909), а также ее сестрой Прасковьей Ивановной Орловой (урожденной Куликовой, р. 1810) и другими. Значительность русской труппы освящали и имена тех, кто гастролировал на ее сцене – С.В. Шумский, М.С. Щепкин, В.В. Самойлов и другие.

Зафиксировано несколько посещений Гоголем одесского русского театра. Так, он присутствовал на бенефисе Толченова, находясь в ложе директора театра А.И. Соколова, и, «по словам

лиц, бывших вместе с ним, высидел весь спектакль с удовольствием и был очень весел» [Воспоминания, с. 419].

Присутствовал он и на репетиции «Школы женщин», выбранной для бенефиса Шуберт. «Гоголь внимательно выслушал всю пьесу и по окончании репетиции каждому из актеров по очереди, отводя их для этого в сторону, высказал несколько замечаний, требуя исключительно естественности, жизненной правды; но вообще одобрил всех играющих...» [Там же]. Дополнительные штрихи к этому эпизоду можно извлечь из описания собственной манеры чтения Гоголем мольеровской комедии в доме Репниных: «Гоголь так вошел в роль отвергнутого старика, так превосходно выразил горько-безнадежные страсти, что все смешное в старике исчезло: отзывалась одна несчастная страсть, так что последний ответ Агнесы кажется неуместным. Немного великодушия, с чем и Гоголь согласился» [РА. 1902. Т. 1. С. 547].

«Последний ответ» – это решительный отказ молодой девушки ответить на притязания ее пожилого воспитателя Арнольфа. Это утверждение права любви (Агнеса влюблена в молодого Ораса), но в то же время и обнаружение глубоких переживаний отвергнутого («Ты слышишь ли мой вздох? Как полон он огня! Ты видишь тусклый взор? Я обливаюсь кровью», – говорит Арнольф, на что Агнеса отвечает: «Не трогает меня вся ваша речь нимало...»). Тут, по мнению автора дневника – и Гоголь с этим согласился, – требовалось больше «великодушия».

Но что касается гоголевской передачи этого места, то речь шла уже не только о жизненной правде, об актерском искусстве, но и о чем-то глубоко личном. «Гоголь был вне себя. Лицо его сделалось, как у испуганной орлицы. Он долго был под влиянием страстных дум, может быть, разбуженных воспоминаний» [Там же]. Какую тайну почувствовала мемуаристка, по характеристике гоголевского биографа (В. Вересаева), «пожилая девица», «восторженная почитательница Гоголя», в этом эпизоде? Может быть, его давнее затаенное переживание, обиду или не оправдавшееся ожидание?.. Может быть, это был невольный отклик на недавно пережитую драму с Анной Виельгорской? Вспомним еще раз исполненные болью его прощальные слова Анне Михайловне: «Чем-нибудь да должен я быть относительно вас: Бог недаром сталкивает так чудно людей» и т. д. Гоголь был скрытен, о многом приходилось догадываться по случайным намекам или такого рода «проговоркам»...

Еще один малоизвестный факт театральных занятий Гоголя в Одессе – участие в подготовке «Ревизора», о чем мы узнаем из

воспоминаний актера П.П. Надимова: «При нем ставили Ревизора... Н.В. Гоголь был на репетициях и во время антрактов прохаживался по сцене с артистами, делал свои замечания и советы... Во время спектакля он сидел в ложе губернатора, приходил на сцену и вообще остался очень довольным исполнением артистов» [Гоголь, ак., т. 4, с. 736].

Тем временем подходило к концу пребывание в Одессе. Гоголь не поехал в Грецию, на Афон, но, видимо, окончательно не отказался от этого плана, отложив его на будущее. Об этом говорит то, что он продолжал изучать греческий – «прилежно занимается греческою библией» [БЗ. 1859. № 9. С. 267], как сообщал А.С. Стурдза Н.В. Неводчикову в конце 1850 г. Примечательно в связи с этим и общение Гоголя с Сергием Святогорцем.

Иеросхимонах Сергей, в миру Семен Авдиевич Веснин (1814–1853), учился в Вятской семинарии, а в 1843 г. принял схиму на Афоне под именем Сергей. Сергей буквально сжился с Афоном, иначе – Святой горой; отсюда и его наименование Святогорец. Своей излюбленной теме он посвятил «Письма к друзьям своим о св. Горе Афонской» (СПб., 1850), позднее – «Путеводитель по Афону» (СПб., 1854), «Афонский патерик» (СПб., 1860). О первом из этих сочинений Гоголь упоминал в письме к А.П. Толстому от 20 августа 1850 г.: «2-го тома Святогорцев я также не имею и надеюсь отыскать в Одессе» [XIV, 201].

В Одессе Гоголь познакомился и с самим автором, причем о теплой задушевности их отношений свидетельствует тон письма Святогорца, отправленного – по отъезде из Одессы – из Константинополя 3 марта 1851 г. «Возлюбленный Николай Васильевич!» – обращается он к писателю, отвечая далее на поставленные им вопросы, что «церквей православных в Константинополе 46», что сведения эти сообщил ему о. Софония и т. д. И завершает в том же тоне: «Прощайте, возлюбленный» и т. д. [Шенрок, т. 4, с. 827].

На смерть же Гоголя Святогорец откликнулся в таких словах: «Покойник много потерпел и похворал, – надобно и пора ему на отдых в райских обителях. Жаль только, что он не побывал у нас. Я очень любил его; в Одессе мы с ним видались несколько раз, и наше расставание было *условное – видеться здесь. Судьбы Божии непостижимы!*»<sup>60</sup> Значит, Гоголь дал Святогорцу обещание посетить Афон, но этому уже не суждено было осуществиться.

...В конце марта Гоголь прощался с Одессой. «За несколько дней до отъезда Гоголя из Одессы, на второй или третьей неделе великого поста, – рассказывает Толченев, – постоянные собеседники у Отона давали ему там прощальный обед» [Воспоминания, с. 427]. Автор же «Одесского вестника» (1869. № 67) уточняет: обед проходил в ресторане Маттео (что, по-видимому, соответствует действительности) и называет в числе присутствовавших Льва Сергеевича Пушкина, Н.Г. Тройницкого и Н.П. Ильина.

«День выдался солнечный, – продолжает Толченев, – и Гоголь пришел веселый». Но потом он вдруг заметил отсутствие Ильина, которому нездоровилось (еще одно расхождение с информацией «Одесского вестника»), погрузился, его настроение сообщилось «остальному обществу, и потому обед прошел довольно грустно». Потом все отправились навестить Ильина, которого нашли «уже выздоравливающим». Гоголь «тут же хотел распрощаться со всеми нами; но мы единодушно выразили желание проводить его до дому. Вышли вместе. Гоголь был молчалив, задумчив и на половине дороги к дому, на Дерibasовской улице, снова стал прощаться... Никто не решился настаивать на дальнейших провах. Гоголь на прощанье подтвердил данное прежде обещание: на следующую зиму приехать в Одессу. “Здесь я могу дышать. Осенью поеду в Полтаву, а к зиме и сюда...” Простился с каждым тепло, но и он, и каждый из нас, целуясь прощальным поцелуем, были как-то особенно грустны... Не суждено нам было более его видеть» [Воспоминания, с. 427].

Так же как не суждено было вновь увидеть Гоголя и его восторженной почитательнице Екатерине Хитрово. Впрочем, ей по крайней мере посчастливилось проститься с Гоголем вторично. Вот как об этом рассказала в своем дневнике Екатерина Александровна.

27 марта. – Уехал. Вчера обедал и совсем простился. Благодарил князя и княгиню (Репниных. – Ю. М.), обратился ко мне и сказал: «Благодарю вас, Екатерина Александровна!» Уезжая, поцеловал руку у меня. С балкона кланялись с ним. Потом, встретясь с кем-то рука с рукой, повернул за угол и скрылся. Настал вечер. Приехали гости. Пошли чай пить. Вдруг входит Гоголь. Я так и вскочила и с радостью к нему подошла. Нашла случай ему сказать, что я Бога благодарю (и что не успела ему этого сказать), что его так часто видала и слушала его назидательные речи [РА. 1902. Т. 1. С. 558]<sup>60а</sup>.

## Весенние переезды

26 марта херсонский гражданский губернатор выдал Гоголю две подорожные: от Одессы до Богуслава и от Одессы до Москвы [XIV, 24]. Конечной целью поездки была Москва, но на пути Гоголь намеревался остановиться в нескольких местах.

Прежде всего – в Кагорлыке, имении А.А. Трощинского, у которого гостила Марья Ивановна со старшими дочерьми. Гоголь обещал заехать сюда еще осенью 1850 г., направляясь в Одессу. В Кагорлыке он пробыл примерно две недели, и это время запомнилось матери и сестрам тем, что Гоголь прочел им первую главу второго тома «Мертвых душ» [Барсуков, т. 11, с. 541].

В апреле, 20-го числа, все семейство вернулось в Васильевку [ИВ. 1886. № 12. С. 492], а в начале мая сюда приехал А.С. Данилевский с женой, находившейся на последнем месяце беременности. И тут Гоголь (не в первый раз!) проявил высокую степень дружелюбия: уговорил Данилевских остаться, поселил их в своем флигеле, а когда Ульяна Григорьевна родила – это случилось в ночь на 12 мая – вызвался быть крестным отцом мальчика, названного в честь него Николаем. До этого, мы помним, Гоголь уже стал крестным отцом сына А.С. Хомякова.

В Васильевке Гоголь прожил месяц. 22 мая вместе с матерью и сестрой Ольгой он направился в Полтаву, где остановился у Скалонов – Софьи Васильевны (дочери В.В. Капниста) и ее мужа Василия Антоновича.

Настроение его, как обычно, переменчивое, скорее даже грустное. Работа над второй частью поэмы за последние месяцы значительно продвинулась, но насколько все получилось как хотелось, Гоголь не знал. Тревожило и состояние здоровья (в начале года, будучи еще в Одессе, он опять испытал какие-то «недуги»), возраст («два года, как уже пошел мне пятый десяток, а стал ли я умней, Бог весть один» – Плетневу, 6 мая [XIV, 229]), беспокоили хозяйственные неурядицы в имении; к этому прибавилось еще известие о предстоящем замужестве сестры Елизаветы, за которую посватался Владимир Иванович Быков, военный, саперный офицер (Гоголь узнал об этом в Полтаве). Никаких дурных качеств в будущем своем зяте Гоголь не приметил, но все равно страшно: «...как вспомню при этом, сколько у Лизы всяких мелких капризов, которые и хорошего человека обратят к ней своей дурной стороной, сердце скорбит пуще». «Итак, в будущем покуда потьма

и неизвестность!» (А.В. Гоголь, после 22 мая [XIV, 231]). Гоголя пугают плохие предвестия, дурные приметы, хотя он сам в иные времена укорял тех, кто придает им слишком большое значение. «Будущее неверно. Вот и теперь смущает меня одно печальное событие, случившееся, говорят, во Владимире 21 мая. Во время хода церковного проломился мост, так что перешли одни священники, несшие иконы, а весь народ обрушился в реку. Дай Бог, чтобы капитана миновала эта опасность» (М.И. Гоголь, 5 июня [XIV, 235]). «Капитан» – это В. Быков, жених сестры Елизаветы...

Настроение и образ жизни Гоголя в последний его приезд в Васильевку описали П.А. Кулиш и Г.П. Данилевский, побывавшие здесь вскоре после смерти писателя.

Кулиш:

Мне указали место, в углу дивана, где обыкновенно он сживал, гостя на родине. В последнее пребывание его дома веселость уже оставила его; видно было, что он не был удовлетворен жизнью, хоть и стремился с нею примириться. Телесные недуги, происходившие, вероятно, не от одних физических причин, ослабили его энергию; а земная будущность, сократившаяся для него уже в небольшое число лет, не обещала исполнения его медленно осуществлявшихся планов. Он впал в очевидное уныние и выражал свои мысли только коротким восклицанием: «И все вздор, и все пустяки!» [Кулиш, 2003, т. 2, с. 542].

Данилевский:

В... гостиной и в кабинете – поочередно – работал и отдыхал Гоголь. Постоянно тревожное его настроение, по словам его матери, в последний его заезд сюда заставляло его нередко менять свои рабочие комнаты. Так точно он, по его словам, не мог несколько ночей сряду спать в одной и той же комнате... Кабинет во флигеле был расположен в другом конце здания... Здесь более всего оставался Гоголь. В последнее свое пребывание в Васильевке он отсюда иногда не выходил по целым дням, являясь в дом только к обеду и к вечернему чаю [Воспоминания, с. 454].

Оба мемуариста сходны и в описании той домашней деятельности, которой предавался Гоголь, стремясь преодолеть тревогу, да и не только свою тревогу, но и общую гнетущую атмосферу в семье.

Кулиш:

...Каковы бы ни были его душевные страдания, он не переставал заботиться о том, чтобы занять милых его сердцу домашних полезною

деятельностью и сохранить их от уныния. Одною из трогательнейших забот его о матери было возобновление тканья ковров, которым она в молодости распорядилась с особенным удовольствием... Для этого-то с неутомимым терпением рисовал он узоры для ковров и показывал, что придает величайшую важность этой отрасли хозяйства. С сестрами он беспрестанно толковал... о садоводстве, об устройстве лучшего порядка в хозяйстве, о средствах к искоренению пороков в крестьянах или о лечении их телесных недугов... [Кулиш, 2003, т. 2, с. 542–543].

#### Данилевский:

Кроме писания, во флигеле, Гоголь усердно занимался в последнее время улучшением фабрикации домашних ковров, – сам рисовал для них узоры, – и это занятие, с разведением деревьев в саду, составляло его главное удовольствие в немногие часы его отдыха [Воспоминания, с. 455].

Однако у Ольги Васильевны как непосредственной свидетельницы всего происходившего сложилось более мрачное впечатление:

Прежде, бывало, приезжая в деревню, братец непременно затевал что-нибудь новое в хозяйстве: то примется за посадку фруктовых деревьев, то, напротив, вместо фруктовых начинает садить дуб, ясьень, берест... А теперь все это отошло в прошлое: братец все это забросил, и, когда маменька жаловалась ему на бездоходность своего имения, он только как-то болезненно морщился и переводил разговор на религиозные темы [Головня, с. 74].

...После Полтавы Николай Васильевич вместе с матерью и сестрой Ольгой пробыли еще неделю в селе Власовка Константиноградского уезда Полтавской губернии. Здесь жила двоюродная сестра Гоголя Марья Николаевна Синельникова, дочь его тетки Екатерины Ивановны Ходаревской [Там же. С. 54–55].

А потом пришел день прощания, 29 мая. Со слов А.С. Данилевского гоголевский биограф рассказывает:

В 1851 году, когда Гоголь в последний раз виделся с матерью, она, как всегда, просила его не торопиться с отъездом и говорила ему: «Останься еще! Бог знает, когда увидимся!» И Гоголь несколько раз оставался и снова собирался в дорогу, и, наконец, отслужив молебен с коленопреклонением, причем он весьма горячо и усердно молился, расстался с ней навсегда... [Шенрок, т. 2, с. 152].

И не только с матерью: Гоголь больше не увидит своих сестер – Анну, Лизу, Ольгу, не посетит родные места.

*Часть третья*





В Москве и Подмоскowie:  
июнь – сентябрь 1851 г.

Ни дорога, ни заезд в Оптину пустынь (он побывал здесь 2 июня 1851 г.) не успокоили Гоголя. 5 июня он приехал в Москву [Барсуков, т. 11, с. 518] и в тот же день отправил матери письмо, исполненное тревоги и дурных предчувствий. По-прежнему его беспокоит предстоящее замужество сестры. «Лучше заранее приуговлять себя ко всему печальному и рисовать себе в будущем все трудности, недостатки, лишения и нужды...» [XIV, 235]. Гоголь так и поступает – не жалея красок, рисует бедность, которая грозит семье и в которой пребывает сам: «...если я умру, то не на что будет, может быть, похоронить меня, вот какого рода мои обстоятельства». Конечно, на настроении Гоголя сказались и трудности с изданием нового собрания сочинений: «Я думал было, приехавши в Москву, поправить житейские дела свои, но встретил препятствия на каждом шагу. Денежные обстоятельства мои плохи. Видно, Богу угодно, чтобы мы оставались в бедности». А коли так, значит, бедность спасительна и благотворна, и Гоголь разражается гимном бедности: «Милая сестра моя, люби бедность. Тайна великая скрыта в этом слове. Кто полюбит бедность, тот уже не беден, тот богат. Истину говорю тебе, и чем дале живу, тем более ее чувствую» [XIV, 239].

Тем временем Гоголь горит нетерпением продолжить чтение второго тома, а значит – продолжить его испытание. 23 июня он зашел к Аксаковым, но не застал ни Сергея Тимофеевича с Ольгой Семеновной, ни сыновей, которые еще не вернулись из Абрамцева. «Кажется, он имел намерение прочесть им что-нибудь свое» [ЛН. Т. 58. С. 735], – сообщила Вера Сергеевна М.Г. Карташевской. На другой день визит Гоголя оказался столь же неудачен. Повезло ему лишь 25 июня, но начал Гоголь не с поэмы, а с очередной порции малороссийских песен, что послужило своеобразной увертюрой для поэтического настроения и хорошего расположения. Несмотря на присутствие множества гостей, Гоголь (рассказывает Вера Сергеевна) «продолжал все заниматься песнями, и так как эти ноты требовали некоторых поправок, то Гоголь и напевал, а мы повторяли на фортепиано бесчисленное количество раз одну и ту же песню, так что надоели другим, а песни прекрасные и словами и музыкой».

А потом (после чтения С.Т. Аксаковым своих «Записок ружейного охотника...») Гоголь прочел четвертую главу второго

тома – прочел только «отесеньке» и «братьям» (Константину и, очевидно, Ивану). Тут уж не были допущены ни Саша, племянник Сергея Тимофеевича, ни заглянувший к Аксаковым Д.А. Оболенский, ни другие гости. Им оставалось лишь внимать впечатлениям слушателей чтения, которые были «в восхищении»: «Несмотря на неоконченность главы, говорят, Гоголь захватывает такие разнообразные стороны жизни в среде, уже более высокой, так глубоко зачерпывает с самого дна, что даже слишком полны по впечатлению выходят его главы...» [Там же. С. 736].

Гоголь убедился, что второй том по-прежнему выдерживает испытание.

В тот же день (25 июня) Гоголь отправился на подмосковную дачу А.О. Смирновой в село Спасское Бронницкого уезда, в 25 верстах от Коломны. Сюда же приехал и Л.И. Арнольди (по словам последнего, они вместе с Гоголем и совершили этот путь – из Москвы в Спасское), который как очевидец оставил подробное описание событий.

Подмосковная деревня, в которой мы поселились на целый месяц, очень понравилась Гоголю. Все время, которое он там прожил, он был необыкновенно бодр, здоров и доволен. Дом прекрасной архитектуры, построенный по планам Гр. Растрелли, расположен на горе; два флигеля того же вкуса соединяются с домом галереями, с цветами и деревьями... Направо от дома стриженный французский сад с беседками, фруктовыми деревьями, грунтовыми сараями и оранжереями; налево английский парк с ручьями, гротами, мостиками, развалинами и густою прохладною тенью. Перед домом... внизу – Москва-река с белою купальнею и большим красивым паромом [Воспоминания, с. 493–494].

Гоголь поселился рядом с Арнольди во флигеле (согласно уточнениям самой Смирновой, Гоголю «отведено было во флигеле две небольшие комнаты, обращенные окнами в сад. В одной он спал, в другой работал стоя» [Кулиш, 2003, т. 2, с. 587]<sup>61</sup>). Вставал он обычно «рано, гулял один в парке и в поле, потом завтракал и запирался часа на три у себя в комнате». Конечно, он продолжал работать над вторым томом поэмы, причем продвинул ее довольно далеко. Смирнова, заходящая в комнату Гоголя, «видала перед ним мелко исписанную тетрадь в лист, на которую он всякой раз набрасывал платок; но однажды ей удалось прочитать, что дело идет о генерал-губернаторе и Никите» [Там же] – персонажах, фигурировавших в последних главах тома.

После окончания работы, говорит Арнольди, «перед обедом мы ходили с ним купаться. Он уморительно плясал в воде и делал в ней разные гимнастические упражнения, находя это очень здоровым». По словам мемуариста, «все время, которое он [Гоголь] там прожил, он был необыкновенно бодр, здоров и доволен» [Воспоминания, с. 494, 493]. Настроение Гоголя заметно изменилось после одного эпизода.

Смирнова страдала все это время «расстройством нервов», и Гоголь, чтобы «повеселить ее», предложил прочитать ей первую главу второго тома «Мертвых душ». Он думал, что Тентетников, понравившийся ей при первом чтении, живо займет ее. Но болезненное состояние не позволило ей увлечься новым чтением. Она почувствовала скуку и призналась в этом автору «Мертвых душ». «Да, вы правы, – сказал он. – Это все-таки дребедень, а вашей душе не того нужно». Но после этого он казался очень печальным» [Кулиш, 2003, т. 2, с. 588]<sup>62</sup>.

Оказался «печальным», потому что воспринял реакцию Смирновой по-своему. Значит, написанное не обладает той силой воздействия, той художественной убедительностью, которые Гоголь ждал от своего произведения. Значит, испытания для второго тома обнаружили неожиданный сбой...

Но временами на Гоголя находили минуты необычайного возбуждения. Так, однажды Смирнова нашла его «в необыкновенном состоянии»: «Он держал в руке Четъи-Миней и смотрел сквозь отворенное окно в поле. Глаза его были какие-то восторженные, лицо оживлено чувством высокого удовольствия: он как будто видел перед собою что-то восхитительное. Когда А<лександр> О<сиповна> заговорила с ним, он как будто изумился, что слышит ее голос, и с каким-то смущением отвечал ей, что читает житие такого-то святого» [Там же]. Согласно записи, сделанной Пыпиным, это было житие «чуть ли не Косьмы и Дамиана» [Смирнова, 1989, с. 41], чудесных целителей, бессребреников, – день памяти их приходился на 1 июля.

Около 12 июля [XIV, 236] Гоголь возвратился в Москву и отдался хлопотам по подготовке второго издания сочинений. Плетнева он просит обратиться за помощью к великой княгине Марье Николаевне: мол, она обещала содействовать прохождению второго тома поэмы: «Нельзя ли этим воспользоваться и при 2 издании сочинений?» [XIV, с. 240]. Плетнев в ответном письме (от 23 июля) советует обратиться к Владимиру Ивановичу Назимому (1802–1874), попечителю Московского учебного округа. С Нази-

мовым Гоголь был несколько знаком; к тому же у него была хорошая репутация. Назимов, уверяет Плетнев Гоголя, «непременно сам вызовется быть твоим цензором: это он сделал с Островским и готов сделать со всеми, у кого заметит талант». Что касается великой княгини Марьи Николаевны, то она «теперь за границей. Но Смирнова... и без ее высочества придумает средства, как помочь тебе, ежели это будет нужно» [РВ. 1890. Ноябрь. С. 67].

Но верный себе, Гоголь решает действовать сразу же по нескольким направлениям; так, он обращается за помощью и к Василию Николаевичу Лешкову (1810–1881), профессору-юристу Московского университета и одновременно цензору «Москвитянина», уверяя его в благонамеренности всего им написанного: «В сочинениях моих насмешки <не> над правит<ельством>, но над людьми... употребляющими во зло доверие правительств<ва>...» [XIV, 244].

По возвращении в Москву происходит еще одна встреча Гоголя – с неким П.К. За этими литерами, скорее всего, скрывался Пантелеймон Кулиш, что придает особое значение этому событию. Считалось, что первый биограф Гоголя, хорошо знавший многих близких к нему людей, например Плетнева [см.: Жиликова, с. 247–360], с самим Гоголем так и не познакомился. Это казалось странным, но ввиду особенностей гоголевского характера вполне возможным. И вот, писал С.Т. Аксаков, имея в виду Кулиша, «ошибочные мнения о Гоголе, как о человеке, вкрадываются в сочинения всех пишущих о нем, потому что из них – даже сам биограф его – лично Гоголя не знали или не находились с ним в близких отношениях» [Воспоминания, с. 88; набросок «вступления», откуда приводится эта цитата, датируется 1856 г.]. Словом, из этого факта незамедлительно был сделан вывод относительно биографических книг Кулиша «Опыт биографии Н.В. Гоголя» и «Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя...» – вывод отнюдь не в их пользу. Погдин: «Главный недостаток, по нашему мнению, состоит в том, что автор не знал лично своего героя, и потому подле верной черты в его портрете, встречается иногда совершенно ложная» [М. 1854. Июль. Кн. 1. Отд. 4. С. 36]. С.С. Дудышкин: «Не быв лично знаком с Гоголем, он принужден повторять сказанное другими...» [ОЗ. 1854. № 11. Отд. 3. С. 2].

Возможно, для того чтобы рассеять это мнение, Кулиш опубликовал заметку «Встреча с Гоголем» [Р.Д. 1859. 14 января. № 10. С. 2–3], снабдив ее довольно прозрачным криптонимом.

Подпись эта уже появлялась в журналах, причем в связи с одной из публикаций – повести Головинского «Жизнь моей матери» [С. 1846. Т. 44]. Плетнев открыто объявил об участии в ней Кулиша («...прелестно-трогательный рассказ, Кулешом [так!] же переведенный с польского», – писал он Гроту 2 октября 1846 г.; см.: Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым: В 3 т. СПб., 1896. Т. 2. С. 834; подпись П.К. стоит после краткого предисловия к упомянутой повести [С. 1846. Т. 44. С. 14]).

Позднее факт знакомства Гоголя с Кулишом был учтен биографом последнего, причем в качестве одного из импульсов, отразившихся в его труде: Кулиш «познакомился с Сергеем Аксаковым и матерью Гоголя (с Гоголем он был знаком при жизни последнего) и под их влиянием составил в двух томах книгу “Записки”...» [Гринченко, с. 11].

Обратимся, однако, к мемуарной заметке Кулиша. Она начинается с описания скверного характера Гоголя, его привередливости во время обеда, внезапного ухода – все это, как мы знаем, действительно имело место, и не раз. Сам мемуарист этого не видел – он ссылается на некоего «г. О...ва – “человека благородного и почтенного”». Но источником подобных сведений мог быть и Плетнев, с которым у Кулиша были довольно доверительные отношения. «Вообще представлял он [Плетнев] Гоголя человеком двуличным и похожим на описываемых им в своих сочинениях людей» (Из письма Кулиша к Шенроку от 5 января 1890 г. [Крутикова, с. 290]).

Что же касается обсуждавшихся во время встречи с Гоголем вопросов, то мемуарист упоминет единственный – об исторической роли Византии. Тема эта приобрела остроту в связи с принятием Россией христианства именно от Византии, т. е., как считали многие, особенно славянофилы, принятием христианства в его подлинном, неискаженном виде, «вместе с полнотою догмы и ее первоначальной чистотой». Эта точка зрения была близка и Гоголю, посоветовавшему усвоить «убеждение в добрых качествах народа и с этим убеждением вновь пересмотреть все исторические сказания о византийской империи...».

В ответ на эту реплику П.К. (т. е. Пантелеймон Кулиш), «чтобы завлечь его [Гоголя] в разговор, указал на две его исторические лекции, помещенные в “Арабесках”» (по-видимому, «О средних веках» и «Ал. Мамун». – Ю. М.), и прибавил: «Но отчего же вы скупы теперь... и не хотите делиться с публикою своими трудами?»

«Одно направление... было, созрело и прошло, другое еще не дозрело», – был ответ Гоголя.

Встреча эта имела место «за девять месяцев» до смерти Гоголя, примерно в июне–июле 1851 г.

Во второй половине июля Гоголь вновь едет на подмосковную дачу, на этот раз к Шевыреву. Дача находилась верстах в 20 от Москвы, по рязанской дороге. Н.В. Берг, прибывший сюда несколькими часами раньше, видел приезд нового гостя: «...подкатила к крыльцу наемная карета на паре серых лошадей, и оттуда вышел Гоголь, в своем испанском плаще и серой шляпе, несколько запыленной».

Как и в Спасском у Смирновой, Гоголю отвели флигель, куда он тотчас же перебрался со своим портфелем.

Людам, – рассказывает Берг, – как водится, было запрещено ходить к нему без зову и вообще не вертеться без толку около флигеля. Анахорет продолжал писать второй том «Мертвых душ», вытягивая из себя фразу за фразой. Шевырев ходил к нему, и они вместе читали и перечитывали написанное. Это делалось с такою таинственностью, что можно было подумать, что во флигеле, под сению старых сосен, сходятся заговорщики и варят всякие зелья революции [Воспоминания, с. 507].

Вот ради этой «таинственности» и еще полного встречного понимания Гоголь, видимо, и решил провести остаток лета у Шевырева. Отказ Смирновой послушать главу о Тентетникове заметно расстроил Гоголя. По части сохранения тайны Александра Осиповна тоже была не совсем надежна (вспомним слова Ивана Аксакова: Смирновой «до смерти хочется разболтать свой секрет...»). Шевырев же не стал посвящать в курс дела даже проживавшего вместе с ним на даче Берга, ограничившись замечанием, что все «написанное несравненно выше первого тома». И так вел себя Шевырев и в дальнейшем. Когда Гоголь уже по возвращении в Москву, 25–26 июля, решительно просил его «не сказывать никому о прочитанном, ни даже называть мелких сцен и лиц героев» [XIV, 241], то Шевырев заверил: «Успокойся, даже и жене я ни одного имени не назвал, не упомянул ни об одном событии... Твоя тайна для меня дорога, поверь. С нетерпением жду седьмой и восьмой главы» [Отчет за 1893, с. 68]. И действительно, седьмую главу Гоголь вскоре прочел Шевыреву, о чем тот рассказал только после смерти писателя – в частности, его

двоюродной сестре М.Н. Синельниковой и Н.П. Трушковскому [см. подробнее: Манн, 1987, с. 256].

Атмосферу, царившую на даче во время пребывания Гоголя, передает и письмо Берга, отправленное уже по возвращении в Москву Г.П. Данилевскому: «...я только что от Шевырева, где стрелял дупелей и бекасов, и где жил еще Гоголь и остался там, когда я уезжал. Он жил бирюком, в уединенном флигеле, совершенно особо от всех, в лесу – и являлся к нам только в обед и вечером. Но и тут деликатность запрещала нам заговаривать с ним... Сам же он говорил необыкновенно мало» [Данилевский М.Г., с. 19–20].

По возвращении в Москву Гоголь ищет рассеянья, встречается со старыми друзьями. 15 августа вместе с Погодиным он посещает Преображенское кладбище старообрядцев, где присутствует на обеде с пением [Барсуков, т. 11, с. 521]. 1 сентября в доме Талызина его навещает Иван Аксаков. «Гоголь обрадовался чрезвычайно, но в деревню ехать не хочет», – сообщил Иван Сергеевич отцу в Абрамцево. Взамен этого он предлагал Аксаковым переселиться на зиму в Москву. «По всему видно, что в Москве дом наш ему существенно нужен. Он хочет, чтоб переехала вся семья, с Вашими записками, с константиновскими речами и сочинениями, с малороссийскими песнями и варениками (это уже я говорю)...» [ЛН. Т. 58. С. 738]. Гоголь полагал, что все это будет способствовать его творческому подъему.

Все же на один день, 7 сентября, в субботу, Гоголь заглянул в Абрамцево. Он «очень расстроился здоровьем, собирается в Крым на зиму и будет у сестры на свадьбе» (В.С. Аксакова – М.Г. Карташевской, 9 сентября) [Там же]. На перемену планов Гоголя повлияло полученное известие о болезни матери.

Перед отъездом, 20 сентября, Гоголь поздравил с днем рождения Сергея Тимофеевича: «Здравствуйте, бодрствуйте, готовьте своих птиц, а я приготовлю вам душ, пожелайте только, чтобы они были живые, так же как живы ваши птицы» [XIV, 250]. Речь шла о своеобразном соревновании: Аксаков напишет свои «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», а Гоголь – свою поэму, которую он собирался решительно продвинуть во время пребывания на родине и в Крыму.

22 сентября Гоголь выехал из Москвы. 25 сентября добрался до Калуги и посетил Оптину пустынь, от встречи с которой ожидал так много для своего душевного состояния. Но тут неожиданно Гоголь прерывает поездку и отправляется в обратный путь.



## Гоголь в стенах и у стен Оптиной пустыни

30 сентября, «к совершенному... изумлению» всего аксаковского семейства, в Абрамцеве появился Гоголь. Сергей Тимофеевич, полагавший, что тот давно уже в Полтаве, неожиданно встретил его в Москве и немедленно отвез в свою вотчину. «Он так похудел, так изменился, что страшно видеть, – сообщала Вера Сергеевна М.Г. Карташевской. – Что за болезненный дух и при таких расстроенных нервах! Безделица его смущает и приводит его в страшную ипохондрию» [ЛН. Т. 58. С. 738]. Но должна была случиться вовсе не «безделица», чтобы Гоголь пришел в такое состояние.

Тут следует подробнее остановиться на связях писателя с Оптиной пустыней, которых очень бегло мы уже касались.

Козельская Введенская Оптина пустынь (так назывался старинный монастырь, возникший в Калужской губернии в четырех верстах от города Козельска на реке Жиздре) играла особую роль в духовной жизни страны благодаря существовавшему здесь с 1825 г. институту старчества. «И те же оптинские старцы, что словом и советом помогали народу, сумели связать свою обитель с духовной нуждой величайших русских людей, с творчеством Гоголя, Киреевского, Леонтьева, Достоевского, Соловьева» [Степун, с. 404]. Таким образом, Гоголь и Иван Киреевский – первые крупные деятели русской культуры, обратившиеся к Оптиной пустыни, являя собой, так сказать, первоначальный этап подобного обращения. И стимулы, получаемые ими от этого процесса, были во многом сходными.

Для обоих Оптина пустынь являлась воплощением и хранительницей святоотеческого любомудрия, к которому они приникли, пройдя школу западноевропейского романтизма и философского идеализма. Правда, собственно о школе можно говорить лишь применительно к Киреевскому, так как опыт Гоголя был более стихийен, эмоционально свободен и менее систематизирован, но логика движения была примерно та же. Оба были связаны с Оптиной пустыней через одних и тех же лиц, прежде всего через иеросхимонаха Макария.

Но сходство простирается и дальше – на взыскуемый обоими писателями идеал интеллектуальной и духовной деятельности современного человека. Эта деятельность не должна сводиться к простому усвоению знаний, не затрагивающему сердцевины человеческой личности. Такое знание не только аморально, но и

неполно, однобоко, фальшиво. Лучше понимает тот, кто душевно совершеннее; путь к истине ведет через добротолубие и правильное поведение. Киреевский стремится обосновать зависимость глубины познания от чистоты нравственности, а также вывести отсюда тезис о необходимости самовоспитания субъекта познания, стремящегося «организовать свое “я”, превратить хаос своих чувствований в стройное единство» [Гершензон, с. 301]. Аналогично рассуждал и Гоголь: «Везде обнаруживается более или менее мысль о внутреннем строении... Мысль о строении себя, так и других делается общею» [VIII, 455]. Для обоих «внутреннее строение» самого себя – дело практическое и вместе с тем высокое; житейское и вместе с тем жизненное, так как от его успеха зависит осуществление творческих замыслов (для Гоголя – прежде всего окончание «Мертвых душ», написание второго и третьего томов).

В рамках своей программы внутреннего воспитания и самовоспитания разворачивают Киреевский и Гоголь острую критику интеллектуализма – «ума». «...В то время, когда уже начали думать люди, что образованием выгнали злобу из мира, злоба другой дорогой, с другого конца входит в мир, – дорогой ума», – пишет Гоголь в «Выбранных местах...». И тут же набрасывает портрет современного человека: «Во всем он усомнится: в сердце человека, которого несколько лет знал, в правде, в Боге усомнится, но не усомнится в своем уме» [XIV, 414]. Киреевский также осуждает современного человека (преимущественно западного) за приверженность интеллектуализму: «Раздробив цельность духа на части и отдельному логическому мышлению предоставив высшее сознание истины, человек в глубине своего самосознания оторвался от всякой связи с действительностью и сам явился на земле существом отвлеченным, как зритель в театре...» [Киреевский, с. 337].

Ум осуждается, с одной стороны, в поведенческом, повседневном-практическом аспекте; ум, говоря словами поэта Л. Случевского, – «это парник, в котором зло выводится, как огурцы». Но с другой стороны, ум, вопреки его притязаниям, – это и источник неполного, искаженного знания; он обличается в аспекте гносеологии, причем с явной опорой на святоотеческую традицию любомудрия: мол, русский инок, по слову Киреевского, «предавался вполне изучению высших духовных истин, соединяя умозрение с молитвою, мысль с верою, дело самоусовершенствования с делом самопознания и стараясь таким образом *не одним отвлеченным понятием, но всюю полнотою своего бытия* утонуть в постижении высшей премудрости...» [Там же. С. 243].

Вообще гносеологический аспект критики интеллектуализма заметнее у Киреевского ввиду более определенной философской направленности его занятий. Преодоление интеллектуализма в некоем *над*интеллектуальном, *гипер*логическом понимании он рассматривает как важнейшую задачу современного знания. Для этой цели у Киреевского – продуманная программа, определенные ориентиры, признанные авторитеты: помимо святых отцов, которые, конечно, на первом месте (особенно Исаак Сирийский, чьи «Слова духовно-подвижнические» Киреевский оценивал как «глубокомысленнейшее из всех философских писаний» [Там же. С. 162], помимо них, еще и западная традиция – Ф. Фенелон и Б. Паскаль, стремившиеся «к развитию внутренней жизни» и в глубине ее искавшие «живой связи между верою и разумом» [Там же. С. 322], Ф. Стеффенс, первый в новейшее время указавший на философское значение «убеждений Пор-Рояля», наконец, Шеллинг как творец философии откровения. У Гоголя такой продуманной системы философских авторитетов и традиций не было (да и соответствующих знаний тоже), но и для него соединение веры с разумом – неперемненное условие правильного познания, в том числе и художественного.

«Не в том дело, чтобы *подчинить* разум вере и стеснить его, это не дало бы простор духовному зрению, а в том, чтобы изнутри поднять мышление до высшей его формы, где вера и разум не противостоят одна другому. В восхождении к цельности духа исчезает опасность отрыва от реальности, опасность идеализма, – правильно развивающееся познание вводит нас в реальность и связывает с ней» [Зеньковский, 1991, с. 21–22; курсив в оригинале].

Поиски Киреевским и Гоголем правильного знания – это поиски знания, устрояющего мир, руководствующегося мыслью о единстве истины, блага и красоты, т. е. гносеологии, этики и эстетики. Здесь исток – один из истоков – теорий русских религиозных философов второй половины XIX – начала XX в., в частности В. Соловьева и П. Флоренского. При этом с течением времени (особенно если иметь в виду Соловьева) был выправлен свойственный славянофилам антизападнический крен критики рационализма. Рационализм осмысливается как звено, во-первых, исторически необходимое и плодотворное, а во-вторых, подлежащее преодолению в русле того же самого духовного процесса, в котором участвуют и Россия и западные страны.

...Если должно, вопреки славянофильскому воззрению, признать западное развитие, т. е. данное историческое раздвоение разумного сознания и религиозной веры, законным произведением логической и исторической необходимости, то отсюда, очевидно, не следует, чтобы такое развитие было вечным абсолютным законом... Если разум, в известный момент своего развития, становится необходимо в отрицательное отношение к содержанию религиозной веры, то в дальнейшем ходе этого развития он с такою же необходимостью приходит к признанию тех начал, которые составляют сущность истинной религии [Соловьев В., с. 18].

**Парадоксальный факт:** более чем терпимое отношение к рационализму обнаруживает и Гоголь. Впрочем, это связано с общим, принципиальным вопросом – отношением к другим христианским конфессиям.

Мы уже знаем о выраженном Гоголем еще в 1837 г. убеждении в близости православия и католичества: «...Как религия наша, так и католическая совершенно одно и то же... Та и другая истинна. Та и другая признают одного и того же Спасителя...» (см.: кн. 2, с. 180 и далее). Десятилетием позже, в «Выбранных местах...», Гоголь выразил это соотношение с помощью евангельской притчи о Марии и Марфе (см.: наст. издание, с. 134). Обе религии родственны, как сестры, само разделение их временное («временное разделение церквей»), у каждой – свои достоинства: Марфа, т. е. западное христианство, ближе к повседневным, будничным заботам людей; Мария, т. е. православие, «отложивши все попечения о земном», поместилась «у ног самого Господа, затем, чтобы лучше послушать его слов, прежде чем применять и передавать их людям...». Отсюда видно, что прежнее равновесие конфессий («совершенно одно и то же...») в понимании Гоголя поколеблено, достоинства православной религии более фундаментальные – «в ней кормило и руль наступающему новому порядку вещей...» [VIII, 284]. «Соединенье Марфы и Марии» возможно и необходимо, но отчетливо прописано условие, на котором оно происходит: «...видим Марфу, не ропщущую на Марию, но согласившуюся в том, что она избрала благую часть, и ничего не придумавшую лучше, как остаться в повеленьях Марии...» (А.М. Виельгорской, 30 марта 1849 г. [XIV, 110]).

Примерно так же рассуждал Киреевский: Восток «был обречен только на сохранение божественной истины в ее чистоте и святости, не имея возможности воплотить ее во внешней образovanности народов» [Киреевский, с. 332].

Несоответствие же «внешней» образованности самому духу и принципам христианской истины Киреевский и Гоголь подвергают беспощадной критике, не давая никаких поправок своему, отечественному. Спрос обоих литераторов с русских порою даже суровее и строже. По Киреевскому, русский народ «утратил уважение к правде слова», «почитает ложь грехом общепринятым, неизбежным, почти не стыдным...» [Киреевский, 1984, с. 279]. Гоголь в «Выбранных местах...» судит не менее строго: «Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. “Хуже мы всех прочих” – вот что мы должны всегда говорить о себе» [VIII, 417]. Но фундаментальные основы православной религиозности вселяют надежды на будущее. «...Отсутствие правды, благодаря Бога, проникло еще не в самую глубину души русского человека», на состоянии «его духа еще лежит печать прежней цельности бытия» [Киреевский, 1984, с. 279]. Так же думает и Гоголь: «есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа: “еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам”...» [VIII, 417].

Отсюда парадоксальный мыслительный ход и Киреевского и Гоголя: мы «ничуть» *не лучше* других, и все-таки мы немножечко *лучше*. Или по-другому: мы *хуже* всех других и все-таки мы всех *лучше*... Программного мессионизма, пожалуй, избегают и Гоголь и Киреевский, но его предпосылки уже заключены в их кардинальной мысли: хотя построение «общества во Христе» – совместное дело всего человечества, но от кого же ожидать Западу благотворного импульса, как не от Востока, т. е. России, еще сохранившей зерно истинной религии (и, следовательно, образованности)?

Во всех упомянутых моментах отчетливо прослеживается влияние и на Киреевского и на Гоголя святоотеческой традиции, посредником и стимулятором которой и выступала Оптина пустынь. Но сложность в том, чтобы не только увидеть это влияние, но и распознать, как последнее изменялось, преобразовывалось. «...Возобновить философию св. Отцов в том виде, как она была в их время, невозможно», – убежден Киреевский. Нужно сообразовать «живительны истины» святоотеческой традиции с «современной образованностью», с «настоящим требованием просвещения» [Киреевский, с. 345]. Наследование традиции не было прямым и порою приобретало драматический характер. Это были, как сейчас говорят, диалогические отношения.

Чрезвычайно рельефно это видно в развиваемой Киреевским категории цельного знания. Как показал Э. Мюллер, у Киреевского это не самоограничение, не отчуждение от мира, а мобилизация всех душевных и интеллектуальных способностей в некоей высшей познавательной способности. Именно в этом направлении переосмыслил Киреевский мысль Исаака Сирина об очищении сердца: «Очищение сердца как предпосылка мистического видения определенно означает у Исаака Сирина не собирание различных способностей, с помощью которых оно [сердце] соотносится с предметом, но, *напротив*, разрыв, исключение каких-либо предметных связей. Целостность Киреевского и очищение Исаака Сирина противостоят как полнота и пустота» [Мюллер, с. 397, 432, 452].

Смелый шаг в сторону современной формы христианства сделал и Гоголь – шаг, дополняющий его прежние усилия сблизить православие и католичество. Теперь эти усилия развивались за счет католичества, но в пользу протестантизма. «Нельзя отрицать и явного влияния протестантизма на религиозные взгляды Гоголя» [Степун, с. 580].

Когда Шевырев упрекнул Гоголя в том, что тот находится под влиянием «религиозных экзальтаций» принявшей католичество княгини З.А. Волконской, то Николай Васильевич в письме от 11 февраля н. ст. 1847 г. ответил: «...что же касается до *католичества*, то скажу тебе, что я пришел ко Христу скорее *протестантским*, чем *католическим* путем. Анализ над душой человека таким образом, каким его не производят другие люди, был причиной того, что я встретился со Христом, изумясь в нем прежде мудрости человеческой и неслыханному дотоле знанию души, а потом уже поклоняясь Божеству» [XIII, 214; курсив в оригинале]. Это очень смелое, с точки зрения православия даже опасное, заявление, признающее в духе протестантства право каждого верующего свободно толковать Св. Писание, устраняющее посредников между верующим и Богом (согласно Лютеру, «все христиане – священники», «над христианами нет начальника, кроме Христа»).

Полного обращения к протестантизму видеть в этих словах и в позиции Гоголя не приходится (так до конца жизни писателю была необходима посредническая роль церковных авторитетов, что нашло отражение и в его связях с Оптиной пустыней). Но лицо – устремление Гоголя отстоять в духе протестанства и свое право на анализ и самостоятельные размышления. Недаром слова

о «мудрости человеческой» Христа нашли продолжение в словах «Авторской исповеди», обращенных Гоголем уже к самому себе: «С этих пор человек и душа человека сделались больше, чем когда-либо, предметом наблюдений... Я обратил внимание на узвание тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще... И на этой дороге нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел к Христу, увидевши, что в нем ключ к душе человека, и что еще никто из душезнателей не исходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял Он» [VIII, 443; ср. также: Флоровский, с. 262]. Характерно, что прежде всего в аспекте «познания» представлена Библия в речи генерал-губернатора (черновые наброски в аспекте «Мертвых душ»): «К стыду, у нас, может быть, едва отыщется чело<век>, который бы не прочел Библию, тогда как эта книга затем, чтобы читаться вечно, *не в каком-либо религиозном отношении*, нет, из любопыт<ства>, как памятник народа, всех превзошедшего в мудрости, поэзии, законодательстве, котор<ую> и неверующие и язычники считают *высш<им> созданием ума, учителем жизни и мудрости*» [VII, 279; см. также: Кейль, с. 196–198].

Автор недавней (и весьма содержательной) монографии дает такое толкование гоголевского признания: «...что бы ни утверждал Гоголь в 1847 г. в процитированном выше письме к Шевыреву, отнюдь не идея протестантизма, но именно католичества немало занимала его, причем не только лично, но в первую очередь как художника (писателя). Более того, именно оппозиция православие–католичество составила один их лейтмотивов его творчества...» [Дмитриева, 2011, с. 275]. Действительно, указанная оппозиция сохраняла для Гоголя свое значение, но на поле его мысли, говоря современным языком, появился новый «игрок» (протестантизм), который несколько потеснил двух прежних – и католичество, и православие. Церковь по-прежнему «одна». Но дороги к ней могут быть разные.

Тут уместно вспомнить эпизод, относящийся к более раннему времени. В конце ноября 1844 г. Ю.Ф. Самарин, все более сближавшийся с Гоголем, послал ему третью часть своей магистерской диссертации «Стефан Яворский и Феофан Прокопович как проповедники» (М., 1844; первые две части вышли значительно позже – в 1880 г.). Борис Нольде, биограф Самарина, следующим образом определяет направление мысли последнего: «...по мере того, как он знакомился с произведениями Стефана Яворского и Феофана Прокоповича, ему становилась все яснее и яснее

зависимость первого, в его полемике против протестантизма, от католических учений и зависимость второго, в его полемике с католицизмом, от учений протестантских. Отсюда необходимость противопоставления католицизма и протестантизма с основами истинного христианства, которое Самарин – этот исходный пункт ему никогда не был сомнительным – находил только в церкви православной. <...> Протестантизм является отрицанием Церкви. Свобода исследования и отказ от священного предания разрушают Церковь в ее христианском понимании» [Нольде, с. 27].

Как должен бы прореагировать на такую позицию Гоголь, который говорил, что он «пришел ко Христу “скорее протестантским... путем”», т. е. «анализом над душой человека» (с книжкой Самарина Гоголь познакомился еще до того, как получил ее от автора)? Отметив, что в книге «много ума», Гоголь уклонился от существа спора: «Сущность самого предмета, как сами знаете, есть дело поповское». Зато посоветовал Самарину «писать о многом, относящемся к современным вопросам: литературным ли, политическим ли...» [XII, 411].

Гоголь отклонялся от точки зрения не только Самарина, но, скажем, и Хомякова, который около того же времени (17 марта 1848 г.) писал А.Н. Попову: «Папство Григория идет туда же, куда Карлова Империя, в исторический архив. Туда же за ними Протестантизм и Католицизм. Поле чисто. Православие в мировом череду. Славянские племена на мировом череду. Минута великая, предугаданная, но не приготовленная нами» [Хомяков, т. 8, с. 177]. Мысль о первенствующей роли православия Гоголь всецело разделял, но и отправлять в «исторический архив» протестантизм и католицизм он бы не стал. Оба внесли свой вклад и еще вносят (протестантизм) в формирование религиозного мировидения.

Отсюда видно, сколь непросто могло сложиться отношение Гоголя к учительным традициям Оптиной пустыни. Быть может, в силу ряда обстоятельств оно складывалось еще более драматично, чем в случае с Киреевским.

Осложняющие обстоятельства – это и особенности психики Гоголя, и характер его общения с обитателями Оптиной, более случайный и эпизодический, чем общение Киреевского.

Впервые, как мы уже говорили, Гоголь посетил Оптину пустынь 19 июня 1850 г., когда вместе с М. Максимовичем направлялся из Москвы на Украину в родные места (см.: наст. издание, с. 282). Это посещение оказалось очень удачным. Гоголь ощутил



здесь не только атмосферу доброты, сердечности – он искал прямой поддержки в своем писательском деле, в осуществлении программы второго тома «Мертвых душ», с их обозначившимся вниманием к позитивным началам русской жизни («...писатель, дерзающий говорить о святом и прекрасном» – так определил он свою роль в письме к оптинскому иеромонаху Филарету [XIV, 191]). И эту поддержку, судя по всему, он получил, причем не только со стороны одного Филарета, которому сразу же после встречи, еще проживая у Киреевских в Долбино, Гоголь написал благодарственное письмо, но и со стороны других лиц – архимандрита Моисея и особенно монаха Порфирия (в миру – Петр Александрович Григоров, 1804–1851).

Григорову Гоголь также пишет (18 июля 1850 г. из Васильевки) благодарственное письмо, называя его Петром, так как тот еще не принял пострига и не получил нового имени – Порфирий. Письмо подтверждает целительное воздействие, которое испытал Гоголь во время первого приезда в Оптину («Ваша близкая к небесам пустыня и радушный прием ваш оставили в душе моей самое благодатное воспоминанье» [XIV, 196]), и ту роль, которую сыграл в этом Порфирий Григоров. Именно Григорова писатель просит оказать покровительство своему племяннику Николаю Трушковскому, направлявшемуся через Оптину в Казанский университет, юноше психически болезненному и неуравновешенному.

По свидетельству Л.И. Арнольди, Гоголь особенно нахваливал ровность и ясность характера Порфирия Григорова: «Он вовсе не пасмурный монах, бегающий от людей, не любящий беседы... Он всегда весел, всегда снисходителен. Это высшая форма совершенства, до которой может прийти истинный христианин» [Воспоминания, с. 491–492]. Отличало Григорова и глубокое уважение к художественному творчеству, что так важно было для Гоголя, трудившегося над продолжением «Мертвых душ». Именно от Гоголя услышал Арнольди рассказ о том, как Григоров, будучи еще военным, артиллеристом, устроил в честь Пушкина салют из пушек, за что угодил под арест.

В ответном письме к Гоголю от 29 июня 1850 г. Григоров выражает глубокое расположение к писательской деятельности Николая Васильевича, «которого давно привык уважать за талант, коим славится отечество наше», побуждает к продолжению труда, т. е. к окончанию поэмы: «пишите, пишите и пишите для пользы соотечественников, для славы России...» [Шенрок, т. 4, с. 826].

Как давно еще заметил Иван Щеглов, автор работы «Гоголь в Оптиной пустыни (из дорожных заметок)», Григоров – «это действительный друг Гоголя, который, не стесняясь своей иноческой рясы, радостно воздает должную дань писательскому гению, ставя этот божественный дар на первое место, а не на последнее, как это делали другие духовные отцы, опекавшие Гоголя, до пресловутого «отца Матвея включительно»» [Щеглов, с. 54].

Когда состоялось следующее посещение Гоголем Оптиной пустыни? В. Котельников, автор цикла статей «Оптина пустынь и русская литература», высказал предположение, что это случилось летом следующего, 1851 г. «...После приезда в Москву 5 июня и до возвращения туда же в июле Гоголь, где-то между поездками в Абрамцево и к А.О. Смирновой в Спасское, побывал в Оптиной» [РЛ. 1989. № 2. С. 13]. Однако есть документ, который, подтверждая факт посещения Гоголем Оптиной пустыни летом 1851 г., более точно датирует это событие. Обычно Гоголь заезжал в Оптину по дороге из Москвы на родину. На этот раз он побывал здесь на обратном пути, о чем свидетельствует запись иеромонаха Евфимия, «летописца Оптиной Пустыни»: «2-го июня... пополудни прибыл в Оптину Пустынь проездом из Одессы в Петербург (на самом деле в Москву. – Ю. М.) известный писатель Николай Васильевич Гоголь»<sup>63</sup>. Посещение было кратким: 5 июня (после заезда в Калугу, как видно из той же записи) Гоголь уже был в Москве.

Во время второго посещения Оптиной Гоголь уж не застал в живых Порфирия Григорова, умершего за несколько месяцев перед этим, 15 марта 1851 г. Гоголь (согласно записи Евфимия) присутствовал на панихиде по Порфирию и потом на всенощном бдении, в воскресенье же, 3 июня, отстоял в скиту литургию.

В это же время у Гоголя завязались тесные отношения с новым лицом – с иеросхимонахом Макарием (познакомились они, вероятнее всего, раньше, во время первого приезда Гоголя), о чем свидетельствуют письма обоих – Николая Васильевича (несохранившееся) и Макария, от 21 июля.

Отношение Гоголя к Макарию знаменует собою новую стадию отношения к Оптиной пустыни вообще, что было обусловлено особенностями личности этого иеросхимонаха. Отец Макарий (в миру М. Иванов) жил в Оптиной пустыни с 1834 г. (умер он в 1860 г.). С одной стороны, Макария отличала художническая жилка, роднившая его с Порфирием Григоровым. По словам обитателя и историка Оптиной пустыни, он «обладал мягким и

кротким характером, эстетическими наклонностями, в молодости даже играл на скрипке, знал и любил церковное пение, любил цветы, был очень начитан в церковной литературе, имел склонность к ученым, кабинетным занятиям» [Четвериков, с. 46]. Но с другой стороны, Макарий выделялся среди других как своеобразный лидер. Д. Богданов, опираясь на «монастырские воспоминания», писал, что «Макарий был иноком высокой духовной жизни. Его советами и указаниями пользовалась вся монастырская братия, для которой он был неустанным наставником на пути к христианскому совершенствованию» [ИВ. 1910. Октябрь. С. 330].

Все это приобретало особое значение для Гоголя. В письмах Филарету, Порфирию Григорову или Моисею писатель просил принять его дары, просил молиться за него, причем как можно больше и всех («Ради самого Христа, молитесь обо мне... Просите всех, кто у вас усерднее молится и любит молиться, просите молитв обо мне» [XIV, 191]). В письме Макарию, как можно судить по ответу последнего, он решился на большее – на исповедальность, на просьбу о помощи советом, наставлением в связи с его намерением «составить книгу для пользы юношества». По словам Макария, Гоголь раскрывал перед ним «свои недостатки в добродетельной жизни» и «просил сказать... что-нибудь, если Бог внушит». И вот Макарий учит Гоголя «смиряться и каяться перед Господом, но не смущаться и не унывать» [Шенрок, т. 4, с. 828]. Гоголь относится к Макарию как к духовному руководителю, наставнику.

Об этом говорит и «монастырское предание», воспроизводимое Варсонофием Оптинским (1845–1913), – сам он, появившийся в Оптиной пустыни значительно позже, не мог быть свидетелем описываемых событий:

И вот Гоголь у старца. Начинается беседа... Вероятно, она [беседа] была весьма содержательна и представляла величайший интерес. Старец Макарий в высшей степени обладал даром властного слова, и речи его имели огромное влияние на душу слушателей. Выйдя от старца, Гоголь говорил:

– Да, мне сказали правду! Это единственный из всех известных мне людей, кто имеет власть и силу повести на источник воды живой.

И Гоголь переродился. Он сам говорил: «Вошел я к старцу одним, а вышел другим».

(Цит. по: Н.В. Гоголь как герменевтическая проблема. Екатеринбург, 2009. С. 110; раздел «Зачем Гоголь ездил в Оптину пустынь», где приводится эта цитата, написан А.А. Алексеевым.)

Все это во многом предопределило характер следующего, последнего посещения Гоголем Оптиной пустыни около 25 сентября 1851 г. Событие это выглядит во многом загадочным, странным.

После долгих раздумий Гоголь отправился в родные места, чтобы присутствовать на свадьбе сестры Елизаветы и навестить больную мать; затем он предполагал перебраться в Крым и там провести зиму. Еще в Москве нервы его «расколебались от нерешительности, ехать или не ехать» [XIV, 251]; в дороге он почувствовал себя хуже и решил завернуть в Оптину пустынь. Он надеялся, что Оптина вновь окажет на него целительное воздействие, надеялся на помощь отца Макария, но этого не произошло. Гоголь не стал продолжать путь и, к удивлению его московских друзей, возвратился домой.

Внешне причины такого поворота событий видны из писем, которыми в Оптиной же пустыни обменялись Гоголь и отец Макарий. Вначале, когда Гоголь только подъезжал к Оптиной, у него «было на сердце спокойно и тишина». Но потом, при встрече с Макарием, ощутил тревогу и поставил перед ним вопрос: «Скажите, не говорит ли вам сердце, что мне бы лучше было не выезжать из Москвы?» [XIV, 252]. Макарий внял тревоге Гоголя: «Конечно, когда бы знать это, то лучше бы не выезжать из Москвы», – но окончательное решение предоставил ему самому: если «при мысли о возвращении в Москву... ощутите спокойствие, то будет знаком воли Божией на сие» [В.Е. 1905. Декабрь. С. 710–711]. Неизвестно, ощутил ли Гоголь спокойствие, но в Москву он вернулся. Что же произошло?

П. Плетнев писал В. Жуковскому, что причина в грубости одного монаха, которого Гоголь измучил своей нерешительностью и, когда явился к нему за советом «в четвертый раз», «тогда, вышед из терпения, монах прогнал его» [Плетнев, с. 730]. Это свидетельство было отвергнуто исследователями, так как они сочли неспособным отца Макария – речь шла именно о нем – на такой поступок. Действительно, немислимо, чтобы Макарий прогнал просителя, обошелся с ним грубо. Но при этом не учитывается, что в основе сообщения Плетнева лежит подлинная информация Гоголя, хотя и искаженная, перешедшая к Плетневу через вторые руки, через А.О. Смирнову, которая записала в своих воспоминаниях: «Гоголь его так помучил своей нерешительностью, что старец грозил ему отказать его принимать» [Смирнова, 1989, с. 67].

Дело в том, что Гоголь обращался к Макарию не просто как к праведному духовному лицу, не так, как в свое время к Фи-

ларету или Моисею, но как к душеведцу, наделенному высшим разумением. Гоголь ждал, что отцу Макарию будут вняты его мучительные переживания, что он возьмет на себя бремя решения.

В письме Гоголя к отцу Макарию, написанном в Оптиной после встречи с ним, есть фраза: «Отчего вы, прощаясь со мной, сказали: в последний раз?» [XIV, 251]. Эта фраза не обратила на себя никакого внимания исследователей, в том числе и автора упомянутой выше неопубликованной работы Георгиевского, – а между тем в ней заключен непростой смысл.

Могло подразумеваться то, что Макарий действительно счел излишним снова и снова отвечать на вопрос, продолжать ли Гоголю путь. Разумеется, он не «прогнал» Гоголя, не пригрозился больше его не «принимать», но само уклонение от ответа могло глубоко ранить Николая Васильевича. Тем более что вопрос Гоголя и, соответственно, реплика Макария могли иметь – и скорее всего имели – другой смысл, и все это пало на подготовленную почву.

Мрачные предчувствия терзали Гоголя еще при выезде из Москвы, еще в дороге, случившееся же в Оптиной пустыни могло их еще более усилить. Как уже упоминалось, незадолго перед тем, 15 марта, умер близкий Гоголю человек, монах Порфирий Григоров. «...Рассказывают, что в своей предсмертной болезни он имел извещение о близкой кончине и ему трижды являлся во сне скончавшийся за шесть лет перед тем послушник Николаша (которому при жизни его о. Порфирий оказывал особое благорасположение) и говорил ему, чтобы он готовился к исходу из сей жизни». По другим сведениям, восходящим, очевидно, к записи уже упоминавшегося Евфимия, Григорову перед смертью было предзнаменование: мол, о. Илларион уже выслал ему масло и рубашку для соборования. Все думали, что это бред (о. Илларион жил за 300 верст от Оптиной), но «14 марта, утром, к удивлению всех» [Нилус, с. 100], прибыли означенные вещи, а на следующий день Порфирий умер. «Можете себе представить, сколько горечи добавила эта неожиданная потеря Гоголю» [Щеглов, с. 1]. Произвели впечатление на него прежде всего обстоятельства смерти Порфирия, а именно роковое предназначение – «извещение о близкой кончине». Не исключено, что обо всем этом шла речь во время нынешнего приезда Гоголя в Оптину, перед беседой с Макарием. И тогда произнесенная им фраза приобретает особое значение.

Гоголь спрашивал: «Отчего вы, *прощаясь со мной, сказали: в последний раз?*» Это было сказано именно при расставании, при прощании; вопрос о будущей встрече (или невстрече) в этих

обстоятельства гораздо естественнее, чем вопрос о продолжении поездки. Увидятся ли они снова? Не являются ли слова Макария предсказанием его, Гоголя, близкой кончины? Гоголь пытается отделаться от этой мысли. «Может быть все это происходит от того, что нервы мои взволнованы...» [XIV, 251]. Именно поэтому Гоголь задержался в Оптиной, надеясь, что отец Макарий развеет его опасения. Но в своем ответе Макарий полностью обошел вопрос Гоголя, хотя – любопытнейший факт! – его ответ написан на обороте того же гоголевского письма. Не обратил ли он на него внимания или действительно имел роковое предчувствие в отношении судьбы Гоголя и поэтому смолчал, не желая его обманывать, – остается неясным. Но факт тот, что все это произвело на Гоголя гнетущее впечатление и побудило его, не подвергая себя риску дальней дороги, вернуться домой. Приехал он в Москву в таком же мрачном настроении (если не хуже), как и отправился в путь. «Первый визит он сделал О.М. Бодянскому... и на вопрос его: “зачем он воротился?” отвечал: “Так: мне сделалось как-то грустно” и больше ни слова» [Шенрок, т. 4, с. 794].

Дальнейший ход событий воспроизводит В.С. Аксакова, находившаяся вместе с Сергеем Тимофеевичем и Константином в Абрамцеве: «30 сентября отесенька с Константином поехали по делам в Москву, вдруг им говорят, что Гоголь присылал; Константин побежал к нему и привел его. Он на дороге, в Калуге, сделался болен в Оптиной пустыни и решил воротиться. В тот же день отесенька, Константин и он приехали к нам вечером. Мы были удивлены и обрадованы, но вид Гоголя огорчил нас. Он был так расстроен, так худ, так грустен, что жалко было его видеть... Это было последнее его посещение в деревне» [ЛН. Т. 58. С. 788–789], т. е. в Абрамцеве.

Гоголь умер спустя пять месяцев после посещения Оптиной. В течение этого времени произойдет не одно событие, которое будет иметь характер зловещего предзнаменования и словно продолжит эпизод с Макарием. На судьбу Гоголя все это окажет немалое влияние, о чем мы скажем в своем месте...

Переживания Гоголя в связи с посещениями Оптиной пустыни обнаруживают чрезвычайную сложность и драматизм его религиозного чувства, что, в частности, выразилось в его отношениях с тамошними старцами. Для святоотеческого понимания старчества и духовного наставничества вообще чрезвычайно важен авторитет одного, а не многих. Как отмечал отец Климент в жизнеописании

отца Леонида (в схиме – Лев), основателя старчества в Оптиной пустыни, «старчество состоит в искреннем духовном отношении своих духовных детей ко своему духовному отцу или старцу. Не всех же должно вопрошати, но единого, ему же вверено и других окормление...» [Леонтьев, с. 43].

Именно таким принципом руководствовался И. Киреевский, который вначале сошелся с монахом Новоспасского монастыря Филаретом, а затем, после кончины последнего (в 1842 г.), – с иеросхимонахом Оптиной Макарием. «...Существеннее всяких книг и всякого мышления, – объяснял Киреевский А. Кошелеву, – найти святого православного старца... которому ты мог бы сообщать каждую мысль свою и услышать о ней не его мнение, более или менее умное, но суждение святых Отцов...» (*Киреевский И.В.* Полн. собр. соч.: В. 2 т. М., 1911. Т. 2. С. 257).

Гоголь, по-видимому, тоже искал «единого», которого можно было бы «вопрошати» и вверить ему свое «окормление», и, судя по всему, в поисках такого лица его взор обратился к тому же Макарию. Возможно, выбор был сделан под влиянием Киреевского, но, возможно, имели место и другие «подсказки». По воспоминаниям старца Варсонофия (Плеханова), М. Погодин советовал писателю: «В Оптиной есть один старец иеросхимонах Макарий... Это и есть тот человек, которого Вы ищите...»<sup>64</sup> Гоголь внял этому совету, но одновременно многого ждал и от ржевского протоиерея Матвея Константиновского, к которому еще в январе 1848 г. обращался с такими словами: «О друг мой и самим Богом данный исповедник! горю от стыда и не знаю, куда деться от несметного множества не подозреваемых во мне прежде слабостей и пороков. И вот вам моя исповедь уже не в писательстве» [XIV, 41]. Гоголь словно хотел мобилизовать для своего спасения всю святую силу...

С одной стороны, Гоголю было свойственно (если воспользоваться пушкинским выражением) твердое самостояние, особенно с того времени, как он ощутил всю громадность и значительность замысла своей Книги жизни. Нам уже знакомо его уверение: «Властью высшею отныне облечено мое слово» – «и горе кому бы то ни было, не слушающему моего слова». С другой стороны, его посещали сомнения – и чем дальше, тем больше: насколько верно это «слово» и не проникло ли в него нечто греховное? Протестантская нота, о которой говорил сам Гоголь (и которую отмечал Г. Флоровский), играла в этом сложном взаимодействии свою роль. В этом отношении он несколько сближался с Хомяковым,

самым свободомыслящим среди славянофилов, утверждавшим: «...Апостолы свободное исследование дозволяли, даже вменяли в обязанность... свободное исследование, так или иначе понятое, составляет единственное основание истинной веры» [Хомяков, т. 2, с. 43]. И Гоголь утверждал, что понял и принял Христа силою своего ума, «анализом» «над душою человека таким образом, каким его не производят другие» – в этом отношении он превосходит слеповерящих, «других»; поэтому между ним и Богом словно нет посредников, как и в другой, творческой ипостаси нет посредников между «Мертвыми душами» и Россией («Русь! Что же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами?..»). Но в то же время он нуждался – и чем дальше, тем больше – в подкреплении и проверке своих духовно-творческих усилий, нуждался в высоком благословении, и малейшее подозрение в отказе или непредоставлении такового причиняло ему душевную муку.

Импульсы, которые ощущал Гоголь в стенах и у стен Оптиной пустыни, не могли не сказываться на протекании его творческой работы – прежде всего над продолжением поэмы. В связи с этим один не обративший на себя внимание факт. Отец Иосиф, настоятель Иоанно-Предтеченского скита, что располагался там же, близ Козельска, писал, что под влиянием бесед с Макарием у Гоголя и Киреевского «совершился... коренной поворот в воззрениях», а именно – Макарий стремился «отвлечь внимание своих ученых друзей от философских умствований Гегеля, Шеллинга», этих «сокрушенных младенцев германской мысли» [Леонид, с. 184]. Оставляя в стороне Киреевского, обратимся к гоголевскому сюжету.

В 1903 г. один из авторов, писавших об Оптиной пустыни, сообщил о существовании карандашной заметки Гоголя на полях «Мертвых душ». Заметка относится к XI главе, к рассуждению о страстях. Вначале напомним это рассуждение: «Бесчисленны, как морские пески, человеческие страсти, и все не похоже одна на другую, и все они, низкие и прекрасные, все вначале покорны человеку и потом уже становятся страшными властелинами его...» и т. д. И вот в ответ на это Гоголь подает реплику:

Это я писал в «прелести» (к этому слову есть подстрочное примечание, принадлежащее, очевидно, публикатору настоящего текста: «Прелесть – монашеский термин – обозначает почти то же, что и слово оболъщение». – Ю. М.), это вздор – природенные страсти – зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дым-



ное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении прирожденных страстей – теперь, когда я стал умнее, глубоко сожалею о «гнилых словах», здесь написанных. Мне чудилось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении природных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение «Мертвых душ». Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инокa. Здравая психология, и не кривое, а прямое понимание души встречаем лишь у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитро сплетенной немецкой диалектике молодые люди, – не более, как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимания природы души [Матвеев, с. 303]<sup>65</sup>.

В свое время Гоголь ценил немецких философов Канта, Шеллинга, Гегеля и Окена за стремление привести в «единство великую область мышления». Тут особенно показательно упоминание Гегеля: многим русским последователям немецкой философии он казался все-таки чересчур схоластичным, абстрактным. Но Гоголя тогда это не смущало<sup>66</sup>.

Обратим внимание еще на одну подробность заметки на полях «Мертвых душ». Прежде всего, о какой «книге Исаака Сирина» говорит Гоголь? Конечно, это его «слова духовно-подвижнические» (или «слова подвижнические»), вышедшие в 1854 г. в Москве сразу двумя изданиями: «Святого отца нашего Исаака Сирина, епископа бывшего ниневийскаго, слова духовно-подвижническия, переведенныя с греческаго старцем Паисием Величковским. Издание Козельской Оптиной Пустыни. М., 1854». Одно из этих изданий было подготовлено в Оптиной пустыни иеросхимонахом Макарием совместно с Иваном Киреевским, именно этим трудом еще до опубликования, в рукописи, мог воспользоваться Гоголь. И именно здесь писатель мог найти соответствующие рассуждения о страстях. «Страсти не естественны душе, но они уже впоследствии вошли в душу». «Страсти суть недуги души». «Очищай сердце свое от страстей, на всяк час зри Господа». «Страсти суть терние на земле сердца нашего; землю оную должны мы возделывать, исторгая тернии страстей» и т. д. («Святого отца нашего Исаака Сирина...», «Алфавитный указатель предметов...», с. 57–59).

Понимание страстей «у подвижников-отшельников» Гоголь противопоставляет «хитро сплетенной немецкой диалектике». Легко убедиться, что точка отталкивания выбрана им не случайно, но с полным пониманием дела и – добавим – в согласии с призывом о. Макария отказаться от «философских умствований Гегеля,

Шеллинга». Именно Шеллинг в специальном трактате подверг анализу двойственную природу страстей, доказывая неизбежное переплетение в них негативных и позитивных элементов, последовательный переход одного в другое:

Если бы в теле не было корня холода, невозможно бы было ощущение тепла... Вполне верно поэтому диалектическое утверждение: добро и зло – одно и то же, лишь рассматриваемое с разных сторон... Страсти, которым объявляет войну наша отрицательная мораль, суть силы, каждая из которых имеет общий корень с соответствующей ей добродетелью. Душа всякой ненависти – любовь... [Шеллинг, с. 61].

Скорее всего, Гоголь не читал и не знал упомянутого трактата Шеллинга, но это не меняет дела. Сходные воззрения развивались во множестве книг и статей (в частности, у находившейся под сильным немецким влиянием Жермены де Сталь, автора эссе «О влиянии страстей на счастье отдельных личностей и наций»); эти воззрения определяли облик различных художественных направлений, включая романтизм; творчество самого Гоголя, начиная буквально с «Ганца Кюхельгартена», развивалось в силовом поле этих идей – пассаж о муже, «небом избранном», в упомянутой поэме; рассуждение о привычке и страсти в «Старосветских помещиках» или, скажем, опыт истолкования в «Развязке Ревизора» персонажей самого «Ревизора» как олицетворенных страстей.

И в замысел «Мертвых душ» была, так сказать, изначально заложена идея развития и преображения страстей: «И, может быть, в сем же самом Чичикове страсть, его влекущая, уже не от него, и в холодном его существовании заключено то, что потом повергнет в прах и на колени человека пред мудростью небес». Чичиковская порочность, говоря языком Шеллинга, «имеет общий корень с соответствующей ей добродетелью». Чичиковская предприимчивость, хитрость, способность приспосабливаться к обстоятельствам, жажда обогащения – все это должно было претвориться в нечто новое; прежней оставалась бы сама сила страсти, ее напор и постоянство, служащие некой гарантией благодетельных перемен. На это есть намеки и в известном нам тексте, особенно во втором томе: «Эх, Павел Иванович, ведь у вас есть эта сила, которой нет у других, это железное терпение... Да вы, мне кажется, были бы богатырь». Ясно, что «богатырь» – воитель добра, как прежде был воитель зла.

И в первом томе поэмы, и, скажем, в «Выбранных местах...» наличие страсти, или, как говорил Гоголь в первом томе, «задора»,

служило предпосылкой движения характера. Лучше «плохой» зазор, чем его отсутствие («У всякого есть свой зазор... Но у Манилова ничего не было»). «Особенное значение в гоголевской теории и практике исправления имеет обращение к добру искаженных качеств.... В этой идее не отрицания, а преобразования мира уродов – корни гоголевской социологии и политики. Этика вся построена на переоценке “задоров”» [Гиппиус, 1924, с. 174]. Однако сформулированное Гоголем на полях первого тома «Мертвых душ» положение о страстях вносило в эту концепцию новую ноту.

Гоголь склоняется к мысли, что «зазор» должен быть не переоценен, но, так сказать, нейтрализован. «Много находится в вертограде писаний былий и растений, вразумляющих нас и врачующих наши страсти; а смирение – самый благонадежнейший врач душ наших; об оном особенно св. Исаак много пишет...» (Собрание писем блаженные памяти оптинского старца иеросхимонаха Макария к монашествующим. М., 1862. Ч. 1. С. 226). «Врачующих наши страсти», а не преобразующих их, не склоняющих в другое русло, ибо «страсть» есть нечто благоприобретенное и недужное (снова вспомним: «страсти суть недуги души»). Все это говорит о том, на какие тяжкие испытания обрекал Гоголь свой собственный художественный замысел<sup>67</sup>.

Однако едва ли можно согласиться с приведенным выше выводом о. Иосифа, что тем самым у Гоголя «совершился коренной перелом в воззрениях». Усваивая новое, прислушиваясь к духовным авторитетам, Гоголь мучительно старался сохранить верность своей природе, сложившимся убеждениям, наконец, выношенному замыслу книги жизни, – и нетрудно представить себе те страдание и душевное напряжение, которые рождались из этого стремления и из этого испытания.

Осторожнее и более тактично оценивает этот процесс историк Оптиной пустыни: «Гоголь не смог, подобно Киреевскому, найти гармонического согласия между своей верой и своим талантом. Путь отречения стал для него путем отказа от творчества, осуждением всего своего писательского дела, самосожжением, нравственным самоубийством. Эта тревожная душа, этот “освеженный Свыше” одержимый не сумел сохранить “на всяком месте своего странствования” трезвенного и ясного духа Оптиной и ее великого старца [Макария]» [Лосский В., с. 182]. Однако и здесь более уместен несовершенный вид: «не сумел», но стремился суметь; «отречение», «отказ от творчества», «осуждение» не были окончательными; в сознании Гоголя действовала и другая, про-

типоволожная тенденция, и его силы истощили не результат, но само противостояние и борьба.

Положение осложнялось еще тем, что Гоголь сталкивался с несколько иным пониманием смеха, комического, чем то, которое одухотворяло всю его творческую жизнь. Эта коллизия имела свою предысторию, один из эпизодов последней – упрек, который был произнесен гоголевскому «Вию» в анонимной рецензии на «Историю киевской академии» иеромонаха Макария Булгакова (Гоголь мог прочитать эту рецензию, опубликованную в 1843 г. в «Библиотеке для чтения»). «Романисты и слагатели повестей с малороссийским юмором и без юмору, – говорилось в рецензии, – не пощадили и этого священного хранилища и источника русского просвещения; киевская “Бурса” играла немаловажную роль в их жартованиях» [БЧ. 1843. Т. 61. [№ 11]. Разд. 5. С.11].

Ко времени же посещения Оптиной Гоголем относится малоизвестная запись Евфимия (ее обошел даже Георгиевский, хотя он, несомненно, знал этот документ), который также коснулся проблемы «жартования»: «Большая была бы сила для Церкви Христовой на земле в лице Николая Васильевича Гоголя, если бы он не так поздно обратился к истинному благочестию! Какая бездна ума, таланта, энергии затрачена им была и на что же? На осмеяние души родного русского человека!»

Но Гоголь (согласно Евфимию) «хотя и поздно, но все же истинно и искренне понял назначение христианского писателя, устрасился страшного ответа, который ему придется дать пред Домовладыкой, от всего сердца принес покаяние в содеянном им тяжком грехе осмеяния Божьего творения – души христианской». «Но что сказать о других великих русских талантах? Вспомним горестный конец обоих “властителей” верхов русской мысли – Пушкина и Лермонтова и скажем себе с сердечным трепетом: “страшно грешнику впасть в руце Бога живаго!”» [Нилус, с. 112–113]. Едва ли слух Гоголя не улавливал такие предостережения.

Вспомним, однако, что Григоров на первое место ставил именно художественные творения Пушкина; вспомним, что Григоров велел произвести салют в честь «грешника» Пушкина... Совсем, совсем другое понимание вещей, чем у Евфимия! Но Григоров давно уже был в могиле, а запись Евфимия, по словам историка монастыря С. Нилуса, выражает «коллективный Оптинский дух». Допустим, что насчет «коллективности» Нилус преуве-

личивает, но все равно не слышать подобных мнений, не ощущать этих настроений Гоголь не мог.

В сознании Гоголя сфера комического была неотъемлема от сферы нравственного воздействия художественного творчества вообще и его главного произведения, «Мертвых душ», в особенности. На этом строилось его самосознание как комического писателя, и здесь же завязывался огромный узел проблем, находивших до поры до времени гармоническое разрешение. Но со временем развязывать этот узел становилось все труднее. Как совместить смех с четким осознанием порока и отличением его от добра и добродетели? Как избежать релятивизации последних? Как при наличии комизма сохранить учительную и проповедническую силу слова («Христос никогда не смеялся»)?..

Раньше, всего три-четыре года тому назад, в диалоге с Шевыревым по поводу «Выбранных мест...» речь шла о пользе смеха, о его целенаправленности на осмеяние черта, дьявола как субъекта темных сил. Евфимий же ставил вопрос по-другому: о *вредности* смеха, направленного на осмеяние достойного – «души родного русского человека».

Такие упреки отзывались в сердце Гоголя мучительной болью: ведь они подводили его к выводам относительно того, какое поприще вообще избрал писатель и какую участь приготовил он себе в будущей жизни... Вот еще одна запись из оптинской летописи.

Талант, данный на созидание, обратился на разрушение... Трудно представить человеку непосвященному всю бездну сердечного горя и муки, которую узрел под ногами своими Гоголь, когда вновь открылись затуманенные его духовные очи, и он ясно, лицом к лицу, увидел, что бездна эта выкопана его собственными руками, что в ней уже погружены многие им, его дарованием, соблазненные люди и что сам он стремится в ту же бездну, очертя свою бедную голову... [Там же].

Правда, запись эта относится к 8 апреля 1857 г., к моменту приезда в Оптину матери Николая Васильевича и его племянника Николая Трушковского, но не вдруг же возникло подобное мнение. И не могло оно остаться тайной для Гоголя.

«Его пугал призрак смеха, лишённого этического, религиозного, утилитарного основания. Это было, конечно, источником его вечных терзаний» [Кугель, с. 38]. Зловещий «призрак» брал над Гоголем власть постепенно, и его возрастание подрывало веру писателя в свою миссию, в то, что он ее достоин и может выполнить.

Возвращаясь же к Ивану Киреевскому, надо сказать еще, что, несмотря на свойственную ему самостоятельность мышления, в частности в толковании проблем патристики, его взаимоотношения с отцом Макарием (с которым они вместе переводили и редактировали труды Святых Отцов, например, как уже упоминалось, Исаака Сирина) в общем развивались ровно и спокойно и сохранились до кончины критика. Связи же Гоголя с Макарием после 25 сентября 1851 г. прервались. Характерно, что в последние месяцы своей жизни, самые трудные, писатель, кажется, не делал никаких шагов, чтобы вступить в контакт с иеросхимонахом Оптиной. Зато на передний план выйдет Матвей Константиновский...

Бесполезно гадать, что было бы, если бы рядом с писателем в его роковые дни оказался не ржевский протоирей, а оптинский старец. Эти предположения бесполезны и неуместны. Духовные лица хотя и служат Богу, но все-таки остаются людьми, и им не всегда удается понять и исцелить духовные недуги смертного, тем более если этим смертным оказался такой человек, как Гоголь.

С последним гоголевским посещением Оптиной связано предание о новой попытке писателя уйти в монастырь. Об этом рассказывал старец Варсонофий Оптинский, в миру Павел Иванович Плиханов (1845–1913): «Есть предание, что незадолго до смерти он говорил своему близкому другу: “Ах, как я много потерял, как ужасно много потерял” “Чего? Отчего потеряли вы?” “Оттого, что не поступил в монахи. Ах, отчего батюшка Макарий не взял меня к себе в скит?”»<sup>68</sup>

Анна Васильевна, сестра писателя, также говорила его биографу В. Шенроку, что Гоголь «мечтал поселиться в Оптиной пустыни» [документ опубликован Н.Е. Крутиковой – см.: Крутикова, с. 167].

Источником этой версии могли быть неоднократные высказывания Гоголя об исцеляющем, благотворном воздействии Оптиной («Благодать видимо там присутствует»; «ваша близкая к небесам пустыня...» и т. д.). Возможно, он намекал или открыто говорил о своем желании поселиться здесь навсегда. Но желание не есть решение. Каких-либо подтверждений такого решения у нас нет. В этом случае повторилась та ситуация, которая имела место пять лет назад в Веймаре при посещении Гоголем священника церкви Святой Марии Магдалины (см.: кн. 2, с. 448).

В связи с высказываемым Гоголем желанием поступить «в монахи» часто вспоминают слова Жуковского, что «настоящее

его призвание было монашеское». Но Жуковский не ставит точку, продолжает свою мысль: «Его творчество, по особенному свойству его гения, в котором глубокая меланхолия соединилась с резкой иронией, было в противоречии с его монашеским призванием и ссорило его с самим собою» [Жуковский, с. 550]. Вот именно – «в противоречии»: оставить поприще писателя означало подавить в себе свойства «гения», в том числе и «резкую иронию», – поступок, на который Гоголь не имел силы решиться.

### Три дня в Абрамцеве

В Абрамцеве, куда Гоголь, как уже говорилось выше, приехал вместе с Сергеем Тимофеевичем и Константином 30 сентября, он был поначалу грустен и задумчив. Ни в какие подробности своего визита в Оптину и внезапного возвращения Гоголь, видимо, не входил, и у Аксакова сложилось впечатление, что тот просто «смущался своим возвращением без достаточной причины...» [Шенрок, т. 4, с. 814]. Не помогло даже то, что в 20-х числах октября было получено известие, что «попечитель», т. е. Назимов, «пропускает» второе издание сочинений Гоголя.

Настроение Гоголя стало меняться 1 октября, в день рождения его матери. С утра он был по-прежнему «невесел». Но потом отправился к обедне в Троицкой лавре, «чтобы там помолиться о здоровье моей матушки» [XIV, 252].

По-видимому, это было не первое посещение Гоголем Свято-Троицкой Сергиевой лавры. Вера Александровна Нащокина, жена Павла Нащокина (об их взаимоотношениях с писателем см.: кн. 2, с. 255), вспоминала, как ее муж однажды встретил Гоголя на улице, едущего в карете вместе с графиней А.Е. Толстой в Троицу [НВ. 1898. 14(26) октября. С. 7].

После же Троицы, рассказывает С.Т. Аксаков, «на возвратном пути [Гоголь] заехал за Ольгой Семеновной в Хотьковский монастырь и сам заходил за ней к игуменье».

Вернулся Гоголь другим человеком. «За обедом, – продолжает свой рассказ Сергей Тимофеевич, – мы пили здоровье его матушки и молодых (ввиду предстоящей свадьбы Елизаветы Васильевны и Быкова. – Ю. М.): Гоголь поразвеселился, а вече-

ром сделался очень весел. Наденька пела малороссийские песни, и он сам пел с живостью и очень забавно» [Шенрок, т. 4, с. 814]. И Вера Сергеевна отметила: «У нас он порассялся и праздновал день именин своей матери, которую он очень любит» (письмо М.Г. Карташевской от 1–2 октября [ЛН. Т. 58. С. 738]).

Отбыл Гоголь в Москву на следующий день, 3 октября, уверяя хозяев дома, что прощается «не надолго». Но Аксаков, возможно, уже в свете будущих событий, уверяет, что Гоголь посмотрел на него «такими глазами», в которых выражалось «предчувствие вечной разлуки» [Воспоминание, с. 107]. И еще одно неутешительное свидетельство: Ольге Семеновне (за которой Гоголь заезжал в Хотьковский монастырь) он «сказал, что не будет печатать второго тома, что в нем все никуда не годится и что надо все переделывать» [РА. 1878. Кн. 2. С. 54].

В день поездки в Троицкую лавру, 1 октября, Гоголь посетил и находившуюся здесь Московскую духовную академию. Прибыл он сюда по приглашению бакалавра академии о. Феодора, с которым был знаком раньше. Познакомились они, вероятно, в доме А.П. Толстого, который, по словам воспитанника академии Н.И. Субботина, «проникся великим к нему уважением, признавая его (и не напрасно) лучшим знатоком и истолкователем Священного Писания» [Феодор, 1997, с. 117].

Действительно, о. Феодор (в миру Александр Матвеевич Бухарев, 1822–1871) был замечательной личностью. Сын тверского дьякона, он прошел все ступени духовного образования: Тверское духовное училище, Тверская духовная семинария и, наконец, Московская духовная академия. В академии он постригся в монахи, посвящен в сан иеродиакона и затем иеромонаха и определен бакалавром.

На появление «Выбранных мест...» Бухарев откликнулся сочинением «Три письма к Н.В. Гоголю, писанные в 1848 году» (СПб., 1861 (на титуле другая дата – 1860)). Как видно, в литературный обиход книга смогла войти спустя много лет после написания, но Гоголю, несомненно, были известны взгляды о. Феодора; частично они сложились в результате их встреч и бесед, о чем открыто сказано в книге.

С точки зрения Бухарева, Гоголь с начала своей деятельности не изменял самому себе: «Ваше поприще пред вами открылось и определилось, и вы твердо, с самоотвержением пошли по нему, долго, долго в одиночестве, никем не понимаемый, многими озлоб-



ляемый... На этом поприще в совокупности, не рядом, но одно в другом пошли у вас вперед и внутреннее христианское (оно же общечеловеческое) очищение и совершение, и служба царю и отечеству, и поэзия...» [Феодор, 1991, с. 299–300]. Ту же мысль отстаивал и Гоголь в «Авторской исповеди»: «Я не совращался с своего пути. Я шел тою же дорогою. Предмет у меня был всегда один и тот же: предмет у меня был – жизнь...» [VIII, 445]. Считая, что нужно соединить различные стремления, Бухарев говорил о пользе синтеза «гоголева изображения» с «делом» хоть того же Белинского, возвышавшегося часто до одушевления поэзии и глубоко (хотя и односторонне) постигавшего и одушевлявшего истину» [Бухарев, с. 259]. Эта мысль пришлась по сердцу Гоголю: радикализма Белинского он всячески чуждался, но также стремился возвыситься над различными течениями (прежде всего славянофилами и западниками), преодолеть их односторонность, продемонстрировать свою независимость. И кроме того, у Гоголя, по крайней мере периода «Выбранных мест...», идея всесторонности подчинялась мучительному стремлению к практицизму, к воплощению идеала в жизнь. И на эти «муки Гоголя, по словам историка церкви А.В. Карташева, откликнулся архимандрит Феодор... В глуши 40-х и 50-х годов он воспел необычайно патетический гимн сочетанию в Христе двух естеств и, по образу этой тайны, сочетанию в православии правды Царства Божия как на небе, так и на земле – в историко-культурном творчестве человечества» [Феодор, 1997, с. 688].

Некоторая близость Гоголя к Бухареву выразилась в том, что писатель, хотя и очень скупно, поделился с ним планами продолжения поэмы, ее завершающего, третьего тома [см. об этом: Манн, 1987, с. 264 и далее]. И еще выразилась в том, что, как мы говорили, Гоголь откликнулся на приглашение Бухарева посетить академию.

Не обошлось и без *qui pro quo*, произошедшего, впрочем, не из-за розыгрыша, а из-за бестолковости одного из слуг.

Это было 1 октября 1851 года, – вспоминает студент академии Василий Васильевич Крестовоздвиженский. – В послеобеденное время, часа в 4 или 5, студенты пользовались по-своему свободным от учебных занятий временем, одни гуляли по саду, другие... или читали, или ходили и курили... Вошедший в это время в комнаты старших студентов профессорский слуга, по физиономии и приемам лучший тип гоголевского Петрушки, объявил, что сейчас придет отец Ф<еодор> с *Голицыным*. – «Так что ж?» – спрашивают студенты. – «Только-с! так приказано сказать» [Феодор, 1997, с. 130; курсив в оригинале].

Студенты не оставили своих дел, как вдруг показался о. Феодор «в сопровождении псевдо-Голицына». Это был Гоголь!

О. Феодор сказал, что выполняет просьбу самих студентов познакомиться их с Гоголем, и, «обращаясь потом к дорогому гостю, прибавил: «Они любят вас и ваши произведения».

Не берусь, – продолжает мемуарист, – да и мудро слишком передать, что чувствовали в это время воспитанники, смотревшие прямо в лицо Гоголю, которым грезил каждый из них, как грезят пансионеры черными усами и эполетами. Очень естественно, что при такой неожиданности студенты не сказали ни слова. Молчал и Н<иколай> В<асильевич>. Он казался нам скучным и задумчивым. Это обоюдное молчание продолжалось несколько минут. Наконец, один из студентов, собравшись мыслями, сказал за всех: «Нам очень приятно видеть вас, Н<иколай> В<асильевич>, и мы любим и глубоко уважаем ваши произведения». Н<иколай> В<асильевич>, сколько можем припомнить, так отвечал приветствовавшим его *духовным воспитанникам*: «Благодарю вас, гг., за расположение ваше. Мы с вами делаем общее дело, имеем одну цель, *служим одному Хозяину... У нас один Хозяин*». Начав говорить несколько потупившись, Н<иколай> В<асильевич> произнес последние слова, устремив глаза к небу. <...> Только теперь очнулись воспитанники от тупого чувства, в которое повергла их неожиданность появления Н<иколая> В<асильевича>; и он вышел из дверей академических комнат при дружном, но отрывистом рукоплескании студентов.

Сам Бухарев в предисловии к своим «Трем письмам...» поясняет, при каких обстоятельствах было произнесено слово «Хозяин»: когда студенты сказали «Гоголю, что особенно большое сочувствие возбуждает он к себе тою благородною открытостью, с которой он держится в своем деле Христа и Его истины, то покойный заметил на это просто: “Что ж? мы все работники у одного Хозяина”» [Бухарев, с. 5–6].

«Вот как любили *во время оно* Гоголя, – заключает мемуарист, – воспитанники М<осковской> Д<уховной> академии!» [Феодор, 1997, с. 130–131; курсив в оригинале].

Уточнение о «воспитанниках» (студентах), видимо, сделано неслучайно. Другой автор рисует гораздо более сложную картину:

Нельзя сказать, чтобы это увлечение Гоголем особенно нравилось академическому начальству. В «Воспоминаниях» акад. Е.Е. Голубинского (Евгений Евстигнеевич Голубинский – известный историк церкви,

профессор Московской духовной академии. – Ю. М.), записанных проф. С.И. Смирновым и любезно предоставленных им нам, есть интересное указание на отношение к Гоголю и его почитателям со стороны архим. Евгения, получившего ректорское место в академии в пятидесятых годах (1853), спустя год после смерти Гоголя. «Ректор Евгений, – говорит Е.Е. Голубинский, – очень не жаловал Гоголя, считал его скалозубом, который занимался только тем, что осмеивал смешное. Если ректор, ходя по занятым [так!] студенческим комнатам, заставлял кого за чтением Гоголя, то делал внушение, что такими пустяками заниматься не следует» [Туницкий, с. 480].

Приводится и заметка из «Московских ведомостей» (1860. № 62, автор – «некто Глаголь») о том, как бывший слушатель Гоголя в Московской духовной академии превратился в его ожесточенного гонителя: став «начальником одной семинарии», «решил сжечь все безнравственные сочинения» Пушкина и Гоголя, первого за то, что «описывает плотскую греховную любовь», а Гоголя «за то, что иногда *черкается*» [Туницкий, с. 484]. «Черкается» – чертыхается; это слово, очевидно, надо понимать в расширительном смысле: водится с чертом, с нечистой силой...

Значит, отношение к Гоголю в Московской духовной академии, если иметь в виду ее преподавателей, вовсе не было единым, и пусть негативные тенденции до поры до времени находились на втором плане, чуткий писатель не мог их не ощутить (как прежде не мог не почувствовать аналогичные веяния в Оптиной пустыни). Не мог, очевидно, не знать Гоголь и то, что бухаревские «Три письма...» вызвали неодобрение в общем не отличавшегося агрессивностью митрополита Филарета, воспротивившегося их публикации<sup>69</sup>.

Следует, пожалуй, добавить, что впоследствии академия гордилась фактом посещения ее Гоголем. В связи с торжественным открытием памятника Гоголю в Москве 26 апреля 1909 г. Обществу любителей российской словесности был направлен следующий адрес: «Академия с чувством глубокого умиления в настоящие дни вспоминает о том, как святая тревога художника-гения привела его однажды под ее своды». «...Восторженно приветствуемый академическим юношеством, [Гоголь] сердечно протянул ему руку с призывом делать общее дело, преследуя одну общую цель в жизни» [Богословский вестник. 1909. Март. С. 672]. О фактах осуждения Гоголя некоторыми начальствующими лицами академии предпочитали не вспоминать.

«Я тружусь, работаю в тишине...»

В Москву Гоголь вернулся (согласно помете С.Т. Аксакова [XIV, 435]) 3 октября – как раз в день свадьбы сестры. Гоголь решил провести зиму в Москве (в первый раз!): на дальнюю дорогу, в том числе и «на прожитье в Крыму вряд ли бы достало средств». А кроме того, в Москве объявился какой-то «доктор, успешно лечащий нервные болезни наружными вытираниями и обливаниями холодной водой» [XIV, 254].

Чувствует себя Гоголь лучше. «Здоровье мое, слава Богу, понемногу поправляется, – сообщает он матери 20 ноября, – хоть и не могу похвалиться совершенным восстановлением его» [XIV, 258]. А значит, и работа сдвинулась с места (в Абрамцеве Гоголь, по-видимому, совсем не писал). «Дело кое-как идет» (С.Т. Аксакову, <октябрь> [XIV, 257]). «Свежих минут так немного, так торопиться ими воспользоваться, так заня<т> делом, которое бы хотелось скорей привести к окончанию...» (П.А. Плетневу, 30 ноября [XIV, 260]). «К окончанию» – это значит, что уже виден конец второго тома.

12 ноября проездом в Москве побывал Андрей Андреевич Божко, гоголевский одноклассник по нежинской Гимназии. Встретившись с Гоголем, он писал неизвестному лицу, очевидно их общему и давнему знакомому: «Я нашел его таким же, как он и прежде был, но только похудевшим и посерьезнее... На вопрос: оживают ли его “Мертвые души”, – “Как же иначе? И даже почти ожили”, – с улыбкою, известною Вам, отвечал он мне» [ЛН. Т. 58. С. 766–767].

Оправдываясь перед А.С. Данилевским в том, что не ответил на письмо, Гоголь объясняет: «Второй том, который требует около себя возни, причина всего, ты на него и пеняй». И дальше – самое интересное: «Если не будет помешательств и Бог подарит больше свежих расположений, то, может быть, я тебе его привезу летом сам, а может быть, и в начале весны» (письмо от 16 декабря [XIV, 261]).

«Привезу», разумеется, не рукопись, а книгу. Следовательно, к весне или в крайнем случае летом Гоголь рассчитывал ее издать.

По словам Н.П. Трушковского, издателя посмертного собрания сочинений писателя, «Гоголь и С.Т. Аксаков сделали между собою условие, чтобы Гоголь приготовил осенью 1851 года к печати 2-й том “Мертвых душ”, а Г. [Аксаков] – свои “Записки

ружейного охотника” и чтобы зимою вместе начать их печатание. Г. [Аксаков] кончил свою работу и, желая подстрекнуть Гоголя, уведомил его об этом немедленно» [Гоголь, 1855, с. IV]. В ответ Гоголь подтвердил свое обещание: «Поздравляю вас от всей души, что же до меня, то хотя я не могу похвалить<ся> тем же, но если Бог будет милостив и пошлет несколько деньков, подобных тем, какие иногда удаются, то, может быть, и я как-нибудь управлюсь» [XIV, 264].

Ходили уже слухи о практических шагах Гоголя по изданию тома, хотя трудно сказать, насколько эти слухи были оправданны: тут могли смешиваться сведения о втором томе поэмы и подготовке нового издания сочинений. 16 ноября (через четыре дня после встречи с Гоголем Божко) Е.И. Якушкин, юрист и этнограф, писал И.К. Бабсту, в будущем известному экономисту: «...Гоголь собирается печатать 2-й том “Мертвых душ”, который окончен совершенно и который уже он читал у Назимова. Шевырев уже покупает, по его поручению, бумагу для печати...» [ЛН. Т. 58. С. 742]. В этом контексте небезынтересно упоминание имени В.И. Назимова, попечителя Московского учебного округа и председателя московского цензурного комитета: возможно, Гоголь хотел заручиться его поддержкой «Мертвых душ» в цензуре, – несколько ранее, в сентябре Назимов поддержал издание сочинений Гоголя (см. письмо Гоголя Шевыреву от 30 сентября 1851 г. [XIV, 252]).

Близкие или знакомые Гоголя горели нетерпением услышать чтение новых глав, но писатель неохотно шел им навстречу. И. Аксаков говорил, что в Абрамцеве Гоголь «читал отрывки из этого тома отцу и потом Шевыреву» (Воспоминания, с. 441) – Шевыреву, очевидно, уже в Москве, так как в Абрамцеве его в ту пору не было. Но сколько и что именно прочитал – неизвестно. По приезде же Гоголь Аксаковым ничего не прочел. «Может быть, оно и лучше, – писал он Сергею Тимофеевичу в октябре, – если мы прочитаем друг другу зимой, а не теперь...» [XIV, 257]. А вот побывавшему осенью в Москве проездом Д.А. Оболенскому и А.О. Россету прочитал, да еще по собственной инициативе [см.: Воспоминания, с. 548–552]. Объяснение этому, видимо, такое. Сергею Тимофеевичу надо было прочитать следующие, еще не слышанные им главы, а они-то находились у Гоголя в работе. Оболенский же (и А.О. Россет) были еще незнакомы с текстом, и писатель решил познакомить их с первой главой, заодно проверив, какое впечатление производит она после доработки. И Оболенский (сравнивавший услышанное с уцелевшим и впоследствии

опубликованным черновым вариантом) был в восторге [подробнее об этом эпизоде см.: Манн, 1987, с. 257–260].

Запасаясь, по своему обыкновению, разными материалами для работы, Гоголь примечательным образом выделяет одно направление. В конце 1851 г. он «с благодарностью» возвращает Шевыреву взятый у него «1-й том Гмелина», т. е. книгу «Путешествие по Сибири в 1733–1743 гг.» И.Г. Гмелина, и одновременно просит прислать Палласа, «все пять» томов «Путешествия по разным провинциям Российского государства Петра-Симона Палласа (СПб., 1773–1778). Гоголь уже обращался к этому труду и составил его замечательно подробный, занимающий более сотни печатных страниц конспект [IX, 277–414)]. «Мне нужно побольше прочесть о Сибири и северо-восточной России» [XIV, 265]. Этот интерес неслучаен: место действия поэмы постепенно сдвигается, от губернии в центральной России в первом томе – к «северо-восточной» или восточной России во втором томе и, наконец, к Сибирскому региону в томе третьем (на такое смещение есть разрозненные намеки во втором томе [подробнее: Манн, 1987, с. 267]; говорил об этом и И.С. Аксаков: «Надо думать, что Чичиков в конце этой части [т. е. 3-го тома] попадет за новые проделки в ссылку в Сибирь, так как Гоголь у нас и у Шевырева взял много книг с атласами и чертежами Сибири» [Воспоминания, с. 441]. К написанию третьего тома Гоголь, судя по всему, еще не приступал, но уже заглядывал вперед, обдумывая его сюжетное направление.

Новые встречи:  
Г.П. Данилевский, И.С. Тургенев

Несмотря на свойственную Гоголю необщительность, осенью 1851 г. в круг его знакомых вошли новые лица, в том числе Данилевский и Тургенев.

Григорий Петрович Данилевский (1829–1890), выпускник Санкт-Петербургского университета, начинающий прозаик, в будущем автор исторических романов «Сожженная Москва» и «Черный год», арестованный по делу петрашевцев, но вскоре освобожденный за недостатком улик, с 1850 г. служил в Министерстве

народного просвещения; в Москву он и приехал со служебным поручением. С Гоголем же Данилевский встретился при посредничестве О.М. Бодянского. «Узнав, что у меня, – рассказывает Данилевский, – собрана коллекция украинских народных песен с нотами, [Гоголь] просил Бодянского пригласить к себе и меня» [Воспоминания, с. 434].

Знакомство Тургенева с Гоголем тоже фактически произошло впервые, хотя они до этого встречались неоднократно. Первый раз – в 1835 г. на злополучном экзамене в Санкт-Петербургском университете; но тогда повязанный платком зябнувший Гоголь едва ли запомнил своего студента. Потом во время приездов Гоголя из-за границы в Москву были встречи в салоне А.П. Елагиной, но, очевидно, тоже беглые.

Затем они, что называется, пересеклись на представлении «Ревизора» в Малом театре 22 октября 1851 г. (дата установлена И.А. Зайцевой, см. далее). Гоголь, по воспоминаниям Тургенева, «сидел в ложе бельэтажа, около самой двери, и, вытянув голову, с нервическим беспокойством поглядывал на сцену». На Гоголя Тургеневу указал сидевший рядом Е.М. Феокистов, литератор, приятель Тургенева, и Николай Васильевич, по-видимому, заметил этот вдруг возникший к нему интерес – «он немного отодвинулся назад, в угол». Это не помешало Тургеневу внимательнее присмотреться к Гоголю: «Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное беспокойство примешивались к постоянно проницательному выражению его лица» [Воспоминания, с. 531].

Вряд ли, однако, и на этот раз Гоголь узнал Тургенева. Зато как автор популярных произведений, прежде всего очерков из цикла «Записки охотника», он давно обратил на себя внимание Гоголя. В уже знакомом нам гоголевском письме от 7 сентября н. ст. 1847 г. к Анненкову (см. выше, с. 144) есть такое категорическое суждение: «...талант в нем *замечательный* и обещает большую деятельность в будущем» [XIII, с. 385, курсив в оригинале]. Отзыв, как принято говорить в таких случаях, пророческий.

Данилевский и Тургенев побывали у Гоголя примерно в одно то же время – в конце октября (Тургенев указывает – 20 октября; согласно уточнениям современной исследовательницы, это могло быть 28 или 29 октября (см.: *Зайцева И.А.* Гоголь и Тургенев: три встречи в 1851 году // *Материалы*, 2012).

Оба пришли в сопровождении старых друзей Гоголя: Данилевский – Осипа Бодянского, Тургенев – Михаила Щепкина. В обоих случаях встреча происходила в доме на Никитском буль-



И.С. Тургенев  
*Художник В. Лами. 1844*

варе, в угловой квартире Гоголя, что на первом этаже, направо от входа, с двумя окнами во двор и двумя на бульвар.

Особенное удовлетворение – и это понятно – Гоголь выразил встречей с Тургеневым. По словам Тургенева, он сказал: «Нам давно следовало быть знакомыми» [Воспоминания, с. 531]. Смирнова-Россет, очевидно со слов Тургенева, рассказывает: «Тургенев был у Гоголя в Москве, тот принял его радушно, протянул руку как товарищу, и сказал ему: “У вас есть талант, не забывайте, что талант есть дар Божий и приносит десять талантов за то, что Создатель вам дал даром”» [Смирнова, 1989, с. 69].

Как новые гости оба, и Тургенев и Данилевский, постарались прежде всего пристальнее разглядеть Гоголя. Набросанные ими портреты подробны и несколько сходны.

Данилевский:

Среднего роста, плотный и с совершенно здоровым цветом лица, он был одет в темно-коричневое темное пальто и темно-зеленый бархатный жилет, наглухо застегнутый до шеи... Его длинные каштановые волосы прямыми космами спадали ниже ушей, слегка загибаясь над ними. Тонкие, темные, шелковистые усики чуть прикрывали полные, красивые губы, под которы-



ми была крохотная эспаньолка. Небольшие карие глаза глядели ласково, но осторожно и не улыбаясь даже тогда, когда он говорил что-либо веселое и смешное. Длинный, сухой нос придавал этому лицу и этим, сидевшим по его сторонам, осторожным глазам что-то птичье, наблюдающее и вместе добродушно-горделивое. Так смотрят с кровель украинских хуторов, стоя на одной ноге, внимательно-задумчивые аисты» [Воспоминания, с. 437–438].

Тургенев:

Я пристальнее вгляделся в его черты. Его белокурые волосы<sup>70</sup>, которые от висков падали прямо, как обыкновенно у казаков, сохранили еще цвет молодости, но уже заметно поредели; от его покатога, гладкого, белого лба по-прежнему так и веяло умом. В небольших карих глазах искрилась по временам веселость – именно веселость, а не насмешливость; но вообще взгляд их казался усталым. Длинный, заостренный нос придавал физиономии Гоголя нечто хитрое, лисье; невыгодное впечатление производили также его одутловатые, мягкие губы под остриженными усами: в их неопределенных очертаниях выражались – так, по крайней мере, мне показалось – темные стороны его характера... В осанке Гоголя, в его телодвижениях было что-то не профессорское, а учительское – что-то напоминавшее преподавателей в провинциальных институтах и гимназиях. «Какое ты умное, и странное, и большое существо!» – невольно думалось, глядя на него [Там же. С. 532].

Обостренное внимание к внешности Гоголя объясняется еще и тем, что посетители рассматривали его, так сказать, сквозь версию о помешательстве. Данилевский: «Молва о помешательстве Гоголя, действительно, в то время была распространена в обществе». К.М. Базили (в письме к Н.В. Гербелю от 27 декабря 1880 г.): «Так как Гоголь незадолго до своей смерти жил у меня, то многие почтенные люди весьма сердечно спрашивали у меня, как и когда проявлялись признаки умопомешательства» [РО РНБ. Ф. 179. Ед. хр. 20. Л. 6–60б.]. Иеросхимонах Сергей (Святогорец): «В последнее время его считали помешанным...» (Биография Святогорца, письма его к друзьям своим о Святой Горе Афонской. М., 1883. Т. 3. С. 69). Тургенев: «Помнится, мы с Михаилом Семеновичем ехали к нему как к необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове... вся Москва была о нем такого мнения» [Воспоминания, с. 437, 532].

Гоголь порою казался чуть ли не впавшим в детство недоумком. Выразительна относящаяся к 1847 г. заметка В.С. Акса-

ковой. Ссылаясь на слова «приезжего», Вера Сергеевна пишет, что Гоголь «решительно поглупел, по крайней мере талант его убит мистическим расположением, в которое он впал...» (Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников: В 3 т. / Изд. подгот. И.А. Виноградов. М., 2012. Т. 2. С. 866. По мнению Виноградова, «приезжий» – это В.П. Боткин).

Отсюда полемический запал мемуаристов. Данилевский: «Передо мной был не только не душевнобольной... а тот же самый Гоголь, тот же могучий и привлекательный художник, каким я привык себе воображать его с юности» [Там же. С. 437]. Тургенев, правда, столь категорично бы не сказал, сосредоточившись на противоречиях Гоголя; лейтмотив его наблюдений: «Какое ты умное, и странное, и большое существо!»

Источник различных оттенков и несходств в оценке Гоголя – отношение к его последней книге. Тургенев полностью на стороне Белинского: из «Выбранных мест...» идет «затхлый и пресный дух»; «между мирозерцанием Гоголя и моим [Тургенева] – лежала целая бездна» [Там же. С. 533]. Для Данилевского Белинский тоже был авторитетом, даже «кумиром», но влияние Плетнева, профессора Санкт-Петербургского университета, где он учился, смягчало, как говорит Данилевский, «обвинения» критика. Плетнев убеждал: «Одаренный гением творчества, родной писатель-сатирик дерзнул глубже взглянуть в собственную свою душу, проверить свои сокровенные помыслы и самостоятельно, никого не спросив, открыто о том поведать другим...» [Там же. С. 436].

Но что вполне сохранилось в Гоголе, несмотря на усиление публицистического и учительного элемента, так это восприимчивость и открытость эстетическим впечатлениям. Когда Данилевский сообщил Гоголю о произведениях молодого тогда поэта Ап. Майкова и прочел наизусть отрывки из его поэмы «Савонарола» и лирической драмы «Три смерти» (оба произведения были опубликованы значительно позже), Гоголь пришел в восторг. «Передо мною был счастливый, вдохновенный художник». «Ведь это праздник! Поэзия не умерла. Не оскудел князь от Иуды и вождь от чресл его... Да, – продолжал он, прохаживаясь, – я застал богатые всходы...» [Там же. С. 439–440].

Тут предметом внимания собеседников стал Тарас Григорьевич Шевченко (1814–1861). Поводом послужила похвала Гоголя молодой поэзии, в частности Майкову.

– А Шевченко? – спросил Бодянский.

Гоголь на этот вопрос с секунду промолчал и нахохлился...

– Как вы его находите? – повторил Бодянский.

– Хорошо, что и говорить, – ответил Гоголь, – только не обидьтесь, друг мой... вы – его поклонник, а его личная судьба достойна всякого участия и сожаления.

(Мы приводим соответствующее место максимально полно – кстати, в книге «Гоголь в воспоминаниях современников» оно по известным конъюнктурным причинам было опущено.)

– Но зачем вы примешиваете сюда личную судьбу? – с неудовольствием возразил Бодянский. – Это постороннее... Скажите о таланте, о его поэзии...

– Дегтю много, – негромко, но прямо проговорил Гоголь, – и даже прибавлю, дегтю больше, чем самой поэзии. Нам-то с вами как малороссам это, пожалуй, и приятно, но не у всех носы, как наши. Да и язык...

В оценке Гоголем творчества Шевченко определенно есть позитивный момент («Хорошо, что и говорить...»), хотя в более раннем свидетельстве того же мемуариста он звучал сильнее: Гоголь (пишет Данилевский) «был очарован поэтическими песнями “Кобзаря” и “Гайдамаков”...» [СП. 1861. 10 мая]. Теперь разговор ведется более о точках расхождения; в частности, Гоголь, по словам Бодянского, объяснил свое неудовольствие «языком» Шевченко («Да и язык...»):

– Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, – сказал он, – надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня – язык Пушкина, какую является евангелие для всех христиан, католиков, лютеран и гернгуттеров... Нам, малороссами и русским, нужна одна поэзия, спокойная и сильная, – продолжал Гоголь, останавливаясь у конторки и опираясь о нее спиной, – нетленная поэзия правды, добра и красоты. Она не водеvilная, сегодня только понятная, побрякушка и не раздражающий личными намеками и счетами рыночный памфлет. Поэзия – голос пророка... Ее стих должен врачевать наши сомнения, возвышать нас, поучая вечным истинам любви к ближним и прощения врагам. Это – труба пречистого архангела... Я знаю и люблю Шевченка, как земляка и даровитого художника; мне удалось и самому кое-чем помочь в первом устоявстве его судьбы. Но его погубили



Н.В. Гоголь

*Портрет работы Т.Г. Шевченко. Около 1840 г.*

наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту. Они все еще дожевывают европейские, давно выкинутые жваки. Русский и малоросс это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной, в ущерб другой, невозможно. Нет, Осип Максимович, не то нам нужно, не то. Всякий пишущий теперь должен думать не о розни; он должен прежде всего поставить себя перед лицом Того, Кто дал нам вечное человеческое слово...» [Данилевский Г.П., с. 98–99].

Прежде всего обратим внимание на два биографических момента: встречались ли Гоголь и Шевченко и принимал ли Гоголь участие в его освобождении от крепостной зависимости? Существует мнение, что писатели не встречались, и оно скорее всего верное; слова Гоголя «Я знаю... Шевченка» еще не подразумевают личное знакомство. Вместе с тем условия для такого знакомства были.

Шевченко появился в Петербурге в начале 1831 г. – в это время в столице уже проживали многие малороссы, а чуть позже стали организовываться «украинские землячества» [см.: Аронсон, Рейсер, с. 376]. Нежинцы содействовали изданию первого сборника произведений Шевченко «Кобзарь» (1840), знакомству

его с Брюлловым, конференц-секретарем Академии художеств В.И. Григоровичем и многими другими [см.: кн. 1, с. 370, а также: Супрунюк, 2, с. 147–148]. Гоголь и Шевченко, по выражению другого исследователя, двигались «в некоем общем для обоих житейском и культурном пространстве» [Барабаш, 2003, II, с. 357], в котором была возможна их, хотя бы беглая, встреча. Но, повторяю, пока это не больше чем предположение.

Более определенно звучит гоголевское замечание о его участии «в первом устройстве его [Шевченко] судьбы», хотя в чем конкретно оно выразилось, мы пока не знаем. Возможно, подразумевается участие в акции по выкупу Шевченко из крепостной зависимости – акции, проведенной прежде всего В.А. Жуковским, близким Гоголю человеком [см. также: Барабаш, II, 2003, с. 359].

Теперь о сути пререкания Гоголя с Бодянским по поводу Шевченко: прежде всего оно свидетельствует о расхождении во взглядах и, как сегодня бы сказали, линии поведения русского и украинского писателей. Гоголь в последние годы жизни, мы знаем, с особым удовлетворением погружался в украинскую стихию, она давала ему ощущение родной почвы, корней, трогающей душу поэтичности (вспомним своего рода формулу: «вареники и песни»). Чувствовалось в этом и противопоставление вольного настроения малороссиян казарменному духу Великороссии. Но все это было далеко от сепаратистской тенденции, которую Гоголь мог заметить у Шевченко, тем более что его настроение воспринималось на фоне других фактов. Несколько ранее описываемой беседы появилась «Повесть об украинском народе» Кулиша (Звезда. 1846. № 1, 2. 4–7), которая у такого читателя, как Белинский, вызвала резкий отпор: Кулиш «набрался хохлацкого патриотизма», провозгласив, что «Малороссия или должна отторгнуться от России, или погибнуть» [Белинский, т. 13, с. 441] (за публикацию этой повести Кулиш был заключен в крепость и выслан в Тульскую губернию). Идее отторжения Украины Гоголь противопоставлял мысль о единении, которое проявлялось у него и в личном, индивидуальном, психологическом плане. Выражения, зафиксированные мемуаристом («Русский и малоросс – это души близнецов...»), находят буквальное соответствие в словах Гоголя: «Я сам не знаю, какая у меня душа, знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому перед малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и, как нарочно, каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой: явный знак, что

они должны пополнить одна другую» (письмо А.О. Смирновой, 12/24 декабря 1844 г. [XII, 419]).

Расходились Гоголь и Шевченко и в характере общественной критики. Гоголь (как мы не раз могли в этом убедиться) был далек от официальной идеологии, но все же (если использовать выражение современного исследователя) «тройная анафема» Шевченко в мистерии «Подземелье» – Богдану Хмельницкому, Петру I и Екатерине II [см.: Барабаш, II, 2003, с. 28] – не отвечала его убеждениям. Гоголь считал благотворной деятельность Екатерины II и особенно Петра I, который «прочистил нам глаза чистилицем просвещения европейского» [VIII, 289]. К царствующему монарху его отношение также было неоднозначное: он многого ждал от Николая I, выдвигая перед ним как некий пример для подражания образ идеального самодержца, помазанника Божьего.

Интересно сопоставить и отношение Шевченко и Гоголя к Петербургу как столице империи, символу российской государственности. Существует мнение, что взгляды обоих писателей и, соответственно, используемые ими краски совпадали: «болотный город» у Гоголя, «город среди болот», «в низине, словно в яме» у Шевченко – «таковы грани образа, который в сущности становится метафорой Петербурга, выражая безусловно негативное авторское отношение, недвусмысленное отталкивание» [Барабаш, II, 2003, с. 45]. Действительно, в гоголевском образе есть такая «грань», но есть и другое, неожиданное и парадоксальное, – ощущение органичности, необходимости и прогрессивности Петербурга. И в отношениях старой столицы к новой у Гоголя проглядывает что-то сходное с отношением матери к сыну, непокорному, отбившемуся от рук, но все-таки единокровному: «На семьсот верст убежать от *матушки!*» И вообще эти отношения не только контрастны, но и соотносимы, выстраиваясь отчасти по принципу дополнительности («В Москве все невесты, в Петербурге все женихи»), когда одно не может существовать без другого [см. подробнее: Манн, 2007, с. 516–518].

Отношение Гоголя к Шевченко определялось и тем фактором, который Гоголь называет «личной судьбой» («его личная судьба достойна всякого участия и сожаления»). Конечно же, Гоголь имеет в виду участие Шевченко в тайном Обществе свв. Кирилла и Мефодия (с 1846 г.), затем арест (5/17 апреля 1847 г.) и последующие репрессивные меры – ссылка и солдатская служба (освобожден он был лишь в 1857 г., после смерти Николая I). Гоголь сочувствует страданиям Шевченко, прини-

мает их близко к сердцу, но вряд ли одобряет его поступки – отношение Гоголя к тайным обществам, радикальным действиям было определено негативным (известное его высказывание, очевидно с намеком на декабристов: «слава Богу, уже прошли те времена, чтобы несколько сорванцов могли возмутить целое государство» [VIII, 359]); к тому же оно совпадало с суждениями, высказываемыми и другими, причем отнюдь не ретроgrадами и реакционерами, например Белинским. По поводу сатирической поэмы Шевченко «Сон» (1844), которую критик расценил как памфлет против Николая I и Александры Федоровны, и последовавшего затем преследования автора Белинский писал в ноябре 1847 г. Анненкову: «Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его... Я питаю личную вражду к такого рода либералам. Это враги всякого успеха. Своими дерзкими глупостями они раздражают правительство, делают его подозрительным, готовым видеть бунт там, где нет ничего ровно, и вызывают меры крутые и губительные для литературы и просвещения» [Белинский, т. 12, с. 440–441]. Осуждал деятельность Шевченко и более близкий Гоголю по взглядам Хомяков, который по поводу разгрома Общества свв. Кирилла и Мефодия писал Самарину 30 мая 1847 г.: «Время политики миновало... Наше дело – борьба нравственная, и в такой борьбе победа покупается не днями, а годами труда и самоотвержения» [Хомяков, т. 8, с. 269].

В то же время и отношение Шевченко к Гоголю претерпело изменения. В 1844 г. он пишет послание «Гоголю», обращаясь к нему как духовно близкому человеку и единомышленнику, хотя, как мы видели, это не совсем так [см. подробнее: Барабаш, II, 2003, с. 32 и далее]. Но к 1859 г., уже после смерти Гоголя, согласно мемуаристу А.О. Козачковскому, позиция Шевченко стала более жесткой: «Зашла речь о Гоголе. Он не сочувствовал ему: по его словам, неудавшиеся честолюбивые мечты стали причиной умственного его расстройства» [Шевченко в воспоминаниях, с. 106]. Если это свидетельство точное, то оно означает, что Шевченко присоединился к распространившейся версии о психическом заболевании Гоголя, о которой писал, в частности, Данилевский. Но это не изменило отношения Шевченко к гоголевским художественным произведениям, о чем свидетельствует запись в его дневнике 26 июня 1857 г.: «Мне кажется, что для нашего времени и для нашего среднего, полуграмотного сословия необходима сатира, только сатира умная, благородная. Такая, например, как “Жених” (“Сватовство майора”) Федотова или

“Свои люди – сочтемся” Островского и “Ревизор” Гоголя» [Там же. С. 448]. Гоголь остается для Шевченко «высочайшим литературным авторитетом, источником творческих импульсов...» [Барабаш, 2003, II, с. 298].

Второй раз Данилевский встретился с Гоголем 31 октября в доме Аксаковых. Эстетическое чувство Гоголя выразилось в этот день в уже хорошо знакомой нам форме – в страстном увлечении украинской песней.

Вначале Надежда Сергеевна по просьбе Гоголя спела «Чоботы», потом «Могилу», «Солнце низенько» и другие песни. «Гоголь остался очень доволен пением молодой хозяйки, просил повторять почти каждую песню и был вообще в отличном расположении духа». Потом «спели какую-то украинскую песню даже общим хором». Потом Гоголь на вопрос, какую песню затянул Селифан во втором томе поэмы, «ответил с улыбкой, что несомненно Селифан пел и “Чоботы”, и даже при этом лично показал, как Селифан высокоделикатными, кучерскими движениями, вывертом плеча и головы должен был дополнять, среди сельских красавиц, свое “заливисто-фистульное” пение». «Все улыбались, от души радуясь, что знаменитый гость был в духе». А потом... потом «Гоголь вдруг замолк, насупился, и его хорошее настроение бесследно исчезло» [Воспоминания, с. 442–443].

Обычные перепады гоголевского духа, происходившие внешне и объяснить которые никто не мог.

### Герценовский эпизод

Впрочем, один из таких случаев контраста легко доступен объяснению. Произошло это еще во время упомянутого выше первого визита Тургенева вместе со Щепкиным к Гоголю. У Николая Васильевича (рассказывает по семейным воспоминаниям внук великого актера Михаил Александрович Щепкин) все время было ровное хорошее настроение, Тургеневу он сказал «несколько любезностей». «Но вдруг побледнел, все лицо его искривилось какою-то злою улыбкой, и, обратившись к Тургеневу, он в страшном беспокойстве спросил: “Почему Герцен позволяет себе



оскорблять меня своими выходками в иностранных журналах?» [Воспоминания, с. 529].

Все объяснялось известием, которое незадолго перед тем (письмо датировано 13 сентября 1851 г.) получил Гоголь из Петербурга от своего знакомого М.С. Скуридина: «Парижский префект полиции Карлье прислал к государю императору экземпляр брошюры, изданной Герценом. В ней и о вас, мой муж, отче Николае, речь идет. Бредни этого сумасшедшего не заслуживают вашего внимания, устремленного в горния; но, полагаю, вам будет любопытно, как этот мерзавец о вас говорит – по той причине, что разглагольствие его до высочайшего сведения дошло» [Материалы, т. 1, с. 133]. Скуридин был близок в высшем петербургском кругам, и он знал, что говорит.

К письму были приложены выписки из вышедшего в Париже в 1847 г. французского издания брошюры «О развитии революционных идей в России». Цитаты были расположены таким образом, чтобы резко обозначить перемену, произошедшую с Гоголем. Вначале он беспощадный враг самодержавной России: «Комедия Гоголя “Ревизор”, его роман “Мертвые души” представляют собою ужасную исповедь современной России...» «Поэзия Гоголя – это крик ужаса и стыда, вырвавшийся у человека, униженного пошлой жизнью, когда внезапно он видит в зеркале свое оскотинившееся лицо». Нынешний же Гоголь – автор «Выбранных мест...» – другой: «он начал защищать то, что прежде разрушал, и кончил тем, что бросился к ногам “благоволения и любви” его величества». Короче, Гоголь совершил предательство: «...кумир русских читателей возбудил глубочайшее презрение к себе за раболепную брошюру... В России не прощают отступнику» [Там же. С. 136–138].

Сообщение Скуридина нанесло Гоголю тройной удар.

Прежде всего, обвинение исходило от человека, к которому Гоголь проявлял несомненный интерес. Еще будучи за границей, в Остенде, он запрашивал 7 сентября н. ст. 1847 г. Анненкова (эти слова уже приводились выше – с. 144): «В письме вашем вы упоминаете, что в Париже находится Герцен. Я слышал о нем очень много хорошего. О нем люди всех *партий* отзываются как о благороднейшем человеке. Это лучшая репутация в нынешнее время. Когда буду в Москве, познакомлюсь с ним непременно, а покуда известите меня, что он делает, что его более занимает и что предметом его наблюдений» [XIII, 385; курсив в оригинале]. Познакомиться не удалось: Герцен в Россию так и не возвратился, а за границей пути их не пересеклись.

Отношение Гоголя к Герцену не омрачило и то, что в критике их часто противопоставляли, иногда в пользу одного, иногда – другого. Так, анонимный рецензент «Северной пчелы» писал, что «Кто виноват?» «производит глубокое поэтическое впечатление»; «одна патетическая страница его романа стоит дюжины таких карикатурных сочинений, каковы “Мертвые души”» [СП. 1847. № 4. Отд. 6. С. 28–34]. В то же время Аполлон Григорьев в письме Гоголю от октября 1848 г., отмечая активную позицию, защищаемую в «Выбранных местах...», видит в романе Герцена идею фатального подчинения человека условиям и обстоятельствам: «Одним словом, человек – раб, и из рабства ему исхода нет» [Григорьев. Материалы, с. 114].

Сдержанно отнесся Гоголь и к памфлету Н.М. Языкова «Ненашим», где в образе «поклонника темных книг и слов» угадывался Герцен. Сдержанно, потому что не одобрял резкости и категоричности полемики с западниками (см. подробнее: кн. 2, с. 431). Впрочем, об этом Гоголь открыто скажет Языкову (письмо от 5 апреля н. ст. 1845 г.): «Нельзя назвать всего совершенно у них ложным... к несчастью, не совсем без основания их некоторые выводы» [XII, 476].

Принципиально картину не изменило и резко негативное отношение Герцена к «Выбранным местам...», которое он не скрывал. В ноябре 1847 г. в Риме Герцен познакомился с Александром Ивановым (возможно, Герцен посетил его студию). «При первом свидании, – рассказывает Герцен, – мы чуть не поссорились. Разговор зашел о “Переписке” Гоголя, Иванов страстно любил автора, я считал эту книгу преступлением» [Герцен, т. 13, с. 326].

Об этом столкновении стало известно Гоголю. В декабре того же года Иванов сообщал Гоголю из Рима в Неаполь: «Здесь Герцен. – Сильно восстает против вашей последней книги. – Жаль, что я сам ее не читал, но то, что [ему не нравится] его ужасает, мне кажется очень справедливо» [Известия, Баку, с. 46]. И тем не менее и это сообщение Гоголь встретил весьма спокойно. «Герцена я не знаю, – пишет он 14 декабря н. ст. в ответном письме к Иванову, – но слышал, что он благородный и умный человек, хотя, говорят, чересчур верит в благодатность нынешних европейских прогрессов и потому враг всякой русской старины и коренных обычаев». Гоголь осуждает в Герцене западнические установки (впрочем, мы знаем, он не принимал и крайности славянофильства), но он по-прежнему его высоко ценит, больше того – Гоголя интересует направление развития

Герцена: «Напишите мне, каким он показался вам, что он делает в Риме, что говорит об искусствах и какого мнения о нынешнем политическом и гражданском состоянии Рима...» [XIII, 408] (напомним, что это было время реформ Пия IX).

Почему же именно на герценовскую брошюру Гоголь прореагировал так болезненно, по наблюдениям мемуариста, даже со злостью?

Гоголь при всех несогласиях с западнической партией хотел сохранить перед нею репутацию; к этой партии он относил и Герцена, и Тургенева (неслучайно именно ему излил Гоголь свою досаду), и Анненкова, и, наконец, Белинского, при всем неприятии его радикализма. Цитаты же из герценовской брошюры, присланные Гоголю, представляли его чуть ли не мракобесом, прислужником властей. Болезненно отозвалось в Гоголе и то, что это обвинение получило европейскую огласку: «Почему Герцен позволяет себе оскорблять меня в иностранных журналах?» (Брошюра Герцена вышла не только на французском, но и на немецком языке.)

Но и в глазах другой, правительственной стороны Гоголь увидел себя выставленным в более чем в нежелательном и, с его точки зрения, несправедливом свете. Он вовсе не считал ни тогда, ни тем более теперь, что в «Ревизоре» или в «Мертвых душах» выступает разрушителем, и ему меньше всего хотелось показаться в глазах императора опасным бунтовщиком, да к тому же еще неблагодарным человеком, не оценившим августейшей милости.

Наконец, глубоко травмировала мысль о нем как о человеке, резко переменившем взгляды, некоем беспринципном перебежчике («...В России не прощают отступнику»). Отсюда страстное желание доказать постоянство, единство и последовательность своих убеждений, выразившееся в эпизоде, который Тургеневу показался даже комичным: Гоголь принес томик «Арабесок», прочел отрывок из какой-то статьи и заключил: «Вот видите... я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал убеждения, что и теперь! С какой же стати упрекать меня в измене, в отступничестве...» [Воспоминания, с. 534].

Существует вариант этого рассказа, записанный П.А. Кулишом со слов М.С. Щепкина:

Разговор с Тургеневым. Французский перевод. Гоголь знал, кто помогал переводчику (Тургенев). «Что я сделал Герцену! Он [срамит] унижает меня перед потомством. Я отдал бы половину жизни, чтоб не издавать этой книги» (Переписка)...

– Для Герцена не личность ваша, а то, что вы передовой человек, который вдруг сворачивает с своего пути. «Мне досадно, что друзья придали мне политическое значение. Я хотел показать Перепискою, что я не то, и перешел за черту увлекшись» [Материалы, т. 1, с. 147; публикация Вас. Гиппиуса].

Этот фрагмент добавляет несколько небезынересных деталей. Во-первых, о возможном участии И.С. Тургенева в переводе герценовской брошюры на французский язык (вероятно, с первого немецкого издания 1850 г.) и о том, что Гоголь это знал и, следовательно, вполне мог распространить на него свою обиду. Далее то, что книга, согласно Гоголю, была не так понята, что ей приписали политическое значение и что сделали это «друзья», в частности Жуковский. («Жуковский такой мягкий человек. Он всякому моему слову придает вес» [Там же]). И наконец, то, что Гоголь глубоко раскаивается в издании книги, считая это своей ошибкой. Ту же мысль Гоголь выразил при встрече с Тургеневым и М. Щепкиным: «Правда, я во многом виноват, виноват тем, что послушался друзей, окружавших меня, и если бы можно было воротить назад сказанное, я бы уничтожил мою “Переписку с друзьями” Я бы сжег ее» [Воспоминания, с. 530]. Подобное настроение Гоголь обнаруживал и раньше. Как мы уже говорили выше, осенью 1848 г. в Петербурге, во время встречи с литераторами Гоголь, по словам Панаева, «дал почувствовать, что его знаменитые “Письма” были им написаны в болезненном состоянии, что их не следовало издавать, что он очень сожалеет, что они изданы» [Воспоминания, с. 219]. И все же до мысли о «сожжении» книги еще не доходило!

Однако, исходя из общего контекста гоголевских переживаний и мироощущения, все сказанное им не следует понимать буквально. Гоголь не отказывается от воплощенного в книге содержания, от ее идей. Но он полагает, что они еще недостаточно окрепли, сформировались и горе литератору – эту мысль Гоголь подчеркивал неоднократно, – который выдает в свет недозрелый плод! И еще то, что сила его по-прежнему заключается в живых образах, в самой художественной плоти, и что на такой почве – эту мысль Гоголь тоже высказывал не раз – не так-то легко его можно будет опровергнуть и с ним сразиться. А это значит, что ему ничего не остается другого, как неуклонно и безбоязненно вести к завершению свое главное дело – второй том «Мертвых душ».

Следует привести еще одно, малоизвестное свидетельство, относящееся к осени 1851 г., т. е. ко времени, когда Гоголь

получил сведения о брошюре Герцена. Речь идет об уже упоминавшейся заметке «Встреча с Гоголем», подписанной литератами П. К. и принадлежащей, по-видимому, Пантелеймону Кулишу. Автор воспоминаний реакцию Гоголя непосредственно не наблюдал, но был наслышан о ней от других, в частности от Щепкина, чей рассказ, как нам уже известно, записан именно Кулишом. В заметке «Встреча с Гоголем» тема продолжена; сообщается, что Гоголь «привозил с собою изданную за границей брошюру, где осуждается его отступничество от прежнего направления и приводится объяснение, почему Гоголь не пишет ничего вновь. Гоголь объявил тогда, что он считает священным долгом продолжать “Мертвые души”, чтобы опровергнуть клевету...» [РД. 1859. № 10. 14 января].

Все в конечном счете сводится к одному – к завершению поэмы.

### Театральные встречи

То, что его творческая сила и художнический вкус не оскудели, Гоголь имел возможность в это трудное для него время продемонстрировать не раз. В частности, во время встреч и бесед, связанных с постановкой «Ревизора» на московской сцене.

Спектакль состоялся в Малом театре 22 октября 1851 г.<sup>71</sup> Городничего играл М.С. Щепкин, Осипа – П.М. Садовский, Хлестакова – в первый раз С.В. Шумский. Дебют Шумского и заключал в себе главный интерес спектакля ввиду того места, который занимает этот персонаж не только в действии комедии, но и в гоголевской эстетике вообще, характеризуя некоторые ее коренные, фундаментальные черты.

Накануне спектакля, как подметила В.С. Аксакова, Гоголь расстроился, «оттого что упал подсвечник и сломалась свеча» [ЛН. Т. 58. С. 740], видимо, расценив это как дурную примету. Но в театр все-таки отправился – вместе со Смирновой-Россет и Арнольди.

По свидетельству последнего, «многие в партере заметили Гоголя и лорнеты стали обращаться на нашу ложу. Гоголь, видимо, испугался какой-нибудь демонстрации со стороны публики и,

может быть, – вызовов и... вышел из ложи так тихо, что мы и не заметили его отсутствия» [Воспоминания, с. 495].

Но к дебюту Шумского этот преждевременный уход не относился, хотя его игра была оценена рецензентами довольно холодно, ничего нового в ней они не отметили [см. подробнее: Гоголь, ак., т. 4, с. 737]. Сдержанно отозвался о Шумском А.А. Григорьев, впрочем, дав понять, что эта сдержанность относительная. «Хлестакову г. Шумского недостает весьма важного качества – отсутствия задней мысли... В сцене, когда Хлестаков от пустоты в желудке, а паче того, от пустоты душевной принимается насвистывать арию», в его лице появляется плутовское выражение («плутоватая физиономия»). Однако, добавляет рецензент, он смотрит на Хлестакова-Шумского «безотносительно»; если же сравнивать его «умную, добросовестную игру» с «игрою г. Самарина 1-го или Ленского», то ее следует назвать «превосходною» [Григорьев А., 1985, с. 121].

Но тут важнее, конечно, впечатления самого Гоголя, о которых мы узнаем от людей, присутствовавших вместе с ним на спектакле. Н.В. Берг: «Обыкновенно (как я слышал от его друзей) он [Гоголь] бывал не слишком доволен обстановкой своих пьес и ни одного Хлестакова не признавал вполне разрешившим задачу, Шумского чуть ли не находил он лучшим» [Воспоминания, с. 507]. Л.И. Арнольди, находившийся с автором в одной ложе, свидетельствует:

Гоголь говорил, что Шумский лучше всех других актеров петербургских и московских передает эту трудную роль, но не был доволен, сколько я помню, тою сценой, где Хлестаков начинает завираться перед чиновниками. Он находил, что Шумский передавал этот монолог слишком тихо, вяло, с остановками... «Хлестаков это – живчик, – говорил Гоголь, – он все должен делать скоро, живо, не рассуждая, почти бессознательно, не думая ни одной минуты, что из этого выйдет, как это кончится и как его слова и действия будут приняты другими» [Там же. С. 495].

Таким образом, все авторские упреки Шумскому (притом что Гоголь признал исполнение им этой роли наиболее удачной) сводились к одному: не хватало естественности, живой непосредственности, говоря словами А. Григорьева, «отсутствия задней мысли», – и все это подменялось этаким нарочитым плутовством. Такова была традиция исполнения этой роли, начиная от Н.О. Дюра в Петербурге и Д.Т. Ленского в Москве, и Шумский

хотя несколько и отступил от нее (поэтому Гоголь и считал его лучшим Хлестаковым), но недостаточно решительно. А между тем простодушие Хлестакова, как отмечалось выше, связано с природой гоголевского комизма, лишенного аффектации, водевильной преднамеренности и окарикатуривания.

Поэтому, по словам И.С. Тургенева, Гоголь объявил ему и М.С. Щепкину, что исполнители «Ревизора» «тон потеряли» и что он готов им прочесть всю пиесу с начала до конца. Щепкин ухватился за это слово и тут же уладил, где и когда читать» [Воспоминания, с. 534–535].

Чтение состоялось 5 ноября в доме Талызина, но, по словам Данилевского, не в комнате Гоголя, а «во второй комнате квартиры А.П. Толстого, влево от прихожей, которая отделяла эту квартиру от помещения самого Гоголя» [Там же. С. 445].

Собралось довольно много слушателей: литераторы – И.С. Тургенев, С.Т. и И.С. Аксаковы, С.П. Шевырев, Г.П. Данилевский, Н.В. Берг; артисты – М.С. Щепкин, П.М. Садовский, С.В. Шумский... (Тургенев предположительно называет еще М.П. Погодина<sup>71а</sup>). Но были далеко не все актеры и ни одной актрисы. По наблюдению Тургенева, это огорчило Гоголя: «известно, до какой степени он скупился на подобные милости», т. е. на публичные чтения своих произведений.

Но вот Гоголь «принялся читать – и понемногу оживился. Щеки покрылись легкой краской; глаза расширились и посветлели. Читал Гоголь превосходно...» [Там же. С. 535].

Вспоминая через год об этом событии, Данилевский писал: «Мы и теперь видим перед собою бледное лицо автора, исполненное глубокого юмора, и никогда не забудем впечатления, произведенного на нас этим чтением. Гоголь был великий актер» [С. 1852. Т. 35. Отд. 6. С. 229; без подписи].

Позднее Данилевский подробнее объяснил, как проявился «юмор» Гоголя-чтеца.

Особенно он неподражаемо прочел монологи Хлестакова и Ляпкина-Тяпкина и сцену между Бобчинским и Добчинским. «У вас зуб со свистом», – произнес серьезно и внушительно Гоголь, грозя кому-то глазами и даже пришептывая при этом, будто и у него свистел зуб. Неудержимый смех слушателей изредка прерывал его... Когда он дочитал заключительную сцену комедии, с письмом, и поднялся с дивана, очарованные слушатели долго стояли группами, вполголоса передавая

друг другу свои впечатления. Щепкин, отирая слезы, обнял тещу и стал объяснять Шумскому, в чем главные силы роли Хлестакова [Воспоминания, с. 445].

Понятно, почему Щепкин обратился именно к Шумскому: главный урок гоголевского чтения предназначался исполнителю роли Хлестакова.

Картина, нарисованная другим слушателем – Тургеневым, вполне совпадает с предыдущей.

Гоголь... поразил меня чрезвычайной простотой и сдержанностью манеры, какой-то важной и в то же время наивной искренностью, которой словно и дела нет – есть ли тут слушатели и что они думают. Казалось, Гоголь только и заботился о том, как бы вникнуть в предмет, для него самого новый, и как бы вернее передать собственное впечатление... С каким недоумением, с каким изумлением Гоголь произнес знаменитую фразу Городничего о двух крысах (в самом начале пьесы): «Пришли, понюхали и пошли прочь!» – Он даже медленно оглянул нас, как бы спрашивая объяснения такого удивительного происшествия.

Отметил Тургенев и, так сказать, педагогическую направленность представления Гоголем сцены вранья: «Ему хотелось показать исполнявшему роль Ивана Александровича [т. е. Шумскому], как должно передавать это действительно затруднительное место... Хлестаков увлечен и странностию своего поведения, и окружающей его средой, и собственной легкомысленной юркостью; он и знает, что врет, – и верит своему вранью: это нечто вроде упоения, наития, сочинительского восторга – это не простая ложь, не простое хвастовство. Его самого «подхватило» [Там же. С. 535–536]<sup>72</sup>.

Все это имело место незадолго до резкого обострения гоголевской болезни, за каких-нибудь пять месяцев до кончины. Но никаких моральных сентенций и аллегорических истолкований в духе «Развязки Ревизора» Гоголь не делал. Он просто «играл» «Ревизора», увлеченно, самозабвенно отдаваясь своему художническому порыву, своему еще сохранявшемуся комедианному дару.



## Встречи в конце года

В конце 1851 г., осенью и ранней зимой, Гоголь имел в Москве еще несколько встреч, в которых, по обыкновению, проявились различные стороны его характера.

Например, он посетил М.Н. Загоскина, с которым познакомился еще в первый свой приезд в Москву в 1832 г. Творчески они не были близки; по свидетельству С.Т. Аксакова, Загоскин резко осудил комическую манеру «Женитьбы», а заодно «взбесился и на эпитафия к “Ревизору”, приняв его на свой счет: “да где же у меня рожа крива?”» (см.: кн. 2, с. 362). Но в общем отношения их были ровно-благожелательные. По преданию, «Выбранные места...» Загоскин встретил восторженно и говорил «в 1847 году, что он готов нарочно поехать в Италию обнять автора» [Шенрок, т. 4, с. 801]. Своим нынешним визитом к Загоскину Гоголь словно хотел эти отношения упрочить.

Прихода Гоголя, судя по всему, не ждали. Жена Загоскина лежала с тяжелой болезнью, семья собралась обедать, как вдруг «раздался в передней звонок и вслед за тем без доклада, – рассказывает С.М. Загоскин, сын писателя, – вошел в столовую человек средних лет, небольшого роста, худой, с длинными волосами и острым, крючковатым носом. Вид его был болезненный, угрюмый и мрачный. То был Николай Васильевич Гоголь. Поцеловавшись с отцом и кивнув нам головою, Гоголь отказался от сделанного ему приглашения с нами отобедать и сел около батюшки. Хотя я прежде видал Николая Васильевича, но всегда издали, а потому был несказанно рад, что наконец судьба дала мне возможность насладиться лицезрением любимого мною писателя и послушать его умные речи... увы, на этот раз мне пришлось разочароваться! Гоголь смотрел исподлобья, упорно молчал, отвечая на все вопросы лишь словами: да и нет. Помолчав и просидев не более четверти часа, он встал, снова поцеловался с отцом, кивнул нам головою и удалился медленными шагами. Отец, очень любивший и уважавший Николая Васильевича, но давно не выдавший его, нашел в нем большую перемену, как в физическом, так и в нравственном отношении, и вместе с тем пришел к убеждению, что наш великий писатель несомненно должен быть серьезно болен. Это свидание Гоголя с моим отцом было последним в их жизни, так как отец никуда не выезжал, а Гоголь более не посещал его и скончался в феврале следующего года» [ИВ. 1900. Т. 79. С. 929–930].

Около того же времени, в конце декабря, Гоголь был в гостях у генерала С.Ф. Фон-Брина, начальника штаба находившихся в Москве войск. Подробности и мотивы этого посещения неясны; возможно, Гоголя привлекала возможность встретиться в доме Фон-Брина с художниками М.И. Железновым и А.Ф. Чернышевым.

Железнов рассказывает в своих воспоминаниях, что «какой-то полковник», «товарищ Гоголя по лицу» сообщил, что «Гоголь обещался приехать к обеду, если будет хорошо себя чувствовать», а потом, обратясь к Чернышеву, присовокупил: «Алексей Филиппович, если Гоголь, паче чаяния, к обеду не явится, то сегодня вечером попросите Мокрицкого (известного художника, соученика Гоголя по нежинской Гимназии высших наук; см. о нем кн. 1, с. 375 и далее и т. д. – Ю. М.)... передать ему, что место, которое он желает получить при детях наследника, уже занято и что ему нельзя получить этого места» [ЖО. 1898. № 32. С. 643].

Реплика, свидетельствующая, между прочим, о том, насколько широко распространился слух, будто бы Гоголь, издавая «Выбранные места...», рассчитывал получить выгодное место (ср. в зальцбруннском письме Белинского: «...распространился в Петербурге слух, будто Вы написали эту книгу с целью попасть в наставники к сыну наследника» [Белинский, т. 10, с. 217]).

Но «Чернышеву, – продолжает мемуарист, – не было нужды передавать Мокрицкому слова полковника, потому что Гоголь сдержал слово и к четырем часам приехал к Фон-Брину».

Тут-то, возможно, обнаружился главный мотив визита Гоголя. Дело в том, что Железнов сопровождал Карла Брюллова в 1849 г. в поездке в Италию и на Мадейру, и писателя интересовали новости, касающиеся художника. Так, «Гоголь осведомился, не утратил ли Карл Павлович в болезни способность сочно выражаться». И пояснил свой вопрос: «Один из наших хороших живописцев, которого я не назову, при мне показывал Брюллову свою картину и просил его сказать о ней свое мнение... Брюллов долго отделялся от замечаний и говорил: “Что же вам сказать? Картина, по-моему, право хороша... Ну если вы непременно хотите замечаний, то знайте, что всю вашу картину, от одного конца до другого, надо было бы потрогать Паганиниевым смычком”» [ЖО. 1898. № 32. С. 262]. Острота, достойная и самого Гоголя...

Известно еще о нескольких встречах Гоголя, имевших место в самом конце года. 13 декабря он был вместе с Шевыревым у Кошелевых, на так называемом мужском вечере. Приехал сюда

и Д.Н. Свербеев, но уже не застал Гоголя. Но несколько позже, 21 декабря, Свербеев принимал Гоголя у себя дома; здесь же были Скарятин и А.М. Языков, брат поэта. Вozил Свербеев к Гоголю (а также к Чаадаеву) Сашу Щербатова, с которым писатель был знаком еще по Одессе. «Гоголь удивил меня своей пронизательностью, – писал Свербеев 14 декабря Е.А. Свербеевой. – Советовал Саше, когда он будет в Петербурге, еще более беречь здоровье, нежели деньги, а он таков, что может промотать и то и другое...» [ЛН. Т. 58. С. 742].

В конце 1851 г. произошла и последняя встреча Гоголя с Анненковым (мемуарист описывает ее под рубрикой «Осень 1851 года в Москве»). Гоголь охотно и даже с удовольствием ответил на вопрос Анненкова о завершении второго тома поэмы («...отвечал довольным и многозначительным голосом: “Да... вот попробуем!”»); в то же время спокойно, чуть ли не с оттенком одобрения отозвался о репрессивных мерах правительства – имелась в виду, очевидно, расправа над петрашевцами («...о ссылках и других мерах отзывался даже как о вещах, которые по мягкости исполнения были отчасти любезностями и милостями по отношению ко многим осужденным»). И в завершение встречи, говорит Анненков, «подходя к дому Толстого на возвратном пути и прощаясь с ним, я услышал от него трогательную просьбу сберечь о нем доброе мнение и поратовать о том же между партией, “к которой принадлежите”» [Анненков, 1983, с. 534–535].

Просьба была в стиле Гоголя: и в «герценовском эпизоде», и еще раньше, в реакции на стихотворные памфлеты Языкова, он старался по возможности сохранить позицию «над схваткой», во всяком случае, сохранить связи и с западнической партией.

Возможно, именно во время этой встречи речь зашла о Пушкине, о чем Анненков упомянул в другом месте: «Таково было обаяние личности Пушкина, что когда за три месяца до смерти Гоголя я напомнил ему о Пушкине, то мог видеть, как переменялась, просветлела и оживилась его физиономия» [Анненков, 1984, с. 332].

Верность памяти Пушкина – это тоже был определенный знак: при всей установке на публицистическое, учительное, прямое слово Гоголь стремился сохранить верность эстетическому, художественному началу<sup>73</sup>.

Зимой 1851 г., т. е. практически до наступления Нового года, Гоголя довольно часто по утрам навещал Л.И. Арнольди и «заставал его почти всегда за работою». Однажды Арнольди встретил

у Гоголя необычного визитера – некоего итальянца, с которым Николай Васильевич «говорил довольно свободно, но с ужасным выговором... Этот итальянец был очень беден и несчастлив, и Гоголь помогал ему и принимал в нем живое участие».

В последний раз Арнольди посетил Гоголя в Новый год (следующий визит пришелся на февраль нового года, когда писатель был уже тяжело болен). В этот раз Николай Васильевич выглядел «немного грустным», но далеко не безучастным к происходящему – «расспрашивал меня очень долго о здоровье сестры [А.О. Смирновой], говорил, что имеет намерение ехать в Петербург, когда окончится новое издание его сочинений и когда выйдет в свет второй том “Мертвых душ” Потом тут же при мне взял почтовый лист бумаги и написал сестре несколько поздравительных слов...» [Воспоминания, с. 495–496]. Письмо это сохранилось [см.: XIV, 267] и подтверждает то, что все описанное Арнольди имело место действительно в Новый год.

## 1852 год

Начало года Гоголь проводит под знаком упорного труда. Льву Арнольди во время только что упомянутой встречи писатель сказал, что второй том «совершенно окончен» [Воспоминания, с. 496]. Надо думать, «окончен» в относительном, гоголевском понимании этого слова, когда поправки и дополнения вносились до последней возможности.

Гоголь трудится над рукописью, как «поденщик». «Мы все здесь поденщики, обязанные работать и работать и глядеть вверх: там плата, – пишет он Вяземскому 1 января. – Без этого удел наш – болезни, хандра, тоска и миллион искушений от лукавого, который так и ждет минуты нашего уныния» [XIV, 266; курсив в оригинале]. Гоголь и борется с унынием с помощью работы, а также тем, что врачует других – шлет им советы, как преодолевать «искушения». И в данном случае обращение к Вяземскому, видимо, было вызвано известием об овладевшей им ипохондрии (см. письмо Плетнева от 23 июля 1851 г. [РВ. 1890. № 11. С. 67]).

И к Смирновой в тот же новогодний день, 1 января, Гоголь обращается с подобным же советом: «Займитесь делом, как бы

вы ни были вовсе больны: сила его ведь в немощи совершается» [XIV, 267; Гоголь цитирует: II Кор. 12: 9].

Помимо «Мертвых душ», Гоголь продолжает работу над подготовкой Собрания сочинений.

4 января И.С. Аксаков сообщает И.С. Тургеневу, что «Гоголь постоянно и много работает и печатает второе издание своих сочинений с прибавкою и 5-го, *нового тома*» [РО. 1894. № 8. С. 461; курсив в оригинале].

За девять дней до масляной (4 февраля), т. е. около 25 января, Гоголя посетил О.М. Бодянский и нашел «его еще полным энергической деятельности». «“Чем это вы занимаетесь, Николай Васильевич?” – спросил он [Бодянский], заметив, что перед Гоголем лежала чистая бумага и два очищенных пера, из которых одно было в чернильнице. “Да вот мараю все свое, – отвечал Гоголь, – да просматриваю корректуру набело своих сочинений, которые издаю теперь вновь”» [Кулиш, 2003, т. 2, с. 592]. «Свое» – это, очевидно, второй том поэмы, который Гоголь не переставал совершенствовать.

Правда, примерно в те же дни Гоголь жалуется С.Т. Аксакову: «Дело мое идет крайне тупо. Время так быстро летит, что ничего почти не успеваешь. Вся надежда моя на Бога, который один может ускорить мое медленно движущееся вдохновение» [XIV, 267].

Но посреди спешных дел Гоголь находит время – 9 января – посетить театр по случаю бенефиса Щепкина. На сцене Большого было представлено несколько пьес: «Беда от сердца и горе от ума», «Вести, или Убитый живой», «Письмо без адреса», «Гаррик во Франции», а также интермедия «Артисты между собой» ([Мвед. 1852. № 4. 8 января]; указано Л. Ланским [ЛН. Т. 58. С. 743]). Встретивший его на этом спектакле Н.А. Рамазанов писал на следующий день А.А. Иванову: «...Николай Васильевич здрав, но крайне задумчив и скупен...» [ЛН. Т. 58. С. 742].

Все же Гоголь продолжает интересоваться и другими театральными делами. Врач А.Т. Тарасенков, познакомившийся с Гоголем в самом начале 1852 г., видел, как к писателю приходил Дмитрий Васильевич Живокини (ум. 1890), сын знаменитого В.И. Живокини. Живокини-младший «в этот же вечер должен был в первый раз исполнять роль Анучкина» и «(вероятно, по совету Гоголя) выполнил эту роль проще, естественнее, нежели она была выполнена прежде, и, главное, без кривляния и фарсов, т. е. так, как Гоголь желал...». «По всему видно, – заключает мемуарист, –

что Гоголь в это время еще был занят и своими творениями, и всем житейским; а это случилось не более, как за месяц до его смерти» [Тарасенков, с. 176].

Гоголь трудился, отдавался «всему житейскому», но в глубине души не утихала тревога и дурные предчувствия. В ночь на новый 1852 год, поднимаясь с первого этажа, где он жил, на второй к А.П. Толстому, Гоголь неожиданно встретил выходящего от графа известного врача Федора Петровича Гааза (1780–1853). «Гааз ломаным русским языком старался ему сказать свое приветствие и между прочим, думая выразить известную мысль одного писателя, сказал, что он желает ему такого нового года, который бы даровал ему *вечный год*» [Шенрок, т. 4, с. 850; курсив в оригинале; см. также: Тарасенков, с. 178]. Это пожелание невольно прозвучало в тон той реплики, которую совсем недавно напутствовал Гоголя в Оптиной пустыни отец Макарий, реплики, в которой тот почувствовал зловещий смысл («...отчего вы, прощаясь со мной, сказали: в последний раз?»). Во всяком случае, «присутствовавший (возможно, А.П. Толстой. – Ю. М.) тут же заметил, что эти слова (Гааза. – Ю. М.) произвели на Гоголя невыгодное впечатление и как бы поселили уныние...» [Шенрок, т. 4, с. 850].

Дурные предчувствия вскоре начали сбываться. В середине января или раньше тяжело заболела жена Хомякова Екатерина Михайловна, сестра Николая Михайловича Языкова, скончавшегося пятью годами ранее. Хомякова, так же как и ее брат, были душевно близки Гоголю. Николай Васильевич часто навещал больную, а «когда она была уже в опасности, – свидетельствует Тарасенков, – при нем спросили у доктора Альфонского, в каком положении он ее находит», и тот «отвечал вопросом: “Надеюсь, что ей не давали каломель, который может ее погубить?” Но Гоголю было известно, что каломель уже был дан. Он вбегает к графу и бранным голосом говорит: “Все кончено, она погибнет, ей дали ядовитое лекарство!”» [Воспоминания, с. 514].

26 января Екатерина Михайловна умерла – ей было всего 35 лет и она оставила семерых маленьких детей. Это событие потрясло Гоголя. По свидетельству Хомякова, «он сказал, что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всю душою, особенно же Языков» [Хомяков, т. 8, с. 200]. Гоголь пытается примириться с утратой со своей, христианской, точки зрения. У гроба покойной он сказал: «Ничто не может быть торжественнее смерти... жизнь не была бы так прекрасна, если бы не было смерти» [Кулиш, 2003, т. 2, с. 594]. Но самовнушение не помогало – оно

«не спасло его сердце от рокового потрясения: он почувствовал, что болен тою самою болезнью, от которой умер отец его – именно, что на него “нашел страх смерти”...» [Там же].

На панихиде Гоголь сказал: «“Все для меня кончено!” С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве...» [Хомяков, т. 8, с. 200]. Гоголь едва выдержал до конца панихиды. На другой день, зайдя к Аксаковым, Гоголь объяснил, «что это его очень расстроило». Потом, сообщает Вера Сергеевна матери Гоголя, «задумался так, что нам страшно стало: он, казалось, совершенно перенесся мыслями туда и оставался в том же положении так долго, что мы нарочно заговорили о другом, чтоб прерывать его мысли» [Аксаков С., с. 242].

На похороны Хомяковой, состоявшиеся 29 января, Гоголь не пошел. Аксаковым на следующий день объяснил, «что слишком был расстроен». В тот же день утром, до посещения Аксаковых, Гоголь один отслужил панихиду по Екатерине Михайловне, помянув «вместе всех близких, прежде отшедших; и она (рассказывала В.С. Аксакова со слов Гоголя. – Ю. М.) как будто в благодарность, привела их всех так живо всех перед меня. Мне стало легче...» [Там же. С. 242–243].

Однако Гоголь прибавил: «“Но страшна минута смерти” – “Почему же страшна?” – сказал кто-то из нас. – “Только бы быть уверену в милости Божией к страждущему человеку, и тогда отродно думать (о смерти)”. – “Ну, об этом надо спросить тех, кто перешел через эту минуту”, – сказал он [Гоголь]» [Там же. С. 243]. Гоголя страшил – и это с давних лет – сам момент перехода рубежа, а затем, конечно, и Страшный суд.

Все же, как подметила Вера Сергеевна, после того как Гоголь отслужил один панихиду и увидел в воображении умерших близких людей, «он сделался спокоен, как-то светел духом, почти весел». Таким его видели несколько дней, вплоть до субботы, на которую приходилось Сретение. Это подтверждает и Шевырев (в письме к М.Н. Синельниковой): «За неделю до масленицы Гоголь казался совершенно здоровым, бодрым. В течение всей зимы я радовался за него, что он хорошо выносит московскую зиму, которой боялся. Нередко обедал он у нас, после обеда занимался он у нас чтением корректур первого и второго тома своих сочинений, в которых он исправлял слог, а я правил под диктовку его... В последний раз занимались мы с ним этим делом в четверг перед масленицей <31 января>» [РС. 1902. Май. С. 440].

Но потом вновь начались колебания в самочувствии и настроении Гоголя. В понедельник на масленой он показался окружающим несколько утомленным и сказал, что «чувствовал какой-то холод ночью». Все решили, что это нервное и не страшно, и Гоголь с этим согласился. В среду навестившим его Гоголь сказал, что «не совсем хорошо себя чувствует». Поскольку он не появлялся у Аксаковых несколько дней, Вера Сергеевна «написала записочку, чтоб узнать об его здоровье: велели сказать, что не в состоянии отвечать». Но на другой день Гоголю стало «лучше» [Аксаков С., с. 244]. И так повторялось много раз.

В начале 1852 г. произошло несколько встреч со Щепкиным. Одна – во время страстной недели. «[П.В.] Нашокин и Щепкин позвали Гоголя на блины в пятницу в трактир Бубнова. Когда они за ним пришли, он наотрез отказался. Щепкин начал кощунствовать. Он его взял за ушко: “Ты когда-нибудь будешь за эти слова раскаиваться, смотри, чтобы не было поздно”» [Смирнова, 1989, с. 67].

Щепкин не один раз «искушал» Гоголя. Как-то, увидя Гоголя «в хандре и желая его развеселить, рассказал ему много смешного; и когда тот оживился, он напомнил, что у него нынче отличнейшие блины, самая лучшая икра и т. д., расписал ему обед так, что у Гоголя, как говорится, слюнки потекли. Гоголь обещался приехать; условились во времени; но он приехал к Щепкину за час до обеда и, не застав его, приказал сказать, что извиняется и обедать не будет оттого, что вспомнил о прежде данном обещании обедать в другом месте. От Щепкина он возвратился домой и обедать не поехал никуда. Это, кажется, было его последнее свидание с ним. Спустя несколько дней он велел уже отказывать всем своим знакомым...» [Тарасенков, с. 180].

Существует и другая версия последнего свидания Гоголя со Щепкиным. Она записана Ф. Буслаевым со слов Щепкина уже после смерти писателя (19 марта 1852 г.).

Как-то недавно прихожу к Гоголю – так рассказывал Щепкин. – Он сидит, пишет что-то. Кругом на столе разложены книги, все религиозного содержания.

- Неужели все это вы прочли? – спрашиваю я.
- Все это надо читать, – отвечал он.
- Зачем же надо? – говорю я: так много всего написано для спасения души, а ничего не сказано нового, чего не было бы в Евангелии. А я, признаться, думаю, что всего этого написано слишком много – запутанно.



Тут Гоголь принужденно улыбнулся, сказавши что-то вроде: Какой шутник!

А я продолжал: Я и заповеди для себя сократил, всего на две: любви Бога и любви ближнего, как самого себя.

Потом, – продолжал Щепкин, – я рассказал Гоголю следующий случай: Ехал я из Харькова, в то время как были открыты мощи Митрофания. Дай, думаю, заеду в Воронеж, не из набожности, а так – хотелось видеть, что может сделать вера человека. Приезжаю в Воронеж. Утро было восхитительное. Я пошел в церковь. По дороге попался мне мужик с ведром; в ведре что-то бьется. Смотрю, стерлядь! Думаю себе: Митрофан еще подождет! Сторговал, купил рыбу и снес домой. Потом пошел в церковь. Дорогою так восхитился природой, как никогда не запомню. Было чудесное утро! Прихожу в церковь. Народу множество, и такая преданность, такая вера, что я и сам умилился до слез и сам стал молиться: «Господи, Боже мой! Весь этот народ пришел Тебя молить о своих нуждах, бедах и болезнях. Только я один ничего у Тебя не прошу – и молюсь слезно! Неужели тебе нужны, Господи, наши лишения? Ты дал нам, Господи, прекрасную природу, и я наслаждаюсь ей и благодарю Тебя, Господи, от всей души».

«Тогда, – присовокупил Михаил Семенович, – Гоголь вскочил и обнял меня, воскликнув: Оставайтесь всегда таким» [Буслаев, 1886, с. 237–238; по свидетельству Щепкина, этот разговор имел место «за три недели до смерти Гоголя»: Шенрок, т. 4, с. 806].

Гоголевский жест был одновременно и знаком примирения и, что ли, согласия со Щепкиным в том, что главное для христианина – любовь, а не верность ритуалу.

## Гоголь и Матвей Константиновский

После 26 января в Москву из Ржева приехал Матвей Константиновский, с которым А.П. Толстой познакомил Гоголя еще до выхода «Выбранных мест...» и с которым у писателя по поводу этой книги возник заочный спор (см.: наст. издание, с. 100 и далее). Теперь ржевскому протоиерею предстояло сыграть видную роль в финале гоголевской судьбы.

Роль эта оценивается двояко. Одна точка зрения представлена Д.С. Мережковским. По мнению Мочульского, Мереж-

ковский «изображает отца Матвея мрачным аскетом-изувером, внушившим писателю мысль об *уничтожении* “Мертвых душ” и тем убившим сначала его душу, а потом и тело» [Мочульский, с. 119; курсив в оригинале]. Сам Мережковский, однако, не столь резок, хотя вывод его в общем негативный: о. Матвей, воплощавший «непоколебимую крепость, каменный кряж православия», содействовал отвращению Гоголя от мира и от писательского дела: *«Жить в Боге значит жить вне самого тела»*; святость значит бестелесность, бесплотность; плоть значит грех; дух противоплагается плоти... Отсюда вывод: «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей...» [Мережковский, с. 293; курсив в оригинале].

Согласно же Мочульскому, воздействие Матвея Константиновского на Гоголя в последний период жизни писателя было благотворным, чуть ли не спасительным. «Он стал влиять на Гоголя, стараясь приблизить его к евангельскому идеалу и углубить его внутреннюю жизнь. В момент религиозного кризиса Гоголь обратился именно к о. Матвею, признавшись ему, что теряет веру; о. Матвей своими наставлениями и молитвами помог Гоголю пережить кризис» [Мочульский, с. 123].

Обращаясь к реальному облику о. Матвея, мы отчетливо видим, что современники отмечали в нем два начала. Прежде всего беспредельную набожность, строжайшую верность всем правилам и узаконениям, которые он считал высшими предписаниями.

Вообще время проводил [он] так: встав в 3 часа утра, он отправлялся к утрени и с первым ударом колокола был уже в церкви. Оттуда возвращался в 10, в 11 или даже в 12 часов, отслужив или отслушав утрению и литургию. Если дома не было посетителей, он на несколько минут засыпал сидя. Спустя час после литургии садился за скромный обед. После обеда читал книгу или чем-нибудь другим занимался, потом отправлялся к вечерне. Вечером опять что-нибудь читал, либо занимался с посетителями, либо с домашними; в 6 часов немного закусывал, в 9 часов становился на молитву, а в 10 часов ложился спать. В 12 часов просыпался и опять становился на молитву и потом до 3 часов спал [Грещищев, с. 276].

Столь же строг был о. Матвей в выборе пищи. Едва получив диаконский чин, он отказался от мясной пищи и не употреблял ее до самой смерти. Рыбные блюда ел редко, а в среду и пятницу – никогда. Особенно строго соблюдал он посты [см.: Грещищев, с. 250]. Константиновский «ел очень мало, не только строго соблюдал

постные дни, но даже не благословлял стола в среду и пятницу прежде, нежели удостоверится, что нет ничего скоромного...» [Тарасенков, с. 179].

Упорство и бесстрашие его в выполнении своего долга были безграничны. Предание сохранило эпизод, о котором поведал бывший письмоводитель о. Матвея о. Э. Ви-й:

Когда по доносу о том, будто он смущал народ своими проповедями, его вызвали к тверскому архиерею, и тот стал кричать на него, грозя упрятать его в острог, о. Матвей отрицательно закачал головой: «Не верю, ваше преосвященство». – «Как ты смеешь так отвечать?» – загремел владыка. «Да, не верю, ваше преосвященство, потому что это слишком большое счастье пострадать за Христа. Я не достоин такой чести». Эти слова так озадачили владыку, что он с тех пор оставил о. Матвея в покое [Щеглов, 1901].

Такой же самоотдачи о. Матвей требовал от других. К некоему Ф. С-чу, торговцу, о. Матвей обращается с увещанием:

Ты лишился двух жен. Я не думаю, чтоб счастлив был получивши и третью жену... Ты лишился второй жены, – что значит, они тебе, должно быть, не нужны. Ты пишешь, что тебе без жены жить трудно, – а кому же легко было достигать царствия небесного? <...> Тебе также и то известно, как умерщвляют страсти: поменьше да пореже ешь, не лакомься, чай-то оставь, а кушай холодненькую водицу, да и то, когда захочется, с хлебом; меньше спи, меньше говори, а больше трудись [ДБ. 1861. Вып. 49. С. 958–960].

И вместе с тем Матвей Константиновский порою бывал совершенно простым, располагающим к себе человеком.

...Он был невысок ростом, немножко сутоловат; у него были серые, несколько не красивые и даже не особенно привлекательные глаза, реденькие, немножко вьющиеся светло-русые (к старости, конечно, с проседью) волосы, довольно широкий нос; одним словом, по наружности и по внешним приемам он был самый обыкновенный мужичок, которого от крестьян села Езьска или Диева (в селах Диево и Езьско Бежецкого уезда Константиновский одно время занимал должность священника. – Ю. М.) отличал только покрой его одежды. Правда, во время проповеди, весьма прочувствованной и весьма часто восторженной, а также при совершении литургических действий лицо его озарялось и светлело, но это были преходящие последствия внезапного восхищения, по миновании коих наружность его принимала свой обычный незначительный вид [Филиппов, с. 110].

И это свидетельство подтверждается другими:

Говорят, что о. Матфей был суровый, печальный, строптивый, мрачный фанатик. Ничего такого не было в о. Матфее. Напротив, он всегда был жизнерадостен; мягкая улыбка очень часто виднелась на его кротком лице, никто не слышал от него гневного слова, никогда он не возвышал своего голоса; всегда был ровный, спокойный, самообладающий. <...> Проповедь о. Матфея всегда была импровизированная, на текст дневного евангелия. Простота слова, живая образность поражала слушателя, искреннее убеждение проповедника неотразимо действовало на сердце. Несильный голос его проносился над головами слушателей, и все с затаенным дыханием ловили каждый звук его [Образцов, с. 136].

«Отец Матвей, – вспоминает М.П. Погодин, – говорил о Боге так живо, так наглядно, как бы о близком, знакомом ему человеке, которого он видел вчера, получил от него какие-то указания, чувствует на себе какие-то действия ныне» [Феодор, 1997, с. 333]. И еще свидетельство Смирновой-Россет: «Матвей Алек<сандрович> был точно замечательный человек. Кротость и смирение его были ни с чем несравнимы. <...> На все философски-религиозные разговоры он отвечал только одной коротенькой фразой: “Как я рад, что Бог всего выше” С Гоголем они молились всегда на коленях и часто прибегали к исповеди и причастию» [Смирнова, 1989, с. 67].

Вот эта простота в соединении с неколебимой внутренней убежденностью привлекали к о. Матвею Гоголя. В пору, когда Гоголь сомневался в самом себе, осуждал себя за недостаток веры, он увидел в Константиновском возможность реальной поддержки. Советы о. Матвея были просты и конкретны, что отвечало складу сознания Гоголя (вспомним конкретность его рекомендаций в «Выбранных местах...»), выполнение этих советов обещало душевное успокоение, а значит, и преодоление чувства «богооставленности» – в этом Мочульский прав. Мучительная рефлексия, размышления на сложные богословские темы отодвигались на второй план – нужно было только принять требуемый образ поведения, наглядно и успешно демонстрируемый самим проповедником, т. е. Матвеем Константиновским («О друг мой и самим Богом данный мне исповедник!..» [XIV, 41]). Поэтому-то Гоголь готов был признать в о. Матвее и высшие интеллектуальные достоинства. «Что вам сказать о нем? – писал Гоголь А.П. Толстому еще 25/13 апреля 1848 г. – По-моему, это умнейший человек из всех, каких я доселе знал, и если я спасусь, так это, верно, вследствие

его наставлений, если только, нося их перед собой, буду входить больше в их силу» [XIV, 59].

Однако условная интонация гоголевского утверждения («...если только») была неслучайной. Советы о. Матвея были просты, наглядны, конкретны, но категоричны. Следование им давалось нелегко. Особенно если общение происходило не заочно, не путем переписки, но, как сегодня сказали бы, вживую, при ежедневном контроле наставника.

Приехав в Москву, о. Матвей имел возможность довольно часто встречаться с Гоголем. Нет никаких оснований не верить свидетельству Тарасенкова, лечившему Гоголя и регулярно посещавшему дом Толстого. К Гоголю о. Матвей обращал «строгие поучения»:

...Он прямо и резко, не взвешивая личности и положения поучаемого, с беспощадной строгостью и резкостью проповедовал истины евангельские и суровые наставления учителей церкви. Основание его наставлений заключалось в том, что строгое выполнение учения православной церкви составляет необходимое условие духовного совершенства для всех, кто поставил целью своей жизни спасение души. Применяя свою речь к предлагаемым вопросам, он объяснил, как ничто земное не должно нас прельщать: если мы охотно делаем все для любимого лица, то в чем мы можем отказать для Иисуса Христа, сына Божия, умершего за нас? <...> Слабость тела не может нас удерживать от пощения: какая у нас забота? Для чего нам нужны силы?.. Много званых, мало избранных... Путь в царствие Божие тесен... Мы отдадим отчет за *всякое слово праздное* и проч. [Тарасенков, с. 179; курсив в оригинале].

Видно, мягкость и негневливость о. Матвея уживались или могли сменяться жесткой беспощадностью.

«Такие, или подобные речи, – делает вывод Тарасенков, – соединенные с обличением в неправильной жизни, хотя и вызванные самим Гоголем, не могли не действовать на него, вполне преданного религии, восприимчивого и настроенного на мысль о греховности, смерти, вечности» [Там же].

И однажды Гоголь не выдержал, – «не владея собой, прервал его речь и сказал ему: “Довольно, оставьте, не могу долее слушать, слишком страшно”...» [Там же. С. 180].

Особенно болезненно воспринималось Гоголем все, что исходило от о. Матвея и касалось его творчества. Заставить себя поститься до полного изнеможения, молиться ночи напролет Го-

голь еще мог; но отказаться от своего дела, от своей писательской судьбы было труднее – смертельно трудно. Отстаивать перед Матвеем Константиновским свое право быть писателем Гоголю приходилось и раньше, причем это право он связывал с высшим предопределением. Еще 24 сентября <н. ст. 1847 г.> Гоголь записал о. Матвею: «Не знаю, сброшу ли я имя литератора, потому что не знаю, есть ли на это воля Божия...» Гоголь сомневается относительно «воли Божией» применительно к себе, но он ни минуты не сомневается в ее существовании вообще. «Признаюсь вам, – продолжает он письмо Константиновскому, – я до сих пор уверен, что закон Христов можно внести с собой повсюду... Его можно исполнять также и в званьи писателя» [XIII, 390]. Современным исследователем отмечено сходство этого утверждения с мыслью Григория Богослова: «...одно удерживаю за собой – словесность»; «это первое, что я возлюбил после Первого, то есть Божественного...»; «мой дар – слово» [Анненкова, 2012, с. 643]. Но у Григория Богослова этот вывод сделан без колебаний, у Гоголя – с потаенными сомнениями относительно его собственного дела.

Возможно, о. Матвей почувствовал внутреннюю «слабинку» Гоголя, когда бесцеремонно касался вопросов творчества. Но и у Гоголя наметилась своего рода защитная реакция. Поэтому впечатления и отклики о. Матвея на прочитанные или просмотренные им главы второго тома поэмы он старался переосмыслить или воспринять по-своему (об этом – ниже), как прежде стремился это сделать в отношении «Выбранных мест...». Между тем у Матвея Константиновского была своя программа переубеждения, как сейчас сказали бы, переориентации Гоголя, и очевидно, известная реплика о Пушкине была произнесена им в связи с этим.

О. Матвей, как духовный отец Гоголя, взявший на себя обязанность очистить совесть Гоголя и приготовить его к христианской непостыдной кончине, потребовал от Гоголя отречения от Пушкина: «отрекись от Пушкина, – потребовал о. Матвей – он был грешник и язычник...» Что заставило о. Матвея потребовать такого отречения? Он говорил, что «считал необходимым это сделать». Такое требование прозвучало во время одной из его последних встреч с писателем. Гоголю представлялось прошлое и страшило будущее. Только чистое сердце может зреть Бога, поэтому должно быть устранено все, что заслоняло Бога от неверующего сердца. «Но было и еще...» – прибавил о. Матвей. Но что же еще? Это осталось тайной между духовным отцом и духовным сыном. «Врача не обвиняют, когда он по серьезности болезни прописывает больному силь-

ные лекарства». Такими словами закончил о. Матвей разговор о Гоголе [Образцов, с. 137–141].

Мы можем только догадываться, что конкретно представляло собою это «сильное средство». Но, очевидно, оно заключалось в еще более резких словах и угрозах, чем те, которые произносились ранее. На Гоголя это произвело сильнейшее впечатление, возможно, он что-то ответил, во всяком случае, между «духовным отцом и духовным сыном» пробежала тень обиды и взаимного неудовольствия.

«Во вторник на масленице [т. е. 5 февраля] Гоголь проводил приезжего священника на станцию железной дороги и весьма был огорчен тем, что там обратил на себя всеобщее внимание, многие с ненасытным любопытством преследовали его» [Тарасенков, с. 180]. Но, очевидно, огорчение Гоголя отражало и общую, недружественную атмосферу прощания с о. Матвеем. Одна маленькая, но характерная деталь: ввиду холодной погоды Гоголь подумал было предложить о. Матвею свою шубу, но не сделал этого...

Однако уже на следующий день Гоголь отправляет Константиновскому письмо – говорит, что «еще вчера» (т. е. сразу же после проводов) намеревался «просить *извиненья* в том, что *оскорбил* вас», «крепко» благодарит за все, упоминает и эпизод с шубой («...Мне стало только жаль, что я не поменялся с вами шубой. Ваша лучше бы меня грела» [XIV, 271]).

В ответном письме от 12 февраля (кстати, единственном сохранившемся из его писем Гоголю) о. Матвей выражает удивление и радость, словно речь идет о раскaiвшемся; говорит о своей близости к нему, при этом в его голосе звучат теплые, почти родственные интонации («Христианская ваша ко мне откровенность и благодушие, не ошибусь скажу – сроднили вас со мною»); оценивает эпизод с шубой по благову намерению, пусть и невыполненному («Господь видел ваше усердие ко мне, и оно уже принято») и главное – поощряет и ободряет Гоголя на пути к благочестию. «Обыкновенно на пути сем встречает многое противоречащее духу Христову. Но побеждать надобно. Где труд, подвиг и победы, там и венец. Не бойтесь... Решимость нужна – и тут же все и трудное станет легко, и невозможное по внушению врага будет весьма возможно». Но при этом о. Матвей вновь напоминает, что совершиться все это может «с условием уклоняться от мира и всего иже в нем». И вновь, хотя и в смягченной форме, пугает, предостерегает от страшного: «Боюсь что-то я за вас – не зборол бы вас общий враг наш» [Весы. 1909. № 4. С. 67].

Как видим, роль, сыгранная о. Матвеем в жизни Гоголя, неоднозначная. С одной стороны, он действительно нейтрализовал или смягчал гоголевскую рефлексию по поводу недостаточности веры, слабости или искусственности религиозных стремлений, предлагая вполне отчетливые меры духовного совершенствования. Тем самым он вносил долю спокойствия и в творческое состояние Гоголя, ибо все в его психике вело или было связано с этим состоянием. В. Розанов назвал о. Матвея Мефистофелем Гоголя: «Без него так же неполон Гоголь, как всякий франкфуртский чернокнижник без черного пуделя, преобразующегося в простого дьявола». Но «гоголевский Мефистофель» не выдвигал соблазнов, не покушался на ортодоксальность, он скорее боролся с первым и отстаивал второе, обнаруживая во всех случаях непоколебимую последовательность и применяя все средства, от участливости, мягкости, располагающей к себе родственности до строгости, а порою жесткости. Поэтому с продолжением данной Розановым характеристики о. Матвея можно согласиться: «О. Матвей своей упрямой “верою”, стоявшей на фундаменте неведения и равнодушия, житейского индифферентизма и умственной узости, не только сдвинул гору-Гоголя, но и заставил ее шататься...» [Русское слово. 1907. № 20. 31 августа]. И поэтому умиротворение Гоголя обращалось тревогой, спокойное принятие мира его отвержением, расположение к творчеству подавлением или угнетением творческих сил.

Врач Тарасенков свидетельствует о переменах в настроении Гоголя, наступивших после отъезда о. Матвея:

Гоголь обложил себя книгами духовного содержания более, нежели прежде... С этих пор он бросил литературную работу и всякие другие занятия, стал есть весьма мало... Свое пощение он не ограничивал одной пищей, но и сон умерил до чрезмерности; после ночной продолжительной молитвы он вставал рано и шел к заутрени, тогда как до сего времени не выходил со двора, не выспавшись достаточно и не напившись крепкого кофе. Это все не могло не обнаружить на его организм сильного действия [Тарасенков, с. 180].

Общую же роль о. Матвея в контексте воздействовавших на Гоголя факторов в последние дни его жизни описывает И.А. Ильин в своей цюрихской лекции о Гоголе (13 марта 1944 г.):

Отчаявшийся в своем художественном даровании, оскорбленный и разочарованный завистливой хулой многих тогдашних авторитетов,



измученный аскетически-фанатическими советами о. Матвея Константиновского, требовавшего от Гоголя не более и не менее как отречения навсегда от «греховного» духа Пушкина, с ослабленным здоровьем и нервами в результате слишком продолжительной и неумолимой аскезы, покинутый и одинокий, – бедный гениальный мученик свернул крылья и без сопротивления ушел из жизни. Его последние слова были: «Как сладко умирать!» [Полторацкий, с. 94].

### 6–21 февраля

Однако, прежде чем это произошло, Гоголю предстояло прожить еще несколько мучительных дней.

Наступившую масленицу он посвятил говенью, причем, по выражению Тарасенкова, «старался сделать более, нежели предписано уставом»: «...молился весьма много и необыкновенно тепло; от пищи воздерживался до чрезмерности, за обедом употреблял несколько ложек капустного рассола или овсяного супа на воде». Каких-либо угрожающих симптомов Тарасенков в это время еще не видел – «болезнь выражалась только одной слабостью», что было естественно при таком изнурении. «Несмотря на это ослабление тела, Гоголь продолжал поститься и проводил ночи в молитве; ослабление возрастало со дня на день» [Тарасенков, с. 181].

Чтобы несколько успокоить Гоголя, А.П. Толстой предложил ему причаститься еще до окончания говения. Причащение состоялось в четверг, 7 февраля в церкви Св. Саввы Освященного на Девичьем поле. Гоголь явился туда еще до начала заутрени, чтобы исповедаться у своего духовника Иоанна Никольского; потом перед принятием Святых Даров пал ниц и долго плакал. Но спокойствия Гоголю это не принесло. «В движениях его заметна была чрезвычайная слабость; он едва держался на ногах. Несмотря на то, вечером он опять приехал к тому же священнику и просил отслужить благодарственный молебен, упрекая себя, что забыл исполнить это поутру» [Кулиш, 2003, т. 2, с. 595].

В тот же день Гоголь заехал к жившему недалеко от храма Погодину, который нашел его «очень расстроенным». Гоголь «остался по-прежнему мрачен, по-прежнему упорен в своих действиях; не хотел в этот день ничего есть, и когда съел просфору,

то назвал себя обжорой, окаянным, нетерпеливцем и сокрушался сильно» [Тарасенков, с. 181].

Но из дома Гоголь еще выходил. В субботу 9 февраля он посещает Хомякова и, словно прощаясь, ласкает его маленького сына, своего крестника [Барсуков, т. 11, с. 536].

В те же дни (когда точно – неизвестно) Гоголь на извозчике предпринял загадочную поездку в Преображенскую больницу, где содержался известный в Москве юридивый Иван Яковлевич Корейша. Перед этим посмотреть на Ивана Яковлевича ездил Погодин, который нашел, что тот представляет собою «примечательное явление». Погодину показалось, что Корейша «говорил нечто и на мой [т. е. Погодина] счет, впрочем, неясно» [Там же. Т. 10. С. 319], и уточнять Погодин не стал, но рассказал о своей поездке Гоголю, и тот решил последовать его примеру.

«Подъехав к воротам больничного дома, он [Гоголь] слез с санок, долго ходил взад и вперед у ворот, потом отошел от них, долгое время оставался в поле, на ветру, в снегу, стоя на одном месте, и наконец, не входя во двор, опять сел в сани и велел ехать домой» [Тарасенков, с. 181–182]. Точная цель этой поездки так и осталась неизвестной. Не привлекало ли Гоголя традиционно связанное с юридивым ощущение провиденциальности, возможности соприкоснуться с тайной своего будущего? Ведь, по свидетельству Тарасенкова, Корейшу «весьма многие навещают», «испрашивают у него советов в трудных обстоятельствах жизни, берегут его письменные замечания» [Там же. С. 182]. Во всяком случае, свое намерение Гоголь до конца не довел и не обнаружил<sup>74</sup>.

В масленую неделю (точная дата также неизвестна) Гоголь пишет письмо матери, оказавшееся последним. Сообщает, что не может «приняться ни за труды, как следует, ни за обычные дела, которые оттого приостановились», и просит об одном: «Молитесь и обо мне, молитесь и о себе вместе. О, как нужны нам молитвы ваши!» [XIV, 271–272].

В ночь с пятницы на субботу, с 8 на 9 февраля, с Гоголем произошло «что-то необыкновенное»: проснувшись среди ночи, он велел привести к нему приходского священника и «объяснил ему, что не довольствуется недавним причащением, и просил тотчас же опять причастить и соборовать себя, потому что он видел себя мертвым, слышал какие-то голоса и теперь почитает себя уже умирающим. Священник, видя его на ногах и не заметив в нем ничего опасного, уговорил его отложить исполнение таинств до другого времени» [Тарасенков, с. 182–183], да и сам Гоголь,

по-видимому, успокоился (в этот день, 9-го, он счел возможным посетить Хомякова, о чем упоминалось выше). Однако подспудно Гоголь «не прерывал размышлений, глубоко его потрясавших» [Там же. С. 183], – размышлений о наступающей смерти.

И вот на следующий день, 10 февраля, Гоголь обращается к Толстому с просьбой по смерти его передать его рукописи (очевидно, прежде всего второго тома «Мертвых душ») московскому митрополиту Филарету с тем, чтобы тот решил: что нужно печатать, а что оставить неизданным. Но Толстой отказался это сделать, «чтоб не показать больному, что и другие считают его положение безнадежным» [Кулиш, 1854, с. 194].

И тогда Гоголь решил распорядиться по-своему.

Случилось это на другой день, в ночь с 11 на 12 февраля. Единственным свидетелем произошедшего был слуга Гоголя Семен, который впоследствии рассказывал обо всем другим лицам – Тарасенкову, Бергу, Погодину. Их сообщения в основном совпадают. Приведем рассказ Погодина.

Ночью во вторник он долго молился один в своей комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его, тепло ли в другой половине его покоев. «Свежо», – отвечал тот. «Дай мне плащ, пойдем: мне нужно там распорядиться». И он пошел с свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришел, велел открыть, как можно тише, чтоб никого не разбудить, и потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был принесен, он вынул оттуда связку... Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал: «Барин, что вы это, перестаньте!» – «Не твое дело», – отвечал он, молясь. Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал, после того как обгорели углы у тетрадей. Он заметил это, вынул связку из печки, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню, зажег опять и сел на стуле перед огнем, ожидая, пока все сгорит и истлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал... [М. 1852. № 5. С. 49].

С этого времени настроение Гоголя стало еще мрачнее; он никого к себе не пускал или пускал на несколько минут, отказывался от пищи, отказывался принимать лекарства. Думал о надвигающейся смерти и дрожащей рукой писал на клочках бумаги наставления самому себе: «Как поступить, чтобы вечно, признательно и благодарно помнить в сердце полученный урок?»; «Если не будете малы, не ввидите в Царствие Божие».



Дом на Никитском бульваре в Москве,  
где умер Н.В. Гоголь

И еще: «Помилуй, Господи, меня грешного! Свяжи сатану вновь...» [Тарасенков, с. 196]. Так Гоголь отзывался на грозное предостережение Матвея Константиновского: «Боюсь я что-то за вас – не зборвал бы вас общий враг наш»...

Хомякову, попытавшемуся хоть немного ободрить Гоголя, тот сказал: «...*надобно же умирать, а я уже готов, и умру...*» Толстому же, попробовавшему отвлечь Гоголя житейскими предметами, которые прежде его занимали, сказал «с благоговейным изумлением: “Что это вы говорите! Мне ли рассуждать об этих вещах, когда я готовлюсь к такой страшной минуте!”» [Тарасенков, с. 184; курсив в оригинале]. И княжна В.Н. Репнина, видевшая Гоголя за несколько дней до его кончины, отметила: «Он был ясен, но сдержан и всеми своими мыслями обращен к смерти...» [РА. 1890. № 10. С. 232].

В один из последних дней Гоголя его навещает Арнольди. Врачей не было, все они после консультации отправились на второй этаж в кабинет Толстого, и Арнольди почти беспрепятственно прошел к Гоголю. Теперь он помещался не в комнате налево от входной двери, а в другой, что направо, на том же первом этаже.

В последний раз Арнольди виделся с Гоголем в Новый год, когда писатель сообщил ему, что второй том поэмы «совершенно окончен». А до этого были другие встречи – на представлении «Ревизора» в Малом театре, в доме сестры Арнольди Смирновой и т. д.

Перемена в Гоголе поразила Арнольди: тот лежал «с закрытыми глазами, худой, бледный»; «длинные волосы его были спутаны и падали в беспорядке на лицо и на глаза; он иногда вздыхал тяжело, шептал какую-то молитву и по временам бросал мутный взор на икону, стоящую у ног на постели, прямо против больного. В углу, в кресле, вероятно, утомленный долгими бессонными ночами, спал его слуга, малороссиянин [Семен]».

Арнольди продолжает: «Долго стоял я перед Гоголем, вглядывался в лицо его и, не зная отчего, почувствовал в эту минуту, что для него все кончено, что он более не встанет».

Тут Арнольди стал свидетелем «страшного разговора между двумя служителями». Один из них предложил насильно стащить больного с постели и поводить по комнате – авось разойдется... «Да как же это можно? Он не захочет... кричать станет» – «Пусть его кричит... после сам благодарить будет, ведь для его же пользы!»

И как знать, может быть, и осуществили бы задуманное, если бы Арнольди «не уговорил их не делать этого опыта с умирающим...» [Воспоминания, с. 497–498].

В субботу первой недели поста, 16 февраля, Гоголя навещил Тарасенков. Он не видел больного около месяца и тоже ужаснулся перемене:

...Передо мной был человек, как бы изнуренный до крайности чахоткой, или доведенный каким-либо продолжительным истощением до необыкновенного изнеможения. Все тело его до чрезвычайности похудело; глаза сделались тусклы и впали, лицо совершенно осунулось, щеки ввалились, голос ослаб, язык с трудом шевелился... Мне он показался мертвецом с первого взгляда... Когда я подошел к нему, он приподнял голову, но недолго мог ее удержать прямо, да и то с заметным усилием. Хотя неохотно, но позволил он мне пощупать пульс и посмотреть язык: пульс был ослабленный, язык чистый, но сухой; кожа имела натуральную теплоту. По всем соображениям видно было, что у него нет горячечного состояния, и неупотребление пищи нельзя приписать отсутствию аппетита [Тарасенков, с. 185].

Тарасенков считал, что состояние Гоголя усугубляется упорным голоданием и отказом от врачевания. Об этом он сказал А.П. Толстому, а тот, в свою очередь, митрополиту Филарету.

Филарет прослезился и с горечью сообщил мысль, что на Гоголя надо было действовать иначе: следовало убеждать его, что его спасение не в посте, а в послушании. После этого он ежедневно призывал к себе окружавших больного священников, расспрашивал их о ходе болезни, о явлениях, случающихся вне, и о поступках больного и препоручил им сказать ему от себя (сам он был болен в это время), что он его просит исполнять назначения врачебные во всей полноте [Тарасенков, с. 187].

Совсем другое отношение, другой стиль поучений, чем у Матвея Константиновского! Недаром Георгий Флоровский называл Филарета представителем «сердечного богословия» [Флоровский, с. 184]. А современный исследователь деятельности Филарета отмечает:

...Митрополит Московский был много авторитетнее ржевского протоиерея, однако выражал интересы просвещенного церковного меньшинства. Да, они оба стояли на твердых православных позициях... но как же они разнятся в своем отношении к пастве. Со стороны митрополита мы видим не только большую терпимость и широту взглядов, но и понимание специфичности такой духовной деятельности, как искусство [Яковлев, с. 181].

«Понимание специфичности» искусства – это, может быть, и преувеличение, но налицо отсутствие догматизма, чуткость, бережность. Приходится лишь пожалеть, что митрополит Филарет вмешался в ход событий так поздно.

Впрочем, кое-какое действие это вмешательство возымело. 17 февраля, в воскресенье, приходскому священнику удалось убедить больного принять ложку клещевидного масла. Согласился Гоголь и поставить клизму. «Но это было только на словах, а на деле он решительно отказался, и во все последующие дни он уже более не слушал ничьих увещаний и не принимал более никакой пищи (три дня), а спрашивал только пить красного вина» [Тарасенков, с. 187].

На следующий день, в понедельник, 18 февраля, Гоголь «улегся хотя в халате и сапогах, и уж более не вставал с постели» [Там же]. В тот же день духовник предложил Гоголю приобщиться и пособороваться маслом. «На это он согласился с радостью и выслушал все Евангелия, держа в руках свечу, проливая слезы» [Кулиш, 2003, т. 2, с. 599–600]. На следующий день, во вторник, Гоголю стало как будто немного легче, но уже в среду, 20 февраля,

началась жестокая нервическая горячка. Было ясно, что болезнь вступила в критическую фазу.

Утром того же дня собрался консилиум: помимо Тарасенкова, А.И. Овер, Евениус, С.И. Клименков, К.И. Сокологорский (лечивший Гоголя Ф.И. Иноземцев по причине болезни не присутствовал). Врачи решили применить радикальные средства, которые оборачивались жестокостью и мучительством больного. «Когда давили ему живот, который был так мягок и пуст, что чрез него легко можно было ощупать позвонки, то Гоголь застонал, закричал... Наконец, при продолжительном исследовании, он проговорил с напряжением: “Не тревожьте меня, ради Бога!”» [Тарасенков, с. 190].

Но врачи были неумолимы; больному ставили пиявки к носу, сделали обливание головы холодной водой в теплой ванне, прикладывали горчичники к конечностям и т. д. Врач Ворвинский, приехавший позже и не участвовавший в консилиуме, попытался отменить часть этих мер, но, по свидетельству Тарасенкова, его никто не хотел слушать. Тем более не могли повлиять на ход дела Толстой, а также навещавшие больного друзья и знакомые – среди них были И.В. Капнист, Хомяков, Погодин, Свербеев, А.М. Языков, которых, как правило, к Гоголю не пускали (см., в частности, свидетельство Свербеева [ЛН. Т. 58. С. 747]).

Врачи обходились с Гоголем «как с сумасшедшим, кричали перед ним, как перед трупом», – говорит Тарасенков, который, чтобы не видеть мучений страдальца, ушел на несколько часов и вернулся к вечеру. Он оставался с Гоголем до полуночи, наблюдая неуклонное ухудшение его состояния.

Пульс уже с трудом прощупывался, дыхание становилось все тяжелее, речь невнятной. Но вдруг «часу в одиннадцатом он закричал громко: “Лестницу, поскорее давай лестницу!..”» Это было расценено как желание Гоголя встать, и его подняли с постели, посадили в кресло.

«Когда его опять укладывали в постель, он потерял все чувства; пульс у него перестал биться, он захрипел, глаза его раскрылись, но представлялись безжизненными. Казалось, наступает смерть, но это был обморок». Пульс вскоре возвратился. Но Гоголь теперь постоянно лежал на спине с закрытыми глазами и не произносил ни слова.

«В двенадцатом часу ночи стали холодеть ноги»; «лицо осунулось, как у мертвеца, под глазами посинело, кожа сдела-

лась прохладной и покрылась испариной» [Тарасенков, с. 192]. В таком положении Тарасенков оставил больного, чтобы утром вернуться и участвовать в консультации, назначенной на 10 часов. Но когда Тарасенков приехал часом раньше – это было уже 21 февраля – он застал мертвое тело. Гоголь скончался в 8 часов утра [Мвед. 1852. № 24].

### «...Жить без Гоголя»

Хотя смерть Гоголя не была неожиданностью, она потрясла современников, в нее трудно было поверить. «Печальная весть в несколько часов разнеслась по городу; кто горевал о потере Гоголя, кто о потере его умственного наследия» [Тарасенков, с. 192].

«Скажу вам без преувеличения, – писал И.С. Тургенев 3 (15) марта И.С. Аксакову, – с тех пор, как я себя помню, ничего не произвело на меня такого впечатления, как смерть Гоголя. Эта страшная смерть – историческое событие, понятное не сразу; это тайна, тяжелая, грозная тайна – надо стараться ее разгадать, но ничего отрадного не найдет в ней тот, кто ее разгадает...» [Тургенев И. Письма, т. 1, с. 49–50].

О.М. Бодянский, 28 февраля: «...я хожу, как угорелый, и на лекции по сю пору не соберусь никоим путем. Все он, один он – в уме и в глазах!» [Воспоминания, с. 448].

Н.Ф. Щербина, 22 февраля: «Слышим вопли, стон и клики / Лучших родины сынов: / Умер Гоголь наш великий, / Жив и здравствует Сушков!» (стихотворение «Двойное горе. У гроба Гоголя»; Н.В. Сушков – поэт и драматург, его имя было синонимом бездарности).

А.С. Хомяков, февраль: «Мягкая душа художника не умела быть довольно строгою, и строгость свою обратила на себя и убила тело. Бедный Гоголь! Для его направления нужны были нервы железные» [Хомяков, с. 209].

М.П. Погодин, 23 марта: «Жестоко поразила нас всех смерть Гоголя! И вместе нельзя не удивляться судьбе русской словесности! Только что созреет человек, только что приготовится действовать – вдруг вихорь, Бог знает откуда, и вырывает его в самую лучшую его минуту» [Письма, 1901, с. 46].



С.П. Шевырев, 2 апреля: «Горестная утрата для всех нас, любивших Николая Васильевича, была так внезапна, что до сих пор нам трудно опомниться» [РС. 1902. Май. С. 440].

В.С. Аксакова, начало марта: «...маменька очень плачет, да и не одна маменька и не одни женщины, плачут и тоскуют мужчины. Мне кажется, мысль о Гоголе завладевает чем дальше, тем сильнее... Отовсюду получают письма, полные тоски и сожаления от людей, едва его знавших» [ЛН. Т. 58. С. 751].

«Отовсюду» – это значит и из-за границы. Проспер Мери-ме, 14 апреля из Парижа С.А. Соболевскому: «Мне кажется, что над Вашими лучшими гениями всегда нависает страшная судьба» [Виноградов А., с. 140–141].

Перед лицом страшной трагедии забывались или отступали на второй план и сложности гоголевского характера, и его капризы, и бывшие упреки или неудовольствие в связи с его последней книгой – «Выбранными местами...». С.Т. Аксаков писал своим сыновьям 23 февраля: «Я признаю Гоголя святым, не определяя значения этого слова. Это истинный мученик высокой мысли, мученик нашего времени и в то же время мученик христианства» [РА. 1890. № 8. С. 199].

Уже упоминавшаяся В.С. Аксакова, несколько позже (29 декабря 1854 г.): «...Гоголь святой человек по своему стремлению... Теперь только, при чтении стольких писем к стольким разным лицам, начинаем мы постигать всю задачу его жизни и внутренние труды...» [Аксакова, с. 27].

Панихида состоялась 23 февраля в час дня. На следующий день на 10 часов утра была назначена Божественная литургия и отпевание [Мвед. 1852. № 24] – они состоялись в церкви при университете, построенной по плану архитектора Тюрина и освященной во имя Св. Великомученицы Татианы 12 сентября 1837 г. (ранее это была приходская церковь Св. Георгия, причисленная к университету; возвращена в духовное ведомство в 1834 г. [Шевырев, 1855, с. 502]).

Похороны были многолюдными и, по слову одного из участников, Н.В. Берга, «торжественными». Из дома гроб вынесли на плечах – упомянутый уже Берг [Воспоминания, с. 510], а также А.Н. Островский, Е.М. Феокистов, Т.И. Филиппов, Руднев и студент Сатин [РА. 1907. Т. 3. С. 437]. Идти было трудно: глубокий снег при легком морозе. «У Никитских ворот, – продолжает Берг, – мы передали гроб студентам, которые шли кругом кучами



Н.В. Гоголь на смертном одре  
*Рис. с натуры В. Еленева. 23 февраля 1852*

и постоянно просились нас заменить». В церкви Берг увидел «многих официальных лиц высшего круга», в том числе попечителя Московского учебного округа генерал-адъютанта Назимова в полной форме (Назимов сопровождал гроб вплоть до погребения [Воспоминания, с. 510]). Присутствовали и московский градоначальник граф А.А. Закревский [Мвед. 1852. № 25. 26 февраля], и начальник Московского корпуса жандармов С.В. Перфильев [Салиас де Турнемир, с. 253].

Другой участник похорон, Василий Васильевич Селиванов (р. 1813), археолог и чиновник, услышал в церкви чью-то реплику «Вон... собрались все славянофилы». Это расстроило Селиванова, но, оглянувшись кругом, он с удовлетворением увидел подходившего к гробу Грановского, человека отнюдь не славянофильской ориентации...

«Около гроба, – продолжает Селиванов, – в это время началось сильное движение: лавровый венок разрывали на части, и счастлив был тот, кому удавалось воспользоваться хотя одним листочком на память о Гоголе».

Среди «счастливых» – известная писательница, графиня Салиас де Турнемир (псевдоним «Евгения Тур»), урожденная

Сухово-Кобылина. «И я, мой друг, – писала она К.Н. Бестужеву-Рюмину, – была так счастлива, что проводила его до могилы; у меня из гроба его, из рук его осталась маленькая ветка *immortelle*, из которой и для вас сберегается цветочек. В гробу он был обложен цветами, а на голове его лежал лавровый венок» [Там же].

Накладывал гробовую крышку М.С. Щепкин [РС. 1877. № 12. С. 219–220]; из церкви гроб вынесли профессора, и потом несколько верст, также на руках, его несли студенты до кладбища Данилова монастыря, где состоялось погребение. Гоголя похоронили недалеко от могилы Н.М. Языкова. На установленном позднее гробовом камне, представлявшем собою усеченную пирамиду из черного гранита, – слова пророка Иеремии: «Горьким словом моим посмеюсь»<sup>75</sup>.

После похорон И.С. Аксаков писал И.С. Тургеневу: «Вчера мы похоронили Гоголя... Теперь все лопнуло. Надо начать жить *без Гоголя!*» [Письма к Тургеневу, с. 18; курсив в оригинале].

«Жить без Гоголя» предстояло и его матери, сестрам, родным и близким – тем, кому было больнее всего.

20 марта Мария Ивановна писала А.А. Гроцинскому:

Горе меня снесает, хотя я и стараюсь не показывать его перед детьми моими, которые и так неутешны. Получа это роковое известие, приехавши в Полтаву, я не спала, не ела и не плакала несколько дней, да и теперь не могу плакать или, лучше сказать, душевно плачу, без слез, но остаюсь жить. Боже мой! Чего не может человек перенести! 10 месяцев, как я его не вижу, и второй месяц, как его нет на земле, и когда вспомню, что его нет, то точно как варом обдаст меня; или когда благодетельный сон иногда посетит меня, то какое ужасное пробуждение!.. [Крутикова, с. 261].

Ноту утешения попытался внести Алексей Капнист, сын писателя Василия Капниста, давний друг гоголевской семьи, – он сочинил стихотворение «На смерть Гоголя»:

В сиянье, в радостном покое  
У трона вечного Творца,  
В венце бессмертия, в объятиях отца,  
С любовью он глядит на бытие земное,  
Там искупленья зрит торжественный костер,  
Благословляет мать и молит за сестер.

[Там же. С. 262]



Могила Н.В. Гоголя на Новодевичьем кладбище в Москве  
*Фотография. 1951*

Приведенные выше слова Тургенева о тайне смерти Гоголя («это тайна, тяжелая грозная тайна...») стимулировали развитие разных настроений и версий. Прежде всего думалось о провиденциальной связи судьбы Гоголя и его родины; эту мысль выразил тот же Тургенев: «Трагическая судьба России отражается на тех из русских, кои ближе стоят к ее недрам, – ни одному человеку, самому сильному духом, не выдержать в себе борьбу целого народа, и Гоголь погиб!»

Думалось и о сознательном уходе Гоголя из жизни; эта причина порою обуславливалась первой причиной, т. е. тяжестью миссии, выпавшей на его долю. Произнесено было даже слово «самоубийство». «Мне, право, кажется, – продолжает Тургенев, – что он умер потому, что решился, захотел умереть, и это самоубийство началось с истребления “Мертвых душ”».

И наконец, возникла версия о трагической ошибке: мол, Гоголя похоронили заживо, не разобравшись в сложных проявлениях его болезни и в его состоянии. Повод для такой версии дал сам Гоголь, который начал свое «Завещание» (первое письмо «Выбранных мест...») со зловещей просьбы: «Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения... Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я завещаю это здесь, в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности» [VIII, 219]. Сказано таким тоном, словно Гоголю уже доводилось быть свидетелем погребения живого человека. Во всяком случае, его «возвещение», прозвучавшее еще за четыре года до смерти, запомнилось читателям.

Накануне юбилея Гоголя – 200-летия со дня его рождения, и затем, и в дни этого юбилея, версия о роковой ошибке получила особенно широкое распространение. Вот несколько красочных примеров (они сообщены мне Александром Ивановичем Николаенко, за что я выражаю ему признательность).

Известный предсказатель Павел Глоба в газете «Бульвар» (Киев, 2003. № 13. Март) описывает находившуюся в его распоряжении маску писателя: «Крупный рот, недовольно сжатые губы очень часто говорят о скептицизме. Вообще так называемый большой треугольник: глаза, нос, рот – и примыкающий к нему лоб выдают те свойства природы, которые человек скрывает». Отсюда вывод: «Гоголь был похоронен живым». Доказательства? «...Момент



Н.В. Гоголь

*Бюст работы Н.А. Рамазанова. Мрамор. 1854*

смерти – он по сути своей экзистенциален. С последним вздохом уходит все наносное, и в человеке проявляется его истинная сущность. На его лице застывает подлинный образ».

Другой пример – публикации в «Московском комсомольце» (2003. 22–29 октября). Вначале утверждение журналиста С. Кашницкого: «Страдающий психическим расстройством Гоголь невольно ввел врачей в заблуждение: он уснул, а не умер, хотя при этом остановилось сердцебиение, остекленели зрачки, остыло тело...». Тут же помещено интервью с кандидатом физико-математических наук К. Коротковым под сенсационным названием: «В объективе – отлетающая душа».

Между тем предостережение Гоголя твердо запомнил и его хороший знакомый скульптор Н.М. Рамазанов, которому довелось сделать посмертную маску писателя. Письмо-отчет Рамазанова Кукольнику, написанное в день смерти Гоголя 21 февраля, буквально через несколько часов после свершившейся трагедии, обладает всею силою подлинности и безоговорочно отводит любое подозрение, будто бы Гоголя похоронили живым. Ведь Рама-

заново судит не только как очевидец, но и как профессионал в этом довольно прискорбном деле.

Однако опубликованное с сокращениями в 1893 г. в Харькове, это письмо осталось почти незамеченным, и автору этих строк довелось чуть ли не открыть его заново в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки. Затем сообщение об этом документе было опубликовано в «Известиях» (2002. 29 апреля. С. 8) в форме интервью с корреспондентом газеты Юлией Рахаевой и под названием «Одной “страшной тайной” станет меньше». Ниже приводится упомянутое письмо Рамазанова Кукольнику.

Москва, 21 февраля, 1852

Кланяюсь Нестору Васильевичу и сообщаю крайне горестную весть.

Сего числа после обеда прилег я на диван почитать, как вдруг раздался звонок и слуга мой Терентий объявил, что приехал г. Аксаков и еще кто-то и просят снять маску с Гоголя. Эта нечаянность так поразила меня, что я долго не мог опомниться. Хотя и вчера еще Островский бывши у меня говорил, что Гоголь крепко болел, но никто не ожидал такой развязки. В минуту эту я собрался, взяв с собою моего формовщика Баранова, отправился в дом Талызина, на Никитском бульваре, где у графа Толстого проживал Николай Васильевич. Первое, что я встретил, это была гробовая крыша малинового бархата... Стало быть... мы лишились необыкновенного человека. В комнате нижнего этажа я нашел останки так рано взятого смертью.

В минуту закипел самовар, был разведен алебастр и лицо Гоголя было им покрыто. Когда я ощупывал ладонью корку алебастра – достаточно ли он разогрелся и окреп, то невольно вспомнил завещание (в письмах к друзьям), где Гоголь говорит, чтобы не предавали тело его земле, пока не появятся в теле его все признаки разложения. После снятия маски можно было вполне убедиться, что опасения Гоголя были напрасны; он не оживет, это не летаргия, но вечный непробудный сон.

Он захворал, как мне говорили, от перехода с скоромной пищи на постную, ибо говел на первой неделе, перед смертью он соборовался... Меня уверяли, что Гоголь незадолго пред смертью сжег в печке все заготовленные сочинения, в том числе и рукопись второго тома Мертвых душ. При уходе от тела Гоголя я наткнулся у крыльца на двоих безногих нищих, которые стояли на костылях на снегу. Подал я им и подумал: эти безногие бедняжки живут, а Гоголя уже нет! [ОР. РНБ. Ф. 236. Ед. хр. 195. Л. 1–2].



Посмертная маска Гоголя,  
снятая Н. Рамазановым 21 февраля 1852 г.

### Почему же был сожжен второй том «Мертвых душ»?

Мы уже задавали аналогичный вопрос в связи с уничтожением Гоголем летом 1845 г. первой редакции второго тома (см.: кн. 2, с. 453). Новое сожжение отчасти обуславливалось прежними импульсами, вместе с тем к ним присоединились и новые – и все это было обострено мучительным, критическим, предсмертным состоянием Гоголя. Собственно акт уничтожения и выразил это состояние, поставив в судьбе писателя последнюю точку.

Относительно события, имевшего место в ночь с 11 на 12 февраля, существуют различные мнения, но все они сводятся примерно к пяти точкам зрения.

1. Гоголь сжег второй том, его *в основном* законченную редакцию (ниже мы поясним, что значит эта оговорка), и сделал он это вполне осознанно.

2. Факта сожжения второго тома не было, так как Гоголь его не закончил и этого тома, как принято говорить, просто не находилось в наличии.

3. Писатель действительно уничтожил рукопись, но случайно, по роковой ошибке, намереваясь сжечь другие бумаги. Эту



мысль высказывали авторитетные ученые. «Предположение, что Гоголь не хотел сжигать “Мертвые души” и сжег их случайно – вероятнее всех возможных других» [Гиппиус, 1924, с. 221]. «Сожжение второй части “Мертвых душ” – по-видимому, красивая легенда». «Может быть, он [Гоголь] случайно сжег несколько глав вместе с другими бумагами» (*Иваск Ю.* О Гоголе: выход из одиночества // *Мосты.* 1966. Кн. 12. С. 178). «...Гоголь хотел сжечь лишь часть неудавшихся страниц, а по ошибке бросил в огонь все...» [Плетнев Р.В., с. 400].

4. Рукопись второго тома была спрятана, утаена – эту сенсационную версию выдвинула в 1959 г. Е. Смирнова-Чикина. Дескать, Гоголь под влиянием зальцбруннского письма Белинского резко изменил направление, написал второй том в «прогрессивном духе», что не понравилось окружавшим писателя реакционерам. Они-то и припрятали рукопись второго тома, создав легенду о ее сожжении. Сочинение Е. Смирновой-Чикиной так и называется: «Легенда о Гоголе. К истории II тома “Мертвых душ”» (Октябрь. 1959. № 4. С. 175–189).

5. Рукопись второго тома была действительно спрятана, но не врагами, а друзьями Гоголя, возможно, и самим писателем. «Возможно, например, что Гоголь, следуя своему внутреннему желанию, сам сумел обеспечить своему детищу безопасность, хотя бы у митрополита Филарета или даже у наследника Александра Николаевича. Конечно, то же самое мог сделать и граф Толстой после смерти писателя, будучи хозяином его бумаг...» – пишет известный норвежский славист Гейр Хетсо, автор многих интересных работ (в частности, фундаментальной монографии о Баратынском). И выражает оптимистическое мнение, что рукопись второго тома еще может найтись, так как «из надежных рук» она «могла бы легко попасть в какую-то шкатулку или к какому-нибудь частному коллекционеру, либо на Западе, либо на родине писателя» (*Хетсо Г.* Что случилось со вторым томом «Мертвых душ»? // *Scando-Slavica.* 1989. Т. 35. S. 137–138).

По нашему мнению (которое следует из настоящей книги), трагическое событие действительно имело место, рукопись действительно была уничтожена. Однако интерпретировать все это следует не статично, не «анкетным» способом (да–нет; было–не было), но исходя из общей логики гоголевской творческой судьбы и ее трагического финала. Но вначале несколько необходимых комментариев к только что изложенным точкам зрения.



Н.В. Гоголь

*Работа неизвестного мастера  
Бюст принадлежал Н.А. Некрасову*

Прежде всего – о законченности второго тома. Существует множество свидетельств в пользу положительного ответа на этот вопрос – некоторые уже приводились выше (см. параграф «Я тружусь, работаю в тишине...»). Добавим, что еще Погодин в некрологической заметке о Гоголе упоминал, что после чтения второго тома Шевыреву (летом 1851 г.) писатель «сам попросил напечатать в журнале известие о скором его издании вместе с умноженным первым» [М. 1852. № 5. С. 47].

Правда, сказанному как будто противоречит замечание Матвея Константиновского, что он видел только первые три и еще «должно быть» седьмую главу, а другие «были без означения» [Образцов], но это говорит о том, что Гоголь постоянно возвращался к тексту, правил, беря из общей стопки то одну, то другую тетрадку. По-видимому, семь глав он считал уже достойными чтения друзьям, остальные (предположительно четыре) намеревался доработать в течение ближайших месяцев. Поэтому можно утверждать (с необходимой оговоркой), что уничтоженная редак-

ция текста была в основном закончена. Что же касается правки и дополнений, то Гоголь, по своему обыкновению, вносил бы их до последней возможности.

Теперь о мнении, будто бы рукопись была утаена или уничтожена А.П. Толстым и другими из низких побуждений. Мнение это сродни бытующим версиям, будто бы Дантес стрелялся с Пушкиным, надев кольчугу, или что Лермонтова убил спрятавшийся за углом наемный стрелок<sup>76</sup>. Что можно сказать в ответ на такое смелое заявление? Прежде всего – окружавшие Гоголя люди отличались честностью и порядочностью, подозревать их в коварстве и нечистоплотности нелепо и смешно<sup>77</sup>. Кроме того, они имели совсем не те представления о смысле второго тома поэмы (как и вообще о творчестве Гоголя), чем литературоведы, обвинившие их в сокрытии «революционного» произведения.

Несколько слов о «случайности» уничтожения Гоголем второго тома. Гейр Хетсо дает этой версии такую мотивировку. «Почувствовав в феврале 1852 года приближение смерти, Гоголь, естественно, должен был задуматься над приведением в порядок своих бумаг. В шкафу у него, несомненно, лежали многие незаконченные рукописи, с которыми бы можно было расстаться: множество набросков на исторические темы, далее черновик пяти глав второго тома “Мертвых душ”, ставший теперь ненужным в виду завершения беловика, да и куча личных писем, среди которых, возможно, было и злополучное письмо Белинского... Желание писателя уничтожить подобные материалы представляется вполне естественным...» (Хетсо Г. Указ соч. С. 130) – особенно уничтожение «опасного» письма Белинского. Случайной жертвой этого «желания» и стал второй том поэмы.

Однако представим себе еще раз картину событий: Гоголь ночью, тайком от всех пробирается в комнату, где стоит печь, многократно молится при совершении действия, потом в изнеможении ложится на диван и плачет... Нет, ненужные бумаги, «неудавшиеся страницы» так не уничтожают. Что же касается письма Белинского (кстати, наличие которого в это время у Гоголя ничем не подтверждается), то избавиться от него не представляло никаких трудностей; ну поднеси эти несколько страничек к свече – и дело с концом...

Истоки трагедии – в эволюции Гоголя, писательской, творческой, духовной; в характере замысла «Мертвых душ» как итоговой, главной книги; в особенностях созданной ею ситуации, личной и общественной.

Поэма была задумана как универсальное произведение, соответствующее универсализму мышления Гоголя. Оно должно было открыть тайну русской жизни, а через нее – и тайну человечества. Тайна раскроется со временем; приступая к произведению, Гоголь ее еще не знает, он только предчувствует ее, веря – желая верить, – что это в конце концов произойдет. Длительность написания поэмы, издание ее по частям, с большими интервалами – значащий фактор самого ее содержания. Тайна созревает постепенно, напрягая ожидание читателя, обостряя его нетерпение, заставляя переходить от первоначального, подчас поверхностного, а то и превратного впечатления к другому, более глубокому. Написание и обнародование текста превращается в род общественного действия.

Нечто похожее уже бывало не раз, например появление «Евгения Онегина» отдельными главами. Но в этом случае произведение несло в себе и постепенно открывало свою собственную тайну – судьбу персонажей, развитие коллизии и т. д. «Мертвые души», помимо всего этого, должны были раскрыть и тайну предназначения и судьбы народа. Разумеется, с субстанциальной жизнью (как принято было говорить) соотносился и «Евгений Онегин» (как любое великое произведение), но у Гоголя это соотношение было выведено на поверхность, заявлено во всеуслышание, сформулировано как проблема; произведение должно было подсказать прямой ответ, куда мчится Русь и каково ее место среди других народов и государств.

Задачу эту Гоголь намеревался решить с помощью своих читателей, что отразилось в его предисловии ко второму изданию «Мертвых душ» (1846). Читателю, каким бы он ни был: образованным или невежей, облеченным «высшим чином» или «человеком простого сословия», знающим толк в искусстве или ничего в нем не смыслящим, – словом, каждому вменялось в обязанность поправлять автора, подсказывать ему верные ходы и решения. Гоголю теперь мало активного читательского интереса, направленного на ожидание и раскрытие великой тайны; читатель подключался к самому творческому процессу. Подключался не только как корректный помощник (скажем, как источник реального материала), но и как своеобразный соавтор, точнее даже, как некая высшая инстанция, нависшее над писателем недреманное око. Насколько реальны были такие ожидания или насколько прислушивался бы Гоголь к советам и наставлениям (скорее всего он до конца сохранил бы за собой свободу решения) – другой вопрос. Важно уже то, что эта позиция была сформулирована и публично провозглаше-

на, тем самым она превратилась в активный фактор гоголевского психологического настроения; ведь воображаемое и гипотетическое (особенно у таких впечатлительных натур, как Гоголь) нередко приобретает статус действительного и реального.

Тем самым нарушались устойчивые координаты гоголевского самоощущения, и год от года это нарушение ощущалось большее и мучительнее [см. подробнее: Манн, 1987, с. 212 и далее].

С одной стороны, Гоголю была свойственна величайшая скрытность и в деле творчества, и тем более, как он говорил, в «деле души». «Души моей никто не может знать...» [XII, 359]. С другой – читатели получали доступ к тайнам души и творчества писателя, или если не доступ, то возможность соприкосновения, контакта, один намек на который вызывал у него болезненную реакцию.

С одной стороны, Гоголь удалился от света, вел одинокую, скитальческую жизнь человека, еще не готового к общению, всецело занятого внутренним устройством души своей. «Кто воспитывает еще себя, тому не следует и на время заглядывать в свет...» [XII, 384]. А с другой – Гоголь демонстративно открывал себя всем тревоблениям публичности. «Не заглядывая в свет, он приглашал свет заглянуть в келью художника и мыслителя, чтобы стать докучливым соглядатаем его внутреннего воспитания.

С одной стороны, Гоголю было свойственно ощущение избранности. То, что надлежит сделать, может сделать только он один. «Я» и «Россия», творец «Мертвых душ» и народ – так обозначились полюса еще в первом томе. «Русь! Чего же ты хочешь от меня? <...> Зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..» Между автором и Русью нет посредников; их связь прямая и кратчайшая. По мере продвижения работы над поэмой гоголевское ощущение избранности и мессианства усиливалось. «Один, может быть, человек нашелся на всей Руси, который именно подумал более всех о самом *существенном*...» [XIII, 87; курсив в оригинале]. И этот человек – творец «Мертвых душ». Но, с другой стороны, каждый читатель оказывается причастным к высокой миссии художника, получает право вмешаться в нее и диктовать свои условия. Пусть эта перспектива была во многом нереалистичной и условной, – одно ее декларирование, как мы уже сказали, не могло не оказывать обратного, угнетающего воздействия на Гоголя.

Настроение Гоголя последних лет и особенно последних месяцев его жизни, постоянные колебания и резкие, подчас необъяснимые

переходы, помимо чисто физиологических причин, имели глубокую душевную подкладку. Со дна его сознания неотвратимо вставал один и тот же вопрос: получилось или не получилось? И вся длинная череда чтений поэмы представляла собою не что иное, как устроенный писателем самому себе долгий экзамен, результаты которого требовали все новых и новых подтверждений. Казалось, все склоняло к утвердительному ответу: и нелицемерное выражение восторга слушателей, и все растущий интерес и нетерпение, с которым они ожидали и новых чтений, и, наконец, появления второго тома в печати. Но Гоголь был недоверчив, подозрителен. В согласном хоре одобрительных голосов он улавливал диссонансы. Вот почему его так огорчил отказ Смирновой летом 1851 г. еще раз послушать первую главу. И это, очевидно, был не единственный симптом.

Впоследствии, по смерти Гоголя, один из его слушателей, Ю.Ф. Самарин, подытожит настроение писателя в форме категоричного вывода: «Я глубоко убежден, что Гоголь умер оттого, что сознавал про себя, насколько его второй том ниже первого, сознавал и не хотел самому себе признаться, что он начинает подрямянивать действительность».

Никогда не забуду, – продолжает Самарин, – и того глубокого и тяжелого впечатления, которое он произвел на Хомякова и на меня раз вечером, когда он прочел нам первым две главы второго тома. По прочтении он обратился к нам с вопросом: «Скажите по совести только одно – не хуже первой части?» Мы переглянулись, и ни у него, ни у меня не доставало духа сказать ему, что мы оба думали и чувствовали... (письмо к Смирновой от 3 октября 1862 г.)<sup>78</sup>

Все эти тревожные симптомы Гоголь воспринимал и переосмысливал по-своему: значит, не сумел убедить, увлечь; значит, поставленная цель не достигнута.

По поводу дошедшего до него окольным путем (и, видимо, неодобрительного) отзыва императора о первом томе поэмы Гоголь писал А. Виельгорской (16 марта н. ст. 1847 г.): «...все это вместе учит меня той мудрости, которой мне необходимо надобно приобрести побольше затем, чтобы уметь, наконец, заговорить потом просто и *доступно* для всех о тех вещах, которые покуда недоступны» [XIII, 256–257; курсив в оригинале]. Именно «для всех»! Гоголь хотел, чтобы его книга встретила понимание и со стороны властей предрежащих и людей любого звания, сосло-

вия, культурного уровня и традиций. Эта была не только задача художественная, но социальная, религиозная; это была высшая миссия, которая объяснит и оправдает наконец смысл его существования. «Поверьте мне, – продолжает Гоголь, – что мои последующие сочинения произведут столько же *согласия* во мнениях, сколько нынешняя моя книга произвела разногласия...» [Там же. С. 257; курсив в оригинале]. «Нынешняя» книга – это «Выбранные места...»; «последующие сочинения» – это прежде всего продолжение «Мертвых душ».

Стремясь достигнуть этой цели, Гоголь обрекал себя на бесконечный процесс изменения и совершенствования текста, а поскольку все это, в его глазах, зависело от душевного состояния, обрекал себя на бесконечный процесс самовоспитания.

Но что значит, если не получается, если не получилось? Это значит, что писателя оставляет та божественная, высшая сила, которая его вела, должна была вести к цели. Ощущение своей глухоты, черствости, недостаточной внутренней отзывчивости и взволнованности по отношению к этой силе Гоголь переживал давно, по крайней мере со времени паломничества на Святую землю. Конечно, он винил прежде всего себя, но от этого было не легче, и результат вырисовывался объективным и неумолимым – в факторе «богооставленности».

Гоголь упорно боролся с этим чувством, и встреча с Матвеем Константиновским на первых порах помогала этой борьбе. Казалось, достаточно следовать примеру о. Матвея в выполнении аскетических правил, и отношение с Богом будет восстановлено. Но Матвей Константиновский был неумолимо строг в этих правилах, рассматривая их соблюдение или несоблюдение в категориях борьбы земного, телесного, плотского с небесным, духовным, божественным. К тому же к области земного и греховного относилась им светская, художественная деятельность, примером которой являлся «язычник» Пушкин. Это особенно травмировало Гоголя, пробуждая и сопротивление и глубокую душевную боль.

К одной из последних встреч Гоголя и Константиновского относится вопрос, заданный впоследствии о. Матвеем Т.И. Филипповым:

– Говорят даже, что Гоголь сжег свои творения, потому что считал их греховными?

– Едва ли, – в недоумении сказал о. Матвей, – едва ли... Он как будто в первый раз слышал такое предположение. – Гоголь сожжет, но не все тетради, какие были под руками, и сожжет потому, что считал их слабыми. (Диалог этот передан в статье Ф.И. Образцова, присутствовавшего при разговоре о. Матвея с Филипповым [Образцов].)

Матвея Константиновского не раз пытались уличить в неискренности и утаивании истины [Щеглов, с. 160]. Между тем он вовсе не скрывает, что советовал Гоголю уничтожить ряд тетрадок, потому что находил их содержание неверным и даже вредным; он лишь при этом уточняет: Гоголь сжег их по другим мотивам – оттого, «что считал их слабыми». И это различие мотивов в душевном состоянии обоих участников диалога вполне вероятно, и такое различие придавало особое, трагическое напряжение всей сцене.

В самом деле: Матвей Константиновский, не считая себя поклонником «светских произведений» вообще, на первый план выдвигал нравственные моменты, говоря, что изображение священника нарушает православный канон («с католическими оттенками»), искажает реальность и оттого произведет вредное влияние на читателей; отсюда вполне логично следовала мысль о греховности содержания поэмы в целом. Все это глубокой болью отзывалось в душе Гоголя, но прежде всего потому, что из услышанного он извлекал свои выводы. Показалось неправдой, даже вредной неправдой – значит, не сумел убедить. Не сумел убедить – значит, все содержание книги – главной книги! – Гоголя осталось пустым призраком, не облеклось в плоть, не ожило. Но не ожило, потому что Бог лишил его зиждательной силы, силы творить. Если же Бог лишает своего покровительства, то оставленное душевное пространство занимает сила зла, дьявольская сила.

О. Матвей, мы помним, предостерегал Гоголя: «Боюсь что-то я за вас – не зборол бы вас общий враг наш». Гоголь тоже этого боялся, он молил Бога «связать сатану», но в свою мольбу вкладывал и то значение, которое было чуждо Константиновскому: при всем его, Гоголя, несовершенстве, греховности, «нечистоте», как утверждал о. Матвей («В нем была внутренняя нечистота»), сохранить то, ради чего он жил, – божественную силу творчества.

На следующий день после уничтожения рукописи Гоголь, согласно Погодину, сказал А.П. Толстому: «Вообразите как силен злой дух! Я хотел сжечь бумаги, давно уже на то определенные, а сжег главы «Мертвых душ», которые хотел оставить друзьям на память после своей смерти» [М. 1852. № 5. С. 49]. В этих словах



иногда видят доказательство случайного и непреднамеренного уничтожения рукописи, но они, скорее всего, имели другой смысл. Возможно, прежде всего намерение предотвратить любые расспросы о случившемся. Но возможно и то, что это было симптомом глубокого раскаяния, сожаления, признания, что ведь не все в рукописи вышло «слабым» (как забыть восторженные отклики многих слушателей?), что Бог окончательно не покинул его, что если бы не «злой дух», трагедии бы не произошло.

О сожалении Гоголя говорили и современники. В.С. Аксакова в 20-х числах февраля писала М. Карташевской, что «он жалел потом, и, может быть, это еще усилило его болезнь» [ЛН. Т. 58. С. 746]. Тарасенков, очевидно, со слов графа Толстого, писал, что тот, желая отстранить от Гоголя «мрачную мысль о смерти, с равнодушным видом сказал: “Это хороший признак – и прежде вы сжигали все, а потом выходило еще лучше; значит, и теперь это не перед смертью”. Гоголь при этих словах стал как бы оживляться; граф продолжал: “Ведь вы можете все припомнить?” – “Да”, – отвечал Гоголь, положив руку на лоб, – могу, могу: у меня все в голове”. После этого он, по-видимому, сделался спокойнее, перестал плакать» [Тарасенков, с. 182].

Да, Гоголь не раз начинал с начала (в том числе и второй том поэмы, уничтоженный шестью годами раньше), но силы были уже не те, и вера в свои возможности и предназначение была уже подорвана.

Причиной смерти Гоголя «было такое множество условий, как бы нарочно сосредоточившихся к его гибели, что только из соображения всех их была бы возможность сделать правильное заключение» [Там же. С. 192], – писал один из самых внимательных свидетелей последних дней писателя. И он же отвергал объяснение «нервной горячкой (тифом), которая имеет другие признаки», или сумасшествием, в котором Гоголя подозревали уже давно, по крайней мере со времени появления «Выбранных мест....» [Там же. С. 193].

Психиатры установили у Гоголя наличие «маниакально-депрессивного психоза», который имел наследственные предпосылки (со стороны отца) и проявлялся и ранее – в приступах меланхолии, необъяснимых сменах настроения и т. д.<sup>79</sup> Надо только добавить: каждый или почти каждый раз это состояние было связано с обстоятельствами художнического, творческого порядка.

В основе творческого акта (не только у Гоголя, но у Гоголя особенно) нередко лежит стимул преодоления негативной эмоции. Об этом говорит известное признание Гоголя в «Авторской исповеди»:

Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих... заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры... Вот происхождение тех первых моих произведений... [VIII, 439].

Явление не такое уж редкое: в связи с приведенным признанием Гоголя Чернышевский заметил: «...на самом деле комические писатели большею частью были людьми с грустным настроением духа; в пример укажем на Мольера» [Чернышевский, т. 4, с. 636].

Итак, *тоска* и *уныние*, знакомые Гоголю не только в молодые годы, требовали постоянного противодействия и борьбы. Иногда это состояние осложнялось другим – *страхом*; нередко страх выходил на первое место. В связи с этим встает вопрос о многообразии страха и о той его разновидности, которую представлял именно Гоголь.

Враг рода человеческого – по определению образ общечеловеческий... И однако же фольклористы, лингвисты и культурологи давно установили, что в разных национальных дискурсах не только символы, но и **концепты страха** весьма различны. Так, у немцев... этот концепт безотчетного страха перед неведомой темной силой передается словом *Angst*. И это слово, как отмечает А. Вежбицкая (имеется в виду исследование: *Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и прагматики. М., 2001. С. 49, 70. – Ю. М.*), неперебиваемое в точности ни на какие языки, кроме скандинавских, лежит в основе некоего германо-скандинавского дискурса... [Звиняцковский, 2011, с. 42–43; выделено в оригинале].

Но если подобный «концепт страха» знаком только германо-скандинавскому дискурсу, значит, искать его следы у Гоголя бесполезно? Нет, на деле все обстоит сложнее.

Разделение двух видов страха было произведено, как известно, еще Кьеркегором, причем с использованием того же слова (термина) – Angst. Один вид страха (Furcht) относится «к чему-то определенному, вызван конкретной причиной; второй (Angst) – связан с духом (Geist) и имеет неконкретный характер. Поэтому животному не свойствен такой страх; угроза, которую оно боится, конкретно осязаема» [Кьеркегор, с. 40]. Зато этот страх слишком знаком персонажам Франца Кафки, постоянно ожидающим опасности от неких неведомых, скрытых, анонимных сил. Хорошо знаком он и Гоголю, явившемуся в художественной эволюции прямым предшественником Кафки [см. подробнее: Манн, 2007, с. 682–704].

Современный немецкий исследователь Гоголя определил несколько видов свойственного ему страха, используя при этом именно слово Angst [Казак, с. 150]. Прежде всего это нередко наблюдавшийся страх грозы, разгула природной стихии, – вот зафиксированный мемуаристом один из случаев: «Нельзя себе представить, что стало с Гоголем: он трясся всем телом и весь потупился» (см.: кн. 2, с. 392). Затем чувство страха перед женщиной, перед открывшейся внезапно бездной соблазнов и переживаний, – чувство, проявившееся еще в эпизоде бегства от красавицы-незнакомки летом 1829 г.: «Я увидел, что мне нужно бежать от самого себя, если я хотел сохранить жизнь...» (см.: кн. 1, с. 209).

Этот страх – назовем его экзистенциальный – пронизывает все гоголевское творчество, становясь нередко не только «идеей», пафосом произведения, но и его предметом. Таков прежде всего «Ревизор» – это поистине разлитое море страха. Персонажи трясутся «как лист», смотрят друг на друга «выпучив глаза», ведут себя, «точно горячие угли под тобою», наконец, окаменевают как пораженные громом. До такого состояния их довело не только то, что Хлестаков – «уполномоченная особа», «ревизор», но прежде всего то, что это небывалый, непонятный, еще не виданный «ревизор» и все действие с его участием раскрыло некое неожиданное, «неправильное», иррациональное начало [подробнее: Манн, 2007, с. 189 и далее].

Путь сопротивления этому началу, как уже говорилось выше, – смех, а также презрение, вроде того, которое предлагает в повести «Вий» Тиберий Горобец, касаясь судьбы Хомы Брута: «А я знаю, почему пропал он... Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, – все

ведьмы». Но смех действует не всегда, а преодоление страха ритуальным плевком «на самый хвост» весьма проблематично, как и утверждение, что все сидящие на базаре в Киеве бабы – ведьмы...

Однако возможен еще один путь – публичное разоблачение, изложение истории «демона», что равносильно его художественному овладению, а значит, и лишению силы и возможности творить зло. Так поступил сын художника в «Портрете» (редакция «Арабесок», 1835), поведавший историю портрета, после чего «черты странного изображения почти нечувствительно стали исчезать» и превратились «в какой-то незначущий пейзаж». Но симптоматично резкое переосмысление финала во второй редакции повести (1842): портрет исчез, его существование не было прекращено раскрытием его истории, и миссия художника (=писателя) оказалась невыполненной. Движение от первой редакции ко второй намечает тот тягостный путь, который пройдет Гоголь в 40-е годы, испытывая мучительные сомнения в силе своего художественного слова, в его действенности и адекватности высшей воле.

Наконец, оставался еще путь, предложенный в «Выбранных местах...», – строгой системы жизнеустройства, определения обязанностей и долга каждого человека, сословия, должности и общества в целом и таким образом путь преодоления иррационализма, неразумности и хаоса бытия. Но и на этот раз Гоголь не был услышан, понят и отвергнут большинством; и на этот раз он склонен был винить во всем произошедшем самого себя.

Словом, как и раньше, психическое состояние Гоголя, происходящие в глубине души мучительные процессы были связаны с поражением творческим, писательским.

Тем более очевидна эта связь в последнем, предсмертном гоголевском кризисе. Острота его в том, что речь уже шла не о творческих решениях, не о художественных сомнениях, пусть самых тяжких и изнурительных, но о сущности всей деятельности писателя и ее главного результата – поэмы «Мертвые души». Гоголь видит, что на ней, этой деятельности, уже не почиет Божья благодать. Принять смерть было легче, чем смириться с этой мыслью. Отсюда безбоязненное углубление «в созерцание предсмертного часа» [Тарасенков, с. 196], стремление его приблизить, парадоксальная легкость умирания («Надобно же умирать», «Как сладко умирать»...) – и это при свойственном Гоголю страхе смерти! По уже приводившемуся, замечательно тонкому определению Ильина, «бедный гениальный мученик» просто «свернул крылья».

Жизнь после смерти,  
или Парадокс о Гоголе

Присутствие Гоголя в русской культуре – величина постоянная и неуклонно возрастающая. В 1855 г., через три года после его смерти, Н.Г. Чернышевский сказал: «...давно уже не было в мире писателя, который бы был так важен для своего народа, как Гоголь для России» [Чернышевский, т. 3, с. 11]. Трудно найти деятеля отечественной культуры, который бы не повторял эту мысль. При этом почти всегда звучало и очень важное уточнение: «для *своего народа*», «для *России*». Признание Гоголя художником мирового уровня, важным для всего человечества, пришло не сразу и развивалось извилистым путем.

Как ни парадоксально, такая ограниченность оценки обусловливалась сильными сторонами и гоголевского творчества и его личности, а именно поразительной самобытностью. Казалось, Гоголь никогда и ни у кого не учился, всего достиг сам, поднялся на невообразимую высоту не благодаря усвоению чужого, а благодаря его незнанию – благодаря своего рода благотворной «необразованности». Нужно было время, более близкое знакомство с писателем, с его биографией, чтобы понять, что дело обстоит противоположным образом, что Гоголь находился в скрещении интеллектуальных тенденций эпохи, что мы имеем право говорить о его солидной образованности и всемирной отзывчивости.

Мысль о всемирной отзывчивости, «всемирном стремлении русского духа», воплотившихся в Пушкине, высказал, как известно, Достоевский. Но, оказывается, это свойство в определенной мере присуще и Гоголю, усвоившему его, кстати, не без влияния Пушкина. Еще в своей юношеской поэме «Ганц Кюхельгартен» Гоголь восторженно упомянул «великого Гетте» [так!], который «чудным строем песнопений, /Свевает облако забот». А потом круг почитаемых Гоголем корифеев зарубежной литературы год от года расширялся – повторим несколько примеров, некоторые из них уже фигурировали в настоящем издании.

Узнав, что С.П. Шевырев переводит «Божественную комедию», Гоголь (в письме 1839 г. из Вены) воскликнул: «Ты за Дантом! Ого-го-го-го-го!» О Вальтере Скотте Гоголь отзывался так: «...знаменитый шотландец, великий дееписатель сердца, природы и жизни, полнейший, обширнейший гений XIX века». Об Адаме Мицкевиче (в письме к проживавшему в Париже своему другу

Данилевскому): «...пожалуйста, купи для <меня> новую поэму Мицкевича, удивительная вещь, Пан Тадеуш». В поле зрения Гоголя – корифеи мировой литературы прошлого и настоящего: Гомер, Данте, Шекспир, Ариосто, Сервантес, Тассо, Шиллер, Байрон, Мериме, Диккенс... Перечень можно продолжить.

С другой стороны, долгое время держалось мнение, что Гоголь, – по российским понятиям, создатель гениальных творений, начиная с «Вечеров на хуторе...», – западному читателю просто неинтересен или заведомо непонятен.

Белинский в 1842 г.: «Где, укажите нам, где веет в созданиях Гоголя этот всемирно-исторический дух, равно общее для всех народов и веков содержание? Скажите нам, что бы случилось с любым созданием Гоголя, если б оно было переведено на французский, немецкий или английский язык? Что интересного (не говоря уже о великом) было бы в нем для француза, немца или англичанина?» [Белинский, т. 6, с. 258]. С этими словами перекликается и высказанное чуть позже (в 1845 г.) мнение Ивана Киреевского, человека других, чем у Белинского, убеждений и философской ориентации: «Если бы и можно было перевести Гоголя на чужой язык, что, впрочем, невозможно, то и тогда самый образованный иностранец не понял бы лучшей половины его красот» [Киреевский, с. 228].

В этом противоречии – признании великого значения Гоголя для России и непризнании такового для западного мира (непризнании, как известно, давно уже опровергнутом, причем не только в Западной Европе, но и в Америке и Азии, в первую очередь в Японии) скрыт один из величайших парадоксов, или секретов, русского писателя. Почему Белинский считал Гоголя неинтересным для Запада? Потому что Запад значительно опередил Россию в социально-экономическом развитии; потому что на Западе кипит общественно-политическая мысль, кстати, не обязательно социалистического толка (к социалистическим теориям отношение Белинского в конце жизни заметно изменилось); Гоголь же вырос на почве феодальной, крепостной России, на почве традиционализма. Иван Киреевский так не считал, первенство Запада он признавал не во всем и далеко не безоговорочно; напротив, именно Россия, по Киреевскому, сохранила животворное начало христианской цивилизации (впоследствии получившей название «русская идея»), которое взрастило Гоголя, но именно поэтому его творчество мало что говорит западному читателю.

Гоголь разрушил привычные понятия о прямой зависимости эстетической ценности и художественной значительности от прогресса социальных отношений и общественных идей. Эта значительность вырастает из всей целокупности человеческих связей, в том числе из ее, как говорил Гоголь, низких рядов, «сора и дрязга», из житейской пошлости, грязи, которые (какой неожиданный парадокс!) могут служить питательной почвой высокого искусства, стимулировать его.

Вот первая «миргородская» повесть – «Старосветские помещики»: нескончаемое описание еды, с точнейшим перечислением блюд (подсчитано, что один из четы помещиков, Афанасий Иванович, принимался за еду девять раз в сутки), упоминанием бессодержательных разговоров, глупых шуток и всех случаев подтрунивания того же Афанасия Ивановича над супругой Пульхерией Ивановной – словом, как может показаться, всего лишь хроника бездумного и бесстрастного прозябания. Для современных исследователей все это часто служит прекрасным поводом для обличений в духе негативной антропологии: «...вмешательство зла проявляется не только в пробуждении покоряющих человека страстей, но и в приверженности к банальному, в отсутствии связей с высоким, в духовной непритязательности... Собственно прегрешение [героев] заключается, помимо тотальной посюсторонности их существования, еще и в том, что эта позиция не преодолевается даже перед лицом самой смерти» [Шрайер, с. 105]. Насколько это несправедливо, думается, легко увидит любой читатель, обратившись к сцене смерти Пульхерии Ивановны, когда в Афанасии Ивановиче открылась такая глубина неизбывного горя, перед которой померкла бы любая романтическая страсть. Это свойственное Гоголю искусство обнаруживать высокое в кажущемся низком хорошо описал Белинский, не занятый в данном случае проблемой значения Гоголя для Запада: «Возьмите его “Старосветских помещиков”: что в них? <...> Вы видите всю пошлость, всю гадость этой жизни, животной, уродливой, карикатурной, а между тем принимаете такое участие в персонажах повести, смеетесь над ними, но без злости, и потом рыдаете с Филемоном о его Бавкиде... О, г. Гоголь истинный чародей...» [Белинский, т. 1, с. 291].

Кстати, почему мы говорим о *кажущемся* низком? Потому что концепция пошлости («пошлость пошлого человека») у Гоголя амбивалентна. Пошлое – не только низкое и предосудительное, но и обычное, обыденное, всedневное, из которых, увы, слагается

наша жизнь. Эта амбивалентность прекрасно передана новейшими инсценировками «Старосветских помещиков»: в спектакле Юрия Любимова «Арабески» в Московском театре на Таганке («Старосветские помещики» составляют значительную часть этого спектакля), в постановке повести Гоголя в Московском художественном театре им. А.П. Чехова (режиссер Миндаугас Карбаускис) и т. д. По сходству художественной тенденции уместно назвать в этом контексте спектакль по другой гоголевской повести, поставленный Сергеем Арцибашевым в Театре им. Маяковского (спектакль называется: «О том, как поссорились...»).

Другим излюбленным поводом для обличений гоголевских персонажей в низком и недостойном с легкой руки Д. Чижевского служит герой «Шинели». «На пути к приобретению шинели Акакий Акакиевич вступил на путь “накопительства” или “приобретательства”, примкнув к приобретателям Гоголя», включая Чарткова, Чичикова и «игроков» из одноименной комедии. Главная задача «Шинели», полагает Чижевский, – «указать на опасность даже мелочей, даже повседневности, на опасность, гибельность страсти, “страстных увлечений”, независимо от их объекта, даже если их объектом является шинель» [Чижевский, 1938, с. 191, 194].

Между тем ситуация «Шинели» сложнее и проще, драматичнее и обыденнее. Повторим то, что нам уже приходилось писать: прежде всего вполне извинительна и естественна овладевшая Башмачкиным идея новой шинели: в конце концов, это не предмет роскоши, особого комфорта, но вещь весьма скромная и насущно необходимая. Весьма остроумен вопрос, который задает современный немецкий исследователь тем, которые обличают «одержимость» заполучившего шинель Акакия Акакиевича, видя в этом своего рода «сексуальный символ»: «Защитников подобной интерпретации следовало бы спросить: случалось ли им когда-либо встречать петербургскую зиму в потрепанной, прохудившейся шинели?» [Браун, с. 230].

Если же речь идет о сознательном аскетизме и отказе от необходимого, то стоит напомнить, что аскеза – это искус, налагаемый добровольно и на себя, а не на других лиц; в случае же с Башмачкиным получилось так, что трудный подвиг категорически потребован от него читателями-интерпретаторами.

В связи с этим весьма односторонне воспринимается эволюция персонажа – якобы от внутренней духовной полноты к внешнему и вещному. Напротив, вместе с идеей шинели в нем проявились проблески незнакомых ему новых чувств, обычных



для нормального человека, но в Башмачкине словно атрофированных и сохранявшихся до сих пор в виде смутного намека («...даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какой-то дамою...»).

Вообще в основе любой гоголевской повести лежит некое кризисное событие, иногда осложняемое какой-либо потерей или утратой, иногда – скрытым противодействием других персонажей, иногда – вмешательством непонятных, таинственных сил. В «Шинели» все три фактора действуют вместе: роковая перемена в судьбе бедного петербургского чиновника связана с приобретением и утратой им шинели, причем свою лепту в эту трагедию внесли и окружающие люди, с их равнодушием и жестокосердием, и сама, как говорил Сергей Эйзенштейн, «природа», чьи стихии, словно сговорившись, восстали против всеми «затравленного и забитого существа» [Эйзенштейн, с. 198]. Мы снова неудержимо погружаемся в глубину гоголевского художественного мира...

Тут уместно процитировать литератора русского зарубежья – Р.В. Плетнева:

Многие ученые и художники... писали о «Шинели», а исчерпать тему не могли. В ней живет и движется в особом, не трехмерном, а фантастическом пространстве, живая жизнь чего-то неизмеримо трогательного, комически-гротескного, незавершенного, становящегося и исчезающего. Сам ритм слов, перебои сказа и лирической песни в прозе, проповеди и кривляний клоуна – волнующе необычайны. Я не думаю, что в русской и западной литературе есть хоть одна повесть, подобная «Шинели». В ней колдовство Гофмана, страх Эдгара По, реализм и фантастика Бальзака, юмор Диккенса и Теккерея, борьба с пошлостью, с суровостью жизни и нечто безумно-грустное, обреченно-несчастное [Плетнев Р.В., с. 420].

Именно так – не только пошлость, но что-то «безумно грустное». Почему? Потому что это и есть жизнь. В основе гоголевской художественной вселенной спрятана некая неправильность, не учтенное моралистами «неевклидовое начало», которое на поверку оказывается ее неотъемлемым и вполне естественным свойством.

Одно из высших проявлений этого начала – повесть «Нос», представляющая еще один парадокс гоголевского письма. В самом деле, что можно извлечь из истории о том, как с лица майора Ковалева однажды исчез нос, а потом благополучно возвратился на свое место? Кажется, сам повествователь недоумевает: «как авторы могут брать подобные сюжеты?..»

Но как много в этой «шутке», как назвал повесть Пушкин, неожиданно сочетаемого и нешуточного! Прежде всего – тончайшее сопроникновение фантастического и реального. Событие явно абсурдное, нелепое; между тем манера описания его нарочито конкретная, подчас деловая, протокольная, с точным обозначением места действия и дат («марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно-странное происшествие» и т. д.); чего автор «не знает», о том не говорит, чтобы не впасть в отсебятину (не сообщает фамилии цирюльника Ивана Яковлевича, ибо на вывеске она «утрачена...»). Внутренне контрастно и поведение того, кого настигла эта напасть: майор Ковалев как громом поражен «странным происшествием», между тем ведет себя так, как будто бы все это хотя и необычно, но вполне реально – первым делом «полетел к обер-полицмейстеру», словно его обокрали; не знает, как начать разговор с собственным носом, ибо у того более высокий чин – статского советника, и т. д. Конечно, в обрисовке Ковалева, равно как и других персонажей, немало сатирической соли, но к обличению повесть, как и любое гоголевское произведение, вовсе не сводится; надо полагать, любой читатель легко войдет в положение главного героя, в сердцах восклицая: «Боже мой! За что это такое несчастье? Будь я без руки или ноги – все бы это лучше; будь я без ушей – скверно, однако ж все сноснее; но без носа человек – чорт знает что; птица не птица, гражданин не гражданин; просто возьми да и вышвырни за окошко!» Значит, в исполненной неподражаемого комизма «шутке» Гоголя есть доля и того значения, которое выражено пушкинской формулой – «насмешка неба над землей». Но у автора «Медного всадника» эта «насмешка» явлена в катаклизме, повлекшем действительное горе, у Гоголя – в кажущейся нелепице, пустяке, который, увы, сопряжен с целой гаммой взаправдашних человеческих чувств.

Самое главное в том, что в гоголевской повести устранил персонифицированный носитель злого начала (черт, дьявол, ведьма или люди, вступившие с ними в связь и выступающие их «агентами»), или, если рассуждать в категориях поэтики, устранил носитель фантастики, – но сама «чертовщина», сама фантастичность остаются. На фоне традиций, особенно романтических (Гофман, Тик, Шамиссо, В. Одоевский, Антоний Погорельский и другие), это преобразование равносильно революции в сфере художественного мышления, революции, значение которой можно было оценить только в наше время, после произведений Кафки, Жозе Сармаго или, скажем, В. Набокова (Сирина). «Русская литерату-

ра – по известной формуле – вышла из “Шинели”: допустим. Но Сирин-то вышел из “Носа”...» [Адамович, см. также: Манн, 1996, с. 73–106, 682–704]. И не только Набоков-Сирин...

«Неевклидовое начало» лежит и в основе самого значительного драматического произведения Гоголя – «Ревизор», начиная с характера определяющей комедии ситуации *qui pro quo*. Гоголь отталкивается ото всех возможных, явленных жизнью и литературой вариантов. Ведь на месте Хлестакова мог быть действительно важный чиновник, до поры до времени скрывающий свою цель, чтобы в конце концов наказать порок (Правдин в фонвизинском «Недоросле»). Это мог быть заведомый проходимец, выдававший себя за важное лицо (Пустолобов в комедии гоголевского современника Г.Ф. Квитки-Основьяненко «Приезжий из столицы, или Суматоха в уездном городе»). Это мог быть, наконец, случайный человек, которого ошибочно приняли за инспектирующего чиновника, но который не собирался воспользоваться и не воспользовался создавшейся ситуацией (подобная история произошла с Пушкиным, принятым однажды в Нижнем Новгороде за ревизора).

Однако случай с Хлестаковым особый: он никого не намеревался обманывать, не строил далеко идущих планов, не вел продуманной интриги, он вообще смутно представлял себе все происходящее – и тем не менее с таким успехом сыграл роль «уполномоченной особы», которая была бы не под силу ни сознательному обманщику, ни действительному ревизору. Он поставил на грань кризиса не только нескольких чиновников, но и весь «город»; он вовлек всех в атмосферу напряженного ожидания – расправы, наказания, вознаграждения, наконец, восстановления справедливости; он создал обстановку страха и тревожно-радостного возбуждения, не имея для всего этого ни полномочий, ни даже каких-либо психологических качеств. Хлестаков, по словам Гоголя, – «лживый, олицетворенный обман», и те события, которые разворачиваются с его невольным участием, приобретают миражный, гротескный отсвет. Заметим, между прочим, тонкость гоголевской формулировки – не «обманщик», но «обман»: субъект действия устраняется, но само действие остается. Тем самым Гоголь переосмыслил давнюю традицию пикарески, плутовского романа, перечеркнув ее сюжетную схему, принятый типаж, но многократно усилив конечный эффект.

«Неевклидовое начало» ощутимо и в поэме «Мертвые души». Внешне все здесь очень просто и традиционно – «показать

хотя с одного боку всю Русь» – т. е. со стороны недостатков, пороков, «несправедливостей». Но вновь, как и в «Ревизоре», да и во всех других гоголевских произведениях, внутри одной ситуации возникает другая.

У формулы «мертвая душа», как известно, есть вполне конкретный, впрочем, чреватый противоречиями смысл – обозначение умершего крепостного крестьянина, еще числящегося в списках (так называемых ревизских сказках) и потому обладающего призрачным существованием. На этом алогизме надстраиваются слои других значений: мертвенность как определенное психологическое состояние, погружение исключительно в сферу материальных и корыстных забот; мертвенность как отчуждение от общих интересов; мертвенность как запутанный и извращенный строй человеческих отношений. В концентрированном виде весь этот комплекс значений выражен в гоголевских заметках к поэме: «Идея города. Возникшая до высшей степени Пустота. Пустословие. Сплетни, перешедшие пределы, как все это возникло из безделья и приняло выражение смешного в высшей степени» [VI, 692]. Все так, но это вновь не вся «идея».

В сущности, перед нами энциклопедия человеческих страстей, отнюдь не только негативных: тут и отзывчивость на женскую красоту, и естественная мысль о семье и потомстве, и любование отвагой, смелостью, трудовой сметкой (размышления Чичикова над списком приобретенных им умерших крестьян, когда «делец превращается в поэта» [Герик, с. 130]). И все это возникло при российской общественно-политической отсталости, вопреки или даже благодаря ей, вновь демонстрируя гоголевский парадокс об отсутствии прямой зависимости художественного прогресса от социального. «Чичиков – вовсе не продукт кризисов (Störung-sprodukt), как его современники на Западе, он не вышел ни из какой революции и потому – вне всякой романтики и дара красноречия» [Касснер, с. 202]. Да, вне романтики и красноречия, но не вне человеческих эмоций и побуждений.

Современный гоголевский биограф признается: «...неожиданно у меня сложилось такое впечатление, что Гоголь является не кем иным, как персонажем, который сошел со страниц его же собственного произведения» [Труайя, с. 634]. Если бы гоголевские персонажи обладали способностью к рефлексии, то они могли бы переиначить это наблюдение в том смысле, что вполне чувствуют себя своими читателями, т. е. нами. По-своему эту мысль выразил Ф.В. Чижов 30 <августа 1855 г.>, вскоре после смерти писателя:

«По мне Гоголь выше Диккенса большим углублением внутрь человека и *братованием его с собою*. Поэтому-то именно и прекрасно то, что Гоголь брал пошлые стороны общества: *побратоваться* с героем каждому приятно» [ЛН. Т. 58. С.782–783].

Гоголевская формула, относящаяся к «Ревизору», – «человеческое слышится везде» – может быть продемонстрирована еще на одном примере – комедии «Женитьба».

Парадокс ее в том, что она с равным правом предоставляет возможность двойного прочтения, наглядно осуществленного в истории русского театра. Остановимся на этом примере подробнее.

Ф.М. Достоевский, говоря о Гоголе, заметил, что «его “Женитьба”, его “Мертвые души” – самые глубочайшие произведения, самые богатые содержанием, именно по выводимым в них художественным типам». Упоминание «Мертвых душ» кажется здесь естественным и понятным: ведь это произведение, в котором должна была предстать «вся Русь», в котором ставились и решались важнейшие проблемы жизни страны.

Но вот «Женитьба»... Всего лишь анекдотическое происшествие, состоящее в том, что один петербургский чиновник хотел жениться, долго колебался, перед тем как сделать решительный шаг, и в конце концов все-таки убежал от невесты, выпрыгнув в окно. Что тут от богатства содержания, от постановки «непосильных вопросов», как выразился Достоевский?

Обычно персонажи «Женитьбы» иначе и не характеризовались, как с помощью таких определений: «моральная и духовная деградация», «паразитизм», «праздность», «безделье» и так далее, в том же духе. Правда, сегодня – и в научной литературе, и в сценических решениях – эта точка зрения не встречает безоговорочной поддержки. Наметилась тенденция (прежде всего в знаменитой постановке Анатолия Эфроса), которую можно назвать, так сказать, очеловечением, гуманизацией персонажей пьесы.

Обе точки зрения, если быть кратким, сводятся к следующему. С одной стороны, лишенное духовности прозябание, механическая, кукольная, марионеточная жизнь. С другой – мир человеческих надежд, стремлений, поисков. С одной стороны, он, они. С другой – я, мы.

Начнем с простой, аксиоматической истины. Женитьба, соединение любящих, как это все понимают, – олицетворенный образ высоких духовных переживаний, переживаний любви.

И все, что противоречит этой духовности, воспринимается как недолжное, вызывает смех. Не на этом ли основан комизм пьесы?

Вот, например, странная последовательность реплик мечтающего о женитьбе Подколесина в первом диалоге со свахой Феклой. Подколесин вначале спрашивает: «А приданое-то, приданое?» – и только потом осведомляется о невесте: «Да собой-то какова, собой?» Подобная же инверсия – в поведении другого потенциального жениха, Яичницы: первым делом, еще до встречи с невестой, он проверяет по списку обещанное ему приданое. Словом, некое действие – хозяйственное, меркантильное – выносится вперед, оттесняя на второй план момент духовный и интимный.

Далее, в самом развитии темы женитьбы то и дело, с помощью тонких словесных, лексических сдвигов, возникают мотивы товарных отношений. «Да ведь где же достать хорошего дворянина? Ведь его на улице не сыщешь»; «Фекла Ивановна сыщет. Она обещалась сыскать самого лучшего»; «Да возьмите Ивана Кузьмича, всех лучше». Это равносильно совету: возьмите той или иной материи, она лучшего качества. Звучат обыденные интонации спроса и предложения. Как в магазине или на рынке.

Яичница, посчитавший, что его обманули с приданным, кричит свахе: «Вот я тебя как сведу в полицию... А невесте скажи, что она подлец!» «В полицию» – как при мошенничестве в торговой сделке. Невеста же – лишь соучастник обмана; слово «подлец» (мужского рода) как бы представляет ее вне признаков пола.

И к самому себе персонаж порою относится как к товару. Себя самого нужно подать с казовой стороны; некие изъяны во внешности – как щербинки в товаре, могущие или не могущие быть компенсированы. «Но, может быть, вам что-нибудь во мне не нравится? (*Указывая на голову.*) Вы не смотрите на то, что у меня здесь маленькая плешина. Это ничего, это от лихорадки; волоса сейчас вырастут». И стишки, к которым решает прибегнуть другой претендент на руку Агафьи Тихоновны, отчаявшийся Жевакин («...У меня были стишки, против которых точно ни одна не устоит»), – это как бы решающая добавка к сумме товарных достоинств, вроде двух мешков овса в торге Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем за ружье («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»).

А чего стоит реплика Кочкарева: «Я тебя женю так, что и не услышишь!». То, что должно совершаться с максимальным участием душевных сил, здесь редуцируется, сокращается до

кратчайшего мига. Как неприятность, которую нужно поскорее пережить. Или как удаление больного зуба.

Но, пожалуй, кульминация такого рода снижения – знаменитый монолог Агафьи Тихоновны: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича – я бы тогда тотчас же решилась».

На чем основан комизм этого монолога? Любят человека не «по частям», а как единое, живое, неделимое существо. Агафья Тихоновна же видит в каждом претенденте на ее руку какую-то одну выгодную «часть» и путем комбинации «частей» составляет новую, оптимальную модель. Облик будущего жениха подвергается механической формовке. На этом фоне мы ощущаем неподражаемый комизм последующей реплики Агафьи Тихоновны: «Такое несчастное положение девицы, особливо еще влюбленной». Далее следует сцена со жребием: «Остается только положить их в ридикуль, зажмурить глаза, да и пусть будет, что будет. Какой выберется, такой пусть и будет». Духовная жизнь приобретает механический характер: вместо свободного волеизъявления – механика жребия.

Как видим, в поэтике комедии есть мощный слой образов товарных отношений, который в целом снижает высокий образ любовного союза, образ женитьбы.

Казалось бы, все ясно: художественная организация, фактура комедии понята, уловлена в формулах. Однако здесь-то и начинаются трудности.

Прежде всего обратим внимание на особенности поведения невесты. Арина Пантелеймоновна, тетка Агафьи Тихоновны, вспоминает о покойном отце, у которого «рука-то в ведро величину» и который, «если сказать правду... усахарил твою матушку». И Агафья Тихоновна восклицает: «Ни за что не выйду за купца!» Не хочет она слышать о Старикове, женихе из купцов: «У него борода; станет есть, все потечет по бороде». Таким образом, влечение Агафьи Тихоновны к «великатесу» – своего рода отталкивание от грубой физической силы, оказавшей, может быть, гнетущее воздействие на нее еще в детские годы.

Отсюда, кстати, видно, почему в упоминавшемся выше монологе Агафья Тихоновна вдруг вспомнила «губы Никанора Ивановича». Еще в первом действии, рассказывая о женихах, Фекла так рекомендовала Анучкина: «Это уж такой великатный, а губы,

мать моя, – малина, совсем малина...» С тех пор, видно, «губы Никанора Ивановича» и засели в сознании невесты как воплощение «великатности».

Обратимся к другим персонажам. Уже отмечалось, что саморасхваливание женихов в «Женитьбе» напоминает такое же откровенное соревнование в «Недоросле» Д.И. Фонвизина [Рулин, с. 216]. Но обратим внимание на то, что отличает обе сцены.

У Фонвизина:

*Г-жа Простакова.* ...Коль есть в глазах дворянин, малый молодой...

*Скотинин.* Из ребят давно вышел.

*Г-жа Простакова.* У кого достаточек, хоть и небольшой...

*Скотинин.* Да свиной завод не плох...

У Гоголя:

...В какой службе вы полагаете быть приличнее мужу?

*Жевакин.* Хотели ли бы вы, сударыня, иметь мужем знакомого с морскими бурями?

*Кочкарев.* Нет-нет. Лучший, по моему мнению, муж есть человек, который один почти управляет всем департаментом.

*Анучкин.* ...Зачем вы хотите оказать пренебрежение к человеку, который, хотя, конечно, служил в пехотной службе, но умеет, однако ж, ценить обхождение высшего общества.

Гоголевская сцена «саморасхваливания женихов» в сравнении со сценой из «Недоросля» отличается не только «утончением намеков», но переносом их в другую сферу. Вместо достоинств материальных соперники всячески рекламируют достоинства моральные: мужество, галантность и т. д. Даже Яичница, большой охотник до солидного приданого, аттестует себя со стороны «службы» государственной. При этом соперники безбожно утрируют – путем использования сентиментальных штампов («знакомого с морскими бурями», «обхождения высшего общества») и комических усечений (вместо «предмет любви» просто «предмет»). Но утрирование ведь не отменяет характера намерений персонажей. Каждый из них козыряет понятиями, относящимися, по их мнению, к высшим моральным и интеллектуальным ценностям.

Эти намерения не мимолетны, они, в общем, высказываются персонажами на всем протяжении действия. Только Яичница, мы говорили, обнаруживает преимущественный интерес к



вещественному. Жевакин же согласен жениться и без приданого («с этакою прелюбезною девицею, с ее обхожденьями можно прожить и без приданого»); Анушкину тоже нужно светское обхождение, французский язык и т. д. Подколесин, задавший в начале пьесы дежурный вопрос насчет приданого, ни разу его не повторяет; в общем, он поступает без какого-либо расчета. Тем более без корыстного расчета действует Кочкарев, не ждущий для себя от женитьбы друга никаких выгод. Агафья Тихоновна также не гонится за богатством. Даже для Арины Пантелеймоновны и, судя по ее словам, для покойного Тихона Пантелеймоновича жених вроде Старикова предпочтительнее не потому, что богатый, а потому что свой, купец. С купеческой статью жениха связываются ими амбициозные, сословные устремления. (Например, в споре Феклы и Арины Пантелеймоновны, кто «почтеннее» – купец или дворянин; и, наконец, в заключительной реплике Арины Пантелеймоновны – «только на пакости да на мошенничества у вас хватает дворянства».)

Наконец, возможность, так сказать, позитивного толкования заложена и в самой ситуации комедии – в женитьбе. Ведь в женитьбе всегда присутствует выбор, идея выбора. В выборе же такого рода есть момент неотменяемости и однократности, осложняющий переживания участников этого события, вносящий рациональное начало в то, что, казалось бы, должно руководствоваться только порывом, только чувством. «Лучше выбирать: один не придется, другой придется», «возьми Ивана Павловича. Уж лучше нельзя выбрать никого». Само словечко «выбор» принадлежит двум противоположным рядам значений: выбирают товар, но выбирают и жену или мужа.

Вернемся к монологу Агафьи Тихоновны в начале II действия. Да, она не любит, еще не любит. Но она мечтает, а мечтанию свойственно комбинирование различных черт в поисках идеального образа. Мечтание Агафьи Тихоновны есть вид реакции на сложную ситуацию, в которой она оказалась, – ситуацию выбора (этим словечком, собственно, и начинается монолог: «Право, такое затруднение – выбор!»; «Если бы еще один, два человека, а то четыре – как хочешь, так и выбирай»).

И тут напрашивается одна, весьма знаменательная параллель. Исследователи уже обратили внимание на сходство мечтаний Агафьи Тихоновны («Если бы губы Никанора Ивановича...» и т. д.) и рассуждений самого Гоголя о том, каким должен быть настоящий историк: «...если бы глубокость результатов Гердера...

соединить с быстрым, огненным взглядом Шлецера и изыскательною, расторопною мудростью Миллера, тогда бы вышел такой историк, который бы мог написать всеобщую историю...» (цитирую статью Гоголя «Шлецер, Миллер и Гердер»).

Трудно сказать, помнил ли писатель, работая над монологом Агафьи Тихоновны, это место из давней работы, но ход мысли в обоих случаях одинаковый: отвлечение, абстрагирование искомым достоинств и соединение их в идеальную модель. В первом случае (в статье) комизм не столь явен, так как комбинируются духовные свойства (глубокость, мудрость и т. д.), т. е. более подходящая материя для умственных операций; во втором же случае комизм обнажен тем, что Агафья Тихоновна комбинирует детали и свойства человеческого лица и фигуры, т. е. буквально режет по живому. Зато автор статьи, т. е. сам Гоголь, превосходит Агафью Тихоновну по количеству «претендентов»: выбирает не из четырех, а из шести, да еще из каких претендентов: Гердер, Шлецер, Миллер, Шиллер, Вальтер Скотт, Шекспир... Но в обоих случаях существует своя, неотменяемая важность решения.

Теперь бросим новый взгляд на сцену со жребием. Мы говорили, что ее механический марионеточный оттенок в том, что на произвол механики отдается глубоко человеческое волеизъявление. Но тот же поступок можно толковать несколько по-другому – в связи с единственной в своем роде ситуацией выбора (словечко «выбирать» вновь тут как тут: «какой выберется, такой пусть и будет»). И отказ от собственной воли, нерешительность Агафьи Тихоновны в таком случае проистекают из жизненной важности и однократности дела, превышающего выбор товара. Товар можно поменять или приобрести новый; мужа так легко не поменяешь.

Тут можно заметить, что Агафья Тихоновна до конца не отказывается от собственной воли, колеблясь между желанием положиться на жребий и в то же время остаться свободной в выборе («Ах, если бы Бог дал, чтобы вынулся Никанор Иванович; нет, отчего же он? Лучше ж Иван Кузьмич» и т. д.). Через жребий ей хотелось проявить свою волю; но Агафья Тихоновна не знает, какова ее воля, безошибочна ли она, и поэтому ей необходимо, чтобы ее желанию была придана безапелляционность фатума. Комизм – от стремления совместить несовместимое, а последнее – от сознания важности ситуации.

Итак, в структуре комедии взаимодействуют два противоположных образных слоя, чем и предопределяется возможность

различных толкований. Чем ближе к первому слою, тем сильнее моменты «снижения», тем больше дистанция между читателем или зрителем и персонажами. Чем ближе ко второму слою, тем сильнее возвышающее, гуманизирующее начало, тем интимнее и заинтересованнее личное отношение читателя или зрителя к миру произведения. Между этими крайними точками возможны различные варианты. Но если говорить об идеальной умпостигаемой «модели» комедии, то, очевидно, следует иметь в виду оба слоя, рождающих вместе эффект объемности, стереоскопичности. Покажу это на примере Подколесина.

Аполлону Григорьеву принадлежит смелое сравнение Подколесина с Гамлетом. «В “Женитьбе” даже колоссальный лик Гамлета сводится из сферы обыкновенной, повседневной жизни, ибо, говоря вовсе не парадоксально, безволие Подколесина родственно безволию Гамлета, и прыжок его в окно – такой же акт отчаяния и бессилия, как убийство короля мечтательным датским принцем» [Григорьев, с. 249].

Через 12 лет критик повторил сопоставление. Гоголь «говорит беспрестанно человеку: ты не герой, а только корчишь героя... Ты – не Гамлет, ты – Подколесин: ни в себе, ни в окружающей тебя жизни ты не найдешь отзыва на твои представления о героическом, которые иногда в тебе, как пена, поднимаются» [Григорьев, 1967, с. 269].

Кажется, что эти два высказывания исключают друг друга. Первое устанавливает сходство Подколесина с Гамлетом. Второе – это сходство как будто отменяет («ты не Гамлет»). Но на деле – перед нами два варианта одной мысли. Подколесин – это Гамлет, низведенный в другую, низкую, повседневную, собственно гоголевскую сферу жизни; именно поэтому он не Гамлет. Аполлон Григорьев поворачивает свою мысль то одной, то другой стороной, в зависимости от критической задачи. Чтобы подчеркнуть человечески значительное в персонаже, он говорит о Подколесине как о низведенном в иную сферу *Гамлете*. Чтобы предостеречь против неоправданной героизации персонажей, подобных Подколесину, он говорит о нем как о низведенном в иную сферу *не Гамлете*.

Для понимания Подколесина важны обе части слагаемого – и серьезность проблемы, и особая, низкая сфера ее проявления; вместе они составляют контуры гоголевского комедийного мира.

На длинном и прихотливом «гамлетовском» пути Подколесина, слагающемся из противоположных движений: к женитьбе и от женитьбы, – возьмем только две крайние точки.

Одна – первый монолог Подколесина, содержащий мотивировку поступка, т. е. желание вступить в брак. «Вот как начнешь эдак один на досуге подумывать, так видишь, что, наконец, точно нужно жениться. Что в самом деле? Живешь, да такая, наконец, скверность становится».

Вот и вся мотивировка – предельно простая. Изучая историю текста, можно проследить, как Гоголь эту мотивировку последовательно упрощал. В одной из черновых редакций Подколесин в начальном монологе упоминает о своей «квартире», высказывает более определенное желание, какая жена ему нужна, и т. д. В окончательной редакции все это убрано; оставлена, так сказать, одна воля к поступку, как в начальной реплике «Ревизора» – одно известие о прибывающем ревизоре.

Итак, мотивировка: «точно нужно жениться», «скверность становится» – и все. Исходя из этого, критики упрекали Подколесина в несерьезности его намерений, в недостаточности «аргументации». Но, с другой стороны, можно спросить: а какая еще аргументация нужна? Женитьба – дело житейское, тут все понятно без лишних слов, стоит лишь намекнуть. Гоголь поэтому и упрощает мотивировку, ограничиваясь таким общим и в то же время точным контуром душевного состояния, который позволил бы читателю (зрителю) наполнить его психологическим смыслом. При этом характер «заполнения» зависит от читателя, интерпретатора: мы можем оставить контур незаполненным и счесть мотивировку Подколесина недостойной, «мнимой», механической. Но можем представить ее – и соответственно волю Подколесина к женитьбе – субъективно более осмысленной и содержательной.

В поэтическом строе комедии мы словно нащупали ту грань, где «примитивное» переходит в значительное – в значительное самоочевидного.

Теперь последняя точка на «гамлетовском» пути Подколесина – монолог перед прыжком в окно. Только что Подколесин говорил об ожидающем его невыразимом «блаженстве», и вот внезапная перемена: «Однако ж, что ни говори, а как-то даже делается страшно, как хорошенько подумаешь об этом. На всю жизнь, на весь век, как бы то ни было, связать себя, и уже после ни отговорки, ни раскаянья, ничего, ничего – все кончено, все сделано... А будто в самом деле нельзя уйти?» и т. д.

В мотивировке отказа от женитьбы оттенены только два самых главных момента: радикальность перемены (еще яснее в другой реплике: «...как же не странно: все был неженатый, а теперь вдруг

женатый») и окончательность, неотменяемость последней. Других пояснений, других аргументов нет. Читателю вновь представляется возможность или посетовать на «несерьезность» жизненных поступков Подколесина, или субъективно пережить его несложную, но, увы, самоочевидную аргументацию. Ведь действительно же: «на всю жизнь», «и уж после ни отговорки, ни раскаянья».

Согласно одной из интерпретаций Гамлета (развитой у нас в знаменитой речи И.С. Тургенева «Гамлет и Дон Кихот»), суть гамлетизма – в анализирующей мысли, доходящей до самого корня явления, видящей во всем теневые стороны и потому сковывающей, парализующей действие. «И вот, с одной стороны стоят Гамлеты мыслящие, сознательные, часто всеобъемлющие, но также часто бесполезные и осужденные на неподвижность...» Но разве Подколесин, «говоря вовсе не парадоксально» (А. Григорьев), не тот, кто глубоко задумался над предстоящим ему («...как хорошенько подумаешь об этом»), кто увидел в нем теневые стороны и потому в самый последний момент ретировался столь необычным путем?

В заключительном монологе Подколесина его мечтание покончить со «скверностью» ничуть не отменяется или, вернее, отменяется особым образом. Никогда еще Подколесин не хотел так сильно жениться и именно поэтому никогда еще так не страшился перемены. Происходит мгновенное замыкание обоих чувств, или, как удачно выразился Аполлон Григорьев, «психический скачок».

Между двумя уровнями комедии – условно говоря, собственно «гамлетовским» и «подколесинским» – заключены возможности различных прочтений текста; в то же время противоположность уровней создает то внутреннее драматургическое напряжение, которым завораживает нас гоголевское творение. В той или иной степени мы, вероятно, всегда соотносим эти разные уровни, и чем соотношение полнее, тем более наше восприятие соответствует поэтическому строю произведения (о «Женитьбе» подробнее – в моей работе «Грани комедийного мира» [Манн, 2007, с. 587–615]).

Можно спросить себя: а не закроет ли это возможность новых толкований комедии? Опасения беспочвенны, так как речь идет об идеальной перспективе. Иначе говоря, исчерпывающая интерпретация комедии – идеал, вечно недостижимый, как искомый жених Агафьи Тихоновны.

Многоуровневая структура гоголевского мира открывает возможности ее различного прочтения, иногда совсем неожиданного, как, например, в случае с М. Врубелем.

«Непосредственность жизненности привлекала Врубеля в русском характере. “Гоголь, Щедрин и Чехов, – говаривал он, – изображают идиллию русской жизни, они, правда, считали, что что-то обличают, но, в сущности, центр их произведений – в изображении положительных сторон существования” И Врубель приводил как иллюстрацию рассуждение Гоголя о желудке господина большой и господина средней руки... В то время, в середине 90-х годов [XIX века] Врубель жил в гостинице “Париж” против Охотного ряда». Кругом – «прогоревшие купцы, военные в отставке, разные пропойцы... Окружающее представляется ему заколдованным дремучим лесом, стихийное кипение жизни которого нисколько не нарушает высокого строя мыслей созерцателя» [Яремич, с. 125–126].

В этом ряду обращает на себя внимание сближение Гоголя (и Салтыкова-Щедрина) с Чеховым. Сближение вновь парадоксальное, но небеспочвенное.

Соседство двух недавно отмеченных в мире больших юбилеев – 200-летия со дня рождения Гоголя и 150-летия со дня рождения Чехова – невольно заставляло сравнивать двух писателей. Казалось бы, это явления прямо противоположные. У Гоголя: гротескность ситуаций, выпуклость комических характеров, подчеркнутая целесообразность деталей, нередко прямое авторское вторжение в ход действия в виде лирических и патетических пассажей. У Чехова: обыкновенность событий, кажущаяся случайность деталей, старательное самоустранение автора, избегание малейших проявлений пафоса и взволнованности повествования.

Но вот известное положение Гоголя: «...чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина» [VIII, 54]. Тут все применимо к Чехову, как и к самому Гоголю, как и к Пушкину, в связи с творчеством которого сказаны эти слова.

Синтез обыкновенного с необыкновенным под знаком «совершенной истины» – это путь развития русской классической литературы, на котором творчество Чехова – одно из высших, самых загадочных проявлений.

Но вот еще один художник, столь не похожий на Гоголя, – Короленко. Андрей Белый в 1933 г. записал: «В перечитывании сызнова пережил ряд художественных наслаждений, открывшие мне новые достоинства, сблизившие мне творчество этого писа-

теля, как это ни звучит парадоксально, – с Гоголем...» (*Спивак М. Андрей Белый – мистик и советский писатель. М., 2006. С. 444*).

Невольно воскликнешь, прибегая к выражению Пушкина: «о сколько нам открытий чудных готовит» изучение гоголевского творчества и его традиции!

Одна из таких тайн – гоголевский алогизм, точнее его обаяние. Дело в том, что этот алогизм обычно фигурирует как негативное понятие, точнее как художественная категория, запечатлевающая некое негативное качество мира, причем в его всеобщем тотальном выражении. «Андроны едут... чепуха – белиберда – сапоги в смятку, это просто чорт побери!» Таков мир Гоголя – эта сумятица, слепой туман, бестолковщина, тина мелочей. И вот изволь «объяснять» по природе необъяснимую запутанную и перепутанную чепуху» (*Ремизов А. Огонь вещей. Сны и предсонье. Париж, 1954. С. 31*). Приведенное суждение характеризует более чем вековую традицию гоголевских интерпретаций, начатую по крайней мере В. Розановым, представленную И. Анненским, В. Брюсовым, Андреем Белым, тем же Ремизовым и другими вплоть до Абрама Терца, т. е. Андрея Синявского как автора книги «В тени Гоголя».

Проблема, однако, в том, что «по природе необъяснимая» гоголевская «чепуха» продуцирует бесконечный ряд логических объяснений. Это относится ко всем уровням текста (коллизиям, сюжетам, композиции), но удобнее начать с персонажей, поскольку именно у гоголевских персонажей в силу их очевидной примитивности, по словам того же Ремизова, «мысли идут по зацепкам наперекор и мимо логической целесообразности».

Но действительно ли «мимо логической целесообразности»?

Воспользуемся рассуждением Камю, который в связи с романом Кафки «Процесс» напомнил анекдот о сумасшедшем, ловившем рыбу в ванне: «Врач, у которого были свои идеи о психиатрическом лечении, спросил его: “А если клюнет?” – и получил суровую отповедь: “Быть того не может, идиот, это же ванна”». «Мир Кафки, – добавляет Камю, – поистине невыразимая вселенная, в которой человек предается мучительной роскоши: удит в ванне, зная, что из этого ничего не выйдет». Такая убежденность позволяет Ковалеву требовать от г. Носа возвращения на прежнее место, т. е. на его, майора, лицо, игнорируя вопрос о том, как взрослый человек, «статский советник», может превратиться в крохотную часть тела: «Ведь вы мой собственный нос!» Даже примитивнейшим героям Гоголя ведомо что-то такое, что усколь-

знуло от нас, – превосходство, которое и побуждает их (или повествователя) беспрестанно спрашивать: «А знаете ли вы, что...?»

Словом, мотивировка и разумность речей и поступков таятся в самой их немотивированности и алогизме. Обаяние (позволим себе такое выражение) гоголевских персонажей в том, что мы почти всегда можем объяснить их странности, но никогда не можем быть уверены в полноте объяснений... Преподаватель «скроил такую рожу», что зритель училищ Лука Лукич получил выговор: «зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству?...» Неразумно? Но у начальства свои резоны: от неподобающего, неразрешенного выражения лица – только шаг к неразрешенным мыслям... Городничий советует Шпекину «всякое письмо... этак немножко распечатать» – это все равно, что сказать «немножко беременная». Но Городничий знает, что советует – распечатать, чтобы письмо осталось нераспечатанным... Или совсем мелочи: «черт, подъехавши мелким бесом...»; «распоряжение, поймать мертвеца... живого или мертвого...». Чистая тавтология? Но черт может действовать и не как бес (например, оборотиться в коня – после перелета в Петербург), а мертвецы, по представлениям полицейских, способны нарушать общественный порядок...

Или вот еще рассуждение квартального, на первый взгляд совершенно вздорное, – о том, как был перехвачен нос господина Ковалева: «...странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастью, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос». Игра воображения, столкновение планов?.. Конечно, но не только.

Прежде всего: в этой реплике преломилась разветвленная и важная для того времени «оптическая символика». Так, заглавный герой гётевского романа «Годы странствий Вильгельма Мейстера, или Отрекающиеся» решительно против любых средств, помогающих зрению. «Едва я надену очки, как становлюсь другим человеком и перестаю самому себе нравиться... чем отчетливей я вижу мир, тем меньше он гармонирует с моей внутренней сущностью...»<sup>80</sup> Критика очков (парадокс в том, что можно говорить именно о критике очков, телескопа и т. д.) ведется с позиций широкой и естественной приемлемости всего сущего, во имя сохранения реальных пропорций, меры и гармонии.

Напротив, романтики, Гофман в частности, утвердили чарующую силу очков (*den Zauber der Brillen*): микроскоп памяти в «Повелителе блох»; очки, раздаваемые Челионати во время римского карнавала в «Принцессе Брамбилле», и т. д. Очки выражают



мотив постижения сущности, перехода за грань обыденного и очевидного<sup>81</sup>. «Роль очков в рассказах Гофмана достаточно известна Гоголю!»<sup>82</sup> – замечает Всеволод Сечкарев в связи с приведенной репликой из «Носа». В самом деле, именно очки помогли квартальному осуществить, как сегодня сказали бы, решительный прорыв в реальность...

Но этого мало: обращает на себя внимание какая-то особенная, веселая, озорная трансцендентальность, словно гоголевский персонаж попеременно способен к реакциям противоположного свойства: в очках видит нос Ковалева; без очков – садящегося в дилижанс важного господина.

Но и это еще не все. Объясняя свою близорукость и потребность в очках, квартальный говорит: «Моя теща, т. е. мать жены моей, тоже ничего не видит». Это не единственный у Гоголя случай мотивации явления фактором родственности; другой пример – заявление повествователя в «Шинели» о странности происхождения фамилии Башмачкина, ибо «и отец, и дед, и даже шурин и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах». С одной стороны, оба утверждения только алогичны, так как подменяют действительное, кровное родство мнимым (теща, шурин), при котором не должно происходить наследование признаков. Но с другой стороны, своя логика у гоголевских персонажей (квартального или повествователя) вовсе не исключена: предполагается такая концентрация в одном месте определенных свойств или явлений (близорукости, количества башмаков), которая берет верх над любыми родственными связями и отношениями.

Значит, к Гоголю снова можно отнести то, что сказано о Кафке: «Он все время балансирует между естественным и необычайным, личным и универсальным, трагическим и повседневным, абсурдом и логикой. Эти колебания проходят сквозь все его произведения и придают им звучание и значимость»<sup>83</sup>.

Вообще гоголевская поэтика не благоприятствует операции, которая сейчас все более входит в моду, – редуцированию его произведений до определенной нравственной апофегмы. Или до определенной эмоциональной настроенности, контрастно исключаяющей другую, противоположную. Остановлюсь – и по необходимости бегло – только на одном контрасте: мрачного, гнетущего и светлого, мажорного.

Гоголевские герои – «сборище уродов» (С.Т. Аксаков), не оставляющее никакого проблеска надежды. Мир Гоголя – мир

«восковых фигурок» (В.В. Розанов), удручающих своей безжизненностью. Все это совершенно верно, но верно и другое.

Достаточно элементарного читательского опыта и малой толики наблюдения – над собою и другими, чтобы заметить: те самые произведения, которые производят гнетущее действие, в иные минуты рождают чувство неподдельного веселья. Не все произведения, но многие, «Ревизор» и «Мертвые души» в первую очередь. И тот же самый писатель, который имеет репутацию «злого гения» русской литературы, является источником неистощимого и ничем не омрачаемого комизма – недаром же его называли «царем русского смеха». Для таких радикальных превращений должны быть основания в самом устройстве гоголевского художественного мира.

Прежде всего, это чисто комический ракурс персонажей, сопряженный с отсутствием момента страдания («смешное – это некоторая ошибка и безобразие, никому не причиняющее страдания или не для кого не пагубное...» (Аристотель «Об искусстве поэзии», гл. 5)). Из этого числа произведений, безусловно, исключаются такие вещи, как «Портрет», «Невский проспект», «Тарас Бульба» и т. д., где претерпеваемое различными персонажами достигает именно степени «страданий». Переживания же героев «Ревизора», или «Мертвых душ» (1-го тома), или, скажем, «Носа», или «Коляски», какими бы напряженными они ни были, не ведут ни к опасным болезням, ни к самоубийствам, ни к гибели (единственное исключение – смерть прокурора в «Мертвых душах», но именно здесь в «забавном» сцеплении событий отчетливее, чем где бы то ни было, проступают другие краски), – и все это содействует нескованности комизма. В свое время Шевыреву крепко досталось за «безвредную бессмыслицу», которую он увидел у Гоголя. Между тем критиком подразумевалось вовсе не отсутствие высокого содержания, но особый способ его обнаружения.

К этому «способу» относится и нарочитая ограничительность прегрешений персонажей «Ревизора» или «Мертвых душ». Они сравнительно безобидны и по тем временам, смена же эпох еще более релятивировала масштабы пороков и преступлений, так что сегодняшний читатель, для которого понятия «мафия», «терроризм» принадлежат к будничным, порою искренне не понимает, почему столько шума из-за взяток борзыми щенками или даже попытки наживы на умерших ревизских душах, которая реальным ревизским душам никакого ущерба не причинит. Так что утверждения Чичикова: «Несчастливым я не сделал никого: я

не ограбил вдову, я не пустил никого по миру, пользовался я от избытков...» – по-своему справедливы. А с другой стороны, между прочим, не совсем справедливы знаменитые слова Гоголя в «Ревизоре»: «я решился собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости...» и т. д. Вовсе не «все» и не «всё»! И «знал» Гоголь к тому времени вещи пострашнее...

К вопросу об эффекте относительности: в 1909 г. историк В.О. Ключевский находил у Гоголя «ужасы николаевского управления, изображенные в полумраке смеющейся скорби...». Интересно, что бы он сказал, будучи знакомым с ужасами других «управлений»...

Конечно, в контексте произведений эти прегрешения или преступления глубоко опосредованны и философски значимы (например, афера с мертвыми душами и идея духовного омертвления и воскрешения), что ведет к ассоциациям сложного, порою трагического звучания. Однако именно отсутствие момента страдания вместе со сравнительным ограничением масштаба порока создают возможность для переключения всей рецепции в другую плоскость – относительно безвредной нелепицы и чистого комизма.

В этом отношении показательна эволюция сценического образа Сквозника-Дмухановского от первых его исполнителей (в Петербурге – И.И. Сосницкого, в Москве – М.С. Щепкина) до, скажем, актера Александринского театра В.Н. Давыдова. Впрочем, и трактовка Давыдова претерпела изменения: жесткость, агрессивность со временем сгладились и уступили место другим краскам, так что по случаю 500-го исполнения «Ревизора» в 1915 г. критик А. Кугель (Номо повус) заметил: «В.Н. Давыдов, конечно, очаровательный городничий. Помню его, когда он давал больше оскотиненности и жесткости в Сквознике-Дмухановском. Нынче он у него выходит мягче, незлобивее, без тени обличительства. Ну что ж, и это хорошо, может быть, даже лучше... И разве Сквозник-Дмухановский такой уж тяжелый, давящий человек, от которого страшно становится? Да помилуй, ведь кругом все Сквозники, а ничего живем, пока Бог грехам терпит»<sup>84</sup>.

А другой, центральный образ комедии – Хлестаков? Да, конечно, «лицо фантазмагорического», «лживый, олицетворенный обман», задающий тон гротескному настрою произведения, его миражной интриге. Все это так, но вот тот же Хлестаков, увиденный с другой стороны.

По поводу московской премьеры комедии, состоявшейся 25 мая 1836 г. в Малом театре, Н.И. Надеждин сетовал на несо-

ответствие зрительного зала предложенной пьесе – как нарочно, собралась «публика высшего тону, богатая, чиновная, выросшая в будуарах...». И эта публика, добавляет критик, «могла ли, должна ли была видеть эту подкладку, эту внутреннюю сторону комедии? Ей ли, знающей лица, составляющие пиесу: городничего, бедного чиновника министерства, которому нечего есть, уездного судьи и т. п., ей ли, знающей эти лица только из рассказов своего управляющего, выдавших их только разве в передней, объятых благоговейным трепетом, – ей ли, говорим, принять участие в этих лицах?»<sup>85</sup> И так, «бедный чиновник министерства, которому нечего есть» – вот черта (и единственная черта), отмеченная критиком и профессором в облике Хлестакова! И не в пример сановной публике он сочувствует гоголевскому персонажу, принимает в нем участие...

Еще более неожиданным звучит суждение о Хлестакове Франца Кафки, кстати сказать, у нас, кажется, совсем неизвестное.

Вспоминая в 1922 г. о посещении спектакля «Ревизор» в Праге, Кафка писал своему другу Феликсу Вельтшу: «...вечер был прекрасен, не правда ли? В конце концов, пьеса еще прекраснее, чем представление. Например, такая сцена: на дворе звенит колокольчик саней (draussen klingelt der Schlitten), Хлестаков, быстро покорив двух дам и почти забыв поэтому об отъезде, приходит в себя и выбегает вместе с обеими женщинами из комнаты. Эта сцена – как приманка (ein Lockmittel), брошенная евреям. Ведь еврею невозможно представить себе эту сцену без сентиментальности, даже невозможно пересказать ее без сентиментальности»<sup>86</sup>. Так воспринял Хлестакова в сцене отъезда художник, чей рассказ «Превращение» восходит к гоголевской повести «Нос», чьи страшные фантазмагии подготовлены гротескным стилем русского писателя!<sup>87</sup>

В параллель к этому эпизоду можно привести другой. «Ревизор» в Московском театре сатиры (1972 г., режиссер Валентин Плучек). Андрей Миронов в роли Хлестакова. Сцена прощания – та самая, которая пробудила сентиментальные чувства у Франца Кафки. «Прощайте, Антон Антонович! Очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь от всего сердца: мне нигде не было такого хорошего приема». Хлестаков-Миронов смущен, растроган, в его голосе звучат слезы. Да ведь и в самом деле: никогда еще с ним так не обращались, не выказывали такого уважения...

«Обрываемый и обрезаемый доселе во всем, даже и в замашке пройтись козырем по Невскому проспекту, он почувствовал простор и вдруг развернулся неожиданно для самого себя»

[IV, 116]. Это говорит уже сам Гоголь, наставляя тех актеров, «которые пожелали бы сыграть как следует “Ревизора”».

В кругозоре автора «Ревизора», «Мертвых душ» или, скажем, «Повести о том, как поссорился...» – такие простейшие движения ума и сердца, которые, с одной стороны, благодаря своей элементарности целиком поглощаются сферой пошлости, но с другой стороны, благодаря тому же свойству принадлежат к естественным условиям и атрибутам жизни. И в этом тоже возможность обращения рецепции – условно говоря, то в негативную, то в позитивную сторону.

Одно из таких элементарных движений – стремление персонажа, как говорил Гоголь, «означить» свое существование в мире, сделать его известным другим, оставить в сознании современников, а может быть, и потомков приметный след. Бобчинский хотел бы, чтобы о нем знали в Петербурге «вельможи», «сенаторы» и «адмиралы» и сам император; Манилов мечтает, чтобы о его «дружбе» с Чичиковым стало известно императору, – но ведь и Гоголь, особенно в молодые годы, больше всего боялся затеряться во мраке неизвестности... Стремлению к прочному, длительному, вечному сродни и желание продлить свое существование в потомстве; Чичиков мечтает о «чичонках»; «чтобы исполнить долг человека и гражданина», и Подколесина трогает картина резвящихся вокруг него ребятишек («целых шестеро, и все на тебя, как две капли воды...»)... Все естественно, все понятно, все – в натуре вещей.

В «Ночи перед Рождеством», после описания ухаживающего за ведьмою черта, сказано: «Чудно устроено на нашем свете! Все, что ни живет в нем, все силится перенимать и передразнивать один другого». Все, в том числе и лица потусторонние, одним миром мазаны. И поэтому то, что порождает чувство тоски, может стать и источником снисхождения. В этом свете видна функция формул обобщения, которые буквально пронизывают все гоголевское творчество («все», «все, что ни есть» и т. д.): здесь и безоглядность, и способность отдаться порыву, и патетика вместе с лукавством, и открытость вместе со сдержанностью, и всечеловеческая отзывчивость и широта.

Еще одна-две детали. «Сорванец негодный! Я не видала твоей матери, но знаю, что дрянь! И отец дрянь! И тетка дрянь!» И чуть ниже в той же «Сорочинской ярмарке»: «Господи, Боже мой, за что такая напасть на нас, грешных! И так много всякой дряни на свете, а ты еще и жинок наплодил!» У Гоголя существует грация ругани, грация пошлых речей и движений, порождающих,

если воспользоваться выражением Ролана Барта, «удовольствие от текста». Собственно, это удовольствие не только от того, как устроен текст, но и от провоцируемого им фактора узнавания – узнавания своего, родного, близкого, человеческого.

Все это и делает гоголевское творчество единственным в своем роде соединением апокалипсического ужаса и «настоящей веселости» (выражение Пушкина о первом гоголевском сборнике повестей). Причем такой «веселости», которая граничит со снисхождением, а порою и с сочувствием и сопереживанием. Так что и другая, применяемая к Гоголю еще его современниками емкая формула – о «сентиментальном натурализме» – сохраняет в первой своей части долю истины.

Следует, правда, оговориться, что сегодняшнее состояние мира (и конечно, не только российского) не благоприятствует обнаружению этих потенций гоголевского текста – его гротескная, химерическая, «дьявольская» субстанция гораздо более созвучна этому состоянию. Однако будем надеяться на лучшее, а значит, и на то, что последняя точка в истории восприятия Гоголя еще не поставлена.

Необъятное значение Гоголя для русской литературы раскрывалось постепенно, в течение длительного времени, и это вполне соответствовало бесконечно сложной природе этого писателя. Для ближайших его последователей, представителей так называемой натуральной школы, главное значение имели мотивы социальной критики, всемерное внимание к темным сторонам жизни (как говорил Гоголь, к ее «прозаическому дрязгу»), наконец, гуманистическая трактовка темы «маленького человека». В тени еще оставалось гротескно-фантастическое начало гоголевской поэтики, его философия комического. Но уже в 1861 г. Достоевский писал о «смеющейся маске Гоголя», «с страшным могуществом смеха, – с могуществом, не выразившимся так сильно еще никогда, ни в ком, нигде, ни в чьей литературе с тех пор, как создалась земля» [Достоевский об искусстве, с. 102]. Позднее, на рубеже XIX и XX вв., усилилось внимание к философско-религиозной природе гоголевской художественной мысли, к ее моральной проблематике.

Своя последовательность, своя логика была и в признании Гоголя за рубежом. Вначале оно носило, так сказать, индивидуально-выборочный характер, когда о Гоголе заговорили единицы – выдающиеся интеллектуалы. Вспоминая о своем детстве в

1876 г., Фридрих Ницше писал: «Моя мать прочитала мне Гоголя, Лермонтова, Брета Гарта, М[арка] Твена и Э[дгара] А[ллана] По» [Ницше, с. 44]. В более позднем возрасте, выучив русский язык, Карл Маркс (по воспоминаниям Поля Лафарга) наслаждался чтением «Пушкина, Гоголя, Щедрина» [Маркс, с. 21]. Франц Кафка, упоминая в дневнике «тройку Гоголя», пишет: «Бесконечная притягательная сила России...» [Кафка, с. 289].

С 1839 г. начали выходить переводы гоголевских повестей; в 1845 г. в Париже на французском языке появился том его сочинений. Интерес к русскому писателю год от года возрастал (см.: кн. 2, с. 472 и далее).

Был в этом интересе и конъюнктурный момент, особенно усилившийся после Крымской войны. В «Мертвых душах» увидели акт саморазоблачения. Это «поэма, удручающая общими местами, – утверждал французский писатель Жюль Амеде Барбе д'Оревильи, – которая доказала бы, если Гоголь изображал правдиво и точно, что Россия действительно колосс, но колосс глупости и пошлости» и т. д. [Материалы, т. 1, с. 257–281].

Но постепенно Гоголь завоевывал все больше и больше читателей и ценителей. Среди них был Сент-Бёв, лично встречавшийся с русским писателем и посвятивший ему статью. Современная исследовательница русской литературы, профессор Парижского университета Софи Лаффитт суммирует все сказанное Сент-Бёвом о Гоголе: «Гоголь обладает “подлинным талантом” и неким особым искусством воздействия на душевные струны. При этом он остается для французского критика зорким и беспощадным наблюдателем человеческой природы, которого более всего занимает сам человек, который изображает «грубое» и «естественное», всегда захвачен наблюдением и никогда не прибегает к идеализации» [Лаффитт, с. 14].

Но как и в России, осознание гротескно-комической природы гоголевского творчества, глубины его религиозно-нравственной мысли возникло в зарубежных литературах с течением времени. Усилению этого процесса способствовали труды русских мыслителей-эмигрантов [см., в частности: Кривonos, 2005, с. 272–279].

Замечательно проникновенную характеристику творчества Гоголя дал Томас Манн. Называя в своей «Русской антологии» Россию «страной Гоголя», Томас Манн пояснял:

Со времен Гоголя русская литература комедийна, – комедийна из-за своего реализма, от страдания и сострадания, от глубочайшей своей



Памятник Н.В. Гоголю в Москве  
*Скульптор Н. Андреев,  
архитектор Ф. Шехтель. 1909*



Памятник Н.В. Гоголю в Москве  
*Скульптор Н. Томский,  
архитектор Л. Голубовский. 1952*

человечности, от сатирического отчаянья, да и просто по своей жизненной свежести; но гоголевский элемент комического присутствует неизменно и в любом случае... И если нам дозволено говорить голосом сердца, то нет на свете комизма, который был бы так мил и доставлял столько счастья, как этот русский комизм, с его правдивостью и теплотой, с его фантастичностью и покоряющей сердце потешностью – ни английский, ни немецкий, жан-полевский юмор не идут с ним в сравнение... (*Манн Т. Русская антология / Пер. с нем. С.К. Апта // В мире книг. 1975. № 6. С. 73–74*).

В наше время Гоголь уже стал действенным фактором мировой культуры, о чем свидетельствуют, в частности, недавно отмечавшееся во многих странах 200-летие со дня рождения Гоголя и учреждение Международной премии имени Н.В. Гоголя в Италии.



Один из лауреатов этой премии, выдающийся итальянский поэт и сценарист Тонино Гуэрра, на церемонии вручения награды сказал:

Гоголь, конечно, занял огромное место в моем сознании. Когда с Феллини мы должны были написать сценарий к фильму, кажется, это был «Амаркорд», студия этого гениального режиссера находилась на улице Систино. Прямо против квартиры, которую занимал Гоголь и где он написал первые страницы, а может и больше, «Мертвых душ». И мы каждый раз, прежде чем приступить к работе, кланялись через окно мемориальной доске Гоголя и просили его о помощи [ЛГ. 2010. № 26. 30 июня – 6 июля. С. 11].

Дистанция, пройденная Гоголем в мировом художественном сознании, может быть продемонстрирована на одном примере – отношении к «Мертвым душам». Известный исследователь Гоголя и издатель его сочинений Н.И. Коробка (1872–1920) полагал, что эта «дивная картина, по силе изображения напоминающая кисть Микель-Анджело», тем не менее «имеет мало общечеловеческого значения и вряд ли способна тронуть европейца». Собственно, Коробка повторял то положение, которое нам известно по Белинскому или И. Киреевскому. Но времена уже менялись, и невольным ответом Коробке прозвучали слова одного из «европейцев», французского литератора Мелькиора де Вогюэ, сказанные, кстати, в год первого большого юбилея писателя, 100-летия со дня его рождения: «Наш Мериме сравнивал Гоголя с английскими юмористами; но его следует поставить выше, недалеко от бессмертного Сервантеса... Как Сервантес, Гоголь вложил в свои чисто национальные картины столь широкое, столь глубокое знание человека, что эти местные образы заставляют биться сердца повсюду, где только есть люди».

Мелькиор де Вогюэ высказывал надежду, что в будущем у каждого образованного читателя рядом с «Дон Кихотом» Сервантеса будет стоять том «Мертвых душ».

Кажется, это время уже недалеко.

---

## Примечания

<sup>1</sup> Отклик на эту встречу – в более позднем (около середины августа н. ст. 1847 г.) письме Гоголя к А.П. Толстому: Гоголь упоминает Анненкова, «который – помните? – был у меня в Париже при вас...» [XIII, 368].

<sup>2</sup> Возможно, подразумевается «Слово по освящении Храма явления Божией Матери преподобному Сергию... говоренное синодальным членом Филаретом, митрополитом Московским [М. 1843. № 1]. Об этой «отлично-прекрасной проповеди» Гоголя известил Н.М. Языков 27 февраля 1844 г. [Переписка, т. 2, с. 380].

<sup>3</sup> Статья появилась в течение 1846 г. в трех изданиях: в «Современнике» (т. 43), «Московских ведомостях» (№ 89) и «Москвитянине» (№ 7).

<sup>4</sup> О вторичном приезде Гоголя в Париж в 1846 г., между 10 и 20 августа н. ст., ранее не было ничего известно; впервые на этот факт указала А.Н. Михайлова, автор комментариев в первом академическом Полном собрании сочинений Гоголя [XIII, 468]. Дополнительным аргументом в пользу этой версии является то обстоятельство, что Михаил Самарин отправился за границу 30 июня [Переписка, т. 2, с. 222], следовательно, он не мог встретиться в Париже с Гоголем во время его первого приезда сюда в мае того же года.

<sup>5</sup> Тем самым я уточняю и соответствующее место в моей статье «Гоголь – критик и публицист» (*Гоголь Н.В. Собр. соч.*: В 7 т. М., 1986. Т. 6. С. 468), где говорилось об утопии в «Выбранных местах...».

<sup>6</sup> Соответствующее место из книги маркиза де Кюстина в пересказе В. Нечаева звучит так: «Среди мужчин, впрочем, нередко попадались головы красивой формы и безукоризненно правильные черты лица. Особенною красотою, в своем роде, отличались старики: Кюстин любовался их румяными лицами, серебристыми волосами, обрамлявшими голое темя, и белыми, шелковыми бородами, ниспадавшими на грудь, и признавал, что даже Рубенс, Рибейра и Тициан не создавали более прекрасных голов» (Записки о России французского путешественника Маркиза де Кюстина, изложенные и прокомментированные В. Нечаевым. М.: СП Интерпринт, 1990. С. 80).

<sup>7</sup> Ср. дневниковую запись С.П. Шевырева (1831 г.): «Россия основана не завоеванием, а добровольным уступлением власти варягам. В этом, мне кажется, должен быть главный источник различий» (опубл. И.М. Тойбиным – см. кн.: Проблемы историзма в художественной литературе. Курск, 1975. С. 37).

<sup>8</sup> С этими словами перекликается высказывание Пушкина о Соединенных Штатах в статье «Джон Теннер»: «Все благородное, бескорыстное, все возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству» [Пушкин, т. 6, с. 449]. Эти слова могли быть знакомы Гоголю (статья «Джон Теннер» появилась в: [С. 1836. Т. 3]).

<sup>9</sup> Ю.Я. Барабаш полагает, что эпизод, о котором, по Гоголю, повествуется в стихотворении, «отмечен слишком явной печатью придворной мифологии» [Барабаш, 1993, с. 147]. Но в таком случае об этом знал бы Жуковский (да и Плетнев), который был гораздо ближе ко двору, чем Гоголь. Достаточно спорно и рассуждение другого исследователя: «Но кто же рассказал Гоголю об этом? Слова Гоголя о тайне позволяют предположить, что это мог быть Пушкин» [Есипов, с. 269].

<sup>10</sup> Чарушникова М.В. Фрагмент романа Н.В. Гоголя «Гетьман» // Гос. б-ка им. В.И. Ленина. Зап. отд. рукописей. М., 1976. С. 187.

<sup>11</sup> Показателен и тот контекст, в котором упоминается «Прощальная повесть» в «Бесах». Здесь Лебядкин говорит: «Ведь судьба-то моя какова! Даже стихи перестал писать... Написал только одно стихотворение, как Гоголь “Последнюю повесть”, помните, где он возвещал России, что она “выпелась” из души его. Так и я, пропел и баста» [Достоевский, т. 10, с. 209].

<sup>12</sup> Носов В.Д. «Ключ» к Гоголю. Опыт художественного чтения. Л., 1985. С. 66. Вошло в кн.: Паламарчук П.Г. Свиток. М., 2000.

<sup>13</sup> Напомню, что эта фраза зафиксирована лечившим писателя врачом А.Т. Тарасенковым в его воспоминаниях «Последние дни жизни Н.В. Гоголя» (см.: Гоголь в воспоминаниях современников. [М.], 1952. С. 524).

<sup>14</sup> Носов В.Д. Указ. соч. С. 89.

<sup>15</sup> Там же. С. 71. (курсив мой. – Ю. М.).

<sup>16</sup> Слово «повесть» в цитатах здесь и далее выделено курсивом мной. – Ю. М.

<sup>17</sup> Гоголь Н.В. Сочинения. 10-е изд. М., 1889. Т. 3, с. 545–546 (раздел «Примечания редактора и варианты»). См. также: Манн Ю. В поисках живой души. «Мертвые души»: писатель–критика–читатель. 2-е изд. М., 1987. С. 200 и далее.

<sup>18</sup> Ср.: Bernstein L. Gogol's Last Book: The Architectonics of «Selected Passages from Correspondence with Friends». Birmingham, 1994. P. 56.

<sup>19</sup> В.С. Аксакова считает Софью Михайловну Соллогуб адресатом письма Гоголя «Женщина в свете». В этой статье, однако, нашли отражение и советы, содержащиеся в гоголевских письмах к Смирновой-Россет (от 16 мая н. ст. 1844 г., от 28 июля н. ст. 1845 г. и др.).

<sup>20</sup> Чуть позже, в декабре 1847 г., рукопись труда Хомякова получил и Жуковский (см.: *Жуковский В.А. Сочинения*: В 6 т. 7-е изд. СПб., 1878. Т. 6. С. 640–641).

<sup>20a</sup> В контексте отношения Гоголя к католицизму интересен факт конфессиональной принадлежности его прапрадеда Ивана Яковлевича, бывшего одно время викарным священником. Опираясь на авторитетное суждение Н.И. Надеждина о том, что в православную «церковь звание викариев вошло не прежде времен Петра Великого» и обозначало более высокий сан, чем помощник приходского священника (т. е. сан епископа), я высказал предположение, что Иван Яковлевич первоначально принадлежал к католическому вероисповеданию» (см.: кн. 1, с. 14, 441). Ср. другую точку зрения: киевский митрополит Варлаам Ясинский, «расположенный вначале более к Польше», принял прапрадеда Гоголя в Троицкую Лубенскую церковь «в качестве викария» «как бы сверх штата» (*Виноградов И.А. Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников... М., 2011. С. 18*). Объяснение не очень логичное (так как обойдена причина присвоения Ивану Яковлевичу звания викария), однако оно, разумеется, имеет право на существование. Непонятно только желание уличить своего оппонента в религиозной злонамеренности: мол, последний хочет «при предвзятом стремлении непременно сделать одного из предков Гоголя католиком» [Там же]. Хотелось бы успокоить Виноградова: у меня такого «стремления» нет.

<sup>21</sup> См. составленную М.И. Гиллельсоном «Краткую хронологию странствий А.И. Тургенева» [Тургенев, с. 505].

<sup>22</sup> Основательная характеристика взглядов И.В. Киреевского на западноевропейские страны, в частности Англию, дана в монографии Э. Мюллера [см.: Мюллер, с. 216 и далее]. Английская тема у А.С. Хомякова рассмотрена П. Тиргеном [см.: Тирген, с. 190 и далее].

<sup>23</sup> Приведенные цитаты взяты мной из исследования И.Н. Конобеевской «Парижская трилогия и ее автор», опубликованного в качестве сопроводительной статьи к указанному изданию «Парижских писем». В целом английские записи Анненкова, отмечает Конобеевская, «едва различимы» и еще не прочитаны [Анненков, 1983, II, 449].

<sup>24</sup> Любопытные подробности к этому противостоянию добавляют воспоминания дочери А.С. Хомякова Марьи Алексеевны: «Раз у него [А.С. Хомякова] знакомые поставили вопрос: кто кем желал бы быть, если бы не был русским: отец, конечно, сказал, что англичанином, другие назвали другие нации, но когда дошла очередь <до> К.С. Аксакова, он сказал, ударив по обыкновению по столу: если бы я не был русским, я бы желал им сделаться» (Хомяковский сб. Томск, 1998. Т. 1. С. 185; публ. Е.Е. Давыдовой).

<sup>24а</sup> Любопытный эпизод (впрочем, относящийся к более позднему времени) для характеристики А. Виельгорской: И.С. Аксаков в связи со слухом, что Анна Михайловна выходит замуж за И.С. Тургенева, утверждал (письмо родным от 21 августа 1854 г.): «Граф<иня> Велиеогорская [так в оригинале], служившая прототипом Гоголевой Улиньке, может иметь на Тургенева благотворное влияние...» [Аксаков, 1994, с. 299–300]. См. также: *Виноградов И.* Гоголь и графиня Виельгорская: вопрос о сватовстве в изучении замысла «Мертвых душ» // Гоголезнавчі студії. Вып. III (20). Ніжин, 2013. С. 23–24.

<sup>25</sup> Для полноты картины пребывания Гоголя в Остенде следует упомянуть о его встрече с М.Д. Нессельроде, женой государственного канцлера К.В. Нессельроде. Как мы знаем, Гоголь встречался с нею еще в начале 1846 г. в Риме и отзывался с большой симпатией. В Остенде Нессельроде привезла для Гоголя журналы и книги [см.: XIII, 395, 397]. А вот с Ф.И. Тютчевым увидеться в Остенде не удалось, хотя такая встреча намечалась. 17/29 июля 1847 г. Федор Иванович писал Э.Ф. Тютчевой из Карлсруэ о своей возможной поездке в Остенде, где будут «две наши литературные знаменитости – Хомяков и Гоголь» (*Тютчев Ф.И.* Соч.: В 2 т. М., 1984. Т. 2. С. 137). Однако о приезде Тютчева в Остенде в период пребывания здесь Гоголя ничего не известно (см.: *Чулков Г.* Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева. М.; Л., 1933. С. 71–72).

<sup>26</sup> Ср. характерное мнение комментатора мемуаров Анненкова: последний «искажил» взгляды Белинского «отчасти по непониманию и очень часто по органическому неприятию революционно-демократических идей» (*Дорофеев В.П.* П.В. Анненков и его воспоминания // Анненков П.В. Литературные воспоминания. [М.], 1960. С. 25).

<sup>27</sup> Серединский пишет: «В бытность свою в Париже г. Гоголь отозвался обо мне своему свояку протоиерею Вершинскому так: “очень серьезен в служении и совсем другой в общественной жизни”» [Материалы, т. 1, с. 115]. Это могло быть в конце мая – начале июня 1847 г. (о Д.С. Вершинском см.: кн. 2, с. 425–427, 447).

<sup>28</sup> Комментаторы первого академического Полн. собр. соч. Гоголя считают, что записка «точной датировке не поддается» и что она могла быть написана и ранее, зимой 1846/47 г. [XIII, 533].

<sup>29</sup> Утверждение, будто бы Гоголь, направляясь в Бейрут, доплыл до Константинополя, ошибочно – такое утверждение высказал Анри Труайя [Труайя, с. 512]. В этом случае Гоголю пришлось бы проделать огромный путь на север, чтобы затем возвратиться назад. Ошибка основана на неправильном прочтении мемуаров П. Соловьева (о них – ниже): Соловьев определенно говорит о своем путешествии из Константинополя

в Смирну, с Гоголем же он увиделся уже на другом пароходе, направлявшемся из Смирны в Бейрут [Соловьев, с. 553].

<sup>30</sup> К путешествию Гоголя относится и эпизод, имевший место осенью 1851 г. в Москве, во время последней встречи с Анненковым. «Он [Гоголь] взял с меня честное слово беречь рощи и леса в деревне и раз вечером предложил мне прогулку по городу, всю ее занял описанием Дамаска, чудных гор, его окружающих, бедуинов в старой библейской одежде, показывающихся у стен его (для разбойничества), и проч., а на вопрос мой: какова там жизнь людей, отвечал почти с досадой: “Что жизнь! Не об ней там думается”» [Анненков, 1983, с. 535]. Однако надо заметить, что других сведений, подтверждающих пребывание Гоголя в Дамаске, у нас нет. Как извещал Гоголя Бейне еще в письме от 1/13 января 1848 г., путь до Дамаска находился на расстоянии пятидневного путешествия от того маршрута, который выбрали Гоголь и Базили [см.: Шенрок, т. 4, с. 686].

<sup>31</sup> Именно В.И. Белому адресовано известное ответное письмо Гоголя, посвященное характеристике героев второго тома «Мертвых душ» [см.: XIV, 292–293]. Кстати, можно уточнить комментарий к этому письму: «Был ли адресат лично знаком с Гоголем, из письма не видно» [XIV, с. 450]. Но очевидно, что по крайней мере один раз Белый видел Гоголя.

<sup>32</sup> Заметка Н.С. Лескова «Нескладница о Гоголе и Костомарове (историческая поправка)» была опубликована в «Петербургской газете» (1891. № 192. 16 июля). См. также: *Лесков Н.С. Собр. соч.*: В 11 т. М., 1958. Т. 11. С. 208–212. Позднее И.А. Бунин воспроизвел этот эпизод в рассказе «Жилет пана Михольского» (*Бунин И.А. Собр. соч.*: В 9 т. [М.], 1966. Т. 7. С. 288–291).

<sup>33</sup> Точно неизвестно, встречался ли Гоголь в этот раз со своим старым другом М.А. Максимовичем, бывшим профессором и ректором Киевского университета. После выхода в отставку Максимович проживал на своем хуторе Медвежья гора, но оттуда часто навещался в Киев. В биографической канве первого академического издания Сочинений Гоголя указано, что такая встреча была [см.: XIV, 11]. Однако сам Максимович определенно утверждал, что после встречи в 1835 г. в Киеве они с Гоголем расстались «надолго, до нашего свидания в октябре 1849 года, в Москве» [Максимович, 1871, с. 57]. Следует внести еще одно уточнение, касающееся пребывания Гоголя в Киеве: писатель в эту пору не мог видаться с Г.П. Галаганом, поскольку последний указывал, что после апреля 1843 г. он «уже более Гоголя не встречал» [Галаган, с. 69; отмечено публикатором документа Е.Н. Гусевой].

<sup>34</sup> Н.А. Трахимовский впоследствии вспоминал: «Самого Николая Васильевича я несколько раз видел и в Васильевке, и в Сорочинцах, в

доме моего отца, в 1848, 1850 и 1851 годах, и хотя в 1848 году мне было всего 10, а в 1851 году – 13 лет, личность Гоголя врезалась в память мою глубоко» [Трахимовский, с. 26].

<sup>35</sup> Вслед за мемуаристом Н.Г. Машковцев также относит эпизод посещения Гоголем мастерской Брюллова к 1849 г. (см.: К.П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников / Сост. и авт. предисл. проф. Н.Г. Машковцев. 2-е изд. М., 1961. С. 237). Однако это исключено: в начале октября 1848 г. Гоголь покинул Петербург и больше сюда не приезжал.

<sup>36</sup> Известен также рассказ А.Я. Панаевой об этой встрече [см.: Панаева, с. 188–189]. Из этого рассказа следует, что хотя она не присутствовала во время разговора, но по уходе Гоголя вошла в кабинет и уловила общую атмосферу встречи. Согласно Панаевой, встреча проходила в кабинете И.И. Панаева, что противоречит другим свидетельствам, а среди ее участников были еще Кронеберг и Боткин, что также не находит подтверждения. И уж совершенно фантастично утверждение, что именно под влиянием этого события Белинский (принимавший в нем участие) сочинил свое знаменитое письмо к Гоголю, которое он на следующий день принес к Панаеву.

<sup>37</sup> Американский исследователь Ю. Маргулиес выдвинул гипотезу о том, что на вечере у Комарова присутствовал Ф.М. Достоевский и что таким образом состоялась личная встреча двух писателей (*Маргулиес Ю. Встреча Достоевского и Гоголя (начало осени 1846 г.)* / Публ. и вступ. заметка С. Белова // Байкал. 1977. №4; первоначально статья Маргулиеса была опубликована в альманахе: Воздушные пути. III. Нью-Йорк, 1963. С. 272–294). В качестве доказательства приводится тот факт, что герой повести Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» (1859) Фома Опискин, в котором пародийно отражены некоторые черты облика Гоголя, требует подать ему малаги: «Малаги бы я выпил теперь...» Эпизод этот совпадает с рассказом И.И. Панаева, чьи воспоминания опубликованы значительно позже (1861), и, по мнению Маргулиеса, свидетельствует о том, что Достоевский был очевидцем происшедшего. Однако, как уже отмечалось комментаторами, маловероятно, чтобы Достоевский нигде бы не обмолвился о своей встрече с Гоголем, который занимал такое место в его творческом сознании; «факт же, рассказанный Панаевым, мог быть известен Достоевскому от участников встречи» [см. комментарий А.В. Архиповой: Достоевский, с. 503]. К сказанному надо добавить, что отношения, сложившиеся к тому времени между кружком Белинского и Достоевским, не способствовали приглашению последнего Комаровым на упомянутый вечер. «Он [Достоевский] стал избегать лиц из кружка Белинского, замкнулся

весь в себя и сделался раздражительным до последней степени» (*Григоревич Д.В.* Литературные воспоминания. Л., 1928. С. 84).

<sup>38</sup> Существует свидетельство, что в «последний приезд из-за границы» (т. е. в сентябре – начале октября 1848 г.) Гоголь вместе с В.А. Соллогубом побывал в Александринском театре на спектакле с участием А.Е. Мартынова в роли Хлестакова и сказал по окончании: «Хорошо, Мартынов, я доволен... я заметил, что вы играли свою роль “*con amore!*”». Был Гоголь и в уборной В.В. Самойлова и тоже похвалил его. Виделся Гоголь и с директором императорских театров А.М. Геденовым, а также начальником репертуара А.Л. Неваховичем [Петербургское театральное училище в воспоминаниях Н.И. Куликова // РС. 1886. Декабрь. С. 623–625]. Однако, как отметила И.А. Зайцева в комментариях к «Ревизору» [см.: Гоголь, ак., т. 4, с. 736], эта пьеса в 1848 г. в Александринском театре не шла.

<sup>39</sup> Дата переезда указана Е. Смирновой-Чижиной на основе неопубликованной дневниковой записи Погодина (Известия АН СССР. 1966. Т. 25. Сер. лит. и яз. Вып. 2. С.134–141).

<sup>40</sup> Это предположение высказано И.А. Виноградовым и В.А. Воропаевым [Шереметева, с. 34].

<sup>41</sup> Весьма выразительное словоупотребление у мемуариста: ведь тарантить – «говорить бойко, резко, скоро, торопливо; тараторить» (В. Даль).

<sup>42</sup> Во время этой встречи Гоголь, по словам мемуариста, поведал свою знаменитую историю о немце-ловеласе, который, стремясь добиться расположения женщины, «каждый вечер, раздевшись, бросался в пруд и плавал перед глазами своей возлюбленной, обнявши двух лебедей...» [Воспоминания, с. 473]. В том, что это действительно рассказ Гоголя, воспроизводящий его комическую манеру, не приходится сомневаться: по словам В. Набокова, писатель отобразил здесь «бессмертный дух прошлого» «со всей мощью своего таланта» [Набоков, с. 197].

<sup>43</sup> По версии А.О. Смирновой, вначале с ними был еще ее брат, отставной военный Клементий Осипович Россет (1810–1866), но вскоре по выезде он «потерял тарантас» и отстал [Смирнова, 1989, с. 65].

<sup>44</sup> В изложении Смирновой этот эпизод выглядит так: «Городничий спросил брата [т. е. Льва Арнольди]: “Кто этот господин, ваш попутчик?” – “Это Гоголь” – “Как Гоголь, тот самый, который написал “Ревизора”?” – “Да” – “Ну, так, пожалуйста, представьте меня ему» [Смирнова, 1989, с. 65].

<sup>45</sup> Из воспоминаний Смирновой следует, что при чтениях (всех или некоторых – не уточняется) присутствовал и А.К. Толстой, находившийся в это время в Калуге [Смирнова, 1989, с. 66]. Это находит косвенное подтверждение и в мемуарах Арнольди: «Через несколько дней



после этого чтения я и брат мой К.О.Р. [Клементий Осипович Россет] собрались поздно вечером у графа А.К.Т. [Алексея Константиновича Толстого], который был тогда в Калуге. Разговор зашел о Гоголе...» и т. д. [РВ. 1862. № 1. С. 81; в изд. «Гоголь в воспоминаниях современников» этот эпизод выпущен]. Следовательно, возможно также участие Клементия Осиповича Россета в упомянутых чтениях.

<sup>46</sup> 27 сентября Гоголь приезжает из Абрамцева в Москву [см.: РМ. 1915. № 8. С. 115], а 13 октября о возвращении Гоголя в Москву – по-видимому, уже из поездки в Калугу – сообщает С.Т. Аксаков сыну Ивану [см.: ЛН. Т. 58. С. 720]. Очевидно, к настоящей поездке Гоголя, а именно к его возвращению в Москву, имеют отношение и следующие строки из письма Смирновой к Гоголю из Калуги от 29 октября: «Ося (Осип Осипович Россет, брат Александры Осиповны. – Ю. М.) вчера приехал и рассказал, как вы завязли в знаменитом Малом Ярославце» [РС. 1890. Т. 68. С. 658].

<sup>47</sup> Сводку данных по этому вопросу см. в кн.: Аксаков, 1994, с. 516 (примечание Т.Ф. Пирожковой).

<sup>48</sup> В изд.: Воспоминания – этот и следующие затем тексты опущены.

<sup>49</sup> См.: *Данилов В.В.* Несколько новых дат к хронологической канве Гоголя // *Материалы*, 1954, с. 385–386.

<sup>50</sup> Об И.В. Капнисте см., в частности: Крутикова, 2003, с. 369 и далее.

<sup>51</sup> Хотя Смирнова могла иметь в виду и последующие чтения поэмы Капнисту, но число «девять глав» представляется маловероятным.

<sup>52</sup> Отклик на чтения поэмы в первой половине 1850 г. содержится в письме Жуковского Гоголю из Бадена от 1/13 февраля 1851 г.: «Здесь в Бадене Кошелев... он обрадовал меня известием, что Мертвые души идут шибко вперед. Он знает, что ты читал многое Хомякову; но Хомяков не сказал, что, как и каково, сохраняя данное тебе обещание не произносить никакого суждения. Но для меня довольно знать, что ты пишешь и что пишется...» [Сборник, 1891, с. 22].

<sup>52a</sup> Об Анне см.: *Воропаев В.А.* «Я вас полюбил искренно...» Графиня А.Г. Толстая и ее отношения с Н.В. Гоголем // *Дом-музей писателя: история и современность. 11-е Гоголевские чтения. М., 2011. С. 159–163.*

<sup>53</sup> Обе цитаты приведены В. Воропаевым с статье «Почему Гоголь не был женат» (<http://gogol.lit-info.ru/bio/pochemu-ne-byl-zhenat.htm>).

<sup>54</sup> См.: *Манн Ю.В.* «Мертвые души» для А.П. Елагиной // *Наше наследие. 2006. № 79–80. С. 188–189.*

<sup>55</sup> Н. Мурзакевич пишет, что во время пребывания Гоголя в Одессе «осенью и зимой» 1850–1851 гг. (у Мурзакевича ошибочно указан 1849 г.) они с Гоголем обедали «ежедневно вместе и большею частью проводили вечера вместе» [Мурзакевич, с. 224]. Очевидно, это происходило в доме Репнина: после окончания занятий Гоголь обычно покидал

отведенную ему «особую комнату», «выходил в гостиную и там отдыхал в дружественном собеседовании» [Стурдза, 1852, с. 227].

<sup>56</sup> Аналогичное суждение Гоголя Мизко передал и в одном из своих более поздних сочинений. «При свидании с Гоголем, автор статьи слышал от него следующие слова: “Меня интересовали мнения провинциальные; истинно русская жизнь сосредоточена преимущественно в провинции”» (*Н. М<изко>*). Тургенев, его тридцатилетняя литературная деятельность и его типы. Воронеж, 1872, с. 132).

<sup>57</sup> Прямых сведений о чтениях Гоголем в Одессе глав второго тома не имеется, однако такие чтения скорее всего были. В.Н. Репнина отмечала, что «в Каstellамаре он [Гоголь] читал нам первые две главы второго тома «Мертвых душ» и тогда или позже немного, говорил, что первый том – грязный двор, ведущий к изящному строению» (РА. 1890. Кн. 3. № 10. С. 229). Но в Каstellамаре (лето 1838 г.) Гоголь еще работал над первым томом; упомянутое чтение могло иметь место именно в Одессе.

<sup>58</sup> То, что «Неизвестная» (как ее называет Вересаев) – «девица Екатерина Александровна», проживавшая у «младшей княгини» (Репниной), сообщил еще П. Бартенев (см.: вступительную заметку В. Шенрока к публикации ее дневника [РА. 1902. № 3. С. 543]).

<sup>59</sup> *Младенцев Э. (К. Зеленецкий)*. Три недели в Одессе, летом 1851 // М. 1852. Март. № 5. Отд. 7. С. 39.

<sup>60</sup> Биография Святогорца, письма его к друзьям своим о Святой Горе Афонской. М., 1883. Т. 3. С. 68–69.

<sup>60а</sup> О беглой встрече с Гоголем в Одессе весной 1851 г. упоминает Ф.Е. Никольский, бывший студент Московского университета (см.: *Никольский Ф.Е.* Гоголь в Одессе / Вступ. ст. и публ. Н.Ф. Бельчикова // Прометей. М., 1967. Т. 2. С. 214–215).

<sup>61</sup> Соответствующая запись Кулиша сделана, по-видимому, со слов Смирновой. Кстати, эта запись во многом идентична записи А.Н. Пыпина, датируемой более поздним временем – около 1873 г. [Смирнова, 1989, с. 40].

<sup>62</sup> По словам Арнольди, Гоголь «предложил прочесть окончание второго тома “Мертвых душ”» [Воспоминания, с. 494]. Но в данном случае большего доверия заслуживают слова Смирновой, к которой и было обращено предложение Гоголя. Последний знал, что Тентетников очень понравился Смирновой, и рассчитывал таким образом развеселить ее.

<sup>63</sup> Запись Евфимия приводится в книге С. Нилуса «Святыня под спудом. Тайны православного монашеского духа» (1991. С. 112). Г. Георгиевский в рукописной статье «Оптинские письма Гоголя» также отмечал, что писатель трижды побывал в Оптиной – «в июне 1850 года и в июне и сентябре 1851 года» [ОР РГБ. Ф. 217. 2. Ед. хр. 6. С. 10]; о третьей поездке Гоголя в Оптину речь впереди.

<sup>64</sup> Борисов В. Оптина Пустынь // Наше наследие. 1988. № 4. С. 62. К сожалению, автор не сообщает местонахождение процитированного им источника.

<sup>65</sup> Принадлежность этого текста Гоголю подтверждается на стилистическом уровне. Вот несколько параллелей. Гоголь употреблял слово «прелесть» именно как «монашеский термин» – в смысле «обольщение»: «...впавшего в прелесть и в обольщение» [VIII, 433]. К фразе «дымное надмение человеческой гордости» находится соответствие в письмах Гоголя: «...чорту, отцу самонадеянности, дымным надмением своих доблестей надмевающему человека» [XIV, 298]. Гоголю было свойственно и употребление слова «душеведец» [см., например: VIII, 437, 443]. Выражение «гнилые слова» взято в кавычки, так как это, очевидно, цитата («Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших» [Еф. 4: 29]), встречающаяся у Гоголя и в другом месте.

<sup>66</sup> Интересную параллель к изменившемуся гоголевскому пониманию страстей представляет собой высказывание И.А. Фонвизина, человека, близкого Гоголю (см. об этом: наст. издание, с. 229). В письме к Гоголю от 20 октября 1850 г., жалуясь на направление мыслей своего племянника, Фонвизин писал: «...болезнь же духа происходит от обольщения нынешних лжефилософских систем последователей германского мыслителя Гегеля, как-то: Фейербаха и прочих, увлекающих молодежь и дающих большой простор страстям человеческим» [Шенрок, т. 4, с. 822].

<sup>67</sup> Примечательно сходство в понимании страсти поздним Гоголем и Надеждиным в конце 1830-х годов. В статье «Возбуждение страстей» Надеждин пишет: «Со времен Аристотеля ведется поверье, что трагедия, например, должна возбуждать страсти ужаса и соболезнования. Нет! Не страсти, а чувства – это так! В противном случае “Лукреция Борджиа” Виктора Гюго или “Тереза” Александра Дюма были б совершеннейшие трагедии. Строгой вкус осуждает даже чрезмерность страданий Софоклова Филоклетета и чрезмерность бешенства в шекспировском Отелло... Поэт должен заклинать бурю страстей, как некогда Вергилий, по народному преданию, заклинал стихийные бури...» (Н. Н[адеждин]. Возбуждение страстей // Энциклопедический лексикон. СПб., 1838. Т. 11. С. 233).

<sup>68</sup> См. об этом: Преподобные старцы оптинские. Жития и наставления. Святотроицкая Оптина пустынь, 2001. С. 368. См. также: Ордина О.Н. Феномен старчества в русской духовной культуре: дис. канд. культурологии. Киров, 2003.

<sup>69</sup> Об этом, в частности, писал хорошо знавший Бухарева духовный писатель, выпускник Московской духовной академии Александр Алексеевич Лебедев (1833–1898): «...митрополит взял у него [Бухарева]

статью, но выразил неудовольствие за такой предмет занятий профессора по Священному писанию. После этого обстоятельства Феодор захворал и остался в Москве, в больнице при тамошней Духовной семинарии. Здесь списался он с Гоголем, и с этого времени познакомился с ним. После этого у Феодора выходили неудовольствия из-за лекций, почему он, уже в сане архимандрита, в конце 1854 года был переведен в Казанскую академию...» [Феодор, 1997, с. 324]. Таким образом, никак нельзя считать «мифом» мнение, что «Три письма к Н.В. Гоголю...» послужили причиной перевода Бухарева в Казань [Там же. С. 9]. Хотя у о. Феодора были потом и другие «прегрешения», их ряд начинает именно сочинение о Гоголе.

<sup>70</sup> Любопытно, что цвет волос Гоголя производил на современников не одинаковые впечатления. Большинство, как Тургенев, свидетельствовали, что у Гоголя были светлые волосы. С.Т. Аксаков: «Прекрасные белокурые густые волосы лежали у него почти по плечам...» [Воспоминания, с. 99]. Л.И. Арнольди: «...с длинными белокурыми волосами, причесанными а la poujik...» [Там же. С. 472]. П.П. Каратыгин со слов П.А. Каратыгина: «Невысокого роста блондин с огромным тупеом...» [ИВ. 1883. Сентябрь. С. 735]; в сущности, это «пересказ» портрета, сделанного П.А. Каратыгиным 18 апреля 1836 г., накануне премьеры «Ревизора» в Александринском театре. В.А. Панов: «...человек небольшого роста... с русыми обстриженными в кружок волосами...» [ИРЛИ. Ф. 3 (Аксаковы). Оп. 19. № 52. Л. Зоб.-4; см. также: *Черныш Г.Г. (Суперфин Г.Г.)* Неизвестное письмо Гоголя // *Finitis duodeam hustris*. К 60-летию проф. Ю.М. Лотмана. Таллин, 1982. С. 109 и далее; русский, по Ушакову – светло-коричневый, по Далю – коричневый]. М.С. Сабина: «Светлые волосы висели прямыми прядями...» [РА. 1900. № 4. С. 534–535]. В то же время А.П. Толченову, как и Данилевскому, цвет волос Гоголя, видится каштановым: «...длинные, прямые темно-каштановые, причесанные а la мужик, волосы...» [Воспоминания, с. 417]. А вот П.И. Бартенева, видевшему Гоголя около 1 мая 1849 г., тот запомнился «с черными... длинными волосами, также и усами...» [ЛН. Т. 58. С. 718]. О.В. Гоголь (Головня): «В детстве у него были светлые волосы, а потом потемнели. Особенно у него потемнели волосы после того, как он обрился в Петербурге» [Воспоминания, 2011]. Может быть, действительно, как отмечает Головня, все объясняется изменением цвета волос с возрастом? Отчасти это, наверное, так. Но вот Тургеневу или С.Т. Аксакову, видевшим Гоголя уже после того, как он «обрился в Петербурге», его волосы запомнились «светлыми», «белокурыми». Словно окраска волос Гоголя казалась такой же неопределенной и непостоянной, как и его характер...

<sup>71</sup> Дата этого спектакля обычно указывается неточно – 13 октября [XIV, 27; хронологическая канва], 15 октября [ЛН. Т. 58. С. 740]. Но

согласно «Ведомостям московской городской полиции» (1851. № 254. 22 ноября. С. 1063), спектакль состоялся именно 22 октября. Упомянутый источник впервые указан в: [Гриц, с. 469]. Ошибка в датировке отмечена и объяснена также И.А. Зайцевой [Гоголь, ак., т. 4, с. 736]. Извещение о спектакле «Ревизор», который намечен на 22 октября в Малом театре, сообщали «Ведомости московской городской полиции» от 20 октября (№ 229, с. 964; указано также И.А. Зайцевой).

<sup>71a</sup> Факт присутствия С.Т. и И.С. Аксаковых также требует подтверждения, так как в день представления «Ревизора» с участием Шумского их не было в Москве. Внезапный приезд в Москву к 5 ноября, конечно, возможен, но «с уверенностью можно говорить о нем лишь при наличии документальных подтверждений» (Зайцева И.А. Гоголь и Тургенев: три встречи в 1851 году // Материалы, 2012).

<sup>72</sup> Тургенев в весьма неприглядном свете рисует поведение в этот день одного «необыкновенно назойливого литератора» (Г.П. Данилевского?), который явился во время чтений непрошеным гостем, чем весьма смутил Гоголя, а затем «простер свою нецеремонность до того, что остался после всех у побледневшего, усталого Гоголя и втерся за ним в его кабинет» [Воспоминания, с. 536]. Однако Данилевский в своих воспоминаниях, не полемизируя по этому поводу с Тургеневым, утверждает, что на чтение он пришел «по желанию Гоголя» и затем, по его просьбе, задержался: Гоголь передал ему пакет с деньгами для Плетнева для раздачи бедным студентам [Там же. С. 446–447].

<sup>73</sup> Анненков упоминает еще одну, последнюю встречу с Гоголем, «видимо, направлявшимся в соборы к вечерне, на которую благовестили». Гоголь якобы желал «отклонить всякое подозрение о цели своей дороги» и поэтому сказал Анненкову «с находчивостью лукавого малоросса»: «А я к вам шел, да, видно, не вовремя, прощайте». Анненков заключает: «Бедный страдалец!» [Анненков, 1983, с. 535].

<sup>74</sup> Психиатр Н.Н. Баженов полагал: «Вполне возможно, что Гоголь, как это характерно для больных его типа, почувяв грозящую его жизни катастрофу, бросился за помощью туда, но в столь же характерной для его страдания нерешительности остановился перед воротами больницы» [Баженов, с. 7–8]. Это мнение формулирует и Ирина Сироткина: «...таинственная поездка объяснялась желанием Гоголя проконсультироваться с врачом этого единственного в то время в Москве общественного заведения для душевнобольных» [Сироткина, с. 28]. Однако намерение Гоголя получить подобную «консультацию» ничем не подтверждается.

<sup>75</sup> Надпись на памятнике имеет свою историю. Д.Н. Свербеев сообщает Е.А. Свербеевой 29 февраля 1852 г., что «дня четыре тому назад», т. е. буквально на следующий день после похорон, он получил

«при Чижове подписку на памятник Гоголю с надписью из псалма... “Возлюбих любящих тя, возненавидех ненавидящих тя” <...> Я отвечал, что готов участвовать в памятнике Гоголя как писателя, а не как христианина, тем более что такая надпись придавала бы ему религиозное направление, ревностное не по разуму. Говорят, теперь они соглашаются изменить надпись» [ЛН. Т. 58. С. 748]. Варианты надписи обсуждали, как сообщил М. Погодин, в сороковой день со дня смерти Гоголя; «одна получила полное одобрение, выражая верно жизнь покойника: Из пророка Иеремии, гл. 8, ст. 20: “Горьким моим словом посмеюся” (*Погодин* > М. Поминование по Гоголе (Отрывок из письма в Петербург) // М. 1852. № 8. Отд. 7. С. 140). Однако в качестве автора этого изречения указывали и других: Ефрема Сирина [Воспоминания, с. 510], Иова [РС. 1878. Май. С. 165]. Как отметил позднее В.Ф. Лазурский, соответствующей фразы нет в русском переводе Библии, сделанном с еврейского, но есть в славянском переводе, откуда взята: «Понеже горьким словом моим посмеюся, отвержение и бедность наведу, яко бысть в поношение мне слово Господне, и в посмех весь день» (Книга пророка Иеремии, гл. XX, ст. 8). «Это место туманно и очевидно переведено с греческого неточно». В русском переводе: «Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние» (*Лазурский В.Ф.* Великий меланхолик // Сборник, изданный... Одесса, 1909. С. 37).

31 мая 1931 г. прах Гоголя был перенесен на Новодевичье кладбище. Об истории захоронения Гоголя см.: *Шокарев С.Ю., Ястржембский Д.А.* Тайна головы Гоголя // Гоголь в Москве / Гл. ред. С.О. Шмидт, отв. ред. В.П. Викулова. М., 2011. С. 293–310.

О смерти и похоронах Гоголя рассказывает также графиня Е.В. Салиас де Турнемир в письме к К.Н. Бестужеву-Рюмину (от 23–25 февраля 1852 г.). См.: ЕIKON KAI TEXNH: Церковное искусство и реставрация памятников истории и культуры: Памяти Андрея Георгиевича Жолондзя: Сб. М., 2011. Т. 2. С. 248–259 (вступ. заметка, публ. и коммент. Э.Г. Гайнцевой).

<sup>76</sup> Вот характерное утверждение: «...криминалисты... определили, что второй выстрел был, и он был сделан не Мартыновым, а неким третьим участником дуэли с расстояния 20 метров со стороны горы». И еще: «...контрольный выстрел в спину со склона горы, произведенный неизвестным» (*Гонцов С.* Лермонтов – командир спецназа // Мир новостей. 2002. 30 июля. С. 25). Совсем как современная история с киллером и «заказным убийством»!

<sup>77</sup> В связи со сказанным один эпизод личного свойства. Вскоре после появления сенсационной версии Смирновой-Чикиной я написал

статью-опровержение, которую принес в «Новый мир», где она с одобрения главного редактора А.Т. Твардовского была напечатана под названием «Пафос упрощения» (Новый мир. 1959. № 8. С. 257–262). При этом А.Г. Дементьев (зам. главного редактора) пересказал мне реплику из своего разговора с Твардовским: «Ишь чего надумала! Рукопись стащили... Да это были дворяне, люди честные, они и писем чужих не читали...»

<sup>78</sup> Письмо Ю. Самарина опубликовано: *Ефимова М.Т.* Ю. Самарин о Гоголе // Пушкин и его современники. Псков, 1970. С. 146. Первоначально (с другой датировкой – 1863 г.) – в статье В.Ф. Чижа (Вопросы философии и психологии. 1903. № 9–10. С. 681). Оригинал в ОР РГБ, ф. 265, п. 40, копии писем к А.О. Смирновой. Подробнее об эпизоде чтения «Мертвых душ» Самарину и Хомякову см.: [Манн, 1987, с. 275].

<sup>79</sup> См.: [Баженов], [Чиж]. История интерпретаций Гоголя в аспекте психиатрии – в работе И. Сироткиной «Гоголь, моралисты и психиатры» [Сироткина, с. 21–59].

<sup>80</sup> *Götte И. В.* Собрание сочинений: В 10 т. М., 1979. Т. 8. С. 107.

<sup>81</sup> См. подробнее: *Kaiser G.R.* E.T.A. Hoffmann. Stuttgart, 1988. S. 144.

<sup>82</sup> *Setschkareff V. N.V.* Gogol. Leben und Schaffen. Berlin, 1953. S. 123.

<sup>83</sup> *Камю А.* Надежда и абсурд в творчестве Франца Кафки // Сумерки богов. М., 1989. С. 310.

<sup>84</sup> Театр и искусство. 1915. № 44. С. 819.

<sup>85</sup> *Надеждин Н.И.* Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 474.

<sup>86</sup> *Kafka F.* Briefe. 1902–1924. Frankfurt a/M., [s.a.]. S. 377.

<sup>87</sup> Одним из первых на связь Кафки с Гоголем указал Д. Чижевский, отметивший в 1952 г.: «Трудно понять, почему никто из авторов многочисленных и, как правило, не имеющих ценности комментариев к “Носу” не связал это произведение с ранней новеллой Кафки “Превращение”, очень близкой к гоголевской повести по своей основной интенции» [Чижевский, 1952, с. 272]. В другой статье (опубликована посмертно, в 1978 г.) Чижевский продолжил эту тему: «...многие из его [Гоголя] “реализованных” метафор можно понять лишь в свете новейшего сюрреализма. Не является ли лучшим комментарием к “непонятому” и зачастую превратно истолкованному гоголевскому рассказу “Нос” ранний рассказ Кафки “Превращение”?» [Чижевский, 1978, с. 348]. Подробное сопоставление двух произведений произвел Виктор Эрлих [Эрлих, с. 102 и далее]. См. также нашу работу «Встреча в лабиринте (Франц Кафка и Николай Гоголь)» [Манн, 2007, с. 682–729].

---

## Библиография

- Абрамович – *Абрамович С.* Пушкин. Последний год. Хроника. Январь 1836 – январь 1837. М., 1991.
- Авентино – *Aventino.* По следам Гоголя в Риме. М., 1902.
- Аверинцев – *Аверинцев С.С.* Плутарх и античная биография: К вопросу о месте классика жанра в истории жанра. М., 1973.
- Адамович – *Адамович Г.* Сирин // Последние новости. 1934. 8 ноября.
- Азадовский, Осповат – А.И. Тургенев и Шеллинг (По неизданным материалам) / Публ., предисл. и примеч. К.М. Азадовского и А.Л. Осповата // Вопр. философии. 1988. № 7.
- Айзеншток – *Айзеншток И.Я.* Н.В. Гоголь и Петербургский университет // Вестн. ЛГУ. 1952. № 3.
- Аксаков, 1988 – *Аксаков И.С.* Письма к родным. 1844–1849 / Изд. подгот. Т.Ф. Пирожкова. М., 1988.
- Аксаков, 1994 – *Аксаков И.С.* Письма к родным. 1849–1856 / Изд. подгот. Т.Ф. Пирожкова. М., 1994.
- Аксаков, 2002 – *Аксаков И.С.* Отчего так нелегко живется в России? / Сост., вступ. ст. В.Н. Грекова. М., 2002.
- Аксаков К. – *Аксаков К.С.* Эстетика и литературная критика. М., 1995.
- Аксаков С. – *Аксаков С.Т.* Собр. соч.: В 3 т. М., 1986. Т. 3.
- Аксаков С., 1890 – *Аксаков С.Т.* История моего знакомства с Гоголем с включением всей переписки с 1832 по 1852 год. М., 1890.
- Аксакова – *Дневник Веры Сергеевны Аксаковой.* СПб., 1913.
- Александрова – *Александрова Л.Б.* Проекты архитектора Л. Руска для провинциальных городов // Проблемы синтеза искусств и архитектуры. Л., 1979. Вып. 9.
- Алексеев – *Алексеев М.П.* Русско-английские литературные связи: XVIII век – первая половина XIX века // Лит. наследство. М., 1982. Т. 91.
- Алексеев А. – *Алексеев А.А.* Воспоминания актера. М., 1894.
- Алексеев М. – *Алексеев М. П.* Мировое значение Гоголя // Гоголь в школе. М., 1954.
- Алексеева – *Алексеева Т.В.* Боровиковский на Украине // Ежегодник Ин-та истории искусств. 1960. М., 1961.
- Аль – *Аль Д.* Гоголь – наш современник. СПб., 2010.
- Амберг – *Ambert L.* Um mich herum die Fremde, aber im Herzen Russland (Zu N.V. Gogol's erster Schweizer Reise 1836) // Fakten und Fabeln. Basel; Frankfurt a/M., 1991.



- Амберг, 1986 – *Amberg L.* Kirche. Liturgie und Frömmigkeit im Schaffen von N.V. Gogol'. Bern; Frankfurt a/M.; N. Y.; P., 1986.
- Анненков, 1855 – *Анненков П.В.* Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина // Пушкин А.С. Соч. СПб., 1855. Т. 1.
- Анненков, 1857 – *Анненков П.В.* Н.В. Станкевич. Переписка его и биография. М., 1857.
- Анненков, 1881 – *Анненков П.В.* Литературные проекты А.С. Пушкина. Планы социального романа и фантастической драмы // ВЕ. 1881. № 7.
- Анненков, 1983 – *Анненков П.В.* Литературные воспоминания. М., 1983.
- Анненков, 1983, II – *Анненков П.В.* Парижские письма. М., 1983.
- Анненков, 1984 – *Анненков П.В.* Материалы для биографии А.С. Пушкина. М., 1984.
- Анненкова – *Анненкова Е.И.* «Светлое воскресенье» Гоголя. Тема и жанр // Гоголев. сб. Вып. 2 (4). СПб.; Самара, 2005.
- Анненкова 2011 – *Анненкова Е.И.* Абрамцево и творческие маршруты Н.В. Гоголя // Дом-музей писателя: история и современность. 11-е Гоголев. чтения. М., 2011.
- Анненкова, 2012 – *Анненкова Е.И.* Гоголь и русское общество. СПб., 2012.
- Анненский – *Анненский И.Ф.* Книги отражений. М., 1979.
- Аронсон, Рейсер – *Аронсон М., Рейсер С.* Литературные кружки и салоны. М., 2001.
- Б – «Берег».
- Багaley, 1904 – *Багaley Д.И.* Опыт истории Харьковского университета: В 2 т. Харьков, 1904. Т. 2.
- Багaley, 1912 – *Багaley Д.И., Миллер Д.П.* История города Харькова за 250 лет его существования: В 3 т. Харьков, 1912. Т. 2.
- Баженов – *Баженов Н.Н.* Болезнь и смерть Гоголя. Публичное чтение в годичном заседании Московского общества невропатологов и психиатров. М., 1902.
- Базаров – *Базаров Иоанн Иоаннович (отец Иоанн).* Воспоминания протоиерея // РС. 1901. № 2.
- Барабаш, 1993 – *Барабаш Ю.* Гоголь. Загадка «Прощальной повести». М., 1993.
- Барабаш, 1995 – *Барабаш Ю.* Почва и судьба: Гоголь и украинская литература: у истоков. М., 1995.
- Барабаш, 2003 – *Барабаш Ю.Я.* «Портрет» в европейском интерьере (Гоголь и художники-назарейцы) // Н.В. Гоголь и мировая культура. 2-е Гоголев. чтения: Сб. докл. М., 2003.
- Барабаш, 2003, II – *Барабаш Ю.* «Если я забуду тебя, Иерусалим...». [Харьков], 2003.

- Баратынский – *Баратынский Е.А.* Стихотворения. Письма. Воспоминания современников / Сост. С.Г. Бочарова, вступ. ст. Л.В. Дерюгиной. М., 1987.
- Барсуков – *Барсуков Н.П.* Жизнь и труды М.П. Погодина. СПб., 1888–1910. Кн. 1–22.
- Белинский – *Белинский В.Г.* Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953–1959.
- Белинский и корреспонденты – В.Г. Белинский и его корреспонденты. М., 1948.
- Белокуров – *Белокуров С.А.* Дело Флетчера. 1848–1864. Чтения Московского университета истории древностей российских при Московском университете. М., 1910. Кн. 3. Разд. 3.
- Белоголова – *Белоголова В.Ю.* Выбранные места из мифов о Пушкине. Н. Новгород, 2003.
- Белоусов – Дорогие места / Ред. И.А. Белоусов. М., 1916.
- Беляев – *Беляев Ю. А.В.* Сухово-Кобылин // НВ. 1899. № 8355.
- Бердяев – *Бердяев Н.А.* А.С. Хомяков. М., 1912.
- Бессараб – *Бессараб М.* Сухово-Кобылин. М., 1981.
- БЗ – «Библиографические записки».
- Благой, т. 2 – *Благой Д.* От Кантемира до наших дней: В 2 т. М., 1973. Т. 2.
- Бланк – *Бланк В.Б.* Воспоминания // РА. 1897. Т. 3.
- Боткин – *Боткин В.П.* Литературная критика. Публицистика. Письма. М., 1984.
- Боткин, 1976 – *Боткин В.П.* Письма об Испании. Л., 1976.
- Боткин М. – *Боткин М.П.* Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806–1858. СПб., 1880.
- Ботникова – *Ботникова А.Б.* Э.Т.А. Гофман и русская литература (первая половина XIX века). Воронеж, 1977.
- Браун – *Braun M. N.W.* Gogol. Eine literarische Biographie. München, 1973.
- Брянчанинов – *Игнатий (Брянчанинов), свят.* Собрание писем / Сост. игумен Марк (Лозинский). М.; СПб., 1995.
- Буданов – *Владимирский-Буданов М.Ф.* История императорского университета Святого Владимира. Киев, 1884. Т. 1.
- Бурнашев – *Бурнашев В.* Мое знакомство с Воейковым в 1830 году и его пятничные литературные собрания // РВ. 1871. Т. 96.
- Буслаев – *Буслаев Ф.* Мои воспоминания. М., 1897.
- Буслаев, 1886 – *Буслаев Ф.* Мои досуги: В 2 ч. М., 1886. Ч. 2.
- Бухарев – *Бухарев А.М.* Три письма Н.В. Гоголю, писанные в 1848 году. СПб., 1861 (на титульном листе другая дата – 1860).
- БЧ – «Библиотека для чтения».
- Быкова – Орывок из записок Елисаветы Васильевны Быковой, родной сестры Гоголя // Р. 1885. № 26.

- Вайскопф – *Вайскопф М.* Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. М., 1993.
- Вайскопф, 2002 – *Вайскопф М.* Сюжет Гоголя. Морфология. Идеология. Контекст. М., 2002.
- Вайскопф, 2008 – *Вайскопф М.* Покрывало Моисея. Еврейская тема в эпоху романтизма. М.; Иерусалим, 2008; 5768.
- Валицкий – *Валицкий А.* Парижские лекции Адама Мицкевича: Россия и русские мыслители // Вопросы философии. 2001. № 3.
- Вацуро – *Вацуро В.Э.* Записки комментатора. СПб., 1994.
- ВЕ – «Вестник Европы».
- Велижев – *Велижев М.Б.* Русская политическая мысль и публичная сфера в эпоху Николая I: первое «Философическое письмо» Чаадаева // Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления. М., 2011.
- Вересаев – *Вересаев В.* К биографии Гоголя: Заметки // Звенья. М.; Л., 1933. Вып. 2.
- Вересаев, 1990 – *Вересаев В.* Гоголь в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников. М., 1990.
- Веселовский А. – *Веселовский А.Н.* Этюды и характеристики: В 2 т. 4-е изд., значит. доп. М., 1912. Т. 2.
- Виноградов – *Виноградов В.В.* Избранные труды: Поэтика русской литературы. М., 1976.
- Виноградов А. – *Виноградов А.К.* Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928.
- Витберг, 1892 – *Витберг Ф.А.* Н.В. Гоголь и его новый биограф (по поводу книги г. Шенрока «Материалы для биографии Гоголя...»). СПб., 1892.
- Витберг, 1897 – *Витберг Ф.А.* К вопросу о времени знакомства Гоголя с Пушкиным и А.О. Россет // РС. 1897. № 6.
- ВЛ – «Вопросы литературы».
- Владимиров – *Владимиров П.В.* Из ученических лет Гоголя. Киев, 1890.
- Войтоловская – *Войтоловская Э.* Комедия Гоголя «Ревизор». Комментарий. Л., 1971.
- Вольф – *Вольф А.И.* Хроника петербургских театров с конца 1826 до начала 1855 года: В 3 ч. СПб., 1877–1884.
- Воронский – *Воронский А.* Гоголь. М., 2009.
- Воспоминания – Гоголь в воспоминаниях современников. М., 1952.
- Воспоминания, 2011 – *Виноградов И.А.* Гоголь в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. М., 2011. Т. 1.
- Встреча – Встреча с Европой. Письма В.А. Панова к матери М.А. Пановой из центральной и юго-восточной Европы (1841–1843) / Сост. Т. Ивантышывшова, М.Ю. Досталь. Bratislava, 1996.

- Вяземский – *Вяземский П.А.* Эстетика и литературная критика. М., 1984.  
Вяземский, 2000 – *Вяземский П.А.* Старая записная книжка. М., 2000.  
Галаган – *Гусева Е.Н.* Воспоминания Г.П. Галагана о Н.В. Гоголе // Памятники культуры. Новые открытия, 1984. Л., 1986.  
Галахов – *Галахов А.Д.* Записки человека. [М.], 1999.  
Гасперович – *Гасперович В.* Н.В. Гоголь в Риме: Новые материалы // L'immagine di Roma nella letteratura russa. Roma; Samara, 2001.  
Герик – *Gerigk H.J.* Die toten Seelen // Der russische Roman. Köln; Weimar; Wien, 2007.  
Герцен – *Герцен А.И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954–1966. Т. 1.  
Гершензон – *Гершензон М.О.* Грибоедовская Москва. П.Я. Чаадаев. Очерки прошлого. М., 1989.  
Гершензон, 2010 – *Гершензон М.О.* Исторические записки // Последняя книга Гоголя: Сб. ст. и мат-лов. М., 2010.  
Гиллельсон – *Гиллельсон М.* Н.В. Гоголь в дневниках А.И. Тургенева // РЛ. 1963. № 2.  
Гиллельсон, 1961 – *Гиллельсон М.И., Мануйлов В.А., Степанов А.Н.* Гоголь в Петербурге. Л., 1961.  
Гиляровский – *Гиляровский В.А.* На родине Гоголя. М., 1902.  
ГИМ – Государственный исторический музей (Москва). Отдел письменных источников.  
Гиппиус, 1924 – *Гиппиус В.* Гоголь. Л., 1924.  
Гиппиус, 1931 – *Гиппиус В.* Литературное общение Гоголя с Пушкиным // Учен. зап. Перм. гос. ун-та. Отд. обществ. наук. Пермь, 1931. Вып. 2.  
Гиппиус, 1941 – *Гиппиус В.В.* Заметки о Гоголе // Учен. зап. ЛГУ 1941. Вып. 11.  
Глинка – Глинка в воспоминаниях современников. М., 1955.  
Глинка, 1930 – *Глинка М.И.* Записки. М.; Л., 1930.  
Гоголь, 1855 – Сочинения Николая Васильевича Гоголя, найденные после его смерти. Похождения Чичикова, или Мертвые души. М., 1955.  
Гоголь, ак. – *Гоголь Н.В.* Полн. собр. соч. и писем: В 23 т. М., 2001. Т. 1; 2009. Т. 3; 2003. Т. 4 (новое академ. изд.).  
Гоголь, 10-е изд. – *Гоголь Н.В.* Соч. 10-е изд. М., 1889. Т. 1–5; М.; СПб., 1896. Т. 6; СПб., 1896. Т. 7. (Т. 1–5 – под ред. Н.С. Тихонравова, т. 6–7 – под ред. В.И. Шенрока.)  
Гоголь, 1894 – *Гоголь Н.В.* Размышления о Божественной литургии. СПб., 1894.  
Гоголь, 1913 – *Гоголь М.И.* Из воспоминаний матери Гоголя (письмо М.И. Гоголь С.Т. Аксакову) // С. 1913. Кн. 4.

- Головня – *Гоголь-Головня О.В.* Из семейной хроники Гоголей / Ред. и примеч. В.А. Чаговца. Киев, 1909.
- Гольденберг – *Гольденберг А.Х.* Архетипы в поэтике Н.В. Гоголя. Волгоград, 2007.
- Горленко – *Горленко В.* Художник В.Л. Боровиковский // КС. 1884. Т. 7. № 4.
- Грамолина – *Грамолина Н.Н.* Библиография музыкальных произведений на слова Тютчева // Тютчев Ф.И. Лирика: В 2 т. М., 1965. Т. 2.
- Грановский – Т.Н. Грановский и его переписка: В 2 т. М., 1897. Т. 2.
- Гребёнка – *Гребінка Є. П.* Твори у трьох томах. Київ, 1981. Т. 3.
- Греков – *Греков В.* Судьбы таинственны веленья... Философские категории в публицистике славянофилов. М., 2011.
- Грешищев – *Грешищев Н.* Очерк жизни в Бозе почившего ржевского протоиерея о. Матвея // Странник. 1860. № 12.
- Григорьев – *Григорьев В.В.* Императорский С.-Петербургский университет в течение первого пятидесятилетия его существования. Приложения. СПб., 1870.
- Григорьев, 1967 – *Григорьев А.* Литературная критика. М., 1967.
- Григорьев А., 1985 – *Григорьев А.А.* Театральная критика. Л., 1985.
- Григорьев. Материалы. – Аполлон Александрович Григорьев. Материалы для биографии / Под ред. В. Княжнина. Пг., 1917.
- Гринченко – *Гринченко Е. П.А.* Кулиш. Биографический очерк. Чернигов, 1899.
- Гриц – *Гриц Т.С.* М.С. Щепкин: Летопись жизни и творчества. М., 1966.
- Гуковский – *Гуковский Г.А.* Реализм Гоголя. М.; Л., 1959.
- Гурвич-Лищинер – *Гурвич-Лищинер С.Д.* П.Я. Чаадаев в русской культуре двух веков. СПб., 2006.
- Давыдов, 1917 – Письма поэта-партизана Д.В. Давыдова к князю П.А. Вяземскому. Пг., 1917.
- Данилевский, 1866 – *Данилевский Г.П.* Украинская старина. Материалы для истории украинской литературы и народного образования. Харьков, 1866.
- Данилевский Г.П. – *Данилевский Г.П.* Сочинения: В 24 т. СПб., 1901. Т. 14.
- Данилевский М.Г. – *Данилевский М.Г.* Г.П. Данилевский по личным его письмам и литературной переписке. Харьков, 1893.
- Данилов – *Данилов В.В.* Следы творчества Н.В. Гоголя в очерке П.П. Свинына «Полтава» // Сб. ст. к 40-летию учен. деятельности акад. А.С. Орлова. Л., 1934.
- Данилов, 1934 – *Данилов С.С.* Ревизор на сцене. 2-е изд., испр., с приложением монтировки первого спектакля. Л., 1934.
- Данилов С. – *Данилов С.С.* Гоголь и театр. Л., 1936.

- Даргомыжский – *Даргомыжский А.С.* Автобиография. Письма. Воспоминания современников. Пб., 1921.
- ДБ – «Домашняя беседа».
- Декабристы – Декабристы: Биограф. справ. / Изд. подгот. С.В. Мироненко. М., 1988.
- Дельвиг – *Дельвиг А.И.* Полвека русской жизни: Воспоминания, 1820–1870: В 2 т. М.; Л., 1830. Т. 1.
- Ден – Записки Владимира Ивановича Дена // РС. 1980. № 1.
- Денисов – *Денисов В.* Изображение казачества в раннем творчестве Н.В. Гоголя и его «Взгляд на составление Малороссии» (о замысле поэтической истории народа) // Гоголевзначі студ 5. Ніжин, 2000.
- Джулиани – *Giuliani R.* Thorvaldsen e la colonia romana degli artisti russi // Thorvaldsen. L'ambiente, l'influsso, il mito/A cura di P. Kragelund e M. Nykjoer'. Roma, 1991.
- Джулиани, 1997 – *Джулиани Р.* Гоголь в Риме // Вестн. МГУ. Сер. 9. Филология. 1997. № 5.
- Джулиани, 2001 – *Джулиани Р.* Гоголь, назарейцы и вторая редакция «Портрета» // Поэтика русской литературы. М., 2001.
- Джулиани, 2001, II – *Джулиани Р.* Новые материалы о Н.В. Гоголе: галерея русских художников, первых римских знакомых писателя // L'immagine di Roma nella letteratura russa. Roma; Samara, 2001.
- Джулиани, 2009 – *Джулиани Р.* Рим в жизни и творчестве Гоголя, или Потерянный рай: Мат-лы и исслед. / Пер. с итал. А. Ямпольской. М., 2009.
- Джулиани, 2011 – *Джулиани Р.* Гоголь и Александр Иванов. Заметки на полях // Образы Италии в русской словесности. Томск, 2011.
- Дмитриева – *Дмитриева Е.* Тайное и явное паломничество в Иерусалим Николая Гоголя, «Путь из Парижа в Иерусалим» Франсуа Рене Шатобриана и проблема идеального города // Страницы истории русской литературы: Сб. ст. К 70-летию проф. В.И. Коровина. М., 2002.
- Дмитриева, 2011 – *Дмитриева Е.Е.* Н.В. Гоголь в западноевропейском контексте: между языками и культурами. М., 2011.
- Достоевский – *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1972. Т. 3; 1976. Т. 16.
- Достоевский об искусстве – Ф.М. Достоевский об искусстве. М., 1973.
- Дризен – *Дризен Н.В., барон.* Драматическая цензура двух эпох. 1825–1881. [Б. м.]: Книгоизд. «Прометей» Н.Н. Михайлова, [б. г.].
- Дризен, 1907 – *Дризен Н.В., барон.* Заметки о Гоголе // ИВ. 1907. Окт.

- Друбек-Мейер – *Drubek-Meyer N.* Gogol's eloquentia corporis. Einverleibung, Identität und die Grenzen der Figuration. München, 1988.
- Дрыжакова – *Дрыжакова Е.* Рискованная шутка Гоголя на чтениях «Ревизора» // РЛ. 2001. № 1.
- Дурылин – *Дурылин С.Н.* Из семейной хроники Гоголя. Переписка В.А. и М.И. Гоголь-Яновских. Письма М.И. Гоголь к Аксаковым. М., 1928.
- Дурылин, 1953 – *Дурылин С.Н.* От «Владимира третьей степени» к «Ревизору». (Из истории драматургии Н.В. Гоголя) // Ежегодник Ин-та истории искусств. Театр. М., 1953.
- Егоров – *Егоров Б.Ф.* В.П. Боткин – литератор и критик. Ст. 1 // Учен. зап. Тарт. ун-та. Тр. по рус. и славян. филологии, VI. Тарту, 1963.
- Егоров, 1982 – *Егоров Б.Ф.* Литературно-критическая деятельность В.Г. Белинского. М., 1982.
- Егоров, 2007 – *Егоров Б.Ф.* Русские утопии. Исторический путеводитель. СПб., 2007.
- Ежегодник, 1899 – Ежегодник императорских театров. Сезон 1897–1898 гг. СПб., 1899.
- Есипов – *Есипов В.* «С Гомером долго ты беседовал один...» // Пушкин. сб. М., 2005.
- Жданов – *Жданов И.Н.* История русской литературы. Н.В. Гоголь. СПб., 1904.
- Железнов – Заметки о К.П. Брюллове (из воспоминаний М.И. Железнова) // ЖО. 1898.
- Жерве – *Жерве В.В.* Партизан-поэт Д.В. Давыдов. Очерки его жизни и деятельности (1784–1839). По материалам семейного архива и другим источникам. Пб., 1913.
- Живокини – *Живокини В.* Из моих воспоминаний // Б-ка театра и искусства. 1914. Февр. Кн. 2.
- Жилякова – *Жилякова Э.М.* Н.В. Гоголь и П.А. Кулиш (об истоках русской психологической прозы 1850-х гг.) // Н.В. Гоголь и славянский мир (рус. и укр. рецепция). Вып. 1. Томск, 2007.
- ЖМНП – «Журнал Министерства народного просвещения».
- ЖО – «Живописное обозрение».
- Жуковский – *Жуковский В.А.* Соч.: В 3 т. М., 1980. Т. 3.
- Жуковский, 1878 – *Жуковский В.А.* Соч. 7-е изд. / Под ред. П.А. Ефремова. СПб., 1878.
- Жуковский, 1895 – Письма В.А. Жуковского к Александру Ивановичу Тургеневу. М., 1895.
- Жуковский, 1903 – *Жуковский В.А.* Дневники. СПб., 1903.

- Жуковский, 1999 – В.А. Жуковский в воспоминаниях современников / Сост., подгот. текста, вступ. ст. О.Б. Лебедевой, А.С. Янушкевича. М., 1999.
- Заблоцкий – *Заблоцкий-Десятовский А.П.* Граф П.Д. Киселев и его время: В 4 т. СПб., 1882. Т. 2.
- Заболотский – *Заболотский П.А.* К биографии Гоголя в полтавский период // Изв. Отд. рус. яз. и словесности Императ. акад. наук. 1912. Кн. 2.
- Загарин – *Загарин П. (Поливанов Л.И.)* В.А. Жуковский и его произведения. 2-е изд. М., 1883.
- Зайцев – *Зайцев А.Д.* Петр Иванович Бартенев. М., 1989.
- Зайцев Б. – *Зайцев Б.* Жуковский: Литературная биография. М., 2001.
- Зайцева – *Зайцева И.А.* К цензурной и сценической истории первых постановок «Ревизора» Н.В. Гоголя в Москве и Петербурге (по архивным источникам) // Н.В. Гоголь: Мат-лы и исслед. М., 1995.
- Замыслова – *Замыслова Е.Е.* Н.В. Гоголь в «Журнале Министерства народного просвещения»: историк, преподаватель, публицист // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2009. № 2.
- Записки – Записки отдела рукописей Государственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина.
- Звизняцковский – *Звизняцковский В.* Побеждающий страх смехом. Опыт реставрации собственного мифа Николая Гоголя. Киев, 2010.
- Звизняцковский, 2011 – *Звизняцковский В.Я.* Лингвистическая теория дискурса как методология познания современности // Рус. яз. и лит. в учеб. заведениях. Киев, 2011. № 4.
- Земенков – *Земенков Б.С.* Гоголь в Москве. М., 1954.
- Земенков, 2011 – *Земенков Б.С.* Гоголь в Москве // Гоголь в Москве. М., 2011.
- Зеньковский – *Зеньковский В., проф., прот.* Н.В. Гоголь. Париж, [б. г.].
- Зеньковский, 1991 – *Зеньковский В.В.* История русской философии: В 2 т. Л., 1991. Т. 1. Ч. 2.
- Зиномря – *Зиномря М.І.* На відстані часу // Микола Гоголь і світова культура. Київ; Ніжин, 1994.
- Золотусский – *Золотусский И.П.* Гоголь. 2-е изд., испр. и доп. М., 1984.
- Зотов, 1860 – *Зотов Р.* Театральные воспоминания. Автобиографические записки. СПб., 1860.
- Зотов, 1874 – Записки Р.М. Зотова // Иллюстрир. вестн. 1874. № 18. 30 июня.
- ИВ – «Исторический вестник».
- Иванов, 1880 – Александр Андреевич Иванов. Его жизнь и переписка. 1806–1858 / Изд. М. Боткин. СПб., 1880.



- Известия, Баку – Известия Азербайджанского гос. ун-та им. В.И. Ленина. Общественные науки. Баку, 1925. Т. 45.
- Иконников – *Иконников В.С.* Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского университета Св. Владимира (1834–1884). Киев, 1884.
- Ильин – *Ильин И.А.* Гоголь – великий русский сатирик, романтик, философ жизни // Ильин И.А. Собр. соч.: В 10 т. М., 1997. Т. 6. Кн. 3.
- Ильин, 1990 – *Ильин И.А.* Основы христианской культуры. Мюнхен, 1990.
- Инсарский – *Инсарский В.А.* Записки. СПб., 1894. Ч. 1.
- Иордан – *Иордан Ф.И.* Записки. М., 1918.
- Иофанов – *Иофанов Д.М.* Н.В. Гоголь: Детские и юношеские годы. Киев, 1951.
- ИРЛИ – Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (впоследствии – РАН).
- Исаков – *Исаков С.Г.* Журналы «*Esthona*» (1828–1830) и «*Der Refraktor*» (1836–1837) как пропагандисты русской литературы // Учен. зап. Тарт. ун-та. Тр. по рус. и славян. филологии. XVIII, литературоведение. Tartu, 1971.
- Истрин – *Истрин В.М.* День рождения Гоголя // Изв. Отд. рус. яз. и словесности Император. акад. наук. 1908. СПб., 1909. Т. 13. Кн. 4.
- К. А. – *К. А. Надежда Алексеевна Никулина* // Сезон: иллюстрир. артист. сб. / Под ред. Н.П. Кичеева. М., 1887. Вып. 1. Отд. биографии и характеристики.
- Казак – *Kasack W.* Die Technik der Personendarstellung bei Nikolaj Vasilovic Gogol. Wiesbaden, 1957.
- Каманин – *Каманин И.М.* Научные и литературные произведения Гоголя по истории Малороссии // Памяти Гоголя: Сб. Отд. 2. Киев, 1902.
- Каменская – *Каменская М.* Воспоминания. М., 1991.
- Кантор – *Кантор В.* Русская классика, или Бытие России. М., 2005.
- Капнист – *Капнист В.В.* Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1960. Т. 2.
- Карамзин – *Карамзин Н.М.* Соч.: В 9 т. СПб., 1834. Т. 7.
- Карамзин, 1914 – *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России. СПб., 1914.
- Карамзин, 1984 – *Карамзин Н.М.* Соч.: В 2 т. Л., 1984.
- Карамзины – Пушкин в письмах Карамзиных 1836–1837 годов. М.; Л., 1960.
- Каратыгин, 1883 – *Каратыгин П.П.* Портрет Гоголя, рисованный П.А. Каратыгиным // ИВ. 1883. Сент.
- Каратыгин П. – *Каратыгин П.А.* Записки. Л., 1929. Т. 1; 1930. Т. 2.

- Касснер – *Kassner R.* Das neunzehnte Jahrhundert. Ausdruck und Grösse. Erlenbach; Zürich, 1947.
- Кафка – *Kafka F.* Tagebücher 1910–1923. Frankfurt a/M., 1973–1976.
- Кейль – *Keil R.-D.* Gogol's Deutsche. Folklore-Erfahrung-Fiktion // Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. Reihe B. Bd 3. München, 1998.
- Кейль, 1986 – *Keil R.-D.* Gogol im Spiegel seiner Bibelzitate // Festschrift für Herbert Brauer zum 65. Geburtstag... Köln; Wien, 1986.
- Кизеветтер – *Кизеветтер А.А.* Исторические очерки. М., 1912.
- Киреевский – *Киреевский И.В.* Критика и эстетика. 2-е изд., испр. и доп. М., 1998.
- Киреевский, 1984 – *Киреевский И.В.* Избранные статьи. М., 1984.
- Кирпичников – *Кирпичников А.И.* Сомнения и противоречия в биографии Гоголя // Изв. Отд. рус. яз. и словесн. Императ. акад. наук. 1900, 1902.
- Кирпичников, 1903 – *Кирпичников А.И.* Очерки по истории новой русской литературы (Пушкинский период): В 2 т. 2-е изд., доп. М., 1903. Т. 2.
- Княжнин – *Княжнин Я.В.* Соч.: В 2 ч. СПб., 1848. Ч. 2.
- Козмин – *Козмин Н.К.* Николай Иванович Надеждин: Жизнь и научно-литературная деятельность. СПб., 1912.
- Колмаков – *Колмаков Н.М.* Очерки и воспоминания Н.М. Колмакова с 1816 года // РС. 1891. Июль.
- Колосова – *Колосова Н.* Смирнова и Гоголь // Кавказион. Тбилиси, 1985. Вып. 3.
- Кольцов, 1909 – *Кольцов А.В.* Полн. собр. соч. / Под ред. и с примеч. А.И. Лященко. СПб., 1909.
- Кондаков – Юбилейный справочник императорской Академии художеств, 1764–1914 / Сост. С.Н. Кондаков. Пг., 1914.
- Корнилов – *Корнилов А.А.* Курс истории России XIX века. М., 1993.
- Корнилов, 1925 – *Корнилов А.А.* Годы странствий Михаила Бакунина. Л.; М., 1925.
- Корнилова – *Корнилова А.В.* Карл Брюллов в Петербурге. Л., 1976.
- Коробка – *Коробка Н.И.* [Примечания редактора] // Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. СПб., [1912]. Т. 1.
- Коропчевский – *Коропчевский Д.А.* Сергей Васильевич Васильев... // Ежегодник императ. театров. Сезон 1895–1896 гг. Приложения. СПб., 1896. Кн. 3.
- Корф – *Корф М.А.* Материалы и черты к биографии императора Николая I и к истории его царствования. Рождение и первые двадцать лет жизни (1796–1817) // Сб. императ. Рус. ист. об-ва. СПб., 1896. Т. 98.

- Кочубинский – *Кочубинский А.* Будущим биографам Н.В. Гоголя // ВЕ. 1902. Кн. 2, 3.
- Коялович – *Коялович А.* Детство и юность Гоголя: Биограф. очерк // Моск. сб. М., 1887.
- Красильников – *Красильников С.А.* Источники собрания украинских песен Н.В. Гоголя // Н.В. Гоголь. Мат-лы и исслед. М.; Л., 1936. Т. 2.
- Кривонос – *Кривонос В.Ш.* Мотивы художественной прозы Гоголя. СПб., 1999.
- Кривонос, 2005 – *Кривонос В.Ш.* Поздний Гоголь в исследованиях первой русской эмиграции // Гоголев. сб. Вып. 2(4). СПб.; Самара, 2005.
- Кривонос, 2009 – *Кривонос В.Ш.* Гоголь. Проблемы творчества и интерпретации. Самара, 2009.
- Крижанівський – *Крижанівський С.А.* [Предисловие] // Боровиковський Л. Твори. Київ, 1957.
- Крутикова – *Крутикова Н.Е.* Н.В. Гоголь: Исслед. и мат-лы. Киев, 1992.
- Крутикова, 2003 – *Крутикова Н.Е.* Дослідження і статті різних років. Київ, 2003.
- КС – «Киевская старина».
- Кугель – *Кугель А.Р.* Загадка Гоголя // Кугель А.Р. (Homo Novus). Русские драматурги. Очерки театрального критика. М., 1933.
- Кукольник – Из воспоминаний Н.В. Кукольника // ИВ. 1891. Т. 45.
- Кулиш, 1852 – *Кулиш П.А.* Несколько черт для биографии Николая Васильевича Гоголя // ОЗ. 1852. № 4. Отд. 8.
- Кулиш, 1853 – *Кулиш П.А.* Выправка некоторых биографических известий о Гоголе // ОЗ. 1853. № 2. Отд. 8.
- Кулиш, 1854 – *Кулиш П.А.* Опыт биографии Н.В. Гоголя, со включением до сорока его писем. СПб., 1854.
- Кулиш, 1856 – *Кулиш П.А.* Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: В 2 ч. СПб., 1856.
- Кулиш, 1862 – *Кулиш П.А.* Несколько предварительных слов [предисловие к комедии В.А. Гоголя «Простак»] // Основа. 1862. № 2. Отд. 6.
- Кулиш, 2003 – *Кулиш П.А.* Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и его собственных писем / Изд. подгот. И.А. Виноградов: В 2 т. М., 2003.
- Кулябко – *Кулябко Е.С.* Из архива Академии наук СССР // РЛ. 1967. № 4.
- Купреянова – *Купреянова Е.Н.* Н.В. Гоголь // История рус. лит.: В 4 т. Л., 1981. Т. 2.
- Кьеркегор – *Kierkegaard S.* Der Begriff Angst // Kierkegaard S. Gesammelte Werke. Abt. 11 und 12. 1965. S. 40.

- ЛА – Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. 6. М.; Л., 1961.
- Лавровский – *Лавровский Н.А.* Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820–1832. Киев, 1879.
- Лазаревский – *Лазаревский А.М.* Сведения о предках Гоголя // Памяти Гоголя: Науч.-лит. сб. / Ист. о-во Нестора-летописца. Киев, 1902.
- Лаффитт – *Лаффитт С.* Гоголь и Сент-Бёв // Моск. журн. 2009. № 11 (227).
- ЛВ – «Литературный вестник».
- ЛГ – «Литературная газета».
- Лебедева – *Лебедева О.* Гоголь в Неаполе // *Nel mondo di Gogol'*. В мире Гоголя. Рим, 2012. С. 127–155.
- Лемке – *Лемке М.* Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. СПб., 1908.
- Лемке, 1909 – *Лемке М.К.* Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. СПб., 1909.
- Леонид – *Леонид (Кавелин), архим.* Историческое описание Козельской Введенской Оптиной Пустыни. 4-е изд. [Б. м.], 1885.
- Леонтович – *Leontovitsch V.* Geschichte des Liberalismus in Russland. Frankfurt a/M., 1957.
- Леонтьев – *Леонтьев К.* Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной Пустыни. М., 1882.
- Лернер – *Лернер Н.О.* Несколько новых слов о пребывании Гоголя в Одессе в 1850–1851 гг. // РС. 1901. Т. 108. Ноябрь.
- Летопись – Летопись жизни и творчества Николая Васильевича Гоголя. Нежинский период (1820–1828) / Сост. Н.М. Жаркевич, З.В. Кирилюк, Ю.В. Якубина, вступ. ст. П.В. Михеда. Нежин, 2002.
- Линниченко – *Линниченко И.А.* Душевная драма Гоголя // Зап. императ. Новорос. ун-та. Одесса, 1902. Т. 88. Ч. 3.
- Литературный музей – Литературный музей: (Цензурные материалы I-го отд. IV секции Государственного архивного фонда). I / Под ред. А.С. Николаева, Ю.Г. Оксмана. Пб., [1921].
- Лицей, 1859 – Лицей князя Безбородко. СПб., 1859.
- Лицей, 1881 – Гимназия высших наук и Лицей князя Безбородко. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1881.
- ЛН – «Литературное наследство».
- Лосиевский – *Лосиевский И.Я.* Русская лира с Украины. Русские писатели Украины первой четверти XIX века. Харьков, 1994.
- Лосский – *Лосский Н.О.* История русской философии. М., 1994.
- Лосский В. – *Лосский В.* Спор о Софии: Статьи разных лет. М.: Изд-во Свято-Владимирского Братства, 1996.

- Лотман, 1970 – *Лотман Ю.М.* Из наблюдений над структурными принципами раннего творчества Гоголя // Учен. зап. Тарт. ун-та. 1970. Вып. 251.
- Лотман, 1988 – *Лотман Ю.М.* В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
- ЛПРИ – «Литературные прибавления к “Русскому инвалиду”».
- ЛР – «Литературная Россия».
- Лунин – *Лунин М.С.* Письма из Сибири. М., 1987.
- ЛШ – «Литература в школе».
- Лямина, Самовер – *Лямина Е.Э., Самовер Н.В.* «Бедный Жозеф»: Жизнь и смерть Иосифа Виельгорского. Опыт биографии человека 1830-х годов. М., 1999.
- М – «Москвитянин».
- Макогоненко – *Макогоненко Г.П.* Гоголь и Пушкин. Л., 1985.
- Максимович, 1854 – *Максимович М.* Родина Гоголя // М. 1854. Т. 1. № 2. Отд. 8.
- Максимович, 1871 – *Максимович М.А.* Письма о Киеве и воспоминание о Тавриде. СПб., 1871.
- Малиновский – *Малиновский И.* Знакомство Гоголя с моим отцом // Варшав. дневник. 1902. № 51. С. 3.
- Манн, 1966 – *Манн Ю.* Комедия Гоголя «Ревизор». М., 1966.
- Манн, 1987 – *Манн Ю.* В поисках живой души. «Мертвые души»: писатель – критика – читатель. 2-е изд., испр. и доп. М., 1987.
- Манн, 1994 – *Манн Ю.* «Сквозь видный миру смех». Жизнь Н.В. Гоголя. 1909–1935. М., 1994.
- Манн, 1996 – *Манн Ю.* Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996.
- Манн, 1998 – *Манн Ю.* Русская философская эстетика. 2-е изд., испр. и доп. М., 1998.
- Манн, 2007 – *Манн Ю.* Творчество Гоголя. Смысл и форма. СПб., 2007.
- Маркевич – *Маркевич А.И.* Гоголь в Одессе. Одесса, 1902.
- Маркович – *Маркович Н.А.* Обычай, поверья, кухня и напитки малороссиян: Извлеч. из нынешнего народного быта. Киев, 1860.
- Маркович В. – *Маркович В.М.* О некоторых парадоксах книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» // Феномен Гоголя. СПб., 2011. С. 373–387.
- Маркс – *Marx K., Engels F.* Über Kunst und Literatur. Berlin, 1967. S. 21.
- Масанов – *Масанов И.Ф.* Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. М., 1956–1960.
- Матвеев – *Матвеев П.* Гоголь в Оптиной пустыни // РС. 1903. Февр.
- Материалы – Н.В. Гоголь: Мат-лы и исслед: В 2 т. М.; Л., 1936.
- Материалы, 1954 – Гоголь: Ст. и мат-лы. Л., 1954.

- Материалы, 1995 – Гоголь: Мат-лы и исслед. М., 1995.
- Материалы, 2009 – Н.В. Гоголь: Мат-лы и исслед. Вып. 2. М., 2009.
- Материалы, 2012 – Н.В. Гоголь: Мат-лы и исслед. Вып. 3. М., 2012.
- Машинский, 1951 – *Машинский С.И.* Гоголь, 1852–1952. М., 1951.
- Машинский, 1959 – *Машинский С.И.* Гоголь и «дело о вольнодумстве». М., 1959.
- Машинский, 1961 – *Машинский С.И.* С.Т. Аксаков: Жизнь и творчество. М., 1961.
- Машковцев – *Машковцев Н.Г.* Гоголь в кругу художников. М., 1955.
- Машковцев, 1982 – *Машковцев Н.Г.* Из истории русской художественной культуры. М., 1982.
- МВ – «Московский вестник».
- МВед – «Московские ведомости».
- Мердер – *Мердер К.К.* Записки. [Б. м.], 1885.
- Мережковский – *Мережковский Д.С.* В тихом омуте: Ст. и исслед. разных лет. М., 1991.
- Миловский – *Миловский Н., свящ.* К биографии Н.В. Гоголя (о знакомстве с братьями Мухановыми). М., 1902.
- Милютин – Воспоминания генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина. 1816–1843. М., 1997.
- Мильчина, Осповат – *Мильчина В.А., Осповат А.Л.* Гоголь по материалам архива братьев Тургеневых // Шестые Тынянов. чтения. Рига; М., 1992.
- Михальский, Самойленко – *Михальский Е.Н., Самойленко Г.В.* Основание Гимназии высших наук князя Безбородко в Нежине // Литература та культура Полісся. Вип. 1. Ніжин, 1990.
- Михед – *Михед П.В.* Про ніжинську літературну школу (до постановки питання) // Слово і час. 1990. № 5.
- Михед, 1999 – *Михед П.* О загадке «Прощальной повести» Н.В. Гоголя // ВЛ. 1999. № 2.
- Михед, 2011 – *Михед П.В.* Гоголь и сен-симонизм // Феномен Гоголя. Мат-лы юбилейной междунар. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. СПб., 2011.
- Михневич – *Михневич И.Г.* Исторический обзор сорокалетия Ришельевского лицея с 1817 по 1857 год. Одесса, 1857.
- МН – «Московский наблюдатель».
- Модзалевский – *Модзалевский Б.Л.* Гоголь и И.Е. Великопольский (по вводу двух неизданных писем С.Т. Аксакова) // ЛВ. 1902. Т. 3. Кн. 1.
- Мокрицкий – *Мокрицкий А.Н.* Дневник художника. М., 1975.
- Молева – *Молева Н.* Загадка «Невского проспекта» // Знание – сила. 1976. № 4.

- Мочульский – *Мочульский К.В.* Духовный путь Гоголя. Р., 1934.  
МТ – «Московский телеграф».
- Мурзакевич – *Мурзакевич Н.Н.* Автобиография. СПб., 1886.
- Мусатова – *Мусатова Т.Л.* Вокруг римского Гоголя: адреса друзей и знакомых (по архивным материалам) // *Russica Romana*. Vol. 17. Pisa; Roma, 2010.
- Мюллер – *Müller E.* Russischer Intellekt in europäischer Krise. Ivan V. Kireevsky (1806–1856). Köln; Graz, 1966.
- Набоков – *Набоков В.* Николай Гоголь // *Новый мир*. 1987. № 4.
- Надеждин – *Надеждин Н.И.* Литературная критика. Эстетика. М., 1972.
- Назаревский – *Назаревский А.А.* Из архива Головни // *Н.В. Гоголь. Матлы и исслед.*: В 2 т. М.; Л., 1936. Т. 1.
- НВ – «Новое время».
- Неизданный Гоголь – *Неизданный Гоголь / Изд. подгот. И.А. Виноградов.* М., 2001.
- Некрасов – *Н.А.* Некрасов в воспоминаниях современников. М., 1971.
- Немзер – *Немзер А.* Становление Гоголя // *Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки*: В 2 т. М., 1985. Т. 2.
- Никитенко – *Никитенко А.В.* Дневник: В 3 т. М., 1955–1956.
- Нилус – *Нилус С.* Святыня под спудом. Тайны православного монашеского духа. Изд-е Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 1991.
- Нильский – *Нильский А.А.* Воспоминания артиста // *ИВ*. 1894. Апр. Т. 56.
- Ницше – *Nietzsche F.* Saemtliche Briefe. Kritische Studienausgabe. München, 1986. Bd. 5. S. 44.
- Нольде – *Нольде Б.* Юрий Самарин и его время. М., 2003.
- НП – «Новый путь».
- ОА – *Остафьевский архив князей Вяземских*: В 5 т. СПб.; Пб., 1899–1913.
- Образцов – *Образцов Ф.И., прот. О.* Матвей Константиновский (по моим воспоминаниям) // *Твер. Епархиальные ведомости*. 1902. № 5.
- ОВ – «Одесский вестник».
- Овсяннико-Куликовский – *Овсяннико-Куликовский Д.Н.* Собр. соч.: В 9 т. СПб., 1909. Т. 1.
- Одесса – *Одесса: Ист. и торг.-эконом. очерк Одессы в связи с Новороскраем.* Одесса, 1881.
- ОЗ – «Отечественные записки».
- Оксман – *Оксман Ю.Г.* От «Капитанской дочери» А.С. Пушкина к «Запискам охотника» И.С. Тургенева. Саратов, 1959.
- Онаш – *Onasch K.* Dostojewski als Verführer... Zürich, 1961.
- ОР ИРЛИ – Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

- ОР РГБ – Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (Москва).
- ОР РНБ – Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург).
- Отчет – Отчет Императорской публичной библиотеки за 1892 год. СПб., 1895. Приложение.
- Отчет за 1889 г. – Отчет Императорской публичной библиотеки за 1889 год. СПб., 1893.
- Павловский, 1910 – *Павловский И.Ф.* Полтава: Ист. очерк... Полтава, 1910.
- Павловский, 1912 – *Павловский И.Ф.* Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава, 1912.
- Памятники – Памятники культуры. Новые открытия. 1979. Л., 1980.
- Панаев – *Панаев И.И.* Литературные воспоминания. М., 1988.
- Панаева – *Панаева (Головачева) А.Я.* Воспоминания [Б. м.], 1948.
- Панов – *Панов В.* Еще о прототипе Хлестакова // Север. 1970. № 11.
- Паперный – *Rapetti V.* Путь Гоголя в Иерусалим // Oh, Jerusalem! Jews and slaves. Pisa; Jerusalem, 1999.
- Парсамов – *Парсамов В.С.* Пути развития русской общественной мысли первой четверти XIX в. // Обществ. мысль России: истоки, эволюция, основные направления. М., 2011.
- Пенская – *Пенская Е.* Проблемы альтернативных путей в русской литературе. Поэтика абсурда в творчестве А.К. Толстого, М.Е. Салтыкова-Щедрина и А.В. Сухова-Кобылина. М., 2000.
- Переписка – Переписка Н.В. Гоголя: В 2 т. М., 1988.
- Переписка наследника – Венчание с Россией. Переписка великого князя Александра Николаевича с императором Николаем I. 1837 год / Публ. Л.Г. Захаровой, Л.И. Тютюник. М., 1999.
- Песни – Песни, собранные Н.В. Гоголем // Сб. памяти В.А. Жуковского и Н.В. Гоголя / Изд. Г.П. Георгиевским. СПб., 1908. Вып. 2.
- Петров – *Петров Н.И.* Новые материалы для изучения религиозно-нравственных воззрений Н.В. Гоголя // Тр. Киев. духов. акад. 1902. Июнь.
- Петровский – *Петровский Ал., свящ.* К вопросу о предках Н.В. Гоголя. Письма из Гоголевщины // Полтав. губерн. ведомости. 1902. № 36.
- Письма – Письма Н.В. Гоголя / Ред. В.И. Шенрока: В 4 т. СПб., [1901].
- Письма, 1901 – Письма М.П. Погодина, С.П. Шевырева и М.А. Максимо-вича к князю П.А. Вяземскому. СПб., 1901.
- Письма к Ганке – Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель / Изд. В.А. Францев. Варшава, 1905.



- Письма к Тургеневу – Письма С.Т., К.С. и И.С. Аксаковых к Ивану Тургеневу. М., 1984.
- Плетнев – *Плетнев П.А.* Сочинения и переписка: В 3 т. СПб., 1885. Т. 3.
- Плетнев, 1853 – *Плетнев П.А.* О жизни и сочинениях В.А. Жуковского. СПб., 1853.
- Плетнев, 1896 – Переписка Я.К. Грота с П.А. Плетневым: В 3 т. СПб., 1896.
- Плетнев Р.В. – *Плетнев Р.В.* Лекции по истории русской литературы XVIII–XIX вв. Монреаль, 1964.
- Погодин, 1842 – *Погодин М.* Месяц в Риме // М. 1842. Ч. 1. № 2.
- Погодин, 1844 – *Погодин М.* Год в чужих краях (1839). Дорожный дневник: В 2 ч. М., 1844.
- Погодин, 1865 – *Погодин М.* Отрывок из записок. О жизни в Риме с Гоголем и Шевыревым в 1839 году // РА. 1865. № 7.
- Поздеев – *Поздеев А.А.* Несколько документальных данных к истории сюжета «Ревизора» // Лит. архив. Мат-лы по истории лит. и обществ. движения. М.; Л., 1953. Вып. 4.
- Полторацкий – *Полторацкий Н.* Иван Александрович Ильин. Жизнь, труды, мировоззрение: Сб. ст. [Б. м.], 1989.
- Пономарев – *Пономарев С.* Нежинский журнал Н.В. Гоголя // КС. 1884. № 5.
- Попов – *Попов А.Н.* Сношения России с Римом с 1845 по 1850 год // ЖМНП. 1870. № 1.
- Поэты – Поэты 1820–1830-х годов: В 2 т. М., 1972. Т. 2.
- Поэты 1840–1850-х – Поэты 1840–1850-х годов. Л., 1972.
- Пушкин – *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. М.; Л., 1949.
- Пушкин в восп. – А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. 2-е изд. М., 1985.
- Пушкин. Временник – Временник Пушкинской комиссии.
- Пушкин и современники – Пушкин и его современники: Мат-лы и исслед. Л., 1927. Вып. 31–32.
- Пушкин и современники, 1928 – Пушкин и его современники: Мат-лы и исслед. Л., 1928. Вып. 37.
- Пушкин. Исследования – Пушкин: Исслед. и мат-лы. Л., 1965. Т. 1; 1969. Т. 6; 1978. Т. 8.
- Пушкин. Переписка – *Пушкин А.С.* Переписка: В 2 т. М., 1982. Т. 2.
- Пушкин. Хроника – Хроника жизни и творчества А.С. Пушкина: В 3 т. 1826–1837 / Сост. Г.И. Долдобанов, науч. ред. А.А. Макаров, рук. изд. В.С. Непомнящий. М., 2000–2001.
- Пыпин – *Пыпин А.Н.* История русской этнографии: В 4 т. СПб., 1891. Т. 3.

- Р – «Русь».
- РА – «Русский архив».
- Рамазанов – *Рамазанов Н.* Материалы для истории художеств в России. М., 1863. Кн 1.
- Рассказы о Пушкине – Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П.И. Бартеневым в 1851–1860 гг. Л., 1925.
- РБ – «Русский библиофил».
- РБс – «Русская беседа».
- РВ – «Русский вестник».
- РВД – «Русские ведомости».
- РГИА – Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург).
- РД – «Русский дневник».
- Редкин – *Редкин П.Г.* Какое общее образование требуется современностью от русского правоведа? М., 1846.
- Рендер – *Render H.* Die Philosophie der unendlichen Landschaft. Halle; Saale, 1932.
- РО – «Русское обозрение».
- Рождественский – *Рождественский С.В.* Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения. 1802–1902. СПб., 1902.
- Ростопчина – *Ростопчина Л.Г.* Семейная хроника. (1812 год) / Пер. А.Ф. Гретман. М., [б. г.].
- РС – «Русская старина».
- Рулин – *Рулин П.И.* «Женитьба» // Гоголь: Мат-лы и исслед. М.; Л., 1936. Т. 2.
- РФВ – «Русский филологический вестник».
- С – «Современник».
- Савинов – *Савинов А.Н.* Алексей Гаврилович Венецианов: Жизнь и творчество. М., 1955.
- Садовников – *Садовников Д.Н.* Отзывы современников о Пушкине // ИВ. 1883. Дек.
- Салиас де Турнемир – Письмо графини Елизаветы Васильевны Салиас де Турнемир... // ЕIKON KAI TEXNH: Церковное искусство и реставрация памятников истории и культуры: Памяти Андрея Георгиевича Жолондзя: Сб. / Вступ. зам., публ. и коммент. Э.Г. Гайнцева. М.: Новый ключ, 2011. Т. 2.
- Самойленко, 2008 – *Самойленко Г.В.* Николай Гоголь и Нежин. Нежин, 2008.
- Самойленко Г.В. – *Самойленко Г.В.* Нежинская филологическая школа. 1820–1890. Нежин, 1993.

- Сарабьянов – *Сарабьянов Д.В.* Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980.
- Сборник – Гоголевский сборник, изданный состоящей при Историко-филологическом институте кн. Безбородко Гоголевской комиссией / Под ред. проф. М. Сперанского. Киев, 1902.
- Сборник, 1857 – Сборник, изданный студентами Императорского Петербургского университета. СПб., 1857. Вып. 1.
- Сборник, 1891 – Сборник общества любителей российской словесности на 1891 год. М., 1891.
- Свербеев – Записки Дмитрия Николаевича Свербеева: В 2 т. М., 1899. Т. 1. Свербеев, т. 2 – Записки Дмитрия Николаевича Свербеева. М., 1899. Т. 2.
- Семевский – *Семевский В.И.* Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX в.: В 2 т. СПб., 1888. Т. 2.
- Сент-Бёв – *Сент-Бёв Ш.* Литературные портреты. Критические очерки. М., 1970.
- Сечкарев – *Setschkareff V. N. V. Gogol. Leben und Schaffen.* Berlin, 1953.
- Симеон – *Симеон (Томачинский), иеромонах.* Путеводитель к светлому Воскресению. Н.В. Гоголь и его «Выбранные места из переписки с друзьями». М., 2009.
- Синявский – *Абрам Терц (Андрей Синявский).* В тени Гоголя. Л., [б. г.].
- Сироткина – *Сироткина И.* Классики и психиатры: Психиатрия в российской культуре конца XIX – начала XX в. / Пер. с англ. автора. М., 2008.
- Смирнова, 1902 – *Висковатов-Висковатый П.* Из рассказов А.О. Смирновой о Гоголе // РС. 1902. Сент.
- Смирнова, 1929 – *Смирнова А.О.* Записки, дневник, воспоминания, письма. М., 1929.
- Смирнова, 1989 – *Смирнова-Россет А.О.* Дневник. Воспоминания / Изд. подгот. С.В. Житомирская. М., 1989.
- СН – «Старина и новизна».
- СО – «Сын отечества».
- Современники Пушкина – Пушкин и его современники. СПб., 1909. Вып. 11.
- Соколов – *Соколов П.П.* Воспоминания. Л., 1930.
- Соллогуб – *Соллогуб В.А.* Воспоминания. М.; Л., 1931.
- Соловьев – *Петр Соловьев, свящ.* Встреча с Н.В. Гоголем в 1848 г. // РС. 1883. Сент.
- Соловьев, 1912 – *Соловьев Н.В.* Поэт-художник Василий Андреевич Жуковский // РБ. 1912. № 7/8.
- Соловьев, 1983 – *Соловьев С.М.* Избранные труды. Записки / Изд. подгот. А.А. Левандовский, Н.И. Цимбаев. М., 1983.

- Соловьев В. – *Соловьев В.В.* Собр. соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1.
- Соханская – *Соханская (Кохановская) Н.С.* Автобиография. М., 1896. СП – «Северная пчела».
- Сперанский – *Сперанский М.Н.* К истории собрания песен Н.В. Гоголя. Нежин, 1912.
- Срезневский – Путевые письма Измаила Ивановича Срезневского из славянских земель. 1839–1842. СПб., 1895.
- Станкевич, 1914 – *Станкевич Н.В.* Переписка. 1830–1840. М., 1914.
- Стасов, 1954 – *Стасов В.В.* Статьи и заметки, не вошедшие в Собрание сочинений: В 3 т. М., 1954. Т. 2.
- Стасюлевич – М.М. Стасюлевич и его современники в их переписке: В 5 т. СПб., 1912. Т. 3.
- Степанов – *Степанов Н.Л.* Гоголь. М., 1961.
- Степун – *Степун Ф.А.* Сочинения. М., 2000.
- Стогнут – *Стогнут А.С., Кононенко И.К.* Новые страницы к «делу о вольнодумстве» в нежинской Гимназии высших наук // Учен. зап. Нежин. пед. ин-та. 1954. Т. 4–5.
- Стурдза, 1852 – *Стурдза А.С.* Дань памяти Жуковского и Гоголя // М. 1852. № 20. Отд.1.
- Супронюк – *Супронюк О.К.* Из комментариев к письмам Н.В. Гоголя // РЛ. 1989. № 1.
- Супронюк 1 – *Супронюк О.К.* Литературная среда раннего Гоголя. Киев, 2009.
- Супронюк 2 – *Супронюк О.К.* Н.В. Гоголь и его окружение в Нежинской гимназии. Киев, 2009.
- Супронюк, 1995 – *Супронюк О.К.* Из разысканий о Н.Ю. Артинове, авторе воспоминаний о Н.В. Гоголе и Н.В. Кукольнике в Нежинской гимназии // Литература та культура Полісся, 6. Ніжин, 1995.
- Сушков – *Сушков Н.В.* Московский университетский Благородный пансион... М., 1858. Приложения.
- Т – «Телескоп».
- Талалай – *Талалай М.Г.* Православная русская церковь Святого Николая Чудотворца в Риме. Рим, 2000.
- Тарасенков – *Тарасенков А.Т.* Последние дни жизни Н.В. Гоголя // Кулиш П. Николай Васильевич Гоголь. Опыт биографии. М., 2003. (Здесь перепечатано наст. соч. Тарасенкова.)
- Тарасенков, 1902 – *Тарасенков А.Т.* Последние дни жизни Н.В. Гоголя. М., 1902.
- Тарасов – *Тарасов Б.* Чаадаев. М., 1986.
- Тирген – *Thiergen P.* Wilhelm Heinrich Riel in Rußland (1856–1866). Wilhelm Schmitz Verlag in Giessen, 1978.

- Тихонравов, 1886 – Ревизор. Комедия в пяти действиях. Соч. Н.В. Гоголя. Первоначальный сценический текст, извлеченный из рукописей Николаем Тихонравовым. М., 1886.
- Томашевский – *Томашевский Н.* Об италянизме Гоголя. Заметки к теме // *Itinerari di idee, uomini e cose fra est ed ovest europeo.* Udine, 1990. С. 187.
- Трахимовский – *Трахимовский Н.А.* Мария Ивановна Гоголь. По поводу статьи Н.А. Белозерской // РС. 1888. № 7.
- Труайя – *Труайя А.* Николай Гоголь. [М.], 2004. (Пер. с фр.).
- Труды – Труды Полтавской ученой архивной комиссии. 1907. Вып. 3.
- Труды библиотеки – Труды Публичной библиотеки СССР им. В.И. Ленина. Вып. 3. М., 1934.
- Труды, вып. 5 – Труды Полтавской ученой архивной комиссии. 1908. Вып. 5.
- Туницкий – *Туницкий Н.* Заметка о посещении Н.В. Гоголем Духовной академии // Богослов. вестн. 1909. Т. 1. Март.
- Тургенев – *Тургенев А.И.* Хроника русского: Дневники (1825–1826) / Изд. подгот. М.И. Гиллельсон. М.; Л., 1964.
- Тургенев, 1989 – *Тургенев А.* Политическая проза. М., 1989.
- Тургенев И. – *Тургенев И.С.* Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. М.; Л., 1960–1968.
- Тынянов – *Тынянов Ю.Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977.
- Тютчев – *Тютчев Ф.И.* Полн. собр. соч. / Под ред. П.В. Быкова. Пг., [1913].
- Тютчев, 1980 – *Тютчев Ф.И.* Сочинения: В 2 т. М., 1980.
- Уделы – Столетие уделов, 1797–1897. СПб., 1897.
- Удольф – *Udolph L.* Stepan Petrovič Ševyrev. 1820–1836. Köln; Wien, 1986.
- Федотов – *Федотов В.В.* Новые материалы о пребывании Н.В. Гоголя в Полтавском училище // Вестн. МГУ. Сер. 9. Филология. 1988. № 3.
- Феодор, 1991 – *Феодор (Бухарев А.М.), архим.* О духовных потребностях жизни. М., 1991.
- Феодор, 1997 – *Феодор (Бухарев А.М.), архим.* Pro et contra. СПб., 1997.
- Фет – *Фет А.* Воспоминания. М., 1983.
- Филиппов – *Филиппов Т.И.* Воспоминание о гр. А.П. Толстом // Гражданин. 1874. № 4.
- Флоровский – *Георгий Флоровский, прот.* Пути русского богословия. 3-е изд. Р., 1983.
- Фомичев – *Фомичев С.А.* Пушкин и Гоголь: К вопросу о соотношении их творческих методов // *Zeitschrift für Slawistik.* 1987. Bd. 32. H. 1.
- Францев – *Францев В.А.* Гоголь в чешской литературе. СПб., 1902.

- Фридкин – *Фридкин В.М.* Пропавший дневник Пушкина. Рассказы о поисках в зарубежных архивах. М., 1987.
- Фридлиндер – *Фридлиндер Г.М.* Из истории раннего творчества Гоголя // Гоголь: Ст. и мат.-лы. Л., 1954.
- Фуссо – *Fusso S.* The Landscape of Arabesques // Essays on Gogol. Logos and the Russian World. Evanston, Illinois, 1992.
- Хайнацкий – *Хайнацкий А.Ф.* К истории философской науки в России в начале XIX века // Древняя и новая Россия. М., 1879. Т. 2.
- ХГВ – «Харьковские губернские ведомости».
- Хетсо – *Хетсо Г.* Гоголь как учитель жизни: Новые материалы // Scando-Slavica. 1988. Т. 34.
- Ходасевич – *Ходасевич В.* Собр. соч.: В 4 т. М., 1996. Т. 2.
- Хомяков – *Хомяков А.С.* Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1900–1907.
- Хомяков, 1969 – *Хомяков А.С.* Стихотворения и драмы. Л., 1969.
- Хомяков, 1988 – *Хомяков А.С.* О старом и новом: Ст. и очерки. Л., 1988.
- Хюбнер – *Hübner R.* Johann Kaspar Lavater, Nicolai W. Gogol, Kaiserin Eugenie und Alfred Krupp zur Kur in Bad Eims. Bad Eims. 1989. Н. 79.
- Цых – *Цых В.Ф.* Решение вопроса: по причине беспрестанного умножения массы исторических сведений и распространения объема истории, не оказывается ли нужным изменить обыкновенный способ преподавания сей науки... Харьков, 1833.
- Чаадаев – *Чаадаев П.Я.* Избр. соч. и письма. М., 1991.
- Черейский – *Черейский Л.А.* Пушкин и его окружение. 2-е изд., доп. и перераб. Л., 1989.
- Чернышевский – *Чернышевский Н.Г.* Полн. собр. соч.: В 15 т. (16-й том дополнительный). М., 1939–1953.
- Четвериков – *Четвериков С.* Оптина пустынь: ист. очерк и личные воспоминания. Р., [1926].
- Чиж – *Чиж Н.Ф.* Болезнь Н.В. Гоголя. Записки психиатра. М., 2011.
- Чижевский – *Tschizewskij D.* Gogol, Turgenew, Dostoevskij, Tolstoj. Zur russischen Literatur des 19 Jahrhunderts. München, 1966.
- Чижевский, 1938 – *Чижевский Д.* О «Шинели» Гоголя // Соврем. зап. [Р.], 1938. Т. 68.
- Чижевский, 1951 – *Чижевский Д.* Неизвестный Гоголь // Нов. журн. 1951. Т. 27.
- Чижевский, 1952 – *Chyzh D.* Gogol: Artist and Thinker // The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S. Vol. 2 (Summer, 1952). № 2 (4).
- Чижевский, 1978 – *Tschizewskij D.J.* Gogol's *Ja* und *Nein* // Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. 1978. Bd. 215.
- Чичерин, 1997 – *Чичерин Б.Н.* Москва сороковых годов. М., 1997.

- Чичерин А. – *Чичерин А.В.* Возникновение романа-эпопеи. 2-е изд. М., 1975.
- Шаляпин – *Шаляпин Ф.И.* Маска и душа. Мои сорок лет на театрах. М., 1989.
- Шверубович – *Шверубович А.И.* Братья Кукольники: Очерк их жизни... Вильна, 1885.
- Шевченко в воспоминаниях – Шевченко в воспоминаниях современников. [М.], 1962.
- Шевырев – *Шевырев С.П.* История поэзии. М., 1835. Т. 1.
- Шевырев, 1855 – *Шевырев С.П.* История Императорского Московского университета. М., 1855.
- Шеллинг – *Шеллинг Ф.В.* Философские исследования о сущности человеческой свободы. СПб., 1908.
- Шенрок – *Шенрок В.И.* Материалы для биографии Гоголя: В 4 т. М., 1892–1897.
- Шереметева – Переписка Н.В. Гоголя с Н.Н. Шереметевой / Изд. подгот. И.А. Виноградов, В.А. Воропаев. М., 2001.
- Шильдер – *Шильдер Н.К.* Император Николай Первый. Его жизнь и царствование: В 2 т. СПб., 1903. Т. 1.
- Шимановский – *Шимановский М.В.* Петр Григорьевич Редкин: (Биограф. очерк). Одесса, 1891.
- Шлегель – *Шлегель Ф.* Эстетика. Философия. Критика: В 2 т. М., 1983. Т. 1.
- Шмальц – *Шмальц Т.* Право естественное. СПб., 1820.
- Шокарев – *Шокарев С.Ю.* Арбат в жизни Гоголя // Гоголь в Москве. М., 2011.
- Шокарев, 2009 – *Шокарев С.* Арбат в жизни Н.В. Гоголя. М., 2009.
- Шрайер – *Schreier H.* Gogol's religiöses Weltbild und sein literarisches Werk. München, 1977.
- Штрих – *Strich Fr.* Deutsche Klassik und Romantik. München, 1928.
- Шубин – *Шубин В.* «Квартира моя... в доме Брунста» // Нева. 1982. № 12.
- Щеглов – *Щеглов И.* Подвижник слова: Новые материалы о Гоголе. СПб., 1909.
- Щеглов, 1901 – *Щеглов И.Л.* Гоголь и Матвей Константиновский // НВ. 1901. № 9260.
- Щеголев – *Щеголев П.Е.* Из школьных лет Н.В. Гоголя. Отец Гоголя // ИВ. 1902. № 2.
- Эйзенштейн – *Эйзенштейн С.* О «Шинели» Н.В. Гоголя / ВЛ. 1986. № 4.
- Эрлих – *Erllich V.* Gogol and Kafka: a Note on «Realism» and «Surrealism» // «For Roman Jakobson». Festschrift zum 60. Geburtstag. Den Haag, 1956.

- Эфрос – *Эфрос Н. К.А.* Горбунов – портретист Белинского // ЛН. 1951. Т. 57.
- Языков – *Языков Н.М.* Сочинения. Л., 1982.
- Якобсон, Арутюнова – *Jakobson R., Aroutunova V.* An Unknown Album Page by Nikolaj Gogol' // Harvard library bulletin. 1972. Vol. XX. № 3.
- Яковлев – *Яковлев И.А.* Святитель Филарет и развитие русской культуры // Филарет. альм. Прил. к «Богослов. сб.». М., 2004. Вып. 1.
- Якубина – *Якубина Ю.* К истокам страха у Гоголя (нежинский период) // Гоголевзнавчі студ. 7. Ніжин, 2001.
- Янушкевич – *Янушкевич А.С.* Философия и поэтика гоголевского Всемира // Феномен Гоголя. Мат-лы Междунар. юбилейн. конф., посвящ. 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. СПб., 2011.
- Яремич – *Яремич С.П.* Михаил Александрович Врубель. Жизнь и творчество. М., [1911].
- ZS – «Zeitschrift für Slawistik».



---

## *Именной указатель*

- Абрамович С.Л. 447  
Авентино (Aventino) 447  
Аверинцев С.С. 447  
Адамович 441, 447  
Адлерберг В.Ф. 87  
Азадовский К.М. 447  
Айзеншток И.Я. 447  
Аксаков Г.С. 206, 252, 261, 340  
Аксаков И.С. 54, 92, 112, 115, 147, 200, 223, 227, 232, 236, 240, 242–244, 246, 252–254, 259, 263, 264, 266–268, 282, 306, 310, 311, 340, 341, 358, 364, 383, 386, 436, 440, 444, 447, 464  
Аксаков К.С. 13, 113, 115, 131, 147, 191, 206–208, 226–228, 231, 236, 241, 244, 253, 259, 261, 264, 266, 267, 279, 306, 325, 334, 435, 447, 464  
Аксаков С.Т. 23, 52, 54, 64, 73, 81, 90–94, 112, 113, 127, 173, 188, 191, 199, 206, 220, 223, 224, 226, 227, 230–232, 243–246, 252, 254, 259, 260, 264, 266–270, 290, 291, 305, 306, 308, 309, 311, 312, 325, 334, 339, 340, 358, 360, 364, 366, 367, 384, 424, 440, 443, 444, 447, 451, 461, 464  
Аксакова В.С. 20, 91, 106–109, 158, 206, 213, 246, 252, 254, 259, 261, 267, 305, 311, 312, 325, 335, 344, 345, 356, 366, 367, 384, 400, 434, 447  
Аксакова Н.С. 251, 253, 254, 261, 335, 351  
Аксакова О.С. 13, 92, 206, 305, 334, 335  
Аксакова С.А. 252  
Аксаковы 81, 183, 185, 207, 220, 229, 231, 245, 254, 278, 351, 366, 367, 454  
Александр I 10, 15  
Александр II 33, 137, 392, 463  
Александра Федоровна, имп. 350  
Александрова Л.Б. 447  
Алексеев А.А. 322, 447  
Алексеев М.П. 447  
Алексеев Н. 241  
Алексеева Т.В. 447  
Аль Д. 447  
Альффонский 365  
Амберг Л. (Amberg L.) 45, 121, 134, 447, 448  
Андреев Н. 431  
Анненков П.В. 23–25, 27–29, 56, 136, 141–146, 152–155, 157–160, 162, 163, 170, 171, 214–218, 342, 350, 352, 354, 362, 433, 435–437, 444, 448

- 
- Анненкова Е.И. 68, 245, 373, 448  
Анненский И.Ф. 422, 448  
Апраксин В.В. 147–149  
Апраксина М.В. 172  
Апраксина Н.В. 79, 172  
Апраксина С.П. 12–15, 78–80, 93, 148, 172  
Апт С.К. 431  
Ариосто Л. 405  
Аристотель 425, 442  
Армфельд А.О. 231  
Арнольди И.К. 235  
Арнольди Л.И. 182, 217, 235–240, 242, 243, 256–258, 306, 307, 320, 356,  
357, 362, 363, 379, 380, 439, 441, 443  
Арну Л. 209  
Аронсон М. 347, 448  
Арсеньев И.А. 256, 257  
Аргынов (Артинов) Н.Ю. 467  
Аругюнова Б. (Aroutunova B.) 471  
Архипова А.В. 438  
Арцибашев С. 407  
Атуев Я. 262  
Ашукин Н.С. 193  
Ашукина М.Г. 193
- Бабст И.К.** 340  
Багaley Д.И. 448  
Баженов Н.Н. 444, 446, 448  
Базаров И.И. 448  
Базили К.М. 178, 180, 184, 185, 191, 195, 234, 344, 437  
Базили М.А. 180, 184  
Базунов И.В. 265  
Байрон Дж.Н.Г. 138, 145, 405  
Бакунин М.А. 163, 457  
Балабина М.П. 149, 212  
Бальзак О. де 408  
Барабаш Ю.Я. 62, 348–351, 434, 448  
Баратынский Е.А. 63, 238, 392, 449  
Барбе д'Оревильи Ж.А. 430  
Барсуков Н.П. 76, 100, 126, 191, 193, 221–224, 232, 245, 248, 250, 251, 266,  
300, 305, 311, 377, 449  
Барт Р. 429

---

Баргенов П.И. 228, 229, 441, 443, 455, 465  
Барятинский А.И. 26  
Батюшков К.Н. 136  
Бейне А.-К.А. 181, 437  
Белинский В.Г. 16, 24, 39, 52, 54, 60, 113, 125, 126, 132, 138, 142–145,  
150–164, 173, 188, 214, 216, 217, 242, 336, 345, 348, 350, 354, 361,  
392, 394, 405, 406, 432, 436, 438, 449, 454, 471  
Белов С. 438  
Белозерская Н.А. 468  
Белокуров С.А. 223, 449  
Белоногова В.Ю. 57, 449  
Белоусов И.А. 449  
Белоусов Н.Г. 283, 284  
Бельчиков Н.Ф. 54, 441  
Белый Андрей 421, 422  
Белый (Билый) В.И. 194, 437  
Беляев И.Д. 251  
Беляев Ю. 449  
Бенардаки Д.Е. 193  
Бенкендорф А.Х. 117  
Берг Н.В. 18, 19, 226, 227, 249, 250, 261, 262, 277, 310, 311, 357, 358, 378,  
384, 385  
Бердяев Н.А. 49, 227, 449  
Бессараб М. 449  
Бестужев-Рюмин К.Н. 386, 445  
Бестужева П.М. 128  
Благой Д.Д. 449  
Блан Л. 159, 163, 218  
Бланк В.Б. 184, 449  
Блудов Д.Н. 77  
Богданов А.Ф. 292, 296  
Богданов Д. 322  
Бодянский О.М. 96, 251, 252, 254, 261–264, 278, 325, 342, 346, 348, 364,  
383  
Божко А.А. 339, 340  
Болтин Д.С. 225  
Болтин И.Н. 225  
Борисов В. 442  
Боровиковский В.Л. 452, 458  
Борх А.П. 30  
Борх С.И. (урожд. Лаваль) 30

---

Боткин В.П. 145, 146, 155, 345, 438, 449  
Боткин М.П. 449, 455  
Боткин Н.П. 13  
Ботникова А.Б. 449  
Бочаров С.Г. 449  
Браун М. (Braun M.) 407, 449  
Бруни Ф.А. 211–214  
Брюллов К.П. 48, 211–214, 255, 348, 361, 438, 454, 457  
Брюсов В. 422  
Брянчанинов Д.А. 102, 103, 126, 449  
Булгарин Ф.В. 19  
Бунин И.А. 437  
Бурнашев В.Б. 449  
Буслаев Ф.И. 367, 368, 449  
Быков 26  
Быков В.И. 300, 301, 334  
Быков П.В. 468  
Быкова Е.В. – см. Гоголь Е.В.

Вагнер 149  
Вагнер М.П. – см. Балабина М.П.  
Вайскопф М. 46, 65, 450  
Валицкий А. 450  
Варлаам Ясинский, митроп. 435  
Варсонофий Оптинский (Плиханов П.И.) 322, 326, 333  
Васильев С.В. 457  
Вацуро В.Э. 55, 56, 450  
Вежбицкая А. 401  
Велижев М.Б. 117, 450  
Великопольский И.Е. 461  
Вельтман А.Ф. 35  
Вельтш Ф. 427  
Веневитинов А.В. 274, 275  
Веневитиновы 208  
Венецианов А.Г. 465  
Вергилий 442  
Вересаев В.В. 297, 441, 450  
Вершинский Д.С. 79, 80, 174, 436  
Веселовский А.Н. 450  
Веснин С.А. 298

- 
- Виельгорская Анна М. 21, 22, 76, 77, 89, 124, 147–149, 176, 208–210, 227, 228, 231, 234, 247, 270–275, 277, 278, 297, 315, 397, 436
- Виельгорская Аполлинария М. 274
- Виельгорская Л.К. 49, 83, 88–90, 93, 135, 147, 209, 270, 274
- Виельгорская С.М. 93, 107, 149, 231, 247, 277, 278, 434
- Виельгорские 76, 130, 147, 183, 270, 274, 275, 277
- Виельгорский И.М. 26, 81, 213, 460
- Виельгорский М.М. 147
- Виельгорский М.Ю. 14, 86, 87, 90, 208
- Викулова В.П. 445
- Виноградов А.К. 384, 450
- Виноградов В.В. 450
- Виноградов И.А. 170, 345, 435, 436, 439, 450, 458, 462, 470
- Виноградская Н.Л. 194
- Висковатов-Висковатый П. 466
- Витберг Ф.А. 450
- Владимиров П.В. 450
- Владимирский-Буданов М.Ф. 449
- Вогюэ М. де 432
- Воейков А.Ф. 449
- Войтоловская Э.Л. 450
- Волгин И. 23
- Волконская З.А. 317
- Вольф А.И. 450
- Вольф Ф.А. 53
- Ворвинский 382
- Воронский А. 164, 450
- Воронцов М.С. 290
- Воропаев В.А. 439, 440, 470
- Врубель М.А. 420, 421, 471
- Всеволожский Н.С. 233
- Вяземская В.Ф. 232
- Вяземская М.П. 232
- Вяземские 462
- Вяземский П.А. 90, 94, 110, 113, 114, 121, 122, 125, 129, 136, 137, 232, 233, 291, 363, 451, 452, 463
- Гааз Ф.П. 365
- Гагарин Д.И. 289
- Гайнцева Э.Г. 445, 465
- Галаган Г.П. 437, 451

---

Галахов А.Д. 264, 265, 290, 451  
Ганка В. 140, 463  
Гарт Ф.Б. 430  
Гасперович В. 451  
Гегель Г.В.Ф. 116, 327, 328, 442  
Гедеонов А.М. 439  
Георгиевский Г.П. 331, 441, 463  
Гербель Н.В. 344  
Гердер И.Г. 416, 417  
Герик Х.Дж. (Gerigk H.J.) 411, 451  
Герцен А.И. 144, 150, 169–171, 173, 234, 351–356, 451  
Гершензон М.О. 40, 313, 451  
Гиллельсон М.И. 435, 451, 468  
Гиляровский В.А. 183, 451  
Гиппиус В.В. 34, 36, 79, 330, 355, 392, 451  
Глебов-Стрешнев Н.П. 130  
Глинка М.И. 255, 451  
Глоба П. 388  
Гмелин И.Г. 341  
Гнедич Н.И. 54–57  
Гоголь А.В. 52, 197, 205, 301, 302, 333  
Гоголь В.А. 454, 458, 470  
Гоголь Е.В. 197, 204, 205, 286, 300, 301, 302, 323, 334, 449  
Гоголь М.В. 81  
Гоголь М.И. (урожд. Косяровская) 60, 80, 175, 191, 199, 286, 300–302,  
309, 311, 323, 386, 451, 454, 468  
Гоголь О.В. 39, 187, 188, 284, 300, 302, 443, 452  
Голенищев-Кутузов П.В. 30  
Головинский И.П. 309  
Головня В.Я. 188  
Головня-Гоголь О.В. – см. Гоголь О.В.  
Голубинский Е.Е. 337, 338  
Голубовский Л. 431  
Гольденберг А.Х. 452  
Гомер 114, 269, 405  
Гонцов С. 445  
Гончаров И.А. 214, 216, 217, 219  
Гончаровы 239  
Горбунов К.А. 151, 471  
Горленко В. 452  
Гофман Э.Т.А. 408, 409, 423, 424, 449

---

Грамолина Н.Н. 452  
Грановский Т.Н. 385, 452  
Гребёнка (Гребінка Є.П.) 452  
Греков В.Н. 92, 447, 452  
Гретман А.Ф. 465  
Грешищев Н. 100, 369, 452  
Григорий XVI 319  
Григорий Богослов 373  
Григорович В.И. 348  
Григорович Д.В. 214, 217, 219, 439  
Григорьев А.А. 66, 123, 248, 249, 353, 357, 418, 420, 452  
Григорьев В.В. 452  
Гринченко Е. 309, 452  
Гриц Т.С. 444, 452  
Гросс 204  
Грот Я.К. 20, 234, 235, 256, 293, 309, 464  
Грубби 130  
Губер Э. 154, 155  
Гуковский Г.А. 452  
Гурвич-Лищинер С.Д. 117, 452  
Гурьев Д.А. 15  
Гусева Е.Н. 437, 451  
Гуэрра Т. 432  
Гюго В. 442

Давыдов В.Н. 426  
Давыдов Д.В. 452, 454  
Давыдова Е.Е. 435  
Даль В.И. 17, 22, 55, 439, 443  
Данилевская О.А. 200, 204  
Данилевская У.Г. 95, 200, 204, 205, 264, 283, 300  
Данилевский А.С. 64, 95, 191, 196–198, 200, 201, 204–206, 218, 264, 278,  
283, 284, 300–302, 339, 405  
Данилевский Г.П. 311, 341–347, 350, 351, 358, 443, 444, 452  
Данилевский М.Г. 311, 452  
Данилевский Н.А. 300  
Данилов В.В. 440, 452  
Данилов С.С. 452  
Данте (Дант) А. 114, 404, 405  
Дантес 394  
Даргомыжский А.С. 453

---

Дашкова С.А. 77  
Дегалет 26  
Дельвиг А.И. 453  
Деменитр А.Л. 288, 294–296  
Дементьев А.Г. 446  
Ден В.И. 130, 453  
Денисов В. 453  
Державин Г.Р. 257  
Дерюгина Л.В. 449  
Джулиани Р. (Giuliani R.) 9, 78, 164, 453  
Диккенс Ч. 138, 145, 405, 408, 412  
Дмитриев И.И. 225  
Дмитриев-Мамонов Э.А. 207  
Дмитриева Е.Е. 134, 318, 453  
Долгоруков В.А. 130  
Долдобанов Г.И. 464  
Дорофеев В.П. 436  
Досталь М.Ю. 450  
Достоевский Ф.М. 17, 20–24, 49, 61, 69, 164, 312, 404, 412, 429, 434, 438,  
453, 469  
Дризен Н.В. 453  
Друбек-Мейер Н. (Drubek-Meyer N.) 454  
Дружинин А.В. 214, 217  
Дрыжакова Е.Н. 454  
Дунина-Барковская Г.И. 198  
Дурново А.П. 14–17  
Дурново П.Д. 15  
Дурылин С.Н. 454  
Дюма А. 442  
Дюр Н.О. 357

Евгений, архим. 338  
Евениус 382  
Евфимий, иером. 321, 324, 331, 332, 441  
Егоров Б.Ф. 36, 131, 160, 454  
Екатерина II 349  
Елагина А.П. 60, 282, 342, 440  
Елагина Е.А. 60  
Еленев В. 385  
Енгальчев Н.А. 248, 249  
Ершов И.З. 248



- 
- Ершов И.И. 248  
Есипов В. 54, 434, 454  
Ефимова М.Т. 446  
Ефрем Сирин 65, 445  
Ефремов П.А. 454
- Жанен Ж.Г.** 158  
Жаркевич Н.М. 459  
Жданов И.Н. 454  
Железнов М.И. 211, 212, 361, 454  
Жерве В.В. 454  
Живокини В.И. 364, 454  
Живокини Д.В. 364  
Жилякова Э.М. 308, 454  
Жиллярди Д. 226  
Житомирская С.В. 466  
Жолондзь А.Г. 465  
Жуковская Е.А. 33  
Жуковский В.А. 10, 14, 23, 25, 27, 28, 31–34, 53, 57, 60, 63, 77, 79, 87, 97, 98, 110, 112, 122–124, 128, 129, 171, 175, 180–184, 187, 193, 199, 212, 220, 227, 238, 239, 244, 266, 270, 283, 291, 293, 323, 333, 334, 348, 355, 434, 435, 440, 454, 455, 463, 464, 466, 467
- Заблоцкий-Десятковский А.П.** 455  
Заболотский П.А. 455  
Загарин П. (Поливанов Л.И.) 455  
Загоскин М.Н. 231, 360  
Загоскин С.М. 360  
Зайцев А.Д. 228, 455  
Зайцев Б.К. 455  
Зайцева И.А. 342, 439, 444, 455  
Закревский А.А. 385  
Замыслова Е.Е. 455  
Захарова Л.Г. 463  
Звиняцковский В.Я. 99, 401, 455  
Зеленецкий К.П. (Младенцев Э.) 290, 441  
Земенков Б.С. 234, 455  
Зенков (Зеньков) П.Ф. 210–212  
Зеньковский В.В. 116, 314, 455  
Зиномря М.И. 455  
Золотусский И.П. 455  
Зотов Р.М. 455

---

**Иван Яковлевич** 435  
**Иванов А.А.** 164–171, 173, 174, 181, 185, 200, 210, 215, 220, 291, 353, 364,  
449, 453, 455  
**Ивантышышова Т.** 450  
**Иваск Ю.** 392  
**Иконников В.С.** 456  
**Илларион, свящ.** 324  
**Ильин Н.П.** 292, 299  
**Иннокентий (Борисов И.А.)** 99, 100, 126, 127, 185  
**Иноземцев Ф.И.** 382  
**Инсарский В.А.** 456  
**Иоанн Никольский** 376  
**Иордан Ф.И.** 22, 136, 456  
**Иосиф, свящ.** 327, 330  
**Иофанов Д.М.** 456  
**Исаак Сирин** 314, 317, 328, 333  
**Исаков С.Г.** 456  
**Истрин В.М.** 456

**Кабе Э.** 159  
**Кавелин К.Д.** 160, 163  
**Казак В. (Kasack W.)** 402, 456  
**Казначеев А.И.** 290  
**Кальдони В.** 169  
**Каманин И.М.** 456  
**Каменская М.Ф.** 456  
**Камю А.** 422, 446  
**Кантемир А.Д.** 449  
**Кантор В.** 119, 456  
**Капнист А.В.** 386  
**Капнист В.В.** 386, 456  
**Капнист И.В.** 197, 256–258, 382, 440  
**Карамзин А.Н.** 128  
**Карамзин Н.М.** 10, 42, 136, 137, 139, 225, 233, 270, 456  
**Карамзина А.** 128  
**Карамзины** 456  
**Каратыгин П.А.** 443, 456  
**Каратыгин П.П.** 443, 456  
**Карбаускис М.** 407  
**Карташев А.В.** 336

---

Карташевская М.Г. 20, 91, 106, 107, 206, 213, 246, 254, 267, 305, 311, 312, 335, 400  
Касснер Р. (Kassner R.) 411, 457  
Кафка Ф. (Kafka F.) 402, 409, 422, 424, 426, 427, 430, 446, 457, 470  
Кашницкий С. 389  
Квитка-Основьяненко Г.Ф. 410  
Кейль Р.-Д. (Keil R.-D.) 318, 457  
Кизеветтер А.А. 457  
Киреевские 282, 320  
Киреевский И.В. 35, 43, 46, 91, 112, 114, 116, 120, 131, 138, 139, 223, 245, 248, 283, 312–317, 319, 326–328, 330, 333, 405, 432, 435, 457  
Киреевский П.В. 283  
Кирилюк З.В. 459  
Кирпичников А.И. 457  
Киселев П.Д. 455  
Кичеев Н.П. 456  
Клейнмихель П.А. 232  
Клименков С.И. 382  
Климент, свящ. 325, 459  
Ключевский В.О. 426  
Княжнин В. 452  
Княжнин Я.В. 457  
Ковалевский П.М. 170  
Козачковский А.О. 350  
Козмин Н.К. 457  
Колмаков Н.М. 260, 457  
Колосова Н.П. 16, 457  
Кольцов А.В. 457  
Комаров А.А. 214, 216–218, 438  
Кондаков С.Н. 457  
Конобеевская И.Н. 435  
Кононенко И.К. 467  
Константиновский М.А. 79, 100, 101, 103, 126, 127, 174, 175, 183, 185, 187, 191, 205, 321, 326, 333, 368, 369, 370–376, 379, 381, 393, 398, 399, 462, 470  
Корейша И.Я. 377  
Корнилов А.А. 457  
Корнилова А.В. 457  
Коробка Н.И. 432, 457  
Коровин В.И. 463  
Короленко В.Г. 421

---

Коропчевский Д.А. 457  
Коротков К. 389  
Корф М.А. 457  
Костомаров Н.И. 203, 204  
Котельников В. 321  
Кочубинский А. 458  
Кошелев А.И. 261, 326, 440  
Кошелевы 361  
Коялович А.И. 458  
Краевский А.А. 20, 217  
Красильников С.А. 458  
Крендовский Е.Ф. 281  
Крестовоздвиженский В.В. 336  
Кривонос В.Ш. 40, 430, 458  
Крижанівський С.А. 458  
Кронеберг И.Я. 438  
Крутикова Н.Е. 34, 62, 217, 309, 333, 386, 440, 458  
Крутов М.И. 178, 179  
Крылов И.А. 257  
Кугель А.Р. 332, 426, 458  
Кукольник Н.В. 255, 389, 390, 458, 467  
Куликов Н.И. 439  
Кулиш П.А. 181, 201, 216, 220, 234, 237, 243, 279, 282, 283, 287, 289, 301,  
302, 306, 308, 309, 348, 354, 356, 364, 365, 376, 378, 381, 441, 452, 454,  
458, 467  
Кулябко Е.С. 458  
Купреянова Е.Н. 458  
Кьеркегор С. (Kierkegaard S.) 402, 458  
Кюстин А. де 42, 433

Лаваль И.С. 30  
Лавровский Н.А. 459  
Лазаревский А.М. 459  
Лазурский В.Ф. 445  
Лами В. 343  
Ланской Л.Р. 172, 224, 364  
Лапченко Г.И. 169  
Лафарг П. 430  
Лаффитт С. 430, 459  
Лебедев А.А. 442  
Лебедева О.Б. 171, 455, 459

---

Левандовский А.А. 466  
Левицкий С.В. 219, 249  
Лемке М.К. 117, 459  
Ленский Д.Т. 357  
Леонид (Кавелин), архим. 326, 327, 459  
Леонтович В. (Leontovitsch V.) 459  
Леонтьев В.Ю. 312  
Леонтьев К.Н. 312, 326, 459  
Лермонтов М.Ю. 63, 234, 295, 331, 394, 430, 460  
Лернер Н.О. 54, 192, 288, 295, 296, 459  
Леру П. 159  
Лесков Н.С. 203, 437  
Лешков В.Н. 308  
Линниченко И.А. 459  
Лосев 26  
Лосиевский И.Я. 202, 459  
Лосский В. 330, 459  
Лосский Н.О. 132, 134, 140, 459  
Лотман Л.М. 61  
Лотман Ю.М. 460  
Лукашевич В.А. 287  
Лукашевич Н. 212  
Лунин М.С. 45, 460  
Львов В.В. 96, 114  
Любимов Ю.П. 407  
Лютер (Лутер) М. 317  
Лямина Е.Э. 460  
Лященко А.И. 457

Майков А. 345  
Макарий Булгаков 331  
Макарий (Иванов М.) 312, 321–328, 330, 333, 365  
Макаров А.А. 464  
Макогоненко Г.П. 460  
Максимов С.В. 250  
Максимович М.А. 224, 251–254, 261, 264, 266, 278–284, 319, 437, 460, 463  
Малиновский Д.К. 250  
Малиновский И. 97, 250, 460  
Манн Т. 430, 431  
Манн Ю.В. 45, 48, 98, 99, 116, 146, 241, 311, 336, 341, 349, 396, 402, 410, 420, 434, 440, 446, 460

---

Мануйлов В.А. 451  
Маргулиес Ю. 438  
Мария Николаевна, вел. кн. 33, 307, 308  
Марк (Лозинский) 449  
Маркевич А.И. 196, 460  
Марков К.И. 100, 269, 286  
Маркович А.В. 287  
Маркович А.М. 204, 205, 222, 283  
Маркович В.М. 47, 460  
Маркович Н.А. 460  
Маркс К. 430, 460  
Мартынов А.Е. 439  
Мартынов Н.С. 295, 445,  
Масанов И.Ф. 460  
Матвеев П. 328, 460  
Машинский С.И. 461  
Машковцев Н.Г. 169, 438, 461  
Мельгунов Н.А. 231  
Меншиков А.С. 26  
Мердер К.К. 461  
Мережковский Д.С. 368, 369, 461  
Мерзляков А.Ф. 245  
Мериме П. 384, 405, 432, 450  
Мерсье Л. 35  
Мещерская А.И. 30  
Мещерская С.С. 71  
Мещерский Н.И. 30  
Мизко Д.Т. 289  
Мизко Н.Д. 289, 290, 441  
Микеланджело Буонаротти 432  
Миллер Д.П. 448  
Миллер Н.Н. 417  
Миловский Н. 31, 123, 124, 131, 135, 461  
Мильчина В.А. 461  
Милютин В.А. 142, 143  
Милютин Д.А. 461  
Мироненко С.В. 453  
Миронов А.А. 427  
Михаил Павлович, вел. кн. 33  
Михайлова А.Н. 433  
Михальский Е.Н. 461

---

Михед П.В. 50, 62, 63, 459, 461  
Михельсон М.И. 193  
Михневич И.Г. 288, 461  
Михольский 202–204  
Мицкевич А. 19, 404, 405, 450  
Модзалевский Б.Л. 461  
Моисей, архим. 280, 320, 322, 324  
Мокрицкий А.Н. 361, 461  
Молева Н. 461  
Мольер (Поклен Ж.Б.) 24, 293, 401  
Мочульский К.В. 34, 111, 164, 188, 368, 369, 371, 462  
Муравьев В. 132  
Муравьев М.Н. 257, 263  
Мурзакевич Н.Н. 194, 288, 292, 440, 462  
Мусатова Т.Л. 462  
Муханов А.И. 30  
Муханов В.А. 30–32, 123, 124, 131, 135, 461  
Муханов Н.А. 30, 31, 461  
Мухановы 31, 32, 122, 124, 131  
Мюллер Э. (Müller E.) 43, 91, 112, 120, 317, 435, 462  
Мяснов П. 132

Набоков В. 104, 409, 410, 439, 462  
Надеждин Н.И. 426, 435, 442, 446, 457, 462  
Надимов П.П. 298  
Назаревский А.А. 462  
Назимов В.И. 307, 308, 334, 340, 385  
Нащокин П.В. 193, 334, 367  
Нащокина В.А. 334  
Невахович А.Л. 439  
Неводчиков Н.В. 192, 193, 298  
Некрасов Н.А. 20, 214–217, 393, 462  
Немзер А.С. 462  
Непомнящий В.С. 464  
Нессельроде К.В. 15, 87, 436  
Нессельроде М.Д. 14–16, 210, 436  
Нечаев В. 433  
Никитенко А.В. 18, 19, 29, 33, 63, 82–84, 223, 462  
Николаев А.С. 459  
Николаенко А.И. 388

---

Николай I 18, 33, 40, 47, 57, 58, 86, 87, 89, 120, 132, 269, 349, 350, 450, 457, 463, 470

Никольский Ф.Е. 441

Никулина Н.А. 456

Нилус С. 324, 331, 441, 462

Нильский А.А. 462

Ницше Ф. (Nietzche F.) 430, 462

Новицкий А.П. 168

Новосильцев П.П. 222

Нольде Б. 113, 319, 462

Носов В.Д. (Паламарчук П.Г.) 61, 434

Нюландер В. 235

Оболенский Д.А. 240, 243, 306, 340

Оболенский М.А. 223

Образцов Ф.И. 371, 374, 393, 399, 462

Овер А.И. 258, 382

Овсяннико-Куликовский Д.Н. 462

Огарев Н.П. 150

Одоевский В.Ф. 14, 36, 409

Оксман Ю.Г. 159, 459, 462

Окуловы 233

Онаш К. (Onasch K.) 462

Ордина О.Н. 442

Орлай Александр И. 196, 288

Орлай Андрей И. 196, 288

Орлай И.С. 196, 288

Орлов А.С. 452

Орлов А.Ф. 19, 285

Орлова П.И. 296

Оруэлл Дж. 36

Осповат А.Л. 447, 461

Островский А.Н. 19, 249–251, 261, 262, 308, 384, 390

Оттон Ц.Л. 289, 292, 293

Павлов Н.М. (Бицын Н.) 245

Павлов Н.Ф. 60, 74, 75, 123, 151, 174, 228, 231

Павлов П.В. 203, 204

Павловский И.Ф. 463

Павловский М.К. 290

Паллас П.-С. 341



---

Панаев И.И. 214–217, 438, 463  
Панаева А.Я. 438, 463  
Панов В.А. 443, 450, 463  
Панова М.А. 450  
Паперный В. (Paperni V.) 187, 463  
Парсамов В.С. 196, 463  
Паскаль Б. 314  
Пащенко И.Г. 198  
Пащенко Т.Г. 187  
Пенская Е. 463  
Первошиков Д.М. 233, 234  
Перовский А.А. (Антоний Погорельский) 409  
Перовский Л.А. 285  
Перфильев С.В. 385  
Петр I 118, 119, 162, 233, 349, 435  
Петр Соловьев, свящ. 178, 179  
Петрас Мелетий, митроп. 183  
Петров Н.И. 463  
Петровский А. 463  
Пий IX 354  
Пирожкова Т.Ф. 440, 447  
Плетнев П.А. 20, 27–30, 32, 33, 54, 59, 74, 77, 82, 83, 85, 87–89, 102, 103, 110, 111, 123, 127, 131, 148, 183, 199, 205, 208, 211, 216, 231, 234, 235, 244, 258, 290, 291, 300, 307–309, 323, 339, 345, 363, 434, 444, 464  
Плетнев Р.В. 392, 408, 464  
Плутарх 447  
Плучек В.Н. 427  
По Э.А. 408, 430  
Погодин Д.М. 220, 221  
Погодин М.П. 60, 72, 73, 76, 99, 110, 115, 172–174, 183, 185, 191, 193, 206, 210, 211, 219–224, 230–233, 248–251, 261, 266, 308, 311, 326, 358, 371, 377, 378, 382, 383, 393, 399, 439, 445, 449, 463, 464  
Погодина А.М. 221  
Поздеев А.А. 464  
Полонский Я.П. 288  
Полторацкий Н. 376, 464  
Пономарев С. 464  
Понятовский Станислав Август 9  
Попов А.Н. 206, 319, 464  
Порфирий (Григоров П.А.) 320–322, 324

---

Порфирий (Успенский), архим. 178, 179  
Присниц В. 26  
Прокопович Н.Я. 22, 23, 125, 152, 153, 157, 199, 208, 214, 218  
Пропп В.Я. 186  
Протасов Н.А. 82  
Протопопов Д.С. 235  
Прудон П.Ж. 159  
Пушкин А.С. 14, 16, 30, 31, 46, 53–59, 63, 98, 118, 119, 130, 194, 195, 202,  
233, 238, 239, 244, 257, 270, 290, 292, 320, 331, 338, 346, 362, 373, 394,  
398, 404, 409, 410, 421, 422, 429, 430, 434, 447–451, 456, 460, 462,  
464–466, 468, 469  
Пушкин Л.С. 192, 194, 195, 202, 288, 291, 292, 295, 299  
Пыпин А.Н. 441, 464

Рамазанов Н.А. 364, 389–391, 465  
Растрелли В. 306  
Рахаева Ю. 390  
Редкин П.Г. 465, 470  
Рейсер С. 347, 448  
Ремизов А. 422  
Рендер Х. (Render H.) 465  
Репнин В.Н. 288, 440  
Репнина В.А. 198, 288  
Репнина В.Н. 198, 288, 379, 441  
Репнина Е.П. 285, 288  
Репнины 288, 293, 297, 299  
Рибейра Х. 433  
Родоканаки 295  
Рождественский С.В. 465  
Розанов В.В. 105, 375, 422, 425  
Розен Е.Ф. 174  
Розенберг 13  
Россет А.О. 26, 32, 103–106, 109, 142, 240, 340  
Россет К.О. 439, 440  
Россет О.О. 440  
Ростопчин А.Ф. 15  
Ростопчин Ф.В. 15  
Ростопчина Е.П. 14–19, 210, 249  
Ростопчина Л.Г. 465  
Рубенс П.П. 433  
Руднев 384

---

Рулин П.И. 415, 465  
Руссо Ж.Ж. 225

Сабинина М.С. 443  
Савинов А.Н. 465  
Саводник В.Ф. 54  
Садовников Д.Н. 465  
Садовский П.М. 250, 356, 358  
Салиас де Турнемир Е.В. 385, 445, 465  
Салтыков-Щедрин М.Е. 150, 421, 430, 463  
Самарин И.В. 357  
Самарин М.Ф. 22, 30, 433  
Самарин Ю.Ф. 28, 30, 113, 145, 223, 224, 231, 236, 267, 268, 318, 319, 350, 397, 446, 462  
Самовер Н.В. 460  
Самойленко Г.В. 461, 465  
Самойлов В.В. 296, 439  
Санд Жорж 163  
Сарабьянов Д.В. 466  
Сармаго Ж. 409  
Сатин 384  
Сахаров В.И. 255  
Свербеев Д.Н. 40, 56, 91, 92, 264, 362, 382, 444, 466  
Свербеева Е.А. 28, 92, 129, 207, 362, 444  
Свербеевы 94  
Свиньин П.П. 452  
Северин Д.П. 12, 136  
Селиванов В.В. 385  
Семевский В.И. 41, 132, 466  
Семен 225, 378, 380  
Сен-При Долгорукова О.К. 130  
Сенковский О.И. 151, 155  
Сент-Бёв Ш.О. 430, 459, 466  
Сервантес Сааведра М. 405  
Серединский Т.Ф. 79, 80, 172, 174, 176  
Сергий (Святогорец) 344  
Сечкарев В. (Setschkareff V.) 17, 49, 424, 446, 466  
Симеон (Томачинский) 63, 104, 466  
Синельникова М.Н. 302, 311, 366  
Синявский А.Д. 422, 466  
Сиркур А.Д. 118, 119

---

Сироткина И. 444, 446, 466  
Скалон А.В. 197  
Скалон В.А. 197, 256, 300  
Скалон С.В. (урожд. Капнист) 197, 205, 256, 300  
Скарятин 362  
Скотт В. 138, 404, 417  
Скуридин М.С. 122, 352  
Случевский Л. 313  
Смирнов М.Н. 208  
Смирнов Н.М. 149, 236, 248  
Смирнов С.И. 338  
Смирнов С.К. 222  
Смирнова (Смирнова-Россет) А.О. 10, 14–16, 21, 30–33, 67, 70, 76, 83, 85,  
86, 89, 93, 95, 103, 111, 123, 124, 131, 147, 149, 182, 183, 208, 209, 219,  
231, 232, 235, 236, 238, 240–246, 248, 258–263, 266, 268, 269, 275,  
280, 282, 284–286, 290, 291, 306–308, 310, 321, 323, 343, 349, 356,  
363, 367, 371, 380, 397, 434, 439, 440, 441, 446, 450, 466  
Смирнова-Чикина Е. 392, 439, 445  
Смирновы 238  
Соболевский С.А. 384, 450  
Соколов А.И. 292, 296  
Соколов П.П. 466  
Сокологорский К.И. 382  
Соллогуб В.А. 22, 93, 145, 149, 230, 237, 273, 274, 277, 439, 466  
Соллогуб С.М. – см. Виельгорская С.М.  
Соллогубы 76  
Соловьев В.В. 314, 315, 467  
Соловьев В.С. 312  
Соловьев Н.В. 466  
Соловьев П. 436, 437, 466  
Соловьев С.М. 252, 466  
Сосницкий И.И. 75, 426  
Софония, свящ. 298  
Соханская Н.С. 467  
Сперанский М.М. 137  
Сперанский М.Н. 466, 467  
Спивак М. 422  
Срезневский И.И. 467  
Сталь А.Л.Ж. де 329  
Станкевич А.В. 92, 152  
Станкевич Н.В. 448, 467

---

Стасов В.В. 467  
Стасюлевич М.М. 467  
Степанов А.Н. 451  
Степанов Н.Л. 467  
Степун Ф.А. 312, 317, 467  
Стефан Яворский 318  
Стеффенс Ф. 314  
Стогнут А.С. 467  
Строганов С.Г. 96, 223  
Строев П.М. 223  
Стурдза А.С. 12, 14, 15, 191–193, 195, 196, 278, 285, 288, 298, 441, 467  
Субботин Н.И. 335  
Суворин А.С. 110, 214, 216  
Супронюк О.К. 348, 467  
Сухово-Кобылин А.В. 449, 463  
Сушков Н.В. 383, 467

Талалай М.Г. 467  
Талызин А.И. 225, 256, 263, 311, 358, 390  
Тарасенков А.Т. 364, 365, 367, 370, 372, 374–377, 379–383, 400, 403, 434, 467  
Тарасов Б. 116, 120, 122, 467  
Тассо Т. 405  
Татаринов В.И. 254  
Татищев Н.Н. 132  
Твардовский А.Т. 446  
Твен Марк 430  
Тегнер Э. 293  
Теккерей У.М. 408  
Терентий 390  
Терещенко А.В. 220  
Тик Л. 409  
Тимковский И.Ф. 283  
Тимофей Никольский, прот. 82  
Тирген П. (Thiergen P.) 435, 467  
Титов П.П. 196, 288  
Тихонравов Н.С. 67, 451, 468  
Тициан (Тициано Вечеллио) 433  
Тойбин И.М. 433  
Толстая А.Г. 440  
Толстая А.Е. 225, 275, 334

- 
- Толстая С.П. 13, 14  
Толстая С.С. 29, 96  
Толстой А.К. 279–281, 285, 286, 439, 440, 463  
Толстой А.П. 13, 14, 23–25, 29, 30, 44, 80, 81, 93, 100, 101, 122, 130, 131, 133, 135, 146, 148, 149, 172, 174, 176, 177, 183, 185, 224, 225, 229, 236–238, 240, 242, 270, 275, 280, 282, 298, 335, 358, 362, 365, 368, 371, 376, 380, 382, 390, 392, 394, 399, 433, 468  
Толстой И.П. 29, 96  
Толстой Л.Н. 469  
Толстой Ф.И. 74, 75  
Толстой Ф.П. 12–14  
Толстые 123, 230  
Толченев А.П. 289, 292–294, 296, 299, 443  
Томашевский Н.Б. 468  
Томский Н. 431  
Трахимовский (Трофимовский) М.Я. 205  
Трахимовский Н.А. 205, 437, 438, 468  
Тройницкий Н.Г. 192, 194, 195, 299  
Трошинский А.А. 192, 194, 286, 287, 289, 300, 386  
Трошинский Д.П. 192  
Труайя А. (Troyat H.) 186, 411, 436, 468  
Трушковский Н.П. 197, 311, 320, 332, 339  
Трушковский П.О. 81  
Туницкий Н. 338, 468  
Тургенев А.И. 14, 136, 137, 139, 144, 435, 447, 451, 454, 468  
Тургенев И.С. 22, 158, 159, 216, 217, 341–345, 351, 354, 355, 358, 359, 364, 383, 386, 388, 420, 436, 443, 444, 462, 468, 469  
Тургенев С.И. 292  
Тынянов Ю.Н. 71, 468  
Тюрин Е.Г. 384  
Тютчев Ф.И. 122, 129, 131, 263, 436, 452, 468  
Тютчева Э.Ф. 129, 436  
Тютюник Л.И. 463
- Уваров С.С.** 223  
Удольф Л. (Udolph L.) 468  
Ушаков Д.Н. 443
- Федотов В.В.** 468  
**Федотов П.А.** 350

- 
- Фейербах Л. 442  
Феллини Ф. 432  
Фенелон Ф. 314  
Феодор (Бухарев А.М.), архим. 335–337, 371, 442, 443, 449, 468  
Феоктистов Е.М. 342, 384  
Феофан Прокопович 318  
Фердинанд II 176  
Фет А.А. 468  
Филарет (Дроздов В.М.) 25, 320, 322–324, 326, 338, 378, 380, 381, 392, 433, 471  
Филиппов Т.И. 250, 370, 384, 398, 399, 468  
Флетчер Дж. 223, 251, 449  
Флоренский П. 314  
Флоровский Г.В. 34, 37, 41, 102, 318, 326, 381, 468  
Фомичев С.А. 468  
Фон-Брин С.Ф. 361  
Фонвизин А.А. 229  
Фонвизин Д.И. 415  
Фонвизин И.А. 229, 230, 263, 442  
Францев В.А. 463, 468  
Фридкин В.М. 469  
Фридлендер Г.М. 469  
Фурье Ш. 159  
Фуссо С. (Fusso S.) 469
- Хайнацкий А.Ф.** 469  
Халчинский И.Д. 184, 210  
Халчинский Ф.Л. 210  
Хетсо Г. 392, 394, 469  
Хитрово В.И. 255  
Хитрово Е.А. 293, 294, 299  
Хмельницкий Б. (З.) М. 349  
Ходаревская Е.И. 302  
Ходасевич В.Ф. 18, 469  
Хомяков А.С. 25, 43, 44, 128, 131–136, 138–140, 142, 145, 147, 228, 229, 252, 255, 261, 262, 264, 267, 280, 300, 319, 327, 350, 365, 366, 377, 378, 382, 383, 397, 435, 436, 440, 446, 449, 469  
Хомяков Д.А. 131  
Хомяков Н.А. 255  
Хомякова Е.М. 128, 129, 131, 229, 280, 365, 366  
Хомякова М.А. 131, 435

- 
- Хомяковы 129  
Хюбнер Р. (Hubner R.) 469
- Цимбаев Н.И.** 466  
Циммерман 172  
Цых В.Ф. 469  
Цюревская (Цуревская) 284
- Чаадаев П.Я.** 71, 112–122, 229, 362, 450–452, 469  
Чаговец В.А. 452  
Чаев Н.С. 233  
Чарушникова М.В. 434  
Черейский Л.А. 233, 469  
Черницкая А.М. 277  
Черныш В.В. 196  
Черныш Г.Г. 443  
Чернышев А.И. 255  
Чернышев А.Ф. 361  
Чернышев-Кругликов И.П. 14  
Чернышева С.П. 14  
Чернышевский Н.Г. 233, 234, 401, 404, 469  
Чернышевы-Кругликовы 14, 15  
Четвериков С. 322, 469  
Чехов А.П. 421  
Чиж В.Ф. 446  
Чиж Н.Ф. 469  
Чижевский Д. (Tschizewskij D.J.) 36, 40, 41, 50, 163, 164, 407, 446, 469  
Чижов Ф.В. 80, 169, 200, 201, 210, 211, 229, 237, 249, 411  
Чичерин А.В. 470  
Чичерин Б.Н. 469  
Чулков Г.И. 436
- Шаляпин Ф.И.** 470  
Шамиссо А. фон 409  
Шатобриан Ф.Р. де 270, 453  
Шаховская М.А. 278  
Шаховской А.И. 278  
Шверубович А.И. 470  
Шевченко Т.Г. 212, 345–351, 470  
Шевырев С.П. 10, 44, 54, 63, 65, 67, 76, 80, 85, 95–99, 112, 115, 118, 123, 135, 152, 172, 177, 183, 191, 199, 200, 207, 223, 226, 245, 256, 261, 287,



- 
- 310, 311, 317, 318, 332, 340, 341, 358, 361, 366, 384, 393, 404, 425, 433,  
463, 464, 468
- Шекспир В. 114, 138, 405, 417
- Шеллинг Ф.В.Й. 314, 327–329, 447, 470
- Шемякин Д. 278
- Шенрок В.И. 26, 31, 40, 52, 56, 60, 92, 96, 101, 104–106, 149, 165, 167, 168,  
178, 181, 193, 196, 197, 199, 200, 204, 205, 214, 216, 228, 235, 257, 265,  
273, 274, 277, 278, 286, 291, 298, 302, 309, 320, 322, 325, 333–335,  
360, 365, 437, 441, 442, 451, 463, 470
- Шереметев А.В. 263
- Шереметев В.Н. 263
- Шереметев П.В. 263
- Шереметева Н.Н. 81, 174, 176, 177, 183–185, 191, 208, 229, 230, 263, 264,  
439, 470
- Шехтель Ф. 431
- Шиллер Ф. 405, 417
- Шилов 78
- Шильдер Н.К. 470
- Шимановский М.В. 470
- Ширинский-Шихматов П.А. 285
- Ширяев А.С. 265
- Шлегель Ф. 470
- Шлецер А.Л. 417
- Шмальц Т. 470
- Шмидт С.О. 445
- Шокарев С.Ю. 225, 445, 470
- Шрайер Х. (Schreier H.) 65, 406, 470
- Штрих Ф. (Strich Fr.) 470
- Шуберт А.И. 296, 297
- Шубин В. 470
- Шумский С.В. 296, 356–359, 444
- Щеглов И.Л.** 104, 321, 324, 370, 399, 470
- Щеголев П.Е. 470
- Щепкин М.А. 351
- Щепкин М.С. 74, 77, 127, 128, 233, 296, 342, 344, 354–356, 358, 359, 364,  
367, 368, 386, 426, 452
- Щепкин Н.М. 92, 152
- Щербатов А. 362
- Щербатов Г.А. 222
- Щербина Н.Ф. 383

Эйзенштейн С. 4 08, 470  
Эрлих В. (Erlich V.) 446, 470  
Эфрос А. 412  
Эфрос Н.Д. 471

Юзефович М.В. 201–204  
Юм Д. 137

Языков А.М. 229, 230, 362, 382  
Языков Н.М. 10, 11, 20, 22, 24, 28, 67, 80, 81, 85, 92, 217, 238, 270, 289, 353,  
362, 365, 386, 433, 471  
Языков П.М. 229  
Якобсон Р.О. (Jakobson R.) 470, 471  
Яковлев И.А. 381, 471  
Якубина Ю.В. 459, 471  
Якушкин Е.И. 340  
Якушкин И.Д. 263  
Якушкина А.В. 81  
Ямпольская А. 453  
Янушкевич А.С. 53, 455, 471  
Яремич С.П. 421, 471  
Ясинский И.И. 203  
Ястржембский Д.А. 445

Bernstein L. 434  
Kaiser G.R. 446

## Contents

### Part One

Rome: the winter and spring of 1846 .....	9
“New Gogol emerged...” .....	20
“The endless road” .....	23
Ostend – Frankfurt-am-Maine .....	29
“Departures, means and paths...” .....	34
“The Homeric question” .....	53
About the mystery of the Farewell Story .....	60
“During trips, among all troubles and cares” .....	74
Naples: late 1846 – early 1847 .....	78
“Selected places...”: “I find it hard now to look at my book...” .....	90
Chaadaev: “The unfortunate genius” .....	112
The last trip to Central Europe .....	122
On the shore of the Northern Sea .....	129
English themes .....	136
“My soul is tired...”: an argument with Belinsky .....	150
Ivanov’s defence .....	164
“Approaching the embarkation on the ship” (Naples: November 1847 – December 1848) .....	171
The Mediterranean Sea .....	177
In the Holy Land .....	180

### Part Two

Coming back .....	191
A month in the capitals .....	206
The Moscow resident .....	219
A test for Dead Souls .....	238
Meeting familiar and unfamiliar people .....	248
The continuation of the test .....	266
“...The God has a purpose in throwing people together...”: Gogol and Anna Veilgorsky .....	270
A trip to the South .....	278

Odessa: October 1850 – March 1851 .....	287
Spring relocations .....	300

*Part Three*

In Moscow and Moscow region: June – September 1851 .....	305
Gogol within and around the Optina Monastery .....	312
Three days in Obramtsevo .....	334
“I’m working away in quiet and peace...” .....	339
New meetings: G.P. Danilevsky and I.S. Turgenev .....	341
The Herzen episode .....	351
Theatrical meetings .....	356
Meetings in the late summer .....	360
Year 1852 .....	363
Gogol and Matvey Konstantinovsky .....	368
February 6–21 .....	376
“...Living without Gogol” .....	383
Why was the second volume of <i>Dead Souls</i> burnt? .....	391
Life after death, or the Gogol paradox .....	404

<i>Notes</i> .....	433
--------------------	-----

<i>Bibliography</i> .....	447
---------------------------	-----

<i>Name index</i> .....	472
-------------------------	-----

**Mann Yu.V.**

Gogol. Book 3. The end of the road: 1845–1852

The third and final book of the trilogy on Gogol's life embraces the period from 1845 to 1852. Many important events took place during this period: his leaving Italy; his pilgrimage through the Mediterranean and Middle East countries to Jerusalem, to the Holy Sepulchre; final return – after a nearly 12-year-long absence – to the Russian Empire, meetings in Ukraine, in St. Petersburg and Moscow with many outstanding writers and artists etc. And yet the main thing was the continued work on *Dead Souls*. The book reveals the painful and tragic story of the second volume of the poem.

The book is intended for specialists and all the readers interested in the history of Russian literature and N.V. Gogol's life and books.

**М 23**     **Манн Ю.В.**     Гоголь. Книга третья. Завершение пути: 1845–1852  
[2-е изд., перераб. и доп.]. М.: РГГУ, 2013. 497 с.  
ISBN 978-5-7281-1450-5

Третья, заключительная книга трилогии, посвященной жизни Гоголя, охватывает период с 1845 по 1852 г. Много важных событий произошло в этот промежуток времени: прощание с Италией; паломничество через Средиземное море и по ближневосточным землям в Иерусалим, к Гробу Господню; окончательное возвращение – после почти 12-летнего пребывания за границей – на родину; встречи на Украине, в Петербурге и Москве со многими выдающимися деятелями отечественной культуры и т. д. И самое главное – продолжение работы над «Мертвыми душами». В книге раскрывается мучительная, полная трагического напряжения история второго тома поэмы.

Для специалистов и всех интересующихся историей русской литературы и творчеством Н.В. Гоголя.

УДК 821.161.1  
ББК 83.3(2 Рос=Рус)1

*Научное издание*

*Мани Юрий Владимирович*

ГОГОЛЬ. КНИГА ТРЕТЬЯ.  
ЗАВЕРШЕНИЕ ПУТИ: 1845–1852

*Редактор Т.Ю. Журавлева*

*Художественный редактор М.К. Гуров*

*Технический редактор Г.П. Каренина*

*Корректор О.Н. Картамышева*

*Компьютерная верстка Н.В. Москвина*

*Рекомендовано к изданию  
Редакционно-издательским советом РГГУ*

Подписано в печать 18.09.2013.  
Формат 60×90<sup>1/16</sup>.  
Уч.-изд. л. 33,0. Усл. печ. л. 31,5.  
Тираж 1000 экз. Заказ № 4397

Издательский центр  
Российского государственного  
гуманитарного университета  
125993, Москва, Миусская пл., 6  
Тел.: 8-499-973-42-06

Отпечатано в ППП «Типография «Наука»  
121099, Москва, Шубинский пер., 6





Handwritten purple markings on the right edge of the page, including a large bracket and the number '20'.